

ЭНДРЕ ШИК

ГОДЫ
ИСПЫТАНИЙ

SÍK ENDRE • PRÔBAËVEK

ZRÍNYI KATONAI KIADÓ
BUDAPEST, 1967

ЭНДРЕ ШИК

Лауреат Международной Ленинской премии
«За укрепление мира между народами»

Тоаы
ИСПЫТАНИЙ

Перевод с венгерского

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР
Москва — 1969

Эндре Шик
Ш57 Годы испытаний: Мемуары. Перевод с венгерского Л. Скворцовой и Ю. Сазонова. М., Воениздат, 1969.

600 стр., 65 000 экз., 1 р. 63 коп.

Мемуары лауреата Международной Ленинской премии мира, видного политического и общественного деятеля ВНР Эндре Шика переносят нас в бурную атмосферу событий Великого Октября. В своей книге автор воссоздает картину борьбы за установление Советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, показывает, как плечом к плечу с рабочими и крестьянами Советской России в этой борьбе принимали активное участие интернационалисты Венгрии и других стран.

1-12-2
105-69

И (Венг.)

Часть I

Сибирская
СВАДЬБА

I. ВТОРОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ДАУРИИ

В лагере военного городка

Три горьких года провел я в лагере для военнопленных среди полубезумевших, стоявших на грани смерти людей. И только второе освобождение Даурии от контрреволюционных сил сделало меня снова свободным человеком.

Рассказывая о втором освобождении Даурии, нельзя не упомянуть о первом.

Когда я узнал, что нас, военнопленных, отправят куда-то еще дальше, на восток, я чуть было совсем не пал духом.

Известие о Февральской революции в России застало меня еще в иркутском лагере для военнопленных офицеров. С тех пор я потерял всякий покой. Наш лагерь находился на окраине города. От внешнего мира бараки были отгорожены высоким дощатым забором.

О революционных событиях мы узнавали из русских и иностранных газет, которые попадали к нам в руки, хотя и с запозданием. Узнавали о новостях и из слухов, которые как-то просачивались к нам в лагерь. Иногда мимо проходили строем солдаты с пением революционных песен.

Несколько человек из нашего лагеря симпатизировали революции, и не только потому, что революция может принести с собой мир. С точки зрения возможности возвращения домой даже самые реакционно настроенные офицеры-военнопленные «приветствовали» революцию. Каждому хотелось поскорее вернуться домой. Мы же, откровенно симпатизирующие революции, хотели стать свидетелями великих событий, но о том, чтобы принимать в них участие, мы в то время не могли и мечтать.

Разумеется, попасть в город и жить на свободе хотелось не только тем, кого по-настоящему волновала судьба революции. Двухгодичное пребывание в плену сильно истрепало нам нервы. Узнав о революции, большинство пленных обратились к лагерному начальству с просьбой отпустить их «на работы» в город, однако ответа мы так и не получили.

В середине июня наш лагерь был расформирован. Нас перевели в лагерь военного городка, километрах в семи от Иркутска, потому что в лагере для военнопленных офицеров не было ни одного свободного места. Разместили нас в бараках по пятьдесят — сто человек в каждом. В городском же лагере пленные офицеры жили по три-четыре, в крайнем случае, по шесть человек в комнате.

Лагерное начальство заверяло нас, что очень скоро всех нас переведут в офицерский лагерь, где мы будем жить в нормальных условиях. Среди офицеров ходили слухи, что все происходящее — не более и не менее как первый шаг по пути на родину. Но я в это не верил и, как, оказалось, был прав.

Недели шли одна за другой, а ничего не происходило. Наша жизнь в набитых до отказа бараках становилась все более невыносимой.

Иногда небольшими группами в сопровождении конвойных мы посещали офицерский лагерь. Там у многих были знакомые, которые соглашались несколько потесниться, чтобы хоть кто-то из нас мог остаться у них. Позднее русское начальство согласилось на это. Таким образом, я попал в лагерь для офицеров, где жил в комнате с тремя моими однополчанами.

Этот лагерь напоминал скорее дом отдыха. Здесь был свой сад, цветник, для лагерной кухни откармливали коров и свиней. В черте лагеря находились площадка для игры в теннис и футбольное поле. Больше того, один из барачков был оборудован под кафе, где пленные офицеры играли в карты или шахматы.

Первые дни я хорошо чувствовал себя в новых условиях. Мне даже казалось, что вокруг меня более культурные и спокойные люди, чем в других лагерях.

Однако такое впечатление было недолговечным.

Когда я провел в этом лагере несколько дней, до нас дошло известие об июльских событиях в Петрограде. Несколько дней все только об этом и говорили. Весть о разгоне демонстрации офицеры восприняли с некоторым сожалением, однако их сожаление относилось только к тому, что теперь заключение мира и, следовательно, отправка пленных на родину откладывались на неизвестное время. Что же касается оценки революционных событий, то тут мнения разделились. Большинство офицеров нисколько не интересовались судьбой русской революции. Все происходившие тогда события рассматривались ими только с точки зрения возможности возвращения на родину. Наиболее реакционно настроенные офицеры сожалели о подавлении восстания еще и потому, что его победа, по их мнению, окончательно разложила бы Россию. А циничные высказывания этих офицеров свидетельствовали об их симпатиях к контрреволюционным элементам России, и потому они от

души радовались «разгрому революционного сброда», как они говорили.

Отношение к июльским событиям показало мне истинное лицо моих коллег-офицеров. Еще в первые дни плена я почувствовал, что эти люди (за исключением нескольких) совершенно чужды мне. Прожив с ними больше двух лет, я понял, что мы принадлежим к двум враждебным лагерям.

С этого дня жизнь в лагере стала для меня еще мучительнее, а общество этих офицеров — прямо-таки невыносимым. Я сторонился их, стремился побыть в одиночестве, но это было просто невозможно.

Мои соседи по комнате принадлежали к числу «нейтралистов». Они вели разговоры только на две темы: о том, что происходило на родине до войны, и о будущей счастливой жизни дома.

После июльских событий я редко посещал наше кафе. С тропинки на лагерном дворе были видны далекое железнодорожное полотно и горы, находящиеся за ним, на китайской территории. По этой тропинке я и ходил целыми днями. Правда, здесь же гуляли и другие пленные, так что побыть одному мне удавалось довольно редко. В то время как присоединившиеся ко мне коллеги-офицеры обсуждали всякие пустяки, я, по обыкновению, молчал, жадно вглядываясь в даль, стараясь увидеть в разрывах облаков далекие вершины гор.

«Как было бы хорошо побродить по горам! — думал я. — Остаться одному, лицом к лицу с природой, а потом, устав, возвращаться к мирной трудовой жизни, где тебя кто-то ждет, любит...»

Временами на большой скорости проносился поезд, мчавшийся в сторону далекого желанного запада или же неизвестного и загадочного востока. Я с болью смотрел ему вслед, думая о том, когда же наконец придет тот поезд, который увезет меня подальше от этого кладбища живых душ, к живым людям, в мир труда и борьбы.

После июльских событий во мне окрепло желание каким-нибудь образом вырваться из лагеря, чтобы зажечь трудовой жизнью. Я решил снова попытаться сделать это.

Самую крупную газету Иркутска «Иркутскую жизнь» издавала городская организация Российской социал-демократической партии. До войны я не был членом никакой революционной или рабочей организации, хотя по своим политическим взглядам причислял себя к марксистам и даже опубликовал в различных газетах и журналах не одну статью, пропитанную революционным духом. Русских социал-демократов я считал своими товарищами.

После серьезных раздумий я написал в редакцию «Иркутской жизни» письмо на немецком языке, в котором рассказал

о себе, о своей солидарности с русскими большевиками и о желании работать у них в любой должности. Я просил редакцию обратиться к лагерному начальству с просьбой разрешить мне жить в городе и работать у них. Далее я заверил, что не буду предпринимать никаких попыток к бегству. Письмо мое заканчивалось просьбой ответить мне в любом случае.

Один лагерный врач, который часто бывал в городе, взялся лично отнести мое письмо в редакцию газеты.

Я стал с нетерпением ждать ответа. Проходили недели, но его все не было.

Нас увозят в Даурию

В начале августа лагерное начальство сообщило нам, что всех, кто прибыл сюда из военного городка, в ближайшее время отправят из Иркутска. Куда именно, нам ничего не говорили, но ходили слухи, что куда-то к Владивостоку. Слухи эти офицеры восприняли по-разному. Те из нас, которые ждали отправления только на запад, сейчас вообще не хотели уезжать и ломали голову над тем, как бы не попасть в число отправляемых. Другие же с радостью восприняли это известие, рассматривая предстоящий переезд во Владивосток как интересное приключение.

Спустя несколько дней прошел слух, что нас повезут не к Владивостоку, а в пустыню Гоби, в лагерь под названием «Даурия». Это известие еще больше омрачило многих из нас, но отнюдь не отразилось на настроениях тех, кто жаждал приключений.

Поскольку любители приключений нашлись и в лагере военного городка, родилась мысль, чтобы вместо тех, кто никуда не хочет уезжать, поехали добровольцы. Русское начальство в принципе не имело ничего против такой замены, однако потребовало согласия нашего начальства.

Я, разумеется, хотел остаться в лагере. Среди моих бывших товарищей по полку нашелся человек, который охотно согласился поехать вместо меня. Мы попросили разрешения, однако лагерное начальство по неизвестной причине не одобрило только эту замену, разрешив все другие. Все это можно было объяснить только тем, что начальству стало известно о письме, которое я посылал в редакцию «Иркутской жизни».

Долго я ломал себе голову над тем, как бы мне использовать предстоящий переезд для освобождения из лагеря. Обдумывал все способы. Если я в пути отстану от поезда на какой-нибудь станции и попытаюсь там же закрепиться на жительство, то меня наверняка поймают и отправят вслед за нашим эшелоном.

Можно было попробовать отстать от поезда, тайком добраться до какого-нибудь селения, находившегося вдали от же-

лезной дороги, и попросить разрешения поселиться и начать работать. Однако и этот вариант был безнадежным, так как без денег, без продуктов, да еще не зная русского языка, далеко не уйдешь.

Самое идеальное — в пути пересесть на поезд, идущий на запад, как-то притаиться в вагоне, и, добравшись до центральных районов России, пристроиться жить в каком-нибудь крупном городе. Но и для претворения этого варианта в жизнь нужно было знать русский, иметь хоть сколько-нибудь денег и в первую очередь — сносное гражданское платье. У меня же не было ничего.

Самый обнадеживающий вариант заключался в том, чтобы пересесть на пассажирский поезд, идущий на восток, спрятаться в вагоне, доехать до Харбина, явиться в консульство какого-нибудь нейтрального государства и попросить помощи с тем, чтобы остаться в городе или же переехать в какую-нибудь нейтральную страну. Однако этот соблазнительный вариант был и самым нереальным, так как в этом случае предстояло пересечь государственную границу.

«Так или иначе, но нужно что-то делать, — решил я. — Жить дальше в лагере я не могу и не желаю. Надо на что-то решиться даже в том случае, если это будет рискованным и безнадежным. На что именно — выяснится в пути».

Утром 1 сентября наш эшелон тронулся в путь. К полудню мы подъехали к Байкалу.

Я уже проезжал по этим сказочно красивым местам в мае 1915 года, в самом начале плена. На станции Мисовая мы провели тогда две недели в карантине, оттуда нас затем отправили в Иркутск. Озеро я видел только из окна вагона, так как на станции нас держали в здании тюрьмы и никуда не выпускали.

Озеро и окружающие его сопки, поросшие соснами, произвели на меня сильное впечатление. За два года, проведенные в плену, я часто вспоминал те прекрасные, бегло виденные мною края и невольно думал о том, что, когда кончится война и настанет мир, я, став свободным, обойду эти места пешком.

И вот снова здесь и снова как пленный могу любоваться озером только из вагонного окна. Теперь я уже мечтал устроиться жить где-нибудь в этих местах, найти себе работу и дожидаться того времени, когда можно будет вернуться на родину.

Через несколько часов Байкал остался позади. Я с болью в сердце вглядывался в затянутые туманной дымкой сопки, словно меня снова разлучали с родными местами.

По берегу Байкала мы проехали довольно быстро, однако, как только миновали озеро, состав пошел с черепашьей ско-

ростью, простаивая временами на одном месте по нескольку часов.

Тут я впервые в жизни увидел Забайкалье. Железная дорога проходила среди великоленных лесов, но я уже не мог любоваться их красотами. Мысль о том, что через день-другой меня снова упрячут за дощатый забор нового лагеря, не давала покоя.

На юге вставали купающиеся в солнечных лучах горы, которыми я любовался еще из Иркутска и которые теперь казались совсем близкими.

Страстное желание расстаться здесь навсегда с ненавистной жизнью пленника снова охватило меня. Хотелось идти куда глаза глядят, подняться высоко в горы и зажечь там жизнью отшельника или пещерного жителя. Или же пристать к монголам-охотникам и стать по-настоящему свободным человеком.

Но мимо каких только деревушек мы ни проезжали, в каких ни останавливались, везде я мысленно стремился к проклятой, но все же желанной цивилизации. Не диких гор и дремучих лесов не хватало мне! Мне хотелось жить где-нибудь в небольшом городке среди мирных, похожих на меня людей, работать, научиться их языку, понять их нравы и обычаи.

Во всем эшелоне не было ни одного человека, кому я мог бы открыть душу. Все, с кем я мог бы пооткровенничать, остались в Иркутске.

На третьи сутки вечером мы прибыли в Читу и утром следующего дня поехали дальше. Вот тогда и стало известно, что нас везут в Даурию. Из всех возможностей, следовательно, случилась самая худшая.

Вечером того же дня мы были в Даурии.

Наша жизнь в Даурии

Даурия — это и не город и не село, а всего-навсего военный лагерь на маньчжурской границе, в шестидесяти километрах от города Маньчжурия, находящегося на краю пустыни Гоби. Во время войны по указанию царского правительства там было построено несколько больших каменных барачков для солдат. Хотя Китай и Япония считались союзниками России, царское правительство руководствовалось старой пословицей: «Чем черт не шутит, когда бог спит». Никогда не знаешь, что может с тобой случиться завтра, тем более во время войны.

При Керенском в лагерь согнали около двух тысяч пленных офицеров из различных лагерей, разбросанных по необозримым просторам Восточной Сибири. По сведениям выходящих в Китае английских газет, такое сосредоточение пленных в одном месте проводилось с целью переправки их в Китай в

случае, если большевикам удастся прийти к власти и заключить мир с немцами, которым они и могли бы в этом случае выдать пленных.

Весь лагерь состоял, собственно говоря, из четырех зданий казарменного типа и десятка одноэтажных помещений меньшего размера. В трех больших зданиях разместили пленных офицеров, четвертое было занято под госпиталь. В нескольких сотнях шагов от нашего лагеря находились помещения лагерного начальства.

В каждом из больших каменных зданий, в одном из которых разместились и мы, на обоих этажах было по два огромных зала, и в них — по сто пятьдесят кроватей. В коридор, соединявший оба больших зала, выходили двери подсобных помещений и нескольких маленьких комнатушек, в которых размещались по два-три старших офицера.

В первые дни нам не разрешалось выходить из барakov: был объявлен карантин.

Когда нас сразу же после приезда ввели в огромные казарменные помещения, где не было никакой мебели, кроме простых железных кроватей, мы подумали, что нас поместили сюда временно, лишь на время карантина. Большинство пленных распаковали свои вещички, загромоздив узкие проходы между кроватями мешками, ранцами, сундучками и чемоданами.

На следующее утро нас навесит лагерьный врач — тоже военнопленный. В полдень от пленных, которые принесли нам обед, мы узнали, что в лагере работают две огромные кухни, каждая из них готовит обед на тысячу — тысячу двести человек. Повара на кухнях — тоже военнопленные, а распоряжается кухнями специальный комитет, состоящий из пленных офицеров. Продовольствие закупается за деньги у контрабандистов, которые имеют связь с Маньчжурией. Лагеря для пленных солдат как такового здесь не существует, хотя имеется около двухсот пленных солдат. Одни из них работают плотниками, столярами, слесарями и техниками в лагерных мастерских, другие исполняют обязанности офицерских денщиков, по двенадцать человек на каждый барак, то есть приблизительно на каждую сотню офицеров приходится по одному денщику. Основная обязанность денщиков — разносить обед и ужин.

Лагерь не был окружен изгородью. Вокруг него стоят часовые, но на таком расстоянии друг от друга, что без особого труда можно выйти из лагеря. Однако идти некуда, потому что кругом расстилается пустыня, а поблизости нет ни деревни, ни города. Недалеко от лагеря — чайная, там можно попить чайку и поиграть в бильярд. В чайной встречаются обитатели лагеря (лагерное начальство, пленные офицеры) и контрабандисты. Хозяин чайной — армянин, по всей вероятности, доверенное лицо контрабандистов.

Итак, мы прибыли на место своего назначения. Нам было разрешено после окончания карантина разгородить наш огромный зал на небольшие боксы фанерой, приобретенной у контрабандистов. Из той же самой фанеры и досок, купленных у лагерного начальства, мы сможем наделать себе столов, стульев, полочек.

Уже через несколько дней мы приступили к строительству, а к концу сентября имели собственный бокс, в котором разместились двенадцать человек.

Наше житье-бытье в Даурии было еще однообразнее и безрадостнее, чем в иркутском лагере. Не спасала даже сравнительно большая библиотека. Да и сами офицеры привезли с собой свои книги, — правда, большинство пленных никаких книг не читали. Они думали только о возвращении домой, только об этом и говорили, а догадкам и сомнениям, казалось, не было конца.

Несколько человек хотели бы заняться каким-нибудь делом. Но что они могли сделать здесь?

В начале октября в лагере произошло большое «культурное событие» — организовали лагерный театр. Через контрабандистов удалось достать необходимую бутафорию, костюмы, и в середине октября театр начал работу. Его репертуар составили несколько оперетт и небольших комедий. Разумеется, женские роли играли сами пленные, и самый большой успех выпадал на их долю. Пленных, которые в течение долгих лет были лишены женского общества, волновали женское платье и искусный парик.

Первой пьесой, которую мы поставили, было «Нашествие татар». За пять-шесть спектаклей ее посмотрели все обитатели лагеря. Театр просуществовал пять месяцев, и за это время она ставилась не менее тридцати раз. Многие офицеры раз по десять ходили на этот спектакль полюбоваться «женскими образами» и насладиться картинами «старых добрых времен».

А я чувствовал себя здесь еще хуже, чем раньше. Как только позволяла погода, выходил во двор и большую часть дня проводил в прогулке между бараками.

Однажды вечером я вернулся из театра раздраженный и злой. В пьесе, которую я видел, показывались молодцеватые офицеры, ухаживающие за добродушными женами помещиков. Для моих коллег-офицеров эти сцены олицетворяли «счастливую жизнь на родине», к которой они так стремились. Мне лично все это было так же противно, как и жизнь в лагере. То, что я увидел в театре, только охладило мое желание вернуться на родину и еще больше укрепило стремление найти свое место здесь, в революционной России, среди людей, которые не только создают собственное благополучие, но и трудятся ради общего блага.

Однако мое желание пока оставалось только желанием.

В Иркутске было трудно выбраться из лагеря, но там я смог бы найти себе работу, а со временем получил бы и разрешение на жительство. Здесь же выйти из лагеря было нетрудно, но найти хоть какую-нибудь работу и пристроиться на жительство нельзя было даже за несколько сот километров от лагеря.

Этим и объясняется мое настроение, ведь теперь я чувствовал себя абсолютно изолированным от всего мира. Возле меня не было ни души, с кем можно было откровенно поговорить.

Я стал присматриваться к пленным, прибывшим сюда из других лагерей, и нашел двух офицеров, близких мне по духу. Они не только причисляли себя к марксистам, как я, но на самом деле были достаточно глубоко знакомы с марксистским учением, — короче говоря, это были убежденные революционеры. Один из них, Чабай, еще до войны принимал активное участие в рабочем движении, не раз бывал за границей и довольно хорошо был знаком с рабочим движением в Германии и Англии. Другой — Отто Хендель — был соратником Эрвина Сабо.

Сблизившись, мы не расставались. Втроем гуляли по двору или сидели где-нибудь в боксе. Главная тема наших разговоров — марксизм и революция. Мы обсуждали новости, говорили о ближайших задачах революции и ее перспективах и были глубоко убеждены, что революционные события в России рано или поздно зажгут огонь революции в Европе, и в первую очередь в Германии и у нас в Венгрии.

Эти разговоры были чрезвычайно полезны для меня. Я многому научился, многое понял. Прежде я, скорее, инстинктивно симпатизировал революции и лишь в общем был согласен с программой большевиков, из которой знал только, что они хотят установления мира и пролетарской диктатуры. Теперь же я сознательно желал большевикам победы в революции, понимая ее историческую необходимость и огромное значение для всего мира.

И победа революции не заставила себя долго ждать.

Первое освобождение Даурии

10 ноября в Даурию пришла весть о том, что большевики в России взяли власть в свои руки.

Весь лагерь был в большом волнении. Все только об этом и говорили, хотя, кроме самого факта о взятии власти большевиками, ничего не знали. Центральные газеты попадали к нам из России через две недели, а английские из Китая — не реже чем с недельным опозданием.

В середине ноября пришли газеты, из которых стали известны некоторые подробности. Волнение все больше нарастало. Многие офицеры с радостью восприняли весть о свершившейся революции.

— Революция победила! Поедем домой! — говорили они.

Реакционно настроенные офицеры на этот раз оценивали события совершенно иначе, чем в июле. Тогда они считали, что победа революции в России улучшит положение реакционных правительств других стран. Теперь же, узнав о том, что большевистское правительство, наряду с требованием о заключении мира, одной из первоочередных задач считает задачу справедливого разрешения земельного вопроса, они уже не радовались, как прежде, ни предстоящему миру, ни возвращению на родину и говорили о событиях в Петрограде как о катастрофе, которая грозит всему земному шару.

Во второй половине ноября несколько таких офицеров бежали из лагеря. Одно предположение о том, что рано или поздно и мы попадем во власть большевиков, так напугало их, что они, забыв о своем желании вернуться на родину, добровольно обрекли себя на долголетний и безнадежный китайский плен.

Для того, у кого были деньги, побег не представлял особых трудностей. Нужно было только зайти в чайную и обо всем договориться с хозяином. Контрабандисты довольно часто ходили в Маньчжурию и за хорошую плату могли взять с собой кого угодно. А из Маньчжурии, опять-таки имея деньги, можно было попасть в Харбин, Шанхай или еще куда-нибудь.

Однако страх реакционных офицеров был преждевременным. Даурия попала в руки контрреволюционеров.

В то время Даурский гарнизон состоял всего-навсего из одного батальона ополченцев. Это были немолодые, старше сорока лет, мирные люди, которые ждали, когда их распустят по домам. Когда до них дошло известие о свершении революции, они прониклись чувством симпатии к большевикам, которые требовали немедленного заключения мира. И хотя эти солдаты не имели ни малейшего представления о политической программе большевиков, они все же с гордостью и себя называли большевиками.

В начале декабря контрабандисты принесли слух, что в Маньчжурии атаман Семенов формирует контрреволюционные отряды из русских офицеров и унтер-офицеров, которые в страхе перед революцией бежали к нему.

В середине декабря отряды Семенова захватили пограничные станции. Поезда, идущие с запада, ходили только до Даурии.

Семенов прислал в Даурию ультиматум с требованием, чтобы гарнизон добровольно сдался на его милость. Для обсуждения условий сдачи гарнизон должен был выслать двух парламентаров на железнодорожную станцию Маньчжурия 30 декабря к двенадцати часам, в противном случае атаман грозился взять Даурию силой, а всех ополченцев перевешать.

За день до этого ополченцы провели собрание, на котором

после коротких дебатов решили, что они стоят за мир и не желают никакого кровопролития и, следовательно, воевать не будут. В то же время они не могут сдать революционный гарнизон контрреволюционной банде, поэтому лучше всего им оставить службу и уехать кто куда. Утром 30 декабря ополченцы сели на единственный в Даурии эшелон и отбыли в западном направлении.

В канун нового года Семенов «вступил» в Даурию довольно оригинальным способом. Никто из обитателей Даурии не видел никаких войск. Просто-напросто в селение въехали новые казаки и заняли канцелярию, где осталось несколько старых офицеров да писарь — унтер-офицер. После этого старший из казаков вызвал к себе старшего по званию офицера из лагеря — австрийского полковника Фогеля. Казак сообщил полковнику, что с этого момента весь лагерь находится под властью атамана Семенова, и передал полковнику вычерченную от руки схему, на которой красным карандашом были обозначены границы нашего лагеря.

— Ни в лагере, ни вокруг него часовых не будет, — заявил казачий начальник. — Однако по округе постоянно будут разъезжать конные патрули. И если кого-нибудь из пленных заметят за границами лагеря, он безо всякого предупреждения будет пристрелен на месте.

Полковник, выслушав его, даже забыл спросить, кто будет снабжать нас продуктами.

Когда все это стало известно пленным, отчаянию их не было границ. Однако скоро выяснилось, что положение не столь уж и безвыходно, так как контрабандисты по-прежнему навдывались в наш лагерь, а чайная находилась в зоне, обведенной красным карандашом. Что касается конных патрулей, то за два с половиной месяца, пока наш лагерь находился под властью атамана Семенова, мы лишь дважды видели поблизости несколько конных казаков. Так что жизнь наша шла своим чередом.

Настроение обитателей лагеря, однако, было подавленным, потому что английские газеты, выходившие в Китае, все чаще писали о том, что военнопленные, находящиеся на Дальнем Востоке, в самое ближайшее время будут вывезены в Китай. Все время, пока большевики вели с немцами переговоры о заключении мира, даже самые реакционно настроенные элементы и те по-своему симпатизировали большевикам. Переход Даурии в руки контрреволюционеров только усилил симпатии офицеров к большевикам.

Если большевики заключат мир, а мы окажемся на их территории, нас очень скоро распустят по домам. Если же мы останемся под властью Семенова, то нас отправят в Китай, где мы будем жить в плену пять лет, а то и десять, — так считали почти все пленные.

Именно по этой причине весь лагерь, от последнего дежника до полковника Фогеля, с нетерпением ждал прихода красных, которые в один прекрасный день прогонят банду Семенова обратно в Маньчжурию, а нас всех отправят на запад.

Неудавшийся побег

Я и два моих товарища сердечно приветствовали революцию в России, желали ей полной победы и хотели взглянуть на революционные события вблизи, а если возможно, то и принять в них участие.

Мы подолгу бродили втроем между бараками и говорили о том, как было бы хорошо попасть сейчас в Советскую Россию. Мы нисколько не сомневались в том, что рано или поздно красные, прогнав семеновцев, займут Даурию. Но мы не могли ждать, пока нас в двухтысячной толпе пленных под охраной часовых повезут в Советскую Россию. У нас появилось желание по одному или вместе сбежать из лагеря и пробраться в Россию.

Оказалось, что не одни мы думали об этом. И те, кто бредил только мыслью о возвращении домой — а таких было немало, — мечтали сейчас попасть на запад.

Вскоре выяснилось, что подобные мечтания не были бесплодными. В лагере еще с царских времен действовал госпиталь. Начальник госпиталя однажды рассказал пленным, что красные и семеновцы с помощью Красного Креста договорились раз в неделю из Даурии в западном направлении отправлять эшелон с тяжелобольными пленными, лечение которых на месте невозможно. В заключенном соглашении перечислялись болезни, которые могли послужить основанием для отправки на запад.

— Желающие попасть в санитарный эшелон должны заявить об этом госпитальному начальству. Специальная врачебная комиссия решит, кто подлежит отправке, а кто нет. И хотя в санитарном поезде имеется всего-навсего два вагона, все больные будут отправлены из Даурии в порядке, определенном врачебной комиссией, — объяснил начальник госпиталя.

Все госпитальные врачи были запасниками и очень добрыми по натуре людьми. Они охотно заносили в списки больных всех офицеров, которые обращались к ним. Таким образом, очень скоро «больных» набралось так много, что пришлось составить специальный список ожидающих своей очереди на отправку.

Я и мои друзья сразу же постарались попасть в число «больных». Прошло несколько недель, прежде чем нас вызвали на медицинское освидетельствование, которое мы все трое благополучно выдержали. У Чабаи установили порок сердца,

у Хенделя нашли язву желудка. На самом же деле и тот и другой были здоровы, но нужно же было назвать симптомы хоть какой-нибудь болезни. У меня не оказалось ни малейших признаков заболевания, и просто пришлось сослаться на один из пунктов характеристики болезней, который гласил: «Человек, у которого отсутствует более четырех зубов, считается нездоровым, так как по этой причине процесс пищеварения у него сильно затруднен».

Зубного врача в даурском госпитале не было.

У меня не хватало трех зубов, но было несколько больных, и, когда врач постучал по ним, я так заорал, что меня тотчас же признали за «серьезно больного».

Теперь нам оставалось терпеливо ждать своей очереди на отправку. Санитарный поезд ходил только до Читы. Для дальнейшего пути необходимо было знать русский язык и иметь деньги. Мои друзья немного говорили по-русски, а я — совсем плохо. Денег у нас не было вообще, а их нужно было много, и не только на билет и питание. Для того чтобы из Читы мы могли спокойно ехать дальше, нужно было иметь паспорт, свидетельство об инвалидности или что-нибудь подобное. Все эти бумаги мы надеялись купить в Чите. В лагере мы узнали адрес трех читинских «фабрик фальшивых документов», запомнили, как найти их агентов. Не хватало только денег.

Среди турецких офицеров был один знакомый, который учился у меня венгерскому языку. Он принадлежал к числу тех пленных, кто почти обезумел от сильного желания поскорее вернуться на родину. Я знал, что у него было много денег. Турок ни о каких единоличных акциях и не помышлял, так как ни слова не понимал по-русски. Я рассказал турку о наших планах, пообещав, что мы возьмем его с собой, если он финансирует эту поездку. Он согласился. В списке больных турок тоже значился.

У Хенделя, попавшего в Даурию из читинского лагеря, были в городе знакомые. Он дал нам их адреса, и мы условились, что если нам не удастся попасть в Читу всем вместе, то первый из нас, кто приедет в город, дожждется остальных, чтобы дальше уже пробираться втроем.

Чабаи и я надеялись попасть в Петроград. Турок как можно скорее хотел добраться до дому. Хендель при всей своей симпатии к революции заявил, что он только мельком познакомится с революционной Россией, а дальше поедет вместе с турком, чтобы поскорее попасть домой, где после долгой разлуки увидит свою мать старушку.

На следующей неделе контрабандисты принесли неприятное известие: в связи с приближением фронта санитарный поезд скоро вообще никуда ходить не будет. Однако в четверг утром были вывешены списки больных, которые подлежали отправке в субботу. Нас в этих списках не было.

Поезд отправился в субботу в полдень, точно по расписанию.

Вечером того же дня я узнал, что Чабаи, которого не было в списках, все же каким-то образом уехал. Оказалось, в субботу, за два часа до отхода поезда, он явился в госпиталь и показал рваную рану, сказав, что его укусила собака. Врач перевязал руку и решил немедленно отправить его в Иркутск, где он сможет пройти необходимый курс лечения в Пастеровском институте.

Услышав эту историю, я не знал, завидовать мне Чабаи или жалеть его. Чем больше я думал над этим случаем, тем сильнее становилось подозрение, что, по-видимому, мой друг не без намерения решился на это. Он понимал: это последняя возможность вырваться отсюда, и потому решился.

Мое предположение полностью оправдалось, когда на следующий день начальник госпиталя официально заявил, что отныне санитарный поезд не существует.

Я и турок застряли в лагере.

Невеселые мысли охватили меня. У меня было такое чувство, что Чабаи обманул меня.

Однако скоро я понял, что мое положение в лагере не стало бы ни лучше, ни хуже, если бы и он остался здесь или даже рассказал мне о своем намерении.

«Он был абсолютно прав! — решил я наконец. — Это тот единственный путь, встав на который, он добьется цели».

Всякая связь Даурии с западными районами России снова прервалась. С каждым днем фронт приближался.

Удалось добраться до Иркутска и Хенделю, но там его снова упрятали в лагерь. Лишь только осенью 1920 года он попал в Москву, а через год как военнопленный был направлен на родину. Чабаи же без денег добрался до европейской части России и уже осенью 1918 года вернулся в Венгрию, где принял самое активное участие в революции.

Красные овладевают Даурией

1 марта 1918 года красные взяли Даурию. На рассвете они начали обстреливать населенный пункт из орудий. Видимо, местность была им хорошо знакома и артиллеристы у них были превосходные, потому что ни один из снарядов даже случайно не залетел в лагерь для военнопленных. Зато здание русской комендатуры было разбито до основания.

К западу от нашего лагеря уже несколько дней подряд шли жаркие бои. Об этом мы узнали от солдат, которые трижды за эти дни подвозили на станцию в небольшом эшелоне боеприпасы и пополнение. Солдаты пешком направлялись из Даурии далее на запад, а боеприпасы увозили с собой на теле-

гах. Оттуда же на телегах привозили раненых и отправляли их на восток в эшелоне.

Большинство раненых были сербскими пленными.

В ночь на 2 марта сербы отошли и залегли на восточной границе лагеря. О том, чтобы окопаться, не могло быть и речи, потому что земля была промерзшей, как камень. В лучшем случае они могли немного зарыться в снег.

У западной границы лагеря к утру появились цепи красных.

Противники, не сходя с места, целый день вели бой.

Мы, пленные, не выходили из барачков, лишь иногда наблюдая из окон за перестрелкой. Временами какая-нибудь шальная пуля ударялась в стену барака, не причинив никому вреда. Во всем лагере была одна-единственная жертва — денщик, которого шальная пуля ранила, когда он нес обед.

К вечеру стрельба стихла, однако заснуть мы не могли, прислушиваясь к тому, что делается снаружи.

К ночи красные перешли в атаку, огласив наш лагерь громким «ура».

Через несколько минут, на этот раз откуда-то издалека, снова послышалась ружейная стрельба. Мы подумали, что сербы не ожидали ночной атаки красных и побежали, преследуемые огнем.

Наутро линия фронта проходила приблизительно в километре восточнее нашего лагеря.

В лагере появились красноармейцы. Все неразрушенные помещения были заняты их начальством.

Стоило только пленным офицерам увидеть перед барачком красноармейца, как они с радостными возгласами бежали ему навстречу. Для переговоров с красным командованием был создан специальный комитет из старших офицеров. Члены комитета незамедлительно нанесли визит красному командованию, поздравили его с «блестящим проведением операции» и, пожелав успеха в дальнейших военных действиях, попросили, сославшись на мирный договор, как можно скорее отправить пленных в западном направлении, чтобы они могли попасть на родину.

Красный командир поблагодарил за добрые пожелания и сказал:

— Отправка пленных — это дело правительства. Мы со своей стороны будем стараться как можно скорее доставить господ офицеров в центральные районы страны, так как здесь вы нам только мешаете. Наберитесь терпения недельки на две, так как сейчас нам самим очень нужны вагоны. При первой же возможности мы вас всех отправим отсюда.

Пока шел бой, я познакомился с прапорщиком по имени Петени, который жил во втором боксе. Прежде я только мель-

ком видел его. До призыва в армию он учился в политехническом институте. Когда началась перестрелка, мы разговорились и почти весь день провели вместе. Выяснилось, что он тоже от души симпатизировал большевикам.

На следующий день нам сообщили решение красного начальника. Все очень обрадовались, что скоро нас отправят на запад. И только Петени огорчило это известие.

— Ты не рад, что попадешь в Советскую Россию? — с удивлением спросил я его.

— Все зависит от того, дружище, каким образом мы туда попадем. По словам их командира можно заключить, что и при красных мы останемся такими же пленными офицерами, на которых будут смотреть с подозрением, как и прежде.

— А ты что же, ждал чего-нибудь другого?

— Нет, — ответил мне Петени. — Я вообще не думал о том, что с нами будет, когда сюда придут красные.

Несколько секунд мы шли молча, затем Петени снова заговорил:

— Бои за победу революции, которые тут продолжаются, — это дело не только русских, но в такой же степени и наше дело. Дело всего человечества. До сих пор я только издали наблюдал за русскими, желая им успеха. Я не знаю, как тебе, а мне было очень тяжело, находясь близко, из-за решетки наблюдать, как другие сражаются за то, что я считал своим кровным делом, самым святым делом для всего человечества. Здесь сейчас решается судьба не только одной России, а судьба революции и социализма вообще.

— Я полностью согласен с тобой, — ответил я. — Но у нас, к сожалению, нет никакой возможности изменить наше положение.

Мы снова замолчали.

Неожиданно Петени остановился и, повернувшись ко мне, сказал:

— У меня есть одна идея. А что, если нам пойти к их начальнику и прямо заявить, что мы социалисты, солидарны с ними, и предложить свои услуги?

Вместо ответа на его вопрос я рассказал о моей попытке связаться с иркутской газетой.

— Это еще ничего не значит, — упорствовал Петени. — Там положение было совсем другим. В Иркутске большевики и меньшевики находились в одной организации, а газета была их общим печатным органом. Вполне допустимо, что твое письмо попало в руки какого-нибудь меньшевика. Даже если оно попало к большевику, у них все равно не было никаких доказательств, что они имеют дело с настоящим революционером, а не с каким-нибудь пройдохой-офицером. Сейчас же мы сможем доказать, что считаем их дело своим: заявим, что хо-

тим с оружием в руках сражаться за дело революции, попросим, чтобы они взяли нас в свой отряд.

Эти слова Петени подействовали на меня как откровение. Дело, за которое боролись большевики, я считал своим, близким мне делом. Вот уже несколько месяцев во мне жило страстное желание принять активное участие в русской революции, однако я и мечтать не смел о том, чтобы здесь, в чужой для меня стране, встать на защиту революции с оружием в руках.

— Ты прав, — ответил я после недолгого раздумья. — Пошли к начальству.

Моя первая встреча с красными

К русскому начальнику удалось попасть без особых трудностей. Петени, довольно сносно говоривший по-русски, изложил ему нашу просьбу. Выслушав нас, русский улыбнулся, предложил сесть и угостил папиросами. Затем поинтересовался, чем мы занимались до войны и каким образом пришли к такому решению.

Петени коротко ответил.

Немного задумавшись, начальник сказал:

— Оружия военнопленным мы дать не можем, но если вы хотите помочь нам работой — пожалуйста.

Мы согласились исполнять любую работу.

— Ну и прекрасно, — сказал начальник и кого-то позвал.

Несколько минут он разговаривал с вошедшим в комнату русским, но так тихо и быстро, что Петени ничего не понял из их разговора.

На прощание начальник пожал нам руки, сказав, чтобы мы шли с товарищем, который покажет, что мы должны делать.

Русский привел нас к небольшому зданию, перед которым стояло трое саней.

Когда мы подошли ближе, то увидели, что сани нагружены трупами.

Сопровождавший нас товарищ объяснил, что это здание сейчас вроде морга, сюда сносят трупы месяца на два, пока земля не оттаяет, и тогда их можно будет похоронить. Мы вместе с двумя красноармейцами должны объезжать боевые позиции, собирать трупы убитых и свозить их в это здание.

Сказав это, русский испытующе посмотрел на нас, словно спрашивая, возьмемся ли мы за такую работу. Не скрою, когда я увидел трупы, сердце у меня забилося часто-часто, и только постепенно я несколько успокоился. Мы с Петени переглянулись, затем, не говоря ни слова, подошли к саням и принялись за работу.

Русский отпер нам дверь здания и, показав, куда мы должны складывать трупы, удалился. Когда мы разгрузили трое сaney, русский появился в сопровождении двух красноармейцев. Все вместе поехали на место вчерашнего боя.

После обеда, сделав две ездки на позицию красных, отправились на позиции сербов.

В общей сложности в тот день мы собрали и уложили шестьсот три трупа.

Поздно вечером, уставшие, мы вернулись в лагерь. Нас довольно сильно подташнивало.

Соседи по боксу оставили для нас обед и ужин, но кусок не лез в горло. Так и не поев, мы легли спать.

Наутро мы проснулись бодрыми, однако вчерашние впечатления были так сильны, что мы с трудом проглотили по куску хлеба и выпили чая.

Во дворе решили обсудить, как быть дальше.

— Никак не могу понять, — начал я, — как русскому командиру могло прийти в голову сразу дать нам такую ужасную работу? Быть может, он хочет проверить, насколько серьезны наши намерения? Допускаю даже, что его отказ дать нам оружие был не окончательным, и стоит нам только выдержать это испытание, как нас зачислят в отряд.

— Я не такой оптимист, как ты, — заметил Петени. — Думаю, что нам именно потому и дали эту страшную работу, чтобы у нас раз и навсегда пропало всякое желание искать себе испытания. Может, он не рассчитывал, что мы без слов согласимся на это. Ничего, скоро пойдем, чего он хотел. Пошли к начальнику и спросим, что будет дальше.

На этот раз поговорить с начальником не удалось, нас принял его помощник.

— Чего вы хотите? — спросил он как можно более дружески.

— Мы хотим работать, — ответил Петени и начал объяснять, чем мы занимались вчера.

Не дав ему договорить, русский прервал:

— Я об этом знаю. Командир приказал сказать вам, что работы у нас нет и не будет. Возвращайтесь к себе в барак и готовьтесь к отъезду. На днях всех пленных будем отправлять на запад.

Огорченные, мы пошли в барак.

— Ты был прав, — по дороге сказал мне Петени. — Для красных наверняка мы все ненадежные люди, которых необходимо изолировать.

Этот случай произвел на меня довольно неприятное впечатление, и только через несколько дней я пришел в прежнее равновесие.

Желание вырваться из лагеря было по-прежнему сильным. Наша неудачная попытка помогать большевикам вернула меня к старым мечтам. Думая о предстоящем перемещении, я искал способ сбежать из лагеря и устроиться работать.

С утра до вечера я только об этом и думал, но мыслями ни с кем не делился. Петени ко мне не заходил, и я не искал его.

Обдумывая один пришедший мне в голову план ухода из лагеря, я решил поделиться своими мыслями с Петени. Однако, к моему удивлению, не нашел его в боксе.

— Представления не имеем, где он, — ответили мне.

— Он здесь не ночевал, и в глаза мы его не видели. Может, он лег в госпиталь? Еще несколько дней назад он жаловался, что неважно чувствует себя, целыми днями лежал на койке.

Я побывал в госпитале, но и там о Петени ничего не знали.

На следующее утро один из денщиков рассказал мне, что прошлым вечером труп Петени отнесли в морг. Утром того же дня он вышел из лагеря и пошел на позицию красных. Красноармейцы разрешили побыть у них, а один из них шутя дал ему винтовку, чтобы Петени застрелил хоть одного семеновца. Петени согласился, но вместо того чтобы замаскироваться, встал во весь рост на бруствере и начал стрелять. Он успел выстрелить три раза, потом, сраженный пулей, замертво свалился в окоп.

Это известие меня ошеломило. Неужели Петени хотел таким образом выразить свой протест русскому командиру? Может, он сделал этот необдуманный шаг в минуту умопомрачения?

Трагедия Петени еще больше укрепила мое решение, что только путем мирного труда я смогу освободиться из лагеря для военнопленных и приобщиться к революции.

II. Я ПОСЕЛЯЮСЬ В ХИЛОКЕ

Неужели домой?

Не прошло и трех недель со дня прихода красных в Даурию, как командир вызвал к себе полковника Фогеля и сообщил ему, что в ближайшее время весь лагерь в три этапа будет перевезен на запад. Один эшелон пойдет в Читу, другой — в Нижнеудинск и третий — в Красноярск. Пленные офицеры будут направляться в тот или иной лагерь по своему желанию. Полковник должен назначить в каждой из трех групп старшего. Никакой охраны эшелоны не получат.

Начались лихорадочные сборы в дорогу. Многие офицеры считали, что сейчас в России из-за революции царит такая не-

разбериха, что стоит только немного «подмазать» — и эшелон будет направлен не на место назначения, а прямо в европейскую часть России, а оттуда — до самой границы.

— В России за деньги можно сделать что угодно, — говорили многие. — Так было при царе, наверняка то же самое и сейчас. Самое главное — собрать приличную сумму денег для взяток начальникам станций, местным начальникам и для покупки продовольствия недель на шесть — восемь.

Денег и продовольствия у нас было достаточно. Учитывая предстоящую ликвидацию лагеря, все денежные средства, которыми распорядилась лагерная администрация, возглавляемая полковником Фогелем, поделили на три равные части по количеству транспортов. Продовольствие мы могли купить у контрабандистов за хорошие деньги.

— Едем домой! — этим жили все пленные.

Распределяясь по транспортам, офицеры руководствовались принципом ехать с теми, с кем было приятно ехать. Место назначения интересовало их меньше всего.

Я чувствовал себя, как тот цыган, что выбирал дерево, на котором его должны повесить: ни одно дерево ему так и не понравилось. Ни один из эшелонов меня не устраивал.

Друзей у меня не было, поэтому мне было абсолютно безразлично, с кем я буду ехать в поезде. Одна мысль о том, что снова придется жить в лагере, приводила меня в отчаяние.

Наконец я решил поехать в Красноярск, надеясь, что в большом городе больше возможностей, освободившись из лагеря, устроиться на работу.

Эшелон, направляющийся в Красноярск, тронулся в путь 14 марта. Начальником эшелона был назначен капитан Лехотский. Под кухню и продовольствие нам дали вагоны-«телятники». А продуктов у нас было столько, что их свободно могло хватить на два месяца. Перед отправлением каждому пленному вручили «расчетную книжку», по которой офицер ежемесячно получал причитающиеся ему пятьдесят рублей и специальное удостоверение с собственной фотографией, скрепленное печатью. Эти два «документа» в нужном случае удостоверяли личность пленного.

Никаких официальных документов эшелон не имел. У Лехотского был только список пленных с указанием полков, в которых они когда-то служили. На каком основании и с какой целью направлялся наш эшелон в Красноярск, никто не знал. Это обстоятельство как бы подтверждало мысль офицеров о том, что, доехав до Красноярска, нам без труда удастся проехать на запад.

Мы были недалеко от линии фронта, и эшелон двигался вперед очень медленно.

К вечеру прибыли в Читу и, простояв здесь всю ночь, тронулись в путь только под утро. После Читы поезд ехал с нормальной скоростью, правда, на станциях стояли подолгу.

К югу пошли великолепные места. Дорога проходила по правому берегу красивой широкой реки, между сопок, поросших елями, причудливо присыпанных снегом.

Один из попутчиков, поглядев на карту, сказал, что река эта называется Хилок и скоро мы прибудем на станцию с таким же названием.

В три часа дня мы действительно прибыли на станцию Хилок.

— Чертовски красивое место! — заметил кто-то.

Справа, сразу же за железнодорожным полотном, возвышался большой холм.

Селенге, по-видимому, находилось на его вершине, нам же были видны только домики, расположенные вдоль подошвы холма. Перед домиками бежала довольно широкая дорога, обсаженная деревьями. Один конец ее упирался в деревянную лестницу, ведущую к зданию железнодорожной станции, другой — в церковь. Вдоль дороги выстроились в ряд одинаковые домики: видимо, в них жили железнодорожники. Чувствовалось, что дорогу поддерживают в хорошем состоянии.

На станции нам сообщили, что дальше эшелон отправится только в девять часов вечера. Обойдя все вагоны, капитан Лехотский сказал, что не будет возражать, если офицеры выйдут из вагонов и пройдут по станции. Важно, чтобы к ужину, то есть к восьми часам, все были на своих местах.

Сначала мы осмотрели станцию. На перроне было много народу, большей частью китайцы. Видимо, они ждали поезда.

— В селе, наверное, много китайских лавочек, — проговорил лейтенант Пишта Болла, славившийся в лагере как самый большой обжора. — Хорошо бы сходить в селение. Где есть китайцы, там есть и рис. А на склоне холма я видел пасущихся коз, уж чего-чего, а козьего молока мы сможем достать. Неплохо было бы сварить молочную рисовую кашу. Ну, кто пойдет со мной?

— Я пойду, — сразу же согласился прапорщик Радвани. — Вот только взять бы еще кого, кто понимает по-русски.

— Я чуть-чуть знаю, — вызвался я, — как-нибудь разберусь. Пошли.

Выйдя из здания станции, мы увидели и другую половину Хилока, она располагалась на противоположном склоне холма, где так же в ряд выстроились домики, была такая же дорога, обсаженная деревьями, от которой точно так же деревянная лестница вела к станционному зданию.

Дойдя до вершины холма, дорога свернула вправо, потом влево, а затем, словно стрела, пролегла к густому лесу, начавшемуся сразу же за селением.

Видимо, это была главная улица. По обе стороны улицы стояли красивые большие деревянные избы вперемежку с маленькими дощатыми будками — китайскими лавочками.

Мы зашли в несколько лавочек, но ни в одной из них не было ни молока, ни риса, ни почтовых открыток.

— Пошли на почту, — предложил Радвани. — Уж там-то мы наверняка купим марок.

К счастью, почта и по-русски называлась «почтой», и нам довольно легко удалось найти ее.

За окошечком почты сидели двое: молодой мужчина и девушка. На нас была военная форма, и мужчина, увидев, что имеет дело с военнопленными, спросил на ломаном немецком языке, чего мы хотим.

Оказалось, что приличных открыток с видами здесь нет, но имеются обыкновенные открытки и марки.

И мужчина и девушка были очень вежливы с нами и охотно вступили в разговор, хотя вести его было отнюдь не легко, потому что мужчина неважно говорил по-немецки, а девушка, видимо, только кое-что разбирала.

Выяснилось, что молодой человек по национальности поляк, фамилия его Секлущий, а работает он телеграфистом. Девушку звали Ольгой Прейз, по национальности литовка. Когда наши новые знакомые узнали, что мы венгры, лица их засветились от радости. Они поинтересовались, как мы к ним попали. Мы объяснили, что возвращаемся к себе на родину и сейчас наш эшелон стоит здесь на станции. Расплатившись и попрощавшись, мы вышли на улицу.

Главная улица тем временем стала оживленнее. Видимо, кончился рабочий день и люди спешили к себе домой.

— Ну и скучное же это место, — пренебрежительным тоном заметил Радвани. — Ничего-то интересного здесь нет.

— Действительно ничего, — согласился с ним Пишта Болла. — Пошли обратно к поезду. До ужина совсем немного осталось.

— Не понимаю, как вы можете так говорить, — запротестовал я. — За целых три года не видели, кроме охранников, живого человека, а тем более женщин. Наконец-то нам представился случай увидеть вблизи людей, которые по-настоящему живут, работают, любят. А что может быть лучше этого?

— Брось ты, пожалуйста, свою философию! — почти со злобой сказал мне Пишта. — Неужели тебе интересно пялить глаза на мужчин? Что касается женщин, то признаюсь, смотреть на них действительно приятно, но только тогда, когда видишь их или совсем-совсем близко или же издалека. А когда между тобой и женщиной расстояние в пять — десять шагов — это самое скверное, потому что похоже на музей, где много интересных вещей и на каждой висит табличка: «Тро-

гать воспрещается!» Спасибо, мне такого не нужно! Если хочешь, можешь остаться, а я пойду к эшелону.

Радвани молчал, и по его виду нетрудно было догадаться, что он не прочь поддержать меня, но, как кадровый прапорщик, при возникновении разногласий обязан поддержать лейтенанта.

Телеграфист Секлущий

Обрадовавшись, что остался один, я спокойно прохаживался по улице.

Каждый человек, каждое лицо привлекали мое внимание. Особенно волновал меня вид проходящих мимо женщин. За три прошедших года я очень часто думал о них. Теперь же, оказавшись на свободе, я увидел, что женщины гораздо красивее и желаннее, чем я их себе представлял.

Беглый взгляд какой-нибудь молодой девушки, брошенный в мою сторону, или же улыбка так действовали на меня, что мысленно я был готов согласиться со словами Пишты. Быть может, и на самом деле лучше вернуться в вагон и не играть с огнем?

Неожиданно мои мысли потекли в совершенно другом направлении. Навстречу мне по улице шли Секлущий и девушка с почты.

Встреча очень обрадовала нас. Они предложили мне пройти. Почта закрылась в четыре часа, и они шли домой. Сначала мы проводили девушку. При ней разговор как-то не клеился: ее присутствие сковывало меня. В основном говорил Секлущий, я же только односложно отвечал. Поинтересовавшись более подробно, кто я такой, Секлущий сказал, что они, поляки, относятся к нам, венграм, как к своим друзьям.

— Собственно, — продолжал он, — скоро и в европейских странах произойдет революция, тогда все народы станут братьями. Только до этого нужно дожить.

Он рассказал, что в Хилоке проживает почти восемь тысяч жителей, в основном железнодорожники, причем большая часть из них не русские, а украинцы, белорусы, поляки, литовцы, эстонцы и латвийцы.

— Царское правительство, — объяснял мне Секлущий, — проводило политику разобщения различных национальностей, главным образом это касалось железнодорожников, которые не очень симпатизировали существующему строю. Таких назначали работать в Сибирь, и в первую очередь сюда, в Забайкалье. Здесь им побольше платили, давали кое-какие привилегии, только бы загнать их подальше от центра, где они могли принять участие в рабочем движении. Почти у всех бесплатные квартиры. Большинство семейных железнодорожников обзавелись здесь коровами, свиньями, птицей. С матери-

альной точки зрения здесь не так уж плохо, но зато духовная жизнь очень бедна. В поселке, кроме начальной школы, нет ни одного культурного учреждения.

У своего домика девушка распрощалась с нами.

Секлуцкий же заявил, что он еще с часок погуляет и поговорит со мной. Это меня очень обрадовало.

Пройдя по главной улице, мы вышли на площадь, где стояли два больших каменных дома. В одном из них, объяснил Секлуцкий, размещается железнодорожная больница, а в другом — Хилокский Совет.

Перед зданием Совета собралась небольшая толпа, человек в пятьдесят. На ступеньках дома стоял широкоплечий молодой блондин с умным лицом, и, страстно жестикулируя, что-то говорил собравшимся.

— Это председатель Совета товарищ Широких, — шепнул мне на ухо Секлуцкий. — Раньше он работал у нас учителем. Остановимся на минутку, послушаем, о чем он говорит.

Видимо, Широких говорил о серьезных вещах, потому что Секлуцкий слушал его внимательно с напряженным лицом.

Через несколько минут оратор замолчал. Я ждал, что будут хлопать, но несколько мгновений стояла тишина.

Затем выступил парнишка лет восемнадцати. Сказал он всего несколько слов, но с таким жаром, что ему зааплодировали.

— Пошли, — сказал Секлуцкий, — я тебе расскажу, в чем дело.

Пока мы шли, он объяснил, что председатель говорил о мобилизации. Хилок должен послать в Красную Армию тридцать красноармейцев, и Широких обратился к молодежи с призывом добровольно записываться в армию. Послезавтра будет отправка на фронт. Парень, который выступил после Широких, — первый доброволец от Хилока.

— Мобилизация? — удивился я. — Как так? Разве не подписан мир?

— О мире пока рано говорить. Война по-настоящему только сейчас начинается.

— Не понимаю, — с удивлением проговорил я. — А Брест-Литовск?

— Та война кончилась, — ответил мой собеседник. — Но она и не была настоящей войной. В ней дрались только господа да императоры, а народы использовались как пушечное мясо. Война народов, война угнетенных против эксплуататоров, начинается только сейчас.

— А где же находится фронт, для которого мобилизуют солдат?

— Пока на китайской границе, где готовит наступление Семенов. Он намеревается продвинуться до Байкала, захва-

тить Иркутск, чтобы впоследствии предпринять наступление на Западную Сибирь, а затем прорваться в европейскую часть России.

— Семенов? — удивился я еще больше. — Ведь я собственными глазами видел, как красные части разбили в Даурии его банду, в которой были и сербские пленные.

— Все это не так просто. То, что вы видели, и вообще все, что было, — это всего лишь начало. В Харбине и еще ближе к границе, в Маньчжурии, с помощью японцев формируются контрреволюционные отряды. Они состоят из русских, бежавших от революции, и из китайских бандитов — хунхузов. Командуют этими отрядами белые офицеры.

— Вы думаете, что вместо Европы война теперь будет продолжаться здесь, на Дальнем Востоке?

— Нет, Дальний Восток — это только один из фронтов первой войны. Здесь контрреволюцию поддерживают японцы, на западе — наши бывшие союзники. По последним данным, англичане уже в двух местах высадились в России: на севере — в Архангельске, а на юге — на Кавказе, готовые задушить Советскую Россию. Да и та война с заключением мира в Брест-Литовске не закончилась. Немцы продолжают воевать на Украине. А что касается Европы, то в центре и на западе ее война бушует, как и бушевала. Сейчас на франко-германском и итало-австрийском фронтах идут такие кровопролитные бои, как никогда раньше.

— А мы-то тронулись в путь в надежде не останавливаться до самого дома, где, по-нашему, должен царить мир и покой.

— Не надо быть слишком наивным. Во-первых, русские не разрешили бы вам вернуться на родину, потому что абсолютно ясно, что вас погонят на фронт. Вполне возможно, что против французов или итальянцев, но, вероятнее, и против нас. Да даже если бы вам удалось вырваться из России, неужели вы бы снова начали воевать неизвестно за что?

— Значит, вы считаете, что возвращаться в Венгрию сейчас нет никакого смысла?

— Сейчас — нет, — ответил Секлуцкий. — По-моему, стоит подождать с полгода, а то и год. К тому времени в Европе созреют условия для революции; рабочие поймут, что из развязанной господами войны есть только один выход, который нашли русские, — это повернуть оружие против своих же господ. Я бы на вашем месте основательно присматривался к тому, что делается здесь, и, когда настанет время действовать в Венгрии, вы уже будете знать, что и как делать.

В нескольких словах я рассказал Секлуцкому о своей попытке после взятия Даурии перейти к красным.

— Удивляться тут нечему, — сказал Секлуцкий. — Красные, с которыми вы говорили, — простые рабочие и крестьяне. Офицер в их глазах — самый ненавистный и опасный враг.

Так что уж вы не извольте обижаться, когда к вам относятся с таким же подозрением и осторожностью, как к собственным офицерам.

— Это так. В то же время я и сам не очень-то верю в возможность попасть сейчас на родину. Признаюсь, я без особого желания записывался в эшелон, понимая, что в конце концов нас снова упрячут в какой-нибудь лагерь. Но что же делать, если вы нас к себе не берете?

— Что значит не берем? Совсе не обязательно, чтобы все были солдатами. Революцию делают не только ружьем и пушкой. В нашей революции участвует каждый, кто честно трудится.

— Я был бы счастлив трудиться, но как это сделать, когда мне необходимо возвращаться в лагерь?

— А вы не возвращайтесь, — категоричным тоном сказал Секлущкий. — Оставайтесь здесь, у нас.

— Здесь? — удивился я. — А что я у вас тут буду делать?

— Давайте уроки языка. Вы же знаете немецкий и английский. На железной дороге работает много служащих, более того, инженеров. Машинисты на паровозах тоже очень толковые. Наверняка, если кто-нибудь у нас захочет давать уроки иностранного языка, к нему набегит куча желающих, особенно молодежи. На железной дороге сейчас все хорошо зарабатывают. Главный инженер получает ежемесячно триста пятьдесят рублей, а шестнадцатилетний юноша, работающий в мастерских учеником, — двести — двести пятьдесят рублей. Многих товаров не хватает, так что люди порой не знают, куда им девать деньги. За два-три урока в день вы получите столько, что прекрасно сможете прожить.

— Это очень заманчиво, — сказал я. — Но не забывайте, что я пленный. А что скажут ваши власти?

— Думаю, что достать вид на жительство будет довольно просто. Отделение милиции находится при вокзале. Вернетесь на станцию, зайдите к начальнику милиции и попросите у него разрешения остаться здесь. А пока пошли на набережную, — предложил Секлущкий. — Оттуда открывается красивый вид на речку и на железную дорогу.

Мы свернули в аллею, которую видели еще с поезда. Здесь было оживленнее, чем на улице.

— В субботу вечером у нас почти никто не работает, а эта набережная — самое красивое место в Хилоке.

— У подножия холма, словно две гигантские змеи, скользили на запад железная дорога и речка Хилок, на противоположном берегу которой виднелось множество больших и маленьких домиков. Но я почти не замечал живописных окрестностей, потому что мое внимание привлекали люди, которые попадались нам по дороге.

Секлуцкий объяснил мне, что большинство жителей живет за речкой, а на холме расположены в основном лавки, общественные здания и домики железнодорожников.

— Я серьезно советую вам поговорить с начальником милиции. Сейчас я должен уйти, но к восьми часам подойду на станцию. Когда получите разрешение, подождите меня в ресторане на станции, я за вами зайду. У меня и переночуете, а завтра уладим все остальное.

Крепко пожав Секлуцкому руку, я пошел на станцию.

В милиции

От только что услышанного даже голова пошла кругом. Разумеется, в первую очередь меня интересовало предложение Секлуцкого.

Возможность в течение нескольких часов стать снова свободным человеком опьянила меня. Но чтобы осуществить эту возможность, нужно идти к начальнику милиции.

По-русски в то время я знал очень немного и к тому же был робким. Правда, терять мне все равно нечего: в худшем случае получу отказ.

Рядом со станцией стоял старенький одноэтажный дом. Видимо, это и была милиция. Несколько раз я прошелся перед домом, но, так и не решившись войти, вернулся в вагон.

В восемь часов нам принесли ужин. Только я начал есть суп, как услышал, что меня кто-то зовет:

— Доктор Шик! Доктор Шик!

Я вскочил с полки и, выглянув из вагона, увидел Секлуцкого с какой-то красивой девушкой.

Забыв про все на свете, я выпрыгнул из вагона.

Секлуцкий представил нас друг другу.

— Доктор Шик.

— Люба Иванова.

Девушка была невысокого роста, чуть полноватая и, как мне показалось, очень красивая. Волосы у нее были черные, глаза — темные.

Секлуцкий сразу же перешел к делу:

— Вы были в милиции?

Я со стыдом признался, что не был.

— Ну, ничего, — успокоил меня Секлуцкий. — Пошли вместе, я все улажу.

Мы вошли в небольшой домик. Из маленькой прихожей во все четыре стороны вели двери. На двери слева висела табличка с надписью: «Дежурный».

Не постучав, мы вошли в длинное низкое помещение, вся мебельровка которого состояла из одного стола и стула. За сто-

лом сидел худощавый мужчина в военной форме без знаков различия, с саблей на боку. Лицо его было строгим, он читал какую-то бумагу. Слева от стола стоял милиционер в такой же форме. Когда мы вошли, мужчина за столом поднял голову и с удивлением посмотрел на нас.

Секлущкий поздоровался и изложил цель нашего прихода.

Сидящий за столом мужчина, видимо начальник милиции, смерил меня взглядом.

— Из какого лагеря? — спросил он.

За меня ответил Секлущкий, объяснив, что я в эшелоне пленных еду из Даурии в Красноярск.

— Тогда спокойно поезжайте в Красноярск и спросите разрешения на жительство у тамошнего начальства. Если там позволят, мы ничего не будем иметь против.

Несмотря на все старания и объяснения Секлущкого, начальник милиции остался непреклонен.

— Только начальник лагеря может выдать военнопленным разрешение на жительство, — торжественно изрек строгий страж порядка. — Революция от этого не пострадает. Я не настаиваю на том, чтобы это было обязательно разрешение начальника красноярского лагеря. Принесите разрешение от начальника любого лагеря для военнопленных, и я приму вас: Здесь же, в Хилоке, еще ни одному пленному таких разрешений не выдавали с тех пор, как я здесь работаю, и без указаний сверху не дадут.

Секлущкий вежливо заинтересовался, где находится ближайшая комендатура для пленных.

— Насколько мне известно, в Петровском Заводе. Там на станции работают пленные, значит, должна быть и комендатура, — ответил начальник милиции и кивком головы дал нам понять, что разговор окончен.

Когда мы вышли из милиции, Секлущкий сказал:

— Дело не такое уж сложное. Петровский Завод — это следующая станция, где меняется бригада паровоза, отсюда всего каких-нибудь сто пятьдесят — двести километров. Если ваш эшелон на самом деле отправится в девять вечера, то за ночь как раз доедете. Сейчас я точно узнаю. Как только вы туда попадете, найдите на станции дежурного милиционера и спросите, как пройти в военную комендатуру. А там вам все расскажут. Я уверен, что комендант безо всякой волокиты выдаст вам разрешение на жительство.

Перед зданием милиции нас дожидалась Люба.

— Вы пока погуляйте немного, — предложил Секлущкий, — а я схожу к начальнику станции и узнаю, когда отправят ваш эшелон.

Добрый Секлущкий даже не представлял, в какое положение поставил меня, оставив наедине с девушкой. От ее близости

сти кровь ударила мне в голову. Если бы я мог говорить, то скрыл бы свое волнение за разговором. Я же молча шагал рядом с ней, время от времени бросая на нее голодные взгляды.

Женщины всегда чувствуют такие взгляды. Сразу же почувствовала это и девушка. Она смутилась, покраснела и опустила глаза. Однако через несколько мгновений уже взяла себя в руки, весело защебетала, засмеялась, даже не обращая внимания на то, понимаю я ее или нет.

Люба, видимо, думала, что ее болтовня поможет разрядить обстановку. На самом же деле каждое ее слово еще больше волновало меня.

Часто говорят, что женщина «обольщает» мужчин. Я никогда не думал об этом, но эта девушка действительно обольстила меня. Я чуть было не бросился её целовать. Подошедший Секлужкий спас положение.

— Эшелон действительно отправят в десять, — сказал он, — а в два часа ночи вы будете в Петровском Заводе.

До отправления эшелона осталось между тем минут десять — пятнадцать. Мы втроем шли по перрону, а Секлужкий все подбадривал меня, говоря, чтобы сразу же по приезде в Петровский Завод я смело зашел в здание вокзала и разыскал там отделение милиции, где и ночью есть дежурный. У него я должен попросить разрешения остаться на станции до утра, а утром следует разыскать военного коменданта.

Прощаясь со мной, он дал мне свой адрес, по которому я должен найти его, если мой план удастся и я вернусь в Хилок. Если же ничего не выйдет, тогда я должен написать письмо. Он в свою очередь записал, на всякий случай, мою фамилию и имя и мой венгерский адрес.

Пожав руки, мы расстались. Секлужкий и Люба долго махали мне вслед.

На распустье

Пока мы несколько минут втроем прохаживались по перрону, весь эшелон не спускал с нас глаз.

Мои коллеги по поезду не отстали от меня до тех пор, пока я коротко не рассказал им о моих «приключениях» и о Секлужком (о его предложении остаться в Хилоке я только бегло упомянул).

Никто не поверил тому, что рассказал мне Секлужкий о положении в мире. Сообщение об этом приняли с открытой насмешкой.

— Глупости, — тоном, не терпящим никаких возражений, заявил старший лейтенант королевской армии Штейнхубер. — С заключением Брестского мира крупные державы высвободили значительную часть своих сил. Немцы наверняка бросят

теперь все свои войска на западный фронт, а мы — на итальянский. Боюсь только, что, пока мы попадем домой, люди там даже забыть успеют, что когда-то на свете была война.

— Ну, я бы этого не сказал, — заметил лейтенант Розенфельд. — Точно только то, что какое-то время нас не будут посылать ни на какой фронт. Хотя бы по той простой причине, что за те два-три года, пока мы были в плену, в тактике произойдут такие изменения, что нам сначала нужно будет подучиться. А война, вероятно, не продлится больше нескольких месяцев. Так или иначе, но она закончится. Так что о том, чтобы мы снова попали на фронт, не может быть и разговоров.

— На фронт или не на фронт, мне все равно, — заявил Пишта Болла. — Лишь бы попасть домой. Опротивела мне эта капуста да каша.

Относительно моих планов остаться здесь на жительство никто не проронил ни слова. Всех интересовала только де-вушка.

— Ты хоть ручку-то ей пожал, а? — спросил кто-то.

— На это он не отважился, — вместо меня ответил другой пленный. — Боялся получить оплеуху от поляка. По крайней мере постоял рядышком, это тоже что-то значит.

Я не знал, как поступить. Если я решусь поговорить в Петровском Заводе с комендантом, то нужно хоть продумать, что я ему скажу. Подумав об этом, я вспомнил, что один из моих попутчиков, прапорщик Порхорани, работал до войны портарнусом в одной деревне и хорошо говорил по-русски. И я решил попросить его перевести на русский то, что я собираюсь сказать коменданту.

На это он мне полусуто-полусерьезно ответил:

— Сделаю, так уж и быть, хотя не очень охотно, так как завидую тебе. Если бы меня дома не ждали жена и трое детишек, я тоже сбежал бы. Языки преподавать я не сумел бы, но охотно пошел даже чистить клозет.

Я придумал следующий текст, а он перевел его на русский:

«Я пленный венгерский офицер. Был в Даурии, в лагере. Оттуда часть пленных отправили в Красноярск. В пути я отстал от эшелона, так как не могу дальше жить без работы. Я хотел бы поселиться в Хилоке. Жить буду на деньги, полученные за уроки английского, немецкого и французского языков, которые я буду давать желающим. Прошу вас дать мне разрешение для постоянного жительства в Хилоке».

Через несколько минут у меня в руках уже была бумажка с русским переводом.

— Ну, если твой план пройдет, — шутил Подхорани, — и ты заведешь себе в Хилоке любовь, каждый раз, когда будешь ее целовать, не забывай, что этим ты обязан мне.

В вагоне между тем все уже спали. Я сидел у печурки, смотрел на огонь и думал, думал.

Поезд останавливался редко, лишь иногда несколько замедлял свой бег.

На одной из таких остановок дверь вагона немного приоткрылась, и в вагон влезли двое, в одежде из каких-то шкур, с волосами, заплетенными в длинную косу. По лицам и главным образом по глазам можно было подумать, что это монголы. В первый момент я испугался их. На ум невольно пришли все страшные рассказы о хунхузах, разбойничавших в горах Маньчжурии. Уж не такая ли банда напала на наш эшелон, чтобы ограбить нас и зарезать?

Сначала я хотел разбудить офицеров, но подумал, что, если у пришельцев есть оружие, они тотчас же откроют по нас стрельбу.

Но через минуту я убедился, что у пришельцев вовсе не было дурных намерений. Они спокойно уселись у печурки и с наслаждением стали греться.

Внимательно присмотревшись, я понял, что это не китайцы, а буряты. Мы их видели на многих станциях.

Увидев рядом с печкой большой чайник с чаем, один из бурятов жестом спросил меня, можно ли поставить чайник на печку. Я согласно кивнул.

Когда чайник закипел, бурят полез под шубу и вытащил какой-то зеленый кусок. Он раскрошил его и бросил в чайник, потом знаками стал просить посудину, из которой можно было бы пить.

Нашлись две чашки. Наполнив их чаем, бурят протянул одну мне. Я, отказываясь, стал качать головой, но буряты не успокоились до тех пор, пока я не взял чашку в руки.

Найдя третью чашку, я сел пить с бурятами чай. Он был довольно хороший, только горьковатый на вкус. От сахара буряты отказались. Позже я узнал, что зеленый чай нужно пить без сахара: только тогда можно почувствовать его настоящий вкус и аромат.

Горячий чай развязал язык моим новым знакомым. Говорили они очень короткими фразами.

— Война — не хорошо, — сказал один.

— Война — не хорошо, — согласился я.

— Мир — хорошо, — высказался другой бурят.

— Мир — хорошо! — с убеждением подтвердил я.

Пока в чайнике не кончился чай, буряты вели примерно такие разговоры, а потом задремали.

Оказалось, что люди, принятые мной за хунхузов, были всего лишь бедными бурятами, ехавшими зайцами.

На ближайшей станции, когда поезд замедлил ход, буряты тихо выпрыгнули из вагона.

В два часа ночи поезд прибыл в Петровский Завод. Все пленные крепко спали. Я соскочил на землю и пошел в здание вокзала. Вокзальчик был небольшой. Я вошел в комнату, где сидели два человека.

— Я хочу разговаривать с дежурным, — сказал я решительно.

— Я дежурный, — ответил один из мужчин. — Что вы хотите?

Не успел я договорить до конца заученный текст, как дежурный прервал меня:

— Здесь какое-то недоразумение, — добродушно улыбнулся он. — Я дежурный по станции, а вам, видимо, нужен комендант. За разрешением следовало бы обратиться к нему, но он еще вчера уехал в Иркутск по служебным делам и вернется завтра или послезавтра.

Дежурный по станции говорил медленно, чтобы я мог лучше понять его. К моей радости, я понял почти каждое слово.

Приободренный, я спросил:

— Тогда что же мне делать? Сейчас эшелон тронется в путь.

— Оставайтесь здесь и дождитесь коменданта.

— Подождать здесь, на станции?

— А почему бы и нет? Если у вас есть вещи, принесите их в зал ожидания и подождите до утра. В шесть утра открывается ресторан второго разряда, там вы можете просидеть целый день. А если попросите заведующего, он может разрешить вам поспать в ресторане до утра, так как ночью он закрыт.

— А что, если комендант не даст мне разрешения? — выдал я из себя.

— А что будет? — заговорил молчавший до сих пор второй железнодорожник. — Ваш эшелон ползет так медленно, что вы сможете догнать его через двое суток в Иркутске или на станции Зима, если сядете на скорый поезд.

Поблагодарив дежурного по станции, я пошел в вагон.

Казалось, я ничем не рисковал. Но мысль о том, что я останусь здесь, в совершенно незнакомом мне месте, где даже не смогу как следует разговаривать, сильно беспокоила меня. Нелегко было решиться на такой шаг.

Хорошо бы посоветоваться с кем-нибудь, но в вагоне все спали мертвым сном.

Пока я раздумывал, раздался второй звонок.

Решившись, я толкнул Пишту Боллу.

— Что случилось? — ничего не понимая, спросил он.

— Послушай, Пишта, мы в Петровском Заводе. Я решил отстать от эшелона. Дождусь военного коменданта, который приедет завтра или послезавтра, попрошу у него разрешения на жительство в Хилоке. Встань и помоги мне собрать вещички. Свою выплатную книжку я оставляю тебе,

Магические слова о выплатной книжке подействовали мгновенно. Пишта вскочил на ноги, и мы быстро разыскали среди многочисленных сундучков и мешков мои вещи.

Вырвав из записной книжки чистый листок, я написал на нем:

«Господину капитану Лехотскому.

Докладываю, что я слез с эшелона и устраиваюсь на жительство на станции Хилок. Причитающееся мне денежное довольствие прошу выплачивать лейтенанту Болла.

Эндре Шик».

— Если мне не дадут разрешения на жительство, я догону вас в пути. Если же до станции Зима меня не будет, разыщи капитана Лехотского и передай ему мою записку. А теперь прощай!

Раздался третий звонок. Мы расцеловались, и я спрыгнул на землю. Пишта подал мне мои вещи.

Эшелон с военнопленными умчался в темноту, а я с солдатским сундучком, мешком и четырнадцатью рублями в кармане остался стоять на платформе Петровского Завода, в центре Восточной Сибири, с надеждой начать новую жизнь.

Первые минуты

Моя первая забота — дотащить до станционного здания вещи, которые были такими тяжелыми, что их не поднять даже силачу. Бросить же их без присмотра не хотелось. Я огляделся, надеясь увидеть хоть кого-нибудь, кто мог бы мне помочь, но кругом не было ни души.

Ничего не оставалось, как взвалить мешок на плечи и идти на станцию, оставив сундучок на месте.

Не прошел я и пяти шагов, как из темноты, навстречу мне, вынырнула чья-то фигура.

— Это ты, Розенфельд? — спросил кто-то по-венгерски.

В первый момент я подумал, что наш лейтенант Розенфельд тоже отстал от эшелона.

Подойдя ближе к кричавшему, я сказал:

— Розенфельд? Я не Розенфельд, а ты кто такой?

Я увидел, что передо мной стоит совершенно незнакомый мне человек, только в такой же, как и я, форме австро-венгерской армии.

— Ну, земляк, кто ты такой и как сюда попал? — удивленно спросил он.

— Сейчас узнаешь, дружище. Только сначала помоги мне дотащить до станции мое барахло.

Мой новый знакомый без слова взял сундучок, и мы пошли на станцию.

По дороге я коротко рассказал ему свою историю: пленные легко понимают друг друга.

Оказалось, что фамилия моего знакомого Татаи и он хорошо знает коменданта.

— В царской армии он был поручиком. Эта свинья и теперь любит, когда его так величают, хотя сейчас все ранги отменены. По происхождению он рижский немец, фамилия его Вольф; довольно грязный тип. Он заискивает перед каждым, потому что боится за собственную шкуру. Но тебя, земляк, это не касается. Разрешение, если это от него зависит, он тебе даст... Вот мы и пришли.

Поставив сундучок и мешок в коридоре, мы уселись на них. Мой земляк угостил меня махоркой и рассказал, что на станции в пекарне, которая печет хлеб для проходящих военных эшелонов, работают человек тридцать венгров и австрийцев. Заведует этой пекарней бывший поручик. Несколько пленных работают на заводе, но они уже не подчиняются поручику.

Между тем к нам подошел третий пленный, по фамилии Розенфельд. Он тоже работал в пекарне. Сейчас вместе с Татаи они направлялись на вечеринку. Пленные рассказали, что у них есть свой небольшой оркестр, состоящий из девяти человек. Он пользуется доброй славой не только в Петровском Заводе, но и на ближайших станциях. Довольно часто они ездят с концертами по станциям, бывали и в Хилоке, неплохо подрабатывают на этом. Сборы от концертов делят между всеми своими коллегами, потому что те работают за них, когда они выступают.

Они пригласили на вечеринку и меня, но я слишком устал за сегодняшний день, да и вещи не хотел оставлять без присмотра.

Мы условились, что завтра в полдень они разыщут меня, а вечером я пойду к ним на ужин.

Оставшись один, я разостлал на полу одеяло и прилег. Голова была полна мыслями о событиях прошедшего дня, а событий за один только день было больше, чем за целый год жизни в лагере.

Я подумал о том, что, быть может, все происшедшее со мной и не окажет никакого влияния на мою дальнейшую жизнь. Возможно, завтра или послезавтра я снова окажусь среди пленных. А вдруг мне все же удастся остаться в Хилоке и пожить хотя бы несколько месяцев жизнью свободного человека в революционной России, чтобы, обогатившись опытом, вернуться домой, в родную Венгрию?

Каково было бы мое удивление, если бы кто-нибудь шепнул мне тогда, что эта свободная жизнь в России, о которой я так мечтал, будет продолжаться не шесть месяцев, а целых тридцать лет и что, выпрыгнув той ночью из вагона на станции Петровский Завод, я расстался со своей прошлой жизнью и

вступил в новую, более интересную и значительную, в трудовую и боевую жизнь, полную печалей и радостей.

Петровский Завод

В шесть часов утра открылся ресторан второго разряда. Заведующий, а точнее — арендатор (позже я узнал, что управление железных дорог из года в год сдавало станционные рестораны в аренду), разрешил мне внести свой багаж в зал ресторана; больше того, он предложил мне поставить вещи в какую-то каморку, чтобы я мог отойти. Он не возражал и против того, чтобы я после закрытия заночевал в ресторане.

Этот добрый человек, видимо, надеялся, что за это время я буду питаться у него и оставлю в кассе немалую сумму. Если бы он знал, что все мое состояние — четырнадцать рублей!

Деньги же мне нужно было экономить, и потому на завтрак я заказал себе только чаю. К чаю подали молоко и хлеб. Я съел три больших куска хлеба и заплатил за завтрак рубль. К моему приятному удивлению, хлеб был бесплатным.

После завтрака я вышел прогуляться. Рядом со станцией, по ту сторону железнодорожных путей, находился какой-то завод.

Домов вокруг станции было мало. От пленных я узнал, что само местечко Петровский Завод находится в получасе ходьбы от станции.

Перейдя через пути, я прошел мимо завода. По дороге, которая вела из города, шли рабочие — мужчины и женщины, пожилые и молодые.

Какое это наслаждение — идти на работу! Ощущать, что ты делаешь что-то полезное, видеть результаты собственного труда, получать за свою работу деньги, чувствуя удовлетворение от того, что ты сделал что-то нужное для людей.

Мысль о том, что, быть может, через несколько дней я сам уже буду работать, волновала меня.

Захотелось войти на территорию завода и посмотреть, что там делается, но я воздержался, чтобы не попасть в какую-нибудь неприятную историю.

Погуляв с час, вернулся в ресторан и сел за стол. В это время прибыл поезд и ресторан наполнился людьми. Шум убаюкал меня, и, откинувшись на спинку скамейки, я задремал.

После сна голод дал о себе знать. Обедать я не собирался, рассчитывая, что вечером в пекарне меня как следует накормят. Но до вечера было еще далеко.

Решив, будь что будет, я заказал себе обед, считая, что наголодаться я еще успею, когда кончатся все деньги.

На первое мне подали щи со сметаной, с хорошим куском мяса, на второе — котлеты с картофелем.

Когда три года назад, еще в начале плена, мы получали обеды в одной офицерской столовой, которая каждый день кормила нас щами и котлетами, мы немало говорили об отсталости русской кухни. Сейчас же щи и котлеты показались мне поистине княжеским обедом.

Я пил послеобеденный чай, когда в ресторан вошел чернявый молодой человек лет двадцати пяти. Не попросив разрешения и не представившись, он подсел ко мне, хотя в помещении никого не было. И только за супом вдруг обратился ко мне с вопросом:

— Это вы тот самый человек, который собирается поселиться в Хилоке?

Вопрос был для меня настолько неожиданным, что я даже не нашелся, что ему ответить. Он же, не дожидаясь моего ответа, продолжал:

— Я сам из Хилока. Фамилия моя Бобицкий. Если вы будете давать уроки языка, прощу записать меня на английский.

Мой новый знакомый, судя по фамилии, был, как и Секлуцкий, поляком. Он рассказал, что работает на железной дороге помощником машиниста. В Петровский Завод приехал только на вчерашнюю вечеринку и сегодня уезжает скорым поездом обратно в Хилок. Обо мне ему рассказали местные пленные.

Мы разговорились, и я рассказал своему новому знакомому о знакомстве с Секлуцким и о его «приглашении» давать уроки языка в Хилоке.

Как только я упомянул фамилию Секлуцкого, моего знакомого так и передернуло. Он помрачнел.

— На Секлуцкого вы не полагайтесь. Приедете в Хилок, разыщите меня, я все улажу, — заявил он.

Попросив у меня записную книжку, он записал туда свой адрес и фамилию.

Меня удивило отношение моего нового знакомого к Секлуцкому, но пока я решил ничего не выяснять.

Новое знакомство приободрило меня.

«Добрый знак, — подумал я. — Не успел еще приехать в Хилок, а у меня уже есть первый ученик».

Коллеги-пленные сдержали свое слово. Татаи и другой пленный действительно зашли за мной в ресторан. Бобицкого они приветствовали как своего хорошего знакомого.

От Татаи я узнал, что Бобицкий в хилокском драмкружке играет роли «главных любовников», а в Петровский Завод он приглашен на гастроли и с большим успехом выступал вчера на вечере.

Бобицкий уехал двухчасовым поездом.

— До свидания, до встречи завтра или послезавтра в Хилоке! Не забудьте зайти ко мне! — крикнул он на прощание, стоя в дверях вагона.

Татаи и его друг повели меня к себе.

Работавшие в пекарне пленные жили в бараке. Вся мебель в бараке была изготовлена их собственными руками.

В бараке было человек пятнадцать. По случаю моего прихода был приготовлен настоящий венгерский гуляш.

— Вы сами себе варите? — удивился я. — Работаете в пекарне и даже не получаете обедов?

Мне рассказали, что все продукты они получают на руки, а на собственные деньги еще кое-что прикупают. На каждую неделю назначают нового повара. Денег у них хватает, так как оркестр приносит им неплохой доход.

Я спросил их о Хилоке. Оказалось, что они не раз бывали там с концертами.

— Хорошее место, — с убеждением сказал Татаи. — Там много порядочных людей. Почти все они были сосланы в Хилок после разгрома революции девятьсот пятого года. А какие там красивые женщины!

— Смотри, друг, — сказал кто-то, — чтобы какая-нибудь хорошенькая барышня не вскружила тебе голову.

— А почему бы и нет? — возразил другой пленный. — Станет свободным человеком и сможет даже жениться. Здесь девушки не хуже, чем у нас на родине.

— Но и не лучше. Целоваться они любят, а как только захочешь до нее дотронуться, так она сразу же требует, чтобы ты взял ее в жены.

Поужинали мы рано, так как большинству пленных нужно было идти на работу. Меня уговорили подождать остальных товарищей, которые придут со смены.

Через четверть часа пришедшие с работы товарищи сообщили, что комендант приедет из Иркутска ночным поездом и утром в восемь будет на работе.

Ребята сели ужинать, и мне пришлось еще раз поужинать с ними.

— Ешь, земляк! — уговаривал меня повар. — Такого блюда в Хилоке ты не попробуешь.

Около восьми часов я распрощался с ними, пообещав, что на следующий день после разговора с комендантом я еще раз приду сюда и расскажу о своих успехах.

— Хорошие они ребята, — объяснил мне Татаи по дороге на станцию, — вот только ничто их не интересует, кроме возвращения домой, собственного живота да девушек.

На следующее утро ровно в восемь я уже был у коменданта Вольфа.

Говорить по-русски мне не пришлось, так как Вольф прекрасно говорил по-немецки.

Я объяснил ему мою просьбу, заверив, что, кроме преподавания языка, никакой другой деятельностью, особенно политической, заниматься не буду.

— Это очень хорошо, — заметил поручик. — Но какое мне до всего этого дело?

— Меня направил к вам начальник хилокской милиции, сказав, чтобы я привез ему разрешение от ближайшего коменданта, занимающегося делами военнопленных.

— Ко мне? — удивился Вольф. — Он что, рехнулся, что ли? Или вы сами тронулись, друг мой. Какое это имеет ко мне отношение? Кто вы такой? Откуда и как сюда попали?

Я подробно объяснил.

Поручик громко расхохотался:

— Теперь хоть я знаю, кто вы такой и чего хотите, но вы не знаете, кто такой я. Я комендант пекарни Петровского Завода, в которой работают тридцать пленных. Они пекут хлеб для военных эшелонов. Вот ими-то я и распоряжаюсь. Ко всем остальным я не имею никакого отношения.

— Тогда у кого же мне просить разрешения на жительство в Хилоке?

— Если я хорошо понял, вас направили в Красноярск, следовательно, обратитесь к красноярскому коменданту.

— Как же теперь быть? — спросил я скорее самого себя. — Не ехать же в Красноярск вслед за эшеломом?

— Что вы будете делать, это ваше дело. У меня вообще нет никаких прав что-либо разрешать или запрещать вам.

Я стоял в растерянности, чувствуя, что мои планы терпят полное фиаско. Однако успокаиваться я не собирался. Мозг лихорадочно искал какого-то выхода.

Мои мучения прервал поручик.

— Послушайте меня, мой друг, — с усмешкой сказал он. — Я вам дам один совет. У нас здесь, сейчас все так говорят, царствует свобода. А раз есть свобода, кто может вам запретить делать то, что вы хотите? Ехать в Хилок или не ехать? Езжайте в Хилок. Или здесь есть свобода или ее нет? Счастливого пути, молодой человек!

Сказав это, комендант повернулся ко мне спиной и стал рыться в бумагах, которые лежали у него на столе.

— Спасибо, — выходя из кабинета, проговорил я, потому что нужно было что-то сказать, хотя в тот момент я не чувствовал никакой благодарности к коменданту. Из слов Вольфа я почувствовал его ненависть к существующему строю и полное безразличие к моей судьбе.

Только придя в ресторан и усевшись на скамью, я решил,

что, какой бы подлой целью этот контрреволюционно настроенный офицер ни руководствовался, он дал мне толковый совет. Доехать без билета до Хилока, разумеется, гораздо легче, чем безо всяких документов и билета до Иркутска. Да и стоит ли мне отказываться от своего плана, так и не испробовав всех возможностей?

Я твердо решил вернуться в Хилок.

Пришлось ждать утреннего поезда. Денег, чтобы поесть, у меня не было. К полудню я заглянул в пекарню в надежде что-нибудь перекусить там, но ничего не вышло. Часть пленных была на работе, а свободные от работы спали.

Весь день я ничего не ел, а около пяти часов снова решил попытаться счастья и зашел в пекарню. На этот раз мне повезло. Пекари внимательно выслушали мой рассказ о разговоре с Вольфом и как следует накормили меня.

Обратно в Хилок

Поезд прибывал в шесть утра, а уже в четыре я был на ногах. Волновался ужасно, чувствуя, что в этот день решится моя судьба.

Когда чуть-чуть рассвело, я вышел в садик возле станции и сел на скамейку. С восходом солнца должен был прибыть на станцию поезд, который, надеялся я, увезет меня навстречу новой жизни.

Без четверти шесть я вытащил на перрон свои вещи. О билете я и не думал, так как пленные уже привыкли ездить без билетов.

Подошел поезд. Когда я поднял с земли свой мешок, дверь вагона отворилась, и на перрон сошел мужчина в форме, со строгим выражением лица.

«Наверное, милиционер», — подумал я и уже начал говорить заранее приготовленную по этому поводу фразу.

— Хорошо, хорошо, — перебил он и помог мне погрузить в вагон мешок и сундучок. Оказывается, это был проводник вагона.

Я даже не успел поблагодарить его, как он ушел.

В вагоне около раскаленной «буржуйки» сидели пять человек. Они пили чай. Ни сундучка, ни мешка моего нигде не было видно.

Уж не украли ли? Но в этот момент кто-то из присутствующих посторонился, освободив мне место у печки, а другой подал чашку с чаем. Кто-то положил передо мной кусок селедки и хлеб. Один из мужчин объяснил мне, что на нижних нарах есть одно свободное место, которое я могу занять. Вещи мои уже лежали под нарами.

Я едва пришел в себя от удивления. Я много слышал о непосредственности, доброте и гостеприимстве русского народа, но, насмотревшись на лагерную жизнь, испытав бездушные собственных офицеров, грубость унтеров и жадность полицейских, я, право, никак не ожидал такого приема.

Пассажиры отнеслись ко мне, как к старому другу. Поинтересовались, куда я еду и кем был до армии, есть ли у меня семья, давно ли я в плену и хочу ли попасть на родину.

Я, как мог, ответил, но при моем знании русского языка это было делом далеко не легким.

Попив чаю, все легли отдыхать, но мне не спалось. Сидя на краю нар, я курил одну сигарку за другой. Махорки мне дали мои попутчики.

Мысли мои были заняты грядущим днем.

На подустанке в вагоне снова появился проводник.

«Что же теперь будет? — спрашивал я себя. — Удастся ли мне смягчить его сердце? А вдруг он не разрешит ехать без билета и посадит меня на ближайшей станции, а то, чего доброго, сдаст еще в милицию?»

Сначала проводник проверил билеты у пассажиров, ехавших на верхних нарах, потом — на нижних. Делал он это очень внимательно.

— Я венгерский пленный, — начал я. — Еду из Даурии, из лагеря...

Договорить мне не удалось, так как проводник перебил меня и спросил, показывая на человека, спящего с краю:

— Он тоже едет с вами?

— Нет, я еду один.

Тогда проводник подошел к спящему и, разбудив его, спросил билет.

Проверив билеты, проводник подсел ко мне и, достав махорку, предложил закурить. Потом мы долго разговаривали обо всем на свете и пришли к единому мнению, что давно пора бы быть миру на земле.

Встреча в Хилоке

Часов в одиннадцать поезд прибыл в Хилок. Попутчики помогли мне вынести вещи, и мы дружески распрощались. Только я подумал, как бы донести вещи до вокзала, как ко мне подошел пожилой мужчина с длинными волосами и бородой. На нем была рубаха до колен, подвязанная шнурком. По моим представлениям, в такой рубахе ходил Лев Толстой.

«Кто он? — подумал я. — Наверняка какое-нибудь важное лицо. Но что ему от меня нужно?»

— Вы намерены остаться в Хилоке? — строго спросил мужчина.

«Ну, конец, — мелькнуло в голове. — Не везет же мне. Не успел, собственно, приехать, как уже пристают».

— Я пленный венгерский офицер. Хотел бы остаться в Хилоке на жительство... — заметил я.

Но бородач не дал мне договорить:

— Хорошо, хорошо. Я потому вас спросил, что если вам нужно на вокзал, то я дешево доведу вас на повозке.

Я облегченно вздохнул. Можно было бы посмеяться над важным извозчиком и моим страхом, но тогда мне было не до смеха.

— Я еще не знаю, куда мне ехать. Сначала мне нужно где-нибудь положить вещи.

— Я помогу вам, — предложил старик. — Отнесем их в зал ожидания. А потом, когда узнаете, куда вам нужно ехать, вы найдете меня перед вокзалом.

В ресторане третьего разряда старик лично договорился с официантом, чтобы тот присмотрел до конца смены за моим багажом.

Поблагодарив обоих, я пошел на почту, чтобы разыскать там моего знакомого, телеграфиста Секлуцкого.

Но на почте, к моему удивлению, была только девушка-латышка. Она любезно поздоровалась со мной. Когда же я спросил, где можно найти Секлуцкого, девушка стала объяснять мне что-то, из чего я понял только, что Секлуцкого сейчас нет в Хилоке. Прошло довольно много времени, пока девушка на ломаном немецком языке объяснила, что Секлуцкий уехал по делам в Читу и вернется только через несколько дней.

Новость была не из приятных.

— Да, не везет, — тихо сказал я по-венгерски.

Девушка не поняла смысла сказанного, но, видно, по лицу догадалась о моем разочаровании и участливо взглянула на меня.

Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга, и вдруг меня осенило: я вспомнил о своем другом хилокском знакомом — Бобицком. Быть может, он заменит Секлуцкого?

Я спросил девушку, не знает ли она Бобицкого. Из ее ответа стало понятно, что лично она с ним не знакома, но слышала эту фамилию.

Тогда я вытащил свою записную книжку и показал ей написанный Бобицким адрес. Он состоял из двух слов: «Железнодорожное депо».

Девушка объяснила мне, что к депо надо все время идти вдоль железнодорожного полотна.

Поблагодарив, я пошел искать депо.

Я боялся, что не смогу войти в депо, но меня никто не остановил. Как только я вошел туда, ко мне подбежали трое и спросили, кого я ищу.

Услышав фамилию Бобицкого, рабочий громко крикнул: — Бобицкий! Иди сюда скорее! Тут тебя земляк ждет!

Тогда я удивился, почему меня называли земляком Бобицкого. Позже узнал, что в Сибири и Забайкалье всех пленных называли «австрийцами».

Тем временем вокруг меня собрались рабочие. Один из них предложил мне махорки, кто-то протянул папиросу. Я закурил. Рабочий довольно улыбнулся и сунул мне в карман всю пачку.

А тут с проходящего мимо паровоза, весь закопченный сажей, прыгнул Бобицкий. Мы поздоровались. Рабочие разошлись, оставив «земляков» вдвоем.

В нескольких словах я рассказал, в какую беду попал, так как Секлущкий, который обещал помочь мне, находится в отъезде.

— Вот негодяй! — возмутился Бобицкий. — Он еще ответит за это! Я научу его честности! А ты, земляк, успокойся. Я сейчас все твои дела улажу. Иди на станцию и жди меня в ресторане. В два у меня кончается работа, и я сразу же приду за тобой. Вместе пообедаем, а потом поговорим, что и как.

Мне было непонятно возмущение Бобицкого. Секлущкий, видимо, не знал, что его пошлют в Читу в командировку. Мне же было важно, чтобы кто-нибудь мне помог. Будет это Секлущкий или Бобицкий — все равно.

Я вернулся в ресторан. Прежде всего хотелось помыться, но на двери комнаты, где находились умывальники, висела табличка: «Закрыто на ремонт».

За стойкой ресторана стоял высокий, чуть-чуть лысеющий мужчина с большими усами, лет сорока пяти — пятидесяти. Я спросил у него, можно ли мне помыть руки на кухне. Мужчина не удостоил меня ответом, а только покачал головой.

Был почти полдень, и я проголодался.

Пересчитав деньги, я обнаружил, что у меня рубль сорок.

В ресторане уже обедали. В Петровском Заводе я заплатил за обед семь рублей. Наверное, дорогим блюдом было второе, а щи — дешевыми. Но хватит ли на первое рубль сорок?

Дымящиеся щи, которые ели за соседним столиком, еще больше растравили мой аппетит, особенно потому, что на столе было много хлеба, а за него, как я уже знал, платить не нужно.

Подозвав официанта, я спросил, сколько стоит тарелка щей.

— Если будете обедать, рубль пятьдесят. Отдельно же — два рубля, — ответил официант.

— Тогда, будьте добры, принесите мне стакан чаю с молоком.

В Петровском Заводе чай стоил рубль. Я предполагал, что и здесь он не будет дороже.

Пока не спеша пил чай, ресторан наполнился людьми. Мне бросилось в глаза, что вновь пришедшие ничего не заказывали, а только сидели за пустыми столиками или же прохаживались по залу. Несколько человек сели неподалеку от меня, другие стояли около моего стола. И те и другие с удивлением разглядывали меня.

Я вспомнил слова начальника милиции о том, что в Хилке еще не было ни одного пленного. Поэтому, видимо, на меня и смотрели, как на нечто новое и необычное.

Мне стало как-то неудобно.

Наконец один из любопытных спросил:

— Вы будете здесь работать или только так, проездом?

Я выпалил заранее заученные фразы.

Все внимательно слушали. Когда я кончил говорить, стало тихо-тихо. Потом задавший вопрос подсел ко мне.

— Скажите, а как вы будете преподавать языки? — спросил он. — Каждому в отдельности или откроете здесь школу?

— Это будет зависеть от того, сколько наберется желающих. Может, отдельно, а может, группами, однако более четырех-пяти человек в группе уже нежелательно.

— Разумно, — согласился мой собеседник. — У нас здесь много таких наберется, кто захочет заниматься. Вот, например, я давно мечтаю научиться говорить по-английски. Запишите меня.

Я вынул записную книжку и записал фамилию, профессию и адрес. Это был машинист Осип Кузьмич Еременко.

— Меня тоже запишите на английский, — сказал еще кто-то.

— И меня! И меня! — раздавалось сразу несколько голосов.

Растолкав собравшихся, ко мне протиснулся небольшого роста молодой человек в очках.

— Пожалуйста, запишите меня на немецкий язык.

— А меня на французский, — раздавалось с другой стороны.

Я едва успевал записывать фамилии.

За несколько минут у меня появилось около двадцати учеников.

Мы договорились, что в ближайшее время я улажу вопрос с жильем и тогда запишу всех желающих изучать иностранные языки. После этого мы как-нибудь соберемся вместе и разобьем желающих на группы.

Постепенно мои «ученики» разошлись, и я снова остался один.

Два часа прошло, а Бобицкий все еще не приходил.

Заплатив за чай ровно рубль, я сел на скамейку у окна.

Опоздание Бобицкого начинало меня злить. А что, если он надул меня и не придет? Сейчас, когда я убедился, что не останусь здесь без работы, было еще горше, если бы я не получил разрешение на жилье.

Около трех часов ко мне на скамейку подсел мужчина в гражданском. Немного помолчал, он заговорил со мной, задав обычные в этом случае вопросы: кто я, откуда, что собираюсь делать?

Я уже привык к таким вопросам и бодро отвечал.

— Понимаю, понимаю, — сказал незнакомец, но по его недоверчивому взгляду я понял, что ему этого мало. — А есть ли у вас документы?

Я занервничал. Кто этот человек? Может, секретный агент? Какие документы могут быть у пленного?

И тут я вспомнил, что у меня есть удостоверение, и показал его незнакомцу. Внимательно просмотрев его, он сказал:

— Все в порядке. Когда вы наберете себе достаточно учеников и окончательно решите остаться здесь, зайдите ко мне. Я начальник хилоской милиции, а фамилия моя Добрынин.

Я не верил своим ушам. Все было столь неожиданным, что я не сразу обрел дар речи.

И в тот же миг я почувствовал, что сейчас все решится, набрался смелости и сказал:

— Я рад, что не знал, с кем разговариваю. Теперь вы видите, мне нечего скрывать.

— Все в порядке. Набирайте себе учеников, а потом зайдете ко мне, — повторил Добрынин и удалился.

Между тем в ресторане снова появились люди, которые ничего себе не заказывали. Я начинал понимать, что люди сюда приходят, как у нас в казино, просто посидеть и поговорить.

Через несколько минут у меня появилась дюжина новых учеников.

Бобицкий пришел около четырех часов. Даже не пзвинившись за опоздание, не терпящим возражения тоном сказал:

— Пошли обедать, там все и обговорим.

Столовая железнодорожников, куда мы пришли, находилась по соседству с вокзалом. Вся ее обстановка состояла из двух длинных столов и простых деревянных скамеек. Столы были застланы белыми скатертями, а тарелки, ложки и вилки так и блестели чистотой. Подавали обед две хорошенькие девушки. Они принесли щи и котлеты. Самое же главное отличие этой столовой от ресторана заключалось в том, что обед здесь стоил вдвое дешевле.

Бобицкий много ел и мало говорил. Я хотел было рассказать о моих успехах, но он только рукой махнул:

— Ешь пока, потом поговорим.

Единственное, о чем он мог говорить всегда, — это о Секлуцком.

— Зазвал человека сюда, а потом бросил безо всякой по-

мощи, — проговорил он, пока мы ждали первое. — Это просто возмутительно.

Я хотел ответить ему, но он уже занялся едой и не соби-
рался продолжать разговор.

Между первым и вторым Бобицкий заговорил снова:

— Хоть бы оставил вам немного денег! Уж это-то он мог бы сделать! Просто возмутительно! Вот вам на первое время пятьдесят рублей. Возьмите, земляк, на всякий случай. Здесь вы мой гость. Заработаете, отдадите, можете считать, что я вам их даю в долг.

Всунув мне в руку деньги, он снова замолчал, так как в это время подали второе.

За чаем с большим трудом все же удалось заставить его выслушать меня.

Однако ни мои успехи в приобретении учеников, ни встреча с Добрыниным не произвели на Бобицкого особого впечатления.

— Постепенно все уладится, — заметил Бобицкий. — Я же вам говорил, что я все улажу, и не так, как этот пройдоха Секлуцкий, который много наобещал, но ничего не сделал.

После обеда, когда мы пришли в ресторан за моими веща-
ми, Бобицкий попросту приказал буфетчику принести мои вещи.

В ресторане второго разряда он минут пять что-то говорил тому самому рестораничку, который не пустил меня в кухню помыть руки. О чем говорил Бобицкий, я не понял, так как говорил он очень быстро.

Ресторанщик спокойно выслушал Бобицкого и кивнул.

Когда принесли мои вещи, ресторанщик приказал официан-
ту унести их и запереть.

Затем мы сели поговорить. Разговор снова зашел о Секлуц-
ком. Бобицкий рассказал о себе и о Секлуцком, но из его рас-
сказа я понял только половину.

Оказалось, что Секлуцкий и Бобицкий ухаживают за одной девушкой. Бобицкий не назвал ее имени, но я понял, что речь идет о Любе Ивановой. Видимо, в последнее время девушка больше симпатизировала Секлуцкому, и, может быть, поэтому Бобицкий пытался представить Секлуцкого как никчемного и бессовестного человека.

Мне пришлось сдерживать себя, чтобы не рассмеяться, по-
тому что не хотелось портить отношений с Бобицким.

Мне было все равно, с кем из них будет девушка. Не инте-
ресовало и то, из каких побуждений Бобицкий помогал мне. Важно, что помогал.

Во время нашего разговора в ресторане находились многие из тех, кто записался ко мне, но никто из них не подошел к нам. Закончив говорить, Бобицкий позвал их и от моего имени начал распределять учеников по учебным группам.

Я не собирался спорить с ним, решив, что, если что-нибудь не так, позже сам все переменяю.

Неожиданно активная деятельность Бобицкого была прервана. В ресторан вошел военный огромного роста, с саблей на боку, наверное милиционер. Он подошел прямо ко мне, положил на плечо руку и грубо сказал:

— Каким образом вы сюда попали? Сейчас же следуйте за мной!

Бобицкий разозлился, вскочил и не менее грубым тоном начал объяснять, что милиционер опоздал, так как я уже встречался с начальником милиции, который разрешил мне временно остаться в Хилоке.

Однако милиционера такое объяснение отнюдь не удовлетворило, и он заговорил еще громче. Началась довольно шумная словесная перепалка. Собравшиеся встали на сторону Бобицкого, следовательно, и на мою.

Наконец Бобицкий махнул мне:

— Пошли в милицию. Не бойся, я тоже пойду с тобой. — Он впервые назвал меня на «ты». И, обратившись к окружающим нас людям, добавил: — А вы не ходите. Я все сам улажу.

Мы пришли в милицию, где три дня назад я был с Секлуцким. Принял нас все тот же худощавый человек со строгим лицом. Он узнал меня. Ему доложили мою «историю», но он, казалось, не слушал ее, а сразу же спросил, достал ли я разрешение.

Вместо меня ответил Бобицкий, сделав ударение на том, что разрешение мне дал Добрынин.

— У Добрынина нет никакого права давать такие разрешения, — тоном, не терпящим возражения, заметил начальник, которого милиционер назвал «товарищ старшина», а Бобицкий «товарищем Невдахом». — Добрынин — начальник хилокской милиции, там он и может распоряжаться. Железнодорожная же станция подчинена железнодорожной милиции. Всякому, кто прибывает в Хилок по железной дороге, разрешение на жительство могу выдать только я. И я это разрешение вам выдам.

Позже я узнал, что городская и железнодорожная милиция — это два совершенно независимых друг от друга учреждения, которые постоянно враждуют между собой.

Бобицкий еще о чем-то поговорил со старшиной, тот записал мою фамилию, некоторые данные и затем милостиво отпустил.

По пути Бобицкий сказал, что начальник милиции напишет красноярскому военному коменданту бумагу, в которой спросит, не возражает ли тот против моего проживания в Хилоке.

Тут мой новый друг заявил, что теперь ему нужно уйти, а же могу делать, что хочу. Могу лечь спать, если хочется, или поужинать в ресторане, а все вопросы с хозяином ресторана он уже уладил и позже заплатит за меня столько, сколько нужно. Он посоветовал поужинать в железнодорожной столовой, где меня уже знают. Затем пообещал, что утром зайдет ко мне и мы позавтракаем вместе, а сейчас я должен подыскать какую-нибудь квартиру.

Как только Бобицкий ушел, ко мне подошел один из моих будущих учеников — латыш Роман Юровский, работающий в депо монтажником. Поговорив обо всем понемногу (больше говорил он, я только слушал), мы пошли вместе ужинать в столовую.

Ужин показался мне чрезвычайно странным: передо мной поставили глубокую тарелку с какими-то маленькими красными шариками.

— Что это за кушанье? — спросил я.

Парень улыбнулся:

— Мы не богаты, но живем хорошо. Это красная икра из рыбы кеты. Раньше ее могли есть только богатей, да и то они икру лишь на хлеб мазали, а мы, рабочие, едим ее сейчас ложками. Конечно, лучше было бы съесть чего-нибудь мясного, но мяса у нас маловато, а вот красной икры хватает, потому что ее сейчас некуда вывозить. Как говорится, на безрыбье и рак рыба.

Красная икра пришлась мне по вкусу, но, сколько я ни старался, не съел и половины того, что стояло передо мной.

— Не беда, — утешил Юровский. — Сначала и я ее не очень любил, к господским кушаньям нужно привыкнуть.

После ужина Юровский предложил:

— У меня есть с полчаса свободного времени, если не возражаете, пойдемте на перрон.

Перрон здесь был любимым местом для прогулок. Перед зданием вокзала взад-вперед медленно прохаживались девушки, в одиночку и группами, человека по три. Парочек было мало. Все разговаривали, смеялись, даже пели.

— Я вижу, у вас веселая жизнь, как будто никакой войны и на свете нет. А я как раз слышал, что сейчас проводится мобилизация сил против атамана Семенова.

— Войны? Той войны, от которой следует только плакаться, горевать, уже нет, а бить буржуев и белогвардейцев — дело веселое. Примерно половина ребят, которые сейчас прохаживаются здесь по перрону, добровольно записались в Красную Армию. Я, между прочим, тоже, но вот беда — из депо не отпускают.

Мимо нас прошли две кокетливые девицы. Одна из них, белокурая, как бы нечаянно толкнула меня.

— Виновата, — извинилась баловница и лукаво улыбнулась.

Слова «виновата» я тогда не знал, но улыбку девушки прекрасно понял.

Когда мы повернули обратно, снова встретились с этой парой. На этот раз рядом со мной прошла не блондинка, а брюнетка. Она точно так же задела меня и произнесла то же загадочное слово «виновата», одарив еще более обворожительной улыбкой, чем ее подруга.

В глазах у меня пошли темные круги.

— Я зайду в здание вокзала, — сказал я Юровскому. — Эта игра не по мне.

— Ничего, браток, — улыбнулся он. — Вот устроишься у нас, заведешь себе красивую девушку, и все будет хорошо.

Когда Юровский ушел, я хотел прилечь на скамейке и отдохнуть, но в это время прибыл скорый поезд, и в ресторан хлынули люди.

Я сел.

В ресторане шло настоящее сражение. Один-единственный официант разносил на огромном подносе горячие блюда. Большинство же пассажиров атаковали буфет с холодными закусками. Стоящая за стойкой полная женщина, видимо жена владельца ресторана, с невозмутимым спокойствием раздавала тарелки с закусками, тут же получая деньги.

Однако все это вавилонское столпотворение длилось не более пятнадцати минут. Перед третьим звонком ресторан снова опустел. Официант и посудомойка с шумом убирали грязную посуду.

Усталость взяла свое, и под звон убираемой посуды я задремал.

Когда я открыл глаза, кроме меня в ресторане было всего двое: хозяин ресторана за стойкой со стопкой в руке и пожилой железнодорожник напротив него. Перед ними стояла бутылка водки. Они оживленно беседовали. Стопки опорожнились одна за другой. Железнодорожник говорил тихо, а Федор Павлович, так звали хозяина ресторана, громко. Из их разговора я понял только одну фразу: «Об этом не может быть и речи!»

Когда бутылка опустела, спор прекратился. Федор Павлович проводил железнодорожника за дверь, а затем запер ее.

Повернувшись, он увидел меня. Я решил, что до этого он меня не заметил.

Подойдя, он сел, предложил закурить и закурил сам.

— Спасибо, — поблагодарил я.

Некоторое время мы молчали. Потом Федор Павлович вдруг ни с того ни с сего убежденно заявил:

— Немцы — свиньи!

У меня не было ни малейшего желания защищать немцев, а Федор Павлович, видимо, ожидал, что я буду возражать. Не обращая внимания на мое молчание, он продолжал:

— Вы спросите почему? Эти свиньи подписали мирный договор, а сами воюют на Украине. Что вы на это скажете?

— Мне, как венгру, это не в новинку, — отвечал я. — У нас, венгров, есть одна старинная песня, которая начинается словами: «Не верь, венгр, немцам, как бы они тебя не уверяли...»

Моего собеседника словно подменили. Наклонившись ко мне, он с удивлением и облегчением спросил:

— А вы разве не австриец?

— Нет. Я венгр.

Мое заявление окончательно сбilo его с толку.

— Так чего же ты мне об этом раньше не сказал! — возмущенно воскликнул он, неожиданно перейдя на «ты». — Этот идиот Бобицкий сказал мне, что ты австриец!

— Он, видимо, сказал, что я из австро-венгерской армии, — пытался я как-то выгородить Бобицкого.

Федор Павлович наклонился ко мне еще ближе:

— Австрийцев я не люблю. Они без пяти минут немцы.

Проговорив это, он исчез за стойкой и через минуту появился с бутылкой водки и двумя стопками. Налил.

— Сейчас я увижу, правду ли ты говоришь, — обратился он ко мне. — Если ты венгр, то выпей со мной вместе за то, чтобы немцы все сгинули.

Только теперь мне стало ясно, почему старик не пустил меня тогда на кухню помыть руки.

Я очень устал, но не мог оскорбить старика отказом. Встал и подошел к нему.

Федор Павлович подал мне стопку, сам взял другую и уже хотел чокнуться со мной, но в самый последний момент передумал и поставил ее на стол.

— Подожди. Нужно чем-нибудь и закусить, — и снова исчез за стойкой.

Через три-четыре минуты он принес на подносе холодное мясо, соленые огурцы и хлеб. Подняв стопку, торжественно заявил:

— Пусть им наша земля будет пухом!

Когда стопки были опустошены, он предложил:

— Ешь, пей, венгр, сколько влезет. Ты здесь не у немцев.

Когда же мы выпили еще, Федор Павлович сказал:

— Может, ты думаешь, что я пьян? Я не пьян, сынок, но и не трезв, просто я сейчас в таком состоянии, что могу говорить правду. Этот мерзавец Любченко — начальник станции, который только что ушел отсюда, — сказал, что Украину мы потеряли, так как большевики подписали с немцами мир. А я ему и говорю: не может этого быть, газеты ты читаешь? Читал, что сказал Ленин? Народ хочет мира, и это очень важ-

но. Всему свое время, нужно только подождать. Пусть сегодня немцы веселятся. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. А завтра его сиятельство император Вильгельм может подтвердить мирным договором свой толстый зад. Вот она правда! Давай выпьем, брат-венгр!

Я выпил и третью стопку. Крепкий и непривычный напиток ударил в голову. Ресницы так и слипались, и я с трудом сдерживался, чтобы не уснуть.

Заметив, что я уже готов, Федор Павлович смилостивился надо мной.

— Ну, сынок, спокойной ночи, — сказал он, вставая. — Я тоже пойду домой. Выпусти меня и запирайся.

На прощание он крепко пожал мне руку.

Оставшись один, я повалился на скамью и моментально уснул. Сильный стук в дверь разбудил меня. Я неохотно встал и, подойдя к двери, открыл. На пороге стоял Федор Павлович.

— Я вернулся, — сказал он виновато. — Эта ведьма-баба не пустила меня домой. Говорит, иди туда, где был, и обозвала меня свиньей. Ну, что ты на это скажешь? Спички у тебя есть?

Закурив окурочек, он направился в маленькую комнатку позади стойки. Я поддерживал его, боясь, что он упадет.

— Никогда не женись, сынок. Нет ничего страшнее, чем сварливая жена. Это я тебе говорю. Это хуже всего на свете, — бормотал он. — Хуже этого могут быть только немцы!

Растоптав погасшую папиросу, он в чем был завалился на диван и через несколько секунд уже храпел.

Я вышел в зал, запер дверь и снова лег.

Часы пробили одиннадцать.

Скамейка была твердой. В зале заметно похолодало, а укрыться мне было нечем: одеяло осталось в мешке.

«Важно, что я удачно добрался до Хилока, — утешал я себя. — Разрешение и работа у меня есть. Сплю я под крышей, а там и квартиру найду».

III. НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ

День первый

Утром я проснулся оттого, что кто-то толкал меня в бок. Это был офицант.

Видимо, скоро должен был прибыть первый утренний поезд.

Я встал и вышел на воздух,

Рабочие спешили в депо.

Приятно было сознавать, что после четырехлетнего вынужденного безделья я скоро снова стану членом большой трудовой семьи. Буду знать, что мне делать, когда, где быть и зачем.

Когда я через час вернулся в ресторан, поезд уже ушел. Бобицкий обещал прийти рано, но его еще не было. Идти одному в столовую не хотелось, и я решил выпить чаю здесь.

Неожиданно откуда-то появился Юровский:

— Пошли завтракать!

Молодая и красивая девушка, которая обслуживала нас, так мило улыбнулась, что у меня голова пошла кругом. Но, пока я собирался получше рассмотреть ее, она уже отошла к другим столикам.

— В это время здесь больше всего народу, потому что ровно в восемь начинается утренняя смена.

Завтрак был отменным: три больших куска мяса, полная тарелка гречневой каши и чай. По моим представлениям, этого вполне хватило бы и на обед. Заметив мое удивление, Юровский пояснил:

— Я знаю, у вас утром мало едят, а в обед и вечером — много. Мы же утром перед работой любим как следует поесть, чтобы сила была. После работы тоже плотно едим, чтобы восстановить силы, а перед сном ни к чему набивать желудок, мы пьем чай и немного закусуваем.

После завтрака Юровский пошел на работу, а я вернулся в ресторан и до самого обеда беседовал со своими «учениками». Среди них были машинист, телеграфист, даже один инженер. Пока, можно сказать, они давали мне урок русского языка.

К полудню стали прибывать поезда. Открылся газетный киоск у входа, и пожилая дама, работавшая в нем, начала выкладывать на витрину газеты. Я подошел посмотреть, чем она торгует.

Кроме одной удинской и двух иркутских газет здесь было много иллюстрированных еженедельников, более того, даже толстые журналы военного и довоенного времени. Тут же лежали книги, если судить по обложкам — романы.

Дама ответила на мое приветствие и предложила свой товар. С трудом я объяснил ей, что у меня нет денег, а по-русски я понимаю очень плохо.

— Неважно, — сказала мне дама, — тот, кто собирается жить среди русских, должен выучить и их язык.

— Буду стараться, — сказал я, направляясь на облюбованное место у окна, чтобы обдумать там, как получше спланировать уроки. Я уже достал записную книжку и карандаш, но, взглянув в сторону киоска, заметил там молодую женщину, которая разговаривала с пожилой дамой. Свободное пальто темного цвета скрывало ее фигуру. На голове — белая шаль.

В первый момент она не показалась мне привлекательной. Но весь ее облик был настолько гармоничным, что я не мог оторвать глаз. Темное пальто и белая шаль освежали лицо женщины, делали ее похожей на монахиню. Великолепие этой женщины очаровало меня. И вдруг я увидел, что это чудесное создание направляется ко мне.

— Здравствуйте, — сказала она, любезно раскланявшись. — Это правда, что вы будете давать у нас уроки иностранного языка? Я хочу научиться говорить по-английски. Можно еще записаться к вам?

Это взволновало меня. Среди моих учеников еще не было ни одной женщины. Неужели эта прекрасная женщина станет моей ученицей?

— Да, и очень охотно, — ответил я.

Только тут я спохватился, что даже не ответил на ее приветствие.

— После обеда я каждый день совершенно свободна, — продолжала женщина. — Я давно мечтаю научиться говорить по-английски. Если возможно, я бы хотела, чтобы вы занимались со мной ежедневно по часу.

— С одной? — смутился я.

— Как вас понимать? — удивилась женщина. — Разве вы даете не индивидуальные уроки?

Я объяснил, что, поскольку желающих здесь много, придется организовать группы по четыре-пять человек в каждой.

— Мне это не подходит, — решительно заявила она. — У каждого человека свои способности. Я бы хотела, чтобы вы давали мне ежедневно один урок. Есть у вас для этого возможности?

Я не верил своим ушам.

— Никаких препятствий для этого нет, — ответил я.

— Тогда давайте сейчас же и договоримся. Вы сможете с четырех до пяти ежедневно?

— Уроки я еще не распределял, так что согласен заниматься с вами с четырех до пяти.

— Благодарю вас.

— Могу я записать ваше имя?

— Ах, извините. Тотская, Екатерина Васильевна.

Я тоже представился.

— Одним словом, до свидания, до завтра, ровно в четыре. Екатерина Васильевна протянула руку и пошла обратно к киоску, но вдруг вернулась:

— Извините, я забыла дать вам свой адрес. Правда, найти нас не так просто, так как табличек на домах у нас нет. Любой дом можно найти по фамилии хозяина дома. Так что для первого раза будет лучше, если я зайду за вами в ресторан и мы вместе пойдем ко мне.

— Очень хорошо.

— Тогда до свидания.

— Всего хорошего.

Сидя на скамейке и поглядывая в сторону газетного киоска, я думал о том, что, наверное, родился под счастливой звездой. Не прошло и трех минут, как моя новая знакомая снова подошла ко мне.

— Извините меня, пожалуйста, не хотите ли немного пройтись по свежему воздуху? Мы с подругой, зовут ее Анна Васильевна, пойдем сейчас прогуляться на набережную. Если есть желание, пойдемте с нами.

— Очень рад, — начал я, — но я совсем плохо говорю по-русски.

— Не беда. Я вижу, мы прекрасно понимаем друг друга.

Только сейчас до меня дошло, что я действительно понимаю ее слова. Она была первым человеком, который разговаривал со мной так, что я все прекрасно понимал.

От станции на набережную вела высокая деревянная лестница. Екатерина Васильевна шла посередине, я — слева, а Анна Васильевна — справа от нее. Екатерина Васильевна, словно мы давно были хорошими друзьями, рассказала мне, что она работает в лесничестве, что у нее есть брат, военный, сейчас он в плену у немцев и находится в Германии. Мать ее — сестра милосердия на фронте, сама она училась в Петрограде, но в семнадцатом году из-за войны бросила учебу и приехала сюда, в Хилок, к своему дяде. Одно время они жили в Иркутске, где мать работала в госпитале старшей сестрой. Там Екатерина Васильевна впервые в жизни увидела австрийцев, но я первый пленный, с кем она говорит.

Из ее рассказа я понял почти все, хотя многих слов не знал. Если Екатерина Васильевна замечала, что я чего-то не понимаю, она простыми словами объясняла непонятное. Когда же я говорил и не мог найти нужного слова, она тотчас же подсказывала мне его.

«Ну, — думал я, — получится из меня педагог или нет — это еще вопрос. А вот у такой учительницы я довольно быстро смогу научиться говорить по-русски».

Анна Васильевна говорила мало. Когда она видела, что я ее не понимаю, повторяла фразу еще раз, только погромче. Видимо, она думала, что так мне легче понять ее.

Через полчаса Анна Васильевна простилась с нами.

— У Анны Васильевны недалеко от церкви живет сестра, вот она нас и покидает. А вам я советую проводить меня до дому, тогда завтра вы будете знать, где меня искать. И мне не нужно будет идти на станцию...

Такое решение пришлось мне по душе.

Мы пошли по аллее. Было ощущение, что мы давно уже знаем друг друга. Потом эту мысль вытеснила другая: а вдруг она не свободна? Вероятно, у нее есть муж? На вид ей лет два-

дцать пять. Не может быть, чтобы такая симпатичная женщина до сих пор не замужем.

— Вот и Чертова канава, — сказала Екатерина Васильевна, когда мы свернули в узкую улочку. — Видите слева небольшой двухэтажный дом? В нем я и живу, на втором этаже.

У ворот дома мы остановились.

— Жду вас завтра в четыре. Обещаю быть внимательной и усидчивой ученицей. До свидания! — И она протянула мне руку.

Я вернулся на набережную. Было приятно пройти по тому самому пути, где полчаса назад я шел рядом с Екатериной Васильевной. Тут мне пришло на ум, почему она показалась мне знакомой.

Когда мне было лет семнадцать, я как семинарист ордена пиаристов посещал философский факультет Будапештского университета, пережил большое душевное потрясение, выбирая между любовью и религией. Чувствуя, что, если откажусь от любви, жизнь потеряет для меня всякий смысл, я решил навсегда распрощаться с религией. Однако по материальным и другим соображениям я не мог сразу осуществить свое намерение. Нужно было ждать несколько месяцев. За это время я не раз мечтал о том, как окажусь на свободе, как обязательно встречу женщину, которую по-настоящему полюблю и которая сделает меня счастливым. В университете я познакомился с одной студенткой. На одной из лекций профессора Эмила Понори мы сидели рядом и сверяли наши записи. С тех пор при встрече мы здоровались.

Это была симпатичная стройная девушка с каштановыми волосами, с красивыми голубыми глазами на румянном лице. Одевалась она элегантно, но просто и была олицетворением свежести и чистоты. Именно такой я представлял себе идеальную женщину. Я хотел закрепить наше знакомство, но она больше ни разу не сядила рядом со мной и не заговаривала. У меня же не хватало смелости самому заговорить с ней.

Однажды мне приснилось, что мы с ней едем в омнибусе. Мы любим друг друга, очень счастливы и решили пожениться. Под впечатлением этого сна я ходил несколько дней. Он запомнился мне на всю жизнь. Жаль только, что это было во сне.

После этого я еще месяц учился на философском, но, кроме «здравствуйте», мы не обмолвились ни одним словом.

Сейчас, гуляя по набережной, я вспомнил об этом случае. Моя новая знакомая чем-то напоминала мне мой идеал женщины. Возможно, сходство было неполным, но с годами черты прежнего идеала стерлись, а желание встретить настоящую женщину жило во мне все так же, как и прежде.

Неужели здесь, в этой незнакомой мне стране, я в первый же день повстречал ту, которую столько лет искал на родине?

Ужинал я вместе с Юровским. Не надеясь уже на обещания Бобицкого, спросил Юровского, не поможет ли он мне найти квартиру.

— Сейчас эта задача не из легких. В Хилоке не любят сдавать комнат. Но наберись терпения, что-нибудь найдем.

День второй

На следующее утро я составил расписание занятий, разумеется выполнив желание Екатерины Васильевны. После урока с ней я оставил для себя час свободного времени.

Мои ученики интересовались, по каким учебникам мы будем заниматься.

— Заниматься будем по методу Берлица, — успокоил я их. — В этом случае учебники нам будут не очень нужны. В конце каждого урока я буду диктовать вам задание. Хорошо было бы достать несколько учебников Берлица. В лагере для пленных их было много. Если удастся связаться с каким-нибудь лагерем, то достанем эти учебники там.

Высокий молодой парень, по фамилии Распопин, предложил свои услуги: на днях он должен ехать в Удинск, зайдет в березовский лагерь и купит у пленных несколько учебников.

Я согласился с его предложением.

— Вот только денег на учебники у меня нет, — заметил я.

— Это не проблема, — сказал машинист Еременко. — Вам деньги и без этого нужны. Пусть каждый из учеников даст вам в задаток сто рублей.

К моему удивлению, никто не стал протестовать или возмущаться. Все ученики, а их было в тот момент шестеро, без слова дали мне по сотне. Я не взял деньги только от Распопина, условившись, что он купит на них учебники.

— Я не знаю, сколько будет стоить учебник, может, десять, а может, двадцать рублей. По французскому и немецкому языку возьмите по два-три учебника, а вот по английскому — сколько можете или, лучше сказать, на все деньги.

Распопин пообещал через неделю достать учебники.

Когда ученики разошлись, я снова вышел погулять. Не успел пройти и нескольких шагов, как меня остановил мужчина, по виду рабочий, и сказал:

— А я как раз шел к вам, слышал, что вы находитесь в ресторане. Вот я и подумал, чем бы вам помочь? — Сказав это, он полез в карманы и, вытащив оттуда какие-то небольшие свертки, стал распахивать их мне по карманам. — Не обижай-

тесъ, пожалуйста, — объяснял он, — тут немного сахару, чай, мяло. Все это вам пригодится.

— Большое спасибо, — пробормотал я, приходя в себя от удивления. — Но как я смогу отблагодарить вас за это? Быть может, вы хотите брать у меня уроки языка?

— О нет. Я для этого уже стар. И глуп к тому же. Видите ли, я и по-русски-то неважно говорю. Я, собственно, поляк, а венгры и поляки как братья. Фамилия моя Муржановский. Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Я охотно помогу вам, если смогу.

Мы немного поговорили. Оказалось, что Муржановский работает машинистом в депо. Прощаясь, он записал мне свой домашний адрес.

Ноги невольно несли меня на Чертову канаву, хотя я и знал, что в это время Екатерина Васильевна находится на работе. Я убеждал себя, что просто зашел еще раз посмотреть дом, в котором она живет, чтобы не заблудиться. На самом же деле я только и думал о том, что через несколько часов снова увижу милое лицо и ее обворожительную улыбку.

Покрытая снегом лесная дорога, которая была продолжением улицы, вывела меня к лесу.

Ровно в четыре часа я уже был у дома Екатерины Васильевны. Я вспомнил, как волновался перед экзаменами, когда был еще студентом, как волновался и на фронте, особенно в одном бою. Но волнение, охватившее меня сейчас, было гораздо большим.

Узкая деревянная лестница вела на крытую террасу, откуда можно было пройти уже в квартиру. Когда я подошел к двери, она отворилась, и Екатерина Васильевна любезно пригласила меня войти. По-видимому, она увидела меня в окно.

Через узкую прихожую я попал в светлую, хорошо обставленную комнату, два окна которой выходили на Чертову канаву, а одно — во двор. По мебели можно было определить, что эта комната — столовая и гостиная одновременно. Мы вошли в дверь направо и очутились в совсем крохотной комнатке, вся обстановка которой состояла из кровати, туалетного столика, письменного стола и двух стульев. Третий стул в комнате уже не уместился бы.

Урок начался замечательно: Екатерина Васильевна знала латинский алфавит, потому что еще в школе учила немецкий и французский языки.

Я не знал, чему мне больше радоваться: превосходным способностям и чувству языка моей ученицы или бесконечному обаянию, которым дышало каждое ее слово, каждое движение.

Мое беспокойство, что из-за плохого знания русского языка возникнут трудности, оказалось напрасным. Метод Берлица в том и заключался, что почти весь учебный материал педагог излагал учащимся на изучаемом иностранном языке, прибегая к наглядному показу вещей, о которых идет речь, стараясь как можно меньше говорить на родном языке обучаемых.

Я думал о том, что же будет, когда урок кончится: оставит ли меня ученица поговорить или же сразу распрощается и мне нужно будет уйти.

За час мы прошли два урока по постановке произношения, а к концу занятия я диктовал ученице текст песни «Вечерний звон», по которому можно было отработать звук «th».

Время кончилось, когда она успела записать только первую строфу. Екатерина Васильевна встала и напомнила, что урок кончился.

— Не беда, — сказал я, — спокойно запишите текст до конца.

Бросив на меня удивленный взгляд, она продолжала писать под диктовку. Когда же тетрадь была закрыта, она строго сказала:

— Я не хотела нарушать ваш план. На будущее прошу, давайте заканчивать урок точно. Если каждый ваш ученик не будет придерживаться этого правила, у вас получится неразбериха.

Я сказал, что в будущем буду придерживаться этого правила, а сегодня у меня других уроков нет, так что на сегодня я полностью свободный человек. С остальными же я начну занятия завтра и послезавтра.

— Если у вас есть время и желание, я вас охотно немного задержу. Но одно дело урок, другое — дружеский разговор. Я очень люблю «Вечерний звон». У нас эту песню часто поют.

И она негромко запела:

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он...

Ее чистый как колокольчик голос совершенно очаровал меня. Я попросил, чтобы она спела всю песню.

Поколебавшись, она спела.

Это было очаровательно.

— Не думайте, пожалуйста, что я ломаюсь, — заметила она после небольшой паузы. — В Петрограде я одно время училась пению, но у меня что-то было не в порядке с голосовыми связками, и врачи запретили мне петь. Проучившись три года, я оставила пение и с тех пор пою очень редко и только для себя.

Я слушал ее, но одна и та же мысль не переставала мучить меня: есть ли у нее кто-нибудь.

Спросить об этом было неудобно, и я решил подождать, чувствуя, что разговор об этом состоится когда-нибудь.

И действительно, скоро я получил ответ на мучивший меня вопрос. Она спросила, как у меня обстоят дела с другими уроками и удалось ли мне пристроиться на квартиру.

— В учениках недостатка нет, а вот квартиры себе я пока еще не нашел. Говорят, в Хиллоке это не такое простое дело.

— Конечно, — согласилась она. — Во всей Сибири строят не ахти как много. Морозы у нас сильные, дома же делают деревянные, отапливаются они огромными русскими печками. Истопят такую печь, и тепла хватит на весь дом, да еще не на один день. Вот почему комнаты в доме не совсем изолированные, чтобы тепло проходило по всему дому. У нас вот четыре комнатки, но все они отделены друг от друга тонкими дощатыми перегородками, а когда-то это была одна большая комната. Еще хорошо, что у нас две печки: одна из них находится в комнате Аглаи Петровны, ею отапливается и эта комната, а другая печь стоит в комнате у дяди Феди, ею отапливается и столовая.

Мне стало ясно, что если даже она и замужем, то живет отдельно от мужа. Однако интересоваться этим было неудобно. Другое дело дядюшка! О нем и спросить можно. Я поинтересовался, чем занимается ее дядя.

— Как чем занимается? — удивилась Екатерина Васильевна. — Вы же знаете, Федор Павлович арендует ресторан второго разряда на железнодорожной станции.

Теперь настала очередь удивляться мне. Оказалось, что угрюмый дядя, ненавидящий немцев и, как я заметил, обожающий спиртное, был ее дядей.

И хотя это открытие не очень обрадовало меня, зато успокоило, что другого мужчины, кроме дядюшки, в доме нет.

Правда, это еще ни о чем не говорит, так как, быть может, ее муж или жених в армии.

Провожая меня, ученица показала мне много красивых комнатных цветов, с воодушевлением объясняя, какое растение как называется. Я удивился такому обилию цветов.

— Жена дядюшки, Аглая Петровна, без ума от цветов, — объяснила Екатерина Васильевна. — Я, как каждая старая дева, тоже люблю цветы.

— Что вы сказали? Вы старая дева?!

— Конечно, — улыбнулась она. — У нас вообще очень рано выходят замуж. Моя мама вышла замуж, когда ей не было еще и семнадцати лет. У меня же давно прошло то время, когда девушки думают о замужестве. Скоро мне исполнится двадцать восемь.

Я, конечно, возразил ей, но сердце мое забилося от радо-

сти. Значит, у нее ничего нет. Быть может, это сама судьба свела нас.

За ужином я снова встретился с Юровским. Он сам заговорил о квартире:

— У меня есть предложение. Если тебя это не обидит, поживи пока вместе со мной. Правда, комната моя мала, там стоит всего одна кровать, а другую поставить нигде, но как-нибудь устроимся. Сегодня я работаю в ночную смену, мне уже пора идти, а завтра утром пойдешь со мной, и мы договоримся с моими домашними.

Лиха беда — начало

В крохотной комнатке Юровского помещались только кровать, стол и один стул. Значит, спать мне придется с ним на одной постели или же на полу. Первую ночь мы легли спать вместе, но это нельзя назвать сном. Кровать была слишком узкой для двоих. К тому же я впервые в жизни лежал на одной кровати с мужчиной. И хотя этот добрый юноша был мне очень симпатичен, спать с ним вместе не было приятно.

На следующий день мы договорились, что я лягу на полу. У хозяев дома Юровский выпросил матрац, набитый соломой, и дал мне одеяло. Другое одеяло было у меня.

— Потерпи ночи две-три, — успокоил он меня. — Потом ты будешь спать один.

Оказалось, что в их доме живет одна молодая учительница, его близкая знакомая. Обычно он ночует у нее, но сейчас она уехала на неделю и вернется послезавтра. Тогда его комнатка полностью будет в моем распоряжении.

Слова Юровского приободрили меня.

На третий день, когда я пришел домой, Юровский пил чай у своей девушки. Он позвал меня, чтобы познакомить с ней.

Девушка улыбнулась и протянула мне руку. От волнения я почти потерял дар речи. И когда девушка подала мне чашку чая, я только и смог выдать из себя «спасибо».

Она сказала несколько слов, видимо предлагая что-то, но я не понял.

Юровский встал и принес бутылку водки и стопки.

— Выпей, — предложил он. — Легче станет говорить.

После второй стопки я уже бодро разговаривал и смеялся. Через полчаса девушка сказала, что уже пора ложиться спать, так как завтра ей рано идти на работу.

Прощаясь, девушка снова улыбнулась и пожала мне руку, а другой рукой погладила меня по лицу.

В ту ночь я спал беспокойным сном.

Утром, когда Юровский зашел ко мне, я заявил, что больше не смогу оставаться у него.

— Ты, Роман, войди в мое положение. Три года я не видел живой женщины. Твоя Зина чудесная девушка, и я от души поздравляю тебя и, признаюсь, даже завидую тебе. Но пойми, мне очень трудно жить с вами вместе. Я хочу перебраться в какое-нибудь другое место.

— Глупости! — решительно заявил Роман. — Уж не думаешь ли ты, что я отпущу тебя на улицу?

Он уговаривал меня остаться у него, но в душе я твердо решил вернуться ночевать в ресторан.

Секлущий находит мне квартиру

Я спросил у дядюшки Екатерины Васильевны, могу ли дня два-три пожить у него. Не скажу, чтобы моя просьба обрадовала его. Он в ответ пробормотал что-то не очень понятное. Но я догадался: железнодорожный ресторан не ночлежка. Что ж, старик был прав. Мне не следовало злоупотреблять его гостеприимством.

Под вечер того же дня я встретился в ресторане с Секлущим, который накануне вечером вернулся из Читы.

Я вовсе не собирался упрекать его ни в чем, но он все же чувствовал, что, хотя и помимо своей воли, подвел меня.

Не пойму до сих пор, откуда Секлущий узнал обо всем, в том числе и о том, что Бобицкий настраивал меня против него и что временно я остановился у Юровского. Не знал он только того, что я оттуда ушел добровольно.

Когда я откровенно рассказал ему, почему я это сделал, Секлущий сразу же перешел на «ты».

— Не горюй, разыщу я тебе квартиру, да и девушка для тебя здесь найдется.

Неожиданно к нам подошел Бобицкий и сразу же набросился на своего земляка. Из громкой перебранки я понял, что он упрекает Секлущего за плохое отношение ко мне. Секлущий ответил не менее грубо. Я уже начал побаиваться, как бы дело не дошло до драки, как вдруг Бобицкий, ругаясь, отошел от нас.

— Дурак! — махнул на него Секлущий и повернулся ко мне.

Подошло время идти на урок к Екатерине Васильевне. С Секлущим мы договорились встретиться вечером следующего дня в ресторане.

После урока Екатерина Васильевна поинтересовалась моими делами. Спрашивала в основном она, я отвечал, как мог. Я не говорил ей, что ушел от Юровского, но она все же

поняла, что я снова почую на вокзале, и пожурила меня за то, что я ушел от Романа.

Я смущенно начал объяснять, что комнатка для двоих была мала, да и Юровский приглашал меня всего на несколько дней, к тому же, хоть он и хороший парень, мне все же лучше было уйти от него.

Говорил я довольно невнятно, но она сразу же поняла, что я о чем-то умалчиваю. Удивленно посмотрев на меня, она улыбнулась и заметила:

— О, я по собственному опыту знаю, что значит жить не одной.

Больше мы к этой теме не возвращались, а у меня сложилось впечатление, что Екатерина Васильевна стала лучше относиться ко мне.

На следующий день вечером, как и договорились, мы встретились с Секлудким. Он рассказал, что за рекой, минутах в десяти ходьбы отсюда, живет одна его знакомая — пани Низалковская. Хорошая женщина-полячка (я уже знал, что в Хилоке «добрым» называют того, кто занимается спекуляцией контрабандными товарами) сдает комнату. Я обрадовался этому сообщению, но Секлудкий рассказал мне одну запутанную историю, которая несколько насторожила меня.

Оказалось, что два взрослых сына пани Низалковской во время войны были в армии, оба прапорщики. Старший воевал на западном фронте. Недавно он демобилизовался и на днях приехал к жене, а женился он перед самой войной. Младший сын еще холост. Во время войны он служил во Владивостоке, живет там и сейчас и тоже собирается демобилизоваться. Старший сын по пути к жене остановился на несколько дней у матери, в Хилоке. С ним приехала хорошенькая польская девушка, видимо его любовница, но всем она была представлена как невеста младшего сына. Оказалось, что старший в последний год войны был ранен, находился на излечении в каком-то небольшом городке, там и познакомился с этой девушкой. Зачем он ее привез с собой и зачем понадобилось навязывать девушку младшему брату, который ее и в глаза не видел, — об этом никто ничего не знает. Сначала думали, что она в положении и он таким способом хочет уладить с ней отношения. Но скоро выяснилось, что ничего этого нет. Пани Низалковская утверждает, что ее сын познакомился с девушкой через переписку. Сестра Секлудкого уверена, что младший сын Низалковской не имеет ни малейшего представления о том, что мать подыскала ему невесту.

— Как бы там ни было, — продолжал Секлудкий, — а девушка и по сей день живет у старухи. К слову говоря, стоит только раз взглянуть на эту девушку, чтобы понять, что она огонь-девка.

Секлуцкий пообещал договориться с Низалковской. Это меня, разумеется, очень обрадовало.

На следующий день он обо всем договорился с пани Низалковской.

— Старуха просит за комнату тридцать рублей в месяц. Это безбожно дорого, — сказал Секлуцкий, — правда, сюда входит завтрак и уборка. Но делать нечего, я думаю, нужно соглашаться.

Решили встретиться на следующий день в пять вечера на почте и вместе отправиться к Низалковской.

Хозяйка приняла меня радушно. Комнатка мне понравилась, и мы тут же договорились. Вскоре пришла и девушка. Да, она была очень хороша. Секлуцкий оказался прав.

На следующий день я перебрался в свое жилище.

Около восьми вечера, после занятий с учениками, поужинав в железнодорожной столовой, я был дома.

Пани Низалковская и девушка пили чай. Хозяйка пригласила и меня на чашку чая, и я охотно согласился.

То, что я плохо говорил по-русски, очень мешало нашему разговору, но мы все же понимали друг друга. Яденька потешалась над моим произношением и громко, от души смеялась. Оказалось, что сама она из Варшавы, немного говорит по-немецки.

Узнав, что я буду давать уроки немецкого языка, она сказала, что охотно посещала бы их, но у нее нет денег. Эта мысль понравилась Низалковской, и я подумал, что, может быть, она согласится немного сбавить для меня квартирную плату, если я буду давать уроки Яденьке. Но она этого не сделала, я же галантно предложил заниматься с Яденькой по утрам, когда свободен.

На следующее утро мы начали первый урок. К моему огромному сожалению, квартирная хозяйка тоже села за стол. Она что-то шила и за час не проронила ни единого слова, но зато и с места ни на минуту не вставала.

Оказалось, что Яденька очень быстро схватывает и запоминает материал. Я был рад этому, но еще большую радость доставляли мне взгляды девушки, которыми она отвечала на мои жадные взгляды.

Хозяйка не спускала с нас глаз, но мы все же ухитрились красноречиво переглядываться. Я надеялся, что хозяйка не всегда будет сидеть вот так с нами. И действительно, на следующий день она лишь несколько раз заходила к нам. В те минуты, когда Низалковской не было в комнате, встречались не только наши взгляды, но и руки.

Во время третьего урока мы воровато поцеловались. Пани Низалковская приглядывала за нами не только во время урока, она была дома всегда, когда я находился в своей комнате.

Уроки, которые я давал Яденьеке, становились все мучительнее для нас обоих.

Между двух огней

Очаровательная Екатерина Васильевна зарекомендовала себя прекрасной ученицей и еще больше покорила меня своим обаянием. Разумеется, за моим чисто платоническим чувством к ней с самого начала скрывалась сдерживаемая мною страсть, однако деликатность и чистота Екатерины Васильевны заглушали мои чувства. Первое время я даже себе не признавался в том, что она мне дорога.

Под воздействием всего, что происходило между мной и Яденькой, я еще больше стремился к Екатерине Васильевне, которая вообще была со мной очень осторожна. Я не раз дотрагивался до ее руки, но она или никак не реагировала на это, или же молча убирала руку. Может, она просто не замечала или не хотела замечать моих попыток.

После знакомства с Яденькой на уроках с Катей я волновался, мучился, сознавая, что мне нравятся обе женщины. Глядя на Яденьку, я нисколько не стыдился, но стоило мне взглянуть на Катю, как я чувствовал себя виноватым только за то, что несколькими часами раньше такими же глазами смотрел на Яденьку.

И только тогда я немного успокоился, когда понял, что меня сжигают изнутри два совершенно различных душевных огня. В моем отношении к Яденьеке преобладала физическая страсть. В обожании же Кати превалировало чувство.

После трех лет лагеря я сразу попал между двух огней.

Приезд Распопина

Через неделю в Хилок вернулся Распопин, но ко мне не пришел и даже избегал встреч.

Меня это удивило и раздосадовало. Сначала я решил разыскать его сам, чтобы узнать, купил ли он учебники, но потом передумал. Книг он наверняка не привез, значит, нужно взять у него обратно деньги, пятьсот рублей, но я все никак не решался.

Однажды на уроке машинист Еременко спросил меня, привез ли Распопин учебники. Узнав, что Распопин и близко ко мне не подходит, машинист возмущился.

— Ну и проучу же я этого бывшего офицера! — проговорил он со злостью. — Видно, думает, что мы все еще живем в царское время, когда господам офицерам прощались любые подлости. И это вместо благодарности за то, что мы оста-

вили его в покое, да еще работу ему дали. Ну, я с ним поговорю!

Я попробовал успокоить горячего украинца, но это оказалось делом нелегким.

— Я вам обещаю, что через сорок восемь часов деньги будут возвращены.

На следующем уроке Осип Кузьмич сказал, что с Распопиным все улажено, и положил передо мной пятьсот рублей.

— Когда я его встряхнул, у него душа в пятки ушла, — продолжал Еременко. — Оправдываться было начал, сказал, что ему не удалось попасть в лагерь. Деньги, мол, он и сам хотел мне отдать, да вот времени не было.

У меня же было такое чувство, что машинист отдал мне деньги из своего кармана, лишь бы только не краснеть за своего земляка.

Узнав о случае с Распопиным, Екатерина Васильевна возмутилась:

— К сожалению, такие случаи у нас не единичны. Все это — наследие царизма. Тогда сам строй приучал людей воровать. Царю Александру Второму принадлежит классическая фраза: «В этой стране все воруют, кроме меня». Может, все было не совсем так, но сказано довольно метко. Один старый железнодорожник, который попал в эти края еще во время русско-японской войны, рассказал мне, как еще до японской войны два пехотных полка получили приказ сменить друг друга. Один полк находился в Варшаве, другой — во Владивостоке. Генералы, командиры полков, договорились сами поменяться местами вместо перемещения своих полков на новое место службы, а все деньги, отпущенные на перевозку частей, положили себе в карман. Таких случаев было сколько угодно. Да, много нужно времени, чтобы полностью излечиться от этой болезни. Конечно, молодое поколение станет другим, но будет отнюдь не легко перевоспитать тех, кто вырос при старом режиме, как Распопин и прочие паразитические элементы. К слову, я завтра встречаюсь с одним железнодорожником, который на днях должен поехать в Удинск. Если его попросить, он охотно выполнит ваше поручение.

На следующий день, когда я пришел на урок, у Екатерины Васильевны я застал Решетюка, ее знакомого, о котором она как-то говорила. Это был громадного роста мужчина с большими усищами. На вид ему было лет тридцать.

Он мне понравился с первого же взгляда. Узнав, о чем идет речь, украинец охотно согласился съездить в Березовку, чтобы купить там учебники. Денег у меня он пока не взял.

Я понял, что все делается по просьбе Екатерины Васильевны, которая хотела, чтобы я поскорее забыл о неприятном случае с Распопиным.

Венгерские анархисты

Обедать в железнодорожной столовой можно было с часу дня. Поскольку утром я обычно ничего не ел, то, естественно, обедал всегда в числе первых. После обеда, если у меня не было уроков, я прогуливался вокруг вокзала.

Как-то мимо меня прошел эшелон, состоявший из вагонов «телятников». Когда эшелон остановился, из вагонов высыпали солдаты в зеленой военной форме, с красно-черными кокардами на шапках.

Мое ухо сразу же уловило родную венгерскую речь. Я уже хотел заговорить с ними, когда меня окликнули двое: худой молодой парень и пожилой длинноусый мужчина.

— А ты, земляк, чего здесь делаешь? — обратился ко мне молодой парень.

По моей одежде они признали во мне земляка.

Я ответил, кто я такой и как сюда попал.

— А вы кто такие? — в свою очередь поинтересовался я.

— Мы — анархисты. Венгерские анархисты. Революционеры.

— А куда едете?

— Едем воевать против мировой буржуазии.

— На восток? — удивился я. — Уж не в Китай ли?

Земляки рассказали, что едут из Омска, где они сколотили организацию анархистов-коммунистов среди пленных. Сейчас же они направляются на маньчжурскую границу бороться против банд Семенова.

— Значит, вы большевики?

— Не совсем так, — ответил молодой. — Мы коммунисты и в то же время анархисты. Мы не признаем никакой власти, подчиняемся только собственному начальству, которое сами и избираем. Вот покончим с Семеновым, потом наведем порядок в России и только тогда подадимся на запад.

В ту пору я имел очень туманное представление о самом большевизме и его природе. Но я знал, что большевизм и анархизм — это не одно и то же. Большевики стоят за установление твердой пролетарской государственной власти, анархисты же никакой власти не признают. Однако спорить с ними о политике я считал нецелесообразным.

— Не хотите ли зайти со мной в ресторан выпить по кружечке пива? — предложил я.

— Вот это дело! — обрадовался парень. — В последний раз я пил пиво в пятнадцатом году.

— А я и вкус-то его забыл, — пожаловался другой. В предвкушении удовольствия лицо его даже немного просветлело.

Мы зашли в ресторан. Накануне Федор Павлович получил шесть ящиков пива из Харбина. Я заказал три бутылки, и мы пристроились там же, у стойки.

Невысокий пил медленно, смакуя, парень же залпом осушил стакан и налил еще. Когда бутылка опустела, взгляд парня остановился на моей шапке.

— А это еще что такое? — спросил он, показывая на инициалы императора Франца Иосифа, которыми была украшена кокарда. Не успел я и рта раскрыть, как он схватил со стойки нож и вырезал кокарду прямо с мясом. В этот момент пожилой солдат, ухватив меня за шиворот, с торжествующим криком: «Вот так-то будет лучше!» — содрал с меня офицерские нашивки.

— Давай доложим командиру, — предложил парень. — Переоденем его и заберем с собой. Ты побудь с ним, а я быстро смотаюсь за командиром.

Оставшись один на один с пожилым венгром, я попробовал объяснить ему, что отнюдь не дорожу офицерскими нашивками. Если бы я хоть сколько-нибудь ценил их, то не убежал бы из офицерского лагеря. А звездочки с кителя я не снял лишь потому, что в лагере никогда не носил формы. Кокарду на шапке оставил, чтобы не было видно дырки.

— Не беда, — утешал меня пожилой анархист, с удовольствием потягивая пиво. — Переоденем тебя, и поедешь с нами. Можешь быть спокоен, у нас, если останешься в живых, никто и нигде не станет тебя спрашивать, кем ты был раньше.

Допив пиво, он удовлетворенно погладил свои пышные усы.

— А ты чего не пьешь, земляк? — удивился он, заметив вдруг, что я даже не притронулся к стакану. — Не принимай все так близко к сердцу. А пиво щеплое, хорошо бы повторить. Я закажу две бутылки, только теперь плачу я, — продолжал он и направился к другому концу стойки.

И только он повернулся ко мне спиной, как я тихо выскользнул из ресторана и, воспользовавшись запасным выходом, вышел из здания вокзала.

Однако не прошел я и нескольких метров, как мне повстречался еще какой-то анархист.

— Здорово, земляк. Здесь тоже есть пленные?

Я начал объяснять, что живу на свободе, но анархист прервал меня:

— Так ты, дружище, наверняка знаешь, где здесь можно быстро достать какую-нибудь девку. Не беда, если некрасива и не молода, важно, чтобы бабой была. Я уж тебя отблагодарю.

Я начал было объяснять, что сам еще совсем недавно здесь, почти никого не знаю, но он снова прервал меня.

— Не говори ты мне ничего, дружище, — упрямо твердил он. — Я знаю, как это делается. Стоит пленному попасть на волю, как он первым делом начинает гоняться за юбками. Ви-

дать, у тебя-то самого уже есть женщина. Не будь таким жадным, отведи меня к ней. Не бойся, я ее не слопаю. Поиграю с ней, и все, твоя была — твоя и останется.

Напрасно я старался убедить его, что не знаю здесь ни одной женщины.

— Меня не проведешь! Если не достанешь мне сейчас же бабу, отведу тебя к нашему начальнику. Он тебя быстро в нашу веру перекрестит. Не церемонься, раз-два — и пошли.

Ситуация становилась критической. «Если брошусь бежать, этот дикий зверь, готовый на все, чего доброго, еще стрелять начнет по мне», — мелькнуло в голове.

Не знаю, как бы я выпутался из этой ситуации, если бы не случай.

Разговаривая, мы стояли на правой стороне дороги, я — лицом к холму, анархист — спиной. В этот момент вниз по дороге шла какая-то женщина. Увидев ее, анархист как угорелый побежал за ней.

«Боже мой, что же будет? — мелькнуло у меня в голове. — Что бы ни было, а я вмешаюсь».

Раздумывать было некогда. К счастью, вмешаться мне не пришлось, так как со стороны станции показались двое здоровенных рабочих. Поздоровавшись с женщиной, они остановились и заговорили с ней. Анархист как ни в чем не бывало прошел мимо них. Женщина повернулась и вместе с рабочими пошла обратно в поселок. Когда они проходили мимо меня, я увидел, что один из рабочих нес на плече большой топор.

«Все хорошо, что хорошо кончается», — подумал я и только тут почувствовал, что по лицу у меня течет пот, а ноги дрожат.

Было еще рано, но я пошел прямо к Чертовой канаве. Просто я был в таком состоянии, что мне обязательно нужно было с кем-нибудь поговорить.

Когда я вошел, Екатерина Васильевна испуганно спросила:

— Боже, что с вами случилось?

— Ничего, ничего, — ответил я. — Так, небольшие неприятности.

— Садитесь, — заботливо предложила она. — Сейчас я дам вам горячего чаю.

— Спасибо. Лучше стакан холодной воды.

— Сейчас принесу... Вот вода, пейте, — сказала она, вернувшись через минуту. — Но чай я все же поставлю. Попрошу домашних согреть самовар.

— Я уже успокоился, начнем лучше урок.

Но Екатерина Васильевна пока ни о каком уроке и слышать не хотела.

— Вам не по себе. Я вижу, вы чем-то страшно встревожены. Расскажите,

Я не стал упорствовать и рассказал все, как было. Она внимательно выслушала меня и решила:

— Из всего этого следует сделать вывод, что вам нельзя ходить в военной форме. Нужно достать русскую одежду, чтобы никто не смог придраться. Сейчас большинство мужчин ходит в военных гимнастерках и серых шинелях. Все это можно купить в Чите на рынке. Съездите и купите!

Я поблагодарил за совет и предложил начать занятия.

— Об этом, дорогой друг, не может быть и речи. После такой нервной встряски вам просто необходимо отдохнуть. Сейчас вскипит самовар, попьем чаю, поговорим немного, а потом вы пойдете домой и ляжете в постель.

— Этого я не могу сделать, с шести до восьми у меня урок.

— Ну вот видите, тем более вам нужно хотя бы сейчас отдохнуть.

Я не стал сопротивляться. Екатерина Васильевна хотела сама принести самовар, но я не разрешил ей этого.

Это был первый случай, когда я был у нее не по делу, а просто так. Впервые мы сидели вместе, как могут сидеть мужчина с женщиной, которым хорошо вдвоем.

На столе перед нами шумел самовар.

Глаза Екатерины Васильевны обнадеживающе блеснули.

Человек на снегу

Утром я еще одевался, когда хозяйка сказала, что меня кто-то ждет. Это оказался железнодорожный милиционер, который попросил меня немедленно прийти на станцию, в милицию. У железнодорожного полотна найден голый человек, который говорит только по-венгерски, и потому срочно нужен венгерский переводчик.

Это известие обеспокоило меня, так как накануне через Хилок проезжал эшелон венгерских анархистов, и я решил, что голый имеет какое-то отношение к ним.

В милиции меня уже ждали. Невдах важно восседал за столом, сбоку от него на полу скорчилась какая-то странная фигура. Это был темноволосый мужчина, с лицом цыганского типа, в промасленной рубахе и рваных солдатских шароварах.

— Спросите этого человека, — обратился ко мне Невдах, — кто он и каким образом попал на железнодорожную насыпь.

Незнакомец отвечал, что зовут его Йозеф Клейн, он рядовой 32-го пехотного полка австро-венгерской армии. В 1915 году он попал в плен и находился в лагере военнопленных в Омске. Одно время работал в тамошнем госпитале сапитаром, потом снова попал в лагерь и исполнял обязанности офицерского денщика. Этой весной, когда формировались венгерские революционные части, он записался в одну из них, так как слышал, что таким путем им удастся вернуться на родину с ору-

жнем в руках. В пути он понял, что везут их не в Венгрию, а в противоположном направлении. Когда же ему стало известно, что их посылают на фронт бороться против банд Семенова, он заявил, что готов воевать против венгерской буржуазии на родине, а с Семеновым драться не собирается. Тогда-то над ним и был учинен самосуд. Одни считали, что его надо расстрелять на месте, а другие — раздеть догола и сбросить с поезда. При голосовании большинство высказалось за второе. Его разделли и сбросили с поезда на ходу. К счастью, было много снега и он не разбился. Он чуть было не замерз совсем, пока в чем мать родила добрался до железнодорожной сторожки. Обходчик дал ему кое-что из одежды и привел на станцию.

— Что будем делать с ним? — спросил Невдах и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Дадим конвойного и на пассажирском поезде отправим в Читу, вдогонку эшелону. А там уж разберутся.

Когда я перевел Клейну слова Невдаха, несчастный стал умолять:

— Ради бога, не делайте этого! Ведь они меня просто расстреляют, если я попаду к ним. Отпустите меня, я сам сяду на поезд и поеду до Березовки, где есть лагерь для пленных. Я ничего не хочу, только оставьте меня, ради бога, в покое.

— Отпустить вас я не имею права, — заявил Невдах, — а вот отправить в Березовку могу.

На этом моя миссия переводчика закончилась.

Перед уроком я рассказал Екатерине Васильевне об этой истории. Выслушав меня, она задумалась.

— Возможно, солдат сказал правду, — заговорила она, — но, может, все было совсем иначе. Вы только выслушали то, что он вам рассказал, проверить же его слова нельзя. Короче говоря, этот случай лишний раз говорит о том, что вам как можно скорее нужно ехать в Читу, чтобы купить себе там гражданскую одежду.

Насколько Екатерина Васильевна была права, я по-настоящему оценил лишь два года спустя, когда в Омске на митинге венгерских коммунистов встретился с Клейном. Клейн обрадовался мне как старому знакомому. Мы поговорили несколько минут, но о нашей первой встрече не упоминали.

Товарищ Сабо, один из руководителей местной партийной организации большевиков, увидев нас вдвоем с Клейном, спросил:

— Откуда вы знаете эту птичку?

Я рассказал Сабо о том, как и при каких обстоятельствах познакомился с Клейном.

Товарищ Сабо рассмеялся:

— Все это нам хорошо известно. С этим типом и раньше беды случались, его не раз ловили на всяких спекуляциях. Он уже давно занимался этим. Как-то он ехал в эшелоне в Петров-

ский Завод. На станцию эшелон пришел ночью. Все спали, а он пошел на станцию в ресторан, скупив там все пирожные, на следующий день уже торговал ими в эшелоне, разумеется, втридорога. В двух вагонах все сошло гладко, а в третьем его разоблачили, заставив сказать правду. Остальное вы уже знаете. С осени восемнадцатого года Клейн жил в лагере, занимался мелкими спекуляциями, в чем его, собственно, никто не упрекал. С приходом красных он вступил в коммунистическую партию. Совсем недавно мы поймали его на том, что он снова занимается спекуляциями. Вызвали в комитет. Среди свидетелей обвинения случайно оказался один товарищ, который ехал в том самом вагоне, откуда выбросили Клейна. На очной ставке с этим товарищем Клейн во всем признался. Из партии мы его сразу же исключили, но из района еще не пришло утверждение, и потому он пока ходит на наши собрания.

Когда вечером я вернулся домой, хозяева еще не спали. Пани Низалковская поинтересовалась, зачем меня вызывали в милицию. Не вдаваясь в подробности, я сказал, что нужно было допросить одного венгерского пленного и я был на этом допросе переводчиком.

— Завтра вечерним поездом еду в Читу, — сказал я как бы между прочим. — Так что дня два меня дома не будет.

Хозяйку заинтересовала цель моей поездки, но я уклончиво ответил, что мне необходимо кое-что купить. По лицу Яденьки, которая слышала весь этот разговор, я понял, что и ее все это очень интересует.

На следующее утро я, как обычно, занимался с Яденькой и подумывал о том, как бы мне ее поцеловать, когда хозяйка оставит нас. Улучив минутку, когда хозяйка вышла в кухню, я попытался было обнять девушку, но она не позволила.

— Быстро скажите мне, зачем вы едете в Читу? Но только правду! И зачем вас вызывали в милицию?

— Только после поцелуя, — сказал я и, не дожидаясь, поцеловал ее прямо в губы. Но ответить ей не успел, потому что в комнату вошла хозяйка.

Своим ученикам я сказал, что уезжаю ненадолго в Читу, и потому уроков пока не будет.

Еременко, который очень хотел помочь мне достать учебники, порекомендовал, раз уж я буду в Чите, зайти в читинский лагерь для пленных и спросить там учебники Берлица. Я тоже подумал об этом и решил не надеяться на Решетюка, а попытаться самому достать учебники.

— Значит, сегодня вечером вы уезжаете? — спросила меня Екатерина Васильевна, когда я пришел на урок.

Мой утвердительный ответ ее, видимо, успокоил.

После урока мы немного поговорили, а потом она, пожав мне руку и наградив нежным взглядом, пожелала доброго пути.

В последний момент, почти шепотом, я спросил:

— Что вам привезти из Читы?

— Себя, — ответила она, словно угадав мои мысли.

Перед отъездом пани Низалковская угостила меня чаем. Наверное, час мы втроем просидели за столом. Я надеялся, что она хоть на минуту выйдет из комнаты, однако она не вставала. Но вот наконец она вышла в кухню. Мы с Яденькой остались вдвоем, и девушка бросилась мне на шею. Отошла она от меня в тот момент, когда хозяйка входила в комнату.

Когда я уходил, Яденька вышла закрыть за мной ворота, и только там мы с ней смогли перекинуться несколькими словами.

— Берегите себя, — сказала она, прощаясь. — И не забывайте, что я жду вас!

Это откровение так ошеломило меня, что я поцеловал ее в лоб.

«Что за странная штука эта жизни! — думал я, идя на станцию. — Не прожил здесь и двух недель, как у меня завелись две зазнобы».

Первый раз в Чите

Часов в семь утра я приехал в Читу и ближайшим рабочим поездом доехал до Песчанки. Среди пассажиров я увидел много пленных, в том числе и венгров, и спросил у одного из них, как пройти к лагерю. Оказалось, что он как раз идет туда.

По дороге я узнал от него много для себя полезного. Мой новый знакомый работал в лагерной канцелярии, где сортировал почту. Он рассказал мне, что эшелон пленных из Даурии прибыл в их лагерь, кое с кем он успел познакомиться. Например, с лейтенантом-артиллеристом Дьюркой Месарошем, с которым я сам поддерживал дружеские отношения еще в иркутском лагере.

Пленный объяснил мне, что в конце главной улицы собирается толкучка и мне лучше всего пойти туда. Там я смогу приобрести одежду, а учебники Берлица, которые так интересуют меня, можно недорого купить в лагере. Самое же важное, о чем поведал мне мой разговорчивый новый знакомый, состояло в том, что вся почта, направляемая в Даурию, попадает к ним в Читу, и если я найду к нему в канцелярию, то он посмотрит, нет ли там чего-нибудь и для меня.

Месарош встретил меня с распростертыми объятиями.

— Вот так сюрприз! — воскликнул он, обнимая меня. — А от Пишты Боллы пришло письмо из Ачинска. Они в Красноярске не остались, но и дальше Ачинска уехать им не удалось. Там их снова загнали в лагерь. Из письма-то я и узнал, что ты остался в Хилоке. Мы все тебе завидовали. Но как ты попал сюда?

В нескольких словах я рассказал о своей жизни и о цели приезда.

— После всего этого мне нужно обязательно переодеться в русскую одежду, — продолжал я. — В хилокской милиции известно, что наш эшелон ушел в Красноярск, туда они и обратились за разрешением для меня. А если там обо мне ничего не знают, то мне нечего и рассчитывать ни на какое разрешение. Так что мне лучше и не упоминать о моем прошлом. Словом, мне хотелось бы уехать в Хилок с вечерним поездом сегодня же, предварительно купив цивильное платье, десять — двадцать учебников Берлица и забрав письма из дому.

Между тем в комнату, где мы сидели, вошли еще три жильца. Месарош, как старший по возрасту и по званию, распределил между ними обязанности и составил для меня программу на весь день.

— Прежде всего ты получишь чаю, разумеется, не пустого — по твоему желанию, с черным хлебом или же с черными сухарями. После завтрака сразу же пойдем на станцию, чтобы успеть на десятичасовой рабочий поезд. Я поеду с тобой. Купим тебе одежду и к двум-трем часам вернемся обратно. Тем временем ребята соберут для тебя учебники, отберут письма и договорятся с нашим поваром, чтобы он на обед и тебя имел в виду. А чтобы уехать домой, тебе совсем не обязательно ехать в Читу, так как скорый поезд из Харбина останавливается у нас на одну минуту.

Месарош налил мне чаю, положил черный хлеб да еще кусочек масла.

— Видишь, ты попал в приличное место, — улыбнулся он. — На днях я на том самом рынке, куда мы с тобой сейчас поедем, выменял два фунта масла за свой новый парадный сюртук.

Я выпил чаю, съел кусок хлеба, но от масла наотрез отказался:

— Нет, старик, не уговаривай, я человек свободный и совсем неплохо живу в Хилоке. Вы же здесь сидите в лагере.

Месарош недоуменно пожал плечами. Себе он тоже налил чашку чая, но ни хлеба, ни сахара не взял.

За чаем он то и дело расспрашивал меня о жизни в Хилоке. Я подробно рассказал ему и о питании, и о своем жилье, и о хилокских жителях.

— Надеюсь, у тебя уже есть хорошенькая девушка?

— Нет пока еще, — отвечал я. — Но среди моих учеников

есть одна очаровательная образованная женщина, которой я ежедневно даю индивидуальные уроки. У меня такое предчувствие, что я в нее влюблюсь.

— Но-но! — иронически воскликнул Месарош.

— Пойми меня правильно. Дело не в том...

— Хорошо, хорошо, — произнес он. — Это мы знаем. Известно, что все дороги ведут в Рим, только дороги эти бывают различными: есть прямые, а есть... Она русская?

— Русская, — ответил я. — Правильнее сказать — украинка, так как родилась она на Украине и родители ее украинцы.

— Тогда я тебе посоветую быть осторожным. Украинские женщины, я убедился на собственном опыте, хорошо знают в жизни толк. Закружат голову, а в любви они горячи и неистощимы.

— Ты за меня не беспокойся, — заметил я. — Екатерина Васильевна как раз не такая женщина, как ты думаешь. Если бы ты ее хоть раз увидел, то сразу же переменял бы свое мнение об украинках.

— Видишь ли, дружище, я вовсе не собираюсь обижать твою знакомую. Вполне возможно, что она самая простая и порядочная женщина на свете. Я говорю только о том, что испытал сам, и потому советую быть осторожным. Немного осторожности никогда никому не мешало. Но если ты больше не хочешь чаю, тогда лучше пойдем.

Я встал и молча надел шинель. Не надо было вообще упоминать тут имени Екатерины Васильевны. Ведь тем самым я дал кому-то повод подумать о ней не так, как она того заслуживала.

И если сначала у меня было желание рассказать и о Яденьке, то теперь я умолчал о ней. Раз о порядочной женщине так можно говорить, то что же можно услышать о шаловливой полячке?

Центральная улица Читы чем-то напомнила мне центральную улицу Хилока, только была она намного длиннее и прямая как стрела. На ней кроме китайских лавочек было много и больших магазинов. Довольно часто попадались двухэтажные и даже трехэтажные дома.

Было в тот день довольно холодно, и приходилось то и дело потирать нос и уши, чтобы не отморозить их.

— Далеко еще до рынка? — спросил я через четверть часа.

— Половину пути прошли, но если хочешь, можем и передохнуть. Пойдем посидим где-нибудь, выпьем по чашке чая.

Мы зашли в чайную.

Чай тут был крепким и горячим, но к нему ничего не давали, а я после скудного лагерного завтрака проголодался.

— Хорошо было бы чего-нибудь перекусить, — сказал я.

— С этим придется немного подождать. В чайной, кроме чая, ничего не дают. Но на базаре торгуют очень вкусными жареными пирожками с мясом. Съешь два-три, и уже наелся.

В чайной было тепло. Посидев с полчаса, мы пошли дальше.

Я впервые увидел русскую толкучку. Само это зрелище не было для меня чем-то новым или особенно интересным: до войны я не раз бывал на нашей толкучке на площади Телеки.

И все же сами продавцы не были похожи на наших: они или сидели в крохотных лавочках или ходили среди толпы. Кроме русских каких только национальностей здесь не было! Совершенно иными были и товары, да и гомон был совершенно другим, хотя атмосфера этой толкучки походила на атмосферу любого рынка.

Месарош предложил сначала просто пройтись и приглядеться, поесть пирожков.

Я не заставил себя долго упрашивать. Мимо нас быстро прошли трое торговцев с деревянными ящиками на шее.

— Свежие горячие пирожки! — громко выкрикивали торговцы.

— Кто купит и съест, до завтра сыт будет! — вторил ему другой.

— Свежие пирожки, налетай! — выкрикивал третий.

Я уже хотел купить пирожков, но Месарош махнул рукой:

— Пройдем еще немного, до будки, где их пекут. Там они прямо с жару. Эти и сами там берут.

У первой пирожковой будки мы наелись пирожков.

Скоро мы купили рубашку зеленого цвета и штаны, а потом и серую шинель. Шинель была длинной, чуть ли не до пят. В такой одежде никто не признал бы во мне венгерского пленного. Труднее всего оказалось найти шапку. Мы видели военные шапки с широкими козырьками, но они мне не нравились.

Месарош уже начал нервничать:

— Что тебе, собственно говоря, нужно? Здесь такие носят. Если хочешь быть похожим на русского, тогда нечего привередничать.

— К серой шинели нужна и шапка серого цвета, — упрямился я. — И нормальная, а не такая, как эта...

— Серых шапок здесь вообще не носят. По крайней мере, я таких не видел.

Я уже согласился купить зеленую шапку, как вдруг увидел у одного торговца круглую серую шапку без козырька. И хотя она не понравилась Месарошу, я все же взял ее.

Часа в три мы вернулись в лагерь. Нам были оставлены две порции супа и гречневой каши. Пленные собрали для меня десятка два различных учебников Берлица, тут же были три открытки и одно письмо из дому, что меня особенно обрадовало.

Я тотчас же стал их читать. Две открытки были от матери, третья открытка и письмо — от знакомой девушки.

Обед уже стоял на столе, а я все никак не мог оторваться от чтения. Прочитал все раза по три,

— Оставь в покое письма, они от тебя никуда не убегут, а обед остынет, — уговаривал меня Месарош.

Мы сели к столу. Ребята принесли большой чайник чая и сами сели с нами пить чай. Пока мы обедали, они рассказали, что мое появление в лагере вызвало различные толки. Многие пленные хотели поговорить со мной.

— Я тебе не советую встречаться с ними, — заметил Месарош. — Наверняка все они будут просить, чтобы ты взял их с собой и помог остаться там, где живешь сам. Не ходи туда, лучше отдохни немного. Поезд твой будет в семь, так что в шесть нам уже нужно выходить.

И хотя я устал, отдыхать мне не хотелось. Тянуло поговорить.

Рассказывая о своей жизни в Хилоке, я рисовал ее розовыми красками. Собственно, такой я ее и видел.

— Да, за эти две-три недели ты стал большевиком, — не без издевки сказал Месарош. — Мы, правда, не живем среди русских, но и мы не слепые. Здесь, в деревне, да и в Чите мы не раз разговаривали с местными жителями: рабочими, торговцами, ремесленниками. И никто из них не восхищается новым режимом. Правда, рабочим новая власть правится, зато условиями жизни недовольны все.

Я запротестовал:

— Ну, я бы этого не сказал. Несмотря на последствия войны, народ хорошо питается, прилично одевается и охотно работает. Люди веселы, вежливы, а по отношению ко мне, военнопленному, чрезвычайно человечны.

— Возможно, что голодать они и не голодают, но с удовольствием у них большие трудности, — упорствовал Месарош. — В магазинах нельзя купить ни сахара, ни чаю, ни масла, все это можно достать на рынке втридорога.

Когда же я сказал, что в Хилоке есть кооператив, где все эти продукты свободно можно купить, Месарош разозлился:

— Тем хуже, значит, снова есть избранные классы или группы, в данном случае железнодорожники, для которых все есть, и есть простые смертные, для которых ничего нет.

Остальные пленные не вмешивались в этот спор, но по их лицам я видел, что они поддерживают Месароша. А ведь Месарош считает себя социалистом и слывет в лагере порядочным человеком. Плохо дело, если у него такие взгляды на жизнь...

Вот они, эти офицеры, и к их числу принадлежал и я. Стоит ли удивляться, что те два анархиста так набросились на мои офицерские нашивки и кокарду?

Видимо, мало только сменить офицерский мундир на русскую одежду. Необходимо еще и внутренне переродиться, чтобы из офицера стать порядочным человеком...

— Оставим этот спор, — сказал я Месарошу. — Не наше дело спорить о политике, и тем более не здесь.

— Ты прав, — согласился он. — Поговорим-ка лучше о чем-нибудь другом. Да, ты же хотел переодеться в гражданское. Но если ты поедешь без билета, то лучше ехать в форме.

— Это меня не беспокоит. В Хилоке я купил билет туда и обратно. И чем раньше я сброшу с себя эту шкуру, тем лучше. — С этими словами я начал переодеваться.

Зеленая гимнастерка и шаровары были мне знакомы, так как летом в лагере мы иногда носили такую одежду. Однако когда я надел и застегнул на все пуговицы серую русскую шинель, странное чувство охватило меня.

— В таком наряде тебя и мать родная не узнает, — заявил Месарош. — Носи на здоровье, раз ты неплохо чувствуешь себя в этом наряде... Вкусы различны. Я же свой мундир хотел бы сменить только на гражданский костюм.

— Думаешь, я был бы против костюма? Чтоб мне никогда не пришлось натягивать на себя эту проклятую военную форму! — бросил я, показывая на свой френч.

— Ну, если беда только в этом, — пошутил Месарош, — тогда можешь оставить его здесь. А в Чите на толкучке мы его загоним, там любую тряпку купят.

— Нет, брат, заверни это и возьми с собой, — вмешался в разговор один из пленных. — Человек никогда не знает, что его ждет в будущем. Может, еще попадешь в такой перешлет, что рад будешь и форме пленного.

Молча согласившись с ним, я сунул в свой вещмешок френч, брюки, шинель и шапку.

Месарош и еще один пленный проводили меня до полустанка.

Поезд опаздывал на два часа. Коллеги хотели подождать до прибытия поезда, но я уговорил их вернуться в лагерь.

— Ну, старик, удачи тебе с твоей красивой украинкой, — сказал на прощание Месарош.

Вечер был темный, на небе не видно ни звездочки. Мороз смягчился, и повалил густой снег.

Со всех сторон полустанок окружали леса, а вдали слева и справа высились сопки.

Я смотрел на местность, и она казалась мне такой знакомой, будто совсем недавно я бродил по этим горам, покрытым заснеженным лесом...

Вспомнились Карпаты. Долины, поросшие елями.

Три года назад, когда я любовался заснеженными Карпатами, я увидел там смерть. Здесь же меня ждала новая, мирная жизнь...

Мои размышления прервали звонки. Приближался поезд, и, когда он остановился, я сел в первый попавшийся вагон. Чисто и уютно было там. Таких вагонов я еще никогда не видел.

Положив вещи, я сел к окну и вскоре задремал. Меня разбудил проводник, который спрашивал билет.

— У вас билет в третий класс, — объяснил он. — К тому же обратный билет нужно было закомпостировать.

Я смутился. Уже три года я прожил в России, не раз ездил по железной дороге, но с билетом ехал впервые. Запинаясь, я начал объяснять, что не знал о том, что у меня третий класс и тем более, что билет нужно компостировать.

Проводник рассердился:

— Как вам не стыдно? Взрослый человек, а говорите такое! Железнодорожные правила знает каждый школьник. А вы, я вижу, еще и военный к тому же!

— Я пленный, — с еще большим замешательством сказал я и уже встал, чтобы перейти в вагон третьего класса, но неожиданно у меня появились защитники — мои полутчики, которые до этого молча слушали наш разговор.

— Этот несчастный — пленный, что вам от него нужно? — сказал один из них.

— Оставь его в покое. Ведь в вагоне полно свободных мест, — поддержал его другой.

— Пусть спокойно едет, все равно до Хилока никакой проверки не будет, — успокоил проводника третий.

Видя, что пассажиры поддерживают меня, проводник смягчился:

— Откуда я знал, что он пленный. Ведь на нем наша одежда. — И ушел с видом человека, сделавшего доброе дело.

Итак, в своей новой одежде я сразу же попал в неприятную историю, однако я нисколько не сомневался, что в будущем она сослужит мне добрую службу.

Две встречи

Поезд сильно опаздывал, и вместо десяти часов утра в Хилок я приехал только в два. Прямо с поезда отправился в столовую пообедать. Я думал, что на меня в русской одежде сразу обратят внимание, но ошибся: никто даже не заметил меня.

«Значит, в этой одежде, — решил я, — мне можно ходить где угодно и быть абсолютно спокойным».

Екатерина Васильевна ждала меня на урок к четырем, но я решил прийти раньше. Не прогонит же она меня!

Дверь мне открыла Екатерина Васильевна, осмотрела меня с ног до головы и рассмеялась.

Я не ожидал такого приема и смутился. Сама советовала переодеться, а теперь смеется. Что она увидела смешного?

Ее поведение настолько удивило меня, что я ничего не смог сказать и только стоял, вертя в руке шапку.

— Прошу вас, входите, — пригласила она, перестав смеяться. — Я вам сейчас объясню, почему засмеялась.

Повесив шапку и шинель, я молча вошел в прихожую.

— Поймите меня правильно, — начала Екатерина Васильевна. — Я смеялась не над вами. Но знаете ли вы, что за шапку купили? Это шапка каторжника. Военные носят у нас только шинели серого цвета, шапка же у них зеленая или, как еще говорят, цвета хаки. А шапки без козырька у нас кроме каторжников носят только матросы.

У человека появляется неприятное чувство, когда над ним смеются, особенно тогда, когда он ждет совсем другого. В душе я даже надеялся, что при встрече Екатерина Васильевна поцелует меня. Какое разочарование ждало меня! Теплой встречи не было. Разумеется, я успокаивал себя, убеждая, что никто не собирался меня обижать, а шапку можно и перешить.

Я похвалился, что привез много учебников, и торжественно вручил ей три книги.

Екатерина Васильевна улыбнулась:

— Правильно говорит народная мудрость, что богатство к богатому бежит. Тут без вас приехал Решетюк и привез штук двадцать учебников. Пока вас не было, я купила учебники у него. Но если вы не возражаете, себе я оставлю ваши книги. В Березовке Решетюк встретился с пленным, который знает вас. Сказал, что вы друзья, якобы служили в одном полку. Этот офицер и достал для вас книги. Он и письмо вам написал. Вот, пожалуйста, прочтите.

Весть о том, что в Удинске у меня есть знакомые, обрадовала меня. С нетерпением я вскрыл письмо. Оно оказалось от прапорщика Вирани, вместе с которым я в начале войны служил добровольцем в 68-м пехотном полку. Если он и не был моим другом в полном смысле этого слова, то, во всяком случае, входил в число тех восьми — десяти человек, в кругу которых я находился до того, как попал на фронт.

Письмо несколько разочаровало меня, потому что оно было банальным:

«Я рад, что услышал о тебе и могу оказать тебе помощь. Завидую, что ты на свободе. При случае навести нас в лагере, где кроме меня найдешь еще нескольких однокашников».

Далее следовали жалобы на то, как им надоела эта лагерная жизнь и как было бы хорошо вернуться домой.

Сунув письмо в карман, приступил к уроку.

Я уже начал забывать тот странный прием, который оказала мне Екатерина Васильевна, а она все еще никак не могла найти нужного непосредственного тона и чувствовала себя как-то неловко.

Когда урок кончился, у обоих было такое настроение, что я решил немедленно уйти. Она не удерживала меня.

Разочарованный, я пошел домой.

Дома дверь мне открыла Яденька. Она приветствовала меня громкими восторженными возгласами, не переставая

повторять, что я стал красивым русским солдатом. Хозяйка присоединилась к ее мнению.

Никто из них не сделал мне никакого замечания о шапке. Когда же я рассказал, что Екатерине Васильевне моя шапка не понравилась, хозяйка заявила, что Екатерина Васильевна абсолютно права, так как порядочные люди таких шапок не носят. Яденька осталась при своем мнении.

— Ну, это еще ничего не значит! В России все знают, что царское правительство ссылало в Сибирь именно порядочных людей. А если этой вертушке не нравится, ее дело. Не обращайтесь внимания! Вы мне и в этой шапке нравитесь.

— Закрой рот и не безобразничай! — набросилась на девушку старуха. — Порядочная девушка не скажет такого мужчине.

Я стоял между ними, теребя злополучную шапку. Яденька, казалось, не обратила никакого внимания на слова старухи.

— Хотите, давайте мне свою австрийскую шапку, я перешью вам ее.

— Иди-ка лучше поставь самовар, — сказала хозяйка. — Андрей Александрович после дороги с удовольствием выпьет горячего чайку.

Я пошел к себе в комнату, распаковал свои вещички и лег на кровать.

Из головы у меня никак не выходила холодная встреча Екатерины Васильевны. Постепенно мои мысли вернулись к Яденьке, которая отнеслась ко мне намного теплее и нежнее. Я удивлялся только тому, что, несмотря ни на что, не мог сердиться на Катю.

Оказалось, что пани Низалковская пригласила меня к чаю отнюдь не из вежливости или сердечной доброты. Она живо интересовалась всем, что я видел в Чите, но особенно прислушивалась к моему рассказу о толкучке.

Когда чай был выпит, Яденька попросила принести ей обе мои шапки, чтобы перешить одну из них.

Старуха на это только недовольно пожала плечами.

— В серой шинели вас никто никогда не примет за пленного, — заметила Яденька. — Только не забудьте купить ремень, так как шинель носят с поясом. Сходите завтра в лавку к Флайшману, я видела у него хорошие черные ремни.

— Ну, хватит болтать, — проворчала старуха. — Пора спать. — И, схватив Яденьку за руку, она буквально вытащила ее из комнаты.

Случай с ремнем

Утром урок с Яденькой не состоялся, так как пани Низалковская очень рано ушла на рынок и взяла ее с собой. Позав-

тракав в столовой, я пошел покупать себе ремень. В лавочке Флайшмана действительно было много ремней. За черный и очень узкий ремень Флайшман запросил пятьдесят копеек. Мне же хотелось купить широкий ремень, и не черный, а коричневый. Я решил походить по другим лавочкам, но там не оказалось даже таких ремней.

Поскольку ходить без ремня я не собирался, то на следующий день к вечеру снова пошел к Флайшману. Но торговец сказал, что, к сожалению, он уже не может продать мне ремень, так как все ремни у него оптом скупил соседний лавочник, грек Калачнади. Я пошел к греку. Как только я вошел в его лавочку, сразу же в глаза мне бросилась связка ремней. Попросив один ремень, я справился о цене.

— Два рубля, — ответил мне кряжистый грек.

Я не поверил своим ушам. Может, я ослышался?

— Тут, видно, какое-то недоразумение, — сказал я. — Флайшман вчера продавал эти ремни по пятьдесят копеек.

— Если у Флайшмана дешевле, тогда у него и купите, — безразличным тоном отвечал грек и уже хотел повесить ремень обратно.

Ничего не оставалось, как купить этот ремень, так как ходить без ремня я не мог.

А о греках у меня сложилось не очень лестное мнение. Но вскоре после этого случая выяснилось, что о греках вообще, а тем более о Калачнади, я сделал несколько поспешные выводы.

Разрешение на жительство

На следующий день, когда я обедал в столовой, ко мне подошел здоровяк-милиционер, тот самый, что в день моего приезда водил меня в милицию, и сказал, чтобы после обеда я зашел в отделение.

Настроение у меня испортилось. Я решил, что пришел ответ из Красноярска, а в ответе говорится, что в списках пленных лагеря я не числюсь и поэтому никакого разрешения мне выдать не представляется возможным. Значит, меня посадят на поезд и увезут в какой-нибудь лагерь. Сердце сжалось от одной только мысли, что я не увижу больше ни Екатерины Васильевны, ни Яденьки.

Принял меня сам Невдах.

— Ну, молодой человек, с сегодняшнего дня можете ходить спокойно, на вас пришло разрешение из Красноярска. — И он протянул мне какую-то бумагу.

С волнением я прочитал бумагу, в которой говорилось о том, что «Красноярский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов настоящим разрешает венгерскому военнопленному (следовала моя фамилия) поселиться на постоянное жительство в Хилоке».

Невдах пожал мне руку и пожелал удачи.

Через час я делился своей радостью с Екатериной Васильевной.

— Ну, вот видите, — сказала она. — Постепенно все улаживается. Желаю вам, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома.

V. НЕОЖИДААННЫЕ ПОВОРОТЫ

Крах пани Низалковской

Страсть к Яденьке настолько захватила меня, что я уже стал подумывать о том, как бы уговорить ее порвать с «женихом» и уйти со мной. Снимем где-нибудь комнату и переедем туда жить. Чем больше я об этом думал, тем яснее понимал, что в таком захудалом уголке, каким был Хилок, это просто невозможно. Если бы у меня была полная свобода передвижения, можно было бы уехать в какой-нибудь другой город. Но согласно выданному разрешению мне можно было жить только в Хилоке.

Единственное, что мне оставалось, — это съехать с квартиры старухи и поселиться где-нибудь в другом доме. Быть может, Яденька изредка под каким-нибудь предлогом сможет придти ко мне.

Я уже решил действовать, но тут случилось нечто совершенно неожиданное.

Пани Низалковская получила письмо от своего младшего сына Пети, в котором он сообщал, что несколько недель назад женился во Владивостоке. Жена его — дочь богатых родителей. Сейчас они вместе с женой собираются переехать на жительство в Новониколаевск и по дороге на несколько дней заедут к пани Низалковской навестить ее.

Эту сенсационную новость принес Секлущкий. Оказалось, что во вторник пани Низалковская пришла к его сестре и попросила помочь ей в трудную минуту: пусть Яденька поживет у них несколько дней, пока Петя с женой будут гостить у матери. Сестра же Секлущкого, женщина верующая, придерживающаяся старых взглядов, откровенно заявила, что, поскольку у нее есть муж и брат, она не может и не имеет права пустить в дом женщину легкого поведения, какой считала Яденьку.

Придя вечером домой, я застал Низалковскую и Яденьку за работой: они чистили, убирали всю квартиру.

Я и виду не подал, что знаю что-то. Думал, что хозяйка сама расскажет мне новость. И я не ошибся. Пани Низалковская безо всякого смущения сказала, что приезжает ее сын, который недавно женился, и теперь они приводят квартиру в порядок.

Я поздравил хозяйку с таким событием, заметив, с каким злорадством слушала наш разговор Яденька, и ушел к себе в комнату, а женщины продолжали уборку.

Через несколько минут хозяйка вышла во двор. Яденька в чем была вбежала ко мне и, ничего не говоря, подставила губки для поцелуя.

«Что-то принесет мне завтрашний день?» — думал я, оставшись один. Уж не для того ли Яденька старается казаться такой спокойной, чтобы усыпить бдительность старухи, а сама завтра затеет скандал.

Однако вопреки моему ожиданию ничего особенного не произошло.

По просьбе пани Низалковской и Яденьки я пошел с ними на вокзал встречать молодых.

Молодой человек отнюдь не был похож ни на симпатичного офицера, которого я видел на фотокарточках, ни на того гениального мастера на все руки, которому мать пела дифирамбы на каждом шагу. Он показался мне молчаливым человеком, неспособным на подлость и не наделенным от природы ни красотой, ни острым умом.

Пани Низалковская повезла сына и невестку на пролетке, а мы с Яденькой пошли пешком.

Меня съедало любопытство, как поведет себя Яденька в столь щекотливом положении. В то же время я и сам чувствовал себя неловко. Когда я смотрел на Яденьку как на невесту, мне хотелось ее увлечь, а она давала мне понять, что охотно надует со мной своего будущего супруга. И если наше желание не исполнилось, так это только из-за пани Низалковской, которая не спускала с нас глаз.

Теперь же стало очевидно, что, поскольку ее сын женат, она вряд ли станет держать в доме Яденьку. Возможно, она постарается выдать ее замуж за какого-нибудь молодого человека, быть может, даже за меня. Яденька, вероятно, и сама ждет чего-то от меня. Возможно, в душе она надеется, что я предложу ей стать моей женой. Но что ей сказать? Я чувствовал, что, несмотря на мое желание обладать ею, я не женюсь на ней. А без женитьбы здесь, в Хилоке, нам вместе не жить.

Некоторое время мы шли молча. Я чувствовал себя так неловко, что слова не шли с языка.

Из этого состояния меня вывела Яденька, начавшая о чем-то болтать, хотя голос выдал ее: она говорила совсем не о том, о чем думала.

— Представьте себе, и за этого идиота хотели выдать меня! Я не знаю, кого мне и благодарить за то, что меня избавили от этого счастья. Как вспомню о нем, меня сразу же воротит! Если бы он случайно не втрескался в эту тусыню, мне вряд ли удалось отвязаться от него. Так мне и нужно!

Я ждал, что теперь она перейдет к нашим отношениям и прямо или косвенно спросит меня о моих намерениях. Однако она и не думала этого делать, а стала передразнивать то Петра, то его жену, то пани Низалковскую, и притом с такой злостью и издевкой, что я даже растерялся.

Так мы дошли до дома, а я не сказал ни слова. Сама же Яденька, к моему удивлению, даже не обмолвилась ни о том, что у нас с нею было, ни о том, что будет после.

Молодые супруги пробыли в Хилоке два с половиной дня, и за все это время в доме никаких скандалов не было. Разумеется, Яденьке никаких уроков я не давал, стараясь поменьше быть дома, однако от совместного вечернего чая избавиться мне уже не удавалось.

Я с удивлением наблюдал за Яденькой, которая весело и непосредственно участвовала в совместных разговорах.

Молодой супруге Петра было сказано, что Яденька бедная родственница пани Низалковской.

Яденька сбрасывает оковы

В пятницу утром, когда я уходил из дому, пани Низалковская сказала, что пойдет провожать сына на вокзал, а Яденька останется дома. Не желая оставаться с Яденькой вдвоем, я пришел домой только после пяти, предварительно убедившись в том, что четырехчасовой поезд ушел по расписанию.

К моему удивлению, Яденька все еще была одна.

Открыв мне дверь, она ничего не сказала, лишь ответила на мое приветствие. Я прошел в свою комнату.

Было ясно, что старуха намеренно не пришла сразу же домой, оставив Яденьку одну как приманку, на которую я могу клюнуть, а уж тогда она и повесит ее мне на шею.

Что мне оставалось? Сделать вид, что я ничего не замечаю, сидеть и готовиться к урокам? Но если Яденька вдруг зайдет ко мне, я за себя не поручусь.

Лучше всего было бы уйти из дому и вернуться поздно. Или же пойти к Яденьке? Открыто и честно сказать ей, что серьезных намерений по отношению к ней у меня нет, а в изменившейся обстановке нам не стоит играть с огнем.

Пока я ломал себе над этим голову, Яденька крикнула, чтобы я зашел к ней, она хочет мне что-то сказать.

Я сошел к ней.

Девушка сидела на кровати и жестом показала мне кресло напротив.

— Послушайте, вам труднее говорить по-русски, чем мне, тогда лучше слушайте. Да я и так знаю, что бы вы мне сказали. Ваше поведение в последние дни красноречиво говорит об этом. Скажу коротко, пользуясь моментом, пока эта ведьма не

вернулась домой. Пока вы считали, что я невеста и скоро выйду замуж, вам хотелось совратить меня. Не скрою, я охотно отдалась бы вам, но старуха следила за каждым моим шагом. Теперь же она просто не знает, что со мной делать. Выбросить меня на улицу она не может, потому что всем представила меня как невесту. Она знает, что если я сама не уйду от нее, то единственный выход для нее — отдать меня за кого-нибудь замуж. Она надеется на вас, и потому прямо со станции пошла в гости, чтобы оставить нас одних. Она приказала мне податься вам и сделать так, чтобы ровно в восемь, когда она вернется домой, ей удалось застать нас вместе. В остальном же я могу положиться на нее.

Зачем я вам все это говорю? Вы мне понравились с первой минуты, но не волнуйтесь, я не собираюсь бросаться вам на шею. Знаю, что не гожусь вам в жены. Да я и вообще не хочу выходить замуж, надоели мне эти мужчины. Почему? Это уже не интересно. Не смогу вам объяснить и того, почему я без единого слова покидаю эту старую ведьму. У меня нет времени для объяснений. Важно то, что делаю по-своему, а не пляшу под дудочку старухи. Сейчас половина шестого. Полтора часа мы спокойно побудем вместе. Но ровно в семь я уйду из дому и уже не вернусь сюда. Вы же переночуете где-нибудь у знакомых, а потом найдете себе другую квартиру.

Когда я вспоминаю об этих полутора часах, проведенных с Яденькой, то вообще никак не могу себе представить, как мне удалось освободиться от ее объятий.

Как мы расстались с ней, как я ушел из дома папи Низалковской — ничего этого не могу восстановить в памяти. Помню только одно: с маленьким узелком в руках, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, я прошел весь поселок, перешел через мост, добрался до железнодорожной станции и сел на скамейку в зале ожидания второго класса. Понадобилось немало времени, чтобы я стал что-то соображать, мог поразмыслить, куда же мне теперь идти.

Ночь я провел в комнате у Секлуцкого, сестра которого постлала мне на полу два одеяла.

Секлуцкому я без утайки рассказал обо всем, а его сестре то, что в сложившейся ситуации мне лучше всего уйти из дома Низалковской.

Секлуцкий посоветовал мне поговорить с сапожником Наумовым, который сдает комнату, и утром повел меня к нему. Сапожник вместе с двумя сыновьями целый день трудился в мастерской на первом этаже. На втором этаже располагались большая комната и три совсем крошечные комнатки, одну из которых сдали мне.

Вся меблировка комнаты состояла из кровати, маленького столика и стула, но мне больше ничего и не нужно было.

Часов в десять я появился у Низалковской и сказал, что, поскольку уроков у меня стало больше, мне гораздо выгоднее жить не так далеко от центра, где я и нашел себе комнату.

Вопреки моему ожиданию хозяйка даже не стала отговаривать меня от этого решения. Казалось, она даже обрадовалась. И это показалось мне подозрительным. Неужели она замышляла какое-нибудь новое злодейство?

Упаковав свои вещи, я сказал, что сегодня или завтра я обязательно заеду за ними и заберу.

Мне хотелось поговорить с Яденькой, но как это сделать? Надо предупредить девушку о том, что здесь что-то затевается, а также спросить ее, сможет ли она навестить меня на новой квартире. В начале моего разговора с хозяйкой Яденька была в комнате, но делала вид, что ее мой переезд нисколько не интересует. Потом она вышла в кухню.

Уложив свои вещи, я распрощался с обеими женщинами, так и не обмолвившись с Яденькой ни единым словом.

Однако и на этот раз она оказалась находчивее меня. В кармане шинели я нашел записку: «В пять часов старуха уйдет, приходите».

Ровно в пять я подъехал к дому на извозчике, погрузил вещи, а сам остался в доме, попросив извозчика отвезти их на мою новую квартиру.

Повторилось страстное безумие, как и накануне, только на сей раз в нашем распоряжении был всего час времени. Мы поговорили по душам.

Яденька согласилась со мной. Да, поведение старухи и ей внушало подозрение. Она догадывалась, что Низалковская готовит ей какую-нибудь новую пакость. Я спросил, не лучше ли будет, если Яденька сразу же уйдет от старухи.

— Возможно, — согласилась девушка. — Я уже думала об этом. Но знаете, я умею не только страстно любить, но и не менее страстно ненавидеть. А эту старуху я ненавижу так, как ни одного человека на свете, и мне очень хочется понастоящему отомстить ей за все. Самое чувствительное место у старухи — это ее карман. Так дешево я ей не обойдусь. Я хочу выжать из нее денег, чтобы прожить хотя бы месяца два, пока не подыщу себе какую-нибудь работу или не выйду замуж. Собственно говоря, я все равно окажусь на улице, но, насколько возможно, постараюсь продержаться. Когда она поймет, что навязать меня кому-либо ей не удастся, она будет вынуждена отказаться от меня, лишь бы только я ее оставила в покое.

Будь у меня деньги, я охотно отдал бы их Яденьке, помог ей уехать отсюда. Но денег у меня не было и единственное, что мне осталось сделать, — это сказать, что, если когда-ни-

будь ей понадобится помощь, она смело может обратиться ко мне.

Я рассказал ей, в каком доме живу и куда выходит окно моей комнаты, и попросил, что, если она когда-нибудь вечером или даже ночью захочет прийти ко мне, пусть бросит в окно снежок или камешек. Яденька обещала, что уже завтра навестит меня, если представится возможность.

Бегство Яденьки

Дни мои тянулись медленно и скучно. Я был полон воспоминаний о Яденьке, а она все не приходила.

Попробовал выяснить о ней что-нибудь у Секлуцкого и его сестры, но они знали только, что старуха и девушка живут затворнической жизнью и никуда не выходят.

Я совсем потерял голову и даже хотел, наплевав на все на свете, жениться на Яденьке. У меня не было сомнений, что именно Яденька нужна мне. Правда, когда я рассуждал и взвешивал все «за» и «против», то приходил к выводу, что могу попасть на опасный и ложный путь. Судьба свела меня с женщиной, с которой не могло быть никакой духовной близости, и потому связать наши судьбы — значит испортить жизнь обоим.

Прошли две мучительные недели. В начале третьей, часов в девять вечера, что-то стукнуло мне в окошко. Кровь прилила к голове. Это могла быть только Яденька.

Я выбежал открывать. Без пальто и без шапки, замерзшая, испуганная, перед дверью стояла Яденька, а на дворе был тридцатиградусный мороз.

Я буквально втащил ее в коридор и, пока поднимались по лестнице, растирал ей нос и уши, которые показались мне отмороженными.

Яденька почти не могла двигаться. Я раздел ее, уложил в свою постель и хорошенько укрыл. Поцеловав ее, я побежал в кухню, чтобы поставить самовар.

Когда я вернулся в комнату, девушка лежала без движения. Сначала я подумал, что она уснула, но, наклонившись над ней, услышал, как она тихо плачет. Я стал нежно гладить ее лицо и целовать, и тогда она разрыдалась.

Постепенно Яденька затихла, но говорить пока не могла.

Уже одно то, что в такой мороз она выбежала из дому без пальто, подсказало мне, что случилось нечто ужасное.

Чашка горячего чая привела Яденьку в чувство. Ей уже не было холодно, она только очень устала.

За второй чашкой чая она уже села на кровати, и мы начали разговаривать. Передо мной была прежняя Яденька. Спокойно она рассказала мне о случившемся.

После того как я уехал от Низалковской, Яденька превратилась в настоящую пленницу. За две недели она раза два выходила на улицу и то в сопровождении старухи.

Яденька не могла понять, почему эта старая баба-яга так стережет ее. Девушке казалось подозрительным и то, что старуха ничем не мстит ей за то, что не удался хитрый план со мной. Напротив, она называла меня бедным чертом и обещала найти Яденьке богатого жениха. Сама пани Низалковская тоже очень редко выходила из дому, да и то на короткое время, находя Яденьке какую-нибудь работу, чтобы та не могла уйти.

Так продолжалось две недели. И вот вчера вечером старуха начала куда-то собираться, а Яденьке сказала, что боится ее оставлять одну, так как в округе объявился беглый каторжник, который грабит и насильничает. Говорят, в соседнем поселке он убил одну женщину. Под этим предлогом, уходя из дому, старуха заперла девушку на замок. Сколько Яденька ни просила дать ей ключ, чтобы запереться изнутри, старуха оставалась непреклонной и ушла.

— Может, я вернусь домой поздно ночью, а будить тебя не хочу, — бросила она девушке через дверь.

Странное поведение старухи напугало Яденьку. В душе она чувствовала, что здесь таится какая-то опасность, но не знала, что именно ей грозит. Девушка уже подумывала о том, чтобы выбить оконное стекло и бежать ко мне, но решиться на это никак не могла.

Ей не спалось, и она, взяв в руки книгу, стала читать, решив не спать до прихода хозяйки.

Вопреки обещанию старуха вернулась домой в половине десятого.

— Пошли спать, — сказала она, — завтра у нас будет много дел. К ужину ждем важного гостя. Будь с ним мила, так как речь пойдет о большой партии контрабандного товара.

Это несколько успокоило Яденьку. «Если бы она задумала что-нибудь плохое против меня, — думала она, — то не стала бы приглашать для этого свидетеля».

Яденька поинтересовалась, кто будет их гостем. На это старуха ответила:

— Потом увидишь. Тебе он наверняка понравится.

Яденька решила, что это, вероятно, какой-нибудь жених для нее, и снова разволновалась.

На следующее утро старуха куда-то ушла, а Яденька занялась домашними делами.

Вскоре в дом пришел лавочник-китаец, у которого они обычно покупали продукты. Китаец снял две корзины, которые принес на коромысле, и начал доставать из них продукты. Потом он вытащил из-под шубы большую бутылку. Лицо у китайца при этом было загадочным. Яденька сразу же догадалась, что

это водка, а торговля водкой была запрещена тогда. Ее доставали тайком, и стоила она очень дорого. Среди пьющих большой популярностью в то время пользовалась китайская водка «ханжа», которую привозили в Сибирь из Маньчжурии в керосиновых бидонах.

Ничего особенного в том, что старуха заказала китайцу водку, Яденька не видела: гость есть гость. Ее удивило только странное поведение китайца.

Раньше, оставив продукты, китаец обычно вешал свои корзины на коромысло и, подобострастно кланяясь, крошечными шагами удалялся за ворота. На этот раз он проворно подбежал к калитке и выглянул на улицу, потом так же быстро вернулся обратно и с выражением ужаса на лице показал Яденьке, чтобы она шла за ним в дом. Яденька молча последовала за китайцем. Она не раз бывала в лавочке этого торговца и давно заметила, что маленький страшный китаец влюблен в нее, но не так, как обычно мужчина влюблен в женщину, а как-то по-особенному, подобострастно.

Плотно прикрыв за собой дверь, китаец приложил палец к губам, потом поднял его над головой, показывая этим, что он хочет сказать что-то очень важное. На ломаном русском языке, что было для Яденьки неожиданностью, так как до этого она слышала от него только отдельные русские слова, он начал говорить. Из его путаного рассказа Яденька все же поняла, что он хочет сказать. Все услышанное показалось девушке просто невероятным.

Вчера вечером он узнал о том, что против Яденьки готовится преступление: старуха продала ее за хорошую сумму одному богатому китайцу-торговцу, который приехал сюда с гор с товарами и сегодня ночью уезжает обратно. Старуха пригласила его на ужин, чтобы показать девушку. Если Яденька понравится старику, тот отдаст Низалковской деньги и сразу же заберет девушку. Часов в десять вечера перед воротами будут сани, а в них — верные люди торговца. Яденьку свяжут, заткнут ей кляпом рот и увезут на санях куда-то в горы.

Все это было похоже на ужасы, описываемые в каком-нибудь приключенческом романе. Заметив по глазам девушки, что она не очень-то верит ему, китаец повалился Яденьке в ноги и начал целовать ее туфли, умоляя поверить ему и немедленно скрыться. Встав, он поклонился до самого пола и, не говоря ни слова, вышел в сени, забрав свои пустые корзины.

Яденька сразу не поняла, во сне ли это все или наяву. Немного поразмыслив, она решила, что китайцу нет никакого смысла придумывать все это. Ясно было и то, что ей нужно бежать, но куда?

Через несколько минут, когда старуха вернулась домой, у Яденьки уже созрел план действий.

Собрав все силы, чтобы не выдать себя, Яденька стала го-

товиться к приему гостя, временами даже что-то напевая себе под нос.

Под вечер пришли гости — два китайца. Один пожилой человек-мумия, видимо жених, так как старуха больше всего лебезила перед ним, другой — помоложе, здоровенный такой, видимо, слуга или приказчик.

Яденька была очень вежлива с гостями, лишь бы старуха не поняла, что девушка все знает.

Ужин прошел гладко, гости пили ханжу и угощали Яденьку, но она отказалась.

Захмелевший китаец-мумия бросал на Яденьку похотливые взгляды.

Старуха, у которой от выпитой водки поднялось настроение, нежным голосом попросила Яденьку:

— Голубушка моя, поставь-ка нам самоварчик!

Девушка только этого и ждала. Кивнув, она вышла в кухню.

У русских есть такое выражение: «Каждый по-своему с ума сходит». У пани Низалковской была своя причуда — она не разрешала ставить самовар в доме. Для этого нужно было выйти в сени.

Налив в самовар воды и положив углей, Яденька вынесла его в сени, а оттуда в чем была, без пальто, без шапки и перчаток, бросилась бежать в темноту вечера.

Затаив дыхание, я слушал рассказ Яденьки. Она, пока говорила, была бодрой, но как только кончила, сказались усталость и нервное напряжение. Она закрыла глаза и без сил откинулась на подушку.

Я сидел на краю постели и, ничего не говоря, гладил волосы и лицо девушки.

Постелив себе на полу одеяло, я лег, но уснуть не мог, думая о том, что же теперь делать с Яденькой. Держать ее у себя я не мог, да и в Хилоке ей нельзя было оставаться. Будет лучше, если она уедет в Удинск, и немедленно, так, чтобы никто не узнал, куда она исчезла.

Разумеется, об этом нужно было поговорить с ней самой, но я не решался будить ее.

Я знал, что скорый поезд из Владивостока приходит в Хилок четверть шестого и через пятнадцать минут отправляется дальше. В половине четвертого я встал и, стараясь не разбудить Яденьку, пошел на станцию, где купил один билет до Удинска во втором классе. Вернувшись домой, я поставил самовар. В половине пятого чай был готов. Я разбудил Яденьку и, пока она завтракала, рассказал ей о своем плане. Она полностью согласилась со мной. Когда же я сказал, что уже купил ей билет, она чуть не расплакалась и обязательно захотела поцеловать мне руку. Только вот как ехать без пальто и без копейки денег?

С пальто было труднее, но я предложил ей взять мою русскую шинель и серую шапку, купленные в Чите. Перчатки у меня тоже нашлись. В таком наряде ее никто не узнает.

Сначала Яденька ни за что не хотела брать у меня эти вещи.

— Нет, нет, — упрямилась она. — Они вам самому очень нужны.

Несколько минут я уговаривал ее, объяснял, что теперь, когда у меня есть разрешение на жительство, совсем не обязательно скрывать, что я военнопленный.

Не было еще пяти, когда мы были готовы выйти из дому.

— Ну, пошли, — сказал я и подошел к Яденьке, чтобы еще раз поцеловать ее на прощание.

На улице нам никто не встретился. Обойдя здание вокзала, мы вышли на перрон. Поезд уже стоял у платформы.

Перед тем как посадить Яденьку в вагон, я достал все свои деньги, которые у меня в тот момент были. Набралось ровно сто рублей, и я сунул их в карман шинели. Она хотела отдать их мне, но в этот момент раздался третий звонок.

Мы едва успели поцеловаться. Яденька уже на ходу вскочила на подножку вагона:

— До свидания!

Яденька пообещала мне, что, как только она где-нибудь пристроится, сразу же сообщит свой адрес. Он был мне нужен для того, чтобы в один прекрасный день заявиться к пани Низалковской и, сказав ей, что мне все известно о ее проделках, потребовать вещи Яденьки, а потом уже переслать их ей.

Но потом я отказался от этой затеи. Секлужский, с которым я встретился утром, сказал, что к ним приходила Низалковская и рассказала, что Яденька якобы уехала в Омск к родственникам. Старуха сама проводила ее на станцию, а вернувшись домой, заметила, что пропала масса вещей. Такой черной неблагодарности она, разумеется, не ждала от Яденьки, которую столько времени кормила, поила и за которой ухаживала, как за родной дочерью.

Услышав это, я понял, что никаких вещей от Низалковской мне не получить. Старуха все будет отрицать, доказать ничего не удастся, и я попаду в довольно смешное положение.

Жаль было Яденьку, но ничего поделать я не мог.

Прошло несколько недель, а от Яденьки не было известий. Часто я думал о том, что поеду в Удинск, разыщу ее там и увезу с собой, но в конце концов все же раздумывал и никуда не ехал.

Исчезнув, Яденька отказалась не только от своих вещей, но и от меня самого.

Моя дружба с Екатериной Васильевной, которая так хорошо началась, после странной встречи как бы зашла в тупик. Уроки проходили нормально, но мы почти не разговаривали с ней после занятий. То ли она чувствовала, что между нами стоит другая, то ли я был чересчур сухим, но факт остается фактом: мы ни на сколько не приблизились друг к другу. Однако шли дни, образ Яденьки стирался в памяти, а общение с Катей, как я называл ее про себя, незаметно становилось все приятнее.

Когда на уроке она сидела совсем близко от меня, я вдыхал аромат ее волос, и меня всего словно переворачивало.

Екатерина Васильевна была по-прежнему мила со мной, и та напряженность, которая как бы сковывала ее в то время, когда я ухаживал за Яденькой, постепенно исчезла. И хотя она ничем не выдавала свое отношение ко мне, я чувствовал, что ей хорошо со мной, что я ей симпатичен. Об этом говорило каждое ее движение, каждый взгляд. Я знал, что мне нужно набраться терпения и ждать.

VI. НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Мария Павловна

Над кроватью Екатерины Васильевны висел большой портрет необыкновенно красивой женщины. Я заметил его в первый же день и уже не раз порывался спросить, кто это, но все никак не решался. И однажды все же отважился.

— Кто эта великолепная женщина? — спросил я, показав на портрет.

— Это моя мама, — ответила Екатерина Васильевна. — Правда, трудно поверить, а?

— Почему?

— Мы так не похожи друг на друга. Ведь она настоящая красавица, меня же, когда бог раздавал красоту, не было.

— Откуда вы взяли, что вы некрасивы?

— Красота, конечно, как и многое другое, — понятие относительное. Все в мире, как говорят, относительно. Я сама себе не нравлюсь.

— Ну, это дело вкуса. А мне, например, нравиться.

— Вы очень любезны, благодарю за комплимент, но от этого я не стану лучше.

— А можно вас спросить, когда сделан этот снимок?

— Почему вы это спрашиваете?

— Мне кажется, что вашей маме, когда она фотографировалась, было не больше лет, чем сейчас вам.

— Ну вот и не угадали! — рассмеялась она. — Этот портрет сделан два года назад в Иркутске, перед отъездом мамы на

фронт. А чтобы вы убедились, какая молодая у меня мама, я расскажу вам один случай. Два года назад в Иркутске мы встретились с одним офицером — маминым старым знакомым. Он сопровождал какую-то даму, поэтому только поздоровался с нами, и все. Через несколько дней этот офицер и спрашивает маму: «А что за тетя была с вами?» А этой самой тетей была я. Не раз случалось, что меня считали старше моей мамы.

— Ну, это уже чересчур, — чуть было не рассердился я, но Екатерина Васильевна засмеялась и только махнула рукой.

Вскоре после этого разговора я встретился с Секлуцким и спросил его, видел ли он когда-нибудь мать Екатерины Васильевны.

— Марию Павловну? Как же, видел. Дочь вовсе не похожа на нее.

— Ты хочешь сказать, что мать красивее?

— Это общее мнение, хотя мне лично Екатерина Васильевна нравится больше. Но дело совсем не в этом.

— А в чем тогда?

— А в том, что Екатерина Васильевна — самая порядочная женщина из всех, кого я когда-нибудь встречал, а мать ее — полная противоположность.

— Это как понимать? Уж не хочешь ли ты сказать...

— Именно это и хочу: плохая она женщина. В господских кругах таких женщин называют куртизанками.

— Не может быть! Чтобы мать, родная мать такого тонкого, чистого создания...

— Мать ее тоже тонкое создание, не уличная, только очень уж сердце у нее любвеобильное и жалостливое, всех-то ей жалко.

— Ты в этом уверен? Не ошибаешься? — спросил я, все еще сомневаясь.

— Если когда-нибудь ты ее увидишь и поговоришь с ней, у тебя сложится такое же мнение о ней. Дочь, разумеется, ничего с этим поделать не может. Она-то ведь сама порядочная.

Объяснение Секлуцкого только запутало меня. То, что он рассказал мне, как-то не вязалось ни с тем чувством, с каким Катя говорила о матери, ни с ее ангельски красивым портретом. Невозможно было даже представить, что эта прекрасная женщина могла быть кокеткой. Но ведь каких только историй не случалось на свете! Нередко бывает и такое, когда матери, вся жизнь которых была испорчена, словно в искупление своей вины, трогательно заботятся о своих детях и делают все, лишь бы только они не узнали их прошлого, их тайны. А вообще, даже если Секлуцкий и прав, какое это имеет отношение ко мне? Для меня важно, какая Катя. Что же касается ее матери, которую я даже не знаю, мне нет до нее никакого дела.

Я всегда был оптимистом в своих взглядах на людей, ни о ком никогда не думал дурно до тех пор, пока сам не убеждался, что это действительно плохой человек. В этом отношении Никифор Андрианович был для меня исключением. С первого же взгляда, сам не знаю почему, я зачислил его в мои личные враги.

Но, пожалуй, для этого у меня была причина. Наше знакомство началось плохо.

Через неделю после того как я стал давать Кате уроки языка, однажды после урока мы вышли с ней погулять, а по пути завернули в железнодорожный ресторан. Мое внимание привлек мужчина в очках, лет сорока, который что-то говорил собравшимся вокруг него людям. Что именно он говорил, я тогда не понял, но мне не понравился пренебрежительный тон мужчины и его манера держать себя.

— Кто этот мужчина в очках, что так много говорит? — спросил я у Кати как бы между прочим.

— Это лесник, Никифор Андрианович Кичаков. Он мой начальник на работе, а вообще же — старый друг нашей семьи. Очень милый, образованный и симпатичный человек. Вы этого не находите?

Мне он показался почему-то несимпатичным, и я сказал об этом Кате. Правда, толком объяснить ей, почему у меня возникло такое чувство к этому человеку, я не смог. Вряд ли это заговорило во мне чувство ревности.

— Удивительно, — заметила Катя, — как это получается: два таких порядочных человека, как вы и он, даже еще не познакомившись, уже косятся друг на друга.

Оказалось, что этот «милый», «симпатичный» человек и «друг семьи» уже не раз полушутя-полусерьезно старался отговорить Катю от дружбы со мной, считая, что «эти пленные — очень симпатичные люди, когда играют в оркестре или же танцуют, тогда они на своем месте, но ничего другого, серьезного, человек от них не должен и ждать».

— Учитывая то обстоятельство, что я не танцую и не пою, господин Кичаков вполне последователен, советуя вам не дружить со мной, — ехидно заметил я.

— Слова Никифора Андриановича не следует принимать всерьез, но и сердиться на него тоже не нужно, потому что он желает мне только добра. Прав он или нет — это уже совсем другой вопрос.

Больше мы на эту тему с Катей долго не заговаривали.

Интересным человеком был мой знакомый машинист Осип Кузьмич Еременко. Он одним из первых записался ко мне на уроки английского языка.

Разные люди были среди моих учеников: прилежные и ленивые, талантливые и бесталанные. Как правило, прилежание и талант не ходят рядом. Осип Кузьмич был настолько прилежен, что, даже уезжая в рейс, брал с собой тетрадь со словами. Однажды порывом ветра его тетрадку сдуло с паровоза. Недолго думая, он выбросил в окно молоток, чтобы была причина для остановки поезда. Но, несмотря на все свое прилежание, он за целый год так и не усвоил разницы между определенным и неопределенным артиклем. И все же я его любил больше, чем всех других учеников. Не только любил, но и уважал и при случае искал встречи с ним. После уроков, которые я давал в помещении профсоюза железнодорожников, мы обычно возвращались домой вместе с ним, разговаривая по дороге.

Еременко пригласил меня к себе и познакомил со своей женой, женщиной лет сорока, среднего роста, чуть располневшей. Звали ее Анной Ивановной. Она слыла отличной хозяйкой, а это значило, что она не только превосходно готовила, но и вообще была мудрой женщиной. Пригласив к чаю, она всегда подавала на стол белый хлеб, варенье шести — восьми сортов, различные рыбные консервы, больше того, даже копченую колбасу.

Уходя от них, гости обязательно давали честное слово, что придут еще. И нужно отдать справедливость — я довольно часто заезживал к ним. Конечно, моя любовь к Осипу Кузьмичу основывалась отнюдь не на угощениях. Осип Кузьмич был большевиком, и притом большевиком убежденным, фанатичным и боевым. Разумеется, в Хилоке и кроме него еще были большевики: машинист Муржановский; бывший учитель, председатель местного Совета Широких; «министр финансов Хилокской республики», как шутливо называл себя Журавлев; начальник милиции Добрынин и еще несколько советских работников и железнодорожников. Все они были очень добры ко мне. При встрече спрашивались, как я себя чувствую, как идут у меня дела, нет ли в чем-нибудь нужды. И среди них Осип Кузьмич был единственным человеком, который, не боясь моих слабых знаний в русском языке, вел со мной длинные и серьезные разговоры о том, что его интересовало больше всего, — о политике.

Это он объяснил мне, какая разница между большевиком и меньшевиком, откуда пошли эти названия.

— Меньшевики не хотят революции, они стоят лишь за маленькие скромные реформы. Мы же хотим создать пролетарское государство, хотим победы пролетарской диктатуры.

Меньшевики выступают за общую демократию, то есть за сохранение диктатуры буржуазии. Мы, большевики, добиваемся равных прав трудящихся, независимо от того, рабочий это или крестьянин. Мы хотим отнять всю землю у помещиков и передать ее крестьянам. Меньшевики же пренебрегают крестьянином, хотят выплатить помещикам за землю выкуп, а с крестьян содрать за эту землю большие деньги. Словом, мы хотим большего, гораздо большего, чем они. Именно поэтому мы и есть большевики, а они — меньшевики. Но главное сейчас заключается не в этом. Самая существенная разница между нами и меньшевиками в настоящее время состоит в том, что мы выступали за немедленное прекращение войны, поэтому и заключили мир в Брест-Литовске, а они, мерзавцы, хотят продолжать войну, выполняя этим волю буржуазии.

Тогда я еще не понимал, что Осип Кузьмич во многих вопросах ошибался сам. Я слушал его как оракула, и, хотя с точки зрения марксизма как науки его высказывания были не всегда безупречными, по сути дела, именно от него я понял, что такое большевизм, и в значительной степени благодаря ему я сам стал большевиком.

В другой раз Осип Кузьмич объяснил мне, как надо понимать демократию по-большевистски.

— Они называют себя демократами, — втолковывал он мне (под словом «они» опять имелась в виду меньшевики). — Они обвиняют нас в том, что мы стоим за диктатуру, говорят, что у нас никакой демократии нет. Но посмотрите, пожалуйста, вокруг. Сколько получает у нас самый образованный инженер? Ну, возьмем Бориса Петровича, начальника движения. Триста пятьдесят рублей. Я же получаю триста. А мой кочегар, ему всего семнадцать лет, — двести пятьдесят. Разве может быть еще большая демократия? Кочегар-подросток ест то же самое, что и я, одевается не хуже меня, а то и как главный инженер. Полное тебе равноправие. В этой области у нас почти полнейший коммунизм. Разве это не идеально, а? — Тут он на миг задумывался и сам же отвечал на свой вопрос: — Конечно, нет. А почему нет? Потому что ни я, ни мой кочегар, ни главный инженер — все мы не умеем правильно тратить свою получку, потому как не на что ее тратить. Коммунизм тогда настанет, когда все будут жить одинаково, потому что всего вдоволь будет. Придет время, настанет. А самой верной предпосылкой для коммунизма является полная демократия, а она у нас будет. И это главное.

Тут уж я ничего не мог ему возразить, потому что в ту пору и сам не знал, что самое «главное» как раз заключается в чем-то другом, а равноправие, в котором Осип Кузьмич видел верный признак коммунизма, далеко не только от коммунизма, но даже и от социализма. Средняя хилокская демократия ценою в триста рублей мне самому была не по вкусу,

так что в этом отношении я придерживался своей точки зрения.

Однажды Осип Кузьмич рассказал мне, как попал в Сибирь. Родился он на Украине, в семье бедного крестьянина. С шестнадцати лет работал на железной дороге кочегаром. В двадцать лет уже принимал участие в подпольной работе, а в 1905 году, когда ему исполнилось двадцать два, — в революции. После поражения революции он попал в тюрьму и в 1907 году был выслан в Сибирь на поселение. Целых семь лет прожил он в Якутии, у черта на куличках. Когда же началась война и не стало хватать людей, Осипу Кузьмичу разрешили вернуться на железную дорогу, где он стал работать уже машинистом. Вот тогда-то он и приехал в Хилок, здесь же и женился. Первый муж Анны Ивановны тоже был железнодорожником, в самом начале войны он погиб на фронте.

В то время Осип Кузьмич был для меня большевиком, представляющим саму революцию. С уважением, любовью и удивлением смотрел я на него.

И только одно не нравилось мне в нем. Настоящий рабочий и самоотверженный революционер, он никак не мог отделаться от некоторых буржуазных привычек, которые просто не поддавались объяснению. Например, в свободное от работы время Осип Кузьмич не мог выйти из дому без того, чтобы не надеть свой самый лучший костюм. Стоило ему зайти в ресторан второго разряда и увидеть там кого-нибудь из важных местных персон (инженеров, начальника станции, ревизора и тому подобных), как он сразу же подсаживался к ним, а не к таким, каким был он сам. У него в комнате на стене висел портрет Горького, которым он очень гордился. Издалека казалось, что портрет составлен из точек, но если смотреть на него вблизи, можно разглядеть, что он сделан из слов «Буревестника». Сколько раз я ни заходил к Осипу Кузьмичу, он не упускал случая похвастаться этим портретом. Удивляло меня в нем еще и то, что он, такой революционер, сам не раз становился на позиции мелкобуржуазной морали. Стоило, например, ему только услышать, что чей-то муж изменил жене, как он уже говорил о нем чуть ли не как об убийце. Когда однажды выяснилось, что у железнодорожного кассира, любителя выпить, при ревизии оказалась недостача в несколько сот рублей, Еременко сразу же высказал свое мнение по данному поводу, заявив, что «таких типов нужно расстреливать на месте». Или был такой случай, когда какой-то проводник за деньги предоставил пассажиру лежачее место, а его на этом деле поймали и строго наказали. Осип Кузьмич выходил из себя, доказывая, что «такого проходимца нужно было упрятать за решетку хотя бы лет на пять».

Словом, мой друг Осип Кузьмич Еременко отнюдь не был

свободен от пережитков старой морали. Да и в собственном доме, как выяснилось вскоре, ему не удалось обеспечить полного порядка.

Побочное запятие жены Еременко

Мне была дорога дружба с Осипом Кузьмичом. Кроме уроков мы довольно часто встречались с ним на станции и всегда находили время для дружеской беседы. Правда, однажды я даже перестал ходить к нему домой, потому что узнал, что жена его, уважаемая Анна Ивановна, занимается спекуляцией. Жены железнодорожников пользовались правом льготного проезда по железной дороге и часто ездили в Харбин, где покупали различные дефицитные вещи (водку, одеколон, пудру, ткани и тому подобное). Перевезя эти товары через границу, продавали в Хилоке, Чите или Верхнеудинске в пять — десять раз дороже.

Но серьезной причины для того, чтобы не заходить к нему домой, у меня не было. Если он сам не чувствует угрызения совести и живет с такой женщиной, так мне-то до этого тем более нет никакого дела. Не раз случалось, что, когда я заходил к ним домой, Осип Кузьмич отсутствовал. Жена Осипа Кузьмича уговаривала меня посидеть до его прихода. За чаем Анна Ивановна интересовалась моими любовными делами. Сначала я не придавал этому никакого значения, потому что уже давно заметил, что большую часть женщин в мире интересует именно это. Я, как правило, не обращал внимания на ее вопрос и переводил разговор на другую тему.

Как-то она еще раз заговорила об этом. Уже без обиняков, после нескольких незначительных фраз она прямо сказала, что поскольку мне, человеку холостому, пужна женщина, то она может познакомить меня с такой девушкой, что я пальчики оближу. Словом, уважаемая Анна Ивановна торговала не только водкой и одеколоном...

— Спасибо за заботу обо мне, — ответил я с напускным спокойствием, — я подумаю и если решу, то скажу вашему мужу об этом.

— Боже упаси! — испуганно воскликнула она. — Об этом нельзя говорить ни Осипу Кузьмичу, ни кому другому. Это касается только нас двоих, вернее, троих.

— Хорошо, — успокоил я ее, сдерживая улыбку. — Я только пошутил, так же как и вы пошутили.

Анна Ивановна, видимо, поняла, что мой дипломатичный ответ означает отказ, и больше не заговаривала об этом. Она усердно потчевала меня чаем с вареньем. Но я поблагодарил ее и ушел из этого дома, твердо решив, что если когда-нибудь и переступлю его порог, то только вместе с хозяином.

Уроки, которые я давал, не только позволили мне осесть на одном месте, но и дали мне возможность довольно сносно жить. Я хорошо владел немецким языком, довольно хорошо английским и похуже — французским. Учеников я записывал на любой из трех языков по их желанию. Наибольшей популярностью среди хилокских железнодорожников пользовался английский язык. Французский язык я преподавал всего двум местным учительницам и одной пятнадцатилетней девушке. Немецкий язык сначала вообще никто не хотел учить. И лишь года через два ко мне как-то пришли два греческих паренька, сыновья грека торговца Калачнади, и сказали, что хотели бы изучать сразу все три языка. Когда же я попробовал их убедить, что дело это очень трудное, они успокоили меня, сказав, чтобы я не волновался, так как за каждый урок будут платить особо. Мне с большим трудом удалось объяснить им, что никакого результата не будет, если они сразу возьмутся за изучение трех языков. В конце концов мы договорились, что один будет изучать английский, другой — немецкий. После того как я дал им по два урока, ко мне пришли еще два молодых грека, один из которых попросил преподавать ему немецкий, другой — английский. Я согласился.

Следующее предложение было для меня несколько неожиданным. Греки спросили, не нуждаюсь ли я в деньгах, так как они могут уплатить мне за уроки за месяц вперед. Нечего и говорить, насколько это мне было нужно. В благодарность за это я решил вложить в их головы все, что знаю сам. Очень скоро выяснилось, что в греков действительно нужно вкладывать слишком много, так как успехов у них не наблюдалось по той причине, что они были очень заняты в своей лавке. Сначала они только приходили на урок, не выучив заданного, а потом даже стали пропускать уроки. Но платили они всегда исправно и даже за месяц вперед. Когда я сказал им, что очень недоволен их посещением и учебой, они просили меня не беспокоиться, так как платить они и впредь будут исправно. И все шло по-старому.

Таким образом, у меня было основание изменить свое мнение о греках. Они не раз приглашали меня на стакан чая, но это чаепитие не обходилось, разумеется, без водки. Когда-то давно, еще в гимназии, я учил древнегреческий язык, и, хотя он мало похож на живой разговорный язык, мой авторитет в глазах греков сразу же вырос, когда я взял в руки какую-то греческую книгу или газету и начал читать вслух. То, что я ничего не понимал из прочитанного, не имело никакого значения. Еще большее впечатление произвело на них то, что я знал наизусть несколько отрывков из «Илиады» и «Одиссеи».

Греки не раз при мне ругали красных, и это мне не нравилось.

Однажды я спросил у их отца, лавочника Калачнади:

— Скажите, Дмитрий Евстафьевич, почему вы так недовольны существующим режимом? У вас не отобрали ни вашу лавочку, ни вашего дома, вам дали возможность свободно торговать, налогом обложили небольшим. Никак не пойму, почему вам не нравятся красные?

— Видите ли, дело это не такое простое. Нельзя на все смотреть с собственной колокольни. Сегодня мои дела здесь идут хорошо, но надо видеть немного дальше своего носа. Я смотрю, что происходит с другими, и думаю о том, что же будет завтра. Лично для меня нынешняя ситуация благоприятна. Но что будет, если этот строй укрепитсЯ? Положением я доволен, и даже очень, но режим, мой господин, режим! С ним меня никак невозможно примирить!

У меня не было причины не верить в откровенность Дмитрия Евстафьевича. Однако события очень скоро показали, что точка зрения старика оказалась неверной.

Когда в Хилок пришли контрреволюционеры, Дмитрий Евстафьевич понял, что до этого он несколько примитивно смотрел на события.

Фотографии трех мужчин

Над Катиным письменным столом висели три большие фотографии. На одной из них был ее брат Шура, на другой — очень красивый мужчина. Катя говорила, что она даже ни разу не видела этого человека, это один из выдающихся драматических артистов в России, который часто выступал в Петрограде. Сначала я ей не поверил и успокоился только тогда, когда увидел в иллюстрированном журнале этого артиста в роли Гамлета.

Гораздо больше беспокойства доставила мне фотография молодого прапорщика. На мой вопрос Катя коротко ответила:

— Это Володя, мой приемный брат.

Такой ответ не удовлетворил меня, и я дипломатично попросил рассказать о нем поподробнее.

Катя рассказала мне такую историю.

Когда началась война, мать Кати работала в одном из Иркутских военных госпиталей. В начале 1916 года Катя на несколько недель приехала в гости к матери и познакомилась там с Володей, прапорщиком, который лежал в госпитале: у него была ранена нога. В то время Мария Павловна вот уже несколько месяцев не получала писем с фронта от сына Шуры, тоже прапорщика. И когда хорошенький Володя, которому не было тогда и восемнадцати, попал под ее крылышко, она окружила его материнской любовью и заботилась о нем, как о род-

ном сыне. Первое время у Володи была высокая температура. Он был в беспамятстве, и Мария Павловна терпеливо ухаживала за ним. Один раз назвал ее «мамой», а когда ему стало лучше, Мария Павловна рассказала Володе об этом. С тех пор она называла Володю своим сынком, а он ее мамой. Когда Катя приехала в Иркутск, мать представила ей Володю как брата. Катя и Володя подружились. Они много разговаривали, вместе гуляли. И через две недели, когда настало время расстаться, они простились, как брат и сестра.

— А вы уверены, что питаете к нему только родственные чувства? — спросил я не без умысла.

— С моей стороны, по крайней мере, так и есть. Что касается Володи, то он после первой же недели нашего знакомства признался, что влюблен в меня, и просил, чтобы после войны я вышла за него замуж. Но ни я, ни мама не приняли его предложения всерьез и даже смеялись над ним. Шутя я сказала, что тоже люблю его, но только как брата, а следовательно, ничего другого между нами и быть не может. Когда он, уезжая на фронт, снова заговорил об этом, я уже совсем серьезно ответила, чтобы он и не надеялся. Сначала мы регулярно получали от него письма, но вот уже с полгода как от него нет ни слуху ни духу. Бедный Володя или погиб, или попал в плен.

Ничего не оставалось, как поверить объяснению Кати, тем более что она показала мне все открытки, которые ей прислал Володя. Все они начинались словами «Дорогая сестричка» и заканчивались так: «Много раз целую тебя. Твой брат Володя». Если в душе у меня и оставалось хоть малое сомнение, то высказать его вслух не было никаких оснований.

Зять отца Семена

Уже два месяца я давал уроки языка, когда для меня открылись двери дома духовного пастыря хилокских жителей — отца Семена.

Дочь священника Лидия Семеновна была старой Катиной знакомой. И как-то Катя сказала мне, что Лидия Семеновна и ее муж хотели бы заниматься английским языком.

— Друзьями мы никогда не были, — сказала Катя, — да и не будем. Дело в том, что еще в детстве я перестала верить в бога, а она слепо верит и по сей день, как и подобает дочери попа. Да и вообще мы сделаны из разного теста.

Мужем Лидии Семеновны был молодой человек, по фамилии Зубов. Прежде он имел офицерский чин и служил в царской армии. В начале 1918 года бросил службу, переоделся в гражданское и с тех пор безвыездно живет с женой у своего тестя, не собираясь даже устраиваться на работу.

Лидия Семеновна — тихая серенькая сельская гусыня, глупенькая до невероятности. Ее супруг, на удивление заносчи-

вый и самоуверенный, тоже не блистал умом. Я сразу же раскусил всю его никчемность. Любимое занятие Зубова — разговоры о его офицерском прошлом. Каждой фразой своей, каждым жестом он демонстративно подчеркивал, что только временно находится в таком положении, но скоро придет и его день. Естественно, во время нашего первого знакомства я не мог распознать, что это за человек, а если бы понял, то ни за что на свете не согласился бы давать ему уроки языка. Зато с самого начала в этой семье меня ждал приятный сюрприз — пятнадцатилетняя сестренка Лидии Семеновны. Наташка, голубоглазое светловолосое создание, так и пышущее свежестью, была единственной из всех троих, кому стоило учиться. Лидия Семеновна как ученица была абсолютно безнадежна. Зубов со своим глупым зазнайством доходил до того, что злился, когда я исправлял его ошибки. Наташка же все объяснения усваивала буквально с полуслова, ошибалась она редко, а когда я поправлял ее, тотчас же понимала меня. Собственно, только ради нее я и терпел глупые рассуждения Лидии Семеновны и безобразное поведение Зубова.

После урока они часто приглашали меня выпить с ними чаю. Вот тут-то я и познакомился с отцом Семеном.

Это был высокий сухопарый мужчина с усами вразлет и большой бородой. Разговаривая, он постоянно закручивал усы и поглаживал бороду. Мне показалось странным, что даже дома, в семье, он говорил то льстиво-елейным голоском, то трубил поповским басом.

И еще одно странное свойство заметил я у отца Семена, а позже наблюдал и у других священников. С кем бы ни говорил отец Семен — с католиком, протестантом, иудеем или безбожником (так он называл большевиков), — он не обращал ни малейшего внимания на веру или убеждения своего собеседника. Точнее, говорил всегда он сам, не давая другому и слова вымолвить. Разумеется, я не был в данном случае исключением. Как-то он стал излагать мне свои взгляды на войну, революцию и ее перспективы.

— Война, — объяснял он, — господне наказание, которое он посылает на людей за грехи их. Однако люди настолько погрязли в грехах, что даже господне предостережение им не помогает. Тогда-то господь бог и обратился к более эффективным средствам воздействия — он послал на людей большевизм. Это господне испытание будет продолжаться до тех пор, пока в душах человеческих не начнется новая революция и они не пожалеют о своих грехах и не освободятся от них. Рано или поздно это произойдет, вот тогда-то настанет конец и большевизму. Все это дело рук господа бога, и люди не должны вмешиваться в творения рук господних. Тот, кто верит в бога, должен безропотно сносить все испытания, ниспосланные господом на его голову. Все в мире происходит по воле божьей.

Взгляды Зубова, если сравнить их со взглядами отца Семена, были совершенно иными. Зубов утверждал, что мировую войну породил германский империализм, который стремился к мировому господству. В этом с ним был согласен и я. Но стоило мне робко заметить, что, насколько мне известно, к мировому господству стремились государства и другой воюющей стороны, Зубов чуть было не бросился на меня с кулаками.

— Нет и нет! Россия, как и ее союзники, взялась за оружие с целью защиты человеческого прогресса, свободы и демократии, ради благородных целей, для разгрома германского милитаризма. Сегодня уже не тайна, что царское военное командование было на шпиговано шпионами. Имеются доказательства, что сама царица регулярно посылала шпионские донесения своему родственнику императору Вильгельму. И только потому мы проиграли войну, что царь не проводил последовательной национальной политики, а слушал своих советников, которые были на службе и содержании у немцев. Когда же мы разгромим большевиков, новый царь, которого мы посадим на трон, будет до мозга костей русским, а женится он на английской герцогине.

Мне хотелось спросить этого типа, как, каким образом собирается он добиться смены власти, но я, помня мудрую поговорку «Язык мой — враг мой», предпочел не связываться с ним.

— Я никогда не занимался политикой и ничего не понимал в ней, — произнес я по возможности безразличным тоном. — Для меня главное — вернуться домой, на родину, и заняться мирным трудом.

— Знаю я таких, как вы, — с презрением заявил мне Зубов. — Раскусил! Стоит только вам вернуться домой, как вас снова пошлют на фронт, на западный или на южный. А вам только того и нужно: хочется получить орден или медаль или повышение по службе, не так ли? А то и личную благодарность заслужить от самого императора Вильгельма.

— Ошибаетесь, — стараясь сохранить спокойствие, возразил я. — У меня никогда не было тяги к военной службе. И не нужны мне ни награды, ни чины, ни повышение по службе. Войну я ненавижу всей душой, и нет у меня более страстного желания, чем желание вернуться к мирной жизни. На своего короля я плюю, хотя бы потому, что он австриец. Когда в шестнадцатом году на рождество все наши офицеры присягали королю на верность, я не принял присяги. Тем более нет у меня никаких симпатий к императору Вильгельму, которого я вообще считаю идиотом.

— Уж не думаете ли вы меня провести? — громко рассмеялся Зубов. — Венгр, немец или австриец — все вы одинаковы. Однажды случайно мы захватили за линией фронта двух вен-

герских солдат, которые шпионили в нашем тылу. Это были настоящие венгерские крестьяне. Я был очевидцем их казни. В самый последний момент перед смертью оба они закричали: «Да здравствует император Вильгельм!» Так что вы мне ничего не говорите, лучше давайте займемся английским.

Что я мог ответить ему? Сказать прямо в глаза, что очень хорошо знаю венгерских крестьян и могу поверить чему угодно, но только не тому, что венгерский крестьянин пойдет на смерть, прославляя германского императора?

После такого разговора появилось желание немедленно отказаться от уроков в этом доме, и лишь Наташка, само очарование, удерживала меня от этого шага. Только с ней я занимался охотно.

Зубов же с каждым днем становился все наглее, все чаще и чаще пытался спровоцировать меня на серьезные политические споры, и мне не всегда удавалось уйти от этого.

Рано или поздно я бросил бы знаться с ними, но события опередили меня. В один прекрасный день, когда я пришел к ним, дома оказалась только одна Наташка, от которой я узнал, что Зубов вместе с женой уехал из Хилока.

Я облегченно вздохнул и подумал, что теперь буду заниматься с одной Наташкой, но она сказала, что родители не разрешают ей учиться дальше.

В первый момент я подумал, что, видимо, родители Наташи боятся оставлять дочь с глазу на глаз с молодым человеком. Однако из дальнейшего разговора выяснилось, что отец Наташи боится не меня, а знаний, которые может получить его дочь.

— Папа считает, — сказала девочка, — что господь создал женщину не для того, чтобы она была ученой. Призвание женщины — быть хорошей женой и матерью. Так говорится в Библии.

— И вы с этим согласны?

— Не совсем, — покраснев, ответила девочка. — Я очень хочу и люблю учиться. Мне нравится учить иностранный язык и другие предметы, но что я могу сделать, если папа против?

— Знаете, — начал я, — раз уж я не смогу дальше давать вам уроки, то оставлю вам учебник Берлица, и вы сами будете по нему заниматься. А раз в неделю мы будем где-нибудь встречаться, чтобы я смог объяснить вам новый материал. Наверное, это вполне осуществимо, важно, чтобы никто из домашних не узнал об этом. Вы всегда найдете причину, чтобы уйти из дому. Постараемся привлечь к этому делу Екатерину Васильевну, тогда у нее и встречаться можно будет. Думаю, она охотно согласится помочь вам.

Мое предложение было настолько неожиданным, что Наташа даже слова не могла вымолвить, только смотрела на меня широко открытыми глазами.

Я погладил ее по голове.

— Если бы вы были православным, — сказала девочка, — я бы пошла за вас. А так будет лучше не встречаться.

Еще раз погладив ее по голове, я распрощался и ушел.

Инвалиды

Как-то днем, когда я обедал в железнодорожной столовой, на станции остановился эшелон из Читы. Прошел слух, что в эшелоне едут венгерские военнопленные.

— Инвалидов везут, — заметил один железнодорожник. — Пленные. Обменяли их на наших.

После памятной неприятной встречи с венгерскими анархистами я вел себя осторожно, но все же рискнул появиться на вокзале — так велико было мое любопытство.

Вокзальный ресторан был до отказа забит пленными, и мне очень хотелось поговорить с ними. Правда, выглядели они отнюдь не инвалидами: в большинстве это были здоровые люди.

На мне была русская одежда, и никто не догадывался, что я тоже пленный. Я несколько раз прошелся по перрону, но заговорить ни с кем все же не решился. И тут мне навстречу попался хромой офицер.

«Ну уж этот-то наверняка инвалид», — подумал я и окликнул хромого. Звали его Ласло Худец. Перед самой войной он окончил политехнический институт и получил диплом инженера-строителя. Служил прапорщиком в артиллерийском полку. Осенью четырнадцатого года в Карпатах его ранило в ногу. Раненный, он попал в плен. Оперировали его в русском военном госпитале. С тех пор одна нога у него короче другой.

— Нет худа без добра, — сказал мне хромой прапорщик. — Теперь я могу ехать домой без боязни, что меня пошлют на итальянский фронт.

— Скажи мне, — спросил я, — в этом эшелоне действительно едут только инвалиды?

— Как бы не так! — отвечал он. — Есть среди них и инвалиды, вроде меня, им уже нечего бояться фронта. Но есть и такие, которые во что бы то ни стало хотят попасть домой. Правда, на фронт и их не тянет, но они идут на любой риск, лишь бы попасть на родину. Частично это кадровые офицеры, которые боятся, что их привлекут к ответственности за то, что они были в плену, частично те, кого настолько съедает тоска по родине, что они ни о чем другом и думать не могут. Эти сами себе попридумывали болезни и таким образом попали в эшелон. Некоторые из них не побоялись пойти на членовредительство, лишь бы попасть домой. Наконец, те, кто побогаче, просто подкупили врачей. Они тоже не хотели идти на фронт, надеясь с помощью денег и связей попасть в спокойное место, где можно переждать до конца войны.

— И ты думаешь, они найдут это место?

— А почему бы и нет? — удивился Худец. — Документы у них в порядке, а это главное.

Не хотелось разочаровывать его. Счастлив, кто верует. Пожелав прапорщику счастливого пути и возвращения в Венгрию, я простился с ним.

Вечером я проводил урок с машинистами. Когда я упомянул об эшелоне с венгерскими инвалидами, один из машинистов, только накануне вернувшийся из Верхнеудинска, сказал:

— Напрасно они тешат себя надеждами. В Удинске три или четыре таких эшелона застряли. По-моему, никуда их дальше не пустят. Начальник станции сказал, что больше никаких эшелонов с пленными Удинск принимать не будет.

Поздно вечером, возвращаясь после уроков домой, я зашел на станцию в надежде, что эшелон с инвалидами все еще стоит на путях. Я собирался уговорить Худеца отстать от эшелона, как когда-то это сделал я, и поселиться в Хилоке.

Однако я опоздал: поезд ушел за несколько минут до моего прихода.

Точка зрения поляков

Моими первыми знакомыми в Хилоке были поляки. Благодаря Секлукскому и Бобицкому я и остался здесь. Машинист Муржановский, тоже поляк, в первые дни пребывания в Хилоке буквально завалил меня подарками. Моим первым большим воспоминанием в Хилоке была милая девушка Яденька с ее печальной судьбой, сотканной для нее старой польской ведьмой пани Низалковской. Когда я был вынужден уйти из дома Низалковской, новую квартиру мне помогли найти Секлукский и его родственник Францевич. Та теплота и доброта, которыми с самого начала окружили меня мои польские знакомые, даже не рассчитывая на благодарность, долгое время оставались для меня загадкой. Позже, правда, я разгадал эту тайну, вернее, старый Ладомирский посвятил в нее меня.

Ладомирский тоже работал паровозным машинистом. С ним и его женой я познакомился у Францевича, когда меня однажды вечером пригласили на чашку чая.

Мне сразу же бросилась в глаза огромная разница в годах супругов Ладомирских: мужу было уже за пятьдесят, жене — не более тридцати.

Но отличались они не только возрастом. Муж был до удивления тихим и скучным. Жена его, красавица блондинка, с горящими глазами и розовыми губами, олицетворяла собой саму жизнь. Живая, быстрая, она не могла спокойно посидеть даже минутки.

Я невольно подумал о том, что вряд ли эта женщина верна мужу: интересная, несколько легкомысленная жена возле ста-

рого скучного мужа, который к тому же еще часто не бывает дома.

Однако очень скоро я убедился, что мои выводы были поспешными. Из разговора я узнал, что у этой красавицы двое маленьких детей, живет она к тому же со свекровью, которая почти никогда не выходит из дому. Узнал и то, что старый Ладомирский — старомодный набожный человек и такой неисправимый шовинист, что, кроме поляков, даже ни с кем не общался.

Для меня он сделал исключение, которое объяснил тем, что смотрит на меня как на родственника.

— Живем мы между русскими, — сказал он, — значит, нам нужно держаться друг друга. Мы — поляки, а вы — венгр, а это почти одно и то же. И мы и вы — католики, а не какие-нибудь там православные. Человек одной с нами веры — наш человек, человек другой веры — чужой нам человек, если не враг.

Таким образом, уже во время нашей первой встречи он преподавал мне урок о превосходстве польской нации.

Взяв в руки стакан, он спросил:

— Скажите, пожалуйста, как эта вещь называется на вашем языке?

Я ответил: «Похар».

— Ну, вот видите. Русские же говорят «стакан». Немцы — «глас», а мы, поляки, совсем просто — «склянка».

Разговор наш кончился тем, что старик пригласил меня запросто бывать у них.

И хотя я не видел смысла в этом знакомстве, все же как-то зашел к ним. Пришел я без предупреждения в надежде, что, быть может, скучного старика не будет дома, но мне не повезло. Жена его все время кружилась возле нас, но почти ничего не говорила, зато старик все время только и делал, что болтал всякую чепуху.

В следующий раз я был умнее: зашел к ним домой, узнав, когда Ладомирский на работе, и сразу же сделал вид, что хочу уйти. Но мадам Ладомирская не отпустила меня. Я остался, однако старуха не покидала нас. Если она за чем-нибудь и выходила на кухню, то делалось это с живостью, которой позавидовала бы и восемнадцатилетняя девушка. Ванда Станиславовна, так звали жену Ладомирского, не скрывала, что я нравлюсь ей.

В другой раз, когда я ужинал у них (муж и на этот раз был в рейсе), Ванда намекнула, что ей известно о моем уходе за Катей Тотской. И, добавив, что одобряет мой вкус, пожелала успехов.

Старуха мать сразу же вмешалась в наш разговор, заметив, что негоже молодому человеку — католику ухаживать за православной девицей. Католику нужна и жена католичка, заключила она свое нравоучение.

— Мама, кто вам сказал, что Андрей Александрович собирается жениться? — отрезала Вагда Станиславовна. — Любовь не обязательно должна кончаться браком... Не правда ли? — обратилась она ко мне и лукаво подмигнула, но так, что старуха не заметила этого.

Я счел разумным промолчать, хотя чувствовал, что следовало бы запротестовать...

В Хилоке у меня появились еще два интересных знакомых, оба поляки: один врач, другой — аптекарь, правда, друг на друга они не были похожи совершенно.

С паном Зимерским, главным врачом хилокской железнодорожной больницы, я познакомился у Екатерины Васильевны, когда доктор пришел навестить заболевшую супругу Федора Павловича — Аглаю Петровну.

— Я хочу вас познакомить с доктором Зимерским, — сказала мне Катя и повела меня в столовую.

Доктор Зимерский оказался милым, умным и образованным человеком. Было в его облике что-то женственное. Светловолосый, голубоглазый, он был очень мил. Разговор с ним только укрепил первое впечатление. До этого мы, мужчины, встречаясь, говорили только о войне да о политике. Доктор же был первым человеком, которого интересовали совсем другие темы. Например, какие книги читали пленные, какова культурная жизнь в Венгрии, знают ли венгры польскую литературу и польскую музыку.

Доктор любезно пригласил меня к себе.

— В будни я не очень свободен, — сказал он, — а вот в воскресенье всегда дома. И был бы очень рад вашему визиту.

Мы договорились, что я зайду к нему на чашку чая в ближайшее воскресенье.

— Знаете, кого мне напоминает этот доктор? — сказала Екатерина Васильевна, когда мы остались одни. — Вы, верно, читали роман польского писателя Сенкевича «Крестоносцы». Главный герой романа, если помните, польский рыцарь, которого крестоносцы схватили и приговорили к смерти. Когда же его уже вели на эшафот, к нему подбежала молодая девушка и, бросившись ему на шею, спасла от смерти. В средневековой Польше существовал неписанный закон, по которому приговоренного к смерти нельзя казнить и даже нужно отпустить на свободу, если совершенно незнакомая девушка назовет его своим женихом. Молодые люди полюбили друг друга, а потом, я уже забыла, они, кажется, расстались. Девушка умерла, а рыцарь остался жив в бесконечной любви и тоске. Так вот, каждый раз, когда я вижу семью Зимерских, а у них двое чудесных ребятшек, мне всегда вспоминается этот роман. И я почему-то даже думаю, что если бы герои романа Сенке-

вича были живы и поженились, то жили бы они именно вот так. Побывайте у них, и вы убедитесь в этом.

В воскресенье вечером я пошел к Зимерскому. Доктор познакомил меня с женой.

В первый момент я разочаровался. «Крестonosцев» я читал в прекрасном издании с иллюстрациями, где девушка-спасительница была изображена стройной, хрупкой, мечтательной блондинкой с голубыми глазами. По словам Екатерины Васильевны такой я представил себе и жену доктора. Жена доктора Зимерского оказалась полной противоположностью Данизии: высокая, с каштановыми волосами и жгучими темными глазами. Но стоило нам поговорить немного, как я понял, что Катя не ошиблась. Вскоре появились ребятишки — мальчик лет пяти, светловолосый, голубоглазый, как отец, и девочка лет семи-восьми, унаследовавшая от матери и цвет волос, и цвет глаз. Меня поразило то восхищение, которым светились их глазенки, когда они разговаривали с отцом или с матерью, а также та нежность, с которой доктор говорил с женой или детьми.

Едва я успел познакомиться с детьми, как жена доктора вывела их из комнаты и вышла сама.

Мы остались с доктором вдвоем, и он обратил мое внимание на свою большую библиотеку:

— К сожалению, она не такая, какой бы я хотел ее видеть. Большую часть этих книг я привез сюда в тринадцатом году, когда меня сюда прислали. С тех пор, особенно как началась война, купить что-нибудь из специальной литературы, не только иностранной, но и своей, стало невозможно. В конце концов я совсем отстал по своей специальности. Для меня это чувствительный удар, так как помимо практики я еще немного занимаюсь научной работой, а уж тут без книг никак не обойтись.

— Тогда я не понимаю, как вы решились жить в этом богом забытом уголке.

— А очень просто. В России рядовому железнодорожному доктору на свою зарплату, без частной практики никак не прожить. А если займешься ею, тогда у тебя не останется ни времени, ни сил. Здесь, в Сибири, оклады повыше. Есть и другой решающий фактор. Тема моей работы — «Профессиональные заболевания железнодорожников». А в Сибири прекрасные условия для работы над такой темой, каких нет нигде. Состав населения здесь очень и очень пестрый. Царское правительство, проводя свою национальную политику, старалось железнодорожников нерусской национальности высылать из европейской части России как можно дальше на окраину. Здесь, в Забайкалье, работают железнодорожники восемнадцати народностей. При одинаковых условиях финн или эстонец, приехавшие сюда с севера, или привыкшие жить в теплом климате

украинец, грек или молдаванни по-разному переносят здесь различные болезни. В то же время я могу с уверенностью сказать, какие общие симптомы того или иного заболевания, проявляющиеся в каждом отдельном случае, можно считать профессиональными.

— Теперь понятно, — начал я. — Но вот скажите мне, пожалуйста, у вас, поляков, как и у нас, сильно развито чувство патриотизма. А политическая сторона? Как патриот, как поляк, не чувствуете ли вы оскорбительным для себя лично и для своей нации поддерживать царизм в осуществлении его национальной политики?

— Я поляк и патриот, но патриотизм вижу не в том, в чем видит его большая часть моих соотечественников. По-моему, настоящий патриот не тот, кто представляет себе жизнь лишь в обществе своих соотечественников. Сохраняя свой родной язык и культуру, живя в чужой стране, преодолевая различные трудности, унижения и, если хотите, жертвуя чем-то, — это, пожалуй, более высокая задача. Вы, дорогой мой друг, ссылались здесь на политическую точку зрения. Я не люблю говорить о политике, не понимаю ее и, что скрывать, не очень ею интересуюсь. Я признаю один-единственный политический принцип, и признаю с убежденностью: люди должны жить в мире. Это относится и к целым народам. Я ненавижу войну, где люди убивают друг друга, и потому ненавижу насилие и убийства, в каких бы формах они ни проявлялись. По этой только причине я не могу полностью сочувствовать и революции. Национальная политика царского правительства была неверной и незаконной именно по той причине, что оно прибегало к насилию по отношению к национальным меньшинствам. Революция положила этому насилию конец, и это одно из революционных завоеваний, которое я приветствую от всего сердца. Но насилие, а революция — это тоже насилие, можно прекратить только насилием. Однако царское правительство, проводя свою политику, не только прибегало к методам насилия, оно разжигало ненависть, натравливая одни народы на другие. И не без успеха. Царизму удалось заразить ядом шовинизма не только часть русского народа, небольшие поработанные народности тоже заразились ядом шовинизма и ненавидели другие народы, и в первую очередь русский народ. Заразу шовинизма и раковые опухоли ненависти не вылечишь никакими революционными воззваниями. Для этого необходимо, чтобы различные народы лучше узнали и поняли бы друг друга. А это возможно в том случае, когда представители различных национальностей живут и работают вместе. Вот тут, милый друг, царское правительство в некоторой степени сработало против самого себя. В сибирской ссылке, так же как и в поселках железнодорожников, многие поняли, что у каждого народа есть свои беды и что люди не враги друг другу, хотя

и говорят на разных языках. Сейчас ссылка кончилась, ссылки вернутся к себе домой, так как революция предоставила им такую возможность. Каждый может вернуться на родину. Я уверен, что те, кто уедет отсюда к себе на родину, уже не будут с такой ненавистью смотреть на другие народы, как это было раньше. Не спорю, есть еще и такие, кому и ссылка не пошла на пользу и они вдали от родины жили в узком кругу национальных представлений.

— Есть и такие. Например, старик Ладомирский. Такой, хоть сто лет проживи, все равно не поймет, что не только поляк, но и русский, и немец могут быть порядочными людьми, — не утерпел я.

— Правда, таких немного, — заметил доктор. — Я твердо верю, что и те, кто жили на родине, испытывая на собственной шкуре гнет, очень скоро освободятся от старых представлений и, что бы им ни говорили такие, как Ладомирский, охотно протянут дружескую руку любому народу, как сказал один французский поэт: «Народы образуют святое сообщество и подадут друг другу руки».

На этом наш разговор и оборвался, потому что в комнату вошла хозяйка, а молоденькая горничная внесла самовар.

К чаю подали домашнее печенье. Наверное, оно было очень вкусным, но один вид этой супружеской пары так приковал к себе мое внимание, что я, казалось, ничего другого и не замечал.

За чаем я несколько раз закашлялся, так как незадолго до этого простудился. Заметив это, доктор выписал мне рецепт на лекарство.

— Зайдите утром в аптеку. Провизор, Владислав Маркович, тоже поляк, надеюсь, вы не заподозрите меня в том, что я шовинист и потому посылаю вас именно к нему. Только другой аптеки в Хилоке нет.

Когда я уходил, доктор и его жена взяли с меня слово, что я буду заглядывать к ним.

На следующий день я зашел в аптеку, чтобы купить лекарство. Аптекарь оказался рыжеволосым, с такими же рыжими усами и круглой, как луна, физиономией, с брюшком. Но не только внешность была отвратительна. Каждая фраза выдавала, что его интересуют только деньги и собственный желудок. Узнав у меня, что я венгр, он похвастался, что хорошо знает венгерскую кухню. Потом спросил, на какие средства я живу, а услышав, что я даю уроки, полюбопытствовал, сколько мне за них платят.

Оказалось, что аптекарь заядлый шовинист, ненавидящий русских. Говоря о них, он брызгал слюной, извергая слова. Пока готовил лекарство, он все говорил и говорил. Я еле дождался, когда он отдаст мне лекарство, и с облегчением вздохнул, когда оно оказалось у меня в руках.

Скоро я убедился, что галерею моих знакомых поляков закрывать еще рано.

К моим первым хилокским знакомым наряду с Секлудским и Бобицким принадлежал и паровозный машинист Муржановский. Мы часто встречались с ним на улице или в столовой. Он всегда здоровался со мной, как со старым знакомым, говорил несколько теплых слов, но до более длинного разговора дело никогда не доходило. Поэтому для меня было полной неожиданностью, когда как-то в субботу он разыскал меня в столовой и пригласил на воскресный обед.

— После однообразия столовой, — сказал он, — неплохо попробовать чего-нибудь домашнего. А Настасья Тимофеевна превосходно умеет готовить.

Я охотно согласился, так как по воскресеньям обычно питался всухомятку, если меня не приглашал на обед кто-нибудь из моих учеников. Я покупал у грека в лавочке копченую колбасу, а хлеб уносил в карманах в субботу из столовой.

Муржановский жил за речкой, в доме вдовы одного украинского машиниста. Вдовушке, слегка располневшей и постоянно улыбающейся женщине, на вид было не более сорока. Муржановскому же было под пятьдесят. По тому, как он вел себя с хозяйкой, я понял, что они живут как супруги.

Приняли меня радушно, как принимают родственников, которых давно не видели.

Муржановский сразу же усадил меня за накрытый стол и угостил водкой. На столе лежал черный и белый хлеб, масло, кетовая икра.

Хозяйка очень скоро вышла в кухню, оставив нас вдвоем, время от времени она заглядывала в комнату только для того, чтобы попотчевать меня чем-нибудь.

Потом последовал обед, обильный и вкусный, но меню ничуть не удивило меня: те же щи и мясо с гречневой кашей, как и в столовой, но на десерт хозяйка подала в чашках какое-то темно-красное желе — образное кушанье, по-видимому приготовленное из фруктов. По вкусу оно напоминало жидкое мороженое или густой малиновый сок.

— Ну как, вкусно? — спросил Муржановский, видя, с каким удовольствием я ем.

— Превосходно, — ответил я, — только не знаю, что это такое.

Муржановский попросил, чтобы хозяйка принесла мне еще киселя.

— Самое простое блюдо. Берите любые ягоды, вскипятите их, добавьте немного крахмала, сахар, перемешайте все это — и кисель готов. Только остудить его нужно.

После киселя мы пили хороший крепкий кофе, какого в Хилоке я еще не пробовал.

— Замечательный кофе, — похвалил я.

— Да, мы и кофе любим, не только чай, как русские.

— Кто это «мы»? — спросил я. — Поляки или украинцы?

— Разумеется, поляки, — ответил он, несколько обидевшись. — Я хоть и живу у украинки, но остаюсь поляком.

— Прошу меня извинить, я хочу кое о чем вас спросить. Я знаю, что вы поляк. Знаю, что поляки держатся сплоченнее, чем кто-либо другой. Но вы, как мне показалось, не очень-то дружите со здешними поляками?

— Да, я к ним не хожу. Зачем мне к ним ходить, когда я знаю, что они меня не любят. — Немного помолчав, Муржановский добавил: — Как же они будут меня любить, если я польский еврей, да к тому же еще и большевик. А они дружат только с теми, кто поклоняется их богу.

Не дожидаясь моего ответа, Муржановский продолжал:

— Отец мой сапожничал на Украине. Работать ему приходилось много, так как деньги ему доставались с трудом, а детей нужно было на ноги поставить. Он очень хотел, чтобы мы получили образование. Я с грехом пополам кончил среднюю школу и хотел поступить в медицинский институт, но меня не приняли. Пошел работать на железную дорогу, работал кочегаром. Моя сестра пошла в школу, когда я ее окончил. Отец решил не сдаваться: если мне не удалось учиться дальше, то, быть может, ей повезет. Она блестяще окончила все восемь классов. Удалось ей и в институт поступить, в Петербурге. Но как прожить одной в столице? Получилось так, что наклепили на нее ярлык, как на уличную девку, и два раза в неделю гоняли на проверку к врачу. Врачи видели, что она непорочна, но закон есть закон. Бедная моя Эстер и это вынесла, лишь бы только исполнилось ее желание. Учиться ей оставалось всего два года. На летние каникулы поехала она к родителям на Украину. И нужно же было случиться, что как раз в том городке проходил еврейский погром, и ее вместе с отцом и матерью растерзали черносотенцы.

Муржановский умолк и потянулся за стопкой. Мы чокнулись, выпили и закурили.

— В это время я уже был членом одного революционного кружка, — продолжал Муржановский. — Но о партии знал только понаслышке. Мы распространяли листовки, брошюры всякие. Однажды провалились. Меня избили, но я все отрицал. Улик не было, через полгода меня выпустили на свободу. Пришел я к себе в депо, а меня и перевели работать в Сибирь. Я не спорил: все равно никого из родных уже не осталось. Здесь, в Забайкалье, я познакомился с хорошими товарищами, вступил в партию и многому научился. Я стал машинистом и совсем неплохо себя чувствую. В Сибири человека не презирают за то, что он рабочий или еврей. Главный инженер здесь запросто выпивает вместе с кочегаром. Русские, украинцы, литовцы, латыши, эстонцы и финны здесь вместе работают, весе-

дятся; никто не спрашивает, какому богу ты молишься и молишься ли вообще. Вот познакомился с этой доброй украинской женщиной, ее не волнует то, что я еврей. Из здешнего населения только поляки и смотрят на меня косо, не принимая в свою среду. А ведь они хорошо знают, что я поляк: мой родной язык — польский, по-русски, по-украински я говорю плоховато, по-еврейски вообще ничего не понимаю. Они же повторяют то, что когда-то слышали от священников. В организации большевиков здесь состоят и китайцы, и корейцы — словом, представители всех национальностей, а поляка — ни одного. Те только и твердят: «Хорошо, что от царя освободились, к хозяину же нельзя и прикасаться, так как имущество дано ему богом». Ну ничего, вернутся в Россию — все заговорят по-другому. Сейчас все туда засобирались, а уж большевики им объяснят, кто такой бог.

— А вы тоже хотите уехать в Россию?

— Я, сынок, нет. Зачем? И куда, собственно? Родных в Польше у меня нет. На Украине всех моих родственников убивали, меня оттуда выгнали. К кому мне теперь возвращаться? У жены в Виннице есть родственники, но кто его знает, как они меня примут? Разумеется, революция и туда дошла, но в головах людей еще много темного. Никуда-то я отсюда, сынок, не поеду. Здесь меня знают, любят, разве что одни поляки только не жалуют, здесь у меня есть женушка.

В этот самый момент в комнату вошла хозяйка, подседа к столу и предложила выпить еще чашечку кофе.

Я похвалил кофе, сказав, что такого мне уже давно не приходилось пить.

— Охотно верю, — согласилась Настасья Тимофеевна. — Не из какого-нибудь суррогата варим, а из настоящего кофе. Кофе привез знакомый машинист из Харбина, а зерна я сама жарю.

Женщина эта вся так и искрилась огнем и энергией. На одном месте она долго усидеть никак не могла. Вот и сейчас отхлебнула немного кофе и пошла зачем-то в кухню.

Когда Настасья Тимофеевна вышла, Муржановский уже не возвращался к разговору на политические темы, а дипломатично спросил, как у меня дела по женской линии.

Вопрос был неожиданным. Я вспомнил жену Еременко. Уж не кроется ли и здесь что-либо подобное?

Из дальнейшего разговора выяснилось, что он знает о наших дружеских отношениях с Катей и не только одобряет мой выбор, а прямо-таки восхищен ею. Это меня очень обрадовало.

— Поверь мне, дружище, лучшей девушки тебе не найти. Порядочная, чувствительная, образованная, об остальном можешь не говорить, — перейдя на «ты», сказал Муржановский.

В первый момент я не знал, рассердился мне или рассмеяться. Старик, видно, думает, что мы с Катей близки, и радуется этому.

Я согласился с ним, что Екатерина Васильевна действительно самая красивая и образованная женщина во всем Хилоке, я очарован ею, но у меня с ней нет и не было ничего такого, что нужно было бы скрывать от людей.

К моему удивлению, мое объяснение ему не понравилось, больше того, он мне просто не поверил.

— Вижу, ты тоже славный парень, — проговорил он. — Умеешь держать язык за зубами. Так оно и нужно. А вот мне сказать не хочешь — это уже нехорошо. Передо мной, сынок, нечего таиться. По-моему, каждый порядочный человек должен иметь женщину. Дураком бы ты был, если бы пропустил такую женщину, как Екатерина Васильевна. Даже если все это так, как ты говоришь, то и тогда еще не поздно. Только железо нужно ковать, пока оно горячо. И самые благородные госпожи тоже не из дерева сделаны. Более порядочного мужчину, чем ты, здесь себе и она не найдет. Попозже, будет возможность, женишься на ней. А если и не будет такой возможности, тоже не беда. Вот мы с Настасьей тоже не венчаны, а живем хорошо. Может, эти самые браки, как говорят попы, заключают на небе. Не зря тогда столько плохих браков здесь, на земле. Добрые люди без поповского благословения и без свидетельства о браке жить будут. Давай-ка выпьем за это по стопочке!

Мою готовность выпить он принял за добрый знак — его совет попал в цель.

Матушка Фотина

Однажды Катя сказала мне, что ни сегодня, ни завтра заниматься не сможет, потому что к ним приехала гостья — сестра матери матушка Фотина, настоятельница монастыря из Верхнеудинска. Она едет в Читу, остановилась в Хилоке дня на два, чтобы повидать брата и сестру.

— Я хочу, чтобы вы познакомились с ней. Наверняка найдете ее интересной. Вы рассказывали, что ваша сестра тоже монашенка, по крайней мере сможете сравнить их.

Знакомство это действительно обещало быть интересным. Моя мать — убежденная католичка — пыталась и нас, детей, воспитать в таком же духе. Меня и моего старшего брата воспитывали монахи, а единственную дочь она отдала в монахини. Не от нее зависело, что, отданный на тринадцатом году жизни в монашеский орден, я после четырех лет затворничества предпочел расстаться с монашеской братией и вернуться в мирскую жизнь. Однако убежденными католиками в нашей семье стали не только брат и сестра-монашенка, но и еще двое родственников. И хотя сам я не был верующим, мне было интересно сравнить православных служителей культа с католическими.

Проводив меня в столовую, Катя представила меня двум

монахиням. Монашки, видимо, во всем мире повсюду ходят парами (мудрое правило: для молодых меньше опасности погрязнуть в грехе, когда старая монахиня зорким глазом приглядывает за тобой!).

От Кати я узнал, что матушка Фотина намного старше Марии Павловны, но ее розовое лицо мадонны с живыми голубыми глазами было таким моложавым и привлекательным, что больше тридцати пяти лет ей нельзя было дать. Зато сестра Ефросинья, которая, как оказалось, была на несколько лет моложе матушки Фотины, походила на настоящую старую ведьму с некрасивым морщинистым лицом и горбатым носом.

Больше часа, разговаривая, мы просидели за чаем. На следующий день после обеда пошли вчетвером прогуляться в лес. Несколько часов, проведенных в обществе монахинь, было для меня достаточно, чтобы составить о них определенное представление.

Матушку Фотину я не только стал уважать, а прямо-таки полюбил. В ней не было и тени слепой набожности, характерной почти для каждой монахини. Вера ее покоилась на глубоком убеждении. Особенно удивительна была ее способность уважать убеждения других людей, что очень редко встречается и у православных, и у католиков. Когда я сказал ей, что не верю в бога, а религию считаю дурманом для народа, матушка Фотина не сделала ни малейшей попытки, чтобы поколебать меня в моих собственных убеждениях.

Это вовсе не значит, что мы не спорили о религии. Напротив, спорили, и много. Узнав, что я католик и в свое время готовился стать священником, матушка Фотина по-настоящему воодушевилась. Она сказала, что далеко не всегда православной церкви, которая, по ее убеждению, одна ведет к спасению, представляется возможность защищать свое учение перед католиками. Я признался ей, что сам отказался от собственной веры. И хотя я сказал, что мне абсолютно все равно, каковы принципы той или иной религии, она все же не успокоилась до тех пор, пока не высказала всего, чего хотела. Я терпеливо выслушал ее до конца и тем понравился ей. Больше того, когда дух противоречия все же овладел мной и я начал спорить, она, кажется, не обиделась. Ее теплые дружеские взгляды говорили, что она, напротив, даже благодарна мне за то, что я дал ей возможность опровергать мои принципы.

Возможно, ее дипломатически тонкое отношение ко мне, как к Катиному поклоннику, удивило и покорило меня больше, чем ее религиозное терпение. Она относилась ко мне так, будто я уже был членом их семьи.

Насколько симпатична показалась мне матушка Фотина, настолько неприятной была сестра Ефросинья. Их нельзя было даже сравнивать. Сестра Ефросинья — типичная посетительница фанатичной религиозности. О чем бы религиозном ни шла

речь, она излагала свои взгляды тоном, не терпящим никаких возражений. Стоило только Кате или мне попытаться возразить ей или высказать свое мнение в очень скромной форме, как она тотчас же умолкала, показывая этим, что спорить об изречениях господина бога или о религиозных догмах просто недопустимо.

По отношению ко мне и к Кате она вела себя как провокатор. Как только мы оставались втроем, она сразу же старалась перевести разговор на наши с Катей отношения. В этом старании она зашла настолько далеко, что, когда во время прогулки матушка Фотина разговаривала с Катей, сестра Ефросинья прямо спросила меня, влюблен ли я в Катю. Чтобы уйти от ответа, я начал что-то говорить о красоте и других хороших чертах Кати. Перебив меня, сестра Ефросинья заявила, что любовь — самое красивое чувство на свете, но только в том случае, если она скреплена церковным благословением. Между тем ее взгляды ясно говорили мне: твое желание свратить Катю не является тайной для меня, возможно, ты это уже сделал, тогда я предупреждаю, чтобы ты честно выполнил свой долг. К счастью, Катя и матушка Фотина подошли в этот момент к нам, и наш разговор с сестрой Ефросиньей прекратился сам собой.

Словом, в тетушке Фотине, несмотря на то что она была монашенкой, я увидел и очаровательную женщину, и замечательного человека, и приятного собеседника. Короче говоря, это был тот редкий тип монахини, которая всех и вся может понять. До этого я встречал только одну такую женщину — это моя собственная сестра. В то время закоснелые монахини, подобные сестре Ефросинье, встречались очень часто.

На третий день обе монашенки уехали. Мы с Катей проводили их на станцию. Прощаясь, матушка Фотина напомнила Кате о ее обещании в ближайшее время приехать на несколько дней к ним.

— Если вам придется быть в Удинске, Андрей Александрович, — обратилась монашенка ко мне, — повестите и вы наш монастырь. В любое время будем рады видеть вас.

Я поблагодарил за приглашение, сказав, что приеду к ним, если будет возможность.

На обратном пути Катя поинтересовалась, какое впечатление произвели на меня мать Фотина и ее спутница. Я откровенно ответил Кате и добавил:

— Естественные законы природы нельзя изменять безнаказанно. Монашенки, собственно говоря, везде одинаковы. Но ваша тетушка, как и моя сестра, составляют среди них редкое исключение.

— Вы абсолютно правы, — сказала Катя. — Я очень люблю и уважаю матушку Фотину, но у меня всегда сердце обливается кровью, когда я думаю о том, какой прекрасной женой и доброй матерью могла бы она быть.

Мой ученик штабс-капитан

Кроме Екатерины Васильевны, с которой я занимался не в группе, а индивидуально, был у меня еще один такой ученик — бывший царский офицер Тихон Васильевич Белих, которого, как ни странно, порекомендовал мне большевик Осип Кузьмич.

— Есть тут у нас один молодой человек, — сказал он мне как-то, — сынок старого возчика Василия Семеновича. Старик не жалеет денег для образования сына: учил его в реальном училище в Иркутске, потом отправил в Томск, в институт. Окончить этот институт парню не удалось, так как началась война и его забрали в армию. Но он и в армии отличился, дослужился до штабс-капитана. Сейчас это, разумеется, не самая лучшая визитная карточка, но отца его я знаю с пятнадцатого года, да и сын неплохой человек. Правда, до сих пор он не работает и сидит на шее отца. Пока нет работы, он хотел бы заняться изучением иностранных языков. Просил меня поговорить с вами. Разумеется, хорошо заплатить он не может, денег у него нет, но вы могли бы записать его в какую-нибудь группу.

Я сказал Еременко, чтобы он прислал ко мне капитана, а уж я сам поговорю с ним.

На следующий день штабс-капитан зашел ко мне. Убедившись в том, что человек он понятливый и толковый, я порекомендовал ему записаться в группу, где занимается и Еременко. Пока он не найдет себе работу, платить ничего не нужно. Но тут оказалось, что молодого человека мое предложение не устраивает, так как он хотел бы заниматься у меня не в группе, а один и изучать сразу два языка: английский и немецкий, которые он учил и до этого. Учиться бесплатно он не собирается, но если я несколько сбавлю плату, он будет очень благодарен. Мы договорились, что утром, в свободное время, я три раза в неделю буду давать ему уроки по два часа. Платить же он мне будет только четвертую часть.

Начались уроки. У нового ученика были способности и хорошая подготовка, и потому изучение обоих языков шло ускоренным темпом.

Штабс-капитан оказался понятливым, воспитанным человеком, для местных условий достаточно образованным. Он охотно поддерживал разговор о литературе, об искусстве, он разбирался понемногу во всем, но в первую очередь в физике и химии. Все это произвело на меня очень хорошее впечатление.

Удивляло меня в нем только то, что он не проявлял никакого интереса к разговорам на политические темы. О политике сам

он не заговаривал ни разу, а если разговор все же завязывался, то не уклонялся от него, а просто не высказывал своего мнения. О политических событиях, от хода которых зависело будущее всей страны, зависела судьба миллионов людей, он говорил как посторонний наблюдатель, который не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Тогда я этого никак не мог понять.

Еще более непонятным было для меня, что он нигде не работал. Я несколько не сомневался, что Белих сам не хотел этого. Я ведь знал, что в Хилоке очень нужны образованные люди. Взять хотя бы меня. Я плохо говорил по-русски, но и то мне не раз предлагали работу то в одной, то в другой конторе. Тихон Васильевич просто не хотел работать.

Позже один мой разговор со штабс-капитаном пролил некоторый свет на его «душевную концепцию».

Как-то после урока он вдруг спросил меня, хочу ли я вернуться на родину.

— Очень хочу, — ответил я. — Если бы это зависело от меня, то я без промедления поехал бы домой, но вовсе не для того, чтобы меня снова послали на фронт. Хватит с меня войны. Как только наступит мир не на бумаге, а в действительности, я приложу все усилия, чтобы вернуться домой.

— Все это не так просто, — покачал головой штабс-капитан. — Кроме мира и войны есть еще одно состояние — нейтралитет. Есть страны, которым удалось спасти себя от войны. А у вас нет желания переехать в одну из таких нейтральных стран и там дожидаться полного мира?

— Желание у меня, быть может, и есть, но ведь одного желания мало.

— Все возможно, — серьезным тоном ответил штабс-капитан. — Трудности действительно имеются, но их можно преодолеть. Вот посмотрите.

Он вынул из кармана и развернул карту Европы и Азии.

— Мы находимся вот здесь, — начал объяснять он, найдя на карте Хилок. — Осенью сядем на поезд — и в Омск, где дождемся начала зимы. Там у меня много знакомых, так что будет совсем нетрудно за деньги найти человека, который на санях довезет нас по Иртышу или Оби до Березово, где у местных жителей довольно недорого купим небольшие санки и несколько оленей. Вот по этой красной линии через Ухтан, Самодеди Онегу за какие-нибудь две недели доберемся до Мурманска, а там рукой подать до Норвегии.

Я не знал, что и ответить, а штабс-капитан продолжал:

— Если хотите знать, идея эта не нова, кое-кто ее уже осуществил. После разгрома революции девятьсот пятого года одного большевика сослали куда-то в Якутию, так вот он таким путем попал в Скандинавию.

Я не знал, что и думать, как ему отвечать: или этот человек сошел с ума, или же он меня провоцирует.

— План этот очень интересный и смелый, — сказал я. — А главное — романтичный. Но с меня довольно и тех захватывающих воспоминаний, которые у меня были. Я уж лучше здесь дождусь, пока в мире станет спокойно, и тогда вернусь домой.

— Как хотите, — высокомерно улыбаясь, заметил штабс-капитан. — Каждый человек сам кузнец собственного счастья.

Сложив карту, он сунул ее в карман и встал, чтобы уйти. Я не стал его задерживать.

Теперь я понял, почему штабс-капитан не поступал ни на какую работу, почему показывал свое равнодушие к политике. Просто-напросто он чувствовал себя в Советской России чужим и жил одним желанием — бежать из нее, вот для этого ему и понадобились иностранные языки.

После этого разговора он с неделю еще ходил ко мне на занятия, а потом вдруг исчез. Через некоторое время я зашел к ним домой. Тихона Васильевича дома не было, а его мать сказала, что он уехал на несколько дней в Верхнеудинск и по возвращении сразу же придет ко мне.

Через три недели штабс-капитан снова появился в Хилоке.

Как-то после урока мой друг Осип Кузьмич подошел ко мне и спросил, не знаю ли я, что случилось с Белихом. После поездки в Удинск его стали посещать какие-то подозрительные люди: то из Удинска кто-нибудь приедет, то из Читы, переночуют у него и снова исчезают.

— Никогда не знаешь, что эти бывшие офицеры выкинуть могут, — сказал он в заключение.

Когда же я объяснил, что капитан уже давно не ходит ко мне на уроки, Осип Кузьмич недоуменно покачал головой.

— Что-то не нравится мне все это, — сказал он. — Нужно будет лучше за ним приглядывать.

Через несколько дней я узнал, что Тихон Васильевич устроился на работу в железнодорожную канцелярию.

«Кто его знает, — подумал я. — Быть может, человек одумался. Это лучше, чем жить пустыми иллюзиями».

VII. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Как я хотел учить китайский язык

Екатерина Васильевна каждый день с восьми до двух работала в конторе лесничества, у меня же почти все время до обеда было свободным, и я часто бродил по набережной или по улицам.

Иногда заходил то в одну, то в другую китайскую лавочку. Лавочка — это сколоченное из простых досок помещение, уставленное полками, наполовину заваленными товарами. За широким прилавком стоит торговец в ожидании покупателей. Под прилавком своеобразные нары, на которых хозяин спит. Таким образом, лавочка — это еще и квартира хозяина.

В одной такой лавочке я увидел странные китайские пряники. Вкус у них был какой-то особый, пряный, но мне они понравились. Я купил два фунта, решив угостить Катю. Цветы, шоколад или фрукты в Хилоке купить было невозможно, так что эти пряники, за неимением лучшего, вполне могли сойти за подарок.

Катя с улыбкой поблагодарила меня, но пряники есть не стала. Я же свои пряники съел чуть ли не за один присест. На следующий день у меня так разболелся живот, что я с большим трудом провел свои уроки.

Увидев меня, Катя испугалась:

— Что с вами, уж не больны ли вы?

Я спросил, не ела ли она китайских пряников. Катя рассмеялась.

— Не сердитесь, дорогой, — объяснила она. — Я пряников не ела, даже и не пробовала. Зная себя, я очень осторожна в еде и потому отдала пряники нашей кухарке. Но вы были очень любезны.

На Катю я, разумеется, и не собирался сердиться, но на следующий день пошел к китайцу в лавку и, яростно жестикулируя, попробовал объяснить ему, что он торгует плохим товаром.

— Пряник не виновата, мадам виновата, — на ломаном русском языке оправдывался лавочник.

Сначала я не понял, что он этим хотел сказать. Когда же я спросил, о какой «мадам» идет речь, китаец взял в руки лежавшую на прилавке тетрадь и, делая вид, что читает ее, мелкими шагами заходил по лавочке.

Тут я понял, что он хотел этим сказать. Оказалось, что по дороге в лесничество Катя всегда проходила мимо лавочки китаец, читая на ходу какую-нибудь книгу.

Выходит, не только в железнодорожном поселке, но уже и китаецам стало известно о наших с Катей отношениях.

Однажды мне в голову пришла мысль научиться говорить по-китайски. Пожалуй, для этой цели больше всего подходил лавочник, у которого я купил злополучные пряники.

Мне казалось, что вернее всего будет учить китайский язык по системе Берлица. Прежде всего мне нужно было узнать, как спросить по-китайски: «Что это?» Не без труда я заучил это выражение, после чего получил ответ: китаец перечислил все товары, имевшиеся в лавочке.

С первой трудностью я столкнулся, когда попросил китаец написать мне названия всех этих предметов латинскими буквами. Оказалось, что это сделать невозможно. Тогда я записал несколько слов в русской транскрипции, но китаец недовольно затряс головой, пробормотав несколько раз: «Не хорошо», и написал эти же слова по-китайски.

— Русски буква не хорошо.

Затем возникли новые затруднения. Когда я начал заучивать слова наизусть, то заметил, что некоторые из них повторялись, но уже в другом значении. Мои попытки получить на этот счет объяснение от китайца успехом не увенчались.

Узнав об этом, Екатерина Васильевна решила мне помочь.

— Есть тут у нас главный ревизор Константин Петрович. Знаете, худой такой мужчина с бородой, который часто приходит к дяде Феде. Так вот он несколько лет жил в Харбине и, говорят, хорошо знает по-китайски. Думаю, что он вам все сможет объяснить. Если хотите, я вам устрою с ним встречу.

Главный ревизор оказался очень добрым человеком, и он действительно ответил на все мои вопросы.

— Китайский язык состоит не из отдельных слов, — начал объяснять он, — а из отдельных слогов, которых у них несколько сот. Вот из них-то и комбинируются различные слова. Каждый слог можно произносить в различных тональностях, отчего меняется и значение слова. На письме это выражается специальным иероглифом. В разговоре же необходимо иметь очень хороший слух. Если вас интересует, я могу дать вам учебник китайского языка, написанный англичанином Чемберленом. Он преподавал китайский язык в Пекине, и именно ему принадлежит выражение: «По-китайски все знать невозможно, один знает лучше, другой — хуже, но никто не может похвастаться, что он знает все». Самый большой словарь китайского языка содержит пятьдесят тысяч иероглифов, но и это еще далеко не все, если учесть, что с помощью нескольких десятков ключей — иероглифов любой может составить столько новых иероглифов, сколько ему заблагорассудится.

Однако сколько раз Константин Петрович ни произносил один и тот же слог на все лады, я почему-то не уловил никакой разницы.

В конце концов я решил, что китайский язык не для меня, если я не способен распознать звуки на слух.

Разыскав моего учителя-китайца, я заплатил ему пятьдесят рублей за труды, сказав, что изучать дальше язык не буду, так как для меня он слишком труден.

Добрый китаец недовольно покачал головой.

— Неправда это. Китайски — легкий, русски — шибко трудный, — произнес он.

Однако пятьдесят рублей, поблагодарив, все же взял.

На этом и закончилось мое изучение китайского языка.

Ужин у Клавдии Васильевны

Однажды Катя попросила, чтобы я поскорее закончил сегодня урок, так как сестра Анны Васильевны Клавдия Васильевна приглашает нас на ужин.

Я почти не знал Клавдию Васильевну, слышал, что она была замужем, но развелась, работает учительницей, есть у нее дочка, которую Катя очень любит.

Это приглашение несколько удивило меня и не очень обрадовало. Правда, я всегда стремился побыть с Катей вместе, но без посторонних, потому что мои слабые знания русского довольно сильно портили мне настроение.

В гости я шел без особой радости, но нас так тепло приняли, что мое плохое настроение бесследно исчезло. Минут через десять после нашего прихода появились новые гости: два статных молодых человека, каждый года на два старше меня. Одного из них, Николая Васильевича, Клавдия Васильевна представила как брата. Другого звали Владимиром Петровичем.

От Кати я слышал, что оба они офицеры, но пока еще не смогли найти себе место в новой жизни. Оба они недавно приехали в Хилок, очень дружны и живут вместе, снимая у кого-то комнату.

Появление офицеров оживило наше общество. Обе женщины и офицеры почти все время разговаривали с Катей. Такой оживленной Катю я еще никогда не видел. Понял только то, что оба офицера, словно соревнуясь, ухаживали за Катей.

Мне сразу же сделалось не по себе. Переговорить офицеров я, конечно, не мог. Надо было бы взять себя в руки, но от одного вида этих офицеров и оживленности Кати у меня испортилось настроение, и я не мог даже рта раскрыть. Катя время от времени поглядывала на меня с удивлением, словно спрашивала, почему я молчу. Несколько раз она обращалась ко мне, но расшевелить меня ей так и не удалось.

Когда чай был выпит, Клавдия Васильевна положила на стол две большие подшивки иллюстрированного журнала за два предвоенных года. Вот тут началось самое неприятное для меня: Катя листала журналы, а офицеры, чтобы лучше рассмотреть фотографии, совсем близко наклонялись к ней с обеих сторон, продолжая разговаривать и смеяться.

Я оказался в глупом положении. Пока мы пили чай, мое молчание не бросалось в глаза. Теперь же я сидел как немой. Катя несколько раз бросала в мою сторону взгляды, которые выражали только то, что она ничем не может мне помочь.

Потом она встала.

— Дорогие хозяйки, благодарим вас за угощение. Нам было очень приятно.

Офицеры тоже стали прощаться.

— Надеюсь, вы не прямо домой? — спросил Катю Николай Васильевич. — Пройдемся по берегу реки или по шпалам? На обратном пути можем полюбоваться закатом.

— Я не против, — согласилась Катя. — Кто с нами?

Владимир Петрович сразу же согласился. А я снова засмутился. Лучше всего мне было бы уйти, но одна мысль о том,

что Катя останется с офицерами, причиняла мне боль. Они и так весь вечер кружились вокруг нее. И я решил еще пострадать, но не оставлять их одних.

— А вы разве не идете с нами, Андрей Александрович? — обратилась ко мне Катя.

Не знаю, сколько я дал бы за то, чтобы знать: действительно она хочет, чтобы я пошел с ними, или же приглашает только ради приличия.

Прогулка по шпалам

Катя и Николай Васильевич шли впереди, Владимир Петрович и я отстали на несколько шагов. Спустились по лестнице возле церкви и пошли по железнодорожному полотну.

Владимир Петрович оказался очень милым и приятным собеседником. Он выбирал такие темы для разговора, что мне было все понятно. До войны он несколько недель провел в Венгрии и теперь делился со мной воспоминаниями. Я только для виду поддерживал разговор, говорил больше он. Однако и он скоро выдохся, и мы шли молча.

Через некоторое время Катя и Николай Васильевич остановились, подождали нас, а потом Катя сказала, что уже пора возвращаться. Они о чем-то поговорили, но так быстро, что я ничего не разобрал. Затем мы пошли обратно.

Владимир Петрович присоединился к Кате и Николаю Васильевичу.

Так они и шли втроем, оживленно разговаривая и иногда смеясь.

Потом Катя, разведя руки в сторону, пошла по рельсу.

— Ох, и люблю же я вѣт так ходить! — заметила она громко, чтобы услышал и я.

Не успела она сделать и нескольких шагов, как офицеры подали ей руки с двух сторон.

— Разрешите, мы вас немного поддержим? — предложил Николай Васильевич.

— Спасибо, но мне не нужна поддержка, — запротестовала Катя. — За меня можете не бояться. Я умею следить за собой.

Эти слова словно толкнули меня. Уж не мне ли они были предназначены? Она же чувствует, что я переживаю, вот и сказала, чтобы успокоить меня.

Офицеры опустили руки, но, видно, Кате нелегко было держать равновесие, и через несколько минут она сама оперлась руками на плечи офицеров.

Обо мне они будто забыли, но меня беспокоило только то, что Катя, казалось, не замечала меня.

Я решил, что обязательно завтра или послезавтра поговорю с ней с глазу на глаз.

Наконец мы пришли на станцию, а оттуда через несколько минут дошли до Катиного дома. У ворот Катя торжественно пригласила всех нас зайти к ним вечером в понедельник, когда дядя Федя тоже будет дома.

Прощаясь со мной, она шепнула:

— Завтра в обычное время обязательно жду вас.

Мы направились по домам. К счастью, жил я недалеко и вскоре остался один со своими мыслями. Слова Кати давали мне некоторую надежду, но после событий прошедшего дня я немного ожидал от завтрашней встречи.

Страстная пятница

На следующий день Катя радостно со мной поздоровалась и весь урок была очень любезна. Это рассеяло холодок вчерашнего вечера, поселившийся в моем сердце. Но только на минуту. Чем любезнее она была со мной, тем мучительнее я чувствовал разницу между сегодняшней и вчерашней Катей.

После урока Катя предложила мне пройтись:

— Уроков у вас сегодня больше нет, все готовятся к пасхе. У меня же сейчас есть часок, но с завтрашнего дня я несколько дней не смогу найти время для прогулок.

Когда мы очутились на улице, Катя сама заговорила о вчерашнем вечере.

— Извините меня, пожалуйста, я слишком поздно поняла, что не следовало приглашать вас к Клавдии Васильевне. Я очень злилась на себя за это, но было уже поздно. Моя попытка и вас подключить к разговору мне не удалась. Когда пошли гулять, я видела, что вам не по себе. Извините меня, пожалуйста. Больше такого не будет.

Все это получилось у Кати так мило и просто, что я не мог сердиться на нее.

— Вы еще до вечера знали, что офицеры тоже будут там? — спросил я.

— Честное слово, нет. Если бы знала, возможно, я и сама бы не пошла. Это герои не моего романа, но уж раз они там оказались, я не могла не разговаривать с ними. Можете мне поверить, они очень несчастны и одиноки, потому что другие с ними даже разговаривают неохотно.

Мы пожали друг другу руки, и мир был снова восстановлен.

— Сегодня до позднего вечера и завтра весь день я буду занята, но, если хотите, в субботу ночью вместе пойдем на пасхальную службу. Меня в данном случае интересует не религия, а сама церемония, необычная и пестрая. Вам, думаю, будет особенно интересно: ведь вы такого никогда не видели. Зайдите за мной часов в одиннадцать. Хорошо?

Я согласился.

— Тогда до свидания, Андрей Александрович.

В глазах Кати я прочел нежность и надежду.

Времени было еще мало. Яркое весеннее солнце улучшало настроение. К тому же я был влюблен.

Я решил взобраться на высокий холм напротив Катиного дома, чтобы оттуда лучше рассмотреть двор.

Двор действительно было видно, но в нем не было ни души.

Усевшись на большой камень, я закурил и стал ждать. Чего я хочу, я и сам не понимал. Просто не хотелось уходить отсюда.

И вдруг во дворе появилась Катя. Лица ее я не мог разглядеть, но зато видел каждое движение.

Я не спускал с Кати взгляда, хотелось, чтобы она заметила меня и поднялась на холм. Во двор стали выносить мебель. Тут же суетилась горничная Ариша, чистила, выбивала ковры. Временами мне казалось, что Катя видит меня, что она борется сама с собой, размышляя, не бросить ли ей все и не прибежать ли ко мне. Но это был лишь плод моей фантазии. Катя спокойно продолжала свое дело.

Постепенно стемнело. Катя и горничная внесли вещи в дом и больше не показывались во дворе.

С холма я спустился часов в десять, когда промерз настолько, что даже начал дрожать.

Ночь была беспокойная. Мне снилось, что я все еще сижу на холме и Катя поднялась ко мне. Я хотел ее поцеловать, но она не разрешила.

«Я пришла сюда только для того, чтобы сказать тебе, что между нами все кончено. Николай Васильевич просил моей руки, и я решила выйти за него замуж».

«Значит, ты не любишь меня?» — в отчаянии спросил я.

«Люблю, — ответила Катя, — но так должно быть. Я русская и должна выйти замуж за русского».

Я попросил разрешения поцеловать ее на прощание. Глазами, полными слез, она смотрела на меня. Вот она приблизилась ко мне... И тут я проснулся.

Я твердо решил дожидаться удобного момента и просить Катю стать моей женой.

В русской церкви

Такой томительно длинной страстной пятницы у меня никогда еще не было. Наконец настал вечер. Ровно в одиннадцать я был у Кати.

В своем темном костюме она была так хороша, что мне захотелось броситься перед ней на колени, я же осмелился только поцеловать ей руку.

Она несколько удивилась, потом улыбнулась.

— Не знаю, правильно ли я поступила, пригласив вас с собой, — сказала она по дороге. — Не будет ли вам скучно? Если заскучаете, мы сразу же уйдем.

Я успокоил ее, сказав, что пасхальная служба очень меня интересует, так как я много слышал и читал о ней.

Безо всякого перехода Катя начала объяснять мне, как много она сделала со вчерашнего дня.

— А я знаю, — не утерпел я. — По крайней мере, знаю о том, что вы делали во дворе.

— Как так? Откуда? — удивилась она.

Я рассказал, как сидел на вершине холма в надежде увидеть ее. Катя ничего не ответила, только сжала мою руку, затем, не говоря ни слова, взяла меня под руку. Так мы дошли до самой церкви, едва сказав несколько слов за это время.

Пасхальный обряд оказался действительно очень интересным зрелищем. Ровно в полночь священник у алтаря повернулся к верующим и басом пропел: «Христос воскрес!»

— Воистину воскрес! — прогудела в ответ толпа.

Потом началось паломничество. Мужчины и женщины по очереди подходили к священнику, который всех их целовал в губы.

Мы стояли в темном углу неподалеку от выхода и наблюдали за этой церемонией.

— Пойдемте, — услышал я голос Кати.

Домой шли молча. Приятно было идти в темноте и чувствовать, что Катя совсем рядом.

Когда мы подошли к воротам ее дома, я думал, что она, по обыкновению, подаст мне руку и скажет «до свидания».

Несколько секунд мы молча стояли друг против друга. Потом, слегка подняв голову и подавшись ко мне, Катя чуть слышно произнесла:

— Христос воскрес!

И в тот же миг наши губы слились в долгом жгучем поцелуе. Это был наш первый поцелуй.

Визит в понедельник

Аглая Петровна ввела меня в столовую, где за праздничным столом уже сидели дядя Федя, Катя, Анна Васильевна и два офицера.

Нас восторженно приветствовали. Аглая Петровна положила мне на тарелку копченой рыбы и окорок, Федор Павлович налил стопку водки.

Потом был самовар, а к чаю Аглая Петровна подала знаменитый кулич и творожную пасху, о которых я раньше, только слышал от Кати.

Каждая хозяйка пекла кулич и готовила творожную пасху по своему, известному только ей рецепту. Аглая Петровна очень

гордилась своим искусством. Такие вкусные вещи лучше ее никто не мог приготовить, а тайну своего искусства она не выдаст и на смертном одре, никому, даже Кате.

После того как я все это попробовал, Екатерина Васильевна предложила оставить мужчин одних и пересесть с ней и Анной Васильевной на диван.

Из всех знакомых Кати Анна Васильевна была единственным человеком, присутствие которой не стесняло меня. Быть может, потому, что я чувствовал: она желает Кате добра, а на меня смотрит как на Катиного друга. В свободное время Анна Васильевна занималась с самодеятельными артистами. Разговор зашел о том, какую пьесу поставить в ближайшее время. Пока мы беседовали, за столом начался какой-то шум. Я понял только, что кончилась водка и дядя Федя требовал еще, а Аглая Петровна не хотела больше давать водки.

Федор Павлович кричал, ругался, потом замолчал и вышел из комнаты.

Вскоре он вернулся, неся в руках бидон, в котором грек-лавочники обычно держат керосин. Не успел он войти, как Аглая Петровна набросилась на него:

— Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не вносил в квартиру эту вонючую дрянь!

Федор Павлович спокойно уселся на свое место и, открутив пробку у бидона, взял стопку. С криком «пьяная свинья» Аглая Петровна подскочила к нему и вырвала из его рук бидон.

— Посмотрите на эту ведьму! — закричал Федор Павлович и вскочил. — Отдай обратно, а не то...

Он уже поднял руку, чтобы ударить жену, и, возможно, ударил бы, если бы Катя не встала между ними.

— Дядюшка, и не стыдно тебе! Опомнись!

Неожиданное вмешательство Кати словно парализовало дядю Федю, но через минуту он снова зашумел:

— А тебя кто спрашивает? Чего ты суешь нос не в свое дело?

Обидевшись, Катя заплакала.

— Если тебе нездоровится, ложись в постель и клади себе на лоб холодный компресс, — махнул на нее рукой Федор Павлович.

Катя заплакала еще громче и, закрыв лицо руками, вышла из комнаты. Анна Васильевна бросилась за ней.

— Вот тебе, старый дурак! Если хочешь напиться до чертиков, пей последнюю бутылку водки. Но этой вонючей ханжи у меня в доме никто не будет пить.

Добившись своего, Федор Павлович успокоился и, как будто ничего не случилось, вместе с офицерами продолжал пить водку, которую дала ему Аглая Петровна.

Все происшедшее возмутило меня. Я готов был сквозь землю провалиться от стыда за то, что я должен сидеть и молчать, когда кто-то обижает Катю.

Между тем разговор за столом оживился, заговорили, насколько я понял, о политике. Офицеры, вероятно, были из партии кадетов, потому что они всю старались убедить старика в том, что только кадеты являются настоящими русскими патриотами, а все эти беды начались с отставки правительства Львова — Милюкова.

— Что такое? И эти грязные кадеты еще осмеливаются подавать голос, они, продавшие родину англичанам! Чтоб им всем сдохнуть на месте!

Спор разгорелся. Говорили все вместе, перебивая друг друга, не хватало только драки.

Я чувствовал, что больше не могу оставаться в этой комнате.

«А что, если пойти к комнате Кати и постучать? Ничего неприличного в этом нет, ведь она там не одна».

Только я взялся за ручку двери, как Федор Павлович крикнул мне:

— Чего вам нужно в той комнате? Вы что, не знаете, что там лежит больная женщина, которой нужен покой? Садитесь и сидите, а если вам не нравится наше общество, можете поискать себе лучшее.

Кровь бросилась мне в голову. Я решил немедленно уйти из этого дома и уже сделал шаг к двери, но вдруг подумал, что завтра весь Хилок заговорит об этом скандале. Худо от этого будет не Федору Павловичу, а Кате. Сжав зубы, я сел на свое место.

Мужчины продолжали пить и спорить, словно ничего и не случилось. Только Николай Васильевич несколько раз взглянул на меня, и мне показалось, что он понимает всю сложность моего положения.

Прошло мучительных полчаса, и вдруг Николай Васильевич встал и, ничего не говоря, вошел в комнату Кати. Это было хуже всего. Я ожидал, что Федор Павлович рассердится и выгонит его, но Федор Павлович остался на месте и с прежней страстью продолжал объяснять Владимиру Петровичу грехи кадетов, а Аглая Петровна все подливала им в стопки водку.

Я уже подумывал о том, как бы и мне войти к Кате, но вот дверь отворилась, и Катя, а за ней Анна Васильевна вышли из комнаты.

Катя подошла ко мне и села на диван.

— Очень жаль, что все так получилось, — шепнула она. — Мне стыдно за Федора Павловича, да и не следовало приставать к нему. Завтра мы поговорим, а сейчас, я прошу вас, идите домой. Я не хочу, чтобы вы стали свидетелем еще какой-нибудь неприятной сцены. Сейчас мы потихоньку выйдем в переднюю, будет лучше, если вы даже не попрощаетесь с остальными.

В прихожей, когда я надевал пальто, Катя молча стояла рядом. Потом протянула руки и нежно посмотрела мне в глаза:

— Приходите завтра в четыре на станцию. Хорошо?

— Приду, — ответил я и поцеловал ей руку, потом погладил ее по голове.

— До свидания, до завтра!

Я делаю предложение

На следующий день, в четыре, я встретился с Катей на станции.

— Ужасно неудобно за вчерашнее, — начала Катя. — Мне и сейчас еще не по себе. Но что поделаешь, дядю Федю не перевоспитаешь, он уже стар для этого.

— Вам, дорогая, право, нечего стыдиться, — успокаивал я ее. — Что же касается Федора Павловича, так он для меня больше не существует. Я никогда не прощу ему того, как он вчера с вами разговаривал. Ноги моей не будет у него в доме после вчерашнего. Уроки будем проводить где-нибудь в другом месте.

— Пожалуйста, не говорите так. Не надо спешить с выводами: вы еще не знаете дядю Федю. Он самый добрый человек на свете. Вся беда в том, что он любит выпить, а когда выпьет, не всегда владеет собой. Верьте мне, он не хотел обидеть вас. Может, сегодня он даже не помнит о том, что было вчера, а если и помнит, то сам больше всех переживает. Зайдемте к нему, и вы убедитесь, что я права.

Сначала я упорствовал.

— Если моя дружба для вас что-нибудь значит, — начала упрашивать Катя, глядя на меня такими глазами, что я забыл обо всем на свете, — тогда сделайте это ради меня.

Дядя Федя стоял за стойкой со стопкой водки в руке. Кроме него, в ресторане никого не было.

Катя подошла к дяде Феде и подставила ему лоб для поцелуя. Старик молча поцеловал ее и по-дружески протянул мне руку. Потом достал другую стопку и налил.

— За здоровье нашей дорогой Екатерины Васильевны! — Он поднял стопку, чтобы чокнуться со мной.

Разве можно было не согласиться? Мы выпили и еще раз пожали друг другу руки.

Скандал в гостях еще больше убедил меня в том, что мне просто необходимо уладить отношения с Катей. Теперь я уже не сомневался, что и она любит меня. Но согласится ли красавица Екатерина Васильевна соединить свою жизнь со мной, связать свою судьбу с венгерским военнопленным?

Я решил, не откладывая дела в долгий ящик, поговорить с Катей.

На следующий день наш обычный урок что-то не клеился, и вскоре я предложил Кате прекратить занятия, сказав, что на сегодня достаточно. Мы пересели на плюшевый диванчик.

— Не знаю, что со мной, но сегодня я какая-то глупая, — заметила Катя.

— У каждого человека бывают неудачные дни, — попытался я успокоить ее. — Это даже лучше, потому что я как раз хотел попросить вас поговорить после урока.

— Неужели для этого нужно разрешение? — удивилась Катя. — Вы же знаете, что я всегда охотно разговариваю с вами.

— Знаю и благодарен вам за это. Но сегодня у меня к вам серьезный разговор.

— Вот как! О чем же это? — улыбнулась она.

— Я... хотел признаться вам.

— Нужно ли это, Андрей Александрович? — Выражение Катиного лица сказало мне, что она не поняла, в чем я хочу признаться. То, что я люблю ее, уже давно не было для нее тайной.

— Думаю, что нужно. Я не буду говорить вам о том, что люблю вас. Это вы и сами знаете. Вы никогда ничего не говорили мне, но я чувствую, что тоже не безразличен вам. Сказать же я хочу о том, чего вы еще не знаете. Хочу сказать вам, что не только люблю вас, но дошел уже до такого состояния, что жить так дальше не могу.

— Что вы хотите этим сказать? — Лицо Кати стало строгим.

— Хочу просить вас стать моей женой.

— А как вы себе это представляете? — стараясь не показать волнения, спросила Катя, но глаза выдали ее — они стали большими-большими. — Я должна поехать с вами в Венгрию?

— Давайте пока не будем касаться этого вопроса. Кто знает, как сложатся обстоятельства. Да это и не самое главное. По крайней мере, для меня важно, чтобы вы любили меня и приняли мое предложение. Все остальное второстепенно. Где, в каких условиях, здесь ли, в Венгрии ли или еще где-нибудь мы будем жить — это будет видно. Если же вы только в том случае согласны выйти за меня, когда я останусь здесь, то я останусь.

Катя схватила мою руку и сжала ее. В глазах ее блеснули слезы.

— Милый... милый... — только и смогла выговорить она.

Мы долго молчали.

— Я очень счастлива, что вы так меня любите, — первой нарушила она молчание. — Я знала об этом, но не подозревала, что это так серьезно, и не была готова к этому разговору. Давайте больше не будем сегодня говорить об этом. Хорошо? Отложим разговор на послезавтра. К сожалению, завтра мы не можем встретиться. Я даже на уроке быть не смогу. К дяде придут гости. Не сердитесь, но сейчас мне пора уходить. Сегодня у Клавдии Васильевны дочка именинница, и в шесть часов они ждут меня. Вы же знаете, что я ее крестная. Очень жаль, что все так получилось, я не знала заранее, а то бы... Очень прошу вас, не думайте ничего плохого.

Все это было так неожиданно, что я чуть не опешил.

— До завтра. — Она подала мне руку.

— До свидания! — ответил я и поцеловал ей руку.

С горькими думами шел я домой, однако временами тешил себя надеждой, что все уладится. Ведь она тоже любит меня, ведь она же не отрицала.

Петровские музыканты

На третий день на уроке Катя была, как всегда, любезна со мной, но о позавчерашнем разговоре не упоминала.

После урока она попросила меня уйти, так как в воскресенье будет самодеятельный спектакль, в котором она собиралась принять участие, и ей надо было подготовиться к нему.

— После спектакля — танцы под оркестр. Музыкантов пригласили из Петровского Завода, оркестр пленных. Вечерним поездом они приедут в Хилок.

Вечером я пошел на станцию встречать музыкантов.

О цыганском ансамбле венгров из Петровского Завода я много слышал. Когда я двое суток был там, они как раз уехали куда-то на гастроли, и, таким образом, я ни разу не видел их. Но это не помешало нам разговориться, как старым знакомым.

Остановились музыканты в общежитии железнодорожников недалеко от станции.

Весь оркестр состоял из девяти человек: первая скрипка — учитель из Северной Венгрии, по фамилии Мохила, затем еще четыре скрипача, виолончель, контрабас, альт и фортепьяно. Был в оркестре еще один «нештатный» художник, по фамилии Инцеди.

До сих пор я был уверен, что оркестранты эти из пекарни. Теперь же из разговора с ними выяснилось, что ни один из них никогда не работал ни в пекарне, ни в каком другом месте. Даже в лагере они были музыкантами.

Это было довольно пестрое сборище: три сельских учителя, один почтовый служащий, один сельский нотариус, два студента и один гимназист, попавшие в лагерь недавно, и учитель игры на фортепьяно Бек, которого почему-то называли «профессором».

В пекарне у музыкантов нашлись друзья, земляки, которые упростили коменданта зачислить всю эту «банду» к ним: они за них будут работать, а те в свою очередь поделятся с ними своим «гонораром».

Сначала меня удивило, что музыканты согласились на такую невыгодную сделку, но когда мне рассказали подробности их переселения в Петровский Завод, я понял и это. Музыканты все до одного были из березовского лагеря для нижних чинов. Весной восемнадцатого года военнопленные начали сколачивать различные организации, а потом началась их вербовка в Крас-

ную Армию, и тогда музыканты решили уйти из лагеря в такое место, где бы им не грозила никакая вербовка.

Разумеется, это вовсе не значит, что они стали контрреволюционерами. Они жили с большевиками в мире. С одной стороны, потому, что они и сами хотели мира, с другой — потому, что они от души приветствовали слом старого мира. Они понимали что после войны им на родине придется сделать то же самое, но здесь, в чужой для них стране, не стоит ни во что вмешиваться, не следует становиться ни на сторону революции, ни на сторону контрреволюции. Вообще они осуждали всякую вооруженную борьбу. По их взглядам, народ в Венгрии образованнее и спокойнее, чем в России, так что перестройка общественного строя там будет проходить без кровопролития, мирным путем. Пленным же нужно набраться терпения и ждать, пока их не отправят на родину. А до этого времени нужно постараться мирно прожить и не делать ничего такого, что могло бы помешать им целыми и невредимыми вернуться домой.

Так думали все, но только те, кто постарше, громко высказывали свои взгляды, а студенты и гимназист молчанием выражали согласие с ними. Позже, когда я ближе узнал их, понял, что руководили ими отнюдь не политические мотивы или житейская корысть, а скорее всего, желание возвращаться в женском обществе.

Из всей этой компании только двое имели свою точку зрения, отличную от остальных: «профессор» и художник. Основной же мотив тот, что и у остальных: любым путем уклониться от призыва в армию. «Профессор» жил одним желанием — живым добраться домой, к своей невесте. Художник, как и остальные, симпатизировал революции, более того, он даже что-то слышал о марксизме и считал необходимым свершение революции не только в России, но и в Венгрии. Он не был согласен с тем, что преобразования на его родине свершатся сами по себе. В Венгрии, считал он, где капитализм более развит, чем в других странах, революция будет трудной и кровавой. А он, как человек искусства, не симпатизирует, естественно, кровавым делам и потому пока занимает нейтральную позицию. Именно поэтому он и присоединился к музыкантам. На будущее у него довольно странный план: попасть в эшелон пленных, который будут отправлять не на запад, а на восток (в чем он, неизвестно почему, был убежден), а из Владивостока часть пленных на кораблях отправят за океан. Если удастся, он останется где-нибудь в Японии, Шанхае или Гонконге, а потом каким-нибудь образом переберется в Америку.

И хотя в общем-то взгляды всех музыкантов были мне в равной мере чужды, все же охотнее я беседовал с «профессором» и художником, которые были интеллигентами.

На спектакле я сидел рядом с Инцеди. Первое действие этой революционно-романтической пьесы происходило в Петрограде,

где студенты и студентки организовали заговор. Главные герои — друзья Сычов и Воронов и девушка Наташа, в которую влюблен Сычов. Полиция нападает на их след; Сычова и многих других арестовывают и приговаривают к каторжным работам. Воронову и Наташе удалось бежать. Через два года Сычов бежит с каторги, тайно возвращается в Петербург, где встречает Наташу, которая уже стала женой Воронова. Сычов подумывает о самоубийстве, но тут он встречается с сестрой Воронова, которая, оказывается, давно любит его, но только не смела признаться. Эту-то девушку и играла Катя.

Пьеса была слабой, игра актеров — тоже. Исполнители то с излишним пафосом декламировали, то сентиментально сюсюкали. Единственной, кто по-настоящему вжился в роль, была Катя.

Только теперь я заметил, как сильно Катя отличается от других женщин, которые хотели подействовать на публику своим вызывающим видом. Заметив эту разницу, я понял, почему Катя как-то сказала мне, что неохотно появляется на людях: она чувствовала себя чужой в этом страшном окружении.

В перерыве после первого действия Инцеди, словно отгадав мои мысли, сказал:

— Исполнители никуда не годятся. Во всей труппе есть только одна-единственная по-настоящему красивая и изящная женщина, та, которая играла эту спокойную девушку. Я бы на твоём месте обязательно познакомился с ней и ухаживал бы только за ней.

Когда же я признался, что это моя первая ученица и что я влюблен в нее, Инцеди обрадовался:

— Хвалю твой вкус. Когда речь идет о женщинах, смело можешь спрашивать мое мнение: оценить достоинства женщины может только тот, у кого глаз художника. С этой женщиной тебе нигде не будет стыдно. Надеюсь, после спектакля ты представишь меня ей.

Каково же было мое удивление, когда во втором антракте уже «профессор» Бек обратился ко мне:

— Скажи, дружище, кто эта красивая женщина, которая играет сестру? Она так похожа на мою невесту, что я сначала прямо-таки ошеломлен. Думаю, женщины красивее не найти во всей Сибири.

Если бы даже я не был убежден в красоте и способностях Кати, то единогласное и категорическое заявление художника и «профессора» убедили бы меня в этом. Теперь я мог гордиться тем, что влюблен в самую красивую женщину Сибири.

После спектакля я поджидал Катю у выхода из артистической. Я знал, что она обычно не танцует, и потому надеялся, что вечер проведу с ней. Но Катя, сославшись на головную боль,

сказала, что идет домой. Я попросил разрешения проводить ее до дому.

— А почему вы не хотите остаться здесь? — удивилась она. — Разве вам не интересно посмотреть как у нас проходят вечера танцев? Вам не следует уходить отсюда только потому, что у меня вдруг разболелась голова. До дома недалеко, я и сама дойду.

— Танцы я и после смогу посмотреть. Уж раз вы не можете остаться, так хоть разрешите проводить вас.

— Ну, если вы так хотите, пожалуйста.

Почти всю дорогу Катя молчала. Я заговаривал с ней о спектакле, о музыкантах, но она отвечала односложно.

Я не понимал, что происходит с ней. После нашего последнего разговора, думал я, она будет любезнее со мной, чем раньше, но, видимо, мое признание не только не приблизило, а даже несколько отдалило ее от меня.

Я думал, что, быть может, дойдя до дома, она пригласит меня зайти, но и этого она не сделала.

Мы подошли к воротам, и вдруг Катя спросила:

— Вы слышали, что Николай Васильевич и Владимир Петрович уехали на запад?

— Нет, — ответил я сердито, — не слышал. Но меня это и не интересует.

Катя остановилась и, бросив на меня удивленный взгляд, промолвила:

— Спокойной ночи!

Возвращаться на вечер мне уже не хотелось, и я пошел домой. Досада разобрала меня: «Раз я ей не нужен, тогда и я не буду за ней бегать». Подумал и пошел на танцы. Когда я пришел туда, вечер был в самом разгаре. Почти все стулья из зала вынесли, музыканты уже сидели на сцене и играли. У входа в зал стояли несколько мужчин, среди них я увидел Инцеди.

— Вовремя ты пришел, — сказал он. — Посмотри, как наш Пипи старается.

Так музыканты звали самого молодого музыканта оркестра — гимназиста, который в этот момент воодушевленно танцевал вальс с какой-то молодой девушкой.

— Девушка эта не здешняя, она тоже из Петровского Завода, — объяснил мне Инцеди. — Они любят друг друга, парень хочет жениться на ней. Девушка тоже согласна, но ее отец и слышать не хочет, чтобы его дочь вышла за какого-то пленного. Хорошенькая Феня и сюда приехала из-за него и вообще готова, кажется, на все, но наш Пипи все никак не осмелится.

Я с завистью разглядывал влюбленных.

— Ну, а где же твоя красивая ученица? — поинтересовался Инцеди. — Ты обещал представить меня ей.

Я объяснил, что у Кати разболелась голова и она ушла домой.

— Скажи уж честно, поссорились? Женщины всегда ссылаются на головную боль. Не беда, тут девушек хватает, пошли танцевать.

— Я не танцую, — ответил я. — А ты иди.

Инцеди пригласил на танец первую попавшуюся симпатичную девушку.

Посмотрев немного на танцующих, я вышел на улицу.

Было свежо. Улица опустела, и я вполголоса запел по-венгерски.

Ты самая красивая
И добрая на свете...

На следующий день в полдень заглянул к музыкантам. Их поезд отходил в два часа, и они уже собирались в дорогу. Я проводил их до станции.

Прощаясь со мной, Мохила дружески похлопал меня по плечу:

— Если ты, дружище, все же решишь жениться, то, надеюсь, свадьбу без нашего оркестра не сыграешь?

— Твои бы слова да до бога! — оживился я. — А там уж я знаю, что нужно делать. Доброго пути!

Проводив музыкантов, я заглянул в зал ожидания, чтобы немного поговорить с Анной Васильевной о вчерашнем спектакле.

Она как раз собиралась закрывать свой киоск. Собирая одной рукой журналы и газеты, другой она вытирала глаза. На мой вопрос, что случилось, она ответила, что Николая Васильевича вместе с его попутчиком сняли с поезда в Иркутске, и никто не знает, что с ними будет.

Мне было понятно волнение Анны Васильевны: как-никак речь шла о судьбе ее брата. Но тут я подумал: а как отнесется к этому известию Катя. После вчерашнего разговора с Катей меня почему-то снова охватило подозрение, а вдруг Николай Васильевич значит для Кати больше, чем брат Анны Васильевны.

После урока я рассказал Кате о случившемся, но она, к моему удивлению, реагировала на это не так, как ожидал я:

— Так оно и должно было случиться: тот, кто ходит с закрытыми глазами, всегда спотыкается о первый камень. Николай Васильевич порядочный человек, но он никак не хочет понять, что на свете не всегда все так бывает, как мы учили в школе. Я ему говорила об этом, но безрезультатно.

Я с облегчением вздохнул.

Однажды молодые железнодорожники организовали большой танцевальный вечер. Для этой цели был снят самый большой зал в Хилоке, где обычно показывали кинофильмы. Я даже не собирался идти на этот вечер, но оказалось, что большинство моих учеников вошли в организационный комитет вечера. Отказываться было как-то неудобно. Выяснилось, что Катя тоже будет там с какой-то подругой.

Собираясь на вечер, я надеялся, что весь вечер проведу с Катей, но ошибся. Она то и дело уходила.

Вдруг я увидел, как какой-то мужчина вручил Кате огромный букет и, оживленно жестикулируя, начал что-то объяснять ей. Ответа Кати я не слышал, но видел, что она раскраснелась и громко смеялась.

Мужчина этот стоял ко мне спиной, и я, чтобы увидеть его лицо, перешел в другой конец зала. Каково же было мое удивление, когда я узнал Никифора Андриановича.

Сразу же вспомнилось, как горячо защищала его Катя. Я решил тут же уйти, и только то удержало меня, что я обещал Кате проводить ее до дому.

Дожидаясь окончания вечера, я зашел в небольшую комнату, где собрались пожилые мужчины, и, когда все стали расходиться, подошел к Кате. Она удивилась:

— А я думала, что вы давно уже дома.

По пути домой мы оба долго молчали.

— Я же предупреждала, что вам будет скучно, если вы не танцуете, — первой нарушила она молчание.

— Я и в самом деле жалею, что пошел на вечер, тем более что мое присутствие было вам неприятно.

Катя остановилась и с удивлением посмотрела на меня:

— Почему вы так решили?

— Я вижу, вы забыли букет, который вам подарили. — Я сделал вид, что не расслышал Катиного вопроса. — Не вернуться ли нам за ним?

Катя громко рассмеялась:

— Да вы с ума сошли! Только того и не хватает, чтобы вы меня ревновали, да еще устраивали мне сцены. И из-за кого? Из-за Никифора Андриановича! Если вам не известно, скажу по секрету: у Никифора Андриановича есть жена и симпатичные дети, две дочери уже замужем.

— Однако свой огромный букет он вручил вам, а не жене и не дочкам.

Катя снова громко рассмеялась:

— А я вижу, вы не очень наблюдательны, а то бы заметили, что такие же букеты получили и другие организаторы этого вечера. Так что можете думать, что вам угодно.

Когда мы дошли до ворот дома, Катя протянула мне руку и холодно пожелала спокойной ночи.

VIII. НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Катя встает на моем пути

Два дня спустя мы снова встретились с Катей, и она сказала, что не сможет ходить на занятия целую неделю. Оказалось, что они переезжают на новую квартиру. Дядя Федя купил собственный дом, и теперь они будут жить в нем. Три-четыре дня уйдет на упаковку вещей, потом переезд, после которого дня три все нужно будет приводить в порядок.

Договорились, что через неделю я приду к Кате на новую квартиру, и тогда мы возобновим занятия.

Всю неделю я мучился, старался успокоить себя тем, что всему виной только переезд, но внутренний голос говорил мне, что просто Катя изменила свое отношение ко мне.

Я уже видел снаружи дом, купленный Федором Павловичем. До этого Катя не раз говорила мне, что на старой квартире Аглая Петровна постоянно ссорится с хозяевами дома из-за общей кухни.

Собственно, во дворе стояло два дома: новый деревянный дом на три комнаты, с отдельной кухней, в котором и будет жить Федор Павлович; маленький домик с крошечными окошками занимали жильцы. Однако когда я впервые постучался в дверь нового дома, мне открыла незнакомая женщина. Она послала меня в другой дом. Там мне стучать не пришлось, так как на пороге появилась Катя.

Первая комната была так заставлена мебелью, что мы с трудом перешли во вторую.

— Здесь хоть более обжито, — сказала она. — Надеюсь, от чашки чая вы не откажетесь?

Я хотел сразу же приступить к занятиям, но Катя настояла на своем.

— Мы еще поговорим об уроках, — сказала она и оставила меня одного.

Ее слова навели меня на невеселые мысли. Оглядевшись, я даже не мог представить себе, как мы будем заниматься в такой тесноте.

— Не пойму я вашего дядю. Зачем было покупать дом, чтобы жить в такой тесноте? — поинтересовался я за чаем.

— Дядя Федя купил новый дом, но машинист, живущий в нем, все еще не получил служебной квартиры, а переехать отсюда даже на время наотрез отказался. Пообещал платить двой-

ную плату, но дядя Федя рассердился, сказал, что он не какой-нибудь спекулянт и вообще ему никакая плата не нужна. Я пробовала уговорить его пожить пока на старой квартире, но он и слышать об этом не хочет, такой он упрямый.

— А есть надежда, что новый дом скоро освободится?

— Кто его знает. Может, завтра, может, через месяц, а то и через год.

— А что говорит Аглая Петровна? И как вы будете жить в этой тесноте?

— Аглаю Петровну это мало беспокоит, весь день она находится на станции, да и я долго здесь не задержусь.

И Катя рассказала, что она получила письмо от матери и скоро уедет к ней, так что теперь ей нужно экономить деньги, и потому она вынуждена отказаться от моих уроков.

Меня словно ударили чем-то тяжелым по голове. Не помню, что я на это ответил. Поцеловав Кате руку, я ушел сам не свой.

Знакомство с Александрой Ефимовной

Огорченный, я только и думал о предстоящей разлуке с Катей. Однажды я сидел на скамейке и видел, как по лестнице, ведущей к станции, поднимались мужчина и женщина — стройная красивая женщина с черными глазами и коротко постриженными черными волосами.

Когда они проходили мимо меня, мы переглянулись. И тут я вдруг увидел, что рядом с незнакомой мне женщиной идет Никифор Андрианович.

Примерно через полчаса они вышли из здания вокзала и медленно пошли вниз.

Я тоже спустился вниз и пошел за ними, выдерживая приличную дистанцию. В конце аллеи они свернули в боковую улочку. попрощавшись, женщина вошла в дом.

С той минуты я потерял покой: Катя отодвинулась куда-то на задний план.

Знакомый телеграфист рассказал мне, что женщина эта — Александра Ефимовна Борисова.

— Очень образованная девица, — объяснил мне телеграфист. — Училась в Петрограде. Здесь, в Хилоке, у нее живет муж сестры — Тимарчук, работает он на железной дороге машинистом, но живет в другом доме с матерью и четырехлетним сыном. Александра Ефимовна работает в управлении дороги.

Во что бы то ни стало я решил познакомиться с этой женщиной. И в надежде встретить ее частенько прогуливался возле ее дома. Однажды вечером я увидел, как она вышла из дому и направилась к площади.

У меня не хватило смелости сразу же подойти к ней. Перейдя через площадь, она вошла в парк. Я — за ней. Видимо, она кого-то искала, но не нашла и повернула обратно.

— Не сердитесь на меня, пожалуйста, что беспокою вас, — заговорил я с ней, — но мне очень хотелось бы познакомиться с вами.

— Ничего, пожалуйста, — приветливо ответила женщина и протянула руку. — Очень хорошо, что мы встретились. Я тоже давно хотела поговорить с вами. Проводите меня домой, а по дороге и поговорим... Я искала племянника, убежал куда-то, негодник. Я думала, он в парке, но его там нет. Я и моя сестра с мужем хотели просить вас записать нас на английский. Уроки будете давать прямо у него в доме, где вы часто бываете.

Тут-то я и узнал, что муж ее сестры и есть тот самый человек, из-за которого дядя Федя никак не может въехать в новый дом.

— Завтра мой зять как раз свободен. Зайдите к нему, там обо всем и договоримся. При условии, конечно, что ваша прежняя ученица ничего не будет иметь против. — Последние слова были сказаны с особым ударением.

Я объяснил, что больше уже не даю Кате уроков.

— Правда? — удивилась Александра Ефимовна.

Условились утром обо всем поговорить у ее сестры.

Уроки им я давал три раза в неделю. На первые два урока пришел и сам Тимарчук, а на третьем его уже не было: уехал в рейс. После этого он почти не занимался, зато его жена высиживала все уроки с завидным упорством, хотя способности к языку у нее никакой не было. Александра Ефимовна занималась превосходно.

Несколько раз я решал дождаться Александру Ефимовну и проводить ее домой, но такого случая мне никак не представлялось.

И всегда, проходя по двору, я видел зашторенные окна в домике, где жил дядя Федя, но мне не раз казалось, что Катя незаметно наблюдает за мной.

Во время одного урока, когда сестра Александры Ефимовны вышла из комнаты, я быстро зашептал ей на ухо:

— Больше я так не могу. Вот уже две недели, как я хочу поговорить с вами. Прошу вас, разрешите мне проводить вас до дому.

— Я как раз этого и хотела. Если бы вы сейчас об этом не заговорили, я бы сама так сделала: мне надо с вами поговорить.

Минут за десять до конца урока Александра Ефимовна попросила меня закончить урок точно вовремя, сославшись на то, что ей нужно спешить домой.

Идя через двор, я машинально взглянул на Катино окно, и мне почудилось, что я вижу за занавеской ее лицо.

Александра Ефимовна, видимо, заметила мой взгляд, потому что она язвительно произнесла:

— Я вижу, доброжелатели есть не только у меня, за вами тоже приглядывают, как бы вы, чего доброго, не оступились.

Сделав вид, что ничего не понял, я перешел в наступление: — С тех пор как мы познакомились, я уже потерял надежду поговорить с вами наедине.

— Почему же? Разве мы с вами не встречаемся через день?

— Это не в счет. До сих пор я не имел возможности сказать вам то, о чем я думаю с самого начала знакомства. Как только я вас увидел, я почему-то решил, что нас с вами свела судьба.

— Странно, но у меня тоже было такое чувство. Только одна мысль все время беспокоит: как жаль, что мы никогда не сможем принадлежать друг другу.

— Это почему же? — спросил я.

— Почему, не знаю, но сейчас я еще больше, чем раньше, убеждена в этом.

— А что могло бы вас убедить в обратном?

— Что-то должно было...

— Вы же сами лишали меня возможности. С тех пор как... Александра Ефимовна перебила меня:

— Не будем сейчас об этом говорить. Нет никакого смысла спорить, когда мы, собственно, по-настоящему и не познакомились. Мне нужно домой, да и у вас, видимо, есть дела. Приходите часов в восемь к нашему дому. Как только мать и племянник уснут, я выйду к вам.

Никифор Андрианович снова появляется на сцене

В семь часов я освободился и через несколько минут уже прохаживался перед домом Александры Ефимовны. Она пришла через полчаса. Протянула руку.

— Я же сказала, чтобы вы приходили после восьми. — В голосе ее слышался легкий укор. — У меня еще дело есть, на полчаса. Погуляйте пока одни, а позже приходите. — И она направилась к дому.

Время шло медленно. К счастью, скоро стемнело.

Александра Ефимовна сдержала свое слово: через несколько минут после восьми мы уже сидели на лестнице и разговаривали.

Безо всяких предисловий я сказал, что люблю ее.

— Спасибо. Я рада. Возможно, что я вас тоже, только пока еще не очень уверена в этом.

Мне хотелось поцеловать ее, но я не осмелился. Через минуту я набрался решимости, но нам помешал Никифор Андрианович.

Он стоял в нескольких шагах от нас, заметил я его только потому, что Александра Ефимовна вскочила и бросилась к нему. Тихо переговариваясь, они направились ко мне.

Я встал. Как быть дальше? Остаться? Зная себя, я был уверен, что из меня в такой ситуации слово щипцами не вытянешь.

Никифор Андрианович любезно поздоровался и заговорил о

капризах погоды, которая так быстро меняется: еще совсем недавно вечера были прохладные, а теперь — теплые, можно посидеть на воздухе. На этом разговор закончился, и мы распрощались.

Что он хотел сказать? Его слова о капризах погоды — не намек ли это на мои отношения с Катей, или, может, он хотел подсказать что-нибудь Александре Ефимовне? Почему он так загадочно появился? И о чем они шептались?

Александра Ефимовна, казалось, тоже была смущена, — видимо, и ей не понравилось, что нам помешали. Настроение у нее испортилось, и она села уже не рядом со мной, а поодаль.

— Я хочу вас спросить кое о чем, Александра Ефимовна.

— Пожалуйста, если смогу — отвечу.

— Какое отношение имеет к вам этот человек?

— Мы — старые друзья. Он хороший друг моего отца.

Ответ несколько успокоил меня, но о любви мы больше уже не заговаривали. Александру Ефимовну интересовала моя судьба, моя довоенная жизнь и история моего плена.

Я попробовал говорить, но связного рассказа не получилось.

— Знаете что, — промолвила она, вставая, — сейчас идите домой, а завтра приходите, но только чуть позднее, в половине девятого. Я буду ждать.

Еще один соперник

Когда на следующий день я пришел на условленное место, Александра Ефимовна уже ждала меня.

— Надеюсь, сегодня нам никто не помешает, — сказала она.

Несколько минут мы посидели молча, но тут кто-то подошел и остановился перед домом.

— Добрый вечер, — произнес этот человек и направился прямо к нам.

Он подошел ближе, и я увидел, что это Белих.

Александра Ефимовна незаметно отняла свою руку от моей и ответила:

— Добрый вечер, Тихон Васильевич!

Узнав меня, Белих сразу даже не смог скрыть своей неприязни, но потом взял себя в руки и поздоровался со мной.

Некоторое время мы молчали. Первым нарушил молчание Белих:

— Чудесный вечер сегодня, вот я и подумал, Александра Ефимовна, не захотите ли вы немного прогуляться?

— Спасибо, что вспомнили обо мне, — ответила она, — но сегодня я не могу отойти от дома. Как-нибудь в другой раз.

— Я вижу, вы не в одиночестве, всего хорошего. — И он ушел.

— Если еще кто-нибудь придет, отколотим, правда? — сказала Александра Ефимовна.

Когда же я снова попытался приблизиться к ней, она резким движением оттолкнула меня и спросила:

— Скажите откровенно, вы и с Катей так же поступали?

Меня словно ударили чем-то тяжелым по голове: так неприятен был мне этот вопрос.

Александра Ефимовна, видимо, почувствовала происходящее со мной, она дотронулась до моей руки и погладила ее.

— Уже поздно, милый, — сказала она. — Пора по домам. Завтра после уроков поговорим.

Немая игра

Днем начался дождь. Я боялся, что он может помешать нашей встрече.

Закончив уроки и вернувшись к себе, я растянулся на постели, размышляя, как быть.

Около восьми дождь только моросил, и я решил, что все же пойду на свидание.

На этот раз Александра Ефимовна не ждала меня, но скоро вышла.

— Не везет нам, — сказала она, здороваясь. — Ребенок уже спит, а мать лежит. Она почти не встает с тех пор, как заболела. Пойдемте поговорим потихоньку.

Комнатушка была крохотной, и потому любой шорох и шепот старуха могла услышать. Поэтому мы начали разговор о языках, о литературе. В то же время лицо мое выражало совсем другое. Александра Ефимовна только улыбалась, продолжая говорить, и сама тем временем подсунула мне записку:

«Всему свое время. Лучше поздно, чем никогда».

«Если вы хотите того же, что и я, и обещаете...» — я не успел дописать, как Александра Ефимовна продолжила:

«Да, но только в том случае, если вы будете хорошо себя вести».

«Когда и где?» — написал я.

«Когда просохнет, послезавтра после уроков пойдем погуляем по лесу».

«Точно?»

«Честное слово. А теперь идите домой».

Я встал и громко попрощался, пожелав больной скорого выздоровления.

Утром, проанализировав все события, я понял, что для Александры Ефимовны самое главное не любовь, а желание выйти замуж. Я же чувствовал, что жениться могу только на такой женщине, какой была Катя.

И все же хотелось еще раз встретиться с Александрой Ефимовной и откровенно объяснить ей, что мне нужен друг и я просто хотел бы дружить с ней.

Каждое утро она ходила на работу к десяти, и, зная это, я вышел на дорогу за полчаса до срока.

Она поравнялась со мной и, наверное, если бы я не заговорил с ней, прошла бы мимо.

— Шура, послушайте меня... — начал я.

Она бросила на меня холодный взгляд:

— Нам не о чем разговаривать. Между нами все кончено, — и, не останавливаясь, пошла дальше.

Новая встреча с Катей

Днем я был настолько занят своими мыслями, что побрел сам не зная куда и вдруг обнаружил, что нахожусь недалеко от лесничества.

Я был готов повернуть назад, но тут из ворот показалась Катя.

— Вы как сюда попали? — почти испуганно спросила она.

— И сам не знаю, — ответил я. — Бродил безо всякой цели и вдруг оказался здесь.

Катя сказала, что неважно себя чувствует: очень сильно болит голова.

— Лучшее лекарство от головной боли — это прогулка на воздухе. Пройдемся немного, — предложил я.

Пока мы шли мимо лесничества, Катя говорила о чем-то постороннем, не касающемся ни ее, ни меня: о каких-то комарах в тайге и о борьбе с ними.

Я чувствовал, что весь этот разговор только для того, чтобы не говорить о том, что может причинить ей боль.

Скоро я понял, что не ошибся. Мы проходили мимо сопки, и Катя вдруг ни с того ни с сего заплакала.

— Что случилось? — спросил я. — Уж не получили ли вы плохое известие от матери или брата?

— Нет-нет, — она постаралась взять себя в руки, — ничего особенного не случилось. Просто нервы что-то шалят. Не обращайтесь на меня внимания.

— Успокойтесь, дорогая, — сказал я и взял ее под руку. Но Катя заплакала еще сильнее. Обняв ее за плечи, я начал успокаивать.

Через мгновение наши губы слились в поцелуе.

— Люблю, — сказала Катя. — Хотя знаю, что теперь поздно, сама во всем виновата. Прошу вас, простите меня, если можете.

Я еще крепче обнял ее.

Когда мы подошли к Катиному дому, я подумал: «Как права была Александра Ефимовна, что нам не о чем разговаривать и между нами все кончено».

Полнолуние

Это были лучшие дни моей жизни. Летом у меня было мало уроков, а Катя работала до двух, так что все вечера полностью принадлежали нам.

Катя была равнодушна к природе, любила лес. Каждое дерево, каждый цветок был знаком ей, она знала, когда и сколько он цветет, где любит расти. Лес был для нее открытой книгой, которую она с наслаждением могла читать часами.

Еще в лагере мне попала в руки книга Келлермана «Ингеборг», которая произвела на меня очень большое впечатление. Немецкий язык никогда не нравился мне. В детстве, когда меня заставляли учить его, он мне был просто противен. Позже, правда, я полюбил его. В восемнадцать лет я был, разумеется, влюблен и тогда познакомился со стихами Гейне. Они были прекрасны. Я зачитывался ими и почти все заучил наизусть. Не столько язык, сколько содержание стихов нравилось мне. И немецкий язык, на котором написаны стихи, стал мне понятнее и ближе.

Однако всю красоту его я оценил, только прочитав роман Келлермана «Ингеборг».

У человека, находящегося в плену, много времени для мечтаний. И я, лежа на жестких нарах, мог мечтать часами. В мечтах я бродил по чудесным лесам, любовался диковинными цветами, вдыхая их запахи, слушал птичьи концерты. И никогда не чувствовал себя одиноким. Со мной всегда был «Ингеборг». Он, словно добрый лесной кудесник, вел меня от одного цветка к другому.

Счастье мое продолжалось до тех пор, пока кто-то не вошел в комнату и грубым словом или жалобой не возвращал меня из мира фантазии в мир действительности.

И вот теперь бродил я по настоящему лесу, а рядом со мной была чудесная женщина.

Однажды, после очередной лесной прогулки, мы возвращались домой. На вечернем небе красовалась полная луна. В лесу луна пряталась за густыми куполами деревьев, лишь на минутку показываясь, когда мы выходили на поляну. И вот теперь мы шли по полю по узенькой стежке, а все вокруг было залито серебристым светом луны.

Мы внезапно остановились и долго-долго смотрели друг на друга. Непередаваемое ощущение охватило меня; я вдруг почувствовал, что эта женщина для меня — самое дорогое существо на свете.

— О чем ты думаешь сейчас, скажи, — ласково спросила Катя.

— Я думал о том, что мы с тобой как родные.

Счастливыми глазами Катя посмотрела на меня и молча склонила головку на мое плечо.

— Люблю тебя! — тихо сказала она. — И потому мы будем вместе, только наберись немного терпения.

После этого случая я уже несколько не сомневался в том, что она любит меня и мое счастье зависит от нее.

Новость, принесенная Катей на следующий день, ошеломила меня. Оказалось, что она уезжает в Удинск. Тетушка Фотина прислала письмо, в котором просила ее приехать как можно скорее.

— Тетя пишет, что заболела. Дело, вероятно, серьезное, раз она так настаивает на моем приезде. Поеду утренним поездом, а сейчас зайду на работу, договорюсь с Никифором Андриановичем. Если хотите, проводите меня.

По дороге мы ни словом не обмолвились о вчерашней прогулке.

Видимо, завтрашняя поездка беспокоила Катю: более двух лет она никуда не выезжала из Хилока.

Я спросил Катю, ждать ли мне ее возле лесничества, но она ответила, что и сама не знает, когда освободится.

— Если хотите, приходите утром на станцию. Поезд отходит в десять. Зайдите за мной в девять, хорошо?

Утром она была прежней Катей, милой и приветливой. Если бы не присутствие Аглаи Петровны, я бы расцеловал ее.

По пути на станцию я выяснил, что Катя собирается пробыть в Удинске дня три-четыре.

— Мне будет очень недоставать вас, — призналась она.

А когда мы подошли совсем близко к станции, Катя спросила:

— Что привезти вам из Удинска?

Я невольно вспомнил свой отъезд из Хилока и ответ Кати на точно такой же мой вопрос.

— Теперь я, дорогая, скажу вам: себя! Вы помните, я тогда исполнил вашу просьбу. Надеюсь, и я получу то же.

Она не ответила, но ее взгляд был красноречивее всяких слов.

Мой новый жилец

Однажды утром, когда я еще лежал в постели, в дверь постучали.

— Кто там? — удивился я.

Вошел тот самый хромой пленный, по фамилии Худец, с которым я недавно познакомился на станции.

Оказывается, их эшелон застрял в Петровском Заводе. Несколько недель они простояли там. Было похоже, что везти их дальше и не собирались, и потому пленные во что бы то ни стало рвались уехать на запад. Они буквально штурмовали

поезда, лезли на крыши вагонов, угрожая вообще сорвать все движение. Прошел слух, что нарком путей сообщения распорядился снимать всех военнопленных с поездов и отправлять их в лагерь. Говорили, в Омске есть лагерь, где содержится более десяти тысяч пленных. Вполне возможно, что все пассажиры поезда инвалидов попали именно в этот лагерь. Так вот Худец решил временно отказаться от попытки вернуться на родину и приехал в Хилок, чтобы найти здесь себе работу. Вот только жить ему пока нигде.

Немного подумав, я предложил ему временно остановиться у меня.

Худец с радостью согласился, тем более что и хозяева не возражали. Договорились, что вместо двадцати рублей я буду платить им тридцать.

Для Худеца поставили в комнате еще одну кровать.

Сразу же мы пошли на станцию и забрали там его вещи, а потом отправились в контору дистанции пути, к главному инженеру Демидову (к слову, моему ученику), который тут же определил Худеца на работу.

Вечером, лежа в постелях, мы наговорились досыта. Вспоминали, кто где жил и чем занимался дома, где был в плену и многое другое. В конце концов, как все дороги ведут в Рим, так и наш разговор перешел на тему о женщинах и о любви. На этот счет у Худеца была определенная точка зрения — любви, пока любится.

Я рассказал ему о своих отношениях с Катей и о том, что, возможно, женюсь на ней.

— Мне этого не понять, — ответил Худец. — Я, конечно, не такой человек, как ты, но в этом вопросе целиком и полностью материалист. Женщина, на мой взгляд, для того и создана, чтобы делать красивее, интереснее нашу жизнь. Я лично от женщины жду удовольствия и ласки. И если кто-то из них дарит мне их хотя бы на один час — и то хорошо. Если же на несколько недель или месяцев — еще лучше.

— Видишь ли, я тоже так думал до последнего времени, но теперь понял, что главное в человеке совсем другое. Ему мало только физического удовлетворения. Душе тоже необходима пища. Мне нужна женщина, но такая, которую я по-настоящему люблю, а не рассматриваю как самку. Не исключена возможность, что страсть будет не вечной и я когда-то изменю ей физически, но и тогда она останется для меня самой дорогой и близкой, потому что она близка мне не только физически, но и духовно.

— Я тебе на это ничего не отвечу, — заметил Худец. — Тебе нужно одно, мне — другое. О вкусах, старина, как говорят, не спорят.

Через неделю Катя вернулась в Хиллок. Несколько дней подряд я ходил к поезду в надежде встретить ее. Лицо ее засветилось от радости, когда она увидела меня.

Я помог ей выйти из вагона. Мне очень хотелось прижать ее к своей груди, но кругом были люди, и я отважился только на то, чтобы поцеловать руку.

— Я очень рада, что вижу вас, — сказала Катя.

— Наконец-то вы приехали! Я много думал о вас.

— Я тоже много думала. Проводите меня к дяде Феде в ресторан, там меня ждут, а сами приходите к четверем, вот тогда и поговорим.

— Хорошо, приду.

Был чудесный солнечный день. Мы пошли побродить по лесу.

После разлуки я особенно остро чувствовал, как мне нужна Катя.

— Мы с матушкой Фотиной очень много о вас говорили, — сказала Катя. — Вернее, все это время только и говорили о вас. Вы же знаете, что сразу поправились ей.

— Очень мило! Одного не пойму, почему вы говорите об этом так, словно вы этому вовсе и не рады.

— Вот об этом-то и пойдет речь. Если бы у тетушки было о вас только хорошее мнение, тогда бы другое дело, но она и еще кое-что сказала. Да, она считает вас порядочным, симпатичным человеком, к тому же умным, образованным и милым. И потому, говорит она, наша с вами дружба может привести к серьезным последствиям, если вовремя не прекратить ее. Словом, она боится, что рано или поздно я влюблюсь в вас. Матушка Фотина религиозный человек, но реально и здраво смотрит на мирскую жизнь. По ее мнению, здесь возможны два исхода: или я потеряю голову и после вашего возвращения на родину останусь с поломанной жизнью, возможно, даже с ребенком на руках, или же неразделенная, несчастная любовь на всю жизнь парализует мою душу.

— Уж не хотите ли вы этим сказать, что...

— По ее мнению, мы должны расстаться, пока не поздно.

— И что же вы ей ответили на это? Сказали, что уже поздно? Что мы любим друг друга?

— Нет, этого я не сказала. Я ответила, что подумаю.

— Катя, вы меня просто не любите!

— Этого я бы не сказала, но над словами тети стоит подумать.

— Неужели вы можете представить, что я бросил бы вас в беде?

— Вопрос так не стоит, пожалуйста, не теряйте спокойствия. Давайте будем рассуждать здраво. Вы мне сказали недавно, что готовы ради меня навсегда остаться здесь, значит, вы любите меня. Спасибо вам за это. Но не сердитесь, я и тогда не приняла их всерьез. Это было сказано в порыве страсти. Я же знаю, что, прежде чем принять серьезное решение, вы прислушаетесь к голосу разума, а у вас хватит ума для того, чтобы не променять родину на женщину. При случае вы уедете в Венгрию. О том же, чтобы я поехала с вами, не может быть и речи.

— Но почему?

— По очень простой причине. Главное здесь, конечно, не то, что я попаду в незнакомый мне мир. Ради любви можно согласиться на это. Я не поеду ради вас. Чужая женщина, не знающая вашего языка и обычаев; вдруг попадает в вашу семью — она же будет чувствовать себя тяжелым грузом.

— Так вот какой подарок вы привезли мне из Удинска! Признаюсь, этого я уж никак не ожидал.

— А чего вы ждали? — спросила Катя и так печально посмотрела на меня, что сердце мое больно сжалось.

— Ждал, что вы навсегда привезете мне себя.

Мы молча шли по лесу: Кате было нечего больше сказать мне, а я и слов-то никаких не находил.

В эти минуты решается наша судьба, думал я, мы уйдем отсюда или как обрученные или же как совершенно чужие друг другу люди. Взывать к разуму Кати было бесполезно: она была солидарна с тетушкой. Нужно было взывать к сердцу Кати.

Мы грустно посмотрели друг другу в глаза. И вдруг я схватил ее и обнял. Губы наши встретились. Катя прильнула ко мне.

Теперь я чувствовал, что она навсегда станет моей и никто не сможет разлучить нас.

Перед бурей

Плохие известия, которые следовали одно за другим, неожиданно омрачили мое счастье.

Омск захватили белые. По всей Западной Сибири власть перешла в руки контрреволюции. Белые арестовывали и казнили большевиков или тех, кто им сочувствовал. Красные оставили Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, уходили на восток.

Слухи, один страшнее другого, привозили железнодорожники, возвращавшиеся из Иркутска и Верхнеудинска. Поговаривали, что в округе появились шайки бандитов, которые без зазрения совести грабят и убивают население.

Слушать все эти рассказы было страшно, хотя не все верили услышанному.

— Половина того, что говорят, неправда, — утешал меня Еременко. — У нас уже в привычку вошло из мухи слона делать.

Однако были известия, не верить которым было нельзя: они исходили из вполне достоверных источников. В Хилоке, как и в других местах, было немало демобилизованных солдат, которые служили прежде в царской армии. От Осипа Кузьмича я узнал, что часть этих «фронтовиков», как они сами себя называли, пытается сколотить какую-то сомнительную организацию.

— Голову даю на отсечение, — продолжал Еременко, — тут пахнет чем-то нехорошим. Не случайно среди них почти совсем нет нижних чинов, одни унтер-офицеры. Я посоветовал товарищам арестовать их да посадить, но они не послушались меня.

Спустя несколько дней Осип Кузьмич снова вернулся к этой теме:

— К сожалению, я оказался прав. Эти «фронтовики» настолько обнаглели, что не боятся проводить свои собрания. Одному черту известно, о чем они говорят там. Ясно одно: ничего хорошего от них ждать не приходится. Но сейчас «фронтовики» уже не прижмешь: их стало очень много, а в тайниках у большинства из них хранится оружие. Есть сведения, что подобные группы создаются и на соседних станциях.

Через несколько дней весь Хилок заговорил о том, что какого-то инженера-железнодорожника арестовали и увезли в Верхнеудинск за укрывательство белогвардейцев.

Мне было непонятно, зачем нужно укрывать офицеров, ведь в Хилоке спокойно жили Белих, Распопин и другие бывшие офицеры, и никто их не трогал.

— Речь идет не просто о бывших офицерах, — объяснил Осип Кузьмич, — а о белых офицерах, которые по заданию подпольного контрреволюционного штаба по всей железной дороге собирают силы для мятежа. Пока нам еще не удалось установить ни того, откуда они прибыли, ни того, куда едут. Известно только, что они почти двое суток скрывались на квартире у этого инженера-путейца. Да и об этом-то узнали, когда офицеров и след простыл. С кем они здесь встречались, о чем говорили — пока тайна. Инженер еще не признался, но надеюсь, что в Удинске он заговорит.

С этого времени все в Хилоке жили в страхе: одни боялись красных, другие — белых, но большинство, думаю, боялись и тех и других.

В субботу вечером в столовой все только и говорили о том, что в воскресенье перед зданием школы состоится митинг, на котором с речью выступит сам председатель местного Совета товарищ Широких.

Я решил тоже пойти на этот митинг, чтобы послушать, о чем там будут говорить.

Народу перед школой собралось не очень много: человек пятьдесят. Оратор говорил о том, что в Западной Сибири под-

няла голову контрреволюция. В Омске сформировано контрреволюционное правительство, возглавляемое царским адмиралом Колчаком. Таким образом, Восточная Сибирь оказалась отрезанной от Советской России.

— Есть данные, что контрреволюция намерена идти на Москву, — продолжал оратор. — Ну что ж, пусть попытаются, Красная Армия покажет им где раки зимуют.

Говорил Широких с воодушевлением. Его никто не перебивал. Потом он сказал, что рабочие не могут сидеть сложа руки, когда революции угрожает опасность. Каждый честный человек должен взять в руки оружие, чтобы в любой момент встать на защиту завоеваний революции.

Большинство участников митинга — это рабочие депо, машинисты и проводники, но было тут и несколько «фронтвиков», которые начали выкрикивать:

— Хватит с нас войны!

— Мира хотим!

— Пусть воюют, кому не надоело!

— На меня можете не рассчитывать!

Широких сделал вид, что не расслышал этих выкриков, и спокойно продолжал говорить. Это произвело благоприятное впечатление на остальных. Все больше и больше людей поддерживали криками оратора. «Фронтвики», видя, что они в меньшинстве, предпочли удалиться.

Я предполагал, что сразу же после митинга начнется мобилизация в отряды Красной Армии, как было там, на митинге, где говорили о необходимости борьбы с бандами Семёнова, но сейчас до этого не дошло. После Широких выступили двое: один из «фронтвиков» пытался отговорить рабочих от помощи Красной Армии, аргументируя свои слова тем, что красные, видимо, и без них сильнее белых и разобьют их сами, но если победят белые, то тогда пусть все рабочие, взявшие в руки оружие, не ждут для себя пощады...

До конца договорить «фронтвику» не удалось — рабочие попросту стащили его с трибуны. Но, к моему удивлению, с ним не расправились.

Затем выступил один кочегар.

— Рабочие! Товарищи! — начал он. — Не дайте себя одурачить. Вы же хорошо знаете, кто выступает против вооружения рабочих! Товарищ Широких ясно сказал, что белые хотят восстановить старые порядки, установить господство богатых. Если богатые снова придут к власти, рабочего человека встретит нужда и рабство. Тот, кто не с белыми, тот с нами. А эти «фронтвики» воевали и хотят воевать только за царя да за господ. Теперь же, когда необходимо взять в руки оружие против врагов народа, у них вся смелость пропала. Пусть их слушают те, кто за царя да за господ. Рабочие, возьмемся за оружие и грудью защитим рабочую власть — свою собствен-

ную власть! Завтра с утра каждый может записаться в отряд по месту работы. Там же будут раздавать оружие. Да здравствует Советская власть! Смерть белым!

Аплодисменты, раздавшиеся после этого выступления, свидетельствовали о том, что большинство собравшихся согласны с выступающим, — правда, особого желания вооружаться я не заметил.

На митинге я увидел Еременко. Он находился неподалеку от трибуны и был, видимо, одним из организаторов этого митинга. Домой мы шли вместе.

Настроение у него было уже не очень оптимистичное.

— Люди не любят войну, — объяснил он мне. — Даже сознательные рабочие не сразу понимают, что здесь идет речь и о их кровных интересах. Мы, конечно, ведем среди них пропагандистскую работу, и они бы нас скорее поняли, если бы эти «фронтвики» не дурманили им голову.

— Не понимаю, почему вы допускаете такое? Арестовали бы всех смутьянов да посадили под замок, — высказался я.

— Все это не так-то просто, — ответил Осип Кузьмич. — Не все они буржуи, а есть среди них много детей рабочих. У кого отец, у кого брат и сейчас рабочий. Если мы кого-то арестуем, то восстановим против себя некоторых рабочих — их родственников.

— Ну и как же вы думаете, Осип Кузьмич, пойдут рабочие воевать или нет?

— Очень многое зависит от того, как поступят рабочие на Петровском Заводе и соседних станциях. Мы, хилокские, сами по себе ничего не сделаем. Разумеется, мы примем все меры, но боюсь, что пока мы не так сильны, как белые.

— И что будет, если сюда придут белые?

— Об этом лучше и не думать. Говорят, везде, где бы они ни появились, не остается в живых ни одного коммуниста.

— Ну, а если положение станет безнадежным? Ведь коммунисты должны где-то спрятаться?

— Вот когда уже никакой надежды не останется, уйдем в тайгу. Тайга большая, места всем хватит. Там скорее можно договориться с волками и медведями, чем с этими мерзавцами. Но это уже на самый крайний случай, а пока нужно бороться во что бы то ни стало!

Подготовка к женитьбе

Вечером того дня окончательно созрело решение жениться на Кате. Когда же я на следующее утро сказал ей об этом, она выслушала меня спокойно, даже равнодушно.

— Как хочешь, — сказала она. — Я совсем не придаю этому особого значения. По крайней мере, с одной точки зрения: если сюда придут белые, то вполне возможно, что тебя снова

заберут в лагерь для военнопленных. Если же я стану твоей женой, то буду иметь возможность поехать в лагерь, где будешь ты, и добиваться твоего освобождения. Если же формально мы не оформим наш брак, я ничего уже не смогу сделать.

И тут мы вдруг поняли, что мы не знаем самого главного: а сможем ли мы пожениться, ведь я же пленный.

Я решил поговорить на эту тему с председателем Хилокского местного Совета.

Товарищ Широких внимательно выслушал меня. Он был очень удивлен.

— Весь Хилок знает, что вы ухаживаете за Екатериной Васильевной. И я вполне одобряю ваш выбор, считая Екатерину Васильевну очень порядочной и образованной женщиной и к тому же необыкновенно симпатичной. Но я никогда не думал, что у вас по отношению к ней такие серьезные намерения. Я, к сожалению, просто не знаю, может ли военнопленный законным порядком вступить в брак. Мне ведь еще ни разу не приходилось иметь дело с пленными, кроме вас. Советую вам обратиться по этому поводу к председателю читинского суда.

Этот совет мне не понравился. Во-первых, на ответ, если он даже будет, можно рассчитывать только через несколько недель, а тем временем Хилок могут занять белые. Во-вторых, я не знал, как отнесется председатель читинского суда к подобной просьбе пленного: доброжелательно или недоброжелательно.

Я рассказал Кате о разговоре с Широких. Она вспомнила об одном хорошем знакомом их семьи, Андрее Родионовиче. Катю он знает с детских лет. Сейчас он работает народным судьей в Петровском Заводе. Катя решила написать ему и спросить его совета.

Это предложение показалось мне замечательным. В тот же день Катя написала письмо своему знакомому, довольно подробно изложив суть дела. Письмо она отправила заказным.

Потянулись дни ожидания. Из всех моих уроков у меня остался один-единственный, так что до обеда, пока Катя была в лесничестве, я бесцельно бродил по набережной. После трех часов и до позднего вечера мы всегда были вместе с Катей. Глядя на нее, я не замечал, чтобы она как-то особенно волновалась: она просто была счастлива.

— А что будем делать, если Андрей Родионович ответит нам, что пленным браки запрещены? — спросил я как-то Катю.

— Что делать? Ничего! — ответила она. — Разве ты меня будешь меньше любить оттого, что мы не поженемся? Я — нет.

— А если сюда придут белые?

— Не думаю, что они стали бы обижать тебя. В худшем случае тебя заберут обратно в лагерь. Если будет можно, я пойду вместе с тобой. А если нельзя... Все равно война скоро кончится. Так что если нам и придется расстаться, то ненадолго. У меня хватит терпения дожидаться тебя, если ты вернешься за мной. А если не вернешься — так тому и быть. Что я буду чувствовать — это уж мое дело. Но даже тогда я не стану жалеть о том, что любила тебя.

В субботу вечером Катя сказала мне, что пришел ответ от Андрея Родионовича. Вот что он написал:

«Высокоуважаемая Екатерина Васильевна!

Я очень обрадовался вашему письму. Прежде всего разрешите мне от всего сердца поздравить вас и пожелать вам много-много счастья. Никаких препятствий для заключения брака с военнопленным нет. В настоящее время бракосочетание осуществляется в народном суде, так что в этом я могу любезно предложить вам свои услуги. В любой день, какой вам больше подойдет, я за несколько минут совершу все формальности. Лучше всего, разумеется, если вы приедете вместе с женихом в воскресенье. Поезд приходит к нам в четыре, я наверняка буду свободен и смогу встретить вас на станции».

Было решено выехать утром, десятичасовым поездом, в Петровский Завод.

Невольно мне в голову пришла мысль, что если все будет благополучно, то уже через сутки я назову Катю своей женой.

Затем я подумал, что необходимо позаботиться о квартире. Если за сегодняшний день мне не удастся найти хотя бы комнату, то послезавтра, вернувшись из Петровского Завода, мы вынуждены будем разойтись по своим старым квартирам.

Катя знала одно семейство, в котором, по ее предположению, должна сдаваться комната. Мы сразу же пошли туда.

Поскольку нас почти все хорошо знали, пришлось сразу же объяснить, что мы поженились.

Комната не подошла нам, так как она оказалась проходной. Зато хозяйева назвали нам много адресов.

Мы пошли по квартирам, но безрезультатно.

Нам даже надоело повсюду объяснять, что мы женимся. По лицу Кати я видел, что ей очень неприятно говорить об этом каждому встречному-поперечному, и, хотя у нас еще было несколько адресов за рекой, я предложил больше никуда не ходить: будь что будет.

Я был очень опечален, Катя же на все это смотрела беззаботно.

— Видишь ли, до этого у тебя была квартира, но не было жены, теперь же будет и то и другое, только в разных местах. Не кажется ли тебе, что это не так уж плохо?

Заметив, что я отнюдь не настроен шутить, она заговорила серьезнее:

— Не надо унывать: завтра поедем в Петровский Завод, совершим все формальности, а в понедельник, после возвращения, снова примемся искать квартиру. Если не за день-два, то за неделю-другую обязательно что-нибудь найдем. Но если ты считаешь, что нам лучше отложить поездку в Петровский Завод, я не возражаю.

— Нет, ни в коем случае! — запротестовал я. — Для нас с тобой вовсе не важны формальности, но теперь я хочу, чтобы все знали, что мы принадлежим друг другу.

У ворот мы расстались, договорившись, что я зайду за ней в девять утра.

Часов в десять я был дома, но Худец еще не возвращался. Он разбудил меня утром, часов в восемь. Я рассказал ему о предстоящей поездке в Петровский Завод, очень удивив его этим.

— Тогда быстро одевайся и умывайся. Я на минутку загляну на работу и — к вам на станцию. Думаю, ты не будешь возражать, если я пожелаю счастья Екатерине Васильевне.

Когда я зашел за Катей, она была готова в дорогу.

Идя на станцию я спросил ее, как отнеслись к нашей жеманности дядя Федя и Аглая Петровна. Оказалось, что пока Катя никому ничего еще не говорила: вечером, когда она пришла домой, все уже спали; утром же дядя Федя очень рано ушел на работу, а с Аглаей Петровной она последнее время вообще старается разговаривать как можно меньше.

— Дяде Феде я все расскажу на станции. Понравится ему или нет — это уж его дело.

На станции Катя действительно искала дядю Федю, но старика нигде не оказалось.

До прибытия поезда оставалось минут десять. Мы присели на скамейку. Вскоре пришла Анна Васильевна и открыла свой киоск. Катя подошла к ней, чтобы рассказать о наших намерениях.

Анна Васильевна молча обняла Катю, поцеловала ее в лицо, в волосы. Слезы потекли у нее по щекам, затем она тихо, но все же так, чтобы слышал и я, сказала:

— Дурочка!

Это было сказано с такой любовью, так нежно, что Катя несколько не обиделась и тоже поцеловала Анну Васильевну.

Потом я подошел к ним, и Анна Васильевна дружески поздравила меня.

В этот момент в дверях появился Федор Павлович.

— Иди сюда, дядюшка, — обратилась к нему Катя. — Благослови нас. Я решила выйти замуж за Андрея Александровича. С десятичасовым поездом мы уезжаем в Петровский Завод к Андрею Родионовичу, он нас и поженит.

Федор Павлович не проявил при этом ни возмущения, ни удивления. Он просто поцеловал Катю, а мне пожал руку, после чего налил всем по рюмке водки. Чокнувшись, мы выпили, и Федор Павлович снова пожал мне руку. И только.

Худец появился тогда, когда мы уже сидели в вагоне. Запыхавшись, он извинился за опоздание и поздравил Катю.

— Надеюсь, что из моего друга получится неплохой муж, — заметил он. — Но я должен вас предупредить кое о чем: он непорядочный человек и вы хлебнете с ним горя.

Катя с удивлением уставилась на Худеца, который пришел поздравить ее, а сам городит неизвестно что о женихе. Но это была только шутка, и Катя рассмеялась.

— Благодарю за предупреждение, — засмеялся и я и расцеловался с Худцом.

Мы проговорили до второго звонка. На прощание Худец поцеловал Кате руку, а мне шепнул на ухо:

— Знаешь что, дружище, я уже начинаю думать, что ты, быть может, прав.

Необычная свадьба

В четыре часа пополудни мы прибыли в Петровский Завод. Андрея Родионовича на станции не оказалось.

Зайдя в ресторан второго класса, мы оставили наши вещи на попечение официанта и вышли на улицу. Город был расположен в получасе ходьбы от станции, и нам пришлось добираться туда пешком.

Миновав металлический завод, находившийся рядом со зданием станции, мы некоторое время шли по пустырю. Домов здесь почти не было. Потом миновали небольшое озеро.

На полпути нам встретился двухколесный шарабан.

— Это Андрей Родионович! — воскликнула Катя, показывая на атлетически сложенного мужчину, сидевшего в шарабане.

Поравнявшись с нами, мужчина спрыгнул на землю и поздоровался.

— Произошло небольшое недоразумение, — начал объяснять он. — Мне сказали, что поезд опаздывает на целый час, и потому я ждал вас только в пять. Но не беда. Пока вы не спеша дойдете до здания суда, я на минутку заскочу на завод — дело у меня там небольшое. Через четверть часа я буду в суде вместе со свидетелями.

Вскочив в свой шарабан, он покатил дальше.

В здании суда не было ни одной живой души, однако стоило нам сослаться на Андрея Родионовича, как нас безо всякого пропустили в его кабинет.

Мы сели и стали ждать.

Через полчаса появились Андрей Родионович и двое свидетелей. Мы познакомились. Один из свидетелей был местный торговец Рабинович, другой — пленный лейтенант Кауфман, до войны адвокат в Ньиредьхазе.

Сразу же приступили к выполнению формальностей.

Андрей Родионович встал около стола, напротив нас; он достал из ящика заранее приготовленное свидетельство. Потом задал нам три вопроса: сначала мне, потом — Кате.

— Исполнилось ли вам восемнадцать лет?

— Да.

— Не состоите ли вы в браке?

— Нет.

— Не страдаете ли психическими заболеваниями?

— Нет.

Когда Катя ответила на последний вопрос, Андрей Родионович подвинул нам книгу актов.

— Прошу вас, распишитесь, пожалуйста.

Первым расписался я, второй — Катя, затем оба свидетеля.

Андрей Родионович торжественно объявил, что отныне мы являемся мужем и женой, и пожелал нам счастья в жизни. Он поинтересовался, как мы собираемся провести вечер, ведь ближайший поезд будет только в шесть утра.

— Никаких планов у нас нет, — улыбнулась Катя. — Вернемся на станцию, зайдём в ресторан и просидим там до утра.

— Я могу предложить вам нечто лучшее, — заметил Андрей Родионович. — Такое важное событие надлежит как следует отпраздновать. В здании собрания у нас сегодня будет концерт, выступает какой-то оперный певец из Петрограда, а после концерта — танцы до утра. К слову сказать, будет играть оркестр пленных. Правда, в буфете не будет спиртных напитков, но ради столь важного события я достану водки.

По правде сказать, с большей охотой мы провели бы этот вечер с Катей вдвоем, но нам не хотелось обижать доброго Андрея Родионовича отказом. Мы условились, что сейчас он отвезет нас на своем шарабане на станцию, а в восемь вечера заедет за нами, и мы вместе отправимся на концерт.

Простившись с обоими свидетелями, мы поехали на станцию.

Наконец-то мы были одни. Зашли в ресторан, чтобы выпить чая.

Но Катя сказала, что перед концертом ей во что бы то ни стало нужно немного освежиться и причесаться, и исчезла в туалете.

Я сидел и курил. Шло время. Я выкурил одну сигарету,

потом другую, третью, а Катя все не было. Уж не случилось ли что-нибудь с ней?

Я огляделся, стараясь найти хоть одну женщину, чтобы попросить ее зайти в туалет, но во всем ресторане, кроме официанта, никого не было.

Я забеспокоился. С минуты на минуту должен был появиться Андрей Родионович. Что я ему скажу?

Часы показывали восемь, а Катя все не выходила. Не было и Андрея Родионовича.

Волнение мое достигло предела. И беспокоило меня отнюдь не то, что мы опаздывали на концерт.

Ровно в половине девятого появилась Катя: аккуратно причесанная и свеженькая.

— Видимо, Андрей Родионович забыл о нас, — улыбнулась она. — А может, его дело какое задержало. Но не беда. Не будем его ждать, а пойдем пешком. Если что, встретимся с ним по дороге.

Взяв меня под руку, Катя так прижалась ко мне, что сердце мое радостно забилося.

«Жена, моя жена... Начинается новая жизнь...»

Мы шли не в собрание, которое будет для нас лишь крохотной остановкой. Вот так, рука об руку, мы пойдем все дальше и дальше по жизни. И никогда не расстанемся. Никогда, до самой смерти.

Пока мы дошли до здания собрания, было что-то около девяти, но, кроме гардеробщицы и контролера, там еще никого не было.

— Видно, мы пришли еще слишком рано, — заметила Катя. — Снимем пальто и походим.

Под руку мы начали ходить взад и вперед. Было очень приятно чувствовать близость Кати и сознавать, что эта дорога для меня женщина теперь навсегда принадлежит мне.

Постепенно стала собираться публика. Было уже половина десятого, а ни певца, ни музыкантов все еще не было.

— У меня есть предложение, — сказала Катя. — Видно, Андрей Родионович не очень хочет провести вечер вместе с нами, да и мы тоже. Раньше десяти концерт, похоже, не начнется, а значит, раньше полуночи и не кончится. Давай бросим все и пойдем обратно на станцию. Может, еще поужинать удастся.

Я, разумеется, был рад остаться с Катей наедине.

Ночь была очень темной. Невольно вспомнились страшные истории, которые в то время так много рассказывали: об убийствах, ограблениях... Дорога, по которой мы шли, даже днем была почти безлюдной. А там еще по берегу озера идти. Лучшего места для грабежа и разбоя и не придумаешь.

— Осторожность не помешает, — сказал я Кате и полез в карман за ножом,

Это был не обычный перочинный нож, а побольше. На всякий случай я сунул его в паружный карман. Однако по дороге нам никто не встретился.

Зайдя в ресторан второго разряда, мы поинтересовались, можно ли поужинать и переночевать здесь, в ресторане.

Получив утвердительный ответ на оба вопроса, мы сели за столик в ожидании ужина. Нам подали замечательное филе с картофельным пюре и соленым огурцом. Казалось, здесь знали, что для нас это был свадебный ужин. Правда, мы были в таком состоянии, что если бы нам подали зажаренную подошву от ботинка, то и она нам, вероятно, пришлась бы по вкусу.

Убрав со стола грязную посуду и закрыв на ключ дверь, ведущую в зал ожидания, официант пожелал нам спокойной ночи. Повозившись некоторое время за стойкой, он скоро затих.

Раньше я не раз представлял себе, какой будет моя первая брачная ночь, но что она будет именно такой, мне не могло прийти в голову.

Оставшись вдвоем, мы начали целоваться, но вскоре Катя остановила меня:

-- Не забудь, дорогой, где мы находимся.

— Но ведь мы совсем одни, — попробовал я протестовать. — Официант затем нам и сказал «спокойной ночи», чтобы дать понять, что он ложится спать.

— Все это так, но он может в любой момент зайти сюда. Давай-ка лучше спокойно сидеть и разговаривать. Спешить нам теперь не к чему, правда?

Часа в два Катя заявила, что хочет немного соснуть, так как скоро будет светать. Мне же спать совсем не хотелось.

— Составим несколько стульев и приляжем. Правда, неудобно будет, но все же подремлем, — предложила она.

Составив стулья, мы улеглись.

— Спокойной ночи, дорогой, — сказала Катя.

— Приятных сновидений, — ответил я.

Стулья были жесткими, и лежать на них было неудобно. Я очень пожалел, что не взял с собой одеяла.

Я сел, Катя приподняла голову.

— Очень неудобно? — спросил я.

Вместо ответа она протянула мне губы для поцелуя.

Мы снова улеглись.

— Не спишь? — спросила она через несколько минут.

— Не спится, — ответил я со смехом. — Не такой представлял я себе нашу первую ночь. Ты, видно, тоже, а?

— Знаешь, наверное, лучше встать, — предложила Катя. — Спать нам сегодня все равно не удастся. Давай выйдем на воздух.

Рядом со станцией был небольшой парк с редкими деревьями и клумбами. Обнявшись, мы ходили по дорожкам. Ярко светил месяц.

Сна как не бывало. Устав, мы сели на скамейку. Сидели

молча, тесно прижавшись друг к другу. Перед рассветом по-свежело. Забыв обо всем на свете, мы приветствовали восход солнца, возвещающего нам новую жизнь.

Первые дни супружеской жизни

Ровно в шесть утра прибыли поезд. В вагоне второго класса пассажиров было мало. Проводник посадил нас в купе, в котором были две девочки лет восьми — десяти.

— Я обещал их матери присмотреть за ними, — объяснил нам проводник. — В Читу они едут, к деду с бабушкой. Смирные такие девочки, никаких хлопот с ними.

Вскоре и мы убедились, что девочки на самом деле были очень смиренными.

Около двух часов пополудни приехали в Хилок. Сошли с поезда и сразу же зашли в ресторан к дяде Феде, где нас ожидали два сюрприза. Во-первых, дядя Федя, который, как мне казалось, равнодушно встретит замужество Кати, а на меня, как на нового члена семьи, вообще не обратит никакого внимания, к моему огромному удивлению, организовал великолепный свадебный обед.

Праздничный стол, накрытый белоснежной скатертью и украшенный цветами, был поставлен не в самом ресторане, а в небольшой комнате, расположенной между большим залом и кухней. Обед был прямо-таки княжеским. Начался он с копченой рыбы и икры под незаменимую водку, потом — украинский борщ со сметаной, жареная куропатка и чай с клубничным вареньем. Кроме нас с Катей и самого дядя Феда, на обеде никого не было. Дядя Федя ел молча, время от времени произнося очередной тост.

Второй сюрприз был еще приятнее. Перед обедом, пока состав стоял на станции, а дядя Федя и повар были заняты с пассажирами, Катя подошла к киоску, чтобы поговорить с Анной Васильевной. Когда она вернулась, лицо ее так и светилось от радости: оказалось, что наша квартирная проблема была в наше отсутствие успешно решена. Анна Васильевна разыскала женщину, по фамилии Воронцова, которая до революции занималась торговлей, а теперь живет тем, что пускает квартирантов. В доме у нее шесть больших комнат, две из них занимает сама домовладелица, а остальные она сдает. Кроме этого, у нее есть большое помещение с восемью окнами — в нем раньше она держала магазин. До сих пор в этом помещении никто не жил, слишком уж оно большое. Хозяйка запросила за него сто рублей, но Анна Васильевна уговорила ее на восемьдесят. Если нам не жаль денег, мы можем спокойно снять это помещение.

Какие там еще деньги! Мне кажется, что мы не пожалели бы всего своего заработка с Катей, лишь бы только быть вме-

сте. В конце концов обратились бы за помощью к дяде Феде. Но пока в этом не было никакой необходимости. Мы были ему очень благодарны за роскошный обед. А когда он услышал, что у нас уже и квартира есть, тотчас же предложил, чтобы Кеша, его приходящая домработница, паняла повозку и перевезла все наши вещички.

И если наша первая брачная ночь была не очень удачной, то первый день после женитьбы определенно удался на славу.

Чай мы пили дома у дяди Феде. По случаю такого торжества Аглая Петровна угощала нас вкусным печеньем и всевозможными вареньями.

Для меня не было тайной, что Катя и Аглая Петровна далеко не обожали друг друга. Да и на меня жена дяди Феде смотрела искоса, это я чувствовал. Она только тогда приятно улыбалась, когда приглашала к столу, но тут, видно, сказывалась профессия.

За чаем мы втроем мило беседовали о всякой всячине. Аглая Петровна улыбалась, как и подобает хлебосольной хозяйке, предлагая мне отведать то того, то другого. Когда чаепитие окончилось, часы уже показывали почти пять.

— Кеше уже пора бы приехать, — забеспокоилась Катя. — Выйду посмотрю, где она застряла.

На несколько минут я остался с Аглаей Петровной вдвоем. — Что это вы надумали, Андрей Александрович? — заговорила Аглая Петровна. — Может, вы обидели Катю, потому и женитесь теперь? Одумайтесь, пока еще не поздно. В церкви вы не венчались, а что расписались, так это ерунда... А то поздно будет. Если бы знала ваша невеста...

— Странные вещи вы говорите, Аглая Петровна, — удивился я. — Какая такая невеста?

— Не выкручивайтесь. Когда вы жили у старой полячки, у вас на стене висела фотография молодой мадьярки. И разве вы не говорили, что это ваша невеста?

Только теперь мне стало понятно, о чем говорит Аглая Петровна. В начале войны, когда я находился в Сольноке на курсах, я познакомился там с одной девушкой. Бывал у нее в доме, приглашал ее погулять по городу. Когда нашу часть отправляли на фронт, она провожала меня с букетом цветов. Находясь в плену, я переписывался с ней. В одном из писем она прислала мне свою фотографию, которую я и повесил на стену. Пани Низалковская видела фотографию, и она никогда не упускала случая, чтобы не высказать какое-нибудь замечание по адресу девушки:

— Красивая девушка. Такую и полюбить не грех,

— Ох, и хорошо же она, видно, целуется!

— Теперь мне понятно, почему вы так стремитесь попасть домой.

— Такой девушкой и король не побрезговал бы.

Когда мне все эти замечания надоели, я возмутился и сказал, чтобы она не смела ничего говорить о моей невесте.

С тех пор прошло полгода, немало воды утекло, но, как видно, сплетни не знают ни времени, ни расстояний, раз до сих пор живы.

Что я мог ответить Аглае Петровне? Я только рассмеялся.

— Знаете, что я вам скажу по этому поводу, Аглая Петровна? Занимались бы вы своими делами. А уж если вас так интересует моя венгерская невеста, то обратитесь к Кате, она вам все расскажет.

От Кати у меня не было секретов. Она не только знала о существовании знакомой девушки в Сольноке, но, когда я начал серьезно ухаживать за ней, не раз говорила мне о том, что она создана не для меня, так как мне нужно будет вернуться в Венгрию, к девушке, которая меня ждет. Когда мы после временной размолвки снова сблизились с Катей, она призналась, что в ее отчуждении ко мне немалую роль сыграла сольнокская девушка. Со временем же она поняла, что для меня та девушка была всего лишь романтическим увлечением.

Аглая Петровна, наверное, думала, что я растеряюсь. Увидев же, что меня не смутить, она постаралась превратить все в шутку:

— Я только пошутила, Андрей Александрович. Вовсе не собираюсь вмешиваться в ваши дела. Я к этому не привыкла.

К счастью, в этот момент в комнату вошла Катя вместе с Кешей, и неприятный для меня разговор прекратился.

Переезд совершался в три этапа. Сначала погрузили на повозку самые необходимые для нас вещи: кровать и письменный стол. Повозка же была так мала, что больше на нее ничего не уместилось. Мы с Катей шли позади повозки.

Войдя в наше новое жилище, мы так и обмерли. В этом огромном помещении свободно разместился бы целый взвод солдат. (Не прошло и года, как в нем действительно была устроена казарма для японских солдат.)

— Вот это да! — удивился я. — Нашу «маленькую квартирку» я представлял себе несколько иначе.

— Ничего, — успокоила меня Катя, — у мамы есть несколько гардин и ковров, которые вот уже сколько лет валяются без дела. Я разыщу их и перевезу сюда. Гардинами перегордим помещение на три части. В центре устроим столовую. Каждый будет иметь по комнате. Сюда поставим письменный стол, а у дяди Феди выпросим еще какой-нибудь небольшой столик и несколько стульев. В правой части у нас будет салон — туда подойдет мебель, обитая плюшем; в левой — спальня, там будет кровать, а со временем купим еще диван. Уви-

дишь, у нас будет квартира что надо. Окна пока завесим газетами, позднее сделаем на них зашпакетки.

Договорились, что я с Кешей поеду сначала за своими вещами, а Катя пока будет разыскивать свои гардины и ковры.

Пока я ездил к себе на квартиру, Катя кроме гардин и ковров раздобыла маленький обеденный столик и диван, которые любезно дала нам Аглая Петровна, как только Катя заикнулась об этом.

Когда мы завершили третью езду, уже стемнело. Катя привела в порядок нашу комнату. Посредине, на месте нашей будущей столовой, стоял стол, на нем горела лампа. Четыре окна из восьми она уже успела завесить газетами.

Мы с Кешей внесли в комнату мягкую мебель. Потом отпустили девушку домой. Остальные окна завешивали вдвоем.

Я рассказал Кате о разговоре с Аглаей Петровной. Катя от души смеялась.

— Узнаю Аглаю Петровну, — сказала Катя. — Но не думай, такое она проделывала не только с тобой. Мне она не раз говорила, что ты на мне женишься не по любви, а из-за материальных соображений. Я еще ее спросила, уж не считает ли она письменный стол, керосиновую лампу и плюшевый диван приданным, ради которого ты и берешь меня, или же ради богатого дядюшки, у которого при случае можно пообедать.

Покончив с окнами, мы сели на диван.

— Вот мы и дома, — сказала Катя, беря мою руку в свои. — Варвара Тимофеевна, наверное, уже вскипятила самовар. Пойду принесу чаю, еда у нас есть, так что спокойно поужинаем. Никто нам не мешает, а потом ляжем спать. Вчера ведь мы почти совсем не спали.

— Морфею — морфеево, эросу — эросово, — заметил я и, вскочив, обнял Катю.

Освободившись от моих объятий, Катя выскользнула из комнаты. Прошло несколько минут, а она все не возвращалась. Я забеспокоился. Но вот открылась дверь, и появилась Катя с чайником в руках. На лице у нее застыло такое серьезное выражение, что я даже испугался.

— Что случилось?

— Анна Васильевна только что вернулась со станции. Нехорошие вести. Начальник станции получил телеграмму, что белые захватили Верхнеудинск и продвигаются к Петровскому Заводу.

Это известие опечалило и меня. Мы сели за стол. Катя наполнила чашки чаем, разложила на столе хлеб, масло, холодное мясо, свежие огурцы. Несколько минут никто из нас не притронулся к еде. Сидели, молчали.

Потом Катя встала и, захватив свой стул, подседа ко мне, подвинула мне чашку.

— Сядем поближе друг к другу, так, вдвоем, по крайней мере, нам ничто на свете не будет страшно.

Часть II

В плену
У ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Бурные дни

Однажды жена пришла домой страшно взволнованная.

— Беда, большая беда, — сказала она. — Знаешь, у нас в Хилоке образовался Союз фронтовиков, который подготавливает почву для прихода сюда белых. Вчера у них было собрание, на котором шла речь и о нас с тобой, и довольно в плохом свете. Кто-то из выступавших сказал, что нельзя дальше терпеть, чтобы какой-то военнопленный, иначе говоря противник, свободно ходил по земле. И еще он сказал: «Стыд и позор тем девушкам, кто заговорит с ним или, чего доброго, пойдет прогуляться в лес». К счастью, они еще не знают о том, что мы поженились. Договорились они там до того, что если кто-нибудь из них увидит нас с тобой вдвоем, то тебя изобьют, а меня разденут и как следует высекут. Все это рассказал Клавдии Васильевне один машинист, попросив ее предупредить нас, чтобы мы не показывались с тобой вдвоем на людях, а тебе вообще лучше на какое-то время скрыться.

До обеда, пока Катя была на работе, я сидел дома и читал. Возвращаясь с работы, Катя заходила на станцию и брала в судки обед. По вечерам, когда становилось совсем темно, мы выходили на улицу, чтобы немного подышать свежим воздухом. На улице в такое время никого не было, но мы все же остерегались отходить далеко от дома, а если слышали чьи-нибудь шаги, сразу же уходили во двор.

Хозяйка ставила нам самовар. Чай мы пили в своей комнате, а после чая вместе с хозяевами выходили во двор и садились на лестницу, чтобы поговорить. Чаще всего мы с Катей за весь вечер не говорили ни слова, а только слушали друг-друга. Днем хозяева встречались со многими людьми, а вечером рассказывали обо всем услышанном, о том, что происходит в мире. Под словом «мир», с одной стороны, подразумевалась Чита, с другой стороны — Верхнеудинск, так как хилокские машинисты и проводники работали на линии между этими городами. Они-то и приносили в Хилок вести из внешнего мира.

Вести эти были нерадостными: большевики повсеместно уходили на восток, но куда именно, этого никто точно не знал, так как поезда, отправляемые в сторону Маньчжурии, доходили только до станции Даурия. Верхняя железнодорожная линия была свободна до самого Хабаровска. Говорили, что Приамурье захвачено японцами, которые якобы продвигаются на запад. Хилоские большевики тоже готовились куда-то уходить.

— Правда, люди не очень-то плачут по большевикам, — объясняла нам Анна Васильевна. — Большинство надеется, что с приходом новой власти жизнь станет полегче. Зато всех страшит безвластие. Там, откуда большевики уже ушли, нет никакого порядка: люди дрожат за свою жизнь и имущество. Новых же властей там пока нет. Говорят о белых, но их еще никто и в глаза не видел. Разные темные личности — воры и жулики, — пользуясь случаем, ловят рыбку в мутной воде.

Слушать все эти рассказы было прямо-таки страшно. Мы с Катей теснее прижимались друг к другу, с беспокойством думая о том, что ждет нас впереди.

Известие о мятеже белочехов

Однажды вечером Катя снова принесла плохую весть. Если верить рассказам железнодорожников, то за прошедшие недели по всей Сибири произошла странная вещь: большевики разрешили белочехам во всеоружии вернуться к себе на родину. Поскольку путь на запад был отрезан немцами, Советское правительство, предоставив белочехам подвижной состав, разрешило им вернуться на родину через Сибирь. Во Владивостоке чешские легионеры должны были сесть на английские суда.

Большевики отправляли на восток один эшелон белочехов за другим. Когда последний эшелон с белочехами подходил к Уралу, первый в это время приближался к Владивостоку. В определенный день, больше того, почти в один час, все эшелоны с белочехами остановились там, где они находились. Белочехи высадились из эшелонов и в большинстве без единого выстрела заняли близлежащие города. Сопrotивления они почти нигде не встречали, так как части и подразделения старой армии были повсюду распуцены, а части Красной Армии были созданы только в Центральной России. В Омске же было сформировано контрреволюционное правительство, возглавляемое адмиралом Колчаком. Занятые белочехами населенные пункты один за другим стали присоединяться к Колчаку. Тут же, словно из-под земли, появлялись бывшие царские офицеры, которые без промедления организовывали контрреволюционные органы местной власти. Таким образом, силы контрреволюции пришли к власти почти во всей Сибири. Белые занимали один

поселенный пункт за другим, и все важные в стратегическом отношении районы попали в их руки. Вооруженными силами контрреволюции временно являлись чешские легионеры, но бывшие царские офицеры и унтер-офицеры уже приступили к формированию частей белой армии. Коммунисты были арестованы и казнены. С военнопленными, особенно с венграми, контрреволюционеры обращались, как со своими врагами. На венгров они смотрели, как на потенциальных большевиков, и, встречая венгра, сразу же отправляли его в лагерь. Были случаи, когда пленных венгров даже казнили. Так, в Петровском Заводе двоих венгров расстреляли.

Нас с Катей эти известия сильно напугали.

— Что же нам теперь делать? — спросила Катя после долгого молчания, чуть не плача.

— Видишь, мне все же лучше было уйти с красными, — начал было я (раньше мы говорили об этом с женой), но, заметив, что Катя разрыдалась, замолчал.

— Ужасно, — всхлипывая, плакала Катя, склонив голову мне на плечо. — Я никогда не прощу себе, что отговорила тебя от этого. Если с тобой что-нибудь случится, я этого не переживу.

— Успокойся, дорогая, — пытался я успокоить жену. — Не так страшен черт, как его малюют. Весь Хилок знает, что я политикой здесь не занимался. В худшем случае заберут меня в лагерь для пленных и ненадолго разлучат с тобой. Я убежден, что этот контрреволюционный мятеж очень скоро лопнет как мыльный пузырь. Колесо истории никому вспять не повернуть.

Худец уезжает в Харбин

В тот вечер нам не удалось посидеть на лестнице и поговорить, потому что в половине девятого к нам заявился мой друг Худец.

— Извините, что вторгаюсь к вам в такое позднее время, — сказал он. — Но я пришел проститься. На рассвете уезжаю в Маньчжурию. Днем прийти к вам не мог.

— В Маньчжурию? — удивился я. — Как ты туда поедешь?

— Очень просто, — отвечал он. — Мой начальник, главный инженер Иван Петрович, как начальник дистанции пути, неделю назад уехал в Харбин. Он приглашал меня, но я тогда отказался. Он попросил меня, чтобы я на следующее утро сказал в конторе, что его срочно вызвали в Читу. Иван Петрович очень уговаривал меня последовать его примеру. В Харбине у него имеются хорошие связи. Он дал мне один харбинский адресок и пообещал устроить меня там. На всякий случай, если его самого в то время уже не будет в городе, он дал мне

очень теплое рекомендательное письмо к генералу Хорвату, с которым он знаком лично. Одного этого письма достаточно, чтобы я беспрепятственно перешел через границу.

— На белых, может, это письмо и произведет впечатление, — заметил я, — но что ты будешь делать, если тебя задержат красные?

— За Нерчинском красных нет. Они отходят на Хабаровск по северной ветке. Границу же охраняют только белые и китайцы. Но я готов к любым неожиданностям, так как возможно, что в Оловянной и Чите могут быть остатки красных.

Он достал исписанную каракулями справку, в которой говорилось: «Ласло Худец — инженер Забайкальской железной дороги, принимал активное участие в перевозке красных частей, и потому всем красным частям или партизанам предлагается беспрепятственно пропускать последнего». На справке стояла подпись: «Командующий Лазо».

Имя прославленного красного командира было хорошо известно во всем Забайкалье и прилегающих к нему районах. Я только никак не мог понять, каким образом справка с собственноручной подписью Лазо попала в руки к моему другу Худцу.

— Ничего странного в этом нет, — объяснил мне друг. — Несколько дней назад через нашу станцию, куда-то на Амур, проехал Лазо со своим отрядом. На станции Лазо сошел, осмотрел вокзал и депо, из которого почти все разбежались, решив, что пришли белые. Лазо отдал приказ собрать всех инженеров.

Я оказался единственным, поскольку инженеры, услышав одно только имя Лазо, мигом испарились. Лазо начал кричать, что, если его приказ не будет выполнен, он меня расстреляет. Я объяснил ему, что угрозами меня ничего не заставишь сделать, да и нет никакой необходимости принуждать меня, я и без того знаю, кто он такой, и очень рад, что могу чем-то помочь ему. Лазо сразу же успокоился и сказал, что ему нужно: собрать несколько знающих людей, на которых можно положиться, и вместе с ним за час, пока ему заменяют паровоз, привести все имевшиеся в депо паровозы в неисправность, чтобы их можно было починить только часов через десять — двенадцать.

Приказ Лазо был выполнен. Когда я доложил ему об этом, Лазо пожелал лично удостовериться и осмотрел все испорченные локомотивы, а я, идя рядом, объяснял ему, в каком какие неисправности. Убедившись, что все сделано так, как он приказал, Лазо пожал мне руку.

— Спасибо, — сказал он. — Поработали на славу.

Он спросил меня, не хочу ли я уехать вместе с ним. Я поблагодарил его за доверие и сказал, что хочу остаться здесь, так как при первой возможности намерен вернуться в Венгрию.

— Вы, конечно, правы, — ответил мне Лазо. — Скоро п у вас вспыхнет революция, которой потребуются порядочные люди. Достав из кармана свою записную книжку, Лазо вырвал из нее этот листок и написал вот эту справку.

— Возьмите эту бумажку, не сегодня-завтра она вам может пригодиться, — сказал Лазо, протягивая мне листок.

То, что я сказал Лазо, было неправдой лишь наполовину. Уже тогда я твердо решил уехать в Харбин, куда отправился мой начальник. Но я не собирался оставаться там, а хотел перебраться оттуда в Шанхай и спокойно дожидаться заключения мира. Оттуда я намеревался узнать, что же делается у нас на родине. Если будет возможность, поеду на родину, если же нет, то пока останусь в Китае. Завтра на рассвете в Харбин отправляется поезд из Удинска. Поезд этот и не красный и не белый. Это поезд Красного Креста, организованный шведской миссией. Могу сказать, что в нем в Харбин за товарами едет множество спекулянтов. Человек, который помог мне попасть на этот поезд, думает, что я чех. Короче говоря, не хотите ли и вы уехать в Китай?

— У нас и мысли такой не было, — ответил я ему. — Да и документов никаких нет.

— Я имею в виду не сейчас, — продолжал Худец. — Вот я доберусь до Харбина или Шанхая, устроюсь, а там найду возможность переслать вам подходящие документы, и вы переберетесь ко мне.

Мы с Катей переглянулись. Неужели есть такое место, где можно спокойно жить? Мы много думали об этом, но в думах своих никогда не перешагивали границы России или Венгрии. Нас никогда не покидала уверенность, что рано или поздно в России повсеместно победит революция, и тогда мы сможем вернуться в Венгрию, которая тоже последует примеру России. Даже если белым удастся еще некоторое время продержаться у власти, то и в этом случае в Европе скоро кончится война и будет заключен мир, так как немцы-то разбиты. Короче говоря, в любом случае в ближайшее время мы попадем в Венгрию. Если же мы уедем в Китай, то, кто знает, попадем ли мы вообще когда-нибудь в Венгрию.

По взгляду Кати я понял, что мы думаем одинаково.

Нет, мы с Катей не собирались уезжать в Китай.

— Не буду вас уговаривать, — сказал нам Худец. — Дело еще терпит. Кто знает, что может произойти. Договоримся на том, что, как только я где-нибудь пристроюсь, сразу же напишу вам обо всем. Может, к тому времени вы и сами передумаете. Вы же мне напишите, как живете здесь. Да только я уверен, что, если даже здесь все изменится к лучшему и в реке Хилок вместо воды будет течь молоко или мед, а в Байкале будут плавать золотые рыбки, я лично все равно сюда больше никогда не вернусь.

Двадцать третьего августа Хилок попал в руки белых.

— На станции полно белых офицеров, — сообщила мне на следующий день Катя, вернувшись домой после работы. — Большинство из них — здешние, молодежь. Некоторые до этого работали чиновниками в местном управлении дороги, остальные сидели на шее родителей или родственников. До сих пор они вели себя довольно тихо, теперь же распоясались.

— Что еще изменилось? — поинтересовался я.

— На станции в буфете почти совсем не видно гражданских. Зато большинство офицеров только тем и занимаются, что сидят с утра до ночи в ресторане, да еще платить не хотят. Бросают дяде Феде: «Запиши, потом уладим» — и все. Отказать им он не смеет, так как боится, что тогда и с ним поступят так же, как и с рабочими из депо. А там, говорят, было что-то страшное. Всех большевиков и тех, кто им симпатизировал, арестовали и увезли неизвестно куда. Многих избили до крови. Я особенно не расспрашивала, боясь, что офицеры могут прицепиться и ко мне. Вечером, когда придет Анна Васильевна, от нее узнаем все подробности.

Анна Васильевна в тот день вернулась домой раньше обычного и рассказала нам страшные вещи.

— Теперь по улице опасно стало ходить. Вечером из депо и железнодорожных складов увели человек пятьдесят. Всех, кто пытался сопротивляться, расстреливали на месте. Особенно белые гоняются за женщинами.

Когда я подходила к лавочке Иванова, услышала чьи-то шаги и голоса. Подумала, что солдаты, и спряталась в подворотне. Прошли два вооруженных военных: один из милиции — Невдаха, другого я не узнала, возможно, он не из местных. Оба тащили двух женщин: Ткачеву Машу, восемнадцатилетнюю красавицу, что зимой была признана самой красивой девушкой во всей округе, и молодую жену проводника Бондарчука. Обе женщины плакали, а солдаты успокаивали их, чтобы они не боялись, ничего, мол, с ними не сделают, повеселятся ночку, и все. И захохотали.

Следующим вечером мы узнали еще новости. Оказалось, накануне вооруженные солдаты ходили по квартирам и уводили с собой молодых жен или дочерей арестованных или рабочих. Утром побросали их в вагон поезда, отправлявшегося в Верхнеудинск, где, по их словам, они должны будут развлекать офицеров, чтобы этим искупить вину своих мужей или отцов.

— А откуда все это стало известно? — спросила Катя.

— Дочку Ткачева, полуживую, бросили в вагон, — ответила Анна Васильевна. — Она, собрав последние силы, недалеко

от станции на ходу выпрыгнула из вагона. Когда ее нашли, она кое-как рассказала обо всем. Стрелочник, который ее подобрал, принес ее к себе в сторожку, где бедняжка и отдала богу душу. Ее там сразу же и похоронили, так как боялись, что дело получит огласку и тогда им не миновать неприятностей.

Шли дни. Катя по-прежнему ходила за обедами на станцию, только на кухню заходила с черного хода, чтобы ее не увидели офицеры.

Постепенно положение несколько нормализовалось. Наиболее распущенных офицеров заменили другими. На тех же, что прибыли на их место, особых жалоб не было, кроме того, что они, как и их предшественники, пропадали целыми днями у дяди Феди в ресторане и не платили денег. Катя мало что узнавала, потому что задерживалась на станционной кухне всего на несколько минут. Анна Васильевна, которая до этого была главным распространителем новостей, теперь настолько боялась вечером выходить на улицу, что вот уже несколько дней подряд не приходила домой, оставаясь ночевать у своей сестры.

В тот день Катя сказала, что в Хилоке не осталось больше невинных девушек. Страшный случай, происшедший с Ткачевой, настолько перепугал их, что теперь они с первого слова отдавались пристающему к ним офицеру, лишь бы только над ними не издевались. А офицеры, разумеется, пользовались такой возможностью.

Более порядочные из них, забирая девушку, обещали жениться, но большинство считали такие разговоры лишними. Во всем поселке только одна-единственная девушка воспротивилась офицерским ухаживаниям. Офицер очень удивился, что девушка не подчинилась ему, когда он стал к ней приставать. В это время домой пришел отец девушки — кочегар и основательно оттузил офицера. На следующее утро и девушку и ее отца забрали белые и куда-то увели. Что с ними случилось, никто не знает.

С этого дня мы с Катей жили в постоянном страхе. Я умолял ее пока не ходить на работу и тем более на станцию за обедами. Лучше попросить у хозяйки картошки или крупы, чем подвергать себя опасности. Я боялся, что по дороге или на станции Катя попадет на глаза какому-нибудь офицеру. Но она и слушать меня не хотела.

— О том, чтобы не ходить на работу, не может быть и речи, — решительно заявила она. — Вот уже сколько недель я одна хожу на работу в лесничество, если же еще и я брошу, тогда Никифор Андрианович окажется в безвыходном поло-

женин. У него и без этого хватает бед с новыми властями. Да и на станции мне необходимо бывать, ведь только там я и могу узнать, что происходит в мире.

Ссылка на Никифора Андриановича, случись это несколькими неделями раньше, была бы воспринята мной с большим неудовольствием, однако с тех пор как мы поженились, изменилось и мое отношение к этому человеку. С первых же дней женитьбы я имел возможность убедиться в том, что изменилось и его отношение ко мне, — вероятно, не без должного вмешательства Кати. Он стал относиться к нам особенно хорошо. Предоставил Кате целую неделю внеочередного отпуска, помог обставить нашу комнату мебелью, а при встрече всегда любезно разговаривал со мной. Я уже начал верить в то, что мы стали с ним добрыми друзьями, но приход белых снова зародил во мне сомнения.

«Ну, — думал я, — теперь-то уж я узнаю по-настоящему, был ли Никифор Андрианович полностью откровенен со мной».

Долго ждать не пришлось. Спустя несколько дней после прихода белых в Хилок, в то время как охота на рабочих и коммунистов, которые занимали более или менее важные должности при красных, была в самом разгаре, жена по секрету сказала мне, что Никифор Андрианович скрывает у себя бежавших от белого террора рабочих и помогает им.

— Как, как! — удивился я. — Уж кто-кто, а он-то, как мне казалось, ни за что на свете не будет симпатизировать большевикам!

— Не в этом дело, — объяснила Катя. — Никифор Андрианович не имеет ни малейшей склонности к политике. Это очень добрый, душевный человек, и только. Если бы при красных к нему за помощью обратились бы бежавшие офицеры, то он и их бы укрыв.

«Все-таки он порядочный человек», — сделал я для себя вывод. И очень скоро мне представился случай лично удостовериться в этом.

Бесчинства офицеров длились недолго. Новые офицеры, прибывшие в Хилок со стороны, скоро покинули его. В середине сентября положение в поселке несколько улучшилось. Была создана земская управа, вся власть перешла в руки гражданских властей.

Нечисть поднимает голову

Однажды Катя, придя со станции, сказала мне, что начальником комендатуры у белых теперь не кто иной, как мой бывший ученик, генштабист капитан Белих.

Я обрадовался этому известию:

— Если и на самом деле начальником у белых Тихон Ва-

Сильевич, тогда все в порядке. Он мне многим обязан, и я думаю, что он не откажется помочь нам.

На следующий день я пошел в комендатуру.

В приемной сидели два незнакомых унтер-офицера. Когда я объяснил, что хотел бы переговорить с их начальником, один из унтеров прошел во внутреннюю комнату и через несколько минут вышел оттуда в сопровождении офицера. К моему огромному удивлению, в офицере я узнал Распопина. На нем была форма подпоручика.

— Добрый день, мистер Распопин, — сказал я (к своим ученикам, которых я учил английскому языку, я обычно обращался со словом «мистер») и протянул было руку.

— Только безо всякого панибратства, — одернул меня офицер. — Вы, видимо, не понимаете, где находитесь. А разговариваете вы с адъютантом коменданта подпоручиком Распопиным. Что вам угодно?

«Ах, вот как! — подумал я про себя. — Меня и это устраивает».

Я объяснил, что пришел просить у коменданта официального разрешения на жительство.

— Подождите здесь, — важно бросил подпоручик и исчез за дверью.

Прошло минут пятнадцать. Наконец Распопин снова появился в дверях и, сделав шаг вперед, вытянулся по стойке «смирно», правую руку приложил к козырьку, а левой показал на дверь и громко выкрикнул:

— Здесь комендант гарнизона!

Я сделал над собой усилие, чтобы не расхохотаться. Еще в плену мне в руки попали мемуары одного французского генерала, который некогда учился в одной офицерской школе с Наполеоном. Долгие годы они не встречались, а когда генерал впервые попал на аудиенцию к Наполеону как к императору, ему очень долго пришлось прождать в приемной. Наконец дверь императорских покоев отворилась и на пороге появился адъютант, который сделал генералу знак, что он может войти. Когда же генерал приблизился к самой двери, адъютант выхватил из ножен саблю и, торжественно отсалютовав ею, громко крикнул:

— Здесь император!

Наблюдая за паясничанием Распопина, я невольно вспомнил эту историю.

«Ну, ладно, кривляйся, пока кривляется, — подумал я. — Придет и твое время».

Когда я подошел к столу, Белих даже не встал.

«Ну что ж, дружок, — мелькнуло у меня в голове. — Если ты, как и Распопин, надеешься, что я первым начну гримасничать, то ошибаешься. Начни сначала ты, если у тебя есть на это желание!»

— Доброе утро, мистер Белих. Как вы себя чувствуете? — обратился я к нему по-английски и с любезной улыбкой протянул руку.

Белих сделал вид, что не заметил моей руки, и грубо набросился на меня:

— Хватит играть! Не забывайте, что вы военнопленный и ваше место за колючей проволокой. По какому такому праву вы находитесь в Хилоке?

— Если я не ошибаюсь, я не раз беседовал с вами на эту тему, мистер Белих.

— Оставьте ваше обращение. Если вы не разбираетесь в званиях, то запомните раз и навсегда, что я штабс-капитан!

— Я вам не раз уже объяснял, господин штабс-капитан, как попал в Хилок и каким образом получил разрешение на жительство. И вы даже видели это разрешение. Если же вы забыли об этом, то вот оно, смотрите.

С этими словами я протянул штабс-капитану разрешение на жительство, выданное мне Красноярским исполкомом Совета рабочих и крестьян, которое тогда же было завизировано начальниками обеих хилокских милиций.

Белих взял разрешение в руки и засмеялся:

— Ха-ха! Красноярский Совет рабочих! Хилокская милиция! Неплохо! А знаете ли вы, ваша милость, где сейчас находятся эти учреждения? В Байкале, сударь, в Байкале! Раз вы от них получили разрешение на жительство, к ним извольте и обращаться. Я же сейчас прикажу вас арестовать и отправить в лагерь для военнопленных. Я не позволю, чтобы люди из армии противника портили здесь воздух и выделявали свои трюки.

Слова штабс-капитана взбесили меня. И это говорит мне человек, которому я помогал и бесплатно учил языкам. Будь что будет, но я выскажу ему все, что думаю.

— Что ж, поступайте так, — начал я, — как считаете нужным. Для меня это, по крайней мере, будет добрым уроком. И если я еще хоть раз в жизни встречу с русским офицером, то буду знать, что таким людям нельзя делать добро, потому что они за добро платят злом. Зовите надсмотрщиков, господин штабс-капитан, надевайте на меня наручники!

Офицеру стало стыдно.

— Существует приказ о сборе военнопленных и отправке их в лагерь. К нам, правда, этот приказ еще пока не прибыл. До тех пор пока мы его не получили, я разрешаю вам оставаться на свободе, но из Хилока никуда не отлучаться. Поняли?

— Понял, — ответил я. — Но чтобы не было никакого недоразумения, прошу вас зафиксировать это на моем старом разрешении.

— На этой советской бумажке? Как вы могли додуматься до такого? Интересно, что я должен там написать?

— Всего несколько слов. Например, такое: «Разрешаю дальнейшее проживание до особого распоряжения». И подпись.

— Чтобы я признал действительными действия советских органов? Нет. Об этом не может быть и речи.

После долгих препирательств он наконец согласился на чистом листе бумаги написать несколько слов:

«5 сентября 1918 года податель сего явился в комендатуру хилковского гарнизона. Комендант гарнизона штабе-каштан
Белих».

Пока мне и этого было достаточно. А эта бумага означала, что временно я могу проживать в Хилоке.

Дмитрий Евстафьевич недоволен новым режимом

Имея в руках такую бумажку, я мог теперь выйти на свет божий. Сначала я зашел в лавочку к Дмитрию Евстафьевичу. Мне было интересно узнать, как старик смотрит на создавшееся положение. Насколько мне было известно, в первые дни большая часть населения с надеждой смотрела на происходящие перемены. Пропаганда белых уверяла их, что, как только исчезнут большевики, всего опять будет вдоволь, как до войны. Но достаточно было белым похозяйничать несколько дней, как наступило общее разочарование. Нигде никакого изобилия и в помине не было, а тут в довершение всего еще грабежи и бесчинства белых. Далеко не все жители сумели вовремя закопать продовольствие или спрятать своих дочек. Не прошло и недели, как все жители на чем свет стоит стали ругать белых и мечтать о возвращении красных.

— Ну, а вам как нравится новый порядок? — спросил я у своего знакомого грека. — Он лучше старого?

Вместо ответа старик начал сильно ругаться:

— Черт их сюда принес, сидели бы там, где до этого были!

— Как так? — удивился я. — Вам ведь так не нравились старые порядки. Теперь же здесь совершенно другой режим. И он вам тоже не по душе?

— В принципе я и сейчас против большевиков, — начал объяснять мне старик. — Я во многом не согласен с ними. Но они, по крайней мере, честно заявляли о том, чего хотят, и поступали всегда так, как говорили. А эти? Хуже, чем самые отвязанные бандиты. Большевики если что и брали, то исходили из каких-то своих законов. Все, что они делали, они делали, по их мнению, в интересах будущего. А эти? Грабят, убивают, насилуют. Кричат о частной собственности, а сами с живого человека сдирают шкуру. Стоит только кому-нибудь

сказать им попереk хоть одно слово, как они всаживают ему пулю в лоб безо всяких разговоров.

Сочувствующие большевикам были убеждены в том, что новый режим долго не продержится. Одно время я не очень был уверен в этом, однако, поговорив с Дмитрием Евстафьевичем, я уже не сомневался в том, что режим, о котором подобным образом отзываются сами его приверженцы, не может быть жизненным.

Когда через несколько дней я снова навестил Дмитрия Евстафьевича, он сказал мне, что продал свою лавочку и переезжает в Верхнеудинск. Это сообщение удивило меня.

— Но почему? Разве вам там будет лучше? Или там не такая же власть, как и здесь?

— Власть-то такая, — объяснил мне старик, — а город другой, не то, что этот, где-то у черта на куличках. Здесь местный начальник — царь и бог. Делает, что захочет. Считаться ему здесь не с кем. В большом городе — совсем другое дело. Там таких начальников не один, а целых сто. Не с одним, так с другим всегда можно договориться. Деньги самое главное и там и здесь. Здешний начальник устанавливает такие цены, какие ему вздумается. А там каждому начальнику нужно считаться с конкуренцией. Любой знает, что если он запросит чересчур много, то другой сделает это дешевле и оставит его с носом.

Противоречивые слухи

Катя по-прежнему каждый день ходила на станцию за обедом и за новостями. Газет не было, и это был единственный способ хоть что-то узнать о том, что делается в мире.

Вот так однажды мы узнали, что контрреволюционные власти отдали распоряжение, согласно которому все военнопленные должны быть размещены в лагерях. Распоряжение требовало, чтобы каждый, кому известно о том, что где-то на свободе находится военнопленный, немедленно сообщил об этом в ближайшую комендатуру. Лица, укрывающие военнопленных или же знающие, что кто-то скрывает их, и не сообщившие об этом властям, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Вот когда я окончательно потерял покой. Я не мог допустить, чтобы Катя, ее родственники и даже совсем посторонние люди, знающие о моем существовании, попали из-за меня в беду. Я не раз пытался убедить Катю в том, что лучше всего будет, если я добровольно заявлю о себе, но она и слышать об этом не хотела.

— Такие распоряжения обычно обнародуют, — решительно сказала она. — В Хилоке же его никто в глаза не видел. Может, все это одни разговоры. Пока будем спокойно жить и ждать.

Катины слова, разумеется, не успокоили меня, но уговорить меня от добровольного заявления было не так уж и трудно.

Между тем до нас дошли слухи, которые резко противоречили прежним. В полдень, когда Катя была на станции, туда пришел военный эшелон. В эшелоне была своя кухня, на которой работали исключительно пленные венгры. Поговорив с ними, Катя узнала, что не только они, но вообще многие пленные живут на свободе, получив на это специальное разрешение от лагерного начальства.

— Тебе нужно будет съездить в Удинск и поговорить там с начальником березовского лагеря военнопленных, — добавила Катя. — Если еще я заявлю, что ты мой муж и я беру тебя под свою ответственность, тебе наверняка разрешат остаться в Хилоке и даже работать учителем иностранных языков.

Катины слова удивили меня, ведь до этого она и слушать не хотела, чтобы я показался на глаза военным властям. Теперь же заколебался я. Уж если Белих, который меня знал и был мне чем-то обязан, так встретил меня, то как отнесется к моему приходу высокопоставленный офицер, который меня абсолютно не знает. Могу ли я надеяться, что он поймет меня?

Убедившись в том, что мои опасения не лишены здравого смысла, Катя больше не касалась этого вопроса.

Мы собираемся в Удинск

Я решил, что Катя совсем забыла о поездке в Удинск, но примерно неделю спустя она снова заговорила об этом.

— Послушай, — начала она, — главный ревизор Василий Васильевич на днях был в командировке в Удинске. С ним я послала письмо матушке Фотине в удинский монастырь. Мне захотелось узнать, не знакома ли она с начальником березовского лагеря военнопленных или с кем-нибудь из лагерного начальства, к кому можно было бы обратиться заранее, надеясь на успех. Раньше среди благодетелей монастыря на первом месте были генеральские жены. Я считала, что кое-какие из старых связей, видимо, сохранились до сих пор. И не ошиблась. Матушка ответила, что начальник удинского гарнизона генерал Баранов — ее старый хороший знакомый и один из благодетелей монастыря, к тому же человек редкой доброты. Она советовала нам поехать в Удинск и обратиться к генералу, сославшись на родство с ней. Матушка обещала сама поговорить с генералом и уверила в том, что он не откажет в нашей просьбе.

Идея поехать в Удинск пришла к нам по душе. И пока я ломал себе голову над тем, как получить разрешение на эту поездку, нам помог случай.

Однажды Белих на сутки куда-то выехал из Хилока, оставив заместителем какого-то пожилого капитана, который вообще не имел дела с гражданскими лицами. Хорошо или плохо это — я тогда еще не знал. По слухам, пожилого капитана вообще ничто на свете не интересовало, кроме водки. Надеюсь, что обо мне просто-напросто забыли, я решил рискнуть и прийти к капитану за разрешением на поездку в Удинск. Правда, мое появление в комендатуре поневоле напомнило бы местным властям о моем существовании, и они могли арестовать меня и безо всякого направить в ближайший лагерь для военнопленных.

Вскоре Катя сообщила мне, что к капитану прислали подпоручика по фамилии Оторвин, который, как и его начальник, тоже обожает водку, но с той лишь разницей, что пить он предпочитает не один, а в обществе собутыльников и даже с дядей Федей. Катя только однажды поговорила с подпоручиком, и ей показалось, что это вполне порядочный человек, непохожий на остальных офицеров. До войны он был студентом, учился в Петрограде, и по его рассказам Катя поняла, что к белым он попал не по своей воле.

— Со мной он был очень вежлив и корректен, — продолжала Катя. — И я думаю, что, если ему откровенно рассказать о нашем намерении, он не откажется нам помочь.

Сначала я колебался.

— Допустим, он даст разрешение на поездку, но не запросит ли он за это слишком дорого?

Катя сразу же поняла мой намек.

— В этом отношении можешь быть абсолютно спокоен. Я уверена, он неплохой человек. Такие вещи женщина чувствует очень тонко. Но даже если я ошибаюсь, то и тут мы ничего не потеряем.

— Если только он не прикажет меня арестовать и отправить в лагерь.

— По-моему, это полностью исключено.

— Раз ты так считаешь, дорогая, поговори с ним.

На следующий день Катя поговорила с Оторвиным. Результат был самый неожиданный. Оторвин безо всяких уговоров согласился подписать у капитана нужное мне разрешение, однако он не советовал мне ездить в Удинск. Катя спросила его, почему он так считает. Он ответил, что лучше, если я сам зайду к нему за разъяснением.

Мне это показалось подозрительным. Уж не хочет ли этот подпоручик избавиться от меня с тем, чтобы я не мешал ему ухаживать за Катей?

— Этого не может быть, — возмутилась Катя. — Поговори

с ним хоть раз, и ты поймешь, что твои подозрения беспочвенны.

Слова Кати не успокоили меня, но отступить было поздно: ведь Оторвин уже все равно знал обо мне, и если мои подозрения не лишены основания, то офицер найдет способ, чтобы удалить меня из Хилока.

На следующее утро я отправился к подпоручику. Он встретил меня, как своего старого знакомого, и сразу же стал угощать водкой. Затем безо всякого перехода задал мне вопрос:

— Скажите, а почему вы так хотите поехать в Удинск?

Коротко я рассказал ему о своем положении, о том, что слышал о пленных, и о том, что мне хотелось бы получить у генерала Баранова официальное разрешение на жительство.

Оторвин замотал головой.

— Вы тоже были солдатом, — начал объяснять он, — так что вам следовало бы знать о том, что у военных никогда ничего не следует просить. Потому что если человек спросит, можно ли сделать то или это, ему обязательно ответят, что нельзя. Я на вашем месте никуда бы из Хилока не выезжал. По крайней мере, до тех пор, пока это возможно.

Я ответил, что абсолютно согласен с ним, но в данном случае речь идет не обо мне, а о Кате и родственниках, которые из-за меня могут попасть в беду, и вот это-то меня беспокоит больше всего.

— Смотрите, вам виднее. Если решите ехать, я хоть сегодня подпишу у старика разрешение на вашу поездку. Но только не ругайте меня, если с вами что-нибудь случится.

Я ответил, что мы все же решили съездить, и в тот же день было получено разрешение на выезд из Хилока в Верхнеудинск сроком на две недели.

II. НЕУДАЧНАЯ ПОЕЗДКА

В Верхнеудинск

Посадка в поезд оказалась не такой легкой, как мы предполагали. Все вагоны были забиты людьми, некоторые ехали даже на подножках.

Отчаяние охватило меня: неужели нам так и не удастся уехать? Но тут Кате в голову пришла смелая мысль.

— А что, если мы залезем в штабной вагон?

В то время в любом пассажирском составе был хотя бы один вагон, предназначенный специально для офицеров, где могли ехать также семьи офицеров и, за редким исключением, гражданские лица, имеющие специальное разрешение. Разрешение на проезд в таком вагоне мог выдавать только военный

комендант. И мы, не имея разрешения, не раз ездили рядом со штабным вагоном.

— Что ты придумала! — удивился я. — Во-первых, у нас нет разрешения, а во-вторых, ни мне, ни тебе вовсе не желательно попадать в общество белых.

— А мы и не поедем вместе с ними. Просто я поговорю с каким-нибудь начальником, скажу, что мне крайне необходимо отвезти больного мужа в Удинск, может, разрешат ехать в тамбуре.

Я колебался. Не хватало только, чтобы начальнику или кому-нибудь из офицеров приглянулась Катя, и тогда беды не миновать. Отговорить Катю от этой опасной затеи мне не удалось.

— От разговора с начальником никакой беды не будет. По крайней мере, посмотрим, что он за человек.

Начальник вагона оказался приятным, вежливым человеком, он даже предложил нам войти в купе, где ехали офицеры. Катя, поблагодарив, наотрез отказалась, сославшись на то, что она не знает, чем именно я болен, и поэтому не хочет ставить под угрозу здоровье других людей. К тому же, заверяла она, мы прекрасно устроимся в каморке для дров. Начальник согласился с Катей, и это меня полностью успокоило.

Первая половина нашего пути прошла спокойно: мы сидели в каморке, иногда выходили в тамбур. Договорились, что, как только кто-нибудь из офицеров выйдет из вагона, я тотчас же войду в каморку и накину на себя одеяло.

Долгое время в этом не было никакой необходимости. Офицеры, видимо, пьянствовали. Из вагона доносилось пение, раздавались пьяные крики. В наш тамбур никто из офицеров пока не выходил. Мы проехали уже примерно половину пути от Хилока до Петровского Завода и стояли в тамбуре, когда вдруг услышали за своей спиной чьи-то шаги. Я быстро вошел в каморку.

Это оказался начальник вагона. Он был немного пьян, но вел себя вполне корректно. поприветствовав Катю, он предложил ей сигарету, но она отказалась. Стоя у открытого окна, он заговорил с ней. Я уже забеспокоился, но напрасно. Офицер спросил у Кати, удобно ли мне. Катя ответила, что я чувствую себя вполне сносно, и больше обо мне разговора не было. Офицер восхищался красотами Забайкалья, но не спросил, кто мы и куда едем. Отпустив Кате несколько избитых комплиментов, он щелкнул каблучками, попросив располагать им, и скрылся в вагоне.

Я намеревался сойти в Петровском Заводе и немного побродить по садику, где мы с Катей провели свою первую свадебную ночь. Дождавшись, пока сойдут офицеры, мы вышли на остановке из вагона.

Не успели мы сделать нескольких шагов, как со стороны

станционного здания послышались крики и револьверная стрельба. В испуге мы остановились.

Стрельба сразу же прекратилась, но крики все еще доносились. Было похоже, что кто-то зовет на помощь.

Навстречу нам по шпалам бежал какой-то проводник.

— Что такое, что случилось? — наперебой спросили мы с Катей.

— Какой-то пьяный офицер привязался к железнодорожнику, тот ответил. Офицер влепил рабочему оплеуху, железнодорожник дал сдачи. Тогда офицер решил арестовать железнодорожника, но подоспевшие на шум товарищи рабочего не допустили этого. Офицер схватился за револьвер и открыл стрельбу. Двое рабочих убито, несколько человек ранено.

— Давай возьмем свои вещи и пересядем в другой вагон, — сказал я Кате, когда мы пошли обратно к поезду. Однако проводник отговорил нас от этого.

— Осторожно, — сказал нам проводник, — сидите и помалкивайте, а то сейчас появятся офицеры. Будет лучше, если вы никому из них не попадетесь на глаза.

— А начальник вагона где был во время стрельбы? — заинтересовалась Катя.

— Он уже давно лег спать, — ответил проводник. — По всему видать, человек порядочный. Но с этими типами, когда они звереют, ни одна душа не справится.

Мы быстро забрались в свою каморку и закрылись. Офицеры входили в вагон через другую дверь.

— Проклятое отродье! Грязные большевики. Всех их нужно уничтожить, — доносились голоса офицеров.

Жутко становилось от одной только мысли, что офицеры могут заметить нас.

— Давай все же попробуем перейти в другой вагон, — согласилась со мной Катя.

Я потихоньку вышел в тамбур и попытался открыть дверь, ведущую в другой вагон. Она оказалась запертой: конечно, офицеры не желали, чтобы кто-то из посторонних проходил через их вагон.

Попросить проводника открыть дверь было невозможно, потому что он находился в другом конце вагона и к нему нужно было идти мимо офицеров.

Мы сели на свои места.

Через несколько минут открылась дверь какого-то купе. Раздались неровные шаги. Кто-то приближался к нам. Затаив дыхание, мы ждали, что же будет дальше.

Раздался стук в дверь нашей каморки.

— Сиди спокойно, — шепнула мне Катя. — Кто бы это ни был, я сама поговорю с ним.

Я хотел было удержать Катю, хотя прекрасно понимал, что если из нашего положения и есть какой-нибудь выход, то его

может найти только Катя. Если даже она ничего не сможет сделать, тогда вмешаюсь я.

Катя вышла в тамбур, прикрыв дверь так, что осталась крошечная щелочка. Я теперь тоже мог слышать все, что происходит там.

— Целую ручки, — услышал я чей-то приторно-сладкий голос, и в тот же миг раздался звук поцелуя.

По спине у меня пробежал холодок. Я уже хотел выскочить из своего убежища, но голос Кати остановил меня.

— Прошу вас, говорите тише, — сказала она совершенно спокойно. — Я сопровождаю тяжелобольного. Ваш начальник разрешил ему ехать в этой каморке.

— Больной пусть остается больным, — пробормотал офицер и громко икнул. — А если ему надоело жить — пусть умирает. Мы можем устроить ему торжественные похороны. А такой хорошенькой женщине, как вы, нужно жить. И не в какой-то каморке. Разрешите, сударыня, предоставить в ваше распоряжение свое купе.

— Спасибо, — поблагодарила Катя, — но я не оставлю больного одного.

— Ваш больной свободно обойдется и без женщины. Женщина нужна здоровому человеку. Ха-ха-ха... А женщине нужен мужчина. Не так ли? Объятие, поцелуй... о другом мы здесь не говорим.

Не ожидая продолжения, я распахнул дверь каморки. Мне пришлось затратить совсем немного энергии. Офицер глухо шлепнулся на пол, растянувшись через весь тамбур.

— Объятие, поцелуй... ничего другого, — все еще бормотал он, и через мгновение уже храпел, как могут храпеть только очень пьяные люди.

Подошел проводник. Но ему не нужно было объяснять, что тут произошло.

— Надо отнести его в купе, — сказал мне проводник. — Проснувшись, он подумает, что все это ему приснилось. А вас я сейчас переведу в другой вагон.

Мы перенесли офицера в купе, и проводник проводил нас в вагон, который располагался в другом конце состава. Он устроил нас в купе проводника, попросив его побеспокоиться о нас. Новый проводник очень хорошо отнесся к нам, он отдал нам лежачие места, а сам ушел к своему коллеге в соседний вагон.

— Рано утром будем в Удинске, а до того времени можете преспокойно спать, — распрощался с нами проводник офицерского вагона. — Пока эти бандиты проснутся, мы уже будем далеко от Удинска.

Я хотел отблагодарить его и протянул деньги, но он ничего не взял.

— Если порядочные люди не будут помогать друг другу,

тогда мы никогда не избавимся от негодяев, — сказал проводник и ушел в свой вагон.

Сибирский монастырь

В шесть утра мы прибыли в Верхнеудинск. На вокзале не оказалось ни одного извозчика. Мы с Катей вошли в ресторан второго разряда, где узнали, что извозчики появятся только с восьми часов.

Мы заказали чаю и за чаем поговорили обо всем.

— Тетушку Фотину ты знаешь. С ней ведь можно говорить о чем угодно, так как она на все смотрит здраво. Ты в этом уже убедился. Но ее монашек нужно опасаться. Ни на минуту не забывай, что они живут в совершенно другом мире, чем мы с тобой, — говорила Катя.

В восемь часов мы наняли первого попавшегося извозчика и поехали в монастырь.

Странное сооружение — сибирская пролетка. Сиденье такое узкое, что если сесть на него вдвоем, то один окажется просто на коленях у другого. Но нас это как раз не расстраивало. В тот момент я невольно подумал о том, что будет, если на сиденье усядется сибирский купец комплекции Дмитрия Евстафьевича, а рядом с ним увесистая супруга.

Монастырь находился на противоположном берегу реки Уды. Чтобы попасть туда, нужно было пересечь весь город: проехать из конца в конец по главной улице, протянувшейся на два километра, доехать до собора, что стоял в нескольких сотнях метров от реки, потом через мост перебраться на другой берег. За рекой располагалась казачья часть города, а в самом центре ее — монастырь.

Извозчик ехал медленно; колеса пролетки то и дело увязали в песке. Успокаивало только то, что погода была сухая. Худо пришлось бы нам, если бы шел дождь. А по неровной мостовой тоже быстро не поскачешь.

Поскольку мы ехали медленно, я мог как следует рассмотреть город.

Меня постигло разочарование: никакого «города» я не увидел. В начале главной улицы стоял один-единственный двухэтажный дом, в котором, объяснила Катя, сейчас разместилось офицерское казино, а при красных там был Народный дом. Далее же, до самой площади, шли небольшие одноэтажные домишки. Городской вид улицам придавали только китайские лавочки, которых здесь было очень много. Главная площадь города служила одновременно и рыночной площадью. И только две небольшие улицы, ведущие от площади к собору, напоминали город, хотя все двухэтажные дома на них можно было пересчитать по пальцам. За собором, вплоть до самой реки, тянулись маленькие улочки, только уже без лавочек.

Было начало девятого, но город еще спал, лавочки все были закрыты. На всем пути нам повстречалось человека три.

Стояло осеннее солнечное утро. Тишина и спокойствие, царившие вокруг, придавали особое очарование пейзажу.

Вот так, тесно прижавшись к Кате, я готов был ехать хоть целый день.

Никогда не забуду, как нас встретили в монастыре. На наш звонок калитку открыла красивая молодая монашенка, которую Катя представила мне как сестру Ангелу.

Молодая монашенка протянула мне руку. Разговаривая со мной, она не только не опустила глаза, но и с явным интересом разглядывала меня.

Навстречу нам из коридора проворно вышла мать Фотина. Поздоровавшись, она повела нас в трапезную. Внутренний коридор, куда выходили двери келий, был не очень длинным, однако, пока мы шли по нему к трапезной, мимо нас промелькнули, шурша платьями, четыре монашки, поприветствовавшие нас наклоном головы.

Матушка Фотина огорчила нас, сказав, что приехали мы не вовремя, так как генерал Баранов уехал на несколько дней в Иркутск.

— Я же ничуть не жалею, что вы приехали, — сказала добрая матушка. — По крайней мере, погостите у меня несколько дней. О комнатах для вас я уже позаботилась. Остановитесь в доме у одного казака. Вокруг монастыря живут почти одни казаки. Это порядочные, верующие люди. Наш монастырь является, собственно говоря, прихожанином их храма. А их священник отец Филимон — наш духовный пастор. Квартира ваша не ахти как хороша, но выспаться там можно на славу, а днем вы все равно будете у нас.

Пока мы пили чай, в трапезную входили монахини, что-то докладывали своей настоятельнице, что-то спрашивали у нас. Матушка Фотина всех их представляла мне. Катя уже была знакома с ними. Я здоровался с ними за руку. У меня создалось впечатление, что передо мной прошли все монашенки монастыря.

За чаем я сказал матушке Фотине, что, поскольку мы три дня будем ждать возвращения генерала, мне бы хотелось встретиться с моими однополчанами, которые находятся в Березовском лагере для пленных. Матушка ответила, что сделать это совсем нетрудно, один пленный австриец ежедневно привозит в монастырь продукты, которые они закупают в городе, а отсюда забирает и развозит по заказчикам изготовленные в стенах монастыря вещи: свечи, вязаные чулки, простыни. Австриец обычно приезжает утром. Если мы немного подождем, то мне удастся поговорить с ним.

Матушка тут же приказала какой-то монашке, чтобы ей доложили, как только появится господин Шнайдер,

Завтрак наш подходил к концу, когда красавица Ангела ввела в трапезную мужчину в австрийской военной форме.

— Добрый день, господин Шнайдер, — поздоровалась с ним матушка. — Садитесь. С вами хочет познакомиться муж моей племянницы.

Мы пожали друг другу руки и представились. Шнайдер сел к столу, хозяйка налила ему чашку чая.

Поскольку господин Шнайдер по-русски говорил еще хуже меня, я начал разговаривать с ним по-немецки, но оказалось, что немецкого он вообще не знает. Выяснилось, что он венгерский еврей и до войны имел лавочку в Будапеште. Мы прекрасно разговорились с ним по-венгерски.

Прежде всего я поинтересовался, действительно ли он из Березовского лагеря. Шнайдер ответил, что он из этого лагеря, но живет на свободе в городе. Официально он должен работать у одного торговца-еврея, на самом же деле занимается перевозками.

— Но как вам разрешили это в лагере? — не без волнения спросил я. — Ведь венграм такие разрешения не дают.

— Венграм не дают, — подтвердил Шнайдер, — но ведь я еврей, а это уже совсем другое дело.

Я пожалел, что не родился евреем. Затем я спросил его, не знает ли он Вирани.

— Как же, знаю! Ведь мы с ним из одного полка. Оба в Сольноке служили.

Узнав, что я тоже служил в 68-м полку, Шнайдер разговорился со мной, как с родным. Он пообещал заехать в лагерь еще до обеда и привезти мне Вирани.

После завтрака сестра Ангела проводила нас на квартиру.

Дом принадлежал пожилой супружеской паре. Хозяева встретили нас очень радушно.

Вещи наши уже были принесены на квартиру. Сестра Ангела лично осмотрела комнаты, приготовленные для нас, и проверила, достаточно ли мягкие постели. Только после этого она оставила нас вдвоем, попросив располагаться как дома и приходить обедать в монастырь.

Мы вымылись, привели себя в порядок и снова пошли в монастырь.

Обед был на славу, хотя ничего мясного в меню не было. Катя заранее предупредила меня, что в монастыре придерживаются строгих правил в этом отношении: мясо к столу подают очень редко. Только три дня в неделю можно поесть сытно. В некоторые дни запрещалось есть даже рыбу, больше того, молоко и масло; готовили еду в такие дни только на растительном масле. Поэтому-то я и считал, что приглашенный в монастырь на обед заранее должен быть готов к тому, что

ему придется поголодать. К моему огромному удивлению, нам был задан такой пир, что пальчики оближешь: превосходный суп из свежей зелени, всевозможная копченая и жареная рыба, какие-то салаты, варенье. Сама матушка едва притронулась к еде. Мы с Катей о таком обеде и не мечтали.

За обедом кроме нас был еще один гость — отец Филимон, огромный мужчина, с солидным брюшком, с длинными волосами, с бородой. На груди его висел большой крест. От мощного голоса попа дрожали стекла в окнах. Отец Филимон много ел, похваливая каждое блюдо, много говорил, но особенно много пил. Во что бы то ни стало он хотел, чтобы и мы выпили с ним, но нам с Катей он был так несимпатичен, что мы отказались.

Матушка Фотина сидела напротив меня, и мне представилась возможность сравнить этих служителей культа. Большой разницы между двумя людьми и быть не может. Матушка была олицетворением святой аскетической женщины, доброй, кроткой и откровенной. Батюшка — олицетворением всего самого грубого и низменного в человеке. Он был скорее похож на зверя в облике человеческом, чем на человека.

Мне в жизни приходилось видеть многих священников и монахинь, однако ни в одном из них не было столько святости, как в матушке Фотине, но не было в них и столько лжи и высокомерия, как у отца Филимона. Я никогда не мог понять, почему благочестивые женщины и откровенные мужчины не замечают или не хотят замечать, что среди них живут мерзавцы и подлецы, больше того, почему они обращаются с этой сорной травой так, словно это благородный цветок.

На берегу Уды

Обед еще не кончился, когда пришел Вирани. Мы обнялись, потом я представил его присутствующим. Матушка пригласила Вирани к столу и угостила чаем.

В самом начале войны, когда я учился в Сольноке в военном училище, Вирани был одним из тех, с кем я тогда сдружился. И совсем не потому, что у нас с ним было много общего. По образу мыслей и взглядам он мало отличался от других моих однокашников, которые стремились получить более хороший оклад и жениться на красивой и богатой невесте. Цель жизни Вирани видел тогда в этом. И все же, несмотря ни на что, среди необразованных и пустых молодых людей, которых было так много в училище, с ним можно было поговорить о серьезных вещах.

Сейчас мне сразу же бросилась в глаза его австрийская форма и австрийская шапка с большой буквой «К», нашитой нам на рождество 1916 года вместо старых букв «FJI», плен-

ными офицерами, которые продолжали считать себя солдатами австрийской армии.

За столом Вирани сидел напротив меня, рядом со священником, но разговаривал почти все время только со мной: мы все же однокашники и не виделись целых четыре года. Правда, нашу встречу я представлял себе несколько иначе. Казалось, его вообще не беспокоило присутствие посторонних. Он слушал разглагольствования святого отца о достоинствах различных рыб, сыров и фруктовых соков и сам иногда вторил ему.

Трапеза затянулась. Но вот наконец матушка встала из-за стола. Я предложил Вирани вместе со мной и Катей прогуляться по берегу реки.

Я думал, что, оставшись одни, мы поговорим, расскажем друг другу обо всем, что случилось с каждым из нас со времени последней встречи. Но Вирани отвечал на мои вопросы односложно и шаблонно, зато активно принялся ухаживать за Катей, величая ее не как-нибудь, а только «мадам». Катя не выдержала и оборвала его:

— Прошу вас, не называйте меня «мадам». У нас так не принято. У меня есть имя и отчество: Екатерина Васильевна.

Вирани попросил прощения и впредь обращался к Кате только по имени-отчеству, но произносил эти слова с явной пронией.

Во время прогулки Вирани очень коротко рассказал, где и при каких обстоятельствах он попал в плен.

— О жизни в лагере нечего и говорить, — добавил он. — Ты не хуже меня знаешь, что это такое. Лучше ты расскажи, как тебе удалось вырваться из лагеря и как живет свободному человеку в Сибири.

Я рассказал ему о своей жизни, не скрывая цели нашей поездки в Удипск. Мой рассказ он слушал без особого внимания, и только история моей женитьбы заинтересовала его. С Кати он не сводил глаз. Я сразу же заметил, что ей это очень неприятно и она хочет как можно скорее отделаться от него.

Сидя на обломке скалы, мы смотрели на воду. Разговор как-то не клеился. Неожиданно Вирани начал рассказывать о своей лагерной жизни, и притом с таким воодушевлением, как будто лучше этой жизни ничего на свете не было. В конце его рассказа напрашивался вывод, что мне не следует просить разрешения на жительство, а лучше вместе с женой добровольно переселиться в лагерь.

— В такое бурное время, можешь мне поверить, жить в лагере лучше и надежнее всего, — заключил он.

Я ответил, что об этом не может быть и речи, потому что нет такой силы, которая заставила бы меня отказаться от жизни свободного человека.

— Как знаешь, — пожал плечами Вирани. — Но поскольку тебе все равно придется здесь околачиваться три дня, советую завтра приехать к нам в Березовку и посмотреть, как мы живем. Я думаю, тебе полезно будет познакомиться с нашим лагерем, а то вдруг все же придется переметнуться.

Я нашел это разумным и обещал завтра же приехать в лагерь.

Осенью темнеет рано, и Вирани, который торопился на рабочий поезд (до станции было не менее часа ходьбы), стал прощаться:

— Ну, тогда до завтра. Лучше всего, если ты приедешь девятичасовым. Мы встретим тебя на станции.

— Что ты скажешь по поводу предложения и тебе перейти жить в лагерь? — спросил я Катю, когда мы остались вдвоем.

— Боже сохрани, — отвечала она. — Это уж в самом крайнем случае. А что, если нам завтра ни в какой лагерь не ездить?

— Это почему же? — удивился я. — Я понимаю, что тебе не понравился этот человек, но ведь в лагерь мы едем не ради него, а чтобы познакомиться с их жизнью, посмотреть, что и как. Почему бы нам и не поехать?

— Я и сама точно не знаю, почему, но у меня такое чувство, что от таких людей пужно держаться подальше. Кто знает, во что они могут тебя вытутать. Бывает, что и самый лучший друг оказывается предателем.

— Не будь ребенком, дорогая. Не ищи ужасов там, где их нет, — попробовал я успокоить жену. — И то, что они думают не так, как мы с тобой, вовсе не значит, что они непорядочные люди или тем более являются нашими с тобой врагами. Я уверен, что завтрашняя поездка будет очень интересной.

— Посмотрим, — заметила Катя. — А сейчас пошли быстрее в монастырь. Матушка Фотина, наверное, думает, что мы заблудились, и беспокоится: в обители рано ужинают.

Березовка

На следующее утро девятичасовым поездом мы с Катей выехали в Березовку. Вирани встречал нас на станции. Он сразу же выразил сожаление по поводу того, что пригласил нас в Березовку. Ехать в лагерь, по его мнению, сегодня не стоило. Оказалось, что вчера, пока его не было в лагере, прибыла какая-то комиссия, которая обошла бараки и переписала всех пленных. Несколько пленных офицеров даже вызывали на допрос к начальству, но ни один из них так и не понял, чего от них добивались. Возможно, кое-кого из пленных хотели перевести в другое место, а может, просто искали скрывающихся большевиков.

Вот потому Вирани и не советовал нам теперь появляться в лагере.

— Ничего страшного. Мы погуляем немного и с ближайшим поездом вернемся в город, — успокоила Катя.

— Раз уж вы сюда приехали, то посмотрите на лагерь хотя бы снаружи, — сказал Вирани. — Потом, если хотите, — добавил он, обращаясь ко мне, — я вызову из лагеря нашего однополчанина Пустаи. Поезда здесь ходят через каждые два часа, так что смело можете остаться, на сколько захотите. Вот жалко только, на обед вас нельзя пригласить...

— Обед нас не беспокоит, — перебила его Катя. — Монашки надавали нам массу съестного.

Идти до лагеря нужно было минут двадцать. Разговор как-то не клеился: обо всем понемногу переговорили вчера.

По дороге мы встретили многих пленных. Они все здоровались с Вирани, но некоторых из них он не знал.

— Разве не все пленные у вас знакомы друг с другом? — спросил я.

Вирани объяснил мне, что еще недавно офицеры находились в отдельном лагере, жили в кирпичных домах, что стоят на сопке. Деревянные бараки занимали пленные из нижних чинов (было их несколько тысяч). Не так давно рядовых из лагеря перевели в какое-то другое место, освободив место для пленных офицеров, потому что кирпичные дома на сопке заняли японцы. Сейчас рядовые живут всего в нескольких бараках, основную же массу пленных составляют офицеры. В лагере около тысячи человек, так что не мудрено, что они не знают друг друга.

Между тем мы подошли к старенькому домику, сколоченному из досок. Через разбитые стекла были видны полки, покрытые толстым слоем пыли. Некогда это, видимо, была лавочка.

— Лучшего помещения предложить вам сейчас не могу. Подождите здесь, — засуетился Вирани. — Обещаю через несколько минут вернуться.

Сказал — и исчез.

— Подожди минутку, — остановила меня Катя. Она достала из сумочки газету, застелила полку. — Теперь хоть присесть можно. Скажи, пожалуйста, — продолжала она, — если два человека служат в одном и том же полку, это что-нибудь значит для них, это сближает их?

— Некоторых — да. Обычно в один и тот же полк берут солдат из одного какого-нибудь места, именно поэтому однополчане и считают друг друга земляками. Что же касается офицеров, то и они сближаются, если служат в одном месте. У нас, запасников, если мы учились в одном училище или долгое время вместе были на фронте, тоже складывались какие-то отношения с однополчанами. Вот возьмем, например, этого

Вирани. Он совершенно не такой человек, как я, у него абсолютно иное мышление, и все-таки он мне гораздо ближе, чем совершенно незнакомые люди.

— Убей бог, ничего не понимаю, — заметила Катя, — но это совсем неважно.

Некоторое время мы оба молчали. И вдруг я сообразил, что, несмотря на все сказанное мной, все выглядит иначе, так как ни с Вирани, ни с ему подобными ничего общего у меня нет и быть не может. В то же время, сидя рядом с Катей в этой деревянной избушке, я особенно остро почувствовал, как тесно сблизилась мы с ней. В голову невольно пришла странная мысль, что, если бы сейчас в этой избушке кто-нибудь сказал бы нам: «Или вы расстанетесь друг с другом, или же умрете здесь, выбирайте», я безо всякого колебания выбрал бы последнее.

— По глазам вижу, что ты и сам далеко не в восторге от своих друзей и от всей этой поездки в лагерь, — вернул меня к действительности голос Кати. — Скажи, о чем ты сейчас думаешь?

Чуть помедлив, я ответил ей.

— Ты с ума сошел! — засмеялась она. — Я думала совсем о другом. Лучше всего было бы сейчас, не прощаясь с твоим приятелем, вернуться на станцию и с ближайшим поездом уехать в Удинск. Поверь мне, эти люди не для нас.

— Возможно, ты и права, — сказал я, — но человек не всегда делает то, что ему хочется. Раз уж мы сюда приехали, то давай потерпим до конца. Еще час-два — и поедем.

Катя не успела ничего ответить мне, потому что дверь избушки отворилась и на пороге показались Вирани и его однополчанин Пустай. Пустай сразу же произвел на меня очень неприятное впечатление. Это был упитанный мужчина среднего роста с черными как смоль волосами и темными глазами. Особенно неприятны были его крупные волосатые руки и большой чувственный рот. Он сказал Кате несколько комплиментов. Оказалось, что у него к тому же очень неприятный голос. Мне захотелось дать ему оплеуху, но приходилось делать хорошую мину при плохой игре.

Вирани предложил побывать в деревне Березовке, давшей, хотя и не официально, название лагерю для военнопленных. Официальное название лагерь получил от железнодорожной станции Дивизионная.

По дороге Вирани говорил, что вчера ему не стоило уговаривать нас поселиться в лагере. Он объяснил, что пленные с самой весны, надеясь на Брестский мирный договор, считали, что рано или поздно большевики преодолечат транспортные трудности и перевезут пленных в западные районы страны. Когда же произошел переворот, пленные решили, что белым в короткий срок удастся захватить повсеместно власть в стране.

Известия, доходящие с западного фронта, говорят, что немцам осталось жить немного, значит, совсем недолго ждать заключения мирного договора, когда новое русское правительство решит вопрос о военнопленных и отправит их на родину.

— Еще вчера я смотрел на события точно с таких же позиций, — объяснял нам Вирани. — Вчера же вечером, после обхода комиссии, мы собрались вместе с несколькими русскими офицерами, которые регулярно читали газеты, и обсудили создавшееся положение. Нам стало абсолютно ясно, что красные и не собираются оставлять Москву и отдавать центральные районы России. Напротив, они держатся так твердо, что белым не удастся собрать свои силы. А белые, как союзники Антанты, намерены продолжать войну и не собираются выпускать пленных по домам. Вчерашняя комиссия только лишь раз подтвердила это.

— Это просто возмутительно! — вмешался в разговор Пустаи. — Из-за этих проклятых красных нам придется еще год, а то и два торчать в этой забытой богом азиатской пустыне.

— Позвольте, — перебил я его, — насколько мне известно, именно красные сразу же, как только пришли к власти, выступили с предложением о заключении мира. Уж ежели есть охота ругать кого-нибудь, тогда ругайте англичан да французов. Ругайте американцев, которые в течение нескольких лет наживались на войне, а сейчас хотят поделить между собой добычу.

— Вон как, — проговорил Пустаи ехидно. — По-твоему выходит, что большевики хорошие люди, да? В конце концов, чего доброго, скажешь, что ты и сам им симпатизируешь?

— Это еще видно будет, — ответил я. — Но что касается политики войны и мира, тут правда на их стороне, и я в этом за них.

— Только смотри, дружок, не обожгись!

Разговор шел на венгерском языке, и Катя только по нашей интонации понимала, что мы о чем-то спорим. По выражению ее лица я видел, что ей очень неприятен этот разговор.

— Прошу вас, не ссорьтесь, — вмешалась в нашу словесную дуэль Катя. — Право, нет никакого смысла спорить. Все мы хотим мира, и спорить о политике дело вовсе не наше. И будьте добры, говорите по-русски.

Тем временем мы подошли к селу, расположенному на вершине сопки и состоявшему из сотни небольших домиков. Домишки все были бедные, а по одежде крестьян, которые попадались нам навстречу, можно было подумать, что они нищие.

Пустаи никак не мог успокоиться и продолжал ехидничать, но только уже по-русски:

— Хорошо, что ты сюда приехал, по крайней мере, любишься, до чего довели народ твои красные. Я по пальцам

могу пересчитать более или менее приличные дома в этой деревне и жителей, с которых не сползает от дыр одежда.

Я начал выходить из себя. Пустаи продолжал:

— Я вижу, дружок, ты плохо информирован. Спроси кого хочешь в этом селе, и каждый тебе скажет, что до революции они жили лучше. Мясо стоило копейки, а масло почти даром было. За рубль можно было купить пару сапог.

— Когда простой крестьянин не видит за деревьями леса, это вполне понятно. Но банковскому служащему, изучавшему в свое время политическую экономию, следовало бы знать, какой ущерб хозяйству наносит война, которая длится четыре года...

— Ну, довольно, хватит вам! — решительно перебил нас Вирани. — Этот разговор несколько не интересует Екатерину Васильевну, да и меня тоже. Будьте добры, поговорите о чем-нибудь другом или, еще лучше, — помолчите да спокойно подышите свежим воздухом.

— Вирани, безусловно, прав, — согласился Пустаи. — Извините, сударыня, что мы ударились в политику и забыли о вас.

Мы возвращались на станцию. Разговор шел о Венгрии. Пустаи сказал, что, если Венгрия проиграет войну и в ней тоже вспыхнет революция, он обязательно эмигрирует в Америку или в Австралию.

Катя не выдержала и заметила:

— Вы думаете, что о приходе революции вас предупредят? Так не бывает.

— Предупреждать, разумеется, никто не будет, — согласился Пустаи. — Но здесь я уже научился кое-чему и знаю, что оттуда, где большевики поднимают голову, лучше подоро-поздорову убраться.

Сельская дорога вела к железнодорожной станции. Вирани предложил немного погулять по лугу, что раскинулся за железнодорожным полотном. Но Катя, сославшись на усталость, попросила идти прямо на станцию и там ждать поезда.

— Давайте здесь и простимся, — сказала она. — Вам нет никакого смысла идти дальше, и так на обед опоздали.

Чувствовалось, что ей просто-напросто хочется поскорее отделаться от наших провожатых. Но они все же довели нас до самых путей.

Выяснилось, что поезд придет через десять минут, и это сразу же улучшило Катино настроение. Расстались с земляками мы так, словно были очень довольны встречей с ними.

— И все же, если вы надумаете переселиться в лагерь, мы будем рады вас видеть, — сказал Вирани, прощаясь с нами.

— Спасибо, — ответила Катя, — но лучше без этого.

— До свидания! — попрощался я. — А то, может, и до встречи в Венгрии.

— Ох, и сильно же я проголодалась, — призналась Катя, когда мы уселись в вагоне и развязали свой узелок с провизией. — Хотя, откровенно говоря, от твоих друзей у меня сначала даже аппетит пропал.

— А от меня нет? — спросил я. — Говорят, что друзья никогда не надоедают.

— Да, но какие они тебе друзья?

В мышеловке

Прехав в город, мы пешком пошли к монастырю. Заборы вдоль главной улицы были заклеены плакатами с крупными буквами. Нас заинтересовало, что на них написано.

Комендант города полковник Степанов извещал жителей о том, что с сегодняшнего дня никто не имеет права выезжать из города без специального пропуска, подписанного им собственноручно. Все старые пропуска, независимо от того, кем они были подписаны, объявляются недействительными.

Для нас с Катей это означало, что мы стали узниками Удинска.

— Оторвин оказался прав, — с горечью заметил я. — Теперь я действительно не знаю, как быть.

— Не стоит сразу же опускать руки, — приободрила меня Катя. — Полковник тоже человек. Завтра утром пойдем к нему, покажем справку хилокского коменданта и попросим разрешения на выезд из города.

— А как же будет с постановлением о военнопленных?

— Каждый закон имеет исключения. Я уверена, что полковник не откажет нам в пропуске.

Но я не разделял оптимизма жены, потому что был уверен, что полковник прикажет меня арестовать и отправить в лагерь для пленных или же посадит в тюрьму. И в то же время ничего не оставалось, как идти к нему.

У полковника Степанова

На следующий день мы пошли к полковнику Степанову. Он оказался симпатичным седоволосым мужчиной лет сорока пяти. Полковник сидел за письменным столом и перебирал какие-то бумаги.

Жена рассказала, зачем мы пришли, и попросила выдать нам пропуск на выезд из города. Она хотела показать ему разрешение, полученное нами в Хилоке, но полковник даже смотреть не стал. Выдвинув ящик стола, он достал какую-то бумажку и, протянув ее Кате, сказал сухим, безразличным тоном:

— Прошу вас, ознакомьтесь с этим. Больше я вам ничего не скажу. Приказ этот распространяется на всех.

Катя машинально прочла бумажку. Это было то самое воззвание, которое мы прочитали на заборе по дороге.

— Мы уже читали это воззвание, господин полковник, но ведь из всякого правила бывают исключения. Этот приказ, видимо, направлен против беглых пленных, а также против лиц, которые ведут враждебную пропаганду среди населения. Но оба эти случая не имеют никакого отношения к моему мужу. У меня же одно желание — чтобы он остался в Хилоке.

— Я живу в Хилоке уже полгода, все меня там хорошо знают. Никакой политической деятельностью не занимаюсь, даю уроки иностранных языков, — заговорил я.

— Если вы заберете моего мужа, — не отступалась Катя, — то поставите в затруднительное положение не только его самого, но и всех тех граждан, которые берут у него уроки языка, и в первую очередь меня, поскольку я навсегда связала с ним свою жизнь. У вас, дорогой господин полковник, наверняка есть жена, которая вас любит. Так будьте же великодушны и пойдите навстречу просьбе любящей женщины.

Таким тоном с полковником, видимо, никто не разговаривал. С удивлением выслушал он Катю и долго не знал, что ответить. Но вот он заговорил, и я понял, что тактический маневр Кати оправдался.

— Обязанность военных, сударыня, заключается не в том, чтобы думать, а в том, чтобы выполнять приказы старших. Я очень уважаю ваши чувства, но не могу сказать вам ничего другого: ваш супруг должен вернуться в лагерь. Поскольку у меня нет приказа на его арест, я выдам вам обоим пропуск на выезд из города. Но хочу предупредить вас во избежание неприятностей как для вас, так и для вашего мужа: будет лучше всего, если вы посоветуете ему побыстрее уладить все свои дела и добровольно явиться в один из лагерей для военнопленных. Больше я вам ничего не скажу.

Взяв из рук Кати мое хилокское разрешение, он на обратной стороне написал разрешение на выезд из города, скрепив его печатью.

Катя с чувством поблагодарила его, добавив:

— Обещаю вам, господин полковник, что я воспользуюсь вашим советом и мой муж в течение двух недель явится в лагерь.

— Я не устанавливаю вам срок, — заметил полковник, — но еще раз, в ваших же собственных интересах, советую обязательно сделать это. — И, не сгоняя с лица официального выражения, он пожал нам руки, сказав: — Всего вам хорошего!

— До свидания, господин полковник, — сказала Катя и очень мило улыбнулась.

Суровый полковник не сдержался, лицо его расплылось от удовольствия.

— Ну как, доволец ты мной? — спросила меня Катя, когда мы вышли из здания комендатуры.

— Ты была великолепно, — ответил я. — Я очень рад, но неужели ты действительно думаешь, что через две недели я явлюсь в лагерь!

— Глупенький, ради бога, не волнуйся, об этом не может быть и речи. Я и не собираюсь отпускать тебя от себя. К слову, когда я говорила полковнику о хилокских гражданах, я подумала, что они могут написать письмо в комендатуру с просьбой, чтобы тебе разрешили жить в Хилоке и преподавать иностранный язык. Через две недели ты сам пошлешь по почте эту просьбу в военную комендатуру.

— Гениально, — заметил я. — Под вопросом остается только одно: найдутся ли желающие написать такое прошение.

— В этом я не очень уверена, но мы выиграем время. А это очень важно. Пока рассмотрят прошение, пройдет месяц, а то и целых три. Ну, а еще что ты хочешь спросить?

— Сколько я тебя знаю, я в первый раз слышу, чтобы ты упоминала бога.

— Видно, я ошиблась, ты не маленький, а большой дурак. Разве ты не знаешь, что каждый говорит на том языке, каким он владеет? Если бы полковник был большевиком, тогда бы он ссылался на Маркса или на Ленина. Еще что скажешь?

— Сказал бы, да боюсь, что сочтешь меня за еще большего дурака. Когда ты под конец обворожительно улыбнулась полковнику, у меня так сердце и сжалось.

— А это, мой дорогой, уже не дурость, а настоящее идиотство. Если бы полковник попросил поцеловать его, я и это сделала бы ради тебя.

Странная супружеская пара

Поезд уходил в шесть утра, но из-за комендантского часа мы ушли на станцию еще вечером. Часов в восемь мы вошли в ресторан второго разряда. Он одновременно служил залом ожидания и теперь был набит до отказа.

Стоя возле своих вещичек, мы с любопытством разглядывали пассажиров.

Наше внимание привлекла не совсем обычная пара: худой старик низенького роста и совсем молодая симпатичная женщина, пышущая здоровьем. Мужчина сидел за столиком, а женщина то и дело сновала около него: приносила ему чай, поправляла подушку под головой, уговаривая его хоть немного вздремнуть. Лицо ее дышало любовью, когда она с обожанием смотрела на этого странного старичка.

— Любопытная пара, — заметила Катя. — Интересно, кто они такие? Неужели муж и жена? Такая разница в летах.

— Это исключено, — сказал я. — Можно представить, что

молодая женщина любит пожилого мужчину, но только не такого. Ему уже за семьдесят, а ей — самое большее двадцать. По тому, как она ухаживает за стариком, можно предположить, что это его дочь или даже внучка.

— Вовсе нет, — не соглашалась Катя. — Молодой мужчина никогда не полюбит старуху, но молодая женщина может любить пожилого мужчину за ум или за характер.

— Возможно, — улыбнулся я. — Вот когда ты состаришься и будет тебе лет пятьдесят, тогда я найду себе молоденькую девушку, которой нравятся старики.

Вместо ответа Катя погрозила мне.

В половине шестого объявили прибытие поезда. Все бросились к своим вещам. Мы вышли на перрон. Утро было свежее. Мы прохаживались взад-вперед между чьих-то чемоданов и вдруг в нескольких шагах от себя снова увидели странную пару. Когда мы проходили мимо, старик обратился к нам:

— Извините, пожалуйста, за навязчивость. Меня зовут де Миняч. А это госпожа де Миняч, — представил он нам молодую женщину. — У меня к вам просьба: не согласитесь ли вы сесть с нами в один вагон. Тогда мы заняли бы одну полку.

— Охотно, — согласился я.

Предложение было очень неожиданным, но лучших попутчиков мы все равно не нашли бы. И по выражению лица Кати я видел, что она рада этому знакомству.

Значит, и тут Катя была права: это супружеская пара.

Старик признался, что мы показались им самыми подходящими попутчиками, потому он и обратился к нам.

— Видите ли, — продолжал он, — когда человек едет в поезде на значительное расстояние, ему далеко не безразлично, кто будет находиться рядом с ним в вагоне. Особенно, если человек слишком стар, а жена у него слишком молода. Мы, извольте знать, молодожены, не прошло и месяца, как мы поженились. Мне кажется, вы тоже находитесь в таком же положении, не так ли?

— Не совсем так, — ответил я. — Мы женаты вот уже два месяца.

Лицо старика так и засветилось от радости.

— Это же превосходно! — с воодушевлением воскликнул старик по-французски.

Когда же я сказал ему, что тоже говорю по-французски, он обрадовался еще больше.

— Значит, я не ошибся в своем предположении. Я говорил об этом супруге. Правда, дорогая? Увидев вас, я как раз сказал ей, что мне кажется, если я заговорю с вами по-французски, вы меня прекрасно поймете. По-русски я говорю очень скверно, хотя живу здесь уже давно.

Я утешил старика, сказав, что и сам неважно говорю по-русски, поскольку по национальности я венгр.

Все это привело старика в восторг.

Когда мы сядились в вагон, я помог им внести чемоданы. Нам постеснялось занять всю нижнюю полку.

Старик еще очень долго не мог успокоиться и шумно восторгался тем, как ему повезло, что судьба свела его с такими хорошими людьми, которые к тому же такие же молодожены, как и они.

Пока обе женщины доставали пледы и готовили постели, старик успел кое-что рассказать о себе. Оказалось, что родом он из Парижа, по профессии — преподаватель музыки, много лет подряд был директором консерватории в Челябинске. Там он и «открыл» Александру Ивановну. Это была его ученица. С таким голосом и талантом, что, по убеждению старичка, со временем из нее получилась бы певица с мировым именем. В довершение всего он, овдовевший несколько лет назад, влюбился в нее. Шурочка тоже полюбила его, и они поженились. Он хочет увезти Шурочку в Европу, где она будет учиться у лучших педагогов. Со временем он сделает из нее замечательную артистку. Сначала они едут в Париж, где он познакомит Шурочку со своей семьей (сын старичка — пианист, живет в Париже, там же живет и его замужняя дочь). Потом они поедут в Италию, где Шурочка продолжит свое образование.

— Мне восемьдесят лет, — сказал в заключение старичок. — Если в течение тех нескольких лет, которые мне еще осталось прожить, удастся сделать из Шурочки настоящую артистку и обеспечить ее будущее с материальной стороны, я могу спокойно умереть с сознанием того, что обо мне с любовью и благодарностью будет вспоминать создание, дороже которого у меня нет никого на целом свете. Возможно, что вы сочтете меня эгоистом и обвините в том, что такой старик отнимает у девушки самые лучшие ее годы, но видит бог, что я не сделал бы ни шага, если бы не был убежден в том, что Шурочка тоже любит меня. Когда я умру, она будет в самом расцвете лет и найдет достойного человека, с кем захочет связать свою жизнь.

Слова старика произвели на меня большое впечатление, но я не был убежден в его правоте. И, только внимательно рассмотревшись к молодой женщине и увидев, с какой нежностью и заботливостью она ухаживает за мужем, я начал верить, что на свете может быть и такое чудо.

— Ну, кто был прав? — спросила меня Катя, когда наши попутчики уснули. — Более счастливую супружескую пару невозможно себе даже представить.

— Я не сомневаюсь в том, что в настоящий момент оба они счастливы, но, если бы ты знала, как я рад тому, что нашел тебя раньше, чем мне исполнилось восемьдесят...

— Глупенький ты! — Катя сжала мою руку.

Поздним вечером поезд прибыл в Петровский Завод, и я, схватив два чайника, побежал за кипятком. На перроне меня остановил какой-то офицер.

— Ваши документы? Вы кто, военнопленный? — строго спросил он.

Я откровенно ответил, кто такой и как сюда попал, показал разрешение Оторвина и разрешение полковника Степанова. Коротко рассказал о своей поездке, добавив, что если мне не выдадут разрешение на постоянное жительство в Хилоке, то я сам приду в лагерь.

Видимо, моя откровенность понравилась офицеру.

— Хорошо, — произнес он, возвращая мне мои справки. — Но я советую вам именно так и поступить, иначе вы можете попасть в скверное положение. Когда будете ехать обратно, явитесь ко мне.

Козырнув, офицер пошел дальше.

«Чудак, — подумал я о нем. — Уж не думает ли он на самом деле, что его слова могут убедить меня вернуться в лагерь. И зачем мне нужно являться к нему на обратном пути?»

Вернувшись в вагон, я рассказал о случившемся.

Катя ничего не сказала, лишь печально посмотрела на меня и погладила по лицу.

На Александру Ивановну очень подействовал мой рассказ.

— Ужасно, — проговорила она, и на лице ее появилось такое выражение, словно в лагерь для интернированных собирались бросить ее и мужа.

— Ни в коем случае не оставляйте свою жену, — посоветовал мне старичок. — Если два человека нашли и полюбили друг друга — это самое главное на свете.

— Все это так, но военнопленному, находящемуся в лагере, не положено иметь никакой жены, — с улыбкой заметила Катя.

— Тогда вам нужно бежать! В Китай или в Японию, и там дождитесь, пока утихомирится в Европе. За хорошие деньги наверняка можно достать заграничный паспорт.

— Достать-то можно, — согласился я. — Да вот денег-то у нас нет.

— Если дело только за этим, я охотно дам вам взаймы. Хотите, в русских рублях, хотите, в долларах. Когда вернетесь в Венгрию и у вас появятся деньги, перешлете Александре Ивановне.

— Я вас сердечно благодарю, монсеньор, за вашу любезность, но есть у нас и еще одно препятствие. Это, пожалуй, главное: мы не хотим уезжать ни в Китай, ни в Японию. Я венгр, а моя жена русская. И жить мы готовы или в России, или в Венгрии, но ни о Китае, ни о Японии не может быть и речи.

— И не нужно там жить, — не ушмался старик. — Переждите там до конца войны, а уж тогда решите, возвращаться к себе на родину или же поселиться где-нибудь на Дальнем Востоке. Там столько всевозможной работы, что европеец без труда может там прожить и в то же время остаться европейцем. Можно ходить в театры, на концерты, в гости, на балы. Я не раз бывал в Шанхае и в других городах, там везде есть большие колонии европейцев.

Я невольно вспомнил Ласло Худеца. Интересно, добрался ли он до Шанхая? Если добрался, то ему там, наверное, понравится. Но мы с Катей совершенно другие люди, и нам нужна иная жизнь.

Я попытался объяснить старику, что мы тоже любим и театр и музыку, но мыслим совершенно иначе. В революции мы видим не только ужасы и потому не собираемся убежать от нее и прятаться от борьбы за новую, лучшую жизнь.

Однако все мои старания оказались напрасными, старик не понимал меня, словно я говорил по-китайски.

— Когда у человека такая жена, как у вас, мой молодой друг, вам нужно любить ее, а не заниматься политикой; пусть политикой занимаются те, у кого нет более интересного дела.

Я ничего не ответил старику, лишь прижал к себе голову Кати и поцеловал ее в губы: пусть старик видит, что одно не мешает другому.

Хорошие люди

В Хилок мы приехали поздно вечером. На следующее утро я пошел к Оторвину и рассказал ему о безрезультатности своей поездки в Удинск.

— Ну вот видите, молодой человек, — сказал он, покачав головой, — не послушались, что вам говорили, и совсем запутались. Что же вы теперь намерены делать?

Я поделился с ним своими планами относительно коллективной просьбы жителей.

— Попробовать, конечно, можно, но вряд ли частная просьба возымеет действие. Вам, пожалуй, лучше обратиться в земство.

Посоветовавшись с Катей, мы решили испробовать оба пути. На следующий день я обошел всех своих учеников, в первую очередь железнодорожников. Все без исключения согласились подписать любое прошение, касающееся меня.

Председателем земской управы был некто Спиридонов, член партии эсеров. При большевиках у него было много неприятностей, и потому можно понять его отношение к ним. Обо мне же ходили слухи, что я симпатизирую большевикам. Катя сначала попыталась подействовать на Спиридонова через дядю Федю, но Спиридонов и слышать не хотел о том, чтобы помочь мне.

— Ничего, ничего, — успокаивала меня Катя. — Попытаемся пойти другим путем.

Считая дело безнадежным, я даже не стал спрашивать у нее, что это за «другой путь». Были написаны две просьбы: одна от имени моих учеников, которых я учил языкам (бумажку подписали даже те, кто давно бросил учиться у меня), и вторая от имени их родителей.

Прошла целая неделя. О земстве мы больше не говорили. И вот однажды Катя пришла домой с сияющим лицом:

— Вот бумага, в которой земство просит разрешить тебе постоянное жительство, ссылаясь на то, что без тебя нельзя организовать изучение иностранных языков в местной школе.

— Как ты этого добилась? — удивился я.

— Очень просто, — ответила она. — Хорошая русская половица говорит: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Ста друзей у меня, правда, нет, а вот несколько есть. После неудачи с дядей Федей я обратилась за помощью к Никифору Андриановичу. Он старый друг Спиридонова и при красных оказал ему большую услугу. Правда, Спиридонов сначала не соглашался, но Никифор Андрианович не отступился от него до тех пор, пока прошение не было подписано. Теперь-то ты убедился, что за человек Никифор Андрианович?

Теперь, имея на руках три прошения, я отправился к Оторвину за пропуском на выезд из Хилока.

Оторвин принял меня приветливо.

— Ну, передумали? Теперь-то вы поняли, что вам будет лучше на западе?

Я протянул ему все бумаги, надеясь, что теперь-то удинский комендант обязательно выдаст мне разрешение на жительство.

Оторвин бегло просмотрел прошения и махнул рукой:

— Ну что же, если вы так настойчивы, я выдам вам пропуск, но только если что случится, пеняйте на себя.

И он тут же выписал мне пропуск и, прежде чем подписать, прочитал его вслух.

— Так хорошо будет?

— Конечно, — ответил я. — Благодарю вас от себя и от жены.

Оторвин уже взял ручку, но в последний момент остановился, подумал немного и вдруг разорвал написанное. Затем достал другой листок и что-то написал на нем.

— Слушайте меня внимательно, дружище. Я вижу, вы с женой готовы наделать глупостей. В этом я вам не помощник. Нет никакого смысла трогаться с места, пока этого не требуется. Прощения отошлите по почте, а сами сидите дома.

И он протянул мне листок бумаги, на котором было напи-

сано, что он, подпоручик Оторвин, заместитель коменданта, разрешает мне временно проживать в Хилоке, пока не последует особого распоряжения.

Удивленный до крайности, я поблагодарил его за доброту.

— Не стоит благодарности. Будь вы на моем месте, я уверен, вы поступили бы точно так же. Словом, мы квиты. Но если бы вы знали, как охотно я поменялся бы с вами местами! Уважайте свою супругу и берегите себя. Однако, к сожалению, все мы под богом ходим, а в последнее время это не самая надежная защита. Ну, будем надеяться на лучшее. Всего вам хорошего и привет вашей супруге.

Мы пожалали друг другу руки и расстались.

Прошения были отправлены в Удинск по почте в тот же день.

Осип Кузьмич остается в Хилоке

С приходом белых из Хилока уехали все большевики, кроме Муржановского, которого арестовали и увезли в Макавеевку. Я был уверен, что остальным удалось благополучно скрыться. Каково же было мое удивление, когда я встретился на улице с Еременко! В первый момент я даже растерялся. Всем было хорошо известно, что он большевик. Осип Кузьмич сам когда-то объяснял мне, что перед приходом белых всем большевикам необходимо исчезнуть.

Из разговора выяснилось, что он действительно на несколько недель выезжал из Хилока. Жена всем говорила, что он уехал в Харбин за покупками, но там серьезно заболел и попал в больницу. Разумеется, этому мало кто верил, считая, что он где-то бродит по тайге с партизанами.

— Но кому-то и здесь нужно остаться, — объяснил мне Осип Кузьмич. — Паровозные машинисты и белым нужны. А среди машинистов у нас все были большевиками, кроме трех, так что рано или поздно белые все равно обратились бы к нам. Так оно и оказалось. Они все время надоедали моей жене, чтобы она уговорила меня вернуться: мне, мол, ничего не будет. Снова буду работать на паровозе, дам только подписку, что не стану заниматься политикой.

— И вы дали подписку? — спросил я.

— А почему бы и нет? — хитро подмигнул мне Осип Кузьмич. — Не дурак же я, они и знать ничего не будут.

Мы находились неподалеку от дома Осипа Кузьмича.

— Я не буду, как прежде, приглашать вас заходить ко мне почаще, потому что ни вам, ни мне от этого ничего хорошего ждать не приходится, но уж раз мы оказались у самого дома, то на этот раз зайдите, попьем чайку.

За чаем выпили по рюмке водки. Говорила в основном Анна Ивановна, и из ее рассказа я понял, что Маша Еременко

занималась контрабандой и была связана с высокопоставленными семеновцами, которые помогали ей и с которыми она делила барыши. Именно благодаря этим связям, а не недостатку машинистов обязан был Осип Кузьмич своей свободе.

В новой квартире

В страхе перед белыми многие железнодорожники бежали из Хилока, оставшихся замучили сами белые, и теперь несколько домов осталось без хозяев. Пимарчук, живший в доме дяди Федя, получил наконец квартиру. Таким образом, дядя Федя перебрался в свой собственный дом, а освободившуюся квартиру предложил занять нам.

— Это очень хорошо, — обрадовалась Катя. — В нашем огромном помещении, где нет даже печки, мы все равно на зиму остаться не сможем. А сложить печь нам не по карману.

Переехали мы очень быстро, и вечером с бутылкой водки к нам на «новоселье» заявился дядя Федя.

Выпив три стопки, он «обрадовал» нас, что нам придется платить за квартиру за месяц вперед.

Вечером, когда мы остались одни, Катя вдруг разрыдалась.

— Что с тобой, дорогая? — бросился я к ней. — Разве здесь, в этой маленькой квартирке, нам не лучше, чем в том сарае, среди чужих?

— В том-то вся и беда, — сквозь слезы отвечала Катя, — что именно сейчас, когда нам бы спокойно жить да жить, над нами занесен дамоклов меч, который может упасть на нашу голову в любой момент.

— Лучше всего радоваться тому, что есть, и не думать о том, что произойдет завтра.

III. Я СНОВА СТАНОВЛЮСЬ ПЛЕННЫМ

Новое назначение Оторвина

Не было ни малейшего сомнения, что Оторвин откровенен со мной, но далеко не все зависело от него. Не прошло и недели, как он сам исчез из Хилока. Спустя несколько дней дядя Федя сообщил, что Оторвин переведен в Макавеевку.

— А жаль, неплохой человек был, — сказал в заключение дядя Федя.

Во всем Забайкалье не было человека, который не слышал бы о существовании макавеевского лагеря смерти. В этом лагере содержались рабочие, подозреваемые в принадлежности к партии большевиков, а также те, кто был связан с партиза-

нами, скрывавшимися в тайге. В лагере заключенных истязали до тех пор, пока они не признавались или не умирали под пытками. Ходили слухи, что никому еще не удавалось выйти из макавеевского лагеря живым.

Вот туда и направили Оторвина на должность офицера. Для него это было равносильно гибели, ведь в случае отказа от назначения он сам попал бы в число заключенных, а согласиться стать убийцей — значило со временем возненавидеть самого себя.

Эта повесть меня очень огорчила, а Катя весь вечер проплакала.

Странный арест

Жалея Оторвина, мы, разумеется, думали только о его трагедии, но уже утром почувствовали, что его отъезд из Хилока и мне ничего доброго не сулит.

Мои опасения оказались ненапрасными. Через два дня к нам заявился полицейский и приказал мне следовать за ним.

Он отвел меня в железнодорожную полицию, и там мне сообщили, что я арестован и под конвоем буду отправлен в березовский лагерь для пленных.

Сначала я хотел протестовать и заявить, что, как военнопленный, подчиняюсь только военному коменданту, а не полиции, но, подумав, я понял, что ни к чему хорошему это не приведет. Чтобы чего-нибудь добиться от этих людей, их надо не злить, а разжалобить.

— Видите ли, господин фельдфебель, — начал я, — у вас в руках власть, и вы можете сделать со мною что хотите. Но подумайте, какой смысл арестовывать меня и под конвоем отправлять в лагерь? Ведь пленных держат в заключении только для того, чтобы они не сбежали. А вы, господин старшина, хорошо знаете, что я и не помышляю ни о каком побеге. Известно вам и то, что я и моя жена добиваемся для меня разрешения на жительство здесь.

— Мне никто ничего не говорил. — Невдах протянул мне какую-то бумагу.

Это был приказ коменданта Верхнеудинска немедленно арестовать меня и направить в березовский лагерь для военнопленных. Приказ был подписан полковником Степановым. Прочитав, я понял, что упрашивать Невдаха бесполезно, и думал только о том, как бы мне предупредить Катю. Но совершенно неожиданно Катя сама появилась на пороге.

— Напрасно вы пришли ко мне, Екатерина Васильевна, — извиняющимся тоном заговорил Невдах, не дожидаясь, пока Катя что-нибудь скажет. — Поверьте, от меня ничего не зависит.

— Да, знаю, — сказала Катя. — Федор Павлович объяснил мне. И я не собираюсь уговаривать вас не выполнять приказ,

но, поскольку вместе с мужем поеду сама и сделаю все возможное для того, чтобы его отпустили обратно, есть ли смысл отправлять его под конвоем? Я могу заверить вас, Тимофей Иванович, что от меня он никогда не убежит, даже если захочет. Но я очень хорошо знаю, что он и не думает ни о каком побеге. Если моего честного слова вам недостаточно, то Федор Павлович готов поручиться за нас обоих.

— Я не против вашего предложения, Екатерина Васильевна, но боюсь, как бы беды из этого не вышло. Я дам вам печатанный пакет, и вы передадите его лично начальнику лагеря в Дивизионной.

— Спасибо, Тимофей Иванович.

— Не за что благодарить, Екатерина Васильевна, — ответил фельдфебель. — Поезд будет только утром, так что можете идти домой. А часов в пять зайдете за бумагами.

По дороге домой Катя рассказала, как она, узнав, что меня забрали, сразу же помчалась к дяде Феде, поскольку подозревала, что это его рук дело. Ему, казалось Кате, не очень-то нравился наш брак. Может, это он и уговорил Невдаха упрятать меня в лагерь? Все это Катя откровенно высказала дяде Феде. Старик не на шутку обиделся: оказалось, что он даже обещал Невдаху водки, муки и денег, только бы тот оставил меня в покое. Невдах ответил, что, будь у него такая возможность, он сделал бы это ради дяди Феде и его близких и безо всяких подарков, но все дело в том, что у самого Невдаха слишком много врагов и недоброжелателей. Тогда Катя решила уговорить фельдфебеля не отправлять меня хотя бы под конвоем.

— Мы поедем с тобой вместе и еще раз попробуем что-нибудь сделать, — сказала она, улыбаясь сквозь слезы.

— Хорошо, поедем, — ответил я. — К сожалению, ничего нового в голову не приходит. Как был пленным, так им и останусь.

Знакомство с Марией Павловной

Наш поезд опоздал, и только в семь вечера мы прибыли в Удинск.

— Не знаю, стоит ли сразу ехать в Березовку, — сказала Катя. — Раньше чем в половине девятого мы туда не доберемся. До лагеря идти с полчаса, а переночевать на станции вряд ли удастся. Самое умное, что можно сделать, — это переночевать здесь, а утром ехать дальше на рабочем поезде.

Катя ненадолго оставила меня одного. Минут через пять она подбежала ко мне в сильном возбуждении.

— Какое счастье! — радостно заговорила она. — Оказывается, здесь мама! Бери вещи, и пошли скорее.

Катя рассказала, что на перроне она встретила знакомого

начальника станции, который сообщил ей, что вечерним поездом приехала в Иркутск Мария Павловна. Сейчас она уехала в монастырь к матушке Фотине.

— Теперь нам никак нельзя ехать дальше. Сначала познакомимся с мамой. В монастырь мы сейчас не попадем, потому что после восьми часов вечера ни один мужчина не может находиться на территории монастыря. Но начальник станции сказал, что в городе есть гостиница. Сейчас в ней хозяйничают военные. Попытаемся на ночь устроиться там.

Наняв извозчика, мы отправились в гостиницу. Катя договорилась там с дежурным офицером, и нас устроили на двое суток.

Постель в номере оказалась жесткой, а клопов — видимо-невидимо. Но тогда для нас это не имело значения.

С утра мы уже были в монастыре. Нам сказали, что Мария Павловна находится в келье матушки Фотины.

Много красивых женщин видел я, но такую красоту встретил впервые. Я остоленел, увидев Катину мать.

Не тщеславие и не гордость говорит во мне. Она была истинной красавицей. Это подтверждает и высказывание двух иностранцев, которые побывали в этих местах и видели Марию Павловну. Известный шведский путешественник Свен Гедин в книге «От Пекина до Москвы» описывает свое путешествие из Тибета в Европу, восхищаясь Марией Павловной, «молодой украинской красавицей», которая работает в ресторане на станции Верхнеудинск. Эта «молодая украинская красавица» и была моя теща. Когда Свен Гедин встретился с Марией Павловной, ей было уже за пятьдесят.

Вторым очевидцем красоты Марии Павловны был один английский полковник, который весной 1919 года проезжал через Хилок. Полковник зашел пообедать в станционный ресторан и увидел за стойкой Марию Павловну. Увидел и не смог отвести взгляда. Между первым и вторым блюдами полковник подошел к Марии Павловне и обменялся с ней несколькими словами. Десерт он заказал прямо за стойкой, а за чашкой кофе уже делал красавице предложение. Полковник объяснил, что он два года назад овдовел. У него есть взрослый сын и дочь, но сам он одинок. Мария Павловна сочла предложение полковника за шутку, но его намерения были серьезны. Он решил задержаться на несколько дней, здесь они поженятся, а затем, уже как супруги, поедут дальше, в Англию, где и будут жить. Полковник был богатым аристократом.

Мария Павловна любила блеск и богатство, но все же не поехала с полковником в Англию. Она была православной христианкой и свою родину и веру не собиралась менять ни за что на свете...

Я смотрел на эту прекрасную женщину и не верил своим глазам. А Катя уже повисла на шее матери.

Когда через несколько минут они отпустили друг друга, Мария Павловна снова посмотрела на меня, и глаза наши встретились. Я сделал несколько шагов навстречу, но она, словно не замечая меня, прошла мимо. Подошла к двери, опустила руку в кропильницу, стоявшую у двери, и, повернувшись, остановилась напротив меня. Сотворив крестное знамение, она брызнула святой водой мне в лицо.

— Не исчезает, — произнесла она, пожав плечами, потом, улыбнувшись, подошла ко мне и поцеловала в губы.

— Представьте себе, как я обрадовалась, когда Маруся неожиданно-негаданно приехала в монастырь, — рассказывала матушка Фотина. — Шутка ли сказать, не виделись четыре года! Обе, как малые дети, расплакались. Я даже не сразу сказала ей, что Катя вышла замуж.

Оказывается, Мария Павловна дала Кате телеграмму, чтобы та приехала в Удинск встретить ее. Сама же в душе надеялась, что, быть может, Катя вышла замуж и придет встречать вместе с мужем.

— Если у тебя есть такое желание, так оно уже исполнилось, сказала я ей, — продолжала матушка Фотина. — Но она расплакалась еще сильнее. Не знаю отчего: то ли оттого, что Катя замуж вышла, то ли оттого, что муж у нее не православный и они не венчаны, как положено, в церкви. Я ей сказала, чтобы пеняла на себя, сама так воспитала дочь. Помню, когда Катя впервые приехала из Петербурга на каникулы, она и тогда не ходила в церковь.

— Это так, мама, — сказала Катя, глядя Марию Павловну по лицу. — Андрей ни в чем не виноват. Он хоть и другой веры, но я сама не хотела, чтобы он пошел со мной в церковь.

Только теперь я понял смысл окропления святой водой: без венчания в церкви я сделал ее дочь женой, вот она и проверяла, не сатана ли я.

Эта красивая женщина была очень набожной и верила в приметы.

Из разговора с матерью Кати мы узнали, как она из Советской России попала в центр Сибири, занятой белыми. С середины лета Мария Павловна служила в красных частях, сражавшихся на Урале. В августе она заболела и попала в больницу в Нижнем Тагиле, где ее оперировали. Через несколько дней после операции Нижний Тагил захватили белые. Мария Павловна решила сразу же после выздоровления поехать к Кате в Хилок, но, когда ее выписывали из больницы, ей предложили работать старшей сестрой в белой армии. Сославшись на нездоровье, она отказалась.

— Села в поезд и доехала до Иркутска. Остановившись в городе на два дня, я зашла в Дом медсестер, председателем

которого была когда-то, и выхлопотала там для себя пенсию. Получив причитающуюся мне компенсацию, я приехала сюда, — закончила свой рассказ Мария Павловна.

Затем, позабыв обо всем другом, она заинтересовалась нашими делами. Причем делала она это так, будто ее дочь жила в незаконном браке, ломала себе голову над тем, как бы помочь нам, чтобы мы не расставались. Она начала уговаривать нас вообще не ездить ни в какую Березовку, а вернуться в Хилок. Она поедет вместе с нами и все уладит с Невдахом. Оказалось, что Мария Павловна долгое время, пока Невдах был на фронте, помогала его жене и двум маленьким детишкам, а жили они тогда в большой нужде и часто болели.

Когда же мы объяснили ей, что при всем своем желании Невдах ничем помочь нам не может, так как он получил приказ, который обязан выполнить, у Марии Павловны появился новый план: вместе с ней мы поедем в Иркутск, где у нее есть хорошие связи в кругу военных. И она с легкостью все уладит.

Стоило большого труда убедить ее, что Катя дала Невдаху честное слово, которое нельзя нарушить. С другой стороны, с помощью местных властей всегда легче добиться желаемого, чем где-нибудь в верхах.

— Хорошо, — согласилась Мария Павловна. — Я еду в Березовку вместе с вами. Уж я-то знаю, как нужно разговаривать с такими начальниками.

Эта мысль мне понравилась. Я надеялся, что такой красавице никто не посмеет отказать в просьбе. Зато Катя была категорически против.

— Нет-нет, сначала заявимся мы вдвоем, — сказала она. — Будет очень странно, если за Андрея станут ходатайствовать сразу две женщины. Да и я попаду в неудобное положение, так как в бумаге числюсь «сопровождающей». Сначала я попробую что-нибудь сделать сама. Если же мне ничего не удастся, тогда начнешь действовать ты, мама.

— Ладно, идите вдвоем, — согласилась Мария Павловна. — Я хочу вам только добра.

Может, это не так, но я подумал: ей не очень понравилось, что мы отказались от ее помощи.

Ужинали в монастыре рано. За ужином Мария Павловна еще больше молчала, предоставив говорить нам. Лишь в самом конце ужина она вдруг оживилась и поторопила нас кончать с едой и чаем — пора было идти в гостиницу. В этот момент матушку Фотину зачем-то вызвали из комнаты, а Мария Павловна все говорила и говорила.

— Молодоженам в такое время уже пора быть в постели, — многозначительно закончила она.

Эти слова показались мне не очень уместными, и, зная Катину чувствительность, я испугался, что она обидится или смутится. Но Катя пропустила слова матери мимо ушей.

Встав из-за стола, мы попрощались и ушли к себе в гостиницу.

Полковник Комаров

Утром мы с Катей поехали в Березовку. Я решил, что, придя в лагерь, сразу же разыщу Вирани и Пустай и расспрошу их, к кому именно мне следует обратиться. Они наверняка знают и проводят меня. Катя же об этом и слушать не хотела.

— Я полагаю, будет лучше, если мы обойдемся без их помощи. На этот раз в роли просительницы буду выступать я, а не ты.

В канцелярии мы узнали, что начальник лагеря — некий полковник Комаров. Говорили, что он неплохой человек.

Подождав минут десять в приемной, мы попали к полковнику.

Это был невысокий симпатичный человек лет пятидесяти с седеющими волосами. Будь он в гражданском костюме, я принял бы его за преподавателя гимназии или провинциального служащего. Катя объяснила ему цель нашего прихода и, как жена и русская подданная, попросила для меня разрешения на жительство, заверив, что будет нести за меня любую ответственность.

— Если нужно, — добавила она, — мой муж, как венгерский офицер, даст вам честное слово, что не будет пытаться бежать.

Полковник внимательно выслушал Катю, просмотрел мои документы и только потом сказал:

— Не волнуйтесь, сударыня. К сожалению, вы очень неудачно оформили свое дело. Если бы вы написали в документах, что ваш муж австрийский пленный, а не венгерский офицер, возможно, кое-что и можно было бы сделать. Но согласно недавно полученному нами распоряжению мы не имеем права отпускать из лагеря ни на какие работы ни венгров, ни пленных офицеров. Сделать это можно лишь с личного разрешения командующего Иркутским военным округом. Я охотно помог бы вам, но не могу.

— Простите, господин полковник, — не успокаивалась Катя, — что вы подразумеваете под личным разрешением командующего Иркутским военным округом? Значит ли это, что такое разрешение можно получить, или это всего-навсего вежливый намек, что разрешения вообще получить невозможно?

Полковник заулыбался:

— Я не могу сказать вам ничего определенного. Поезжайте в Иркутск и попытайте счастья. Такое распоряжение отдано ге-

нералом Антоновым, командующим военным округом, и только от него зависит судьба вашего супруга.

— А мой муж тоже может поехать со мной в Иркутск? — спросила Катя.

— Он должен остаться в лагере, — решительно заявил полковник. — Если вы получите в Иркутске соответствующее разрешение, никто не помешает вам забрать своего супруга обратно.

— Господин полковник, — не сдавалась Катя, — завтра вечером я уезжаю вместе с матерью, у которой в Иркутске есть хорошие связи среди военных, разрешите моему мужу провести этот день в Удинске. Я вам гарантирую, что послезавтра утром он будет у вас.

— Не возражаю, — согласился полковник. — Но обращаю ваше внимание на то, что, если молодой человек послезавтра сам не явится ко мне, я прикажу его разыскать и арестовать. И тогда ему уже не поможет никакое разрешение.

— Благодарю вас, господин полковник, — сказала Катя. — И не извольте беспокоиться.

Мария Павловна начинает действовать

Добравшись до монастыря, мы рассказали Марии Павловне о разговоре с Комаровым.

— Ничего страшного не произошло, — сказала она. — Мы с Катей завтра поедем в Иркутск. Правда, генерала Антонова я не знаю, но знакома со многими другими, например с генералом Бондаренко, украинцем. Когда я останавливалась в Иркутске, я виделась с ним, а он занимает какой-то очень высокий пост. Достаточно будет одного моего слова, и он поговорит с Антоновым. Андрей пусть спокойно отправляется в лагерь. Больше недели он там не пробудет.

Мне лично это дело не казалось таким простым.

— Все это очень хорошо, — заметил я, — но где вы достанете документы?

— О, будьте спокойны! Я готова ко всему, — ответила Мария Павловна и вытащила какие-то бумаги.

Это оказались всевозможные справки и свидетельства: в некоторых говорилось о том, что она работала в течение трех лет в царской армии и при Керенском, что ее сын офицер. Другие справки, а их она держала в самом потайном месте своей сумочки, удостоверяли ее заслуги на службе у красных.

— Хорошо, вы сможете проехать с такими документами, но как вы провезете с собой Катю?

— Это совсем нетрудно. Все эти бумажки — только вспомогательные документы. Самое главное — это мой паспорт. В него Катя вписана как дочь. Правда, паспорт этот выдан давно, но в нем нигде нет пометки, что печать в продлении срока действия не распространяется и на Катю.

— Мама такой человек, что ее нелегко поймать на чем-нибудь, — засмеялась Катя.

— А теперь пошли в трапезную, — сказала Мария Павловна. — Сестры ждут нас к ужину.

По-моему, не было никакой необходимости в том, чтобы и Катя ехала в Иркутск. За ужином я высказал эту мысль и пообещал, что завтра же схожу в лагерь и посмотрю, быть может, и ей удастся где-нибудь там пристроиться.

— Ты что, с ума сошел?! — испуганно воскликнула Катина мама. — Такую красавицу, такую королеву завести в логово к голодным мужчинам! Неужели ты не боишься, что тебя убьют, а жену твою просто украдут?

— Ну что ты, мама! — запротестовала Катя. — Скажешь такое!

— Кому, как не мне, знать это! Я ведь четыре года пробыла в армии. Солдат даже от присутствия женщины теряет голову. Я представляю, каково пленным, которые вообще не видят женщин. Чтобы женщина могла быть независимой среди солдат, она должна хорошо знать их, уметь разговаривать с ними на их языке, как я. Катя пусть едет со мной. Несколько дней вы уж как-нибудь проживете друг без друга, а потом опять будете вместе.

Вечером следующего дня мы пришли к восьми часам на станцию в надежде, что Катя с матерью уедут ночным поездом. Вскоре из Читы пришел вне всякого расписания эшелон с чешскими солдатами, который должен следовать в сторону Иркутска.

— Подождите немного, — сказала Мария Павловна. — Пойду посмотрю, может, договорюсь с офицерами.

Вскоре она вернулась, сказав, что в офицерском вагоне ее встретили очень вежливо, а когда она показала свои документы, охотно предложили ей и ее дочери отдельное купе.

— Только будь поскромнее, — посоветовала она Кате, — смотри не проговорись, что ты замужем и что твой муж венгр.

Я не хотел, чтобы они ехали этим поездом, и попробовал отговорить их, но Мария Павловна только рукой махнула.

— Я ведь пошутила, глупый. Можешь быть совершенно спокоен, это настоящие господа. А мы с Катей будем осторожны.

Я, разумеется, не мог похвастаться спокойствием.

Среди друзей

Всю ночь я просидел в зале ожидания, а утром первый же рабочий поезд увозил меня в Березовку.

От предыдущей встречи с Вирани у меня остался неприятный осадок на душе, но я все же счел целесообразным обра-

тяться к нему за помощью и потому сначала разыскал барак, где он жил.

Вирани очень обрадовался моему приходу:

— Все дороги ведут в Рим! Я очень рад, что ты будешь с нами.

— Благодарю, — сказал я. — Может, я огорчу тебя, но надеюсь, что пробуду здесь недолго.

И я рассказал ему, что прощение мое уже находится в пути, и, если все обойдется хорошо, через несколько дней буду на свободе.

— Тем лучше для тебя, — согласился Вирани. — Пусть исполнятся твои желания. Нечего и говорить, как я тебе завидую. Но я рад и тому, что хоть несколько дней мы проживем вместе.

Пленные офицеры занимали огромные одноэтажные бараки, разделенные на отдельные боксы. В каждом боксе была страшная теснота: кровати стояли вплоты одна к другой. Более того, кое-где вместо кроватей стояли простые нары. В маленькой каморке жили четыре офицера: двое из них спали на кроватях, а двое на нарах, устроенных над ними. Между кроватями стоял продолговатый столик.

В боксе, где жил Вирани, свободного места не оказалось, поэтому меня устроили через три бокса от него.

— Спать ты будешь там, — объяснил Вирани, — а днем приходи к нам. Я скажу на кухне, чтобы они давали нам на одну порцию больше. Для порядка заявишь о своем приходе в канцелярию. До обеда еще далеко, но чаем тебя сейчас напоят. В каждом бараке чай кипятят на своей печке.

Вскоре один из пленных принес целый чайник кипятку.

— Хлеба, к сожалению, у нас нет, — словно оправдываясь, сказал Вирани, — получаем его понемногу. К тому же он так плохо выпечен, что его и есть-то можно, только как следует высушив. Вот черные сухари у нас есть.

— Спасибо, уж лучше я вас угощу, — предложил я и жестом волшебника выложил на стол буханку белого хлеба, масло, сыр, копченую рыбу и джем.

Пленные вытаращили глаза, словно произошло какое-нибудь чудо.

Мне даже стало немного неловко оттого, что я так живу, в то время как для моих товарищей даже черный хлеб — деликатес.

— Гениально! — с воодушевлением воскликнул Вирани.

Остальные пленные не сразу пришли в себя от удивления.

Во время еды все были так заняты, что почти ничего не говорили, только похваливали что-нибудь из еды. Наевшись, мы закурили и разговорились.

Меня буквально закидали вопросами о том, как живут русские, но разговор, к моему удивлению, велся только на две темы: о женщинах и о еде. Сейчас, когда все наелись, вторая те-

ма сама собой временно отошла на второй план. Разговор зашел о моей жене и нашей супружеской жизни, но я откровенно заявил, что не намерен касаться этого. Тогда заговорили о женщинах вообще. Заметив, что я и об этом говорить не желаю, вернулись к первой теме. Сначала друзья расспросили меня о том, каковы в Хилоке дела с питанием, потом сами рассказали, как они живут в лагере.

— Только ты не подумай, что мы тут голодаем. У нас есть своя кухня, из которой мы получаем обед и ужин. Питание, конечно, не первоклассное, но жить все же можно. Обед у нас бывает в час, а после обеда мы сведем тебя в кофейную. Представь себе, у нас даже это есть. Там ты за собственные денежки можешь получить чашечку настоящего кофе и съесть такое пирожное, какое в Пеште бывает в кондитерской у Хауера или Августа.

— А где вы достаете продукты? — поинтересовался я.

— Когда как, — ответил Вирани. — Капусту, крупы, картофель и мясо мы получаем от русских: правда, с мясом дела обстоят не ахти как хорошо, так как его и у русских мало. Рис, сахар и муку покупаем у японцев.

— У японцев? — удивился я. — А как они сюда попали?

— Тайфун их сюда принес, а вслед за ними появились и американцы. Большевики провозгласили лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Разжигайте революцию в своих странах, свергайте буржуев!» А буржуи оказались умнее: они не агитируют, а бросают свои вооруженные отряды на подавление революции. Наш лагерь в настоящее время состоит из четырех частей. Часть кирпичных зданий занята японцами, другая часть — американцами. Нас же затолкали в эти бараки как селенок в бочки. Это еще ничего, а если бы ты заглянул в троицкий лагерь, где содержатся пленные красноармейцы, так увидел бы там не двух-, а трехэтажные нары. А все бараки там огорожены колючей проволокой. Тот лагерь мы так и называем: «красный парк». Выйти из него можно только по специальному пропуску. В этом лагере несколько тысяч человек, большей частью венгры. Есть еще три лагеря, пленные из них могут свободно выходить за лагерную территорию, но соприкоснуться друг с другом всем им строго-настрого запрещено. Правда, запрет этот никто не соблюдает. Например, с японцами мы ведем такую торговлю, что чертям тошно.

— А чем же вы с ними расплачиваетесь? — полюбопытствовал я.

— Деньги их не интересуют, — отвечал Вирани. — Им нужны картины, на которых нарисованы голые женщины или какие-нибудь пейзажи. Самая лучшая валюта — это картины и открытки с голыми женщинами. Правда, за картину, на которой нарисована женщина в чем мать родила, дают вдвое меньше, чем за картину, на которой самые интересные места у жен-

щипы чем-нибудь прикрыты. Расплачиваются японцы рисом или сахаром. Не меньшим спросом пользуются и забайкальские пейзажи. Никогда в жизни пленные не тянулись так к живописи, как тут: если кто-нибудь хоть немного рисует, с утра до вечера сидит и малюет пейзажи или полуголых женщин.

Обед был неплохой, правда не очень обильный. Подали щи, в которых плавал небольшой кусочек мяса, и гречневую кашу. Поскольку мы уже до этого хорошо поели, обеда нам вполне хватило.

После обеда рассказ Вирани о торговле с японцами был подтвержден на практике. Как только стемнело, вокруг барачков появились японцы. Некоторые зашли в наш барак.

— Кокан! Кокан! — слышалось то тут, то там.

— Что они кричат? — спросил я.

— Это они предлагают меняться чем-нибудь, — объяснил мне Вирани.

— Надес-ка? — обратился он к японцу и, повернувшись ко мне, пояснил: — Я его спросил, что он продает?

Один японец достал из сумки бутылку, другой — небольшой сверток. Но тут кто-то из пленных увел японцев к себе в блок.

Часа в четыре Вирани и его товарищи повели меня в лагерную кофейную.

Я не раз видел лагерные кофейные, но таких мне еще не приходилось видеть. От удивления я даже рот разинул. Это был самый обыкновенный барак, только без всяких перегородок внутри. Огромное помещение с множеством окошек, заставленное столиками различной величины. Вдоль одной стены протянулась стойка, уставленная всевозможными яствами.

Мы сели за столик. Тут же появился официант и спросил, чего мы желаем.

— Заказывай что хочешь, сегодня ты мой гость, — сказал Вирани. — Но лучше подойдем к стойке, там и выберешь.

Мы подошли к стойке, и у меня в глазах зарябило от удивленного. Чего там только не было! Всевозможные пирожные и напитки: коньяк, ликер, виски, водка — и чудо из чудес — мандарины и апельсины, которых я не пробовал вот уже четыре года.

Сев за столик, мы кое-что заказали.

— Все это великолепно, — восторгался я. — Но откуда у вас деньги? Не думаю, чтобы за столь большое количество муки, масла и сахара можно было расплатиться одними порнографическими рисунками и картинками с пейзажами. И вообще, откуда у пленных такие деньги, чтобы посещать эту шикарную кофейную?

— Попробую тебе все объяснить. Ты увидишь, что никакого колдовства тут нет, — засмеялся Вирани. — Картинки с голыми женщинами и пейзажами — это, конечно, пустяки, за них можно приобрести килограмм муки да литр спиртного. Для кофейной же мука, сахар покупаются центнерами, а напитки — целыми ящиками. На что, спросишь ты? Сейчас скажу. У кофейной есть свой капитал, а у японцев — свой. Кофейная эта — дело рук группы пленных офицеров, которые давно занимаются всякими спекуляциями. Они покупают и продают все, что попадется им под руку и имеет ценность. До этого каждый из них торговал сам по себе, теперь же они вложили сообща свои деньги в эту кофейную. Что же касается клиентуры, то в настоящее время ты вряд ли найдешь пленного, который жил бы только на те шестьдесят рублей, которые он получает. Их едва хватает на то, чтобы не помереть с голоду, на один хлеб и то мало. У большинства пленных имеется какой-нибудь побочный заработок: один продает часы, другой рисует, третий мастерит какие-то шкатулки. Словом, так или иначе, а у каждого водятся деньжонки. О рядовых я уж и не говорю, они все работают. Сейчас, когда на работы вне лагеря отпускают неохотно, в самом лагере созданы кое-какие мастерские. Деньги у людей есть, так что два кондитера, работающие в кофейной, едва успевают выпекать различные кондитерские изделия.

Пока мы разговаривали, какой-то человек подошел к нашему столику.

— Руди Кёнич! — радостно воскликнул я, подняв на прищельца глаза.

Мы обнялись.

Руди был мой хороший друг. Он, как и я, изучал право, только готовился не к практической работе, а к научной, чем очень гордился. Его специальностью было то, что мы в то время называли «политикой». Это был какой-то винегрет из социологии, философии, государственного права и кто знает чего еще. Работой Руди руководил один клерикальный профессор с крайне реакционными взглядами, который написал на эту тему два огромных тома. Зарекомендовав себя с положительной стороны, Руди остался у этого профессора на должности адъюкта. От своего учителя, однако, Руди отличался абсолютно противоположными взглядами. Он не был социалистом и принадлежал к группе интеллигентов, которые называли себя марксистами. Их библией был «Капитал» Маркса, только они не замечали, что Маркс занимался политикой и был революционером. Было непонятно, как старый профессор-реакционер держит при себе этого молодого человека. Когда мы встретились и познакомились с ним в военном училище, я спросил его об этом.

— Если крепость очень сильна, ее трудно штурмовать снаружи, ее необходимо подорвать изнутри.

Оказывается, Руди, учась в университете, был настоящим артистом своего дела. Профессор не имел ни малейшего представления о его крамольных взглядах, зная только, что Кёнич — один из его лучших учеников. А Кёнич жил все это время мыслью со временем «освободиться от ига реакционных идей». Работая у профессора в течение нескольких лет, он основательно излагал свои взгляды молодежи, а сам тем временем писал свой политический учебник. Он решил, что, как только станет преподавать самостоятельно, сразу же издаст этот учебник и объявит открытый бой представителям реакционных взглядов.

— Из сложившейся ситуации возможны три выхода, — объяснял мне тогда Руди. — Или старика профессора хватит удар, или он уйдет на пенсию, или меня выгонят из университета. Но ничего, главное, что книга останется, и тогда я продолжу борьбу.

Я очень сомневался в реальности планов Руди и сказал ему об этом. В течение нескольких месяцев, пока мы были вместе, не прекращались наши споры, однако, несмотря на все, я полюбил тогда этого парня.

Поэтому понятна моя радость, когда я его увидел. Сначала мы даже не знали, о чем говорить. Оба растерялись и некоторое время молчали.

— Как ты сюда попал, дружище? — нарушил молчание Руди. — Вот приятная неожиданность! Мне говорили, что ты в иркутском лагере, я тебе даже два письма послал, но ответа не получил. Значит, тебя перевели сюда? Чудесно!

Я в нескольких словах рассказал ему свою историю.

— Иди присаживайся к нам. Есть о чем поговорить! — предложил я.

— Нет. Не сейчас, дружище... Поговорим потом. Если не сегодня, то завтра. — Он еще раз крепко пожал мне руку и, уйдя в противоположный угол кофейной, сел там за стол один-одинешенек.

Поведение Руди показалось мне очень странным. Нетрудно было догадаться, что он не дружил ни с Вирани, ни с его друзьями.

— Вы что, не в ладах с Руди? — спросил я Вирани. — Из одного полка, а не дружите.

— Как же, как же, — смутился Вирани. — Ты же знаешь, люди бывают разные. Руди совсем не такой, как мы.

Мне было непонятно, кого он подразумевал под словом «мы» — себя, меня или своих друзей, и почему он считает Руди совсем не таким человеком. Я решил пока не расспрашивать об этом, надеясь, что при случае Руди сам мне обо всем расскажет.

После ужина Вирани предложил сходить во вторую половину барака, где жили другие однополчане.

— Они прослышали, что ты приехал, кое-кого из них ты наверняка знаешь.

Кроме Вирани из нашего полка в этом лагере было еще шесть человек, но из них я был знаком только с Пустаи.

Моя личность интересовала их всех прежде всего потому, что я долгое время прожил на свободе, и теперь они смотрели на меня, как на какого-нибудь диковинного зверя.

— Ну, и как же ты прижился в этой чужой стране? — спросил меня один франтоватый старший лейтенант. — Как вытерпел среди этих полудиких людей?

— Не болтай!.. — разозлился я не на шутку. — Вы все еще живете этими сказками. Не поняли до сих пор, что русские такие же, как и мы, люди, только говорят на другом языке.

— А их культурный уровень, что ты об этом скажешь? — спросил меня один офицер. На нем не было формы, но представился он мне лейтенантом. Был он не брит, в грязной русской гимнастерке и брюках. — Я, например, ну никак не могу представить, как это культурный человек по доброй воле может жить среди азиатов.

Я пытался убедить их, что уровень русской культуры ничуть не ниже, чем наш. Говорил о том, что Россия, как и Венгрия, отсталая страна и в экономическом, и в культурном отношении. Объяснял, что есть отрасли, где мы опередили русских, но есть и такие, где они оставили нас далеко позади.

— Например? — спросил мужчина с небритым лицом и скривил рот. — Оч-чень любопытно.

— Что ни говорите, — продолжал я, — а русские, несмотря на свою отсталость, первыми в мире осуществили у себя в стране социальную революцию.

Это было равносильно взрыву гранаты.

— Вот ты как заговорил! — воскликнул старший лейтенант, который, как я заметил, был у них заводилой. — Словом, из тебя уже сделали большевика. Это, разумеется, твое личное дело. Только одного я не понимаю, как после всего этого ты попал к нам в лагерь? Я и мои товарищи, насколько мне известно, стоим за старый буржуазный порядок.

— Большевиком и я не стал, — отвечал я, — ну, а что симпатизирую им — так это факт. Сюда же я попал не по своей воле и, если будет возможность, скоро уйду отсюда.

Больше на эту тему спорить не хотелось, но оказалось, что нам, собственно, и разговаривать-то не о чем.

— Мы согласны не говорить о политике, но с тем условием, что ты расскажешь нам о своих любовных похождениях до женитьбы и после нее.

Я рассердился, сказав, что не подобает офицеру задавать подобные вопросы.

— Мы не интересуемся твоей интимной жизнью с женой. Об этом не может быть и речи, — словно оправдываясь, сказал офицер. — Но ведь до женитьбы ты целых полгода жил один, на свободе. И можешь меня не убеждать, что все это время ты жил как затворник. Это здесь-то, где женщины так нестойки. Думаю, ты не пропустил ни одну и после того, как женился.

Я стал прощаться с офицерами, а они, увидев, что я и не собираюсь удовлетворять их любопытство, не удерживали меня.

Вместе со мной пошел и Вирани.

— Мне кажется, ты не прав. Так относиться к ним нельзя: они твои товарищи и коллеги по лагерю.

— Надеюсь, ненадолго, — сказал я и, пожав Вирани руку, пошел в свой бокс.

Утром, когда я проснулся, все еще спали. Я оделся, вышел во двор и неподалеку от барака увидел Руди Кёнича.

— И ты, Брут! — обрадовался я. — Оказывается, не один я такая ранняя птичка!

Мы бродили возле барачков, и я решил узнать, почему он вчера не присел за наш столик.

— Это общество не для меня, — серьезно ответил Руди. — Здесь, в лагере, люди, как и везде, самые разные. Одни из тех, кто крутится вокруг Вирани, — откровенные антисемиты, другие — тщательно скрывают это, то есть тайные антисемиты. Их-то я и причисляю ко второму виду.

— Брось ты, не может этого быть! — удивился я.

Невольно вспомнился разговор с Муржановским, происшедший несколько месяцев назад. Выходит, венгры ничем не отличаются от поляков!

— Ты что, не веришь? — спросил Руди. — Они не только есть, но и всегда были. У нас в Венгрии, и в первую очередь в Будапеште, до войны только делали вид, что такой проблемы нет. Война кроме всех прочих бед и несчастий разбудила в людях дух антисемитизма.

— И ты спокойно терпишь это? И не от кого-нибудь, а от своих однокашников?

— О, меня это уже давно не беспокоит. Я спокойно пишу свою книгу. Помнишь, я тебе так много рассказывал в Сольноке? Правда, мне очень не хватает библиотеки, но все же дело двигается. Окончательно я отшлифую ее дома.

— Может, ты и прав, — заметил я и рассказал Руди о своем вчерашнем разговоре с однополчанами.

— Да, когда у нас на родине начнется революция, а она начнется скоро, эти офицеры будут делать то же самое, что вытворяют здесь белые: расстреливать рабочих и преследовать каждого прогрессивно думающего человека.

— Но что же тогда станет с твоей книгой?

— Этого никто не знает. Если бы человек работал только тогда, когда он твердо уверен, что его труд не пропадет, тогда был бы невозможен никакой прогресс. На все нужно смотреть так, будто мы не знаем, что в будущем нас ждут более тяжелые испытания.

Некоторое время мы шли молча, потом Руди снова нарушил молчание:

— Знаешь, старина, если тебе и мне посчастливится попасть домой, нам наверняка придется пережить там много странного. Если только мы доживем до этого.

Забегая вперед, скажу, что, вернувшись двадцать семь лет спустя в Венгрию, я совершенно случайно встретился с журналистом Серени (мы встречались с ним в березовской кофейной), и он рассказал мне, что, когда в 1921 году Руди Кёпич вернулся в Венгрию, в стране свирепствовал «христианский курс». В ту пору он, разумеется, и мечтать не мог о том, чтобы попасть в университет. Попробовал устроиться преподавателем в среднюю школу, но тоже безуспешно. С большим трудом ему удалось устроиться на должность простого писаря в одной торговой фирме, занимающейся экспортом и импортом. Более двадцати лет он занимался письмами, с тем чтобы хоть как-то прожить с женой и тремя детьми. В 1944 году вся семья Кёнича была увезена нацистами неизвестно куда, и с тех пор о них никто не слышал.

Утром меня вызвали в комендатуру, где я должен был доложить о своем прибытии в лагерь капитану Краснову.

— Это простая формальность, — заметил Вирани. — Ничего страшного.

Но Вирани ошибся. Капитан не стал задавать мне анкетных вопросов. Больше всего его интересовало, как я попал в Хилок и чем там занимался. Я отвечал ему, что давал уроки языка, женился, политикой не занимался. Капитан выслушал меня, но было видно, что он не поверил ни одному моему слову.

Хорошо, что я еще догадался умолчать о том, что рассматриваю свое пребывание в лагере временным.

— Женильба — это ваше личное дело. И разумеется, вашей жены, — заметил капитан. — Только вы просчитались. Видимо, понадеялись, что война скоро кончится и вы уедете в Венгрию. Но что скажет ваша жена, когда вас вместе с другими пленными увезут за тысячу километров отсюда, где вы просидите три-четыре года, пока война на самом деле не кончится? Но, как говорят, расхлебывайте кашу сами. — Капитан махнул рукой, показывая, что разговор окончен.

Я рассказал Вирани о своем визите. Он рассмеялся:

— Все, что говорил капитан, пустое. Никуда нас перевозить не будут: это стоит больших денег. Они ведь тоже не дураки, чтобы попусту сорить деньгами, когда сами прекрасно знают, что все это не может долго продолжаться. Просто капитан решил тебя немного попугать.

Я почему-то не разделял оптимизма Вирани, с тревогой думая о том, что будет, если миссия Кати и ее матери окончится неудачей, а меня действительно перевезут в другое место. Ведь капитан не высосал из пальца мысль о перемещении лагеря.

Вечером того же дня выяснилось, что мои опасения не были напрасны. Пленные, работавшие в комендатуре, принесли известие, что наш лагерь ликвидируют: бараки нужны японцам, которых становится все больше. Пошли разговоры о том, что скоро сюда придут и японские войска, а всех пленных офицеров перевезут на Русский остров, паходящийся в Тихом океане, недалеко от Владивостока, и что отправка начнется уже в следующий понедельник.

Офицеры восприняли это известие по-разному.

— Вряд ли это будет что-нибудь хорошее, — говорили они.

— Лишь бы только уехать отсюда, — твердили другие. — Надоело здесь до чертиков. Хуже там будет или лучше — все равно, лишь бы на новом месте.

Что же касается меня, то я с еще большим нетерпением ждал возвращения Кати. Ведь успех ее поездки был сейчас для меня особенно важен.

Через три дня, вечером, я пришел на станцию, чтобы, как мы договорились, встретить поезд из Иркутска.

Поезд прибыл, но ни Кати, ни ее матери не было. Правда, я не был твердо уверен, что они приедут именно этим поездом, но все же тешил себя мыслью, что увижу Катю. В лагерь я возвращался печальный.

На следующий день повторилось то же самое. Я попробовал успокоить себя тем, что какое-то непредвиденное обстоятельство повлияло на Катини планы, — например, генерал заболел, или два дня до этого его дочь вышла замуж, или же у него появился внук или внучка, и потому Катя с матерью не смогли встретиться с ним. Однако это не успокаивало.

«Нет, видно, случилось несчастье, — думал я. — Не может быть, чтобы Мария Павловна не попала на прием к генералу. Если бы она побывала у него и добилась разрешения, они были бы уже здесь. Вывод напрашивается один — разрешения нет».

На следующий вечер я снова был на станции. Когда поезд подходил к вокзалу, я увидел в дверях одного вагона Катю. Она махала мне. Я подбежал к вагону, чтобы помочь ей выйти, но она позвала меня в вагон. Мария Павловна тоже была здесь.

Катя так торопилась, что даже не поцеловала меня.

— Поезд здесь стоит всего одну минуту, — сказала она. — Нужно быстро решить, что нам делать. Разрешения мы не получили. Генерала в Иркутске нет, приедет он только через две недели.

Кате удалось узнать, что генерал выдал разрешение на жительство одному пленному венгерскому офицеру, женившемуся на русской.

— Уж если кто-то получил такое разрешение, то нет никакого сомнения, что и мы его получим, — заявила Мария Павловна. — Дело осложняется только тем, что березовский лагерь ликвидируют. Но на этот счет у меня есть одна идея. За ужином я вам ее расскажу.

Новые планы Марии Павловны

В монастырь мы приехали как раз к ужину. Надо было торопиться, потому что часы показывали почти семь, а не позднее восьми мне нужно было покинуть стены монастыря. Пока мы ужинали, сестра Ангела сходила к знакомому казаку, чтобы договориться о нашем с Катей ночлеге.

Первый план Марии Павловны заключался в том, что мне вообще не следует возвращаться в лагерь. Она сама поговорит с полковником Комаровым.

— Я убеждена, что быстро договорюсь с ним, — заявила она. — Или мне удастся уговорить полковника выдать Андрею разрешение на жительство, или же Андрею никуда не нужно будет ехать отсюда до тех пор, пока мы еще раз не съездим в Иркутск и не привезем оттуда разрешения. За свою жизнь мне приходилось разговаривать не с одним офицером, но я еще не помню случая, чтобы мне отказали в просьбе.

От этого варианта мы с Катей сразу отказались, потому что не собирались нарушать слово, данное полковнику. Мать Кати чуть-чуть обиделась, но вскоре у нее возникла новая идея.

— Может, нам вовсе незачем ехать за этим самым разрешением. Пусть Андрей едет с остальными пленными. Нет ничего интереснее, чем видеть новые места.

Такой неожиданный поворот настолько удивил меня, что мы с Катей даже не поняли, серьезно говорит Мария Павловна или смеется над нами.

— Словом, вы предлагаете мне расстаться с Катей? — спросил я, закипая. — Ведь в эшелон, в котором повезут пленных, ее наверняка не возьмут.

— Я и сама не хочу, чтобы вы расстались навсегда или на долгое время, — начала объяснять Мария Павловна. — Этот остров, как я знаю, совсем недалеко от Владивостока. Если ты постарайся, то попадешь во Владивосток раньше других.

Такому интеллигентному человеку, который к тому же знает несколько иностранных языков, совсем нетрудно будет устроиться в городе. А тогда и Катя придет к тебе. Вы будете спокойно там жить. Можете даже навсегда туда переехать. Там вы не будете отрезаны от всего мира, как здесь, да и от меня тоже... Я всегда могу навесить вас, тем более что никогда не была во Владивостоке.

— Наверное, мамочка, вы и сами не думаете об этом серьезно, — запротестовал я. — Неужели я по своей воле соглашусь уехать куда-то на край света и оставлю Катю здесь одну? И чего мы не видали в этом Владивостоке? По-моему, необходимо предпринять все меры к тому, чтобы я пока остался в Березовке. Если же не удастся, тогда другое дело. Но сам я голову в петлю не суну.

— Тогда едем все втроем в Иркутск! — предложила вдруг Мария Павловна. — Андрея никто разыскивать не будет. Далеко от центра города, за Ангарой, живет один мой хороший знакомый, по фамилии Лавров, заместитель начальника станции. Он будет рад, если мы неделю-другую погостим у него. Там дождемся приезда генерала. То, что Андрей покинет лагерь без разрешения, пустяки, о которых не стоит и говорить. Раз он едет со мной, я беру на себя всю ответственность.

Решающее слово было за Катей.

— Ни в какие авантюры мы не ввязываемся, — заявила она. — Завтра утром мы вместе с Андреем поедem в Березовку, где расскажем Комарову, как обстоят дела. Затем попросим полковника, чтобы он не отправлял Андрея вместе с остальными. Если же он не согласится, я пока поживу у матушки Фотины. А когда Андрея будут увозить, поеду вместе с ним. Если мне не разрешат жить с ним в черте лагеря, я поселюсь где-нибудь поблизости и буду жить там до тех пор, пока его не отпустят на свободу или не отправят в Венгрию. Я всегда буду с ним.

Мария Павловна ничего не ответила на это, только скорчила недовольную гримасу.

Комаров находит выход

Утром мы с Катей были в Березовке. Полковник Комаров и на этот раз принял нас любезно и внимательно выслушал Катю. Она попросила, чтобы полковник разрешил мне две недели пожить в Хилоке. Когда Катя поедет в Иркутск, я вернусь в лагерь и буду ждать результатов.

Но оказалось, что полковник, к сожалению, не может выполнить нашей просьбы.

— Приказ есть приказ, — сказал полковник. — И пока он не отменен, его следует выполнять. Ваш муж должен находиться в лагере,

— Это еще ничего, — не успокаивалась Катя, — но нам стало известно, что всех пленных из лагеря на днях отправят далеко на восток, на остров Русский. Но если моего мужа вместе с остальными пленными увезут в новый лагерь, все наши планы рухнут. Скажите, нельзя ли под каким-нибудь предлогом оставить его здесь? Мы слышали, что отправят не всех.

— Это так, — ответил полковник. — Человек тридцать из тех, кто работают в канцелярии, на почте, в госпитале или в лагерном магазине, останутся здесь. Единственное, что я могу сделать, — это взять вашего мужа в помощники писаря и тем самым не включать его в списки уезжающих. Но в лагерь ему все равно нужно будет переселиться.

— Не могу вам даже выразить, господин полковник, как мы благодарны вам за вашу доброту. В то же время ваша доброта дает мне смелости просить вас еще об одном: разрешите моему супругу три дня, пока пленных не отправят, пожить со мной. Как только эшелон с пленными отойдет от Березовки, он явится в лагерь. Господин полковник, я думаю, вы поймете...

— Хорошо, хорошо, — перебил Комаров Катю. — Я вас понимаю. Можете спокойно ехать в Удинск на четверо суток. Я тоже когда-то был молодым! Сегодня пятница, эшелон уходит в понедельник. Ваш муж должен явиться в лагерь во вторник. Надеюсь, вы не поставите меня в неудобное положение.

— Можете быть спокойны, господин полковник, — с сияющим от счастья лицом заверила Катя. — Если бы мой супруг не был человеком слова, я бы развелась с ним.

— Тогда мне нечего бояться, — улыбнулся полковник. — Ради такой женщины, как вы, и я бы пошел хоть в какой лагерь.

— И последняя просьба, господин полковник, только не сердитесь на меня. — Катя становилась все храбрее. — В поезде часто проверяют документы, не могли бы вы выдать моему мужу какое-нибудь удостоверение?

Полковник окинул меня взглядом и, показывая на мою меховую шапку и промасленный полушубок, какие обычно носят машинисты, сказал:

— В таком наряде он может ездить спокойно, никакого удостоверения ему не нужно.

Горечь и сладость разлуки

Три чудесных дня провели мы с Катей за рекой Удой. Будущее наше было очень неопределенным, но мы были счастливы. И даже не подозревали, что счастье это будет таким коротким. Утром в понедельник мы пошли завтракать в монастырь. Старая сестра Ефросинья сказала, что все готово: на монастырских санях вечером нас отвезут на станцию. Только тогда мы

поняли, что пришло время расстаться, и неизвестно, на какое время.

С этого момента оба мы ходили как в воду опущенные. Мать Кати, матушка Фотина и монашки были очень любезны с нами, шутили, пытались хоть немного развеселить нас с Катей, но безуспешно. Мы не принимали участия в разговоре, равнодушно слушая, что говорит Мария Павловна или матушка Фотина, и лишь изредка поддакивая им.

После вечернего чая тетушка Фотина удалилась с матерью Кати в свою келью.

Мы остались в трапезной втроем: Катя, я и сестра Ангела, которая убирала посуду.

Неожиданно сестра Ангела прекратила свое занятие и обратилась к нам со следующими словами:

— Ночью вам вряд ли придется спать. Отдохните чуть-чуть перед дорогой. В соседней комнате есть кушетка, правда не очень широкая, но Екатерина Васильевна уляжется на ней. А для Андрея Александровича найдется удобное мягкое кресло. Там вас никто не побеспокоит.

— Это превосходно. Спасибо, дорогая! — сказала Катя. Она стремительно обняла Ангелу и поцеловала в щеку.

Ангела смутилась, покраснела и, не говоря ни слова, вышла из комнаты, держа в одной руке чашку, а в другой полотенце, которым вытирала посуду.

Когда мы вышли из мрачной трапезной в светлую прихожую, обилие света на какое-то мгновение ослепило нас. Мы остановились, пока глаза привыкали к свету.

В трех шагах от нас стояла сестра Ангела и перебирала четки.

Мне никогда не забыть ее взгляда. На нас смотрели блестящие от радости глаза, и в то же время в них можно было прочесть такую печаль, что я даже испугался.

Это длилось какое-то мгновение. Заметив нас, сестра Ангела оставила четки, сцепила пальцы рук и опустила глаза.

— Извольте пройти в столовую, — проговорила она своим обычным тихим голосом. — Сейчас подадут ужин. Самовар уже поставили. Матушка Фотина и Мария Павловна сейчас придут.

Мы пошли в трапезную, а сестра Ангела исчезла в кухне.

Поезд, на котором уезжала Катя с матерью, отправлялся в полночь. С восьми вечера мы сидели и дожидались в ресторане.

Расставание с любимым человеком всегда горько. Если же оно длится несколько часов да еще в присутствии третьего человека, становится еще тягостнее.

Мария Павловна утешала нас тем, что через какие-нибудь две недели мы снова будем вместе, но это мало помогало.

Подбадривая друг друга, мы старались казаться спокойными и веселыми. Но нервы Кати не выдержали. Она разрыдалась. Когда же мы поцеловались на перроне, лицо мое было мокрым от ее слез.

— Через две недели мы вернемся! — ободряющим тоном крикнула Мария Павловна из окна вагона.

Катя молча стояла у окна и махала мне платком.

Разговор с господином Кроначком

Первый рабочий поезд отправлялся в семь утра, поэтому ночь я провел в зале ожидания. Расставание с Катей безмерно опечалило меня, и долго я ни о чем другом не мог и думать. Я сидел, погруженный в свои невеселые думы, словно окаменев, и даже не заметил, как ко мне подошел молодой человек в форме железнодорожника.

— Вы пленный, да? — спросил он.

— Я и сам теперь не знаю, кто я. Был пленным, снова не хотел бы им стать, но такая опасность мне грозит.

— Моя фамилия Кроначек, — представился молодой человек. — Я тоже был пленным, но добился себе свидания, работаю теперь на железной дороге телеграфистом.

Я назвал себя. Мой новый знакомый подсел ко мне.

— Разрешите? — спросил он, уже сев, и, вытащив из кармана серебряный портсигар, предложил закурить.

— Закуривайте, харбинские сигареты. Очень неплохие, только дороговаты. Проводники, привозящие их, в последнее время обнаглели.

Мы закурили.

— Вы чехословак? — спросил я, лишь бы что-нибудь спросить.

— Какой еще чехословак? — удивился Кроначек. — Вы не хуже меня знаете, что нет чехословаков, а есть чехи и есть словаки. Что касается меня, то я, если хотите, чех, а если хотите, немец. Или, как говорят, богемский немец, из Пильзно. Вы, наверно, слышали о пильзенском пиве? Здесь в буфете есть недурное пиво. Позвольте угостить вас?

Подозвав официанта, он заказал две бутылки пива.

— Чехи хотели зачислить меня в своей легион, но я этого не захотел. Сказал им, что я немец. К счастью, я родился в Вене. Отец мой одно время работал там официантом. Моя мать была немкой, вернее, австрийкой, а отец — чех.

Он сразу выпил полкружки и продолжал:

— Собственно, в том, что мой отец чех, есть своя положительная сторона. Когда человек ищет работу или хочет вырваться из лагеря, ему очень помогает то, что его отец чех, Благо-

даря этому мне удалось получить работу на железной дороге. Имею теперь хорошую должность и хорошую квартиру. Вы, наверно, собираетесь просидеть здесь до утра. Охотно представлю вам свою комнату на это время. Живу я как раз напротив станции. Выпьем еще по кружке, и я вас провожу, хорошо?

Я с благодарностью принял это предложение, так как чувствовал себя очень уставшим, к тому же это была единственная возможность освободиться от столь назойливого собеседника. Однако сделать это было не так легко.

— Я видел, как вы сажали на скорый читинский поезд двух дам. Обе очень красивые. Откуда они?

— Одна — моя жена, другая — ее мать. Обе из Хилока.

— Что вы говорите! Высокая красивая женщина — ваша теща? Не может быть! Жена у вас тоже очень красивая. Теща живет вместе с вами?

Чтобы поскорее закончить разговор на эту тему, я в двух словах рассказал ему о себе. Но результат получился как раз обратный.

— Если за вас будет хлопотать теща, успех обеспечен. Если она пробивная женщина, то ей достаточно в лагере поговорить с руководящими офицерами. Пригласите ее в лагерь, и я вам гарантирую, что дело будет улажено. С ее-то глазами!

Мне захотелось встать и уйти, но я счел более разумным перевести разговор.

— Вы женаты? — спросил я.

— Да, — ответил он, — даже дважды. Дома у меня есть жена и сын. А здесь я живу с одной женщиной, муж которой еще в начале войны попал в плен к немцам.

— А когда кончится война, вы вернетесь к жене или останетесь в России?

— Этого я и сам не знаю. Если бы от меня зависело, то я остался бы здесь. Правда, дома у меня тоже хорошая жена и красивая даже, но с этой мы лучше понимаем друг друга. Правда, она говорит мне, что, как только объявится ее муж, мне сразу же нужно будет исчезнуть. Вот я сейчас и молюсь, чтобы он не вернулся, ну, а если он все же вернется, я поеду домой, к жене. Сколько лет не видел ее, может, она мне какой-то новой покажется, если только она там себе кого-нибудь еще не нашла.

— А разве вам не хочется поехать в новое, независимое чешское государство?

— Я политикой не занимаюсь, а создание этого самого государства и подсказывает, что пока лучше отсидеться здесь. Видите ли, здесь уже было один раз столпотворение, люди узнали, чем это пахнет, и больше пока не захотят снова такого. А у нас такое только начинается, так что лучше держаться от этого подальше. И без нас обойдутся. Мы здесь преспокойно от-

сидимся возле здешних баб, а домой вернемся тогда, когда там все утихомирится.

— Значит, вы думаете, что белые здесь осели надолго? Но ведь в Центральной России власть у красных.

— Ах, бросьте! Где это, хочу вас спросить? В Москве — да. И больше нигде. Красные в кольце. Да и в Москве они скоро будут есть крыс, как когда-то парижане.

С чувством отвращения слушал я болтовню этого человека, не видя никакого смысла в том, чтобы спорить с ним. Господин Кроначек проводил меня к себе на квартиру. Он предложил даже лечь в его постель, но я предпочел старый диванчик, постлав под себя одно одеяло и накрывшись другим.

Кроначек ушел, сказав, что вернется в шесть утра.

— А пока приятных вам сновидений!

IV. ДВА ЧУЖИХ МИРА

Холодный прием

В лагерь я пришел ровно в восемь. Зная, что раньше десяти в канцелярии все равно никого не будет, я зашел в будку, в которой никого не было, и, положив свои вещи, сел на топчан.

Мои невеселые думы были о Кате. Долгое время, несколько месяцев, а то и лет, мне предстояло провести вдали от нее.

В десятом часу я пошел в канцелярию.

Неприятное известие ожидало меня: пока мы были в Удипске, полковника Комарова перевели на работу в другое место.

Это намного затруднило мое положение. Новый начальник лагеря наверняка ничего обо мне не знает и может отправить меня вместе с эшелонам пленных.

Во всяком случае, следует узнать, не сделал ли Комаров что-нибудь для меня.

Я подошел к столу, за которым сидел симпатичный молодой прапорщик, и рассказал ему о Комарове и его обещании.

— Я знаю, — ответил прапорщик. — Вы приходили сюда вместе с женой. Константин Ефимович в тот же день занес вас в список. Дело ваше улажено.

— А что я теперь должен делать? Кто даст мне работу?

— Какую работу? — удивился прапорщик.

— Ведь я буду работать в канцелярии?

Офицер рассмеялся:

— Ах, бросьте! О какой работе вы говорите? Полковник — добросердечный человек, он сделал так, чтобы вы остались здесь, и все. Что вам еще нужно?

— Ничего, — ответил я. — Меня интересует, где я буду жить и питаться.

— Оставшиеся в лагере пленные офицеры располагаются в седьмом и одиннадцатом бараках. Выбирайте любой. С питанием же дело обстоит так: пленные офицеры получают денежное содержание, на которое и питаются кто как может.

Кивком головы прапорщик отпустил меня.

В приемной я спросил у писаря, где находятся седьмой и одиннадцатый бараки. Писарь охотно ответил и поинтересовался, зачем они мне.

Мой ответ очень удивил писаря.

— Ничего умнее, чем прийти в лагерь, вы не придумали? — с издевкой спросил он. Узнав о причине моего переселения в лагерь, писарь возмутился не на шутку: — Не заслуживаете вы того, чтобы вас любили. Да если бы у меня была женщина, ушел бы с ней в тайгу, куда-нибудь на зимовку, и там дожидался конца войны, а он недалеко.

От писаря я узнал, что в седьмом бараке живут венгры, а в одиннадцатом — австрийцы. Всего в лагере осталось тридцать пленных. Одни из них выполняют в лагере какую-то работу, других оставили просто за хорошие связи с русскими офицерами. Кроме офицеров в лагере осталось несколько десятков рядовых, которые заняты на различных работах. В обоих бараках есть собственные кухни, которые готовят обеды для лагерной аристократии.

— Это не так уж плохо, — заметил я. — В одной из них и я буду питаться.

— Вы так думаете? — засмеялся мой новый знакомый. — Вы еще не знаете, что вам могут сказать: «Не суй свой нос, чесночная твоя душа!» Большой пес не подпустит к своей миске маленькую собачку.

И все же я решил попробовать.

Два солдата орудовали на кухне в венгерском бараке. Я попросил провести меня к начальнику. Один из солдат вышел в барак и, вернувшись, сказал, чтобы я подождал: господин лейтенант сейчас будет.

Минут через пять на кухне появился пехотный лейтенант в форме, лет тридцати. У него были светлые, гладко зачесанные назад волосы и франтоватые усики. Представляясь, лейтенант щелкнул каблуками.

— Рад с вами познакомиться. Чем могу служить?

Я объяснил, что хотел бы получить место в бараке и питаться на этой кухне.

Лейтенант сразу же стал серьезным.

— Очень сожалею, но вы просите невозможного. Барак так перенаселен, что даже капитаны живут по двое в комнате. Отдельные комнатухи имеют только майоры. А кухня работает более года на средства, вложенные каждым столовщиком.

Сколько вы должны вложить — даже трудно подсчитать, к тому же наши пайщики вряд ли согласятся принять вас в свой коллектив, поскольку, должен вам признаться, доставать продукты — дело очень сложное.

— Понял, — ответил я разочарованный. — Что же вы мне посоветуете делать, к кому обратиться? Я слышал, в одиннадцатом бараке у австрийцев тоже есть своя кухня. Быть может, они примут?

— Не думаю, — ответил лейтенант. — К тому же готовят они так, что вы вряд ли станете есть. Хотя подождите, вы, кажется, говорили, что служили в шестьдесят восьмом полку. Есть у нас оттуда один лейтенант, доктор Шольц. До армии он работал адвокатом в Сольноке. Он тоже здесь женился. Жена живет вместе с ним в лагере. Квартира у них в почтовом бараке. Он работает почтмейстером. В лагере он видная фигура, дружит со всеми русскими начальниками. Может, он как-нибудь втиснет вас в почтовый барак. Во всяком случае, поговорите с ним. Ну, а если что нужно от меня, обращайтесь прямо ко мне. Сделаю все, что в моих силах. А пока до свидания!

«Видно, все эти люди, — думал я, — не присутствовали на лекциях в офицерском училище, когда там говорилось о товарищеской помощи».

Потом я решил, что, если не договорюсь с австрийцами, встречусь с почтмейстером. До этого ведь я неплохо уживался с австрийцами. С ними-то у меня не было никаких недоразумений и раньше.

Старший лейтенант из Тироля — начальник австрийской кухни — принял меня по-дружески, но, услышав мою просьбу, заявил, что они, к сожалению, не могут принять на довольствие венгра.

— Только не подумайте, я ничего не имею против вас лично. Боже упаси! Мы любим и уважаем венгров. Но вы же знаете, какая сейчас ситуация. Монархии — конец. И Австрия и Венгрия будут независимыми государствами. Кухня нам будет нужна до последнего дня, потому мы и подыскиваем надежных пайщиков. Если бы вы поехали с нами в Австрию, мы безо всякого приняли бы вас, хотя вы и венгр. А иначе будет сложно с вами рассчитаться.

Ничего не оставалось, как распрощаться со старшим лейтенантом и идти искать почтмейстера.

В самом начале почтового барака располагалась кухня. Какой-то денщик разжигал печь. Когда я сказал ему, что хотел бы поговорить с лейтенантом Шольцем, солдат закричал:

— Вы что, не видите, я занят! Подождите!

Минут через пять денщик разжег печь и пошел в барак. Вернувшись, он небрежно бросил мне через плечо:

— Господин лейтенант сейчас завтракает. Они приказали подождать или зайти позднее.

Начало было не очень-то обнадеживающим. А не уйти ли мне вообще, не повидавшись с лейтенантом? Но куда?

Через четверть часа мы встретились с почтмейстером. Этот высокий худой мужчина удивленно и даже испуганно посмотрел на меня. Я представился, почтмейстер предложил мне сесть.

— Чем могу служить? — устало спросил он.

Я коротко рассказал ему о цели своего визита.

— Венгры и австрийцы, как видите, не очень-то приняли меня к себе, — продолжал я. — Никто не поймет меня так, как ты, мой коллега. У тебя русская жена, тебе повезло, ты живешь вместе с ней, поэтому прекрасно поймешь меня. Вот я и пришел к тебе.

Лейтенант слушал меня с безразличным видом, будто я обращался вовсе не к нему.

Когда я замолчал, он спросил меня:

— Скажи, а до сих пор где ты был?

Я ответил, что жил в Хилоке, преподавал языки.

— А при красных тебя не арестовали как офицера?

Эту фразу он произнес так, словно был убежден, что революция во всем Забайкалье — дело моих рук.

Я понял, с кем имею дело. Ясно, что на помощь этого человека рассчитывать не приходится. Но я решил высказать ему все, что хотел.

— Нет. Красные и не собирались меня арестовывать. Более того, они дали мне возможность честно заработать кусок хлеба, разрешили жениться. А вот белые, так те отняли у меня работу, разлучили с женой и заставили явиться сюда. И вот теперь, в кругу своих соотечественников и коллег, я рассчитывал, что меня примут, как своего товарища. Но, как видно, не только попу нужно учиться до смерти, но и пленному тоже. Прощайте, господин лейтенант.

Лейтенант Шольц не остановил меня, и я ушел, даже не подав ему руки.

Проторенной дорожкой я снова отправился в канцелярию просить коменданта лагеря принять меня.

Канцелярия оказалась запертой. У встретившегося мне пленного я узнал, что до двух часов перерыв на обед. Я сел в сторонке и, достав из мешка провизию, которую мне положила туда добрая сестра Ангела, подкрепился. Съел сыр, яйца, рыбу — все, что у меня было, оставив один кусок хлеба.

Было над чем задуматься. А что, если лагерное начальство не поможет мне устроиться? Нахально поселиться в венгерском бараке? Или еще раз поговорить с австрийцами, чтобы они хотя бы жить меня к себе пустили?

Вспомнилась Катя. В это время она как раз должна быть в Хилоке. Знала бы она, в какое положение я попал!

Неожиданно дверь отворилась, и на пороге появилась сестра Ангела. Ее приход удивил и обрадовал меня. Я хотел пожать ей руку, но она спрятала ее за спину.

— Не забудьте, что вам пора идти в канцелярию, — сказала она.

Часы показывали четверть третьего, и я, не раздумывая, отправился в канцелярию.

Лейтенант Бардош становится на мою сторону

Около часа я просидел в приемной коменданта, обдумывая свое положение. И вот в комнату вошел австрийский офицер в новеньком кителе и бриджах, с хлыстом в руках. Офицер подошел прямо ко мне.

— Лейтенант Бардош, — представился он, щелкнув каблуками. — Это ты новый венгерский офицер?

— Да, я, — ответил я и назвал себя.

— Я слышал, ты был у нас в бараке и ушел ни с чем. Я заявил лейтенанту Дёбрентей, что с тобой он вел себя не так, как подобает офицеру. К сожалению, другие офицеры поддерживали его, так что с кухней ничего не удалось уладить. У австрийцев тоже ничего не вышло. Но мы что-нибудь придумаем.

Я объяснил ему, что вынужден обратиться к коменданту за помощью.

— Не вижу никакого смысла, — решительно заявил Бардош. — Он, конечно, может пихнуть тебя в какой-нибудь барак, но ты окажешься в неудобном положении. А нашей кухни он вообще не распоряжается. Все это нужно уладить как-то иначе. Вопрос с квартирой — это не проблема. Я живу со своим другом Винтером в венгерском бараке. У нас с ним две комнатухи, мы занимаем проходную, а заднюю каморку мы закрыли и не пользуемся ею, чтобы не топить. Вот мы и возьмем тебя к себе третьим. Места хватит всем троим, тем более что мы сами не каждую ночь бываем дома. Если же к тебе приедет жена, живите на здоровье в маленькой комнатухе. Забирай свое барахло и пошли со мной. Остальное решим дома.

Я сказал, что оставил вещи в сторожке.

— Я вижу, ты, живя в этой стране, ничему не научился, — покачал Бардош головой. — Здесь за всем нужно смотреть в оба.

Когда я вышел из сторожки с вещами, лейтенант взял у меня чемодан:

— Дай, я понесу.

Мы пришли в барак, где я был утром. Просторная светлая комната с тремя окнами была почти пуста: посередине большой обеденный стол со стульями, в двух углах — кровати с тумбочками. У одной стены стоял вместительный вещевой шкаф.

Прочей «мебелью» были ящики различных размеров. Места здесь действительно хватало.

— Если не возражаешь, вот здесь и живи, мы тебе уже и матрац соломой набили. А сейчас я покажу тебе комнату для тебя и твоей жены. — Он открыл дверь в соседнюю комнату. Она была небольшая, с одним окном и совершенно пустая.

— Как только получишь известие, что жена едет к тебе, сюда поставим кровать, а комнату предварительно как следует протопим. У нас очень расторопный денщик, он и тебе будет помогать.

И чтобы подкрепить свои слова, он тут же позвал денщика:

— Тамаш, приготовь нам чаю. Этот господин теперь будет жить здесь. Немедленно поставь сюда третью кровать. Позже достанешь шкаф для белья.

Пока денщик готовил чай, мы разговорились.

— Я очень хочу познакомиться вас со своим другом Винтером. Это порядочный, тихий человек, потому я с ним и поселился. Правда, он ужасно скучный, но это не беда. Я не люблю паяцев. До войны он работал чиновником в каком-то столичном управлении, а здесь помогает зубному врачу Шольтесу. Очень хорошо зарабатывает. В Удинске плохие дантисты, так что каждый, кто может, едет в Березовку к Шольтесу. Он-то уж свое дело знает, дома еще работал зубным техником. Я познакомлю вас. Он у нас каждый вечер бывает вместе с Грюнбергом, тот работает в канцелярии. Заходят поиграть в картишки. Но основное занятие у Винтера не протезирование зубов и не карты, а ухаживание за женой начальника станции. И не без успеха.

За чаем Бардош сказал:

— В лагере вот уже несколько лет работает лазарет, где лечатся и русские офицеры и их семьи, некоторые даже из города приезжают. Главный врач лазарета доктор Гемеш, собственно, и диплома-то не имеет. С пятого курса института его забрали на фронт, но специалист он отличный. У русских он пользуется огромным авторитетом, некоторые иркутские врачи в серьезных случаях приводят к нему своих родственников. В лазарете, разумеется, имеется своя кухня, готовят превосходно. Доктор Гемеш мне друг, и вообще он человек добрый, так что возьмет вас на довольствие.

Мы еще пили чай, когда пришел Винтер. Познакомив нас, Бардош ушел договариваться к доктору Гемешу, оставив нас вдвоем.

Винтер оказался именно таким, каким обрисовал его Бардош. Спокойный, молчаливый, он был, наверное, идеальным жильцом.

Вскоре вернулся Бардош и заявил:

— Все в порядке. За ужином и обедом будешь посылать Тамаша в лазарет. А завтрак мы себе готовим сами. Кто купит в лавчонке колбасы, кто сыру или еще чего-нибудь.

В семь часов Тамаши принес ужин с кухни Бардошу и Винтеру, а потом пошел за мной.

Мы еще сидели за столом, когда появился Шольтес, а вслед за ним и Грюнберг. Более разных людей нельзя было и представить. Шольтес — высокий худощавый мужчина лет тридцати пяти — сорока, со славянским типом лица. Характер у него спокойный, как и у Винтера, но с той лишь разницей, что этот все время говорил. Анекдоты, которые он рассказывал каждые пять минут, были пустыми и глупыми. Он любил хорошо и много поесть и выпить, имел известную склонность к женскому полу. Но в присутствии женщин стеснялся рассказывать свои небылицы.

Лагерный дантист занимал три комнаты: в одной он принимал пациентов, в другой пациенты ждали своей очереди, а в третьей комнате жил он сам со вдовушкой, муж которой, капитан, погиб на фронте. Позже я узнал, что у него были в городе еще две любовницы, он навещался к ним время от времени под предлогом поездки за медикаментами.

Совершенно иным был Грюнберг. Все почему-то называли его стариком, хотя ему тоже было около сорока. Это был сильный, подвижный мужчина с острыми, как буравчики, глазами и орлиным носом. Черные волосы его сильно поредели. Умный, обаятельный и добрый, он был готов помочь любому, из любого положения мог найти выход. Особенно он любил помогать людям, попавшим в беду. Его положение писаря в капцелярии давало для этого массу возможностей.

Поужинав, мы освободили стол для игры в карты.

Я никогда особенно не увлекался картами, но переживания страстных картежников мне были понятны. Правда, наблюдать со стороны за игрой было неинтересно, поэтому, как только денщик принес мою кровать, я попрощался и пошел спать.

Под вечер следующего дня Бардош пригласил меня в кофейную.

Помещение выглядело так же, как и неделю назад, когда я был там с Вирани. Но народу в кофейной было немного. Буфет по-прежнему ломился от всяких яств.

— Людно здесь бывает в основном вечером, — объяснил Бардош. — Причем большинство посетителей — русские. Кофейную посещают все офицеры местного гарнизона.

За чашкой кофе я спросил Бардоша, чем он занимается в лагере. Оказалось, что он покупает и продает рис, сахар, муку, капусту. Покупает у японцев и продает русским; покупает у гражданских и продает военным, и наоборот. У него есть и компаньоны: высокопоставленные русские и даже японские офицеры. Так вот почему его оставили в лагере, а не отправили на остров Русский.

— Тебе мы тоже найдем какую-нибудь работу, — заявил он. — Пятидесяти рублей, что дают нам на месяц, едва хватает на то, чтобы запастись куревом на неделю, не говоря уже о питании. Думаю, тебе лучше сразу же приняться за дело.

— Спасибо, ты очень добр ко мне. А что я должен делать?

— Дело очень простое и выгодное. Из твоих слов я понял, что ты преподаватель иностранных языков. Займешься этим и здесь.

— Но кому здесь нужны уроки иностранного языка? — удивился я. — Пленным офицерам? Или русским?

— Ни тем, ни другим, — отрезал Бардош. — Некоторые наши офицеры говорят на одном из иностранных языков, а те, кто не говорит, и не подумают учиться. Но не забывай, дружище, что тут находятся японцы.

— Японцы?! — удивился я. — Не думаешь ли ты, что они хотят изучать языки?

— Это я знаю точно. Многие японцы просили меня позаниматься с ними. Завтра увидишь сам.

Мои новые ученики

Бардош сдержал свое слово. На следующий день он сказал, что ко мне зайдет японский офицер, по фамилии Накамура, из продовольственного отдела. Бардош был с ним хорошо знаком по торговым делам. Накамура говорил по-английски, а немецкий он знал плохо и хотел заняться им. После обеда Бардош обещал повести меня в барак, где живут японцы, и там познакомиться с двумя другими будущими учениками — майором Нагамота и лейтенантом Такучи. Майор хорошо говорит по-английски и хотел бы брать уроки немецкого, а лейтенант — уроки английского языка.

Накамура, крепкий невысокий японец, с неизменной улыбкой на лице, по-английски говорил хотя и не безупречно, но вполне бегло. Мы договорились заниматься три раза в неделю. Поскольку Накамура часто уезжает в Удинск, каждый его пропуск занятий засчитывается за нормальный урок. Японец предложил расплачиваться со мной не деньгами, а сахаром, рисом и другими продуктами.

Бардош предупредил меня, чтобы я не вздумал сам называть японцу количество продуктов, которых у них так много, что будет выгоднее, если тот сам определит цену.

Вечером я договорился с майором Нагамота и лейтенантом Такучи и уже на следующий день давал уроки.

Никогда раньше у меня не было таких уроков. Самым пунктуальным и прилежным учеником оказался майор. Точно в назначенный срок он уже ждал меня. На столе были приготовлены учебник, который я ему дал, тетрадь, карандаш, сигареты для себя и для меня, бутылка саке и несколько мандаринов.

Правда, майор оказался и самым тупым из моих учеников, но зато очень галантным. После первого урока он сунул мне в руки килограмм сахара в пакете. После второго урока — пакет рису, после третьего — муки. Он расплачивался со мной после каждого урока.

Лейтенанту Такучи не хватало точности и прилежания майора. Довольно часто он заставлял себя ждать, иногда по полчаса, не всегда выполнял письменные задания, которые я ему давал. Правда, заниматься с ним было намного интереснее, чем с майором, так как лейтенант постоянно говорил о политике, по-своему комментируя события. Его информация была для меня дороже всяких денег, ибо от него я узнавал такие новости, которые нельзя было почерпнуть из удинских газет, приходивших с опозданием на несколько недель. Лейтенант сообщил мне, что в Венгрии провозглашена республика, премьером стал Каройи, а Бела Кун вернулся в Венгрию.

Когда Такучи говорил о политике, я предпочитал молча выслушивать его. Несколько позже я убедился, что тактика моя правильна. Однажды речь зашла о пребывании японцев в Сибири. Черт дернул меня высказать по этому поводу свое мнение. Это было сделано очень деликатно, но не очень умно. Я сказал, что вряд ли японские оккупационные войска скоро покинут Забайкалье. Лейтенант покраснел и начал кричать на меня, потом вытащил из ножен саблю и застучал ею по столу.

— Я свое слово держит! — на ломаном английском языке выкрикивал он. — Я сказал — так и будет! Я оскорблять не позволяет!

Испугавшись, я попробовал объяснить ему, что он не так понял меня. Я ведь хотел сказать, что японцы не уйдут из Сибири до тех пор, пока в ней не будет наведен порядок, в противном случае это приведет к новому перевороту. Тут я начал бранить правительство Колчака и белогвардейцев, зная, что японцу будет приятно об этом слышать, и в конце концов кое-как успокоил его.

Самым приятным учеником зарекомендовал себя Накамура. Во-первых, потому, что девять раз из десяти я не застал его дома, а во-вторых, потому, что своими подарками он расплатился со мной за год вперед.

Приезд жены

Приезд моей жены стал в седьмом бараке значительным событием. Мои коллеги были так корректны, что я диву давался. Бардош переживал, казалось, не меньше меня. С самого утра он вырядился в парадную форму и заявил, что в город не поедет, потому что наверняка понадобится здесь. Когда же я пошел на станцию, он деликатно сказал, что останется в лагере, чтобы не мешать мне в первые минуты встречи с женой.

Винтер не проявил ни малейшего волшебства или любопытства. Думаю, он несколько не волновался бы, будь даже на моем месте. Сразу же после обеда он ушел и вернулся только поздно вечером.

Сознаюсь, я немного опасался, что Бардош, стараясь быть мне чем-нибудь полезным, будет весь день торчать дома. Но волнения мои были напрасны. Он побеспокоился, чтобы Тамаш как следует накрыл на стол, затем вместе с нами немного закусил. Кате он наговорил массу комплиментов, расхвалил меня. Поинтересовался, не привезли ли чего-нибудь из города, не уладить ли какое-нибудь дело с военным комендантом. Затем он вежливо распрощался, сказав, чтобы мы не ждали его к ужину, поскольку у него есть дело в городе.

Весь вечер мы с Катей провели вдвоем. Катя рассказала, что план Марии Павловны провалился. Знакомый генерал написал ей письмо, в котором сообщил, что положение сейчас изменилось. Из-за одного-единственного венгра, которому было разрешено жить в городе, произошел скандал. У командующего округом были неприятности, поэтому некоторое время не может быть и речи о том, чтобы отпустить еще одного пленного венгра. В конце письма генерал дал Марии Павловне дружеский совет не предпринимать пока в этом отношении никаких попыток.

— Я не собираюсь следовать совету генерала, — заявила Катя. — Раз в штабе округа имеются такие строгости по отношению к пленным офицерам, то нужно уповать на местное начальство. Русская пословица говорит: «До бога высоко, до царя далеко». Теперь надо ехать в Удинск. С помощью матушки Фотины и хитрой женской дипломатии наверняка удастся все уладить.

— Хорошо, — согласился я. — В половине восьмого будет первый поезд, поедем вместе.

— Нет, дорогой мой, ты никуда не поедешь. Без тебя мне будет гораздо легче смягчить сердце генерала. — Немного помолчав, Катя улыбнулась и сказала: — Не бойся, матушка Фотина поедет со мной и будет следить за моим поведением.

Утром Катя уехала в Удинск. Настал вечер, но она почему-то не возвращалась. Как я волновался!

Между тем Бардош сказал мне, что я очень обидел доктора Гемеша, не зайдя к нему вместе с женой.

— Доктор безусловно прав, — признался я. — Мне следовало бы зайти к нему и поблагодарить за оказанную помощь. Вечером я поговорю с Катей, и завтра мы непременно исправим эту ошибку.

Другое сообщение Бардоша расстроило меня. Оказалось, что старший по званию пленный офицер в лагере, австрийский подполковник, по фамилии Наполеон (уроженец Италии), воз-

мутился, что я, прибыв в лагерь, немедленно не представился ему как старшему начальнику, а позже не доложил ему о предстоящем приезде жены в лагерь. Через Бардоша подполковник передал мне приказ явиться к нему вместе с женой завтра в шестнадцать ноль-ноль. Сначала он познакомится со мной лично, а потом представит меня всем офицерам.

Я вспыхнул:

— Надеюсь, ты сказал ему, чтобы он не идиотничал? Он еще не понял, что старым порядкам давным-давно пришел конец? Почему это он командует здесь?

— Я думаю, он обидится, если ты выскажешь ему это. Подполковник обратился в комендатуру с письмом, в котором заявил, что он итальянский подданный и потому просит освободить его из лагеря военнопленных и отправить домой, выдав деньги на проезд до самого Триеста. А пока он не получит ответа на свое прошение, он будет выполнять обязанности старшего по званию офицера. И поскольку все мы пока еще являемся офицерами австрийской армии, то нам следует с ним считаться.

— Я австриец?! Господин подполковник может строить из себя все, что захочет. Я лично не считаю себя ни австрийцем, ни офицером. Как пленный, я подчиняюсь приказам русского начальника лагеря. Однако не думаю, чтобы было такое распоряжение, согласно которому пленный офицер должен представлять кому-то свою жену. А господин подполковник пусть катится к черту!..

Уже совсем стемнело, когда приехала Катя.

— Все наши попытки бесполезны, — пожаловалась она. — Мы с матушкой Фотиной были у двух генералов. Оба они — ее хорошие знакомые. Они от души хотели бы ей помочь, но ничего не могут сделать, потому что есть строгий приказ, категорически запрещающий отпускать венгерских офицеров из лагеря на любые работы.

Это известие сильно огорчило меня.

— Не вешай носа, дружище! — старался успокоить меня Бардош. — Придумаем что-нибудь.

В это время Тамаш принес нам ужин. Мы сели за стол.

Бардош похвастался, что ему удалось какие-то крупные торговые сделки и он выгодно продал одному русскому начальнику целый вагон капусты, купленной гораздо дешевле у другого начальника. Заметив, что его рассказ нас нисколько не интересует, он заговорил обо мне:

— Я тебе уже не раз объяснял и еще повторю: прекратите эти бесплодные попытки. Одного моего слова кому надо будет достаточно, и Екатерина Васильевна останется здесь, у тебя. Уверяю вас, это будет самое разумное. Здесь вы преспокойно

дойдетесь того времени, когда пленных распустият по домам. Если хочешь, я помогу тебе заняться торговлей или разыщу в городе учеников, которым ты будешь давать уроки. Даже если у тебя не будет денег, мы найдем, у кого взять взаймы с уговором, что ты расплатишься, когда вернемся на родину. Да я и сам охотно одолжу тебе сколько нужно.

Мы с Катей переглянулись.

— У тебя доброе сердце. Мы очень благодарны тебе за все, — сказал я. — Но пойми и ты нас. Кате хочется пожить в Хилюке возле матери, да и мне не терпится поскорее вырваться отсюда. Здесь я чувствую себя узником.

— Вам видней, — пожал Бардош плечами. — Я вас не припускаю. Желаю успеха.

Грюнберг появился, когда мы ужинали. Мы рассказали ему о своих огорчениях, и он дал нам хороший совет.

— У начальника лагеря есть заместитель, подпоручик Соколовский, чудесный человек. Рубаха-парень, как говорят русские. Он всегда помогает пленным и частенько водит полковника за нос. А ради красивой женщины он готов пойти на все. Пусть твоя жена немного поплачет перед ним. Уж он-то найдет способ как-то обойти приказ.

Вскоре пришел Шольтес. Тамаш убрал со стола, и в ход пошли карты.

Понаблюдав за игрой, мы ушли к себе.

Сильный стук в дверь коридора разбудил меня ночью.

— Откройте! Здесь доктор! Откройте! — слышалось из-за двери.

«Наш доктор, наверное, с ума спятил», — подумал я и побежал к двери.

— Доктор ждал-ждал красавицу, но она не пришла. Если красавица не идет к Магомету, тогда Магомет сам идет к красавице, — доносилось из-за двери. И после небольшой паузы снова сильный стук в дверь: — Откройте! Не бойтесь! Это я, добрый доктор!

Накинув что-то на плечи, я хотел выйти в коридор, но Бардош опередил меня. И сразу же шум за дверью прекратился.

Я прислушался. Разобрать, о чем говорили за дверью, было невозможно.

Потом все стихло. Бардош вернулся в комнату. Видимо, ему удалось уговорить доктора уйти.

— Можно сказать, это была ночная серенада, — улыбнулась Катя.

Утром Бардош рассказал, что произошло ночью.

— Мне было страшно неудобно, особенно перед твоей женой. Доктор, собственно говоря, милейший человек. Он очень

Добрый, готов помочь первому встречному, но за помощь всегда ждет признания. И еще одна слабость у него — любит выпить. А если хватит через край, то уже не отдаст отчета в своих поступках. Ему наверняка будет стыдно. Наверное, старик чувствовал себя обиженным и напился, а тут уж ему и море по колено. Разумеется, он не знал, что вы собираетесь зайти к нему...

— Думаю, ты понимаешь, что теперь мне...

— Конечно, конечно. Я даже не знаю, как уладить дело... Может, старик догадается извиниться.

Утром по совету Грюнберга мы пошли к Соколовскому. Подпоручик принял нас любезно. Предложив сесть, угостил сигаретами и, что особенно понравилось мне, некоторое время не спрашивал о цели нашего визита. Он говорил о погоде, сделал несколько комплиментов Кате и минут через пятнадцать, когда шел непринужденный разговор, поинтересовался, зачем мы пришли.

— Если бы от меня зависело, — сказал поручик, — я охотно отпустил бы вашего супруга. Но приказ есть приказ. Могу вам только дать совет. Если я правильно понял вас, сударыня, местные хилоские власти очень хорошо знают вашего супруга и даже посылали в высшие инстанции прошение в его интересах. Рекомендую вам сделать так, чтобы такое прошение было послано еще раз, только в нем нужно указать, что делается это «по военным соображениям». Было бы великолепно, если бы об этом было написано поконкретнее. Не могу сказать, что успех обеспечен на все сто процентов, но при желании с такой бумагой можно кое-чего добиться.

Поблагодарив подпоручика за совет, мы распрощались с ним.

— Этот подпоручик очень мил, — заметила Катя на обратном пути. — Он мне чем-то напомнил Оторвина. Вот только никак не могу понять, как такой порядочный человек может служить у белых.

Мы с Катей, сомневаясь в успехе, все же решили воспользоваться советом Соколовского.

После обеда к нам заявился неожиданный гость — доктор Гемеш. В руках он держал огромный термос.

— Приятного аппетита, — сказал он вместо того, чтобы представиться. — Эта свинья Гемеш ночью сотворил очередную глупость. Вот я ему и посоветовал как-нибудь реабилитировать себя. Заставил его сварить замечательный кофе, какого не варил в будни. Такой кофе и мертвого поднимет на ноги. Поверьте мне, доктор очень порядочный человек, разве что несколько глуп, бедняга.

Добрый час сидели мы вместе, наслаждаясь великолепным

кофе. За это время мы ближе познакомились с ним и прониклись симпатией к этому милому доброму человеку, наделенному к тому же хорошим чувством юмора. На фронте, после гибели двух своих начальников, он стал настоящим полковым врачом. Потом попал в плен. В Березовке он организовал лагерьный лазарет. В его приемной постоянно находились больные, и пленные, и гражданские. Из города к венгерскому доктору больные шли как паломники. А началось с того, что доктор за несколько дней вылечил одного русского офицера из лагерной комендатуры. У офицера была какая-то болезнь, которую никак не могли вылечить русские доктора. Молва об этом разнеслась по всему городу, и больные валом повалили к доктору. Затем какой-то высокопоставленный офицер свез доктора к своей жене, которая, по мнению местных врачей, страдала какой-то неизлечимой болезнью. Гемешу и ее удалось поставить на ноги. О Гемеше заговорили как о чарошее. С тех пор все офицеры города и их родственники обязательно хотели лечиться только у него. Денег у доктора было много, но от больных он брал не деньги, а продукты, которые тут же шли в котел лазарета. Благодаря своей богатой практике он, собственно, и содержал весь лазарет, так как от получаемых официальным путем продуктов все пленные умерли бы с голоду.

Прощаясь, доктор пообещал, что будет поддерживать с нами «родственные отношения».

На следующий день Катя уехала. В Хилоке она сразу же поговорит с местным начальством о новом прощении.

А вечером Бардош рассказал мне, что произошло за день до этого на собрании офицеров.

— Я не хотел говорить об этом при Екатерине Васильевне. Этот старый дурак подполковник собрал всех офицеров и произнес перед ними длинную речь о товариществе и офицерской этике. «Наше офицерское общество глубоко оскорблено, — сказал он. — К одному офицеру приехала супруга, настоящая госпожа. Трое суток она жила в бараке, а ее муж не счел нужным нанести вместе с нею визит вежливости своему начальнику и даже не представил ее своим товарищам. Этот прискорбный факт — грубое нарушение как дисциплины, так и хорошего тона, и потому этот офицер заслуживает строгого наказания. О данном случае будет составлен протокол, а виновный после возвращения на родину предстанет перед судом офицерской чести».

— И что же сказали на это офицеры? — спросил я.

— А что они могли сказать? Слушали и делали вид, что воспринимают все вполне серьезно, а потом небось ржали как лошади.

— А ты?

— Я еще раньше пробовал отговорить полковника от этой затеи. Сказал, что жена твоя очень устала в поездке, к тому же еще немного простудилась...

— Ну и напрасно! Сказал бы прямо, что я и моя жена считаем все это глупостью...

— В этом я с тобой не согласен. Каких бы разных взглядов мы ни придерживались, мы все офицеры и должны соблюдать известную офицерскую этику. К тому же не следует забывать и того, что рано или поздно мы вернемся на родину...

— Значит, и ты считаешь, что я за все предстану перед военным трибуналом? Хотел бы я, чтобы у меня не было большей заботы, чем эта.

V. МОЕ ЗНАКОМСТВО С ЯПОНЦАМИ

Новая идея Грюнберга

Катя сообщила в письме, что все ее попытки снова ни к чему не привели, потому что в Хилоке не было военной организации, которая попросила бы использовать меня «на военных работах». Из письма я узнал, что в Хилоке расквартирована японская воинская часть, и потому число русских военных сокращено до минимума. Военная комендатура вообще уже не существует, на железнодорожной станции распоряжается японский железнодорожник. С дядей Федей японцы дружат, и Катя разговаривала с их начальником. Человек он неплохой и рад бы помочь мне, но не может, поскольку всю работу он должен выполнять руками своих солдат. Катя советовала мне еще раз поговорить с Соколовским.

Вечером, когда игра в карты была в полном разгаре, я подсел к Грюнбергу, но почти не следил за баталией. Письмо Кати выбило меня из колен. Я поделился своими невеселыми известиями с Грюнбергом, но он так был занят игрой, что ничего не ответил мне. Когда же партия закончилась, он подошел ко мне и сказал:

— Мне кажется, есть способ, который поможет тебе вырваться из лагеря. Нужно сделать так, чтобы японцы, находящиеся в Хилоке, попросили передать тебя им «на военные работы».

— Как это сделать? — удивился я.

— Очень просто! Нужно, чтобы командир японского отряда в Хилоке вместе с земским управлением прислал бумагу с просьбой откомандировать тебя к ним как переводчика. Это и будет твоей «военной работой». Желательно, чтобы твоя жена еще раз поговорила с японцем.

Это была превосходная идея! И как это я сам не додумался до этого?

Соколовский одобрил эту идею:

— Если японцы напишут за вас хотя бы строчку, вы сможете уехать отсюда.

Я тотчас же сообщил об этом Кате.

Урок по системе Берлица

Конечно, абсолютной уверенности в успехе идеи Грюнберга у меня не было, но я решил все же заняться японским языком.

Вечером, встретив около барака двух японцев, я пригласил их к себе. Усадив их за стол, попросил Тамаша подать нам чаю. Мое гостеприимство понравилось японцам, и они выставили на стол бутылку саке. Так началось наше знакомство. Это был мой первый урок японского языка.

Взяв со стола карандаш, я спросил одного из японцев:

— Коре-ва нан деска? (Что это такое?)

— Коре-ва емпицу-де аримасу. (Это карандаш), — ответил один из них.

— Коре-ва нан деска? — повторил я, показывая на книгу.

— Коре-ва хон-де ачимасу. (Это книга), — последовал ответ.

То ли я слишком быстро схватывал сказанное, то ли японцы мне попались слишком понятливые — не знаю. Не прошло и часа, как я прекрасно усвоил три-четыре урока по Берлицу.

Японцы были приятно удивлены и, когда я пригласил их зайти ко мне еще раз, охотно согласились.

На следующий день у меня был урок языка с майором и лейтенантом. Им я, конечно, ни словом не обмолвился о том, что учусь японскому языку.

За обедом Бардош сказал мне, что старший лейтенант Силиштен, связанный с японцами делами, пригласил к себе на ужин моего ученика-японца. Он, Бардош, тоже там будет. Силиштен пригласил и меня.

«Это хорошо, — подумал я. — По крайней мере, смогу проверить заученные мною японские слова».

Часов в шесть вечера Тамаш сказал, что японский офицер уже пришел.

Когда я и Бардош вошли к старшему лейтенанту, он и японец уже сидели за столом.

Обменявшись несколькими вежливыми фразами, заговорили о торговых сделках. Разговор шел на английском, в котором Бардош и Силиштен не были сильны. Только теперь я понял, зачем, собственно, Силиштен, с которым я был мало знаком, пригласил меня.

Тамаш подал чай, бутерброды и пирожное. На столе выстроилась целая батарея бутылок: водка и виски, коньяк и ликер.

Разговаривая, японец даже не повернулся ко мне лицом, словно давая мне понять, что в присутствии равных ему офицеров он не намерен панибратствовать с каким-то переводчиком.

«Ну, подожди, дорогой, — подумал я. — Сейчас увидишь, как нужно обращаться со мной».

Японец что-то начал говорить, а я взял бутерброд и набил себе полный рот как раз в тот момент, когда надо было переводить. Бардош, желая дать мне возможность спокойно поесть, попробовал переводить сам, но ему это не удалось. Я же сделал вид, что и не собираюсь прекращать чаепитие. Все замолчали.

Поставив в полной тишине стакан на стол, я начал свой монолог на японском языке:

— Где стакан? Стакан стоит на столе. Какого цвета стол? Стол белый. Что в стакане? В стакане чай. Чай белый? Нет, чай не белый, а желтый.

Японец вытаращил глаза от удивления:

— Вот как, вы говорите по-японски?!

Он не поверил, что я только учусь, и захотел, чтобы я говорил с ним на его языке. Успокоился он лишь тогда, когда убедился, что я действительно плохо понимаю по-японски, хотя полностью его подозрения не исчезли.

Снова заговорили на английском. На этот раз японец уже повернулся ко мне лицом,

Дипломатические переговоры

С нетерпением ждал я ответа от Кати. Он пришел с опозданием и в какой-то степени охладил меня. Катя писала, что ей понравилась последняя идея. В земской управе довольно быстро согласились написать нужное прошение, поскольку были уверены, что японский начальник тоже приложит к нему свою руку. Командир японской воинской части — человек милый и вежливый. Он старался произвести приятное впечатление на хилокскую интеллигенцию. Жаль только, что дядя Федя не способен улаживать подобные дела. С одной стороны, он редко бывал трезв для таких серьезных разговоров, с другой стороны — без знания иностранного языка невозможно договориться с японцем. Японец же владел несколькими европейскими языками, зато по-русски знал всего несколько слов: «Хорошо», «Здравствуйте», «До свидания», «Водка» и «За ваше здоровье». Для дяди Феде, знавшего пару-другую японских слов, этого было вполне достаточно.

Сама же Катя, плохо зная немецкий, французский и английский, вряд ли сможет поговорить с японским офицером на интересующую ее тему. Поэтому она посоветовала мне еще

раз пойти к Соколовскому и попросить у него разрешения на несколько дней съездить в Хилок, чтобы переговорить с японским офицером. Дядя Федя познакомит нас.

— По закону я не имею права отпустить вас, — сказал мне Соколовский. — Но если об этом просит ваша супруга, я подумаю. Зайдите ко мне послезавтра в это же время.

Если Соколовский обещал подумать, значит, пропуск мне будет. Я был настолько уверен в этом, что даже стал собираться в дорогу. Собственно, все мои сборы сводились к тому, чтобы предупредить моих японских учеников об отъезде на несколько дней. Я даже подумал, что стоит попросить у них нечто вроде рекомендательного письма.

Сначала я пошел к майору. В тот день у нас была разговорная практика, и мне нетрудно было сказать о своем отъезде.

— Как фамилия командира японской части, находящейся в Хилоке? — поинтересовался майор.

— Старший лейтенант Сайто, — ответил я.

Майор широко улыбнулся, услышав эту фамилию. Оказывается, до войны, когда он преподавал в одном офицерском училище, Сайто два года был его учеником. Майор охотно согласился написать мне рекомендательное письмо с просьбой, чтобы его бывший ученик оказал мне посильную помощь.

Да, иногда человеку может вот так повезти!

После разговора с майором я предупредил лейтенанта Такучи, что на несколько дней уезжаю в Хилок, куда меня хотят взять переводчиком, а потом отправился к Накамура. Раньше очень часто случалось так, что я не заставал его дома. К моему неудовольствию, на этот раз его снова не было. На всякий случай я попросил передать ему, что обязательно хотел бы встретиться и переговорить с ним.

В этот день мне определенно везло. Не успел я выйти из японского барака, как мне навстречу попался сам Накамура. Выслушав меня, он улыбнулся.

— Когда вы хотите поехать в Хилок? — спросил он.

— Если получу разрешение от русской комендатуры, то завтра вечером.

— Прекрасно. Поедем вместе.

Выяснилось, что Накамура со своими людьми завтра вечером выезжает в Читу. У него будет два вагона продовольствия, а третий вагон — его личная резиденция, где он и предлагал поехать мне.

Теперь все зависело только от Соколовского. Приглашение Накамура настроило меня на оптимистический лад. Не зря, видно, счастье иногда сравнивают с ветреной женщиной: улыбается то одному, то другому. Сегодня повезло мне. Когда я пришел к Соколовскому, пропуск для меня уже был выписан.

Странно, это был самый обыкновенный печатный бланк увольнительной записки для выхода в город. Фамилии, даты и подписей на нем не было. В записке было написано: «Настоящим начальник лагеря разрешает военнопленному... поездку в Верхнеудинск с целью перевозки оставшегося там имущества. Пропуск действителен в течение 48 часов».

Заметив мою растерянность, Соколовский поспешил успокоить меня.

— Ну какой же вы солдат, дружище? — с упреком спросил он. — Будь я вашим начальником, я не послал бы вас в разведку. Читать вы умеете?

Еще раз, но уже внимательно, посмотрев на пропуск, я понял все. Выше слова «Верхнеудинск» было напечатано на машинке «Хилок», а над «48» — «72».

— Думаю, что так будет лучше, — сказал Соколовский. — Такой пропуск будет действителен и в пути, и в Хилоке. Никто не придерется. Но если что-нибудь случится, запомни, я тебе такого пропуска не выдавал. Ты получил увольнительную записку в Удинск, а все остальное подделал сам и отвечать тоже будешь сам.

Накамура ждал меня на станции. Мы сразу же сели в вагон. Было видно, что Накамура ездил часто. В его вагоне было все необходимое. Снаружи он ничем не отличался от обычного товарного вагона, но внутри... Посреди вагона стояла печка-«буржуйка», какие в то время согревали пассажирские вагоны. Верхние нары были сняты, на нижних лежали толстые матрацы из конского волоса. В другой половине вагона стояли низкий стол и высокие пуфики вместо стульев. Пол был покрыт хорошим ковром.

Недостатка в продуктах и напитках у офицера-снабженца не было. Как только поезд тронулся, Накамура пригласил меня немного перекусить. Этот процесс продолжался несколько часов подряд. Спать мы легли только в полночь.

Утром, часов в девять, Накамура разбудил меня, сказав, что пора пить чай. Я сначала подумал, что мы уже подъезжаем к Хилоку, но оказалось, что мы стоим в Петровском Заводе. Возможно, простои́м еще несколько часов и в Хилок прибудем вечером.

— Сегодня ночью! — сказал Накамура и многозначительно подмигнул мне.

Я удивленно посмотрел на него: ведь только что он сказал, что в Хилок мы приедем вечером.

Японец засмеялся и, похлопав меня по плечу, повторил:

— Сегодня ночью! Сегодня ночью!

Я понял его шутку, и мне стало как-то неприятно, но я ничего не сказал.

А японец еще несколько раз повторил свою шутку, смеясь и похлопывая меня по плечу.

В Хилок приехали под вечер. Прощаясь, мы с Накамура договорились встретиться через три дня в Березовке.

На станции ко мне бросилась Мария Павловна.

— Какой сюрприз! — Лицо ее лучилось улыбкой. — Катя будет рада! Бедняжка уже извелась, ожидаючи.

Мария Павловна пришла на станцию, чтобы помочь дяде Феде, когда придет поезд. Но, увидев меня, она бросила все. Конечно, я и сам знал, куда идти, но сказать об этом было просто неудобно.

Катя не очень-то верила в то, что я могу приехать, хотя сама подала мне эту мысль. Увидев меня, она разрыдалась и бросилась мне на шею.

Мария Павловна пошла ставить самовар, а мы с Катей уселись на диване в другой комнате. От радости Катя сначала даже говорить не могла, только смотрела на меня полными слез глазами да гладила мои руки.

Мы решили сразу же попросить дядю Федю, чтобы он поскорее познакомил нас с командиром японской части. В земской управе прошение было уже готово, не хватало только бумаги от японца.

Когда чай вскипел, Мария Павловна пригласила нас к столу, угостила разными разностями, которые захватила с собой из ресторана.

— Ешьте, родные мои, ешьте. Попробуйте вот этой рыбки! Возьмите салат! — не успокаивалась она. Не забыла и о водке.

— Ну, за ваше здоровье, дети мои! — предложила она тост.

— Ваше здоровье, мама!

Мы чокнулись и выпили. Через несколько минут она снова наполнила наши рюмки.

Мы едва пригубили их, но Мария Павловна решительно воспротивилась этому:

— Нет-нет! До дна! С любовью не шутят.

Нам ничего не оставалось, как выпить. Потом мы пили за наших будущих детей. Потом за то, чтобы я побыстрее освободился из лагеря и вернулся домой.

После четырех рюмок я уже захмелел, но Мария Павловна сидела как ни в чем не бывало и даже хотела налить нам еще, однако Катя решительно запротестовала:

— Ни капли больше, мама. Пора уже спать.

Утром в ресторане дядя Федя познакомил нас с японским командиром. Японец сразу же предложил пойти к нему.

К моему огромному удивлению, японец занимал комнату в том самом доме, где мы с Катей провели первые дни после жеманитьбы. Наша проворная хозяйка, которая прекрасно уживалась и с красными и с белыми, сдавала свои покои японцам. В большой комнате, где жили когда-то мы с Катей, размещались японские солдаты. В маленьких комнатах — японские офицеры и канцелярия.

Старший лейтенант Сайто оказался интересным человеком. В молодости он жил и учился в Европе и теперь держал себя как истинный европеец. Парадный мундир сидел на нем очень элегантно. Шинель он не носил, хотя было уже довольно прохладно. Когда же я спросил, почему он не носит шинель, японец ответил, что под шинелью не видна его фигура.

— Женщинам больше нравятся мужчины в мундире, чем в шинели, — улыбнулся офицер. — А холод меня не пугает. — И угостив нас водкой и мандаринами, он начал разговор обо мне.

Из слов Федора Павловича он понял, кто я такой, понял, что мне не разрешают жить вместе с женой. Он знает, что такое любовь, и всегда готов помочь влюбленным, вот только не знает, как и чем может быть полезен нам с Катей.

Я коротко рассказал ему о своей просьбе. Офицер сразу же все понял и ответил, что готов написать бумагу с просьбой направить меня к нему в качестве переводчика.

У меня же в кармане была бумага, написанная по совету Грюнберга на русском и английском языках:

«Прошу откомандировать в мое распоряжение венгерского офицера пленного Эндре Шика, который будет выполнять обязанности переводчика и поможет тем самым мне установить более тесные связи с русским командованием и местными властями. В земской управе Хилока Э. Шика хорошо знают и рекомендуют его на эту должность.

Командир японской воинской части в Хилоке».

Японцу нужно было написать то же самое по-японски и подписать все три экземпляра, что он охотно и сделал, скрепив все три текста своей печатью.

Когда бумаги уже были у меня в руках, я вспомнил о письме, которое мне дал майор Накамура.

— Спасибо, — поблагодарил меня Сайто, прочитав послание. — Если бы я знал, что у вас есть такой поручитель, я еще быстрее и охотнее выполнил бы вашу просьбу. Бдвойне благодарю вас за то, что вы даете уроки языка моему бывшему учителю. Однако вы поступили очень умно, только сейчас отдав мне это письмо. Дело в том, что вы не нуждаетесь в протекции. Вы венгерский офицер, а я японский. Это на фронте мы с вами противники, а здесь просто должны помогать друг другу.

В тот же день мы с Катей отнесли прошение японца в земство. Председатель земской управы Рубников был человеком добрым, но несколько странным. Он состоял в партии эсеров. В начале революции, когда эсеры поддерживали в какой-то степени большевиков, он не одобрял этого и при красных постоянно ругался с местными большевиками. В 1905 году и в годы столыпинской реакции он вел себя мужественно, чем заслужил уважение рабочих. Придя к власти, белые решили сделать его председателем земской управы, чтобы поскорее привлечь на свою сторону рабочих. В политическом отношении Рубников оказался недостаточно стойким, чему в значительной степени способствовали разбой и насилия, творимые белыми. Большевиком он не стал, зато везде, где только мог, помогал людям, которых преследовали белые. Он дружил с дядей Федей, и потому мы были знакомы с Рубниковым и даже не раз беседовали с ним раньше.

Он хорошо принял нас и доверил мне самому составить письмо, которое должен подписать председатель земской управы. Мы договорились, что дома я составлю текст прошения, принесу его утром в управу, где его переписут на официальный бланк, подпишут и скрепят печатью. После этого все бумаги запечатают в конверт и вручат мне для передачи лагерному начальству.

Тревожная поездка

Утром я один пошел к Рубникову. Текст был уже готов, и тут мне пришла вдруг мысль отослать все бумаги по почте.

— Будет лучше, если в лагере подумают, что сделано это по инициативе самих японцев.

— Я не возражаю, — согласился Рубников. — Желаю вам успеха. Только в случае удачи не забудьте обмыть это дело.

Я понял это как намек и предложил Рубникову отобедать с нами в станционном ресторане.

— Я хотел пригласить вас к нам домой, но сегодня мне уже пора уезжать.

— Ай-ай, как плохо вы обо мне думаете! — покачал он головой. — Уж не полагаете ли вы, Андрей Александрович, что у таких людей, как я, желудок вместо сердца? Просто вы еще не знаете меня. Ну, до свидания!

Поезд отходил поздно вечером.

Мария Павловна приготовила мне в дорогу огромную корзину провизии, которой хватило бы еще и на несколько дней жизни в лагере. Мое заверение, что я прекрасно питаюсь в лагере, не помогло,

Ехать в набитом пассажирами вагоне было, разумеется, не так удобно, как с японцами. С трудом мне удалось втиснуться в вагон третьего класса, и сначала пришлось стоять в коридоре. Вскоре, правда, нашел место на полу.

«Ничего, — утешал я себя, — старая истина гласит, что свобода недешево достается».

Прошло немного времени, в вагоне все стихло, только сопение и храп спящих слышались отовсюду. Я уже решил, что теперь спокойно просижу ночь, но оказалось, что ошибся.

Купе в вагоне были без дверей. В одном купе, примерно в середине вагона, ехали две женщины, по одному виду которых безошибочно можно было определить, что это спекулянтки. На верхних полках расположились два белых чешских офицера. Эта компания была самой беспокойной во всем вагоне. Когда почти все уже спали, эти затеяли громкий разговор.

— Да, представьте себе, сударыня, Россию от красной чумы спасли мы, чехи, а не ваши офицерики, которые сейчас, когда мы навели всюду порядок, ходят задрав носы, — слышался громкий голос одного из офицеров.

— Но ведь и наши что-то сделали, — не соглашалась с ними одна из торговок.

— Не спорю, — согласился офицер. — По этому поводу не грех и выпить по стопочке за братство славян.

Послышался звон стаканов.

— Да, — продолжал чех, — русские офицеры чувствуют себя героями, когда дело доходит до завоевания женщины или до питья водки. А вы спросите любого из них, сколько красных отправил он на тот свет? И сколько их отправил я? Следующий будет двадцать восьмым. А из двадцати семи пятнадцать были венграми. Поэтому, если где-нибудь я встречу красного, особенно если это красный венгр, не жди от меня пощады. Вот, к примеру, попадись мне сейчас венгр. Знаете, что я с ним сделал бы? Оторвал ему голову и сбросил с поезда.

«Приятная перспектива!» — подумал я и подальше отодвинулся от входной двери, в которую сильно дуло.

Лишь далеко за полночь в купе, где ехали чешские офицеры, стало немного тише. Спекулянтки, видно, уснули. Притихли и офицеры, но вскоре снова начали пить и шуметь. Временами они громко спорили, словно ругались, а временами так хохотали, что кое-кто из пассажиров даже проснулся.

Наверное, они рассказывали друг другу непристойные анекдоты. Правда, разговаривали они по-чешски, и я ничего не понимал. Потом они вполголоса затянули какую-то песню и стихли только под утро.

Думаю, что я был во всем вагоне единственным человеком, который не спал: мне было о чем думать,

На третий день после моего возвращения из Хилока Грюнберг сказал, что мои бумаги получены.

Что же будет дальше? Дни шли за днями, а меня никуда не вызывали. Каждый день Грюнберг приходил ко мне с одним и тем же: «По твоему делу ничего нового». Полковник строго выполнял приказ: ни одного венгра не выпустили из лагеря.

Целая неделя прошла в ожидании.

— Что-то нужно предпринять, — сказал я как-то вечером Грюнбергу. — Как бы умаслить этого полковника? Может, предложить ему денег?

— Нет, об этом лучше и не думай, — запротестовал Грюнберг. — Полковник Скворцов никогда не возьмет взятку. Он человек с убеждениями и верит в то дело, которому служит. Но есть и у него слабое место: он трусоват. Недавно наши ребята из-за плохих продуктов затеяли небольшой скандал, избивали двух часовых, а потом вылили на них щи, которые были просто несъедобными. Старик так перепугался, что поднял по тревоге всю охрану и двое суток держал их в состоянии боевой готовности.

— Все это хорошо, — заметил я, — но какое отношение это имеет ко мне? Какая мне польза от трусости полковника? Скорее всего, он теперь вообще не выпустит из лагеря ни одного венгра, тем более подозреваемого в большевизме.

— Так-то оно так. Но ведь и страх бывает разный. Старик побаивается пленных, боится большевиков, но самое страшное для него — японцы. Он сторонник Колчака. В городе сейчас ходят слухи о том, что готовится стычка колчаковских офицеров с бандой Семенова. А японцы, как известно, помогают Семенову. Если такое на самом деле случится, японцы возьмут власть в свои руки, и тогда твое японское прошение поднимется в цене.

Я не очень верил словам Грюнберга, но последующие события подтвердили, как он прав. И случилось это довольно скоро. Назавтра все в лагере только и говорили о том, что семеновцы с помощью японцев совершили в Удинске своего рода путч: со всех ответственных постов были сняты все колчаковские офицеры и заменены семеновцами. Четыре колчаковских генерала, в том числе и непосредственный начальник полковника Скворцова генерал Артемов, были арестованы японцами.

Вечером Грюнберг остановил меня:

— Сегодня утром арестован генерал Артемов. Я сам принял по телефону сообщение об этом. Сразу же побежал докладывать полковнику и отнес ему на подпись бумаги. Среди них было прошение о твоем откомандировании. Полковник, увидев японские бумаги, подписал их, даже не читая. Твои бумаги, на которых стоит резолюция полковника «исполнить», уже у Со-

коловского. Зайди утром к поручику, он выдаст тебе пропуск — и поезжай!

— Дружище Грюнберг, как я отблагодарю тебя?

— Не нужно мне никакой благодарности, — заулыбался он. — Ты и сам хорошо знаешь, что деньгами за такое не благодарят. К слову, колчаковских денег у меня больше, чем у тебя. Вот если бы сейчас здесь была твоя красавица жена, я бы выклячил у тебя один ее поцелуй. Поскольку она далеко отсюда, передашь ей мой привет.

Взволнованный его словами, я бросился к нему и расцеловал его тронутую оспой физиономию.

— Это не одно и то же, — шутливо заметил добрый Грюнберг. — Как говорят в Одессе, две различных разницы. Ну, довольно эмоций, примемся за дело.

Бардош и его друзья уже сидели за столом и тасовали карты.

Соколовский торгуется

Радостное сообщение Грюнберга так разволновало меня, что всю ночь я не сомкнул глаз и утром, часов в десять, уже был у Соколовского в кабинете.

— Доброе утро! — равнодушно поздоровался со мной подпоручик. — С чем пожаловали, разрешите спросить?

— Наоборот, это я хочу кое-что получить у вас.

— Вот как? — серьезно спросил Соколовский. — А что именно хотели бы вы получить?

— Ничего другого, только пропуск, имея который, я могу покинуть лагерь и поехать к жене домой.

— Вот, оказывается, какое желание у вас! И как вы только до этого додумались?

— Очень просто, дорогой господин подпоручик. Вчера вы получили от полковника Скворцова бумагу, на основании которой должны выдать мне пропуск.

— Что вы говорите! От вас первого слышу. Никаких бумаг я не получал. Кто вам сказал такое?

Сначала я решил, что подпоручик просто шутит. Но голос у него был строгий, и это насторожило меня. Что это, недоразумение?

— Не понимаю вас, господин подпоручик. Грюнберг, работающий в канцелярии полковника, вчера вечером отдал ему на подпись прошение из Хилока. Полковник подписал прошение и переслал вам, господин подпоручик.

— Вас, дорогой, видимо, обманули. Никакого прошения я не получал.

Слова подпоручика не на шутку испугали меня. Моя вытянувшаяся от удивления физиономия, видимо, была настолько глупой, что Соколовский рассехотался.

— Возьмите себя в руки, молодой человек, еще не все потеряно.

Сказав это, подпоручик выдвинул ящик письменного стола и, показывая на большой лист бумаги, сказал:

— Вот оно, японское прошение с резолюцией полковника. Но оно будет лежать здесь до тех пор, пока я не получу за него вознаграждения.

Словно ведро холодной воды вылили на меня. И этот такой же? Вот уж никогда бы не подумал. Ведь до сих пор он вел себя как порядочный человек. Ну что ж, раз он требует денег, пусть будет так.

— Сколько вы просите? — холодно спросил я.

— Ну знаете, такой гадости от вас я действительно не ожидал, — вдруг вспыхнул Соколовский, с шумом задвигая ящик письменного стола. — Неужели вы могли подумать, что я возьму от вас деньги?

— Простите, господин подпоручик, видно, я не так понял вас...

— Слушайте меня: во-первых, не называйте меня господином. Вы прекрасно знаете, что мне эти господские штучки надоели не меньше, чем вам. Во-вторых, не деньги мне нужны. Я знаю, у вас хорошие отношения с японцами, а у них есть хороший коньяк и виски. За десять бутылок коньяку и десять бутылок виски вы в любой момент получите свое разрешение. Без этого у вас ничего не выйдет.

«Выходит все-таки, что Соколовский проходимец, — подумал я про себя. — Десять бутылок коньяку и десять бутылок виски стоят ровно семьсот рублей. А все мое состояние — это какие-нибудь триста рублей. Но делать нечего. Придется занять у Бардоша и Грюнберга, а потом прислать им деньги из Хилюка».

— Достану, — буркнул я. — До свидания. — И, повернувшись, направился к двери.

— Стойте, дружище! — остановил меня Соколовский. — Вернитесь!

«Чего ему еще надо?» — подумал я.

— Скажите, голубчик, а вы не боитесь получить от меня хорошую оплеуху? — строго спросил он. — Почему вы меня все время оскорбляете?

— Я вас? — оторопел я.

— Конечно! С чего вы взяли, что я хочу вас обобрать? Мне не нужно подарка. Десять бутылок коньяку и десять бутылок виски стоят семьсот рублей. Вот вам деньги. — Вытащив пачку банкнот, он отсчитал семь сотенных бумажек.

— Извините... — пробормотал я, пряча деньги в карман. — Я, право, не думал...

— Ничего, ничего, — похлопал меня по плечу Соколовский. — А теперь — кругом! Вперед на японский склад! И не

забудьте, что дело это срочное. Я тороплюсь, а вы подумайте о том, с каким нетерпением вас ждет ваша жена.

Японская мораль

Вечером мне удалось поговорить с Накамура.

— Коньяк не продается, виски тоже, — сказал японец, когда я объяснил ему, что мне нужно. — Продавать напитки строго запрещено. Но для хороших друзей у Накамура найдется и коньяк, и виски. Завтра все будет. Пусть друг Накамура завтра в три часа зайдет к нему в барак, заплатит семьсот рублей и получит все, что просит.

Пожав мне на прощание руку и придав лицу строгое выражение, Накамура добавил:

— Но только денег мало. У Накамура есть еще одно условие.

Какое еще условие? Я-то думал, что все уже в порядке. Видно, торгаш так и останется торгашом.

— Сколько вы еще хотите? — с кислой миной на лице спросил я.

— Накамура деньги не нужны, — покачал головой японец. — Денег у него достаточно. Накамура любит своих друзей. Накамура жалко, что друг уезжает. Он хочет, чтобы друг всегда хорошо думал о нем. — Японец улыбнулся и продолжал: — Виски и коньяк будут. А друг Накамура пусть пообещает, что каждый раз, когда будет обнимать свою красавицу, он вспомнит Накамура.

Японец рассмеялся и похлопал меня по плечу.

Взяв у Грюнберга небольшие саночки, я на следующий день пошел в японский барак.

— Сейчас, сейчас, — сказал Накамура и подмигнул мне.

Позвав какого-то японца, Накамура долго шептался с ним.

— Выпьем по рюмочке саке и покурим, — предложил он мне. — Тем временем все будет готово.

Через несколько минут японец встал и пригласил меня следовать за ним. Пройдя через несколько комнат и коридоров, мы вошли в большой зал, похожий на казарменное помещение. Два японца вытаскивали из-под нар какие-то ящики. Они уложили в фанерный ящик бутылки с коньяком и виски, переложив их соломой. Оставалось только закрыть ящик крышкой, как вдруг вошел какой-то японский майор. Японцы затолкали ящик под нары.

Накамура что-то громко крикнул по-японски, и все трое застыли по стойке «смирно».

Майор подошел к солдатам и, заглянув в ящики, стал кричать, потом о чем-то спросил Накамура, который, отдав честь,

что-то ответил. Из всего этого я понял, что Накамура сделал что-то недозволенное, за что ему полагается наказание. Мне захотелось как-то незаметно выскользнуть из зала, но сделать это было невозможно, и я стоял как истукан, ожидая, что же будет дальше.

Майор, казалось, не замечал меня и продолжал ругаться, а потом показал на меня и что-то сказал Накамура. Накамура направился ко мне, а майор вышел из зала.

Накамура сделал знак следовать за ним. Пройдя через много комнат и коридоров, мы вышли на улицу.

— Ничего не поделаешь! — сказал японец. — Сейчас нельзя. Вечером будьте у себя в бараке. Накамура зайдет к вам.

— А мои санки? — Я вспомнил, что они остались в большом зале.

— Санки, коньяк, виски — все будет! Но не сейчас. А пока идите домой.

Надеясь и сомневаясь, я ждал вечера. «Этот строгий майор вряд ли так оставит дело, — думал я. — Он, наверное, давно подозревает Накамура, а сегодня поймал его на месте преступления. Хорошо еще, что я не отдал Накамура деньги».

Оказалось, что я плохо знал японских офицеров. Часов в семь кто-то постучал в дверь моей комнаты. Это были Накамура и солдат, привезший мои санки. На санках стояли два фанерных ящика с бутылками. Расплатившись с японцем, я высказал сожаление по поводу того, что причинил ему неприятность.

— Ничего, — успокоил меня Накамура. — Майор тоже человек, он тоже любит коньяк и виски. Торговля всегда связана с риском, за который платится деньгами. Все в порядке. — Пожав мне руку, японец пожелал счастливого пути. — Если когда-нибудь окажетесь в Токио, разыщите Накамура. Недостатка в sake, коньяке и красивых девушках у вас не будет.

VI. МОЕ «СОТРУДНИЧЕСТВО» С ЯПОНЦАМИ

Рождественская встреча

В Хилок я приехал накануне рождества.

В станционном ресторане за стойкой стояла мать Кати. Она обслуживала пассажиров, шутила с ними. Словно оправдываясь, Мария Павловна сказала, что она, к сожалению, не сможет пойти сейчас со мной к Кате, чтобы отпраздновать мой приезд: она приглашена в одну польскую семью на вечер. Тем более что ей давно хотелось посмотреть, как празднуют рождество католики, но все не было случая.

— Ведь ты не будешь сердиться на меня за это?

Мог ли я сердиться! Я помчался домой радостный: весь вечер мы будем с Катей только вдвоем.

Из всех религиозных праздников еще с детства во мне осталась лишь любовь к рождеству. Был бог или не был — неважно, просто для меня рождество всегда было самым прекрасным семейным праздником.

— Наконец-то ты вернулся, — обняла меня Катя. — Если бы ты знал, как я счастлива!

— Я тоже счастлив почти, — начал я, — а потому «почти», что Христос прислал тебе подарок, но несколько поспешил. Он забыл, что у православных рождество будет только через две недели. Я вынужден уехать от тебя и вернуться только через две недели.

— Знаешь, — глаза Кати так и светились радостью, — я готова хоть сейчас принять католическую веру. Мне все равно, тем более что в бога я не верю.

Так были устранены с нашего пути все религиозные препоны, и теперь мы могли без помех отпраздновать рождество.

Джентльменское соглашение

На следующий день японский начальник радушно принял меня, усадил и угостил японской водкой. Разговаривали мы то по-английски, то по-французски, вставляя время от времени в разговор отдельные немецкие слова.

Я поблагодарил японского офицера за помощь, оказанную мне. Он со своей стороны высказал удовлетворение по случаю моего возвращения в Хилок и пожелал мне всего хорошего.

— Жена у вас молодая, красивая, и я несколько не сомневаюсь, что вы будете прекрасно себя чувствовать. — Японец поднял рюмку, чтобы выпить за здоровье моей жены.

За четверть часа мы успели выпить за мое и его здоровье, за нашу дружбу, но он ни словом не обмолвился о том, в чем же именно будут заключаться мои обязанности как переводчика. Не вытерпев, я спросил его об этом.

Сайто с удивлением уставился на меня:

— Я полагал, что мое прошение было написано только для того, чтобы вас отпустили домой.

Еще раз поблагодарив его за доброту, я сказал, что, независимо ни от чего, мне хотелось бы что-нибудь сделать для него.

Сайто ответил, что благодарить его не за что, но, раз мне так хочется что-то сделать, было бы неплохо, если бы я почаще заходил к нему и разговаривал с ним по-английски, по-французски и по-немецки. На этих языках он говорит очень слабо, поскольку практики у него почти никакой нет.

Я охотно согласился.

Оставалось только попросить, чтобы японец выдал мне какой-нибудь пропуск, который я мог предъявлять в случае надобности.

Сайто согласился дать мне пропуск, и в полдень следующего дня я получил справку, написанную на русском, английском и японском языках.

Справка

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что офицер австро-венгерской армии Эндре Шик действительно работает переводчиком при японской воинской части, расположенной в Хилоке, и как таковой находится целиком и полностью в распоряжении командира этой части.

Хилок. 25 декабря 1918 г.

Командир японской воинской части.

Японец внимательно прочел английский текст, затем японский и, подписав все три экземпляра, поставил на них печать.

Затем он торжественно передал мне справку, сказав:

— Чтобы справка вошла в силу, нужно за это выпить по рюмочке саке.

Мы расстались, договорившись, что после Нового года начнем с ним заниматься разговорными уроками на английском, французском и немецком.

Еще раз о Марии Павловне

Я никогда не встречал женщины добрее Марии Павловны. У нее был чудесный характер, и все знакомые ее очень любили. Исключение составляла Аглая Петровна, которая не могла простить Марии Павловне ее доброты. Когда Мария Павловна стояла за стойкой в ресторане дяди Феди, никто из ее знакомых не упускал случая угостить ее чем-нибудь. Железнодорожники и их жены буквально завалили ее подарками.

Второе замечательное качество Марии Павловны — ее исключительно спокойный и уравновешенный характер.

Один знакомый врач говорил, что именно этому своему качеству она обязана тем, что сохранила до глубокой старости такой моложавый вид.

По годам она давно могла быть бабушкой, но никто не давал ей больше тридцати пяти — сорока лет. Умерла она через пятнадцать лет, но и тогда у нее на лице не было ни одной морщинки. По душевному складу или по образу мышления Марии Павловне вообще можно было дать не тридцать пять, а восемнадцать лет.

Одна медсестра рассказывала, что, когда после операции она пришла в сознание, первыми ее словами были:

— Позовите главврача, но сначала дайте мне зеркало.

Однако больше доброты была наивность Марии Павловны.

Обмануть ее мог любой встречный-поперечный, было бы только желание, а она была по-детски религиозной и наивной и жила по принципу: «если кто тебя ударил по одной щеке, подставь ему другую» или «если у тебя есть две рубашки, одну отдай страждущему».

По своей наивности она думала, что и другие люди похожи на нее. Нетрудно себе представить, в какие неприятные истории она из-за этого попадала.

О том, насколько ее любили и уважали в Хилоке, лучше всего свидетельствует один случай, о котором впоследствии очень долго говорили.

Было это при белых, когда чуть ли не каждый день людей грабили и раздевали. Как-то вечерний поезд сильно запоздал, и Мария Павловна возвращалась домой со станции после полуночи. На ней была очень дорогая шуба. Было темно. На пустыре ее остановили двое мужчин. Один преградил ей путь, а другой, зайдя сзади, приказал:

— Быстро снимай шубу!

Мария Павловна остановилась. Она словно не слышала грозного приказа. Покачав головой, перекрестилась.

Увидев, что жертва не собирается им повиноваться, один из бандитов схватил бедняжку за руки, а другой стал расстегивать шубу.

— Пусть будет так, как угодно господу, — только и сказала Мария Павловна, глядя в глаза бандиту.

И тут произошло неожиданное. Бандит, расстегивавший пуговицы на шубе, узнал Марию Павловну.

— Стой! — крикнул он своему другу. — Ведь это же Мария Павловна!

Не переставая просить у нее прощения, бандиты поцеловали Марию Павловну руку и отпустили.

Мария Павловна тоже узнала негодяев, но никому не назвала их имена.

В Хилоке Мария Павловна прожила вместе с нами почти год, позже она несколько лет жила у нас в Москве, и Катя не раз ссорилась с матерью, чему я несколько не удивлялся: слишком разными были они по характеру. Но мне Мария Павловна ни разу не сказала ни одного грубого слова. Она была красноречивым олицетворением всего самого хорошего.

Володя проезжает через Хилок

Катя часто вспоминала Володю, говоря: «Володя сказал то, Володя сделал это...», «Что случилось с Володей?», «Жив ли он еще?..»

Меня это обижало, хотя я прекрасно понимал, что почвь для ревности не было.

— Скорее всего, бедный Володя погиб или попал в плен, иначе он обязательно дал бы о себе знать, — не раз говорила Катя.

Я молчал, когда речь заходила о Володе, и лишь иногда, не выдерживая, делал ехидные замечания.

— Как знать? Может, ваш Володя сейчас с отрядом белых готовится идти походом на Москву.

— Брось выдумывать, — сердилась Катя. — Я тебе сколько раз рассказывала о брате, а ты так плохо думаешь о нем...

В такие минуты я обычно замолкал или старался перевести разговор на другую тему, но в глубине души у меня жило подозрение, что Володя служит у белых.

Однажды Катя получила телеграмму: «Восьмого пятницу поездом сто четыре проезжаю Хилок. Направляюсь Владивосток офицером связи между генштабом и японским командованием. Володя».

— Вот видишь, — сказал я жене, — все же я был прав. Будет лучше, если ты выбросишь его из своей памяти. Надеюсь, теперь ты не будешь утверждать, что хорошо разбираешься в людях.

Катя снова начала защищать Володю: он очень порядочный, только слишком молод и не разбирается в политике. Она была уверена, что его ввели в заблуждение.

— Я встречу его на станции и поговорю с ним, попробую объяснить, что он становится на опасный путь.

Мои попытки отговорить ее ни к чему не привели.

— Делай как хочешь, — наконец сказал я, — но, если что случится, пеняй на себя.

На следующее утро Катя пошла на станцию, но через полчаса вернулась домой. Оказалось, что сто четвертый поезд прошел раньше назначенного времени. Катя чуть не плакала от обиды. Я молчал, считая, что так будет лучше. Однако Катя, видя, что я молчу, еще больше разволновалась и расплакалась.

— Катя, стыдись! — с упреком сказал я ей. — Стоит ли проливать слезы из-за этого карьериста, продавшегося белым?

Но Катя плакала и повторяла:

— Не верю, не верю... никогда не поверю этому.

Чтобы как-то успокоить ее, я перевел разговор на другую тему.

С тех пор о Володе мы никогда не говорили.

Александра Ефимовна достигает цели

Однажды, вернувшись с работы, Катя сказала, что у них появилась новая сотрудница — Александра Ефимовна.

— До сих пор я ее не знала, только видела иногда и по вполне понятной причине не испытывала к ней симпатии. Теперь, познакомившись с ней поближе, нахожу ее симпатичной.

Я промолчал.

Катя все чаще заговаривала об Александре Ефимовне, и каждый раз с большей симпатией. Видимо, они подружились. Сначала меня удивляла эта дружба, так как было бы вполне логично, если бы они ненавидели друг друга, но я с чувством удовлетворения отмечал, что ничего подобного между ними нет и в помине.

Позже из слов Кати я узнал, что Александра Ефимовна не только работает в конторе лесничества, но и живет в квартире Никифора Андриановича. Оказалось, что лесничий более года назад расстался со своей женой.

Жена его уехала в Харбин, где сошлась с одним русским инженером, бежавшим из России. Две дочери Никифора Андриановича были замужем, а младшая дочка и сынишка остались с ним.

— Короче говоря, случилось так, как я и предполагал, — не без ехидства заметил я. — Никифор Андрианович был любовником Александры Ефимовны, а чтобы это не бросалось в глаза людям, он взял ее к себе на работу.

— Ну и что? Никифор Андрианович мужчина в годах, к тому же жена оставила его. Александра Ефимовна самостоятельная, независимая женщина. Почему бы им и не полюбить друг друга? Уж не завидуешь ли ты им? Или, быть может, обвиняешь их в том, что они не венчаны? Ведь они не смогли бы обвенчаться, даже если бы и захотели, потому что Никифор Андрианович официально не разведен.

— По мне, пусть они любят друг друга, как хотят, а вот что они так открыто живут — это несколько странно.

— Совсем напротив, это-то и говорит о том, что оба они порядочные люди. Мать Александры Ефимовны вместе с ребенком уехала в Читу. А Никифор Андрианович остался один-одинешенек с двумя малыми детьми. Александра Ефимовна работает в конторе да еще заботится о его детях, словно родная мать. Никифор Андрианович вовсе и не считает ее своей любовницей, а уважает ее как настоящую жену. По-моему, более нормальных отношений между мужчиной и женщиной и не придумаешь.

Мой знакомый Сайто

Через несколько дней после Нового года я пришел к Сайто, которому только что присвоили звание капитана, и мы целый час проговорили с ним по-английски. Я хотел составить расписание наших занятий, но капитан, сославшись на занятость, уточнил лишь день следующего урока.

Следующий раз мы разговаривали с ним по-немецки. Договорились, что капитан сам известит меня о том, когда у него будет свободное время.

— Так будет лучше, а то, когда человек привыкает к распорядку, это подчас похоже на принуждение.

Прошло две недели, а Сайто все не просил меня зайти к нему. Когда мы иногда встречались с ним на улице или на станции, капитан обычно приглашал меня зайти к нему поговорить. Если я заставал его дома, мы занимались, а если не заставал, шел себе спокойно домой.

Как-то я узнал, что капитан охотно ходит на званые обеды, когда его приглашают, особенно в те семьи, где есть девушки. Когда я спросил его, не согласится ли он отобедать у нас, Сайто охотно принял приглашение.

Обед удался на славу. Мария Павловна, как обычно, развлекала гостя. Капитан вел себя галантно: был вежлив, как китаец, ухаживал, как истинный француз, был корректен, как англичанин, и пил, как русский.

За обедом он много рассказывал о Японии и не раз повторял, что, как только окончится война, нам с Катей обязательно нужно побывать в Японии. Позже, в конце обеда, когда бутылка с водкой опустела, он просто заявил, что приглашает нас к себе в гости в Японию.

В создавшейся ситуации мне было неудобно отставать от японца, тем более что после Японии речь зашла о Венгрии. Японец спросил меня, в какой местности находится мое владение и есть ли там условия для охоты. Еще в начале нашего знакомства я узнал, что капитан родом из богатой феодальной семьи, и потому мне пришлось выдать себя за сына крупного землевладельца. Под влиянием выпитой водки фантазия разыгралась. Я объяснил японцу, что мое владение находится между горами Матра и Бюкк, где в лесах много медведей, и со своей стороны пригласил японца, не ожидая, пока мы приедем к нему в Японию, сначала приехать в Венгрию и несколько недель поохотиться на медведей в моем имении в горах Бюкк. Капитан охотно согласился.

Я точно не помню, что еще тогда наговорил, поскольку был довольно пьян, но одна деталь осталась в моей памяти. Когда Мария Павловна угостила гостя печеньем, он поблагодарил, но отказался.

— Спасибо, я уже не хочу, — сказал он и правой рукой дотронулся до своего затылка.

— Что означает этот жест? — спросил я его. — Мы показываем на горло, когда хотим сказать, что наелись.

— Это понятно, — ответил Сайто, — вы наедаетесь по горло. Мы, японцы, народ мелкий, и если много съедаем, то не до горла, а до самого затылка.

После этого обеда капитан стал относиться ко мне еще лучше, но об уроках языка даже и не заговаривал.

Следовательно, мои переводческие обязанности свелись к нулю. Правда, дважды меня привлекали к работе в качестве переводчика, и оба раза я хорошо справился со своими обязанностями.

Первый случай, можно сказать, носил характер международного конфликта между японцами и лавочником-греком.

Однажды два японских солдата зашли в лавочку грека и потребовали водки. Лавочник ответил, что водки в продаже нет. Солдаты были уже пьяны и, требуя водки, стали угрожать греку. Грек объяснил им, что у него в лавочке вообще водки не бывает, но он отведет их туда, где можно купить водку. Лавочник сказал жене, что скоро вернется, и пошел к двери. Японцы поняли это как приглашение войти в лавку и начали разбрасывать товары в поисках водки. Грек, увидев это, вбежал в лавку, но утихомирить японцев ему не удалось. Отчаявшись, он крикнул жене, чтобы она позвала на помощь.

Японцы заметили меня не сразу, а когда увидели и узнали, громко поздоровались со мной. Я с грехом пополам объяснил им, что вышло недоразуменне, грек хочет достать им водки, но у него самого ее нет, вот он и зовет их с собой в другое место. Японцы сразу же успокоились, начали обнимать грека, похлопывая его по плечу. В конце концов они все вместе вышли из лавочки.

И вот другой случай. Однажды, вернувшись домой, Катя сказала, что белые арестовали паровозного машиниста Коваленко и проводника Кузнецова. Их обвинили в том, что они красные и в свое время грабили и убивали людей. Действительно, Коваленко и Кузнецов были большевиками и при красных играли видную роль в городе, о чем хорошо знал любой житель Хилока, но обвинение в грабеже и убийстве было явной клеветой. Оба они, разумеется, отрицали свою партийную принадлежность. Прошел слух, что их отправят в Макавеевку, где и допросят с пристрастием.

— Нужно как-то помешать белым, — сказала Катя и так посмотрела на меня, словно я мог что-то сделать. — Если их увезут, они погибнут.

— Ясно, — согласился я, — только чем можно им помочь?

— Сайто — добрый человек, он уважает тебя и охотно исполнит твою просьбу. Попробуй поговорить с ним.

Я еще не знал, что именно скажу японцу, но все же решил попробовать. Попытка не пытка, в худшем случае из моей затеи ничего не получится, и только.

По дороге к Сайто в голову мне пришла довольно оригинальная мысль. Я хорошо знал и Коваленко и Кузнецова. У обоих были симпатичные жены. Вот я и решил «апеллировать» к рыцарскому самолюбию японца.

К счастью, Сайто оказался дома. Он дружески поздоровался со мной и спросил, чем может быть полезен. Я только этого и ждал и тут же изложил свою просьбу.

Вначале я дипломатично сослался на недавний разговор с Сайто, когда он говорил мне, что терпеть не может несправедливости. После такого вступления я сказал, что здесь, в Хилоке, готовится большая несправедливость в отношении двух местных жителей. У каждого из них хорошенькая жена. Русские офицеры завидуют железнодорожникам и, чтобы как-то приблизиться к их женам, решили избавиться от мужей, обвинив их в том, что они большевики. Я же очень хорошо знал обоих. Например, Коваленко долго был моим учеником, и притом как раз при красных, я часто разговаривал с ним и знаю, чем он дышит. Короче, никакой он не большевик. Что же касается Кузнецова, так он не только не имеет никакого отношения к большевикам, но даже отличился перед японским командованием: однажды белочехи разграбили японский эшелон с грузом, так вот этот самый Кузнецов первым доложил об этом начальнику станции.

Сайто, по обыкновению улыбаясь, выслушал меня. Я давно заметил, что японцы с улыбкой выслушивают такие известия, при которых мы, например, начинаем хмуриться.

Когда я договорил, японец пожал мне руку и сказал:

— Я очень рад, что знаком с человеком, который готов выступить за правду, даже если это касается совершенно посторонних людей.

Дальше он заявил, что нисколько не сомневается в правильности моей оценки, и обещал в тот же день уладить это дело с военным комендантом.

От Еременко я узнал, что моих подзащитных освободили в тот же вечер, а на следующий день они благополучно уехали из Хилока.

— Сегодня у японского офицера еще есть власть, — объяснил мне Осип Кузьмич, — но это ненадолго. Завтра-послезавтра японцы уже не будут хозяевами положения.

Случай с Зубовым

Японская справка обеспечивала мне в Хилоке спокойную жизнь. Я мог ходить по улицам, не опасаясь ни японских солдат, ни русских властей. Я безбоязненно появлялся даже в общественных местах, время от времени посещая самодеятельные концерты, кино. А в ресторан дяди Феди мы с Катей каждый день ходили обедать.

И вот однажды произошел случай, который напомнил мне, что нужно быть осторожным.

Мы обедали в ресторане. После обеда Катя на минутку вышла к дяде Феде, оставив меня в зале. В этот момент в ре-

сторон ввалился какой-то офицер в кавказской папахе и бурке. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга.

— Что вы здесь делаете? — вдруг закричал он. — Место пленных в лагере! Кто разрешил вам расхаживать на свободе?

В офицере я узнал капитана Зубова.

«А, и ты, Брут», — подумал я, хотя после скверного поведения Белиха и Распопина уже ничему не удивлялся. Зубов же и при красных не скрывал своих взглядов. Но испугать меня было трудно.

Уверенный в себе, я полез в карман и достал справку.

— Я работаю переводчиком у японцев, — спокойно произнес я. — Начальник березовского лагеря откомандировал меня сюда. Вот, пожалуйста.

Капитан взял справку в руки и прочел, но, к моему удивлению, она не произвела на него никакого впечатления.

— Ерунда все это! — крикнул Зубов, бросив мне справку. — Вы венгр и к тому же офицер. Начальник лагеря не имел никакого права отпускать вас из лагеря.

Меня бросило в жар. И тут, как по заказу, в ресторан вошли два японских солдата. Они, наверное, не раз видели меня у своего командира и теперь, подойдя ко мне, громко поздоровались со мной и пожали руку.

Я постарался объяснить японцам, что этот русский офицер, не зная, что я их переводчик, хочет меня арестовать. Я показал солдатам справку, но они не стали даже ее читать. Один из японцев легонько ударил капитана в грудь, а другой повернул кругом и подтолкнул к двери.

В этот момент в зал вернулась Катя. Японцы вежливо поздоровались с ней и проводили нас до самого дома.

Прощание Оторвина

И хотя этот случай кончился для меня благополучно, мы с Катей решили, что мне не стоит больше обедать в станционном ресторане. Катя, как и прежде, будет сама ходить за обедом.

Теперь, вернувшись со станции, она рассказывала мне новости. А новости были интересные: в Западной Сибири идут тяжелые бои между красными и белыми. Части Красной Армии, одерживая победы, продвигаются на восток и уже находятся недалеко от Омска. В Прибайкалье и Забайкалье действуют партизанские отряды.

— Как видишь, вести радостные, — сказала Катя, — но тем не менее будь очень осторожен. Если дела у белых пойдут хуже, они в ярости будут способны на любую подлость.

Доводы Кати показались мне обоснованными, я старался как можно меньше показываться на улице, но однажды все же побывал на станции.

В тот день Катя вернулась очень взволнованная.

— У меня плохие известия, — сказала она. — Представь себе, я видела Оторвина.

— Этому можно только радоваться, — заметил я. — Значит, ему все же удалось выбраться из этой Макавеевки.

— Напротив, он приехал проститься.

— Как так проститься? А куда он уезжает?

— Обратно в Макавеевку. Но при этом он ведет себя как человек, который точно знает, что уже никогда больше не вернется сюда. Мне показалось, он решил покончить с собой.

Оказалось, что Оторвин приехал в Хилок еще вчера и с тех пор сидит в ресторане и пьет с дядей Федей. Перед самым рассветом он немного подремал, а в восемь утра снова начал пить. Завтра он должен уехать.

— Что с ним стало за какие-то несколько месяцев! Его даже узнать трудно.

Вечером, когда совсем стемнело, я не без труда уговорил Катю пойти прогуляться и всего на несколько минут заглянуть на станцию. Я надеялся поговорить с Оторвиным с глазу на глаз и уговорить его бросить службу и уйти в тайгу к партизанам. Катя считала мой замысел слишком фантастичным, но не отговаривала меня.

— Если Оторвин расскажет им, откуда он пришел, вряд ли те возьмут его в отряд, только хуже может быть.

Когда мы вошли в ресторан, там сидели человек восемь с Оторвиным и дядей Федей в центре. Настроение у всех было приподнятое. Оторвин сразу же заметил нас, когда мы вошли, и пригласил к столу. Он был весел и оживлен, словно у него вообще не было никаких забот.

О разговоре с глазу на глаз нечего было и думать. Да и стоило ли? Катя, наверное, ошиблась, и Оторвин вовсе не такой порядочный человек, каким мы его считали.

При первой же возможности мы ушли из ресторана.

На следующий день Оторвин уехал, куда и как — этого никто не знал. (После полуночи компания разошлась, в ресторане остались только Оторвин и дядя Федя. Утром, ничего не помня, дядя Федя проснулся на полу.)

Через несколько дней один паровозный машинист рассказал кое-что об Оторвине.

Стало известно, что после пьянки Оторвин поехал не в Макавеевку, а совсем в противоположном направлении, в Могзонь. Там у него жила одна знакомая, за которой он ухаживал в молодости. Познакомились они еще при красных. Оторвин даже хотел жениться на ней, но не успел справить свадьбу, потому что его мобилизовали в армию. Позже из Хилока Оторвин не раз ездил к своей невесте. Когда же его направили в Макавеевку, то выяснилось, что девушка эта в положении.

Поскольку надежды на возвращение Оторвина из Макавеевки не было, девушка спешно вышла замуж за одного офицера. Обо всем этом она откровенно написала своему возлюбленному и в письме попрощалась с ним.

Оторвин, которому жизнь опостылела и без Макавеевки, совсем потерял голову и решил не только покончить с собой, но и убить свою любовь. Вот он и заехал в Хилок, чтобы проститься со своими друзьями, а заодно и с жизнью. С утренним поездом он приехал в Могзонь и попросил свою возлюбленную еще раз побыть с ним. Женщина сначала согласилась, но потом, заподозрив что-то неладное, попросила его уйти. Но Оторвин, дождавшись, когда домой вернулся ее муж, выстрелом из пистолета убил его, потом возлюбленную, а потом самого себя.

Оптимизм Осипа Кузьмича

Трагическая смерть Оторвина настроила меня на печальный лад. Мое собственное положение все чаще и чаще беспокоило меня. Только Катин приход радовал. Она рассказывала о новых победах красных или об успешных рейдах партизан. Мне очень хотелось с кем-нибудь кроме Кати поговорить о политике. Самым подходящим человеком для таких разговоров был Осип Кузьмич.

С тех пор как я вернулся из лагеря, дома у него я не был, а только случайно встречался иногда на улице или на станции.

Однажды в воскресенье я пошел к нему домой. Осип Кузьмич обрадовался моему приходу.

Пока его жена что-то готовила на кухне, я спросил у старика, как долго, по его мнению, продержатся белые у власти и есть ли надежда, что скоро освободимся от них.

Тихо, почти шепотом, Осип Кузьмич рассказал, что в тайге, недалеко от Хилока, находятся партизанские отряды, которые, возможно, через несколько недель окрепнут настолько, что возьмут Хилок.

— Вообще-то, — еще тише продолжал Осип Кузьмич, — Красная Армия медленно, но верно продвигается вперед. Знающие люди говорят, что они уже стоят под Омском. Самое позднее к осени будут и у нас. Думаю, что эти несколько месяцев мы как-нибудь продержимся.

— Осип Кузьмич, как вы считаете, не лучше ли будет, если я пока исчезну из Хилока? Японцы могут каждый день уйти отсюда, и тогда меня просто заберут. В лучшем случае снова загонят в лагерь, а то может случиться и похуже.

— А куда же вы хотите уйти, Андрей Александрович? Обратно в лагерь?

— Нет, туда не хочу.

— Тогда куда же?

— А не податься ли мне с женой в тайгу, к партизанам? —

вдруг выпалил я. — Туда ушли многие порядочные люди, которые не смирились с теперешними порядками.

Осин Кузьмич покачал головой:

— Нет, Андрей Александрович, это не для вас. Да и партизанам от вас тоже пользы мало будет. Мест здешних вы не знаете да и к их жизни не привыкнете, а будете только в тягость. Жену вы с собой взять не сможете, вот и будете жить в постоянной тревоге друг за друга. Правда, у партизан есть и женщины, но они не похожи на вашу жену. Это молодые, здоровые женщины из здешних мест, а Екатерина Васильевна особа топкая, хрупкая. Вы знаете, я ее очень уважаю, но должен вам откровенно сказать, что для такой жизни она не годится. А самое главное, это повредит делу. У нас в России революция уже была. Эти небольшие разногласия с белыми мы как-нибудь и сами уладим. Вам никто такой задачи не ставил, чтобы вы переходили на нашу сторону. В людях у нас недостатка нет. Уж раз вы здесь оказались, так лучше учитесь, как нужно делать революцию. Настанет такое время и у вас на родине. А в том, что это время скоро настанет, я нисколько не сомневаюсь. Так что вы пока не лезьте в дела, которые могут помешать вам вернуться на родину. На вашем месте, если меня кто-нибудь спросит, к какой партии я принадлежу, я ответил бы так: «Я не большевик, не меньшевик, а молчальник. Вот вернусь к себе на родину, огляжусь как следует, а тогда и решу, кем стану». Поверьте мне, это самое умное. Живите себе спокойно, тихо, и все будет в порядке.

Японцы убираются восвояси

Известие о том, что скоро японцы эвакуируются, обеспокоило меня. Я не разделял оптимизма моего друга Еременко, хотя и был твердо уверен, что красные в ближайшее время одержат победу. Но вряд ли это произойдет так быстро и гладко, как предсказывал Еременко.

С японской справкой в кармане я чувствовал себя в относительной безопасности. А что будет, когда уйдут японцы?

Я уже собрался к Сайто, чтобы поинтересоваться, правда ли, что они готовятся уходить, но что-то удерживало меня от этого. А вдруг японцы отберут у меня справку, и тогда я окажусь как бы вне закона.

Пока я раздумывал, ко мне пришли два японских солдата и передали просьбу капитана Сайто зайти к нему.

Капитан Сайто сообщил мне, что по приказу свыше их воинская часть переводится в Могзонь, и потому он, к сожалению, должен изъять у меня пропуск переводчика. Он поинтересовался, чем я намерен заниматься. Узнав, что особых планов у меня нет, но я хочу остаться в Хилоке, чтобы не расставаться с женой, капитан сказал, что очень хорошо понимает

меня. Если я вместе с женой перееду в Могзень, он охотно выдаст мне там такой же пропуск, какой у меня был здесь.

Это просто удивительно! Совершенно чужой человек так близко принял к сердцу мою судьбу.

О нашем переезде в Могзень не могло быть и речи, поскольку никого мы там не знали. Я поблагодарил капитана за готовность помочь мне, но откровенно признался, что этот вариант для нас не подходит. И тут я подумал: а не попросить ли у Сайто такую же справку, какую в свое время мне дал Оторвин?

Бравый японец ухватился за эту мысль.

— Как это мне не пришло в голову! — воскликнул он. — Пожалуйста! Немедленно составьте мне текст по-английски и по-русски.

Моя идея так понравилась капитану, что от удовольствия он то посмеивался, то прицелкивал пальцами, как человек, которому удалась хорошая шутка.

На следующий день у меня в кармане уже лежала такая справка:

Распоряжение

В связи с перемещением специальной японской воинской части в населенный пункт Могзень приказываю венгерскому офицеру Эндре Шикку — переводчику этой части — впредь до моего специального распоряжения находиться на станции Хилок и никуда оттуда не выезжать.

Эта справка свидетельствовала, что я продолжаю оставаться в распоряжении японцев и, следовательно, белые не имели права распоряжаться мною.

— Пользуйтесь на здоровье! — сказал Сайто, подписывая справку.

На этом мы дружески расстались, договорившись, что после войны я приеду к Сайто в гости в Японию. Я напомнил ему, что в горах Бюкка нас ждет охота на медведей.

VII. ДУЭЛЬ ПО-УКРАИНСКИ

Дядя Федя

На пасху мы с Катей пригласили к себе на обед дядю Федю и Аглаю Петровну.

Дядя Федя был любопытным человеком. Родился он в семье зажиточного украинского крестьянина, работал на железной дороге. В начале 1900 года его перевели в Хилок, где довольно скоро он стал заместителем начальника станции.

Как могла сложиться жизнь молодого человека, который, задавшись целью сделать карьеру, едет в Сибирь и на долгие годы поселяется в каком-нибудь медвежьем углу? Он или очень быстро женится, обзаводится хозяйством и живет жизнью обыкновенного человека, или же пристрастится к питью, ница в водке утешение от ссылки, на которую сам себя обрек.

По мнению многих, дядя Федя был в данном случае исключением. Лет пять или шесть он жил на маленькой станции и не женился, более того, и к водке не пристрастился. Правда, он был страстным охотником и рыболовом. Охота и рыбалка в окрестностях Хилока были богатыми, так что все свободное время он отдавал этой своей страсти.

Он переселился в Сибирь, когда ему было уже под тридцать. Но он все еще не собирался обзаводиться семьей. За пять лет холостяцкой жизни в Хилоке он так привык к одиночеству, что кроме работы его интересовали только фазаны, косули и зайцы, хариусы и омуль.

И вот случай свел его с Аглаей Петровной, муж которой в то время содержал на станции ресторан второго разряда. Железнодорожное начальство в ту пору сдавало ресторан в наем. В Забайкалье, на всем протяжении от Иркутска до Читы, имелись лишь небольшие поселки железнодорожников да домики железнодорожных обходчиков. Поселком такого типа был тогда и Хилок. Единственным более или менее крупным городом на этом перегоне был Верхнеудинск, поэтому станционный ресторан был не только местом, где пассажиры останавливающихся поездов могли пообедать. Местной интеллигенции (высокопоставленным железнодорожникам, инженерам, лесникам, врачам, учителям) ресторан был вместо казино. Холостяки столовались в этом ресторане, потому что, кроме этого заведения, в местечке питаться было негде. Вечерами же сюда довольно частенько заходили и семейные, чтобы поговорить и немного выпить.

Аглая Петровна в молодости была, по-видимому, красивой и пухленькой. (Когда я познакомился с ней, ей было уже за пятьдесят, но выглядела она все так же хорошо.) Мужа своего она не любила. По рассказам, он был намного старше ее, сухой и скучный человек с душой торговца. Федор Павлович, молодой и красивый украинец, приглянулся Аглае Петровне. А поскольку у него не было никакого опыта, как вести себя с женщинами, Аглая Петровна без особого усилия соблазнила его. Разведясь с мужем, она вышла замуж за Федора Павловича.

У дяди Феди, как у любого человека, проживающего на чужбине, было заветное желание когда-нибудь вернуться на родину. Аглая Петровна на этот счет имела свои планы.

Родилась она в семье сибирского сектанта и не испытывала особого расположения к украинцам. Правда, она говорила, что

любит украинцев, но ни за какие блага на свете не согласилась бы жить среди них.

Отъезд на Украину означал бы для нее отказ от всех сибирских привилегий. Правда, дядя Федя не был материалистом, зато Аглая Петровна крепко держалась за жизнь в достатке. К тому же она прекрасно понимала, что ее женские чары не будут для дяди Феди оковами, которые он не сможет сбросить. Поэтому она стала искать средство, с помощью которого могла бы удержать возле себя мужа. И такое средство нашлось — водка.

В молодости дядя Федя пил очень мало, разве что иногда в компании с друзьями-охотниками или рыболовами. С первого дня знакомства с дядей Федей Аглая Петровна начала «воспитывать» его, приучая к двум вещам: к водке и к любовным забавам.

С помощью этих двух средств ей удалось довольно крепко привязать его к себе.

Дядя Федя довольно быстро разочаровался в Аглае Петровне, но только не в водке. Когда я познакомился с ним, он уже славился тем, что никто никогда не видел его трезвым, правда, абсолютно пьяным его тоже не видели.

По своим политическим взглядам дядя Федя был оппозиционером. Причем его оппозиционные взгляды всегда расходились со взглядами тех людей, в руках которых была власть. Когда у власти стояли красные, он поругивал большевиков и критиковал все советское. В тот период он поил и кормил бывших белых офицеров, в обществе которых я не раз видел его, и, как мне казалось, даже давал им деньги.

Но как только к власти пришли контрреволюционные силы, во всем Хилоке не стало более верного защитника большевиков, чем дядя Федя, который помогал и тем большевикам, которые бежали от белого режима, и тем, кто скрывался в Хилоке.

Через несколько недель, когда белые уже хозяйничали в округе, поползли слухи, что где-то поблизости, в тайге (по сибирским просторам это означает километров пятьдесят), скрываются партизаны. А через несколько дней после этого уже говорили, что эти самые партизаны получают продовольствие из Хилока. Вскоре разговоры стали более конкретными: партизаны на санях увозили из Хилока муку, сахар и мясо.

Кто был этот смельчак, отважившийся на столь рискованный шаг, толком никто не знал, кроме троих в Хилоке: Аглаи Петровны, моей жены и меня. Этим человеком был Федор Павлович.

Аглае Петровне бояться было нечего. Не имея ни политических убеждений, ни твердых моральных принципов, она не пощадила бы и собственной жизни, если бы речь зашла о потере дяди Феди.

Своей племяннице дядя Федя верил больше, чем самому себе. Катя тоже любила старика и деликатно, почти незаметно вела борьбу за то, чтобы дядя Федя окончательно не спился.

Со мной дядя Федя сдружился не сразу. Он был слишком патриотичен, чтобы так быстро и просто пустить в свою душу иностранца. Из-за Кати он всегда был вежлив и корректен со мной, хотя долгое время особых симпатий ко мне не выказывал. Чтобы понять, что и иностранец может быть порядочным, надежным человеком, дяде Феде потребовалось несколько лет. Но зато, поняв это, он был готов пойти за меня в огонь и в воду.

Эту свою тайну дядя Федя ни за что на свете не выдал бы своей сестре, Марии Павловне, хорошо зная ее по-детски наивный характер, из-за которого уже не раз расплачивался собственной шкурой. И, очень сильно любя свою сестру, он никогда не делился с ней своими секретами.

Пасхальный ужин

Обед, учитывая его праздничный характер, мы оттянули на столь позднее время, что теперь его можно было назвать ужином. Пасхальный обед — это не обычный обед. Заранее накрывается праздничный стол, на котором красуются разнообразные кушанья: ветчина, копченое мясо, индейка, салаты, торты, пирожные и еще бог знает что. Гости прибывают один за другим в течение всего дня. Хозяйка едва успевает подогреть горячие блюда. Если гостей приглашают на праздничный ужин, их обычно угощают чем-нибудь свежим, прямо с пылу, с жару, но называется этот пир все равно обедом.

В пасхальное воскресенье Мария Павловна, которая с самого утра обходила своих знакомых, в три часа вернулась домой и радостно сообщила:

— Вечером у нас будет еще один гость. На станции в ресторане в такой день, разумеется, никого из местных нет. Поезда в такое время и те не ходят. Во всем ресторане сидел один-единственный несчастный офицерик. И знаете, кто это был? Всеволод Александрович, который на днях приехал из Верхнеудинска. В командировку, что ли. Бедняжка сидел один в ресторане, потому что в Хилоке у него нет ни одного знакомого. Я пожалела его и пригласила к нам на обед. Думаю, вы не станете возражать.

Мы с женой переглянулись.

— Боже милостивый! — воскликнула Катя, целenea от ужаса.

Мария Павловна опешила. Катя никогда не упоминала господа бога, и это было постоянной темой для споров между матерью и дочерью.

— Почему вы так испугались? — спросила меня Мария Павловна. — Уж не боитесь ли вы этого офицерика? Я с ним не раз разговаривала. Он такой тихий, что даже мухи не обидит. Порядочный, образованный человек и к тому же мой земляк: несколько лет назад приехал с Украины.

Пришлось посвятить Марию Павловну в тайну Федора Павловича.

Узнав, в чем дело, она очень расстроилась:

— Но что же мне теперь делать? Отказать ему?

— Ни в коем случае! — запротестовал я. — Этот опасный тип только и мечтает, как бы засадить за решетку дядю Федю. Но пусть лучше он придет. Если ему отказать, он сразу же заподозрит что-то неладное. Как бы там ни было, мы должны вести себя так, будто ничего не знаем о нем. Нужно только проследить, чтобы дядя Федя сегодня много не пил. А то напьется и начнет нести околесицу, а это уже опасно.

Мария Павловна обещала повлиять на брата.

— Положитесь на меня. Буду следить за обоими, так что никакой беды не будет.

Федор Павлович и Всеволод Александрович появились ровно в шесть. Аглая Петровна пришла раньше, чтобы помочь женщинам по хозяйству.

Мы с Катей впервые видели этого офицера-контрразведчика. Это был мужчина выше среднего роста, с темно-каштановыми волосами. На вид ему было лет тридцать. Выглядел он чрезвычайно импозантно. Лицо бритое (ни усов, ни бороды), что в то время было большой редкостью среди украинцев. Представляясь, он по-военному щелкнул каблуками. Его манера говорить и каждый жест выдавали в нем кадрового офицера.

Мы сели к столу. Всеволод Александрович оказался между Марией Павловной и дядей Федей.

Ужин начался с холодных закусок и водки.

Гость и дядя Федя после двух рюмок завязали оживленный разговор.

Сначала все шло гладко. Говорили о погоде, о рыбах озера Байкал, о том, как хороши женщины на Украине и как крепки и ароматны украинские наливки. Я уже думал, что обед пройдет спокойно, но разговор вдруг перешел на «опасную» тему.

Беда пришла, когда на стол подали горячий украинский борщ. Мария Павловна, как каждая украинка, считала, что такой хороший борщ, кроме нее, никто сварить не сможет. Наливая борщ в тарелку Всеволода Александровича, она сказала:

— Надеюсь, Всеволод Александрович, что, отведав этого борща, вы поймете, что находитесь в гостях у земляков.

Всеволод Александрович, который с наслаждением смотрел на дымящийся красный борщ, услышав эти слова, вдруг на-

строился на критический лад и начал изучать содержимое тарелки. Он помешал ложкой в тарелке и, торжествующе улыбувшись, сказал:

— Борщ, кажется, действительно великолепный. Он так похож на наш украинский борщ, что их даже трудно различить. Разница заключается только в том, что у нас на Украине в борщ не кладут лаврового листа.

Дядя Федя, полностью отдавшись еде и не поднимая глаз от тарелки, заметил:

— Тот, кто так говорит, никогда не ел настоящего украинского борща.

Всеволод Александрович покраснел как рак и, положив ложку на стол, чеканя каждое слово, обратился к Федору Павловичу:

— Выходит, по-вашему, я не украинец?

Дядя Федя, словно не расслышав слов офицера, продолжал спокойно есть борщ.

— Прошу запомнить, что я действительно тот, за кого я себя выдаю, не то что некоторые.

Я сразу же понял, куда метил офицер. Видимо, он догадывался, что за человек Федор Павлович.

Дядя Федя был абсолютно спокоен.

— А в чем, собственно, разница: с лавровым листом или без него? Разве от этого зависит судьба России? Борщ вообще не важен, важна водка, которую человек пьет перед борщом, — сказал он и поднял стопку, чтобы чокнуться с Всеволодом Александровичем.

Офицер сделал вид, что не заметил жеста дяди Феди, но все же ответил:

— У нас на Украине водку пьют до первого и после первого блюда. Украинец не пьет водку, пока ест борщ. На Украине во время еды пьют только свињи.

Дядя Федя снова сделал вид, что не заметил оскорбления, и, подняв рюмку в сторону женщин, тут же выпил ее и продолжал есть борщ.

Несколько минут ели молча. За жарким дядя Федя начал рассказывать случай, который произошел с ним в молодости. Мы уже не раз слышали эту историю, дядя Федя любил ее рассказывать. Однажды он поехал на охоту. Дорога шла лесом. Вдруг перед самой повозкой один за другим пробежали три зайца. Третьего зайца дяде Феде удалось уложить.

На этот раз дядя Федя только успел сказать:

— Однажды солнечным летним днем мне по делу нужно было ехать на кирпичный завод, в Коростень...

— Прошу меня извинить, что перебиваю, — прервал рассказ дяди Феди Всеволод Александрович, — но в Коростени никогда не было кирпичного завода.

Этого дядя Федя уже не мог вынести. Он всегда гордился тем, что на Украине не было такого уголка, где бы он не побывал и которого он бы не знал как свои пять пальцев.

Бросив на гостя насмешливый взгляд из-под очков, дядя Федя спокойно продолжал:

— В Коростень, на кирпичный завод, которым в то время владела вдова второго сына Бондарчука...

— Федора Павловича несколько подводит память, — снова перебил дядю Федю Всеволод Александрович. — Это не удивительно, он так давно покинул Украину. Я очень хорошо знал семью Бондарчука. Второй сын старого Бондарчука вовсе и не женился, он так и умер холостяком, и причем намного раньше своего брата. А кирпичный завод после его смерти по наследству перешел в руки третьего сына. К тому же завод Бондарчука находился вовсе не в Коростени, а часах в двух езды оттуда, где-то между Косатино и Лесниками.

— Ваша милость, я вижу, изволит путать старинное с новым. Между Косатино и Лесниками действительно есть завод, только не кирпичный, а винокуренный.

Всеволод Александрович положил на стол ложку и, подбоченясь, бросил на дядю Федю недовольный взгляд:

— Что вы хотите этим сказать, сударь?

— А то, что никто не должен браться за дело, которое ему не под силу. Тот же, кто не знает Украину, не должен читать о ней лекций.

Мы так и похолодели. Чувствовалось, что оба имели в виду совсем другое. Дальнейшие события подтвердили это.

Всеволод Александрович встал из-за стола и заходил взад-вперед по комнате.

— Так вот мы до чего дошли, дружок, — перешел на «ты» Всеволод Александрович. — Ты думаешь, меня так легко провести? Ошибаешься, дружок! Я знаю, на что ты намекаешь. Я тебя насквозь вижу! Насквозь!

Всеволод Александрович сильно захмелел и, видно, решил окончательно разоблачить дядю Федю. Понимает ли это дядя Федя и будет ли впредь осторожнее?

Конечно, самое лучшее — хорошенько напоить Всеволода Александровича, чтобы он не пришел в себя, тогда утром он и не вспомнит, что с ним было накануне.

Всеволод Александрович несколько успокоился, когда дядя Федя поднял рюмку, а другой рукой показал ему на стул, сказав:

— Раз так, садись и выпьем еще по одной!

К моему удивлению, офицер покорно уселся на свое место и, чокнувшись, выпил, а затем принялся за жаркое. Ужин продолжался. Под воздействием выпитого оба успокоились. Всеволод Александрович похваливал кушанья, особенно салаты, и говорил комплименты женщинам. Дядя Федя ел молча.

Потом между ними снова вспыхнула искра разногласия.

Оба спорщика некоторое время ничего не пили. Аглая Петровна знала, что, когда мужчины не пьют, настает ее время угощать их. Но у нас командовала Катя, которая никогда никого не принуждала к выпивке. А Мария Павловна и так несколько раз напоминала дяде Феде, что он выпил сегодня достаточно. Не выдержав, Аглая Петровна взяла руководство ужином в свои руки.

— Еще по рюмочке, Всеволод Александрович, — с улыбкой обратилась она к офицеру, наливая ему водки.

Всеволод Александрович, подняв рюмку, посмотрел на дядю Федю:

— За наше приятное знакомство, Федор Павлович! Чтобы оно было долгим!

Дядя Федя, услышав тост, поставил рюмку на стол. Всеволод Александрович тоже поставил рюмку. Они молча уставились друг на друга.

Потом по лицу дяди Феде расплылась улыбка. Не знаю, чего в ней было больше: ненависти, презрения, злости или злорадного торжества. Скорее, всего понемногу.

— Чего ты хочешь от меня? — спросил его Федор Павлович таким тоном, что мурашки побежали у меня по спине. — В душу ко мне залезть? Жизни моей хочешь? Возьми ее, если сможешь. Попробуй!

И замолчал. И снова они молча смотрели друг на друга.

Я бросил взгляд на женщин, боясь, что сейчас произойдет что-то страшное. Женщины молчали, даже всегда боевая Аглая Петровна и та ничего не говорила.

— Просим! — спокойно произнес дядя Федя, поднимая рюмку.

— Ваше здоровье! — так же спокойно ответил ему Всеволод Александрович, чокнувшись с ним.

И оба принялись за десерт.

Около полуночи Мария Павловна забеспокоилась:

— Федя, душа моя, голубчик, пора домой. У Всеволода Александровича завтра утром работа. Да и нам утром вставать нужно. Я думаю, пора спать.

Дядя Федя послушался:

— Говорят, всей водки не выпьешь. Спасибо вам за угощение. А сейчас пошли ко мне. Этот великолепный ужин нужно чем-нибудь запить. А уж потом и отдохнем.

Мария Павловна запротестовала:

— Нет, Федя, на сегодня довольно. Сегодня все мы Катинины гости. К вам мы зайдем завтра или послезавтра. Ты же знаешь, что Аглая не рассчитывала на наш приход. Не подводи ее,

бедняжку. Сейчас все мы разойдемся по домам спать, а завтра продолжим.

— Федор Павлович, — поддержал Катину мать Всеволод Александрович, — Мария Павловна абсолютно права. Мне сейчас нужно идти на станцию, меня ночью ждет одно срочное дело.

Все успокоились, решив, что Всеволод Александрович уйдет, но вместо этого он вежливо обратился к Марии Павловне:

— Мария Павловна, ради бога, дайте мне, пожалуйста, чашку чая!

Мать Кати удивилась, но чаю налила. Пока Всеволод Александрович, не торопясь, пил чай, дядя Федя вполголоса запел украинскую песню. Никто не собирался вставать из-за стола. Мы ждали, что же будет дальше.

— Может быть, мужчины перейдут в другую комнату и там попьют чай?

Мы перешли в комнату, обставленную плюшевой мебелью. Всеволод Александрович уселся на красном плюшевом диване, остальные расселись по креслам и стали пить чай. Дядя Федя и Всеволод Александрович даже в чай подлили водки.

Разговор не клеился. Мария Павловна села за пианино и сыграла какую-то украинскую мелодию, подпевая сама себе. Дядя Федя вторил ей.

— Такие сентиментальные песенки очень приятно слушать в мирное время, — заметил Всеволод Александрович, ставя пустую чашку на крошечный столик, стоявший перед диваном. — Если бы это зависело от меня, я вообще запретил бы сейчас такие песни, они только расслабляют мужчин. Сейчас мужчина, как никогда раньше, должен быть тверд. Человек никогда не знает, в какую именно минуту он должен быть тверд и неумолим. Война продолжается и не минует ни одной, даже самой заброшенной, деревушки. «Будь всегда бдителен, тверд. И пусть тебя не разлюбят женщины».

Эти слова Всеволод Александрович произнес с пафосом. Расстегнув кобуру, он вытащил из нее револьвер и положил на стол.

Катя и Аглая Петровна страшно перепугались. Ни одна из них не шевельнулась, испуганно глядя на меня. Я, признаться, и сам был испуган.

И только дядя Федя продолжал напевать, как будто ничего не случилось, хотя Мария Павловна прекратила играть, слушая поручика. Увидев, что он достал револьвер, она проворно повернулась на вертящемся стульчике и без тени испуга обратилась к офицеру:

— Всеволод Александрович, это уже не по-джентльменски. Уж от вас-то я не ожидала! Где это видано, чтобы в гостях, в женском обществе бряцать оружием? И не стыдно вам!

Я уже хотел вскочить и схватить револьвер; но поручик взял его и приблизился к Марии Павловне.

— Мария Павловна, ради бога, как вы могли так подумать обо мне? Я подчиняюсь вам! — вежливо сказал он и с галантным поклоном протянул ей револьвер.

— Спасибо, Всеволод Александрович! Я не сомневалась, что имею дело с джентльменом, — сказала она, положив оружие на ноты.

Всеволод Александрович как ни в чем не бывало сел на свое место. Мария Павловна снова села за пианино и заиграла, и тут Всеволод Александрович полез в карман и вытащил оттуда небольшой пистолетик. Положив его на стол, он сказал:

— В любую минуту нужно думать о резерве.

Мария Павловна перестала играть и, словно не замечая нового трюка поручика, встала и с милой улыбкой обратилась ко всем:

— Я вижу, мужчины еще хотят побыть вместе. Дамы устали. Пусть мужчины остаются, а мы пойдем к Аглае и ляжем отдыхать.

Мария Павловна не ошиблась в своих расчетах. Всеволод Александрович сразу же среагировал на ее слова. Вскочив, он сунул пистолетик в карман и, вытянувшись по стойке «смирно», стал прощаться.

— Мария Павловна, ради бога! И мужчины, и женщины — все будут спать у себя. Мне же давным-давно пора быть на станции. Я, право, не виноват в случившемся. После столь богатого приема, оказанного мне в этом доме, нет ничего удивительного, что я забыл о нормах приличия.

И он направился в прихожую, чтобы надеть шинель.

Мария Павловна, вызвав меня на минутку, сказала, чтобы я обязательно проводил дядю Федю домой и не позволил бы ему затащить к себе поручика.

Когда я вместе с тещей вошел в прихожую, нашим глазам представилась такая картина. Дядя Федя держал шинель поручика, а Всеволод Александрович стоял посреди прихожей с саблей наголо прямо перед женщинами. Показывая засохшие пятна крови на сабле, поручик сказал:

— Этой саблей я зарубил двенадцать человек. Вот зарублю тринадцатого и тогда почищу.

Женщины дрожали от страха. Одна Мария Павловна нашла в себе силы и сказала:

— Всеволод Александрович, как же...

— Ради бога, Мария Павловна! Я думал, женщинам будет интересно услышать об этом. Так сказать, немного истории.

Спрятав саблю в ножны и надев шинель, он, поцеловав дамам руки, поблагодарил их за гостеприимство.

— Чуть было не забыл тут свою игрушку!

Забрав свой револьвер, он низко поклонился всем и пошел к выходу.

У калитки начались дипломатические переговоры. Дядя Федя заявил, что украинцы не позволят гостю уйти почью и Всеволод Александрович останется у него. Поручик вежливо отказался, сказав, что не позволит себе нарушать ночной покой своего друга. Ночью он ходит только к тому в «гости», кого он так любит, что сразу же забирает его с собой.

Оба упрямы, а я стоял и ждал, когда же наконец кончится эта словесная дуэль.

Конечно, победу одержал дядя Федя. Ничего удивительного в этом не было: за долгие годы он приобрел богатую практику в таких ночных состязаниях.

Когда дверь дома дяди Феди захлопнулась, я поспешил домой, чтобы помочь Кате. Возможно, она впервые в жизни почувствовала, какая ответственность лежит на ней.

Я постарался, как мог, уговорить Катю и Марию Павловну лечь спать.

— Как ты можешь так говорить! — возмутилась теща. — Они там в любую минуту могут перестрелять друг друга, а ты хочешь, чтобы мы здесь спали. Будем бодрствовать, в случае чего сразу же побежим к дяде Феде домой.

С большим трудом мне удалось склонить их на компромисс — я буду сидеть и читать, а они, не раздеваясь, немного подремлют: теща — в кресле, а жена — на диване.

Минут через пять Мария Павловна уже спала сном праведницы. Я не ложились, но так устал, что читать тоже не мог. Положив голову на стол, я задремал.

Разбудили меня громкие голоса, донесшиеся с улицы.

Вскочив, я выглянул в окно, но ничего опасного не увидел: двое пьяных возвращались домой. Их пасхальный обед, видимо, несколько затянулся.

Часы показывали восемь утра.

Женщины крепко спали. Мария Павловна, по-видимому, чувствовала себя совсем неплохо в своем любимом кресле, в котором часто дремала днем.

Не было необходимости будить их, и я один отправился к дяде Феде.

Поднимаясь по ступенькам дома, я прислушался. Тишина.

«Они или спят еще, или мертвы», — подумал я, открывая дверь.

— Доброе утро, Андрей Александрович, и еще раз счастливого вам праздника! Проходите, я сейчас приготовлю кофе.

Я поздоровался с Аглаей Петровной и вошел в столовую.

Федор Павлович и Всеволод Александрович сидели за богато уставленным праздничным столом, с важным выражением на лицах, в полном мире и согласии. Они пили водку, закусывая ветчиной и солеными огурцами. Когда я вошел в столовую, они как раз поднимали рюмки.

— За ваше здоровье, Всеволод Александрович, — произнес дядя Федя.

— И за ваше, Федор Павлович.

Чокнувшись, они выпили. Поручик снова принялся за еду, а дядя Федя сначала налил рюмку, а уж только потом, взявшись за ветчину, ехидно заметил:

— Что касается кирпичного завода, голубчик, то он и по сей день стоит в Коростени, если, конечно, его не смыло наводнение или не уничтожило землетрясение.

— Точно, Федор Павлович, точно, он как стоял между Косатино и Лесниками, так и стоит, — сопротивлялся офицер.

Дядя Федя прожевал кусок ветчины, что был у него во рту, и снова потянулся за рюмкой.

— Вздор, Всеволод Александрович! Самая настоящая чепуха! Ну да все равно. Давайте лучше выпьем. Прощу!

— Согласен, Федор Павлович! Милое дело мир.

— Слава богу, — проговорила Аглая Петровна, входя в столовую с горячим кофе.

После завтрака, прощаясь с Федором Павловичем, Всеволод Александрович договорился с ним вечером встретиться на станции.

Аглая Петровна пробовала было уговорить дядю Федю поспать, но он ответил:

— На то она и пасха, чтобы праздновать. Ты иди на станцию в ресторан, а я немного пройду, похристосуюсь кое с кем.

В полдень Мария Павловна тоже пошла на станцию. Все утро они с Катей были дома. Мы беспокоились за дядю Федю, потому что после ночной словесной дуэли утренний мир казался нам малоубедительным.

Под вечер Мария Павловна вернулась.

— Ну что там? — в один голос спросили мы.

— Ничего особенного. После обеда Всеволод Александрович искал Федю. Аглая сказала, что он ушел навестить знакомых, и тут же начала ругать мужа на чем свет стоит, говоря, что теперь он зайвится домой мертвецки пьяным только ночью, а то и завтра утром. Всеволод Александрович посмеялся, сказав, что на то она и пасха, чтобы немного погулять.

— Успокойтесь, Аглая Петровна, — добавил он. — Плохая монета не пропадет, не потеряется. Найдется если не завтра, то послезавтра. Я должен взять реванш за вчерашний приятный вечер.

Рассказ Марии Павловны несколько не успокоил нас с Катей.

Дядя Федя не появился ни завтра, ни послезавтра, ни даже на третий день. Оказалось, что вместе с ним из конюшни

исчезли лошадь и сани. Мы поняли, что уехал он вовсе не в гости.

Всеволод Александрович, узнав об этом, сильно ругался и в тот же день уехал из Хилока, пообещав вернуться через неделю и показать кому следует, где живет бог.

Прошла неделя, вторая, но ни Всеволод Александрович, ни дядя Федя не появились. От одного знакомого железнодорожника мы узнали о том, что Всеволода Александровича уже нет в Удинске. Его или перевели куда-нибудь в другое место, или же партизаны к себе прибрали. Толком никто ничего не знал, но в контрразведке появились совершенно новые люди.

Дня через три после этого известия дядя Федя вернулся домой. И не с пустыми руками. В санях у него лежало несколько десятков куропаток, рябчиков и тетеревов.

— Где тебя носило, безбожник? — строго встретила его Аглая Петровна, но тут же улыбнулась: — Все-таки вернулся. А мы уж думали, что тебя волки съели.

— Только хотели съесть, — ответил Федор Павлович, — но зубы у них недостаточно остры. После пасхальной пьянки так приятно немного проветриться в тайге. К тому же хорошему рестораничку нужно еще и о пассажирах позаботиться.

VIII. ОЖИДАНИЕ ПРИХОДА КРАСНЫХ

Больные пана Зимерского

Дядя Федя никак не хотел быть осторожнее. Мы не раз предупреждали его, чтобы он опасался: скоро даже воробьи будут чирикать у каждого куста, чем он занимается в свободное время. Соглашаясь, старик кивал головой, но продолжал делать свое дело.

В конце марта в удинской газете мы прочли сенсационную новость: в Венгрии совершилась революция, к власти пришли коммунисты. Вождь венгерских коммунистов Бела Кун, бывший в России в плену, несколько месяцев назад вернулся на родину.

Никаких подробностей газета не сообщала. С кем бы из своих хилокских знакомых я ни встречался в эти дни, все они только об этом событии и говорили. Я не находил себе места. Интересно, правда ли это или одна из газетных «уток»?

Знакомый инженер и паровозный машинист, которые недавно побывали в Иркутске, знали только то, что написано в газете.

Известие о революции в Венгрии взволновало меня. Я не спал всю ночь, а утром Катя уговорила меня сходить в аптеку за снотворным. Я недолюбливал аптекаря, но все же решил пойти к нему, надеясь узнать какие-нибудь подробности. Раз-

говор с аптекарем получился неприятный. Только я переступил порог аптеки, как аптекарь вместо приветствия набросился на меня:

— Скажите, что там у вас происходит? Сдурели вы, что ли? После Лайоша Кошута у вас впервые в истории образовалось по-настоящему демократическое правительство, а вы, вместо того чтобы уважать его, свергли. Отдали страну в руки каких-то авантюристов. Что, они не знают, что большевизм здесь, в России, раз и навсегда уничтожен?

— В России, пожалуй, положение несколько иное, — возразил я. — Насколько мне известно, большевики и сейчас находятся у власти. А Красная Армия, по сообщению даже местных газет, успешно наступает.

Аптекарь покраснел от злости:

— Вот как! Я всегда знал, что вы с ними заодно. Не понимаю, почему вы до сих пор на свободе? Ну, да я сам побеспокоюсь об этом.

Услышав угрозу, я предпочел не продолжать разговор.

— Вы же знаете, я не занимался политикой, — сказал я. — А говорить правду, я думаю, каждый имеет право.

Раздосадованный, я ушел, даже не попрощавшись.

Мое беспокойство достигло предела, когда домой пришла Катя и сказала, что в связи с революционными событиями в Венгрии всех венгерских военнопленных, которые под любым предлогом живут на свободе, собирают и отправляют в лагеря.

Вечером вместе с Катей и Марией Павловной мы собрались на совет. Женщины были удручены и печальны и долго сидели молча. Чем я мог успокоить их? Но я чувствовал, что должен что-то сказать.

— Разумеется, японская справка не обеспечивает мне необходимой защиты. Быть может, было бы разумнее добровольно явиться в лагерь и постараться достать там разрешение, чтобы и Катя жила вместе со мной. Стоит ли сидеть и ждать, пока меня заберут силой?

Катя, которая в трудную минуту всегда сдерживалась, сейчас просто расплакалась. Мария Павловна, которая могла плакать по любому поводу, сидела строгая и задумчивая, глядя прямо перед собой неподвижным взглядом, по которому я мог догадаться, что она ломает себе голову над очередным планом.

И я не ошибся.

— Послушайте меня, дети, — начала она. — Андрей на днях жаловался на то, что его беспокоит грыжа. По-моему, ему надо лечь в больницу. Пан Зимерский будет его оперировать.

В том положении эта идея показалась нам приемлемой.

Утром следующего дня я поговорил с паном Зимерским, и он согласился взять меня в больницу и оперировать.

В тот же день меня поместили в крошечную палату. Осмотрев меня, врач решил оперировать меня на следующей

неделе. После обеда врач еще раз зашел ко мне в палату.

Разумеется, главной темой нашего разговора были события в Венгрии.

— Вы знаете, что я не революционер и не контрреволюционер. Я вообще не занимаюсь политикой, — сказал доктор. — Но события, происшедшие в Венгрии, интересуют меня. После двухсотлетнего рабства, — продолжал доктор, — Польша наконец получит независимость. Для того чтобы эта независимость была длительной, необходимы два условия: во-первых, в Восточной Европе не должен быть восстановлен царский режим, а, во-вторых, в Центральной Европе нельзя допустить установления монархии. А для того и другого необходимо, чтобы к правительственному рулю не прорвались нестойкие политики, которых сторонники старого режима могли бы столкнуть в любой момент. С этой точки зрения я целиком и полностью стою за революционную партию. Как я уже сказал, я не против того, что происходит в мире, а лишь не согласен с тем, как это происходит.

Меня усыпили, и во время операции никакой боли я не чувствовал. Зато, когда очнулся, боли были сильные. Сама рана беспокоила меня дня два, но я никак не мог привыкнуть к зонду и целую неделю мучился из-за него, засыпая только со снотворным.

После работы приходила Катя, сидела у меня часа два. Она читала вслух забавные истории из старых журналов, стараясь чем-нибудь отвлечь мое внимание от болей. Она очень поддерживала меня.

На восьмой день мне должны были снять повязку, швы и вынуть зонд.

В операционную я пришел сам. Особой боли, когда снимали швы, я не чувствовал, но зонд по-прежнему беспокоил меня. Когда удаляли зонд, я потерял сознание от резкой боли.

Придя в себя, увидел, что нахожусь в коридоре, соединяющем операционную с палатой, и сразу не понял, стою ли я на ногах или меня несут на носилках. Оказалось, что с двух сторон меня поддерживали медсестры, они вели меня в палату.

Потом, помню, лежал на койке, смотрел в потолок и ничего не чувствовал. Мне хотелось перевернуться на другой бок, но я не смог пошевелиться.

Что со мной? Не умираю ли я?

В палату вошла жена. Она склонилась ко мне, и я услышал, что она говорит мне что-то ласковое-ласковое и плачет. Я не чувствовал, как она гладила мое лицо, только видел ее руки.

Мне захотелось сесть, схватить ее за руку, утешить ласковыми словами, поцелуями осушить ее слезы...

И вдруг страшная мысль пронзила меня: а что, если я так и не смогу никогда пошевелиться. Может, я в том состоянии, которое ведет к смерти? Ведь Катя может подумать, что я умер... Доктор не сможет разбудить меня, признает умершим, и меня похоронят...

Мне хотелось закричать. Я напряг все свои силы, но тщетно...

Катя откинула одеяло, расстегнула мне рубашку и начала энергично массировать мою грудь.

Сколько времени это продолжалось, не знаю. Сначала я ничего не чувствовал, но постепенно жизнь вернулась ко мне.

Мы обнялись так крепко, словно не встречались несколько лет.

За несколько дней я настолько окреп, что уже мог вставать и самостоятельно бродить по коридору.

Как-то утром доктор Зимерский спросил, нет ли у меня желания познакомиться с одним венгром, который лежит в больнице с язвой желудка. Зовут его Карой Хишма. Он работал на железной дороге обходчиком, но ему однажды стало так плохо, что он даже не смог добраться до своей сторожки. Сейчас его лечат, но если улучшения не будет, придется оперировать.

Не скажу, что очень обрадовался сообщению о «соотечественнике». Время было такое, что люди не очень охотно знакомились. Однако я сделал вид, что очень рад этому знакомству, и пошел разыскивать венгра. Он лежал в отдельной палате.

Это был человек примерно моих лет, очень приятной наружности. Когда мы познакомились, я заметил, что он рад нашей встрече, однако был он так осторожен, что я тоже решил обдумывать каждое свое слово.

Я хотел узнать, из какого он лагеря, но мой новый знакомый каждый раз ловко уклонялся от ответа, пока не выведал, какие именно лагеря знаю я; лишь после этого он сказал, что был в лагере под Хабаровском, откуда его и взяли на железную дорогу. Все это показалось мне подозрительным. Чувствовалось, он что-то скрывает. Может, он даже не пленный и вообще никогда не был ни в одном лагере, а потому боится, как бы я его не разоблачил. В иркутском лагере был один офицер, выдававший себя за пленного капитана, но оказался агентом русской контрразведки.

Венгр рассказал, что он доброволец, родился в области Бихар. Служил в Надьвароде, откуда его и отправили на фронт. Разговор на военные темы он старался обходить, зато немного охотнее говорил о доме. Я понял, что весь его рассказ, до тех пор как его взяли в плен, не ложь. Все, что было после, вызывало сомнения. Не верилось, что доброволец мог

взяться за тяжелую физическую работу. Хотя иногда такое случалось. Почему же его не отослали в тот лагерь, откуда прислали на работу, тем более теперь, когда к венграм относятся так строго.

Для себя лично сделал вывод, как можно меньше встречаться с ним и не забывать об осторожности при разговоре.

Я убедился, что прав, когда Катя, придя ко мне на следующий день, сказала, что к нам заходил милиционер и спрашивал меня. Ему ответили, что я лежу в больнице после операции. Милиционер ушел, ничего не сказав.

— А он не сказал, чтобы я, как только выпишусь из больницы, зашел к ним? — спросил я.

— Нет. Но я думаю, что лучше тебе не спешить домой. Пан Зимерский, надеюсь, не будет возражать против того, чтобы ты пролежал здесь еще недели две.

Доктор действительно не возражал.

— Лежите, пожалуйста, сколько хотите, хоть целый месяц.

Я поблагодарил его за доброту и еще целых две недели пролежал в больнице.

С Хишмой я встречался почти каждый день, поскольку избавиться от него было невозможно, но я старался не затрагивать в разговоре политических тем. Мои подозрения несколько рассеялись: парень с каждым днем казался мне симпатичнее, но все же я был осторожным. В последний день моего пребывания в больнице произошел один случай.

Мы выяснили, что среди больных есть еще один пленный — австриец Ганс Шрайбер. Он, по рассказам, тоже работал на железной дороге, только на другом участке, поэтому Хишма не знаком с ним. Ганс разыскал нас, когда мы разговаривали в коридоре. Он оказался веселым парнем. По-венгерски он говорил неважно, но, услышав венгерскую речь, очень обрадовался, сразу же начал объяснять нам, что любит венгров, в лагере всегда жил с венграми, а при красных даже служил в одном интернациональном венгерском отряде.

— Там-то я и научился немного по-венгерски, товарищ, — сказал он на нашем языке.

Когда Ганс упомянул об интернациональном отряде да еще произнес слово «товарищ», я насторожился: что он, с ума сошел? Говорит так откровенно, неужели ничего не боится?

Я был в смущении. Как мне себя вести? Нельзя признать, что я разделяю его мнение, это было бы безумием. Сделать же вид, что я не согласен с ним, — значит пойти на скандал.

В беспокойстве я посмотрел на Хишму. Слова Шрайбера тоже смутили его.

Однако Шрайбер, казалось, не заметил ни нашего молчания, ни наших испуганных лиц. Он припомнил то хорошее

время, когда не было ни господ, ни слуг, а были одни товарищи.

— Сколько воодушевления, сколько силы содержится в этом слове: геноссе! — Он перешел на немецкий язык. — Правда, дела здесь не так уже хороши. Товарищи потерпели поражение, но это временно. Нынешний режим не будет продолжительным, товарищи снова возьмут здесь верх. А мы поедем на родину и сделаем там то же самое. У вас, в Венгрии, это уже началось. А мы в Австрии продолжим.

Сомнений не оставалось: перед нами провокатор. Он хотел моей гибели. А может, и Хишма действует заодно против меня?

Но нет, Хишма побелел как стена. Видимо, я ошибся, подозревая его. Он и сам страшно боится. Сославшись на то, что пора принимать лекарство, он ушел в свою палату. Я хотел последовать его примеру:

— Совсем забыл, мне тоже пора принимать лекарство. Все никак не оправлюсь после операции.

Но тут Шрайбер схватил меня за руку:

— Почему вы убегаете? Нельзя быть таким подозрительным. Думаете, я не знаю, что и вы, и я находимся здесь только потому, что сейчас самое умное для нас — выдать себя за больных. Русским об этом, разумеется, говорить не стоит, но зачем нам бояться друг друга?

— Позвольте, — высвобождаясь из его рук, сказал я. — Мне действительно нужно разыскать сестру. Как-нибудь после поговорим. До свидания.

Я решил попытаться выяснить у доктора, что за человек этот Шрайбер. Если он не провокатор, то глупец, и притом весьма опасный. Посоветую доктору как можно скорее избавиться от него и сам немедленно выпишусь из больницы.

Доктор уже ушел, и поговорить с ним мне удалось лишь на следующий день. Он успокоил меня: Шрайбер вполне порядочный, здравомыслящий человек, вот только несколько болтлив. Кстати, он полностью здоров и сегодня вечером выписывается из больницы. Мне нет никакого резона выписываться. По мнению доктора, самое лучшее — еще немного задержаться здесь, если я, разумеется, согласен.

Я понял, что со стороны Хишмы можно не опасаться провокации, хотя после вчерашнего нелегко будет не говорить о политике. Однако беспокойство не проходило. Я хотел сказать доктору, что все же решил уйти домой, но он опередил меня, сообщив новость:

— Ваш соотечественник неожиданно покинул нас. Утром он исчез, оставив на постели записку, в которой благодарит за помощь и внимание, он же уходит в лагерь, и там, видимо, ляжет на операцию. Вероятно, он уехал утренним поездом в Удинск.

Неожиданное бегство обоих плененных из больницы показалось мне странным, и я все еще считал, что кто-нибудь из них наверняка провокатор. Пожалуй, целесообразнее еще на несколько дней задержаться в больнице.

Прошла неделя. Я ждал, не появится ли Хишма или Шрайбер, не будут ли меня еще раз искать из милиции, но ничего не случилось.

От Кати я узнал, что мистера Томпсона, холодного неприятного человека, командующего американской специальной воинской частью, расквартированной в Хилоке, перевели в другое место. Вместо него прислали некоего Кэрби, который кажется порядочным человеком. Очень непосредственный, дружелюбный, для каждого у него находится какое-нибудь приятное слово. В отличие от мистера Томпсона он не чурается людей. Правда, по-русски он говорит плохо и потому чуть не каждый день заходит в привокзальный ресторан, чтобы «попрактиковаться», как он выражается, в языке. Если в ресторане нет посетителей, он пьет водку с дядей Федей и большую часть времени ухаживает за Марией Павловной.

— Все же будьте с ним осторожны, — заметил я. — Человек никогда не знает...

Катя перебила меня:

— По-моему, нет повода для волнения. Я сама разговаривала с мистером Кэрби, и у меня сложилось впечатление, что мама на этот раз совершенно права. А она считает, что этот американец вовсе не такой человек, как его предшественник.

Через неделю после загадочного исчезновения Хишмы и Шрайбера я выписался из больницы.

Новый союзник

Мое знакомство с мистером Кэрби состоялось в воскресенье. Мария Павловна пригласила его к нам на чашку чая.

Судя по всему, я опасался напрасно. Мария Павловна плохо разбиралась в людях, но мистер Кэрби и мне показался очень симпатичным. По профессии он был, как и мистер Томпсон, инженером. Родился в Калифорнии, в семье офицера, с детских лет рос и воспитывался в городе, потому что отец его очень скоро разорился и поступил работать на завод в Сан-Франциско.

Пока пили чай, говорила в основном Мария Павловна. Она очаровала американца, и он, почти никого не замечая, говорил только с ней. Катя вообще молчала, а я выполнял обязанности переводчика. Я убедился, что мистер Кэрби человек корректный и вежливый, хотя американских офицеров мы

представляли себе совершенно другими. Ухаживая за Марней Павловной, мистер Кэрби вовсе не был по-американски заносчивым или самоуверенным.

Когда чай был выпит, а женщины занялись посудой, мы на несколько минут остались вдвоем. Американец сразу же спросил меня, откуда я, где учился, чем занимался до войны. Я ответил, американец рассказал мне кое-что о своей жизни. Речь зашла об Америке, но в это время вернулись в комнату женщины, и мы сочли нужным прервать наш разговор. Но мистер Кэрби успел сказать мне по-английски:

— Если у вас будет время и желание, зайдите ко мне завтра до обеда, поговорим.

— Охотно, — ответил я, передавая нить разговора Марии Павловне.

На следующий день я зашел к мистеру Кэрби. Он долго рассказывал о Калифорнии, которую хорошо знал, потом заинтересовался жизнью в Венгрии и совершенно неожиданно для меня спросил, какого я мнения о здешних делах: о белых и о красных и о том, как долго, по моему мнению, продержится правительство Колчака.

Разговор на политические темы несколько насторожил меня. Не забывая совета, который мне дал Еременко (пленный не большевик и не меньшевик, а, скорее всего, молчальник), я ответил уклончиво:

— К сожалению, ничего не могу сказать вам. Я не занимаюсь политикой. Я пленный, и потому только два вопроса интересуют меня: когда кончится война и когда я вернусь к себе на родину.

Мистер Кэрби улыбнулся:

— Хорошо, мой друг. Вы делаете очень правильно, не вмешиваясь в политику здесь, на чужбине. Наши точки зрения совпадают. Кто каким путем сюда попал — это другой вопрос. Суть дела от этого не изменится. Не наше дело делать здесь политику или высказывать политические сентенции. Но говорить об этом мы с вами имеем полное право. Как объективные наблюдатели, мы можем обменяться мнениями.

И, словно в подтверждение своих слов, он высказал свою точку зрения.

— Я, мой молодой друг, не большевик, не коммунист, не социалист. По-моему, с капитализмом ничего не случится, если люди более серьезно будут воспринимать демократию. Но именно этого-то никак не хотят понять люди, особенно здесь, в старом мире. А отсюда и революционеры. В Европе будет то же самое, что и здесь, что уже произошло у вас в стране. Революция сметет старый режим. И это вовсе не беда. По-моему, беда революции заключается не в том, что она разрушает.

За это ее можно только приветствовать. Все беды пачинаются тогда, когда на месте старого она начинает строить новое и изживает самое себя. В истории, по-моему, была только одна революция, которая не допустила этой ошибки, — это война за американскую независимость. Если ее и можно в чем упрекнуть, так только в том, что она не зашла слишком далеко. Например, она даже не затронула негритянского вопроса. И хотя позднее мы ликвидировали рабство, по сути, эта проблема еще не решена и по сей день. Поэтому в Америке может произойти еще одна революция — революция негров, хотя там никакой необходимости в ней нет. Элементы демократии есть, остальное можно разрешить путем мирных реформ. Я считаю, что русская революция разрешила задачу огромного исторического значения: она сокрушила осиное гнездо реакции, свергла царизм и расчистила путь для новой революции в Европе. То, что большевики хотят слишком многого и зашли слишком далеко, — не такая уж и большая беда. По крайней мере, будет от чего отказываться. Именно контрреволюционные клоуны Колчак и Семенов, стремящиеся вернуть старые порядки, противники не только революции и демократии, но и всего прогрессивного. Именно поэтому они просуществуют недолго. Они продержатся до тех пор, пока крестьянин верит, что они хотят ему добра. Но как только он поймет, что они снова хотят лишить его земли, красным нетрудно будет уничтожить их. Это время не за горами. Красные вот уже несколько недель подряд наступают на восток. Пожалуйста, прочтите.

Американец взял со стола какую-то бумагу и протянул мне.

Это была подробная телеграмма американского командования, разосланная всем американским частям, находящимся в Сибири, об общем положении на фронтах. В телеграмме перечислялись различные населенные пункты Урала и прилегающих к нему районов, захваченные красными.

— Вот так они продвигаются уже несколько недель, — объяснил американец. — Еще немного — и красные будут у берегов Байкала.

Я не сомневался, что американец начал этот разговор, чтобы вызвать меня на откровение. Вот сейчас он спросит мое мнение, но он, немного помолчав, заговорил сам:

— Такие телеграммы я получаю ежедневно, иногда даже по две в день. Если хотите, заходите ко мне почаще, и вы сами увидите, какая складывается обстановка.

Теперь я понял, что американец воспринимал как само собой разумеющееся мою симпатию к красным и совсем не требовал, чтобы я говорил об этом.

Я поблагодарил за приглашение и решил непременно воспользоваться им.

С этого дня я был точно информирован о событиях на

фронте. Красные неудержимо двигались на восток. Каждый раз, когда я заходил к Кэрби, он охотно выкладывал передо мной самые свежие телеграммы.

— Сегодня хорошие новости, молодой человек, — обычно говорил он. — Твои красные друзья снова дали господину Колчаку прикурить.

Слова о Колчаке, собственно, не сходили с языка американца. Он не упускал случая, чтобы не бросить в его адрес какого-нибудь язвительного замечания.

Однажды я не выдержал и заметил:

— Я вижу, сэр, вы не очень-то высокого мнения о своем союзнике?

— Черту он союзник! — почти со злостью воскликнул американец. — Соединенные Штаты вступили в войну против немцев, а не для того, чтобы спасти царизм.

— Да, но здесь, в Сибири, немцев нет и в помине.

— А мы здесь и не воюем. Наши части не были в боях и не будут, если только дело не дойдет до драки с японцами. Мы потому здесь и находимся, что тут японцы. Мы уйдем в ту минуту, когда уйдут японцы.

Собственно, мое замечание было сказано в шутку, а американец так среагировал на него. Меня в тот момент не очень-то интересовало, кого господин Вильсон считает своим союзником. Мне было достаточно того, что мистер Кэрби считал меня «союзником» и регулярно сообщал о положении на фронтах, о чем я не всегда мог прочитать в газетах.

Казус

Иван Афанасьевич, повар дяди Федя, который великолепно зарекомендовал себя на нашей свадьбе, с приходом белых бесследно исчез из Хилока. Куда он делся, никто не знал. Согласно одной версии он был большевиком, белые его за это арестовали и увезли в Удинск, а жена с детьми сама поехала вслед за ним. Другая версия — Иван Афанасьевич работал на белых, при красных все было в тайне, а теперь белые дали ему за это хорошую должность в Удинске. Факт оставался фактом: ни в Хилоке, ни в Удинске о нем и о его семье никто ничего не слышал.

На место Ивана Афанасьевича дядя Федя взял китайца, по имени Ли Чанг. Это был крупный смуглолицый мужчина. Был он тихий и серьезный, дружный и вежливый со всеми. По-русски он понимал, но говорил редко. Никогда он не сердился, но и смеющимся его никто не видел. Работа горела в его руках, он молча суетился на кухне и даже иногда стоял за стойкой. Когда к нему обращались, он улыбался и отвечивал глубокий цоклон, показывая этим, что он все понял.

Когда в конце 1918 года я вернулся в Хилок, Ли Чанг уже работал в ресторане. Мы подружились с ним с первого дня и иногда разговаривали, — правда, говорил я один, а китаец только улыбался и кивал головой.

В то время с запада из Верхнеудинска и Иркутска мы получали белогвардейские газеты, а с востока, из Харбина, приходила русская газета, издаваемая белогвардейцами-эмигрантами. В этой харбинской газете я как-то прочел репортаж о сенсационном уголовном деле. В окрестностях Харбина, в горах, долгое время действовала банда грабителей, состоявшая из хунхузов и русских контрреволюционных офицеров и унтер-офицеров, бежавших в Маньчжурию. Китайской полиции из Харбина после многих попыток наконец удалось поймать около сорока бандитов. До суда их содержали под усиленной охраной в харбинской тюрьме.

Суд был показательным, в зале было полным-полно любопытных. Всем хотелось посмотреть на отъявленных бандитов, попавших на скамью подсудимых. В зал ввели обвиняемых. Сначала допрашивали главаря банды — бывшего царского офицера. На первые два вопроса, касавшиеся его личности, обвиняемый ответил. Но когда председательствующий задал третий вопрос, обвиняемый, выхватив из кармана револьвер, открыл стрельбу по судьям. Другие обвиняемые стреляли не только в судей, но и в публику в зале.

Началась паника. Воспользовавшись этим, бандиты выбежали из здания суда. В соседнем переулке их ждали оседланные кони.

Позже выяснилось, что один из офицеров охраны тюрьмы был членом этой банды. Это он вооружил арестованных и организовал побег. Само собой разумеется, что больше никто не был посвящен в эту тайну.

Китайские власти организовали розыски беглецов, два месяца охотились за ними в горах. В перестрелке были убиты несколько полицейских и бандитов. Удалось взять в плен восемь китайцев и четырех русских. Было решено снова судить их. В тюрьме они содержались под усиленной охраной. Суд приговорил китайцев к смертной казни, а русских, как организаторов, — к пожизненному заключению.

Этот номер харбинской газеты в хилокской железнодорожной столовой зачитали до дыр. Несколько дней все только об этом и говорили, обсуждая происшедшее с таким пристрастием, будто случилось это где-то на соседней станции, а не за тысячу километров.

Единственным человеком, кого этот случай не взволновал, был повар-китаец. Он внимательно выслушал все, не проронив ни слова.

Я не удержался и спросил его:

— Не понимаю этого суда. Как же судили ваши китайские

судьи, что своих приговорили к смертной казни, а главных русских бандитов — к пожизненному тюремному заключению?

Ли Чанг только махнул рукой и с философским спокойствием ответил:

— Наших много.

Миссурийская трубка

Мистер Кэрби обычно курил трубку, мне больше нравились сигареты. Однажды он подарил мне превосходную трубку и две коробки американского трубочного табаку. Как-то, придя к нему, я обратил внимание на то, что он курит не свою обычную темно-коричневую трубку. Эта вещь напоминала трубку, только чубук у нее был тонким и длинным, а отверстие, куда набивают табак, в два раза больше, чем у обычной трубки.

— Что это у вас? — спросил я.

Американец вынул трубку изо рта и подал мне.

— Мер мса, — улыбнулся он.

— Извините, я не понял.

— Мер мса, — повторил американец.

Я и на этот раз ничего не понял. Мистер Кэрби, как и большинство его соотечественников, говорил сильно в нос, проглатывая окончания слов, и вначале мне трудно было понимать его, но, чем чаще мы встречались, тем легче я понимал его. Если я все-таки не разбирал какого-нибудь слова, то просил его повторить, и уж со второго раза обязательно понимал. Но это загадочное слово все не давалось мне.

— Жаль, но я все равно не понял, — признался я.

Хитро улыбаясь, американец полез в карман и, вытащив записную книжку, написал: «*Misr msa*».

По выражению моего лица он догадался, что я снова ничего не понял.

— В штате Миссури выращивают много кукурузы, — объяснил он. — Вот эта трубка и сделана из стеблей кукурузы. Курить ее — одно удовольствие, да и стоит она всего один цент. Разрешите и вам подарить такую же трубку.

Выдвинув ящик письменного стола, он достал точно такую же трубку и подал ее мне.

— Благодарю, — сказал я, вертя трубку в руках.

— Закурите, и вы убедитесь, что она по-своему хороша. По крайней мере, своих денег стоит.

— Полагаю, что ее, выкурив три-четыре раза, можно выбросить, — заметил я.

— Разумеется, — согласился Кэрби. — Именно этим она и хороша.

— Как же так? — удивился я. — Тогда что толку, что она дешевая?

— Это-то и ценно. Тот, кто ее курит, доволен, что имеет пловую трубку, которая стоит пустяк. Тот, кто выпускает такие трубки, тоже доволен: сырье на трубки ничего не стоит, разве что десятую часть цента. Ну и последнее, рабочие, изготавливающие такие трубки, всегда обеспечены работой, поскольку трубка-то живет очень мало. Вот видите, мой друг, в капле воплотилось целое море. В этом вся наша Америка. Мы всегда придерживаемся одного принципа: из малого и большого извлечь пользу для большинства людей.

Я понимал, что трубочная философия мистера Кэрби ущербна. Мне хотелось возразить американцу, но, не имея для этого фактов, я промолчал. Сначала, я хотел спросить его, действует ли американская доктрина о неграх, но передумал. Не стоит злить друг друга, если мы «союзники».

Тогда я, разумеется, не знал, что философию эту выдумал не мистер Кэрби и не его соотечественники, а англичанин Бентам. Однако за полтора года своего существования эта философия не многих сделала счастливыми.

События лета

Беспокойные новости приходили все реже. Видимо, вопрос об отправлении венгров в лагеря заглох. Возможно, это были только пустые разговоры, или власти раздумали заниматься этим, а может, это было просто неосуществимо.

Справка, полученная от Сайто, была для меня скорее талисманом, чем разрешением на жительство. О советской Венгрии люди говорили редко, видимо, привыкли, что и такая существует на свете.

В газетах о венгерских событиях говорилось мало. Почти каждую неделю появлялось сообщение о том, что советская власть в Венгрии свергнута. Но я не очень-то верил этому. Напротив, был убежден, что советская власть там существует. Хотелось только узнать подробнее о ее существовании.

В конце июня Бардош прислал письмо, приглашая нас с женой посетить их в Березовке. Он писал, что доктор передал привет, целует Кате ручки и ждет, что я выполню свое обещание.

В лагерь меня, разумеется, не тянуло, хотелось только немного поговорить с Бардошем о событиях у нас на родине. Катя даже слышать о поездке не хотела.

— Радуйся, что тебя пока оставили в покое, — говорила она. — А то попадешься на глаза начальству лагеря, и оно сразу вспомнит о твоём существовании.

Как-то в августе я зашел в аптеку за лекарством.

— Хорошо, что зашли, хочу вас поздравить, — громко сказал мне поляк-фармацевт.

— Меня? С чем же?

— Ваши соотечественники умнее русских. Они прогнали красных.

— Откуда вы это взяли? — заволновался я.

— Утром заходил ко мне один железнодорожник, он только что приехал из Иркутска. Вот он и сообщил: Венгерская советская республика пала. Власть взяли социал-демократы.

— Не может этого быть, — заметил я. — В Венгрии, собственно, и социал-демократов-то уже нет. Коммунисты и социал-демократы еще весной объединились в одну партию. Большая часть членов советского правительства состояла из социал-демократов.

— Возможно или невозможно, но это так. Читайте сами. — И он положил передо мной номер «Иркутской жизни» от 6 августа. В газете была помещена телеграмма из Лондона от 4 августа. Вот ее содержание:

«Румынские части в Будапеште. Советское правительство ушло в отставку. Нескольким коммунистам, входившим в правительство, удалось бежать в Австрию, где их интернировали. Остальные арестованы новым правительством, образованным исключительно из социал-демократов, и предстанут перед судом. Новое правительство опубликовало декларацию, в которой торжественно провозглашает незыблемость частной собственности и надклассовой демократии. Правительства многих союзных стран признали новое венгерское правительство».

Сообщение ошеломило меня, но я не хотел показывать перед аптекарем своей слабости и сдержал себя.

— Обычная газетная «утка», как и прочие, которые мы читали раньше, — не без ехидства сказал я. — С тех пор как в Венгрии была провозглашена Советская республика, в газетах уже раз десять писали о том, что она пала.

— Да вы стали большевиком! — воскликнул аптекарь. — Берегитесь! Если большевики в Москве еще кое-как держатся, то у нас их, слава господу, выгнали раз и навсегда.

Из аптеки я направился к американцу.

— Знаю, почему вы пришли, — проговорил мистер Кэрби, хотя я еще ничего не успел сказать ему. — Я уже хотел разыскать вас, зная, что вы волнуетесь. Здешние газеты наверняка истолковали все новости на свой лад. Скажите сначала, что вам известно, а уж я подскажу, где правда, а где нет.

Я рассказал о заметке, прочитанной мной в иркутской газете.

— Лондонская информация была верна в день ее подачи. Но с тех пор много воды утекло не только в Хилоке, но и в Дунае. Правда, румыны вступили в Будапешт. Советское правительство действительно ушло в отставку, к власти пришли социал-демократы. Их правительство во многом отличается от

предыдущего, например, в том, что коммунистическое правительство просуществовало четыре месяца, а новое социал-демократическое — всего четверо суток. На четвертые сутки группа контрреволюционеров, возглавляемая, как говорили, одним дантистом, ворвалась в здание парламента и арестовала все правительство. На следующий день было объявлено о том, что сформировано новое (открыто контрреволюционное) правительство.

— Что же теперь будет?

— Вы же знаете, друг мой, что я далеко не разделяю взглядов коммунистов. Но русская революция доказала, что коммунисты хотят создать новое, справедливое государство. Они хотят мира. А чего добивается контрреволюция? Ясно одно: все хорошее, что было завоевано революцией, будет уничтожено. Но история показывает, что, сколько бы раз эксплуататоры ни приходили к власти, рано или поздно угнетенные восстанут и жестоко отомстят им. Так было в Англии, так дважды было во Франции и так, вы это знаете лучше меня, было и у вас в стране после 1848 года. Так что вашу страну ждут тяжелые испытания. Прошу вас, закуривайте. Не хотите ли сигару?

В тот вечер мы с Катей решили воспользоваться приглашением Бардоша и на несколько дней поехать в Березовку. Утром я написал Бардошу письмо с просьбой подыскать для нас квартиру.

Через несколько дней пришла телеграмма: «Квартира и питание на две недели обеспечены. Нетерпением ждем вас. Гемеш, Бардош».

Поездка в Березовку

Поездка в Березовку была задумана нами с целью разведки. На всякий случай мы хотели узнать, сможем ли мы с Катей поселиться в лагере и найти какую-нибудь работу.

Бардош и Гемеш встретили нас на станции.

— Поселиться в лагере не проблема, — сказал Гемеш. — Это можно сделать хоть сейчас. И работу можно найти. Детали обсудим потом.

Я думал, что нас снова поместят в запасной комнате, но я ошибся. Бардош отвел нас в другой барак. Доктор Гемеш поселил нас с Катей в небольшой комнатухе в бараке, где размещались его операционные.

Едва мы расположились, как вошел санитар, здоровенный крестьянский парень с пышными усами.

— Меня зовут Янош Доци, — представился он. — Доктор Гемеш приказал мне обслуживать вас и вашу супругу.

О докторе Доци говорил с уважением, и даже с восхище-

пшем. В Гемеше он видел прежде всего прекрасного человека, а уж потом начальника. Но это не помешало ему с первого же раза выболтать такое, о чем бы следовало умолчать. Мы знали, что у доктора на редкость богатая практика в лазарете. Но мы и не подозревали, что в бараке, где жил доктор, имелись две приемные, в которых он принимал только американских военнослужащих. В одной комнате доктор осматривал пациентов, а в другой Доци совершал необходимые процедуры. Многие американцы были больны триппером. Если бы они обратились с этой болезнью к собственному врачу, то вместе с лечением получили бы еще несколько недель ареста. Вот потому они и ходили к венгерскому врачу, который брал с них за прием по доллару и строго хранил их тайну.

Болтливый санитар сообщил, что доктор Гемеш живет с русской женщиной. Зовут ее Марина Аркадьевна, муж ее погиб на фронте, но до сих пор еще не попал в списки убитых, и это, по мнению Доци, настоящее счастье, поскольку в противном случае доктор женился бы на вдовушке, а это было бы очень скверно, потому что она глупая баба, годная только для того, чтобы переспать с ней да пообедать у нее.

Доктор днем был занят в лазарете, а вечером он пригласил нас к себе поужинать.

После обеда за нами зашел Бардош и проводил нас с Катей в кофейную. За восемь месяцев, пока я не был там, в ней ничего не изменилось. Только публика теперь была совсем иная. Посетителей здесь стало больше, но пленных почти не было видно, большинство посетителей — русские и американские офицеры. Бардоша здесь знали все, он едва успевал раскланиваться. Некоторые приглашали его присесть за их столик, некоторые сами подходили к нашему столу. Все разговоры с Бардошем велись на торговые темы. Бардош решил несколько «просветить» нас и сказал:

— Многое изменилось здесь. Осенью прошлого года большой операцией считалась торговая сделка в несколько тысяч рублей. Сейчас я манипулирую вагонами, лишь иногда делаю исключение тому или другому русскому офицеру, который мне понадобится. Когда-то я сам считал торговлю искусством, с помощью которого человек может обеспечить собственное существование. Позже я понял, что если поднять это искусство на более высокий уровень, то можно обеспечить себя на всю жизнь. У моего отца до войны в Пеште была небольшая лавочка, где он торговал сладостями. Располагалась она в подворотне на улице Киран. В этой лавочке я работал продавцом. В войну мы разорились. Теперь, если вернусь домой, куплю отцу в подарок ко дню его рождения самую большую кондитерскую фабрику.

На вечере за ужином у Гемеша мы с Катей познакомились с Мариной Аркадьевной. Доци правильно охарактеризовал ее. Она не была красивой, но имела неплохую фигурку. Говорила она очень мало, и если что-нибудь произносила, то становилось ясно, что она глупа. Правда, готовила она великолепно.

За ужином, пока Марина Аркадьевна хлопотала в кухне, доктор Гемеш рассказал нам о ней:

— Славная женщина эта Марина Аркадьевна. Должен сказать, что мне с ней здорово повезло. Я ни о чем не беспокоюсь, кроме своих больных. Она все улаживает сама. К тому же она очень тихая и скромная, никогда не ругается, мало говорит и, хотя любит деньги, отнюдь не жадна. Правда, она не испытывает недостатка в деньгах, к тому же я обещал ей, что, если буду уезжать, оставлю на ее имя приличную сумму, которой ей хватит до конца дней.

— Скажите, дорогой доктор, — спросила Катя, — раз уж судьба свела вас с такой хорошей женщиной, разве нет у вас желания жениться на ней?

Доктор осушил свой бокал, а потом уже ответил:

— Я, дорогая моя, не собираюсь жениться. Мы живем в такое время, что самое правильное отвечать за самого себя. Так, видимо, я поступлю и в Венгрии. Если я все-таки и захочу когда-нибудь жениться, то при всем моем уважении к Марине Аркадьевне возьму себе в жены другую женщину. Не хлебом единым и не женщиной одной жив человек. Да что тут говорить: спросите лучше у своего мужа, разве он женился бы на женщине только потому, что она хорошо готовит и позволяет себя любить?

Но в этот момент в комнату вошла Марина Аркадьевна, и мы заговорили о другом.

Позже, когда мы остались с доктором вдвоем, я сказал ему, что он много пьет. Доктор не обиделся на меня за это, а только ответил:

— Когда древние говорили, что истина в вине, они имели в виду, что пьяный человек скажет то, что думает. Я поступаю как раз наоборот. Мне вино помогает молчать.

Сначала слова доктора показались мне странными, но вскоре представился случай понять все.

В конце вечера Катя почувствовала себя плохо, пожаловалась на головную боль и тошноту. Доктор дал ей какой-то порошок. Расставаясь, мы договорились с доктором, что он направит Катю в больницу на исследование.

Осмотрев Катю, доктор установил, что она в положении. Мы с ней и сами догадывались об этом. Катя расплакалась от радости.

Под вечер Гемеш сказал мне, что заместитель начальника лагеря пригласил меня с женой и его, Гемеша, с Мариной Аркадьевной к себе на ужин.

— Начальника лагеря, — объяснил доктор, — мы видим только по большим праздникам, в остальное время делами ведет его заместитель, поручик Юдин. Он человек редкой доброты, вот увидишь.

Поручик с женой жили в бараке. У него было несколько денщиков, и почти все они — венгры. Когда мы пришли к поручику, нас встретили двое из них у ворот, два других венгра помогли нам раздеться, но кроме них вокруг нас все время крутились еще несколько денщиков.

Пока поручик был занят разговором с дамами, я спросил у доктора, зачем одному человеку так много денщиков.

— Ты хочешь спросить, не страдает ли поручик манией величия? В этом отношении страдает. Если я не ошибаюсь, у него около двадцати денщиков, которых он использует по-разному: санитар, пекарь, электромонтер и так далее. Поручик на свой страх и риск держит возле себя человек пятьдесят венгерских красноармейцев. В списках все они числятся как пленные, из лагеря получают питание, но живут на свободе, зарабатывая вполне приличные деньги. Некоторые из них, например слесари и пекари, получают нормальную зарплату, другие же зарабатывают где придется. Юдин разрешил откармливать свиней для продажи. У него есть портной, сапожник, ювелир — все они получают заказы из города.

Юдин произвел на меня приятное впечатление. Поручик, высокий, светловолосый мужчина, был хорошо образован. Говорил он тихо и доверительно, словно мы были старыми друзьями. Жена его, милое создание с голубыми глазами и каштановыми волосами, тоже понравилась мне.

Ужин удался на славу: домашняя кровяная колбаса, сосиски с тушеной капустой. Водки было хоть отбавляй. После ужина пили чай с вареньем и пирожными. Чувствовали мы себя превосходно и засиделись до поздней ночи.

Из разговора Юдина и Гемеша я понял, куда шли получаемые доктором доллары. Понял я также, почему поручик так любит венгров и зачем ему понадобилось держать целый взвод денщиков.

Выяснилось, что наш друг доктор Гемеш имел еще «побочное занятие» — он поддерживал связь с партизанами, которые скрывались в близлежащих лесах, как и дядя Федя, который снабжал партизан продовольствием. В пекарне, находившейся недалеко от лагеря, выпекали хлеб не только для больных, лежавших в лазарете, но и для партизан, число которых доходило до нескольких сот. Все это делалось на деньги доктора Гемеша, а рабочих и транспорт давал заместитель начальника лагеря.

Так вот что скрывается за молчаньем доктора!

Речь зашла о Кате. Первой заговорила об этом жена Юдина, но ее муж и доктор сразу же вмешались в разговор и высказали мнение, что, учитывая создавшееся политическое положение и наше семейное, нам с Катей лучше всего поселиться в лагере.

Расставаясь, мы обещали подумать об этом предложении.

— Видишь ли, — по дороге домой объяснял мне доктор, — через несколько месяцев здесь произойдут большие политические события. Нечего и говорить, что в такую пору пленным лучше всего находиться в лагере. И сделать это надо заранее, тем более что события развиваются молниеносно, и в Удинске они произойдут раньше, чем в Хилоке.

Утром мы с Катей поехали в город. В поезде у нас проверили только билеты, не спрашивая документов.

Почти год назад я был в Удинске. Город не изменился, только, пожалуй, стал менее оживленным. Осенью, в начале правления белых, на главной улице и на рынке было много народу, теперь город казался вымершим.

По центральной улице мы прошли через весь город, до монастыря. Катя хотела узнать у матушки Фотины, где и что можно купить в городе.

Матушка Фотина несказанно обрадовалась нам. Что же касается покупок, то она, к сожалению, не только не знала, где что можно купить, но и сама пожаловалась, что в городе ничего нельзя достать, а если и есть, то втридорога. В продовольствии они не испытывали недостатка, потому что казаки снабжали их. Вот только из-за отсутствия воска пришлось закрыть мастерскую по изготовлению свечей. В экономических трудностях обвиняли не режим, а торговцев, которые якобы придерживают товары и этим взвинчивают цены.

Я спросил у матушки Фотины, почему она считает, что торговцы вдруг стали противниками нынешнего режима, который охраняет частную собственность и свободу торговли.

— В принципе-то они не против белых, — начала объяснять мне монашка, — но уж больно высоки налоги, поэтому торговцам не нравится, что в последнее время власти сами устанавливали цены на некоторые товары.

— Ну, а вы сами, матушка Фотина, на чьей стороне — властей или торговцев? — спросил я.

— Мы на стороне господ бога. Идеи господ бога должны управлять умами и правительства и торговцев, словом, всех-всех. Мы не против любого режима, лишь бы люди жили в мире. Цезарю — цезарево, богу — богово. А как будут звать цезаря — Николай, Колчак или Ленин — это не наше дело.

— Словом, если большевики снова возьмут власть в свои руки, вы не будете против?

— А почему мы должны быть против? Мы ведь христиане. А настоящий христианин не может не сочувствовать коммунистам. Если бы коммунисты не выступали против религии, они были бы для нас самыми близкими.

«Бедная матушка Фотина, — подумал я. — Что она скажет, когда коммунисты закроют ее монастырь и заставят монашек снять монашеские одежды!»

Принесли самовар, мы стали пить чай.

Узнав о том, что Катя в положении, монашки засветились от радости. Пожеланиям и советам не было конца. В одном сошлись все: и для матери и для ребенка будет лучше, если родится он не в Хилоке, а в Удинске.

— Новорожденному и роженице необходима врачебная помощь, — объясняла матушка. — Пан Зимерский хороший врач, но он и со своими-то больными не успевает справляться, а детского врача в Хилоке вообще нет. Здесь же, в городе, два хороших детских врача. Кроме того, и мы в любой момент можем помочь хоть чем-нибудь.

Мы с женой решили, что переселение в лагерь, пожалуй, выгодно для нас.

За два дня до нашего отъезда Бардош пригласил нас на ужин, где были доктор Гемеш и Юдин. Не знаю, с какой целью он устроил этот ужин: то ли хотел уважить нас, то ли показать, как он богат. Ужин был прямо-таки королевский. Чего только не было на столе: соленая и копченая рыба, икра, ви-негрет, водка, тут же торт и пирожные — гордость пленных кондитеров, и самые различные американские компоты и соки, и в довершение всего — японские мандарины.

Мы обомлели.

— Словно в Венгрии на ужине у какого-нибудь новоиспеченного барона, — не без ехидства заметил доктор Гемеш. — Только там все это делается для того, чтобы гости лопнули от зависти. Здесь же мы поужинаем, и только. Но если он хочет произвести на нас впечатление своей расточительностью, то пусть его...

Бардош угостил нас великолепным пивом.

— Где ты его достал? — поинтересовался я.

— А разве ты не заходил в нашу лавочку? Покупай там сколько хочешь!

Я вспомнил, что дядя Федя очень любит хорошее пиво, но давненько не видел его. А не повезти ли ему несколько бутылок? Я сказал об этом Бардошу.

— Пожалуйста, завтра же упакуем целый ящик, двадцать бутылок, и пришлем вам.

Я поблагодарил и поинтересовался, сколько это будет стоить.

— Завтра все уладим, — уклончиво ответил он и заговорил о другом.

На следующий день я действительно получил пиво, а вечером заплатил Бардошу по шесть рублей за бутылку. Перед самым отъездом я зашел в лагерную лавочку за бутылкой пива. Оказалось, бутылка стоит пять рублей.

В этом был весь Бардош. Накануне он закатил нам ужин рублей на сто, но, если речь заходила о торговле, делец брал в нем верх.

Доктор Гемеш и Бардош проводили нас на станцию. По дороге Бардош ухаживал за моей женой, не переставая твердить, как славно мы заживем, когда переселимся в лагерь.

Мы с доктором шли позади. Доктор тоже считал, что нам скорее нужно переселиться в лагерь, хотя он не рисовал нашу будущую жизнь такими розовыми красками, как Бардош.

— Все, конечно, будет не так красиво, как расписывают некоторые, — сказал Гемеш. — В недалеком будущем нас ждут тяжелые испытания. И все-таки я думаю, что в лагере тебе будет безопаснее, а твоей жене — лучше.

В вагоне мы с Катей все обсудили и решили все же переселиться в Удинск.

Переезд в Удинск

Переселение планировалось в два этапа: сначала я поеду в лагерь, найду комнату, получу от лагерного начальства разрешение на приезд Кати. А потом приедет Катя.

Никифор Андрианович быстро нашел Кате замену, и теперь Катя должна была посвятить в дела своего заместителя.

Мне особенно собираться было нечего, ведь, кроме жены, ничего не связывало меня с Хилоком. Но Кате уехать было не так просто. Она уже свыклась с этой мыслью, но Мария Павловна, с той самой минуты, как мы решили уехать, по нескольку раз в день плакала.

— Уедете и оставите меня одну, без всякой опоры, — жаловалась она.

Напрасно я пытался объяснить ей, что уезжаем мы недалеко, в любой день она может навестить нас в Удинске, к тому же вместе с ней будут дядя Федя и Аглая Петровна.

— Федя, хороший мой, — жаловалась она как-то брату. — Единственную дочь и ту забирают от меня.

Мы, как могли, утешали ее, говорили, что Шура жив, скоро кончится война и пленных распускают по домам. А то, что от него нет писем, еще ничего не значит. Взять, к при-

меру, меня. Я тоже в течение двух лет не переписывался со своими... Но Мария Павловна была безутешна.

В конце концов мы пообещали, что, как только устроимся, вызовем ее к себе на несколько недель, а зимой, когда родится малыш, она проживет у нас подольше.

Из Хилока мне хотелось уехать незаметно. Кроме мамы и дяди Феди с женой, об этом никто не знал. Только для мистера Кэрби я решил сделать исключение.

— Вы поступаете правильно, — одобрил мое решение американец, ничуть не удивившись. — Я и сам хотел посоветовать вам перебраться в Удинск, поскольку вижу, что режим белых держится на волоске. Со дня на день красные могут взять Омск. Судьба белых решена. Я думаю, немногие будут жалеть их. Затем начнется переходный период, бурное время, которое неплохо переждать в безопасном месте. Да и вашей очаровательной супруге там тоже будет лучше. Разрешите пожелать вам обоим всего хорошего.

Американец пожал мне руку, а потом, вспомнив о чем-то, остановил меня:

— Один момент! Я сам хотел вас навестить, но раз уж вы здесь, то вот... — Он достал из шкафа какой-то сверток и протянул мне.

— Возьмите, это для вашей будущей дочери.

Я был настолько изумлен, что даже забыл поблагодарить американца и только спросил:

— Что это? Откуда?

Мистер Кэрби улыбнулся и объяснил:

— Мы, американцы, как вы знаете, практичные люди. Вот уже почти год, как американские войска находятся в Сибири. Люди, которые нас сюда послали, хорошо знают, кого посылают. Когда прошло девять месяцев нашего пребывания здесь, нам прислали детское приданое. У нас есть несколько комплектов приданого для новорожденных, но пока в них не было необходимости. А вашей дочурке все это очень пригодится. Я рад хоть этим помочь вам.

Я поблагодарил за неожиданный подарок, но все же не удержался и спросил:

— А почему вы решили, что у нас будет дочка? Мы ведь ждем сына.

Мистер Кэрби сделал отрицательный жест.

— Нет, нет. Ваша жена так очаровательна, девочка больше подходит ей. Я не могу иначе ее представить, как только с красивой светловолосой дочкой на руках.

Я предполагал поселиться в лагере, а затем устроиться на работу и перейти жить в город. Но произошло все не так.

Приехав в лагерь, я сразу же пошел к доктору Гемешу. Он пригласил меня поужинать. Марина Аркадьевна не беспокоила нас, в напитках недостатка не было, и мы засиделись далеко за полночь.

— Несколько дней поживешь у нас, — сказал Гемеш, — а потом найдем тебе комнату в каком-нибудь бараке. С Юдиным я о тебе уже говорил. Несколько пленных офицеров устроились жить в городе, так что свободные комнаты сейчас есть. Постепенно и тебя устроим в Удинске. Бардош уже узнал: в реальном училище нужен преподаватель английского языка. Директор знает о тебе, на днях вы познакомитесь. Это не так легко уладить, но с помощью Юдина все сделаем.

Возвращаясь в барак, я пришел к выводу, что все складывается не так уж скверно.

Утром в восемь меня разбудил бравый Доци. Он принес горячий кофе.

— Доброе утро, господин кадет! У меня большие новости. Атаман Семенов отпустил пленных на свободу.

С этими словами он вытащил из кармана большое объявление, напечатанное на русском языке. Командование Забайкальского фронта доводило до сведения всех воинских частей, лагерей для военнопленных и специальных комендатур, что согласно распоряжению атамана Семенова все пленные австро-венгерской армии снимаются со всех видов довольствия и освобождаются из лагерей. Своим трудовым устройством пленные должны заниматься самостоятельно. Им выдается удостоверение на право жительства с обязательной регистрацией в отделении милиции или местном органе власти.

— Теперь поскорее бы заключили мир и распустили нас по домам, — высказался Доци.

Это распоряжение было мне очень кстати. Не успел я выпить кофе, как в комнату ворвался Бардош:

— Ну, что ты скажешь! Мы свободные люди! Правда, мы и до этого не очень-то чувствовали себя пленными, а теперь и подавно. Не нужно уже будет гнуть голову перед каждым начальником. Одевайся скорее, едем в город, я тебя представлю директору реального училища. Я ему о тебе говорил. Думаю, он возьмет тебя на должность преподавателя английского. Только ты не очень-то скромничай. Если он спросит, как ты знаешь язык, смело отвечай, что знаешь великолепно. Один преподаватель английского языка у них уже есть, но в этом году иностранный язык хотят ввести с первого курса. С появлением здесь американцев всех охватила англомания. Преподаватель английского, которого они взяли, по национальности немец, пленный, по фамилии Бауман. Язык он знает неважно, в этом я сам убедился, но директору училища он выдал себя за истинного англичанина. Проверить его знания никто не может, так как среди преподавателей никто не говорит по-английски. Уж

если Бауман урожденный англичанин, так ты и подавно чистокровный япки.

Мы отправились в Удинск, обсуждая по дороге последнюю новость.

— Жаль только, что это дело рук бандита Семенова, — сказал я. — Не пойму, что толкнуло его на этот шаг?

— Ну, это очень просто! — ответил Бардош. — Представь, что пленных здесь больше десяти тысяч, и каждому из них нужно ежемесячно платить по пятьдесят рублей, значит, в год следует выплачивать шесть миллионов рублей. Но самое главное — их нужно кормить. А если еще учесть, что большая часть отпускаемых на пленных средств остается в руках различных начальников? На роспуске пленных будут сэкономлены многие миллионы рублей. Да и не в деньгах дело. Ни для кого не секрет, что скоро конец войне. Многие солдаты и офицеры дезертируют из армии, чтобы не попасть на фронт, а красные тем временем все наступают и наступают. Атаману Семенову дорог каждый человек. Чем пленным солдатам и офицерам сидеть по лагерям, лучше их толкнуть в собственное войско, когда начнется пляска смерти.

— Раз ты так твердо уверен, что эта пляска вот-вот начнется, стоит ли мне устраиваться на работу? — спросил я.

— Мы с тобой сейчас гражданские лица, и нас драчка не касается. Заработаем кусок хлеба, а когда представится возможность, распрощаемся со здешним обществом, будь они красные, белые или еще какие-нибудь.

Судьба красных вовсе не была мне безразлична, но я промолчал.

Директор реального училища, милый старомодный старичок, встретил нас радушно, и мы сразу же обо всем договорились. Он, видимо, на слово поверил моим знаниям, так как даже не заикнулся о них.

— Что касается распределения уроков, — сказал директор, — то свяжитесь с Бауманом и договоритесь с ним сами.

— Ну вот, — начал я, когда мы с Бардошем вышли из училища, — у меня теперь есть свобода, работа, остается только найти квартиру — и все мои желания будут исполнены.

— Положись на меня, привози свою супругу. Квартира тебе будет, — пообещал Бардош.

IX. УДИНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Педагогический коллектив

На следующий день Бардош привел ко мне Баумана. Этот долговязый, чуть сгорбленный лысеющий мужчина, в очках, в узком сюртуке, бриджах и кожаных крагах, с первого взгля-

да вызвал у меня чувство антипатии. Слащавый голосок и его манера держаться были неприятны. Говорили мы по-немецки.

Бауман сразу же заявил мне, что он не какой-нибудь поволжский немец, а настоящий немец из империи. Немногим более десяти лет назад, окончив университет, он попал в Россию. На родине он никак не мог устроиться на работу, здесь же, в Екатеринбурге, ему дали хорошо оплачиваемую работу с условием, что он примет русское подданство. С тех пор он и мучается. Русских он не любит, да и что толку от его русского подданства, если стоило только начаться войне, как его сразу же объявили гражданским пленным и заставили переехать к черту на кулички, в Нижний Тагил. Когда же он пристроился там с женой и двумя детьми, красные стали наступать, пришлось эвакуироваться. Уезжая из Екатеринбурга, они не смогли забрать все свои вещи, потому что отъезд из Нижнего Тагила был неожиданным и поспешным. Они бежали в том, что было на них. С тех пор, вот уже скоро год, они живут как нищие. В Удинск он попал недавно, квартиру здесь не имеет, и если бы не дружеская поддержка Бардоша, то он пропал бы.

В ходе разговора выяснилось, что Бауман сроду не преподавал английского языка, а только немецкий. Читать по-английски, он, правда, умеет и понимает, что читает, грамматику он знает немного, а вот произношение у него не поставлено, да и разговорной практики у него никакой нет. Мы договорились с ним, что он будет вести четыре старших класса, ученики которых знают только основы языка. Среди них он еще может надеяться не скомпрометировать себя.

Сказанное Бауманом показалось мне абсурдом. Я подумал, что он просто скромничает, и охотно согласился с его предложением, поскольку всегда интереснее заниматься языком с начинающими. В то же время я поинтересовался, каким именно методом собирается он заниматься с учениками старших классов.

— Сейчас не смогу вам этого объяснить, — начал Бауман, — у меня нет учебника под руками. — Он попросил меня как-нибудь зайти к нему, тем более что живет он в здании школы, и там мы поговорим о нашей будущей работе.

Утром я съездил в город и сказал директору училища, что уладил все формальности. В конце нашей беседы директор поинтересовался моим прошлым и спросил, как я собираюсь преподавать язык.

Я ответил, что метод мой ничем не отличается от обычного школьного метода преподавания иностранных языков, а практические занятия я намерен проводить по системе Берлица, дающей самые эффективные результаты. Директор одобрил мои планы.

— Вот боюсь только, беда будет с учебниками, — забеспокоился он. — У старшеклассников есть старые учебники, тексты, словарики, а у младших нет ничего.

— Не страшно, — успокоил я его. — При изучении языка по системе Берлица учебник не самое главное. Вначале все слова, предложения и правила записываются учащимися под диктовку.

— Но без учебников вам будет нелегко, — сокрушенно покачал головой старичок. — Подумайте, пожалуйста, нельзя ли сделать каких-нибудь разработок?

— Сделать можно, была бы бумага да множительная машина.

— Если вы составите тексты, все остальное мы как-нибудь уладим.

Выйдя от директора, я нашел комнату, отведенную для Баумана, и постучал в дверь. Сначала мне никто не ответил, но потом кто-то повернул ключ, и из двери показалась взлохмаченная голова пленного чеха, с которым я однажды познакомился в лагере. Звали его Черняком.

Он пригласил меня войти. Довольно странное зрелище предстало перед глазами. Единственная обстановка крохотной комнатухи — обычная школьная парта, на ней валялась какая-то одежда, стояла посуда, лежали остатки пицци и детские игрушки. На полу лежали соломенные тюфяки, накрытые одеялом. На одном из тюфяков сидела черноволосая женщина лет тридцати пяти, с распущенными волосами. Блузка на ее груди была растегнута.

Один только вид пленного чеха и растрепанной женщины говорил за себя.

— Добрый день, — смутившись, поздоровался я. — Мне нужен господин Бауман.

— Муж ушел в город, — проговорила женщина, вставая с тюфяка и застегивая блузку. — Но он скоро вернется. Если хотите, подождите или зайдите завтра в это же время, он наверняка будет. Я вас не приглашаю; так как, видите, не на что вас посадить. Мы живем как на войпе. Квартиру наконец-то нашли, но переехать туда сможем дня через три.

— Хорошо, зайду завтра, — сказал я и направился к выходу, но в этот момент в комнату вбежали два чумазных мальчугана.

Не обратив на меня внимания, они бросились к матери и хором завопили:

— Есть хотим! Дай нам хлеба с маслом!

Мать встряхнула их обоих и строго произнесла:

— Я же вам сказала, чтобы вы не появлялись, пока я вас не позову. Марш во двор!

Ребята попробовали сопротивляться, но, получив от матери затрепину, с громким ревом выбежали из комнаты.

— До свидания, — проговорил я и удалился. Меня никто не удерживал.

Получив от Бардоша три адреса, я пошел подыскивать себе квартиру. Первая комната оказалась проходной, вторая комната, возможно, подошла бы мне, но ее уже сдали утром. Третья комната, к счастью, оказалась и лучше и удобнее предыдущих, но за нее надо было платить пятьсот рублей в месяц, а таких денег у меня не было и в помине.

На вторую половину следующего дня директор училища назначил педагогическую конференцию, пригласив и меня. Из лагеря я уехал пораньше, чтобы утром поискать квартиру.

Поиски начались на этот раз с окраины. После долгих хождений я наконец нашел подходящее место. Цена — двести рублей в месяц — была для меня более или менее приемлемой, но вся беда заключалась в том, что перегородки в доме были очень тонкими, и через них было все слышно. Хозяин дома, украинец (работал он пожарником) и его жена, худенькая женщина с хорошеньким личиком, показались мне вполне порядочными людьми. Разумеется, мне бы хотелось найти такую комнату, где бы нам никто не мешал. Но сделать это, как я убедился, было нелегко. У пожарника было трое детишек, один из них трехмесячный младенец, который орал во все горло, и потому я решил не спешить. Прощаясь с хозяевами, я сказал, что комната мне нравится, но мне хотелось бы, чтобы ее посмотрела еще и моя жена, которая приедет на днях.

Но я еще не отказался от мысли найти более спокойную квартиру.

Когда я пришел к Бауману, все семейство было в сборе. Еще поднимаясь по лестнице, я услышал крики детей и жены Баумана. Он предложил найти какой-нибудь свободный класс, где бы можно было поговорить.

— Я ведь уже говорил вам, что не очень силен в английском, — начал Бауман, — по что поделаешь, если директору нужен именно преподаватель английского. Им попался квалифицированный немец, а они, вместо того чтобы радоваться, во что бы то ни стало хотят англичанина. Вас, конечно, удивило, что я попросил у вас разрешения преподавать в старших классах. Попробую все объяснить. Перваки начинают с азов, с ними я просто не справлюсь. А тут у меня есть книжки, — он вытащил из кармана книжку сказок для школьников. В конце книжки был словарь, а в конце каждой страницы давались пояснения. — С помощью этих текстов я смогу задавать им

задания. Как вы находите такой подход? Теперь скажите мне, пожалуйста, как можно составить уроки по степени возрастания трудности, и, наконец, если вы ничего не имеете против, послушайте меня и скажите, какие у меня ошибки в произношении.

Прослушав Баумана, я пришел в ужас: он был в явных неладах с самыми элементарными правилами фонетики.

— Видите ли, сударь, если говорить откровенно, я должен признаться: вам нельзя преподавать английский язык.

— Ах, бросьте, — отмахнулся от замечания Бауман. — Для этих дикарей и мои знания английского будут слишком хороши. Вовсе не обязательно, чтобы я говорил или читал по-английски. Того и другого постараюсь избежать.

Слова немца возмутили меня:

— Не понимаю вас, господин Бауман. По вашим словам, вы больше десяти лет едите русский хлеб, здесь вы получили то, чего не имели на родине, и теперь вы сами называете дикарями русских, нацию, которая дала миру Толстого, Тургенева, Чехова и Достоевского!

Бауман расхохотался:

— Гении есть у каждого народа. У евреев — свои Спинозы и Гейне. Я вам скажу больше: у китайцев есть десятки философов и поэтов. Возможно, они есть даже у негров. Надеюсь, вы не станете утверждать, что евреи, китайцы или какие-нибудь негры такие же люди, как немцы, или, скажем, англичане, или хотя бы вы, венгры? Господь так создал мир, что в нем имеются высшие и низшие расы. У людей, как и у животных, низшие созданы для того, чтобы служить высшим.

— В данном случае, например, они должны обеспечить вам место преподавателя?

— Именно так. Не случайно у русских нет своего преподавателя английского языка.

Стоит ли спорить с таким человеком? И чего я добьюсь, если заявлю о нем директору училища? Никто, кроме меня, не сможет установить, как плохо Бауман знает английский. Еще подумают, что я хочу избавиться от него, чтобы захватить все уроки.

— Послушайте, господин Бауман, — сказал я. — По-английски вы когда-нибудь сможете научиться, но я с вами общего языка не найду. Поступайте так, как считаете нужным.

— Но уроки вы просмотрите, не так ли?

— Зачем? — спросил я. — Для начинающих, я полагаю, все эти тексты слишком трудны будут, а для старшекласников они легки.

— Хорошо, — ехидно произнес Бауман. — Подождем конца войны, расовая теория еще покажет себя.

Тогда я посмеялся над словами немца. Разве я мог подумать, что такое гнилое семя даст всходы?

На конференции утвердили расписание, на что ушло всего несколько минут, потому что директор еще раньше с педагогами распределил часы. Среди педагогов оказалось несколько эвакуированных, которые только сейчас начали преподавать в реальном училище. Всего их было человек двадцать, среди них три женщины. Мы познакомились. Ко мне подошел мужчина в очках, лет сорока. Сначала он задал мне несколько вопросов, потом сам кое-что рассказал о себе. По национальности Людвиг Казимирович был поляк. Здесь преподавал математику. В Забайкалье он попал из Центральной России. Говорил он со мной тепло и доверительно, и после конференции мы расстались уже друзьями.

Учебный год начался 1 октября. Я с волнением готовился к урокам, но первые уроки успокоили меня. Дети десяти — четырнадцати лет были моими учениками. Я боялся, что не справлюсь с ними, но я приятно ошибся. Во всех четырех классах ученики слушали меня очень внимательно, изо всех сил стараясь осилить материал.

Первые дни я строго придерживался системы Берлица с той лишь разницей, что каждое слово или предложение записывал на доске вместе с переводом.

На переменах я часто общался с Людвигом Казимировичем. Узнав, что я переписываю от руки тексты уроков, он попросил меня показать их ему. Он немного понимал по-английски и потому, внимательно просмотрев написанное, сказал:

— Мысль неплохая, уроки составлены хорошо. Вся беда в том, что дети разорвут эти листочки или растеряют. Помоему, было бы лучше сшить весь материал в нечто похожее на книгу и уже тогда раздать ученикам.

Идея Людвиг Казимировича запала мне в голову, и все свободное время я посвятил разработке своеобразного учебника.

Мне пришла мысль составить тексты с описанием мест, хорошо знакомых ученикам, например, разработать темы «На берегу Байкала», «Поездка по Транссибирской магистрали», «Зимой в тайге», «Охотники», «На пароходе по Селенге» и другие.

Я так воодушевился, что сразу же сел писать тексты и на следующий день уже показал Людвигу Казимировичу первые два текста. Он так обрадовался, как будто сбылась его заветная мечта. Этим он окончательно очаровал меня.

— Не знаю, как благодарить вас, Людвиг Казимирович, за вашу доброту, вы словно родственник мне.

— Мы с вами католики, а это не менее чем родство, — ответил поляк, подчеркивая каждое слово.

Это немного удивило меня, а потом я догадался, что он,

видимо, прочел мою анкету, в которой я был вынужден записать, что я католик, так как белые не любили безбожников. Мне показалось страшным, что такой образованный человек, как Людвиг Казимирович, придает столь большое значение религии, считая ее крепким связующим звеном.

— Не знаю, как вы, Людвиг Казимирович, — сказал я, — но весь мой католицизм только на бумаге, я не верю ни в какую религию.

— Не в этом дело. Вы заблуждаетесь, принимая меня за верующего. Если раз в год здесь появится польский священник, прочтет проповедь, то ради жены я схожу в церковь, но верю я только в бинот и тригонометрию. Католицизм же, мой друг, это не только религия, а нечто более важное: это, если хотите, общий склад ума. Все, кто получили католическое воспитание, независимо от того, верят они в бога и насколько, имеют склад ума, отличный от православных, израильтян или протестантов.

— Извините, Людвиг Казимирович, но я вас на самом деле не понимаю.

— Сейчас я вам объясню это на примере. В прошлом году у нас в училище был один спор. Многие ученики вовремя не платили за обучение. На одном из педсоветов директор спросил у нас, какие меры, по нашему мнению, следует применить по отношению к задолжникам. Были высказаны три совершенно разных мнения. Тимофей Иванович, преподаватель закона божьего, предложил предупредить задолжников и дать им определенный срок, по истечении которого, если плата не будет внесена, их просто исключат из училища. Абрам Моисеевич, преподававший естествознание, придерживался мнения, что всех неплательщиков нужно отдать под суд. Как католика, спросили меня, и я посоветовал поинтересоваться, почему тот или иной ученик не внес платы. Если задолженность возникла по забывчивости, тогда нужно предупредить, если же человек просто находится в затруднительном материальном положении, тогда совсем другое дело.

— По-моему, религия тут ни при чем, — заметил я. — Люди всякие бывают: или бессердечные, как преподаватель закона божьего, или материалисты, как преподаватель естествознания, а есть просто хорошие люди, как вы, Людвиг Казимирович.

— И я говорил, что это не зависит от религии, но она накладывает отпечаток на образ мышления людей.

— Это только видимость, — сказал я. — Я вот вспомнил анекдот, который слышал еще гимназистом. У одной хозяйки в Дебрецене столовались четыре студента. Хозяйке было интересно узнать, кто из них какую религию исповедует, но спросить студентов об этом она стеснялась. Вместо этого она каждого в отдельности стала спрашивать, любит ли он ватрушки.

— Не люблю, но есть могу, — ответил один.

«Ну, этот наверняка католик», — решила женщина.

— Люблю, но не очень, — ответил другой.

«Этот наверняка лютерапин».

— Черт бы их любил, — ответил третий.

«Это, видимо, каломист».

— А почему же, люблю, — ответил четвертый.

«Ну, этот-то точно еврей».

— Вот видите, — засмеялся Людвиг Казимирович. — Все так и есть. Ватрушки никакого отношения к религии не имеют, однако люди даже в отношении к ватрушкам и то проявляют свою религиозность.

— Людвиг Казимирович, неужели вы серьезно так думаете?

— Очень серьезно. И если до сих пор у меня были какие-то колебания, то ваш анекдот окончательно убедил меня в этом.

— Анекдот, каким бы остроумным он ни был, никакого отношения к религии не имеет. Думаю, что ваша теория несостоятельна. А что касается религиозного образования, то тут...

— Нам нет никакого смысла спорить, — неожиданно перебил меня Людвиг Казимирович, — у вас свое мнение, у меня — свое. Главное, что мы с вами хорошие друзья.

Так и закончился наш спор.

После этого необычного разговора с Людвигом Казимировичем мои симпатии к нему несколько не уменьшились, но мне захотелось поближе познакомиться и с другими коллегами. Однако мы были настолько разными, что я просто не знал, о чем с ними говорить. Погода и цены, плохие и хорошие ученики — других тем для них не существовало, и я постепенно отказался от мысли сблизиться еще с кем-нибудь, как неожиданно приобрел еще одного друга, вернее, подругу.

Среди эвакуированных была Татьяна Петровна, преподавательница русского языка и литературы, женщина лет сорока с небольшим, с красивыми каштановыми волосами. Чистые голубые глаза ее как-то сразу запомнились мне. После первого разговора с ней у меня сложилось впечатление, что эта очень культурная женщина питает ко мне чувство ответной симпатии. Она тоже искала случая, чтобы познакомиться со мной.

Скоро я понял, что наши политические взгляды абсолютно различны, но это несколько не омрачало нашу дружбу, ведь о политике мы с ней не говорили. Я несколько удивился, узнав, что она из аристократической семьи. Муж ее, родившийся в семье богатого торговца, до революции и при белых работал судьей в судебной палате. Татьяна Петровна и ее муж ненавидели революцию и не переставали оплакивать старое царское время. Она догадывалась о том, что я симпатизирую

революции, хотя мы никогда не говорили с ней об этом. Было странно, что, несмотря на это, она охотно дружила со мной, а не с теми, кто был настроен, как и она. С ними она даже не хотела разговаривать.

Однажды я все-таки спросил ее, чему обязан ее уважением, ведь, собственно говоря, из всех ее знакомых один я «исповедовал» совершенно другую веру.

— Одно дело вера, а другое дело личная жизнь, — ответила она по обыкновению серьезно. — Я терпеть не могу серых людинашек, которые погрязли в мелких, никчемных дрызгах жизни. С вами я могу разговаривать о том, что меня интересует. А какому богу вы исповедуетесь — это ваше личное дело. У Вольтера и царицы Екатерины были разные веры, но это не мешало им быть друзьями.

После разговора с Людвигом Казимировичем я с еще большим воодушевлением взялся за составление учебника. Чтобы работа шла быстрее, я все же решил снять комнату в городе. Правда, комната эта далеко не идеальна, особенно когда придет Катя, но зато не придется тратить по три часа на дорогу.

Комната была еще свободна, можно переезжать. В первый же день я пожалел об этом. Весь вечер хозяйские детишки шумели, а мать громко утихомиривала их, невозможно было работать. Когда старшие улеглись спать, начал свой концерт малыш.

«Ничего, привыкну», — успокаивал я себя.

В тот же вечер я написал Кате письмо, сообщил ей о составлении учебника и о квартире, с которой я сразу же съеду, как только подыщу что-нибудь лучшее.

Спустя неделю составление учебника было закончено.

Дружба с Людвигом Казимировичем росла. Не было и дня, чтобы он не поинтересовался, как продвигается работа над учебником. Как-то, когда мы разговаривали, к нам подошла Татьяна Петровна.

— Что вы скажете, — с жаром начал объяснять ей Людвиг Казимирович. — Андрей Александрович составил учебник английского языка для учеников, проживающих в Забайкалье.

— Я слышала, что он этим занимается, но не думала, что так быстро учебник будет готов, — сказала Татьяна Петровна. — Не правда ли, вы мне покажете его?

— Охотно, но сейчас его у меня нет.

— Не сейчас, конечно. Я хочу вас пригласить на воскресенье. Приходите послезавтра к нам обедать и не забудьте захватить рукопись учебника. Обедаем мы в час, а после обеда вы мне и покажете свою книгу.

Я с радостью принял это приглашение.

Татьяна Петровна, встретив меня, провела в маленькую комнату. Минут через пять пришел ее супруг.

— Знакомьтесь и поговорите немного, а я займусь обедом, — проговорила Татьяна Петровна и оставила нас одних.

Татьяна Петровна редко говорила о своем муже. Я знал, что он работал судьей, и полагал, что судья — человек такого же склада, как и его супруга, но ошибся. Валентин Павлович не был особенно симпатичен. Черные волосы с проседью и усы. Маленькие колючие глаза и орлиный нос. Говорил он немного в нос. У него была привычка постоянно потирать руки. Каждое слово его как бы подчеркивало, что он презирает людей и считает себя исключительной особой. Он очень неодобрительно высказался о Верхнеудинске и его жителях.

Когда горничная принесла бутылку водки и рюмки, Валентин Павлович наполнил рюмки и произнес тост:

— За то, чтобы поскорее освободиться из этой восточно-азиатской пустыни!

Я попробовал защитить Удинск и его жителей, сославшись на тяжелые условия, в которых им приходится жить. Это только подлило масла в огонь, он начал прямо-таки поносить жителей города. К счастью, в этот момент в комнату вошла Татьяна Петровна и горничная с суповой миской.

За обедом больше всех говорил Валентин Павлович. Кроме разговора о восточноазиатской пустыне у него была еще одна любимая тема: оплакивание своей судебной карьеры, подорванной, как он выразился, революцией. Он так и сыпал курьезными случаями из своей судебной практики, а работал он более двадцати лет.

Я сделал вид, что внимательно слушаю его, а сам наблюдал за Татьяной Петровной. Она сидела с равнодушным видом, будто была совершенно глуха и не замечала присутствия мужа. Она спокойно ела и не проронила ни единого слова, когда же муж замолкал, она сразу же обращалась ко мне, спрашивая, по вкусу ли мне то или другое блюдо. Валентин Павлович, однако, терпеть не мог, чтобы кто-нибудь говорил, кроме него. Стоило Татьяне Петровне сказать несколько слов, как он тотчас что-нибудь вспоминал и раздражался потоком слов.

Само собой разумеется, мне было неловко.

После обеда Валентин Павлович заявил, что врачи предписали ему немного поспать после обеда, и исчез в другой комнате.

Татьяна Петровна пригласила меня в маленькую комнату, где горничная подала нам черный кофе.

Зачем Татьяна Петровна пригласила меня на обед, если она так плохо живет с мужем? Ведь мы могли бы встретиться с ней до или после уроков в училище. Но если уж пригласила, значит, сейчас, когда мы остались одни, она скажет мне что-нибудь важное.

— Извините меня, — начала она, — я поставила вас в неприятное положение, но я в этом виновата только наполовину. Муж не собирался сегодня обедать дома, когда же я узнала, что он обедает, ничего нельзя было изменить.

Ни словом не обмолвившись о наших отношениях, она сразу же заговорила о моем учебнике.

Я рассказал ей о плане учебника, показал готовый материал. Она, как и Людвиг Казимирович, очень обрадовалась, сделала два-три критических замечания и дала несколько полезных советов.

Плохого настроения, навеянного за обедом, как не бывало. Мы долго еще разговаривали с ней, и у меня сложилось впечатление, что она не очень счастлива.

На следующий день Людвиг Казимирович поинтересовался, как я себя чувствовал в гостях у Татьяны Петровны.

— Людвиг Казимирович, вы не находите, что эти эвакуированные — странные люди?

— Да, эвакуированные образуют довольно пестрое общество, — согласился он. — Одни бежали от страха перед большевиками, другие имели на это личные причины. Некоторые боялись, что с приходом к власти большевики займут их должности. Была среди них и такая категория людей, которые принципиально не хотели сотрудничать с красными, хотя и знали, что они останутся на своих местах. Валентин Павлович относился к людям этой категории. Он понимал, что при большевиках ему судьей не быть, и надеялся, что здесь, в Сибири, его встретят с распростертыми объятиями. Он явно не предполагал, что эвакуированных будет так много, хоть мости ими улицу. Татьяна Петровна не подходит ни под какую категорию. Она не боялась большевиков, но и не обольщалась контрреволюционерами. Она откровенно ненавидела и тех и других. Натура возвышенная, она восхищалась только искусством. Литература, театр, музей — в этом видела она смысл жизни. И еще сын. У нее был красивый сын. Когда началась революция, ему исполнилось восемнадцать. Татьяну Петровну революция нисколько не интересовала. Она прекрасно поняла: что бы ни случилось, это будет конец ее спокойной жизни, а жизнь ее любимого сына будет в постоянной опасности. Почти все родственники Татьяны Петровны еще осенью восемнадцатого года, воспользовавшись имевшейся тогда возможностью, бежали из России. Она тоже хотела уехать за границу, но ее муж, считавший себя незаменимым в суде, не захотел уезжать из страны. Уехать одной вместе с сыном и оставить мужа на родине Татьяне Петровне мешали скорее религиозные предубеждения, чем угрызения совести. Поэтому когда в конце восемнадцатого года муж подался к белым на Урал, она поехала

вместе с ним. Сына в то время дома уже не было, он добровольно вступил в белую армию, и в этом Татьяна Петровна винила только мужа, поэтому ее равнодушие к нему переросло в ненависть. О разводе, однако, она не помышляла, поскольку муж жил на ее иждивении и даже не пытался найти себе работу. Вот они какие, аристократы! Не подумайте, что все это я узнал от нее самой или от ее супруга. Ни в коем случае. Они и словом об этом не обмолвились, считая разговоры на эту тему ниже своего достоинства. Среди эвакуированных хватает сплетен. Несмотря на все свои чудачества, Татьяна Петровна оставалась самой симпатичной женщиной среди беженцев.

— Ну, а с вами что случилось, Людвиг Казимирович? — спросил я поляка.

— Мое дело особое. Я бы никогда из Екатеринбурга не уехал, но у жены не выдержали нервы. Политика ее не интересовала. Она бежала не от большевиков, а от стрельбы. Когда осенью восемнадцатого года белые взяли город, я нисколько не сомневался, что большевики смирятся с этим и не отвоюют город. Жена этого не пережила бы. Услышав о том, что в Сибири образовалось правительство, она решила, что здесь уже все устоялось и никаких перемен быть не может. Она не отставала от меня до тех пор, пока я не согласился уехать в Сибирь. Мы намеревались поехать в Омск или в Томск, но застряли тут. Так уж получилось, ничего не поделаешь.

Немного помолчав, он продолжал:

— И тут сказало мое католическое воспитание. Как ответил студент-католик: «Не люблю, но есть буду». Я не собирался эвакуироваться, но что поделаешь, раз этого хочет жена. Ну, хватит об этом. Поговорим о чем-нибудь другом. Как дела с вашим учебником? Договорились, как будете размножить его?

— Еще несколько дней, и я закончу рукопись, а потом уж договорюсь с директором.

— На него, мой дорогой, не рассчитывайте. В школе нет ни бумаги, ни краски. Вот что я советую: у вас в лагере есть гектограф, на котором размножают приказы. Распоряжается им какой-то унтер-офицер, который, как я слышал, берет работу и из города и даже печатает на своей бумаге. Откуда он ее берет, это уж его дело. Поговорите с Бардошем, а он вам все устроит.

Сделка

При первой возможности я попросил Бардоша помочь мне размножить учебник на лагерном гектографе.

— Сделать это легко, — сказал Бардош, — быть может, возникнут трудности с бумагой, но как-нибудь и с этим справимся. Деньги, которые, для этого потребуются, ты соберешь с учеников. Неплохая идея, а? Еще заработаешь на этом деле,

не так ли? Но у меня есть еще лучшая идея. Ты знаешь Черняка?

— Долговязый такой чех?

— Да, этот. Он руководит работой типографии военной комендатуры и, конечно, берет «левые» заказы. Было бы глупо не брать их, если есть такая возможность. Когда ты с ним договоришься, он тебе прямо-таки отпечатает твою книгу. Это будет хорошая сделка. С тех пор как здесь появились американцы, английский язык вошел в моду. Такой учебник свободно разоидется не только в Удинске, но и в Чите, Харбине, Владивостоке и во всем Забайкалье. Шутя можно издать его тиражом в тысячу экземпляров, а на этом деле ты заработаешь несколько тысяч рублей.

Не откладывая дела в долгий ящик, Бардош сам поговорил с Черняком, и, когда мы встретились с ним, у него уже была готова смета расходов на издание учебника.

Правда, от моего оптимизма не осталось и следа, как только Черняк перечислил условия, на которых может быть издана книга. Один печатный лист готовой продукции при тираже в тысячу экземпляров стоил полторы тысячи рублей, а объем моего учебника был семь печатных листов, значит, вся книга стоила десять с половиной тысяч рублей. Эта сумма при моей скромной зарплате в девятьсот рублей показалась мне фантастической, о чем я тотчас же и сказал чеху.

— Это верно, издание книги сейчас обходится недешево, — согласился чех. — И все это из-за бумаги, только из-за нее. Бумага стоит вдвое дороже, чем все прочие работы. Собственно говоря, сумма эта не такая уж и большая, тем более что вносить ее нужно не сразу, а частями. Первый взнос — две тысячи рублей, остальные пять с половиной тысяч — по получении корректуры, этим мы покроем стоимость бумаги, а оставшиеся три тысячи уплатите по получении заказа.

— От издания книги на таких условиях я вынужден отказаться, — заявил я Черняку. В этот момент к нему зашел пленный и что-то сказал по-чешски.

— Извините, — сказал Черняк. — Я должен на минутку заглянуть в типографию. Сейчас вернусь.

— Ты не спеши, — заметил мне Бардош, когда мы остались одни. — Этот чех большой пройдоха, но и мы не дураки. Заплатить пятьсот рублей за один печатный лист — это недорого, махлует он с бумагой. По-моему, можем дать ему половину названной суммы. Скажи ему, что подумаешь несколько дней, а за это время мы посмотрим, где подешевле достать бумагу. Дадим ему из расчета семьсот рублей за лист.

— Очень хорошо, — согласился я. — За три с половиной тысячи бумагу найдем. В Хилоке, например, в китайских лавочках на рубль давали столько бумаги, что ее хватило бы не на шестнадцать, а на целых тридцать две страницы книги. Бу-

мага обойдется нам в три с половиной тысячи рублей, а вся книга будет стоить не десять с половиной, а только семь тысяч рублей. А что толку? Для меня семь тысяч рублей такая же большая сумма, как и десять. От своих учеников больше двух тысяч я никак не получу. А что дальше?

— Я тебе все объясню. А Черняку скажи, что подумаешь над его предложением. Ты ничем не рискуешь, а отказаться никогда не поздно.

Вернулся Черняк.

По совету Бардоша я расстался с чехом, пообещав зайти дня через три.

Бардош пригласил меня пообедать в казино, чтобы там и поговорить. Это заведение совсем недавно было открыто для американских и японских офицеров. Я о нем уже слышал, но еще ни разу не бывал. Обедал я в столовой на базарной площади. Мне и в голову не приходило хоть раз зайти в казино, где за один обед нужно было заплатить столько, сколько мне хватило бы на целую неделю.

— Если тебе деньги некуда девать, — сказал я Бардошу, — пойдем пообедаем, хотя говорить нам, собственно, уже не о чем. Я не согласен начинать дело, которое, как вижу, плохо кончится.

Мы уже подходили к казино, а Бардош ничего не ответил мне. Когда обед был заказан, он снова заговорил:

— Не будь ребенком. Все можно решить очень просто. В-первых, сегодня же напиши жене, спроси, есть ли в китайских лавочках бумага, если есть, то почем и в каком количестве. Тебе с запасом нужно этак четыре тысячи печатных листов. А я тем временем разузнаю, нельзя ли купить здесь, и подешевле. Книга должна стоить двадцать рублей, такую сумму за нее каждый заплатит. Завтра же объяви в училище: кто хочет заказать себе учебник, тот должен сразу же внести за него деньги. Большинство безо всякого принесут тебе деньги. А когда слух об этом пойдет по городу, найдется очень много желающих приобрести твой учебник и из офицеров, и из торговцев, и из железнодорожников. Даже двести желающих дадут тебе за раз четыре тысячи рублей. Две тысячи отдашь в качестве задатка Черняку, а две оставишь на бумагу. Теперь надо найти еще две тысячи. Есть они у тебя?

— Нет. Самое большее — рублей пятьсот.

— Неважно. Полторы тысячи дам тебе в долг. Или, если хочешь, заплачу тебе за семьдесят пять учебников. А послезавтра скажешь Черняку, что за печатание ты платишь сам, а бумагу даешь свою. Две тысячи задатка ты заплатишь ему через неделю, остальные полторы — по готовности книги.

— А не скажешь ли ты, где я возьму эти полторы тысячи?

— Ну и смешной же ты! Пока книгу печатают, пройдет не меньше трех месяцев. А за это время ты найдешь еще сто

подписчиков. Вот тебе и деньги. Если ты не найдешь, я куплю у тебя еще сто учебников. В конце концов я даже выручу на этом. Пошли книги в Харбин, там их мигом продадут. И ты не останешься в убытке. Если ты по пятнадцать рублей продашь шестьсот экземпляров, то будешь иметь девять тысяч рублей чистой прибыли. Это и будет твой гонорар. Считай, за каждый печатный лист немногим более тысячи рублей. Не плохо, а?

Он мог уговорить кого угодно! Условились, что послезавтра он зайдет ко мне и, если я не передумаю, мы вместе сходим к Черняку.

Весь вечер я терзался, соглашаться печатать учебник или нет. Утром я обратился к Людвигу Казимировичу за советом.

Немного подумав, он сказал, что доводы Бардоша кажутся ему вполне практичными и разумными. А потом добавил:

— Советую вам только все условия издания учебника закрепить на бумаге, ибо, как говорят, что написано пером, не вырубишь топором.

Поблагодарив за совет, я спросил, удобно ли брать с учеников деньги за учебник вперед.

— В этом нет ничего плохого. Я уверен, что ученики, вернее, их родители охотно заплатят деньги. По-моему, вы наберете не менее двухсот подписчиков. Больше того, от Иркутска до Владивостока найдется по крайней мере с десяток школ, которые с радостью купят ваш учебник. Нужно только написать письма директорам этих школ и предложить им заказать книгу заранее. Наверняка школы закупят приличное число учебников.

После этого разговора и мне печатание учебника показалось делом не столь трудным.

Встретившись с Бардошем, я сказал, что приму условия Черняка, но попрошу все это скрепить письменным договором.

— Наивный ты человек! — похлопал меня по плечу Бардош. — То, что Черняк берет «левые» заказы, не секрет, об этом хорошо знает и его непосредственный начальник комендант города генерал Сычов, знает, но закрывает глаза, возможно, даже не без определенной мзды. Но ты хочешь, чтобы Черняк дал тебе в руки вещественное доказательство того, что он использует военную типографию в личных целях?! Нет, дорогой, не такой уж он дурак! Факт, что он хотел заработать на бумаге. Если он не согласится взять у тебя бумагу, тогда всему делу конец. Если же согласится, ты смело можешь поверить ему на слово. Если ты боишься, что он возьмет у тебя деньги и не выполнит заказ, то напрасно, известие об этом быстро распространилось бы по городу, и никто больше не стал бы давать ему «левых» заказов.

Вместе с Бардошем я сходил к Черняку и на словах договорился с ним, что я даю ему две тысячи рублей задатку, а он через месяц после получения от меня рукописи дает мне верстку, после сдачи которой в течение месяца обязуется отпечатать весь тираж, и потом получает оставшиеся полторы тысячи.

На следующий день я поговорил с директором училища, который не только согласился со мной, но даже обещал лично сообщить по классам об издании учебника. В тот же день объявление об этом было вывешено в училище. Директор дал мне адреса школ, действующих в Восточной Сибири и Забайкалье.

Я написал Кате подробное письмо, попросил ее узнать о возможности покупки бумаги и сообщить мне телеграммой. Между делом я послал еще несколько писем: два — в Иркутск, директорам гимназии и реального училища, одно в Читу и одно во Владивосток.

Вечером я засел за окончательное редактирование учебника. Работа шла скоро. Мысль о том, что учебник будет печатный, подгоняла меня еще больше.

Я убедился, что оптимизм Бардоша не был иллюзорным. За несколько дней более ста учеников уплатили за учебник по двадцать рублей. На третий день от Кати пришла телеграмма: «Бумага есть любом количестве по рублю печатный лист».

К концу первой недели число подписчиков на учебник достигло ста восьмидесяти человек. Некоторые, заказывая книгу, обещали уплатить за нее несколько позднее. Как бы там ни было, сумму для внесения аванса я набрал без труда.

На следующей неделе пришел ответ от директоров двух школ. Директор иркутского реального училища писал, что он хотел бы заказать сто пятьдесят — двести учебников. Директор читинского реального училища заказал сто книг.

Теперь я окончательно успокоился. Работа шла быстро. На третьей неделе учебник был закончен.

И вдруг я подумал: а вправе ли я слепо полагаться на свои знания английского и сдавать учебник в типографию безо всякого контроля со стороны?

Мысль эта не давала мне покоя всю ночь, а утром совершенно неожиданно пришла помощь, и пришла оттуда, откуда я ее совсем не ожидал.

В училище я как-то на перемене встретился с Бауманом. Он сразу же заинтересовался, когда будет готов учебник. Об этом он спрашивал при каждой нашей встрече, всегда очень зля меня. Вот тут-то я и рассказал ему, что книга готова, но очень важно, чтобы ее прочитал кто-нибудь из людей, превосходно владеющих английским языком.

— У меня есть дельное предложение, — сказал Бауман, потирая руки. — Признаюсь, последнюю неделю я тоже кое-чем подрабатываю. С двух часов и до восьми вечера я исполняю обязанности курьера в американском Красном Кресте. Моя

начальница — уже немолодая американка, которая до войны преподавала английский язык. Я ей как-то уже рассказывал о вашем учебнике, так что она все знает и даже попросила меня показать ей ваш учебник. Пойдемте к ней вечером, вы покажете ей свою книгу. Я больше чем уверен, что она охотно согласится прочесть учебник.

Американка с интересом взяла мою рукопись и попросила меня зайти за ней через три дня.

Я думал, что она продержит книгу недели две, но ошибся. Когда через три дня я зашел к американке, то оказалось, что она не только прочитала учебник, но и сделала заметки по каждой странице текста, которые были так ценны для меня. И хотя она предлагала внести в рукопись много мелких исправлений, мою работу с точки зрения педагогики и знания языка признала вполне хорошей. После деловой части разговора она пригласила меня на чашку чая. Узнав, что я женат, а жена ждет ребенка, американка хитро улыбнулась и пошла к двери, сказав:

— Извините, я сейчас вернусь.

Вернулась она через несколько минут, держа в руках большой сверток. Я сразу же узнал этот сверток. Точно такой я получил от мистера Кэрби. Теперь нам с Катей не нужно было беспокоиться о приданом для малыша.

Два следующих дня я до глубокой ночи исправлял ошибки в рукописи, а на третий день отнес ее вместе с задатком в типографию. Черняк торопил меня поскорее достать бумагу, заверив, что работа будет сделана не за месяц, а за какую-нибудь неделю.

— Прекрасно. На днях я еду в Хиллок за женой. Самое позднее через неделю бумага будет здесь. Верстку я прочту быстро, так что за мной никакой задержки не будет, можно будет печатать тираж.

Все было в порядке. За неделю до этого Катя прислала письмо, в котором сообщала, что уже рассчиталась на работе и в любой день может выехать ко мне. Я договорился с Бауманом, что в мое отсутствие он проведет уроки в моих классах.

Одна мысль беспокоила меня: за всю бумагу нужно было уплатить четыре тысячи рублей, у меня же наличными была только половина, то есть две тысячи, которые остались от взносов учеников за учебник. Пятьсот рублей должен был дать я, а полторы тысячи — занять у Бардоша. Однако свои пятьсот рублей я растратил, а зарплаты не получил. Решил, что деньги, возможно, найдутся у Кати. Она писала мне, что получила зарплату за месяц, отпускные деньги и еще какие-то расчетные, то есть всего у нее было тысячи полторы рублей. Предстояло только поговорить с Бардошем.

Я поехал к нему в Березовку и рассказал, что рукопись уже находится в типографии, задаток уплачен, а я еду в Хилок за женой.

Полторы тысячи он дал мне без слов, но, узнав, что пятьсот рублей я собираюсь взять у жены, рассердился:

— Невозможный ты человек! Благородный мужчина дает женщине деньги, а не берет у нее. Сколько раз я тебе говорил, что самое выгодное дело — торговля. Займись ею!

— Оставь меня, — рассердился я. — Ты же знаешь, что я ничего в этом не смыслю.

— Выдумки. Поэтом нужно родиться, а торговцем может стать каждый. Только начни, а там пойдет.

— Хотел бы я знать, с чего начать.

— Нет ничего проще. Вот ты сейчас готовишься ехать в Хилок. Наверняка тут есть вещи, которые дешевле, чем там, и наоборот. Здесь ты покупаешь то, что там можно дороже продать. Например, сколько там стоит пачка сигарет «Гольден хальмет»?

— Их продают только китайцы, перед отъездом сюда я платил рубль за пачку.

— Я говорю о блоке, в котором тысяча сигарет, а не о какой-то пачке, где их всего двадцать штук. Значит, блок стоит пятьдесят рублей. Прекрасно! Здесь я достану любое количество по двадцать пять рублей за блок. Значит, если ты вложишь в это дело тысячу рублей, или, говоря другими словами, купишь сорок блоков, ты будешь иметь сто процентов прибыли.

— А ты случайно не подскажешь мне, где взять эту тысячу рублей?

— Если у тебя вообще нет денег, я готов профинансировать твою первую торговую операцию. Вот тебе тысяча рублей. Когда ты едешь?

— Послезавтра утром.

— Хорошо, завтра приходи в лагерь и захвати с собой два мешка или чемодан. Я буду дома. В шестом бараке живет пленный, по фамилии Шварц, я сегодня переговорю с ним, а он завтра достанет тебе сорок блоков.

Отказаться от этого предложения? Спекулянты всегда были противны мне, а о Бардоше я имел определенное мнение. Но если это так просто... Деньги так и просятся в карман, почему бы и не попробовать...

Тщательно обсудив этот план, я решил, что дело это вовсе не простое. Сто процентов прибыли я получу, только продав эти сигареты, а у меня нет для этого ни времени, ни возможности. Если же предложить сигареты лавочнику, то он тоже захочет на них что-то заработать. Если продать лавочнику блок по сорок рублей, то тогда я получу тысячу шестьсот рублей. Из них тысячу верну Бардошу, мне останется шестьсот, и ничего не надо будет просить у Кати.

Первый раз в жизни я согласился на спекуляцию.

Вечером следующего дня я получил сорок блоков сигарет, заплатил за них тысячу рублей, полученные от Бардоша, и утром уехал в Хилок.

Дома Катя рассказала мне, что бумагу можно купить во многих китайских лавочках, но понемногу. Правда, один китаец обещал достать любое количество.

Я спросил у Кати, сколько стоят сигареты, но она не знала.

Утром я пошел в лавку к китайцу и сказал, сколько бумаги мне нужно. Попросив двадцать пять процентов задатка, он обещал дня через три достать бумагу. Я поинтересовался, какую скидку он мне сделает, учитывая, что я покупатель оптовый. Китаец заявил, что ни о какой скидке не может быть и речи, напротив, достать ему такое количество бумаги будет нелегко и потому я должен ему еще немного приплатить.

Китаец врал, в этом не было сомнений, но делать нечего, я дал тысячу рублей задатка, сказав, что через три дня найду за бумагой.

Я сразу же решил сбыть китайцу свои сигареты, но оказалось, что они сигаретами вообще не торгуют. И я пошел на разведку в другие лавочки. Всюду меня ждало разочарование: сигареты можно было купить по шестьдесят копеек за пачку. Когда же я спросил, сколько будет стоить целый блок, китаец сказал, что цена такая же, но, немного подумав, сбавил цену с тридцати до двадцати пяти за блок. Короче говоря, это была та же самая цена, по которой я купил сигареты в Удинске.

Я обошел все лавочки, но цена на сигареты везде была одинаковой. В одной лавочке я спросил, по какой цене лавочник купит у меня несколько блоков. Сначала он вообще ничего не хотел брать, а потом предложил десять рублей. С трудом мне удалось сбыть ему десять блоков по пятнадцать рублей.

Оставшиеся тридцать блоков два дня пролежали у меня дома, а потом я кое-как продал их по пятнадцать рублей.

Хорошо, что мне удалось продать сигареты, хотя я же и остался в убытке. Оставить бы блока два-три, но такой роскоши я не мог себе позволить.

Китаец сдержал слово: через три дня я мог получить у него четыре тысячи печатных листов бумаги по рубль двадцать пять. Я пробовал торговаться, но китаец был неумолим. Положение у меня было безвыходное, пришлось согласиться на такую цену.

Все это означало, что я должен был уплатить тысячу четыреста рублей. Я отдал шестьсот рублей, вырученные за продажу сигарет, и еще девятьсот рублей пришлось просить у Кати. Настроение мое было испорчено, я ругал себя на чем свет стоит.

— Не огорчайся, — утешала меня Катя. — Деньги-то у нас общие. Правда, в Удинске они бы нам оченьгодились, но ничего, будем экономить, и только. Опубликование твоего учебника покроет все расходы. А из дела с сигаретами сделай вывод: впредь заниматься не торговлей, а учением.

Купив бумагу, мы выехали в Удинск.

Встреча с Дмитрием Евстафьевичем

Когда поезд прибыл в Удинск, первый, кого мы встретили на станции, был Дмитрий Евстафьевич.

— Дмитрий Евстафьевич, какая неожиданность! — воскликнула жена. — Приезжаем в незнакомый город и уже на вокзале неожиданно встречаем хорошего знакомого!

— Ничего удивительного, — улыбнулся старик, — у меня на вокзале две торговые точки: я держу, вернее, арендую на вокзале ресторан третьего класса и продовольственный ларек на перроне.

— Ну и как идет торговля? — полюбопытствовал я.

— Для кого как, — серьезно ответил грек. — Для властей хорошо, а для меня довольно туго. Железнодорожное начальство сдает все торговые точки одному человеку: ресторан второго класса — самое доходное место, ресторан третьего класса и продовольственный ларек на перроне. Главный арендатор оставил за собой ресторан второго класса, а две другие точки сдал в поднаем мне, с тем чтобы я платил налоги за все три, так что ему ресторан приносит чистый доход.

— Что-то тут не совсем ясно, — сказал я. — А почему бы вам не арендовать все три точки, Дмитрий Евстафьевич?

Старик рассмеялся:

— Если бы! Ежегодно устраивается аукцион, на котором и распродают эти заведения, а железнодорожное начальство само решает, кого допустить к аукциону. Кто ближе к начальству, тот и арендует. А мне вместе со всей семьей приходится ежедневно работать по шестнадцать — двадцать часов, чтобы выплатить все налоги и кое-как прожить.

— Гм, — пробормотал я, покачав головой. — Так вот как на деле выглядит эта свободная торговля!

— Одно разорение эта торговля, — перебил меня Дмитрий Евстафьевич, небрежно махнув рукой.

Удинское житье

От вокзала до города мы добирались на извозчике. По дороге заехали в типографию, где я оставил бумагу. Я надеялся, что мне дадут верстку, но...

— К сожалению, мы получили срочный заказ от начальни-

ка гарнизона. Наборщики заняты день и ночь, — оправдывался Черняк. — Но скоро уже кончим. Наберем мы быстро. Бумага теперь есть, задержки не будет.

Чех внимательно осмотрел привезенную мною бумагу. Он оторвал кусок от кипы, долго нюхал его, мял в руках, смотрел на свет и наконец заявил, что бумага далеко не идеального качества, но все же сойдет.

С приходом Кати сразу же стало ясно, что придется искать новую квартиру, потому что жить среди такого шума просто невозможно.

— Комнату найдем, были бы деньги, — утешал я жену. Но на учительскую зарплату хорошей комнаты не снимешь, а тут еще долг Бардошу за сигареты. Правда, он не торопил меня, но я сам чувствовал себя скверно.

На перемене я спросил у Людвига Казимировича, можно ли здесь найти учеников на частные уроки. Он стал отговаривать меня.

— Не знаю, есть ли смысл браться за такие уроки сейчас, — заметил он. — Ну, к примеру, вы будете брать за урок по двадцать пять рублей, в конце месяца получите деньги, а они за это время еще вдвое упадут в цене.

— А если я буду брать деньги вперед?

— На это никто не пойдет. Да и не только в этом дело. Частные уроки — вещь такая ненадежная: многие начнут учиться и вскоре бросят, так что им нет никакого резона платить деньги вперед. Вот что я предложу вам. В кооперативе организованы курсы, на которых я сам преподаю. Платят там побольше, чем в любом другом месте, к тому же это дело постоянное. Им требуется преподаватель английского языка. Занятия три раза в неделю по четыре часа. За двенадцать часов вечерних занятий вы получите столько же, сколько в училище получается за двадцать часов. Вечером, если у вас есть свободное время, пойдем вместе и обо всем договоримся.

Нечего и говорить, что на курсах мне обрадовались. Занятия нужно было проводить в двух группах, в каждой было по двадцать учащихся, молодые, в большинстве девушки. Мы договорились, что я буду давать уроки три раза в неделю, в одной группе с четырех до шести, в другой — с шести до восьми вечера. На следующий день я провел первое занятие и получил настоящее удовольствие: молодежь рвалась к занятиям.

Таким образом, я приобрел себе побочный заработок, но переехать на новую квартиру мы пока не могли, деньги надо было сначала заработать.

Однажды, когда шум и крики, долетавшие через фанерную стену, довели меня до белого каления, Катя выложила передо мной четыре царские сотенные бумажки.

— Эти деньги еще в прошлом году мне дала мама, когда приехала в Хилок. Она думала, что они — большая ценность и пригодятся, когда нам придется туго. Я знала, что царские деньги уже годятся только для музея, но мне не хотелось огорчать ее, и я взяла деньги. Я и сама забыла о них, но на днях наша хозяйка сказала мне, что есть люди, которые скупают сейчас царские деньги и платят за них вдвое дороже. Твой друг Бардош наверняка знает, кто этим занимается.

Сначала я возмутился, но потом подумал, а почему бы и не поинтересоваться, бог его знает, может быть, есть еще на свете глупцы, которые надеются на возвращение царя и платят за этот мусор хорошие деньги...

В полдень следующего дня я зашел в казино и переговорил об этом с Бардошем.

— Сколько у тебя есть? — не без интереса спросил он.

— Четыре сотенных.

— Немного, но в два раза больше ты за них все же получишь.

Восемьсот рублей — это не ахти как много! После разговора с Катей мне почему-то казалось, что я получу несколько тысяч рублей. А с этими деньгами далеко не уйдешь, даже долг Бардошу не смогу отдать. Правда, можно снять нормальную комнату, но через месяц — снова заботы о хлебе насущном.

Подумав, я сказал об этом Бардошу.

— Ты, конечно, прав, — согласился со мной Бардош. — Тебя такая помощь не выручит. Тебе нужен постоянный, стабильный заработок. Например, взять несколько частных уроков, но не за рубли, а за доллары и получать плату вперед.

Поблагодарив Бардоша за дельный совет, я пробормотал что-то о том, как скверно себя чувствую, оттого что до сих пор не отдал ему долг.

— Об этом не беспокойся, — небрежно махнул он. — А то знаешь что? Давай мне твои четыре царские сотни и можешь считать, что ты мне больше ничего не должен.

Такого поворота дела я никак не ожидал: уже прикидывал, как сниму на эти деньги новую квартиру. Но делать было нечего, и я, отдав царские сотни, пошел домой повесив нос.

Теперь все мои надежды были только на учебник. Нужно было как-то поторопить типографию, и я от Бардоша отправился прямо туда. Черняка там не оказалось, но мне сказали, что он вот-вот придет, и предложили подождать. Я остался и от нечего делать огляделся. Вдоль стены кучей лежали недавно отпечатанные книги. Я взял в руки одну из них. Содержание книги меня несколько не интересовало, я просто хотел посмотреть на бумагу. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что книга отпечатана на моей бумаге!

Возмущению моему не было границ.

«Ах, мерзавец! Он, видимо, думает, что со мной можно делать что угодно!»

Тут в контору вошел Черняк и, видя мое возмущение, сказал:

— Не волнуйтесь, все будет в порядке. Срочно нужно было отпечатать одно официальное издание, а бумагу нам не подвезли. Ваша бумага очень слабая. Теперь же учебник будет отпечатан на гораздо лучшей бумаге. На днях вы получите корректуру. Хорошо сделали, что зашли, я вам сейчас дам то, что уже отпечатано.

Черняк не ошибся в своей тактике. Как только несколько тетрадошек корректуры очутились у меня в руках, меня словно подменили. Как часто я мечтал о том дне, когда наконец увижу плоды своего труда в печатном виде! Не верить Черняку я не имел оснований, тем более что учебник он обещал отпечатать на лучшей бумаге.

— Словом, все в порядке, — снова заговорил Черняк. — Работа теперь пойдет намного быстрее. Вот только не знаю, чем в субботу расплачусь с наборщиками. Вы мне очень поможете, если выплатите оставшиеся полторы тысячи рублей. Правда, договор у нас был другой, но ведь книга теперь будет печататься на лучшей бумаге. По правде говоря, вам следовало бы заплатить разницу стоимости бумаги, но я этого не требую, а вам все равно: сейчас рассчитаться или через две недели. Зато меня выручите. Ну, что вы на это скажете?

Меня такое предложение не устраивало: полторы тысячи рублей я не мог достать ни сейчас, ни через две недели. Ведь мы договаривались, что эту сумму я выплачу по готовности всего тиража. Не просить же снова денег у Бардоша! Черняк же свободно мог приостановить набор.

— Денег у меня сейчас нет, — пролепетал я. — Но попробую достать.

— Доставайте! — заявил Черняк. — В ваших же интересах, чтобы книга скорее была отпечатана.

И хотя я уходил из типографии с частью верстки под мышкой, настроение у меня было отнюдь не веселое.

Вечером я рассказал Кате о событиях дня. Она несколько не рассердилась, что я отдал Бардошу царские банкноты.

— Зато теперь у тебя нет долга. Что же касается частных уроков, то тут Бардош прав: плату за обучение нужно исчислять в долларах, а получать в рублях строго по курсу. Меня, конечно, не радует, что ты снова перегружаешь себя, но если уж браться за это дело, так чтобы хоть польза была. А этому проходимцу, — возмущенно сказала Катя, — не давай ни копейки, пока не получишь на руки всю верстку! Если же он и после этого будет требовать, тогда займешь у Бардоша и отдашь.

В училище я как-то стал невольным свидетелем разговора двух педагогов. Они говорили о том, что теперь на одну зарплату не проживешь.

— Я не раз пробовал найти себе работу на стороне, но бесполезно. Если бы я преподавал математику или языки, я давал бы частные уроки, а кому в наше время нужна история? — сказал один из них.

— У меня тоже нет дополнительной работы, — отвечал другой, — но зато есть кое-какие сбережения в царской валюте. Как только началась война, я забрал денежки эти из банка и теперь каждый месяц меняю две сотенные, а сейчас по курсу за сотню дают пять.

Услышав это, я вскочил с места и заметался по комнате.

Есть старое выражение, что бесплатно даже гроб господний никто охранять не станет. Я лишний раз убедился, что есть люди, которые бескорыстно отнюдь не собираются поддерживать со мной дружеские отношения.

Во втором классе реального училища мне пришлось немало повозиться с неким Ласточкиным. Отец его был самым богатым купцом в городе. Ласточкин-сын — парень не глупый, но голова его вечно занята какой-нибудь ерундой.

Однажды он подошел ко мне и передал просьбу его матери зайти к ним, чтобы поговорить о занятиях английским с его пятнадцатилетней сестренкой.

Прекрасный случай проверить на практике совет Бардоша. Уж кто-кто, а старый купец Ласточкин должен хорошо знать курс валюты.

В тот же день я пошел к купцу. Хотелось договориться с ним и обрадовать Катю хорошим известием.

Квартира купца состояла из пяти шикарно обставленных комнат. В салоне, где меня принимала хозяйка, стены были увешаны дорогими картинами, в углу стоял рояль. Моя будущая ученица была привлекательной особой. Из разговора с ней я понял, что она довольно умна. Заниматься с ней было бы очень приятно, но мама ее и слышать не хотела о плате вперед. Она даже не согласилась платить за каждый урок.

С материальной точки зрения действительно не было смысла браться за работу, чтобы в конце месяца получить обесцененные наполовину триста рублей.

Я сказал, что на таких условиях не согласен давать уроки ее дочке. Когда я уходил, девочка провожала меня до самой двери. Она пожала мне руку, а потом показала язык.

И в тот же миг дверь за мной с шумом захлопнулась.

На неделе я решил в типографию не показываться. Верстка от меня все равно никуда не уйдет, а между тем Черняк сам уладит свои денежные дела.

В понедельник я отнес ему исправленные корректурные листы и сказал, что денег мне, к сожалению, достать не удалось. Я дал ему понять, что занять денег мне не у кого, а оставшиеся полторы тысячи я уплачу только с получением готового тиража.

Я думал, что чех разозлится и снова начнет давить на меня, но, к моему удивлению, он был совершенно спокоен.

— Ничего страшного не случилось. Все, между прочим, уладилось, только оставшиеся листы верстки вы получите с небольшим опозданием. Но на днях мы снова начнем набирать ваш учебник, тогда дело пойдет быстро. За неделю наберем все. Вы ежедневно будете получать часть корректуры для исправления. Как только вы вернете последний лист корректуры, дня через два-три начнем печатать тираж.

Я сказал, что каждый вечер буду заходить за корректурой.

— Не извольте беспокоиться, — заметил на это Черняк. — Наш курьер бывает в городе по делам каждый день. Я буду посылать корректуру с ним, а вы передавайте ему прочитанные листы.

Утром, когда я появился в преподавательской, ко мне подошел Бауман.

— У меня к вам важный разговор, — сказал он и потащил меня в угол. — Вы знаете, у меня с самого начала были трудности в английском. Я полагал, что со старшеклассниками, которые уже знакомы с основами языка, я как-нибудь справлюсь, но теперь вижу, что ошибся. Я на каждом шагу делаю ошибки. Учащиеся заметили это и насмеяются надо мной, а я этого вынести не могу. В американском Красном Кресте, где я работал и раньше, мне предложили работу с полной нагрузкой. Там я питаюсь и получаю тридцать долларов в месяц. Директор училища согласен отпустить меня, если вы возьметесь вести и мои классы. Надеюсь, вы не будете возражать, ведь это не только двойная работа, но и двойной оклад. Что скажете?

Я, конечно, согласился, поскольку теперь, получая большой оклад, наконец смогу снять другую квартиру.

Вечером мы с Катей отправились искать новую квартиру. Заходили в каждый дом, на воротах которого висело объявление о сдаче комнаты. И только в двух местах комнаты могли бы нам подойти, если бы не страшно дорогая плата за них. За одну просили триста, за другую — четыреста рублей в месяц, да еще при условии, что плата будет вноситься вперед.

Вернувшись домой, мы с Катей все обсудили и решили, что выход у нас один: снова попросить у Бардоша денег в долг. Прибегать к этому последнему средству мне сразу не хотелось, и мы решили недельки две-три подождать.

Утром ко мне подошел Людвиг Казимирович, который хорошо знал, что мы подыскиваем себе квартиру, и сказал, что на Соборной площади, недалеко от училища, сдается прекрасная комната.

— Дом этот, — объяснял Людвиг Казимирович, — принадлежит одной вдове. У мужа этой женщины некогда была своя большая бакалейная лавка, но в 1918 году муж ее умер, лавку конфисковали власти. Вдова теперь сдает комнаты жильцам. Правда, берет она дорого — триста рублей в месяц, но зато деньги вперед платить не надо. Очень рекомендую вам заглянуть к ней.

Освободившись, я сразу же пошел по данному мне адресу. Кате эту комнату я решил показать только в том случае, если она нам подойдет.

Комната на самом деле оказалась великолепной: просторная, с двумя окнами, выходящими на южную сторону, и удобной приличной мебелью. Входить нужно было по задней лестнице и затем идти через общую кухню. Дом был солидный, каменный, с толстыми стенами и перегородками. Короче говоря, комната меня устраивала во всех отношениях. Правда, информация Людвиг Казимировича не была точная: и здесь плату брали вперед, но только за неделю, а это было вполне приемлемо. Семьдесят — семьдесят пять рублей как-нибудь можно было достать.

Хозяйке дома я сказал, что комната мне нравится, завтра утром мы зайдем вместе с женой и обо всем окончательно договоримся.

За обедом я обрадовал Катю этой новостью. Но оказалось, что радость наша была преждевременной. Когда около четырех часов я появился перед зданием вечерних курсов, в воротах меня остановил вооруженный часовой. Я начал ему объяснять, что иду преподавать язык, но он грубо оттолкнул меня, сказав, что здание это военное и вход гражданским лицам строго воспрещен.

Что такое? Может, курсы перевели куда-нибудь? Я повернулся и ушел домой ждать, пока за мной кто-нибудь придет. Кате все это показалось подозрительным.

— Может, военным срочно понадобилось помещение и курсы перевели в другое место, но это маловероятно. Боюсь, как бы не случилось худшего. Не будем зря гадать — все выяснится.

Опасения Кати не были напрасными. На следующий день в училище только и говорили о том, что на курсах была раскрыта подпольная группа. Арестовано пять человек — три парня и две девушки, которые распространяли большевистские листовки. Курсы сразу же распустили, имущество конфисковали, а директора курсов и еще нескольких человек из руководства арестовали, начав против них расследование.

— Такова жизнь! — заметил один из коллег, который тоже преподавал на курсах. — Несчастье никого не щадит.

— Или, вернее, такова война! — сказал Людвиг Казимирович.

И только теперь я вспомнил, что через несколько дней на курсах должны были выплачивать получку. Если этих денег я не получу, придется отложить переселение на новую квартиру, пока не выйдет мой учебник. Правда, с прибавлением часов в училище моя зарплата увеличилась чуть ли не вдвое, но пережить инфляцию я не мог, ведь цены за месяц подскочили тоже в два раза.

Я спросил у Людвига Казимировича, не заплатят ли мне на курсах за уроки, которые я там провел.

— Кто вам заплатит? — сердито спросил он. — Те, кого арестовали, или, быть может, те, кто их арестовал? Только и дел у них, что выплачивать вам деньги. Радайтесь, что вас не тронули. А за деньгами к ним пусть идет тот, у кого шея чешется и тумачок просит.

Да, Людвиг Казимирович прав. Значит, пока придется сидеть за фанерной перегородкой и терпеливо ждать лучших времен. Возможно, что скоро все же выйдет из печати мой учебник.

Прошла целая неделя, а корректуры полностью я все еще не получил. Людвиг Казимирович не переставал интересоваться моим учебником. Когда же я пожаловался ему на типографию, он дал мне хороший совет:

— Насколько я знаю, типография эта подчиняется коменданту города. Вот вы и скажите своему чеху, что, если через неделю набор не будет готов, вы обо всем расскажете военному коменданту.

Вечером я направился к Черняку, чтобы, следуя совету Людвига Казимировича, пригрозить ему.

К моему огромному изумлению, типография была заперта. Зайдя в соседний дом, я спросил, что же случилось с типографией, почему она не работает. Мне ответили, что вот уже три дня, как типография прекратила свое существование.

Меня словно холодной водой окатили. Что же теперь делать?

С тяжелым сердцем я пошел в казино, чтобы встретиться с Бардошем. Может, он что-нибудь знает?

Я не ошибся. Только я раскрыл рот, как он перебил:

— Я все знаю. Этот мерзавец сбежал. Его уже и в лагере разыскивали. У военной комендатуры есть другая типография, более крупная, вот и было решено, что эту, где орудовал Черняк, ликвидируют. Черняк, зная, что рыльце у него в пушку, не стал никого дожидаться и вовремя сбежал.

— А что теперь? — спросил я.

— Как что? Была типография — и нет ее.

— А моя книга?

— Книжки не будет.

— А деньги, которые я уплатил?

— Плакали твои денежки.

— И ты так хладнокровно говоришь об этом? Ведь там и твои полторы тысячи!

— Ну и что? Всякая торговля связана с риском. На одном деле человек выигрывает пятнадцать тысяч, на другом — теряет полторы тысячи рублей.

— А что скажут мои ученики?

— Да брось ты! Венгры в таких случаях говорят, что в битве при Мохаче не столько было потеряно. Вот ты соответствующим образом и переведи им это на русский язык.

Утром я рассказал обо всем Людвигу Казимировичу.

— Не принимайте все так близко к сердцу, — пытался успокоить он меня. — Учащимся, вернее, их родителям нужно рассказать все, ничего не скрывая. Неприятностей не будет, двадцать рублей в наше время деньги небольшие, а такие случаи при нашем славном режиме вещь отнюдь не редкая. Не мучайте себя, все и так знают, что вы в этом деле пострадали больше всего. Если вам удастся получить обратно свою рукопись и хотя бы часть бумаги, как-нибудь размножим ваш учебник в двухстах — трехстах экземплярах. И не советую вам жаловаться в военную комендатуру, потому что вас самого могут принять за сообщника этого проходимца. Для собственного успокоения, если хотите, предложите учащимся провести с ними по одному дополнительному уроку в неделю.

Учащиеся и их родители очень огорчились, узнав, что издать учебник не удалось, но никто из них не жаловался на потерю денег. Мое предложение о дополнительных уроках было встречено одобрительно. С тех пор два раза в неделю я проводил по вечерам дополнительные уроки по языку.

Таким образом удалось предотвратить скандал, который мог возникнуть из-за злополучного учебника. Разумеется, о переселении в квартиру на Соборной площади не могло быть и речи.

— Ничего страшного, — утешала меня Катя. — Теперь-то, надеюсь, ты извлечешь урок из всего этого. Торговая сделка, даже если речь идет о книге, остается торговой сделкой, а это не твоя стихия. Пусть такими делами занимается Бардош.

— Ты, конечно, права, — согласился я.

Не прошло и месяца, как Катя переехала в Удинск, когда пришло письмо от Марии Павловны. Она писала, что жить без нас не может и хочет на несколько дней приехать в гости. Так что вопрос о квартире возник снова.

— Будь что будет, — сказал я Кате. — Дорого, нет ли, а нам нужно переехать в квартиру на Соборной площади. Лучше я дам еще несколько уроков. Здесь мы даже не можем принять маму. К тому же скоро и твои роды, а с грудным ребенком в этом караван-сараяе жить нельзя.

Так решился вопрос с переселением. Вскоре приехала Катина мама.

Я вышел встретить ее на вокзал. На привокзальной площади, как назло, не оказалось ни одного извозчика с санями.

— Не беда, — сказала Мария Павловна. — Дойдем и пешком. После долгой дороги приятно поразмяться. Вещи пока оставим на вокзале, а завтра утром возьмем в городе извозчика и заедем за ними.

Из всех чемоданов, корзинок и коробок она взяла с собой только маленькую сумочку.

— Ну, а теперь пошли. Это будет приятная прогулка. — И она взяла меня под руку.

Мы шли полчаса. Мария Павловна забросала меня вопросами, как мы живем, как чувствует себя Катя, не похудела ли она.

Ответить ей было невозможно, потому что она все время перебивала меня.

Мы уже были почти в центре города, когда нам встретился щеголь-офицер.

Увидев Марию Павловну, он, засияв от радости, подошел к нам.

— Мария Павловна! Какой приятный сюрприз! — воскликнул офицер, целуя ручку Марии Павловне.

— Здравствуйте, милый Петр Моисеевич, — поздоровалась с офицером теща.

— Чему я обязан таким счастьем, позвольте спросить?

— Приехала дочку навестить. А это мой зять, Андрей Александрович, — представила она меня.

О том, кто я такой, она дипломатично умолчала, и я был ей очень благодарен за это.

Мы с офицером пожали друг другу руки.

— Капитан Волков — мой старый хороший знакомый из Иркутска, — сказала Мария Павловна. — А вы как сюда попали, в Удинск? — обратилась она к офицеру.

Оказалось, что капитан вовсе не в армии, сейчас он работает начальником милиции в Удинске.

«Неплохое знакомство, — подумал я. — Кто знает, может, когда и пригодится».

— Вы вовремя приехали, Мария Павловна, — ответил капитан. — Как раз сегодня в офицерском собрании будет большой вечер с танцами. Разрешите пригласить вас с вашей милой дочерью и зятем на этот вечер. Если не возражаете, без четверти десять я заеду за вами на извозчике.

— Очень мило с вашей стороны, — заметила Мария Павловна. — Ваше приглашение я с благодарностью принимаю, но буду только одна, так как дочь моя ждет ребенка.

Мы проговорили еще несколько минут. Капитан на ходу записал мой адрес и, щелкнув каблуками, вежливо раскланялся.

— Не думал я, мама, — обиженно начал я, — что вы даже первый вечер будете не с нами, а ведь вы так хотели этого сами.

— Как бы не так! Как ты мог подумать такое, сынок?

— Но ведь вы только что обещали быть на вечере.

— Ну и глупенький же ты! Не принимай ничего всерьез. У офицеров так заведено. Они из вежливости приглашают человека куда-нибудь, но и сами серьезно в это не верят. Даже если бы я и захотела пойти на бал, то все равно бы не смогла, ведь мой багаж остался на вокзале в камере хранения. А в этом помятом дорожном платье идти нельзя. Да дело совсем не в том. Капитан только пообещал, а на самом деле он и не подумает заехать за мной.

Когда мы пришли домой, Катя повисла у матери на шее. Им было о чем поговорить, словно они не виделись несколько лет.

Вечером, когда мы сидели за пыхтящим самоваром и пили чай, в дверь постучали. Вошла дочка нашей хозяйки.

— Мария Павловна, выйдите на минутку, вас спрашивают.

Я пошел открыть дверь и увидел капитана Волкова. Как и было условлено, он заехал за тещей, чтобы увезти ее на бал.

Пришлось пригласить капитана Волкова войти. Когда же Мария Павловна объяснила, что она не может пойти на бал, потому что ей нечего надеть, капитан покраснел как рак и начал кричать. Тут я заметил, что он пьян.

Мария Павловна попробовала его успокоить, но офицер разбушевался еще больше. Он заявил, что платье не играет никакой роли, не платье красит человека. По его мнению, Мария Павловна может идти хоть в чем мать родила, даже интереснее будет, а без нее он в собрание ни за что не пойдет, он уже сказал своим друзьям, что приведет на вечер первую красавицу Сибири. Если же он появится один, то все над ним будут смеяться. К тому же он целый час бегал по городу в поисках извозчика.

Не знаю, как закончился бы этот конфликт, если бы не Мария Павловна.

— Не принимайте все так близко к сердцу, Петр Михайлович, — сказала она, мило улыбаясь офицеру. — Уж так мы, женщины, созданы. Мы часто, как следует не подумав, обещаем то, чего не можем исполнить. Мужчины должны к этому привыкнуть. — С этими словами она достала из буфета бутылку с водкой. — Выпьем с вами по рюмке водки, и пусть между нами снова будет мир. Даю слово, что, как только получу свои вещи, пойду с вами на любой вечер в собрание или куда вы захотите. Ваше здоровье!

Что-то бормоча, капитан водку все же выпил. Затем, поцеловав ручки женщинам, выскользнул из комнаты.

Мария Павловна долго не могла усидеть на месте. Уже на третье утро она заявила:

— Грех мне, я три дня здесь, а еще не повидала родную сестру. После завтрака пойдем в монастырь.

Катя не хотела идти, ссылаясь на то, что в час я приду домой обедать.

— Нет, нет, ты обязательно должна пойти со мной, — заявила Мария Павловна. — Нехорошо, ты уже целый месяц здесь, а еще не выбрала дня, чтобы навестить свою тетюшку. Андрей после работы зайдет за нами. Сестры, я уверена, и его охотно пригласят пообедать.

Разумеется, все вышло так, как хотела Мария Павловна. Монахини, как и прежде, были исключительно добры к нам и отпустили нас только к вечеру, усадив на извозчика. На следующее утро они снова прислали за Марией Павловной извозчика, чтобы увезти ее куда-то с собой. Приглашали и Катю, но она наотрез отказалась.

— Ты права, — согласилась Мария Павловна. — Если я, непоседа, мотаюсь по своим делам вместо того, чтобы помогать тебе, то хоть ты не будь такой и позаботься о своем муже. С завтрашнего дня буду сидеть дома и помогать тебе.

Мы, разумеется, заверили ее, что она спокойно может распорядиться своим временем, но Мария Павловна все еще ругала себя и вышла из дому, пообещав вернуться пораньше.

Вечером, вернувшись домой, она заговорила о том же, а утром снова исчезла на целый день, проведя полдня в городе, а полдня в монастыре. За вечерним чаем она снова ругала себя, требуя от Кати какой-нибудь работы, пока сон не сморил ее. Она заснула прямо на стуле, и мы с Катей, как ребенка, уложили ее в кровать.

Катя не раз рассказывала матери о докторе Гемеше, и однажды Мария Павловна заявила, что хочет с ним познакомиться.

— Вы же знаете, доктора — моя давнишняя слабость, и к тому же это очень полезное знакомство. Человек никогда не знает, что ждет его...

Однажды после обеда мы все втроем поехали в Березовку. Доктор встретил нас приветливо, но, узнав, что вечером мы намерены уехать, очень рассердился:

— И как ты мог до этого додуматься? От меня ведь так просто не отделаешься. Мы как раз закололи двух свиней. Уж не думаешь ли ты, что мы вас отпустим без ужина, на котором будет парная свинина.

— Но ведь в девять уходит последний поезд!

— Это пусть тебя не беспокоит. На ночь мы вас всех устроим, а утром поедете домой.

Теща и доктор быстро нашли общий язык, словно знали друг друга уже давно.

Юдин с женой тоже пришли. Ужин удался на славу. Таких домашних и кровяных колбас я не ел с тех пор, как уехал из Венгрии. Я сказал хозяйке такой комплимент, который сделал бы честь даже самому знающему шаферу на свадьбе. Марина Аркадьевна покраснела, а доктор закатился в громовом хохоте и чуть не упал со стула. И только когда мы выпили, он объяснил мне, что ужин приготовлен не женой, а поваром из лазарета, и Марина Аркадьевна увидела все блюда только за столом.

Мария Павловна была в ударе. Не зря она три года провела в среде офицеров и врачей. С Юдиным и доктором она разговаривала как с коллегами по работе, а они то и дело рсточали ей комплименты.

Хорошие закуски и водка подняли настроение. Ужин затянулся до глубокой ночи.

Мы с доктором проводили Юдина с супругой, договорившись по дороге, что в следующую субботу ужинаем у нас.

На ночь я расположился в комнате доктора, который и не собирался ложиться. Он нервно расхаживал по комнате.

— Что с тобой, доктор? — поинтересовался я. — Не спится?

— Да вот думаю, не расстаться ли мне с моей Мариной Аркадьевной и не посвататься ли к твоей теще? — ответил доктор.

Уж не ослышался ли я?

— Что ты сказал? — я даже забыл положить на пол ботинок, снятый с ноги. — Жениться на Марии Павловне?

— А что такого? Если тебе можно увезти из России жену, почему этого нельзя мне?

— Это не совсем одно и то же. Вы хоть и не обручены, но Марина Аркадьевна твоя жена. Неужели ты способен причинить ей такую боль?

— Хороший врач на всякую боль найдет лекарство. Ее боль тоже можно смягчить — несколькими сотнями долларов,

— Нет, старина, меня не переубедишь. Ты дурачишься или просто выпил больше, чем следует. Выспишься и утром будешь прекрасно себя чувствовать.

— Что я пьян — это факт. Возможно, даже и глуп. Но спору нет, Мария Павловна — самая очаровательная женщина на свете.

Удивительно, как много дел появилось у доктора в городе! Само собой разумеется, что, попав в город, он под любым предлогом обязательно заходил к нам и в конце концов уходил с собой Марию Павловну. Они шли что-то покупать, а если доктора звали к больному в монастырь, он приглашал и Марию Павловну. Иногда они уходили кататься на санях. После одной такой прогулки Мария Павловна вернулась домой только на следующий день. Оказалось, что доктор увез ее в Березовку, где организовал большой ужин, и она осталась там ночевать.

Я уже начал побаиваться, не кончилось бы все это скандалом.

В следующую субботу у нас ужинали доктор и Юдины.

Мария Павловна настояла, чтобы мы пригласили к столу нашу хозяйку и ее дочь Машеньку. Анна Ивановна охотно приняла это приглашение и даже предложила принять гостей в большой, хорошо натопленной комнате, потому что за нашим маленьким столиком столько людей не разместить.

Хозяйкой была Мария Павловна. За несколько дней до субботы она вместе с Анной Ивановной заранее распланировала все, не допуская Катю к приготовлениям.

Часов в восемь приехали Гемеш, Марина Аркадьевна и Юдины; одними санями правил Доци, другими — сам доктор.

Мы пригласили и Бардоша, но, честно сказать, я надеялся, что он будет занят и не придет. Однако он появился вскоре.

Ужин был великолепным. Разумеется, мы не могли соревноваться с доктором, зато, спасибо добрым монахиням, Марии Павловне и Анне Ивановне, рыбных блюд и закусок, салатов и домашних печений было в изобилии и так вкусно, что пальчики оближешь.

Нам удалось достать несколько бутылок водки, да еще доктор на всякий случай прихватил с собой пару бутылок. Бардош украсил наш стол бутылкой коньяку и бутылкой бенедиктина.

Ужином руководил доктор, и все пили по его команде. Не удивительно, что к концу ужина настроение у всех было отличное.

Каждый развлекался как мог. На одном конце стола беседовали за рюмкой бенедиктина Катя, жена Юдина и Марина Аркадьевна. По другую сторону стола Бардош, усиленно жести-

кулируя, что-то объяснял Анне Ивановне. Я понял, что речь идет о каких-то торговых сделках. Доктор Гемеш, порядком захмелевший, усиленно ухаживал за Марией Павловной. Мы с Юдиным и Машенька, сидевшая между нами, весело болтали о пустяках. Чувствовалось, что Машенька впервые в жизни на званом ужине. И хотя она едва притрагивалась к своей рюмке, отпивая от нее при каждом тосте только глоточек, крепкий напиток сделал свое дело. Щеки ее разругались, глаза заблестели. Она поглядывала то на меня, то на Юдина, словно открыла для себя неведомый ей доселе мир.

Юдин пил много, но не пьянел. Настроение у него было превосходное. Сначала он весело разговаривал и шутил с девушкой, угощал ее и смеялся, когда от крохотного глотка водки она кривилась. Неожиданно Юдин прекратил свои шутки. Он чокнулся со мной, выпил, а потом неожиданно, словно в печали, облокотился обеими руками на стол и молча уставился прямо перед собой.

Через несколько минут, снова наполнив стопки, он негромко запел солдатскую песню:

Ах ты, жизнь ты моя удалая...

Закончив петь, он чокнулся со мной. Я думал, что от водки он снова погрузится в свои мысли или запоет песню, еще печальнее этой.

Но Юдин неожиданно вскочил с места и крикнул:

— До смерти еще далеко, будем веселиться! — И, обратившись к Машеньке, спросил: — Машенька, а не сплясать ли нам?

Подхватив девушку, он вытащил ее на середину комнаты.

Ни раньше, ни после этого мне не приходилось видеть такого танца. Они то вертелись, тесно прижавшись друг к другу, то отдалялись друг от друга и снова сходились. Даже не верилось, что оба они впервые видят друг друга.

Все наблюдали за их танцем.

Танцуя, Юдин снова запел, но в песне уже не было тоски и печали. Обняв Машеньку правой рукой за талию, а левую подняв вверх, он кружил девушку в танце, напевая любимую песенку сибирских бродяг, отбивая такт каблуками:

Еще бы мне не разгуляться...

Танец становился все быстрее и быстрее, но девушка, лежащая у Юдина на руке, мешала. Неожиданно Юдин оттолкнул ее от себя и, освободившись, теперь танцевал один.

Это был изумительный танец. Все не отрываясь смотрели на Юдина.

А девушка стояла неподвижно, раскрыв от удивления рот, и широко раскрытыми глазами следила за танцующим Юдиным. То, что произошло через минуту, казалось просто невероятным.

Юдин остановился, а Машенька подбежала к нему и закружилась в танце. Все оцепенели. Эта выросшая возле мамной юбки пятнадцатилетняя девушка, которую никто никогда не учил танцевать, которая не только не была в каком-нибудь ресторане, а вообще редко бывала даже на самодеятельных вечерах, создала танец, в котором были и женственность, и неистребимый огонь. Любая цыганка позавидовала бы такому танцу.

Закончив танцевать, девушка кокетливо раскланялась, все зааплодировали.

— Bravo, Машенька! Жить так жить! — закричал Юдин, стоя в двух шагах от девушки. Потом он вдруг снова обхватил ее за талию правой рукой и, прищелкивая пальцами левой руки, пустился в пляс.

— Хватит, Маша. Всему есть предел, — сказала Анна Ивановна.

Жена Юдина, сидевшая с ней рядом, беспокойно следила за каждым движением мужа.

Задор, однако, снова охватил танцующих. Они, словно сговорившись — а может, и в самом деле сговорились, так как несколько секунд о чем-то шептались, — в один голос запели известную тогда песенку:

Гимназисточка я из шестого,
Вместо кваса я водочку пью...

И еще быстрее закружились в танце. Мария Павловна, доктор, Марина Аркадьевна и Бардош громко аплодировали. Катя с удивлением смотрела на танцующих, не проявляя при этом ни восторга, ни осуждения. На лицах Анны Ивановны и Юдиной я заметил испуг и возмущение.

Когда танцующие остановились, Анна Ивановна подошла к дочери, а Юдина — к мужу.

— Пора кончать. Хорошего понемножку, — сказала Юдина и взяла мужа под руку, который повиновался ей и позволил довести до стола.

Анна Ивановна набросилась на дочь:

— И не стыдно тебе, бессовестная! Где ты только научилась таким танцам! Ну, подожди у меня! Я тебе покажу, как ходить к подружкам. Схватив дочь за руку, она усадила ее рядом с собой.

На столе появился самовар, все начали пить чай. Но Анна Ивановна продолжала читать мораль дочери:

— Ты осрамила меня! Людям в глаза поглядеть совестно. Что они о тебе подумают? Ну, ничего! С завтрашнего дня ты у меня из дому не выйдешь, только в школу. А сейчас марш отсюда и немедленно спать!

Гости попробовали заступиться за девушку, но опоздали. Машенька покраснела, вскочила со стула и с плачем выскочила из комнаты.

— Дорогая Анна Ивановна, нет причины нервничать, — заговорил доктор. — В ее возрасте этого требует природа. Девочки становятся девушками.

— Не забывайте, Анна Ивановна, — заметила Мария Павловна, — и мы когда-то были молодыми.

— Девушки, девушки! В наше время так вели себя только уличные девки. Моя мать все кости мне переломала бы, если бы я такое сделала.

— Молодо-зелено, — сказал Юдин.

— Будь добр, не вмешивайся в разговор, — одернула Юдина жена. — Лучше помолчи.

— Знаем мы это молодо-зелено, — продолжала ворчать Анна Ивановна. — Сегодня зелено, а завтра идти к доктору...

И Катя не удержалась:

— Дорогая Анна Ивановна, не надо так говорить о Машеньке. Я ее хорошо знаю. Девушка очень порядочная и совсем не ребенок. Научилась тому, что видела у других. И хорошему, и плохому.

— Нет, она еще ребенок. Представьте себе, на днях она спрашивает меня, а как, собственно, рождаются дети. Она знает, что ребенка рождает мать, но вот как — не понимает.

— Ну и вы объяснили ей? — спросил доктор.

— Как мать может объяснить такое собственной дочери? Я ей сказала, чтобы она спросила об этом учительницу в школе. Это и опасно, что она такая беззащитная. Дурачится, дурачится, другим позволяет дурачиться с собой, а в один прекрасный день потеряет голову — вот тебе и жди беды.

Пока женщины убеждали Анну Ивановну, что нет ничего страшного, я спросил у доктора:

— Дорогой доктор, а каковы ваши планы на женитьбу? Я слышал, что на днях Мария Павловна уезжает домой.

Улыбка мгновенно сбежала с лица доктора. Я его таким редко видел. Может, он рассердился на меня за мой вопрос, но доктор заговорил совершенно о другом.

— Положение в Удинске осложняется. Да и не только в Удинске. В Западной Сибири Красная Армия. Говорят, что-то готовится в Иркутске. Об этом, разумеется, здешнее начальство знает и предпринимает кое-какие меры. Пресловутую «дикую дивизию» Семенова, сформированную из офицеров, унтер-офицеров и хунхузов, которая до сих пор бесчинствовала где-то в Маньчжурии, переводят в Удинск с целью охраны города. Расквартируют ее в нескольких километрах от города, за Удой, в так называемом парке, где до сих пор стояли артиллеристы, инженерные подразделения да ремонтные мастерские. Нет сомнения, рано или поздно и здесь дело дойдет до разрыва. Мы переживаем тяжелое время, так что сейчас не до романсов и любовных идиллий.

Гости начали прощаться. Анна Ивановна у каждого просила

прощение за неприличное, как ей казалось, поведение своей дочери, которая, по ее словам, испортила такой прелестный вечер. Напрасно ее уверяли, что все превосходно и Машенька не только не испортила вечера, но даже расшевелила всех. Анна Ивановна только трясла головой, упрямо стоя на своем.

Гости разошлись. Анна Ивановна ушла в свою комнату.

— Что правда, то правда, — вздохнула Мария Павловна, когда мы остались вдвоем. — Эта девушка — настоящая кокетка. Она пошла бы с любым из бывших здесь мужчин.

— Что правда, то правда, мама, ты сегодня пила больше, чем следовало бы, — в тон ей ответила Катя. — Ложись и спи.

— Сначала наведем порядок, хотя бы посуду вынесем в кухню.

— С посудой ничего не случится, стоит до утра. Раздевайся и ложись спать.

Теща последовала совету дочери, легла и через минуту уже спала.

Однажды вечером, когда Катя уже спала, теща заговорила со мной.

— У меня к тебе, Андрей, серьезный разговор. Ты ведь знаешь, Катю нужно беречь. Я все за нее сделаю, пока я здесь. Но скоро я уеду, а до этого надо найти служанку, которая бы и жила у вас. В небольшой каморке можно поставить ей кровать. Я уже искала такую девушку, просила монахинь из монастыря поинтересоваться, нет ли такой в казачьей слободке. Раньше молодые девушки охотно шли работать в город, а теперь что-то не хотят.

Однажды к нам зашел доктор Гемеш.

— Скажите, дорогой доктор, не сможете ли вы порекомендовать Андрею хорошую служанку? — обратилась к нему Мария Павловна.

— Служанку — нет, — ответил доктор, — а порядочную домработницу могу.

— Мне все равно, как она называется, лишь бы честно работала, не воровала да земляки не ходили бы к ней в гости.

Слова доктора мы серьезно не восприняли, но на следующий день нам принесли рекомендательное письмо от доктора, в котором было написано:

«Дорогая Мария Павловна! Направляю к вам домработницу. Ручаюсь, она будет усердно работать и не станет воровать. Что же касается третьего условия, высказанного вами, то тут нужно дать небольшое послабление. По-моему, нельзя ей запретить, чтобы иногда ее навещали земляки. Буду рад, если вы останетесь ею довольны».

«Домработница» эта оказалась пленным. Это был один из тех десяти тысяч венгерских красноармейцев, которые под

Троицкой сложили оружие и теперь находились в Березовке.

Звали его Шандор Тури. Был он уже немолод, лет за сорок, со светлыми волосами и голубыми глазами. Теща сразу же забрала его в свои руки. Утром она водила его с собой на рынок, потом на кухне учила его варить щи, жарить мясо и готовить кисель. Напрасно Катя старалась доказать, что приготовление обеда ее нисколько не затрудняет и она будет готовить сама. После недельной подготовки теща заявила, что Шандор все хорошо усвоил и она со спокойной душой может от нас уехать.

Она пробыла в Удинске еще двое суток: один день в монастыре у сестры, второй — за сборами у нас. На третий день утром, поплакав и наказав Кате, чтобы она берегла себя, теща села в монастырскую пролетку, правила которой сестра Ефросинья, и уехала на вокзал. Я поехал проводить ее.

По дороге я еще раз выслушал от нее, что можно и чего нельзя разрешать Кате и сейчас, и в последующие месяцы.

— Не волнуйтесь, мама, — сказал я. — Все будет в порядке.

Когда поезд тронулся, теща, стоя в дверях вагона, крикнула мне:

— Не забудь вовремя телеграфировать мне, когда Катя будет рожать, чтобы я приехала!

Чего только не бывает?

Мы очень полюбили Шандора, и, кажется, он нас тоже. Мы его считали своим, а он изо всех сил старался облегчить нашу жизнь. Катя была для него каким-то неземным существом, он старался угадать любое ее желание. На меня он смотрел как на человека, у которого есть чему поучиться, хотя был намного старше меня. Очень быстро между нами установились дружеские отношения.

По вечерам, когда Катя засыпала, Шандор рассказывал о себе.

Весной 1918 года он находился в березовском лагере для военнопленных и работал подсобным рабочим на кухне. Однажды в лагере появились агитаторы от красных. Они агитировали пленных вступать в Красную Армию, но особого успеха их агитация не имела.

— Мы хотим домой! — говорили пленные.

Некоторые согласились записаться в Красную Армию: кто по убеждению, кто только потому, что после двух-трех лет лагерной жизни был готов на все, лишь бы вырваться из лагеря. Однако большинство пленных не поддавалось ни на какую агитацию.

Как-то, рассказывал Шандор, пленных повели в казарму, дали им обмундирование, но оружия не выдали. В течение двух

неделю их обучали, объясняли, что с этого дня они будут защищать интересы не богачей, а простого народа. По всей России народ сбросил иго господ. Земля принадлежит теперь крестьянам, а заводы и фабрики стали собственностью рабочих. Господа хотят вернуть себе былую власть, но одни они сделать это не в силах и потому обратились за помощью к капиталистическим странам. Богачи, в какой бы стране они ни жили, хорошо понимают, что если русским рабочим удастся сохранить в своих руках власть, а крестьянам — землю, то рабочие и крестьяне других стран последуют их примеру. Если же революцию здесь разгромят, все останется по-старому и богачи снова будут пить кровь бедняков. Вот потому рабочие и крестьяне всех стран должны сплотиться и с оружием в руках поддержать борьбу русского народа за власть и свободу.

Ушли агитаторы, и в лагере все осталось прежним. Но вскоре прибыл венгерский красный командир Шандор Форбат. До войны он учился в университете, в австро-венгерской армии получил чин прапорщика.

С Форбатом приехали и венгры-красноармейцы. Всех пленных вывели из бараков и отправили на станцию. Там их рассадили по вагонам-телятникам, и поезд отправился в западном направлении.

Ехали всю ночь, а к утру были у озера Байкал. Состав остановился. Пленных выстроили на берегу озера в шеренгу по четыре. Командир вышел на середину, скомандовал «Смирно», а затем сказал, чтобы желающие вступить в Красную Армию вышли из строя. Все двести человек сделали шаг вперед.

Меня удивил несколько странный способ агитации.

— Ну, а как посылать этих горе-воjak в бой? — спросил я.

— Да они не воjки, а забияки.

После двухнедельной подготовки их спросили, кто желает вступить в Красную Армию, чтобы с оружием в руках сражаться за свободу мирового пролетариата, а кто хочет обратно вернуться в лагерь. Только десять человек предпочли последнее. Им выдали старую одежду и отправили обратно в лагерь. Оставшиеся отпускали по их адресу ехидные замечания, ругали их и, провожая до ворот казармы, не упустили случая, чтобы на прощание не дать им пинка в зад.

— Шагайте издыхать в своем лагере! Но если Венгрия станет свободной, не вздумайте туда приехать — уничтожим!

Оставшиеся венгры с честью выполняли свой долг. Многие из них пожертвовали жизнью ради счастливого будущего людей, но большинство, пройдя через все боевые испытания, остались в живых.

Потом настал печальный конец — Тройцкосавск. Когда все поняли, что город не сегодня-завтра будет полностью окружен противником, командир приказал защищать город до последне-

го человека и сказал, что те, у кого есть семья или кто обязательно хочет спасти свою жизнь, могут уехать последним паромом в Удинск. Но никто не уехал.

— Как же ты остался в живых?

— Мы решили сражаться до последнего патрона и умереть, но не сойти с места. Мы сражались, но вскоре пришел приказ ввиду бессмысленности дальнейшего сопротивления сложить оружие. Нас увезли в Березовку. Вот как оно было.

— Скажи мне, Шандор, — спросил я, когда он замолчал, — когда вам предложили выбирать между жизнью и смертью, что заставило тебя остаться, ведь, можно сказать, ты не по своей воле оказался там?

Шандор, немного подумав, ответил:

— Если хотите, я думал так: раз остальные решили умереть, то и я не хуже их, и остался!

Были в восемнадцатом году в Сибири и такие.

Никифор Андрианович становится солдатом

Как-то в городе жена встретила Никифора Андриановича и пригласила его к нам.

За чашкой чая Никифор Андрианович рассказал, что привело его в Удинск. Оказалось, семеновцы мобилизовали его в свою армию, но, поскольку для несения строевой службы он был уже не годен, его зачислили чиновником в удинскую военную комендатуру.

— Как так? — удивился я. — Ведь мужчин старше сорока лет не мобилизуют?

— По положению должно быть так. Но для людей, у которых были разногласия с местными властями, сделали исключение.

О том, что это за разногласия, Никифор Андрианович предпочел умолчать. Выпив две стопки водки, он сразу же переменялся и стал прежним добрым, разговорчивым Никифором Андриановичем, но на эту тему, несмотря ни на что, говорить не стал.

— Оставим этот разговор, — предложил он. — Неинтересно. Скажу только одно: хорош же нынешний режим, если оп хочет спасти себя с помощью таких людей, как я.

Катя заинтересовалась, как поживают его дети.

— С ними все в порядке, — ответил Никифор Андрианович. — У Александры Ефимовны добрая душа, она заботится о них, как родная мать. Живут они все вместе в моем домике. Лесничего сейчас в Хилоке нет, и все дела в конторе ведет Александра Ефимовна. Николенька ходит в школу, Маруся помогает по дому. Жаль только, что ей негде там дальше учиться, ну да со временем все переменится. Скорее бы наступил мир.

Я наполнил стопки, и мы чокнулись.

— За скорейший мир! — провозгласил тост Никифор Андрианович и выпил стопку до дна.

Чем черт не шутит

Как-то в декабре по дороге в училище я встретил Анну Ферапонтовну, вместе с которой преподавал на курсах. Поздоровавшись, я поинтересовался, где она сейчас работает и удалось ли ей устроиться по специальности.

— Как же, удалось, — отвечала она, — только не педагогом, это ведь не главная моя профессия. — И, не дожидаясь моих дальнейших расспросов, она продолжала: — Женщина, какую бы специальность она ни приобрела, всегда остается женщиной. Это и есть ее основная профессия. Короче говоря, я вышла замуж.

— От души поздравляю вас, — сказал я. — А кто же ваш счастливый супруг?

— Никогда не отгадаете. Представьте себе: американский солдат. Но только не пугайтесь — он не профессиональный военный. До войны и сейчас он печет хлеб солдатам. Превосходный человек!

— И он говорит по-русски?

— Нет, не говорит. Ни в Кливленде, где он родился, ни в Чикаго, где работал до армии, по-русски не говорят.

— Значит, вы говорите по-английски? Вот уж не думал!

— Что вы! Кроме «хай ду юду» и «гуд бай» я ни слова не знаю.

— Как же вы понимаете друг друга?

— Представьте себе, прекрасно. Заходите к нам с женой в воскресенье под вечер. Мы прекрасно устроились. И анапас будет!

Я записал адрес и пообещал прийти вместе с Катей, если она будет хорошо себя чувствовать.

Американец Анны Ферапонтовны действительно оказался «золотым» человеком. Еще бы! Американские солдаты получали прекрасный паек, и в таком количестве, что его спокойно хватало на двоих, даже в том случае, если американец и не работал в пекарне, откуда ежедневно мог приносить домой столько превосходного хлеба, сколько умещалось в вещмешке. Кроме этого, они еще получали по шестьдесят долларов в месяц, а на эти деньги в американском военном магазине можно было купить шоколад, какао, чай, табак.

Мне понравился муж Анны Ферапонтовны, добродушный парень атлетического сложения. Он очень обрадовался, что может говорить со мной по-английски, что удавалось ему до-

вольно редко. Он сидел в кресле и, посасывая трубку, улыбаясь во весь рот, бросая время от времени на жену взгляды, полные нежности.

Каждый его такой взгляд, казалось, говорил: «Видите, какую женщину я себе нашел?» Иногда он подходил к ней, гладил ее лицо или руку и целовал, говоря что-нибудь ласковое. Она отвечала ему по-русски.

Я спросил американца, как они понимают друг друга? Ведь есть вещи, о которых обязательно нужно поговорить.

— Ничего, понимаем. Каждый говорит на своем языке. Очень редки случаи, когда мы действительно не понимаем друг друга. Но и в этих случаях ничего страшного не происходит. Каждый поступает так, как считает нужным. Если другому что приходится не по вкусу, он дает об этом знать.

— Неплохо, — заметил я. — Значит, вы и не ругаетесь?

— Нет, ругаемся, но все ссоры хорошо кончаются. Если ругаюсь я, жена только смеется, или же она начинает ругать меня и ругает до тех пор, пока я не закрою ей рот поцелуем. Мы целуемся, и наступает святой мир.

Мы попрощались, надеясь скоро пригласить их к себе. Но встретиться нам уже не пришлось.

Вскоре в Удинске начались бурные события. Американские солдаты, видимо, получили специальный приказ, запрещающий им общаться с местным населением. Мы с Катей иногда вспоминали эту семью, а потом забыли.

— Месяца через три, когда Удинск снова был в руках красных, как-то в воскресенье к нам вдруг зашла Анна Ферантовна.

— Давно собиралась навестить вас, да все что-нибудь мешало, — оправдывалась она.

Я спросил, почему она не пришла с мужем. Оказалось, что американец бросил ее и уехал в Америку. Но Анна Ферантовна не винила мужа. Она считала, что он по-настоящему любил ее и хотел забрать с собой в Америку, но начальство не разрешило. В Америке закон признает только гражданский брак. Они же, по здешним обычаям, венчались в церкви. Красные ввели у себя гражданский брак, а белые оставили в силе церковный. Правда, муж хотел незаметно посадить ее в вагон и увезти, но она сама не согласилась. Многие американцы венчались с русскими девушками в церкви. Некоторые забирали с собой своих жен, но американские власти тщательно проверяли всех своих солдат и признавали действительными только браки, заключенные с разрешения американских военных властей. Разумеется, таких браков было мало. Американцы охотно соглашались на венчание в церкви, потому что хорошо знали: брак этот несерьезен и означает не больше не

меньше, как обычную любовную пптрижку, за которую они не несут никакой ответственности. Оставшиеся во Владивостоке жены американцев оказались безо всякой поддержки и с трудом добрались до дома. Анна Ферапонтовна разговаривала с такой женщиной и потому не захотела никуда уезжать из Удинска. Муж пообещал ей, вернувшись в Америку, сразу же выхлопотать разрешение на брак и забрать ее к себе.

Анна Ферапонтовна наивно верила этому обещанию. О своей поездке в Америку она говорила как о деле давно решенном. У нее даже не возникло и мысли, что если бы муж понастоящему любил ее, то мог бы спокойно выхлопотать разрешение на брак еще тогда, когда находился здесь.

Бедняжка еще на уроках закона божьего усвоила истину, что браки совершаются на небесах господом богом и никакой человек не сможет разорвать эти узы.

Известия из Иркутска

Через несколько дней после отъезда мамы в маленькой комнатке, где до этого жила Анна Ивановна с дочерью, поселилась молодая женщина. Хозяйка переселилась в кухню.

Новую соседку звали Евгенией Сергеевной. Приехала она из Иркутска. Это была чрезвычайно умная и образованная, симпатичная женщина. Весь ее облик говорил о тонкости ее душевного мира и в то же время о решительности характера. Нам с Катей она понравилась сразу. Когда она зашла к нам в комнату, чтобы познакомиться, мы усадили ее пить чай и с того дня всегда пили чай вместе.

В первый же вечер нашего знакомства она кое-что рассказала о себе. Училась она в Томском университете на юридическом факультете, но закончила только два курса. Во время войны она вышла замуж за студента четвертого курса, но и он не закончил университета, потому что был призван в армию как офицер запаса. Мужа перевели в Иркутск, она поехала за ним и застряла в Иркутске. Куда он делся, она не говорила. Сначала нас удивляло это, мы даже пытались расспросить ее, но каждый раз она дипломатично уходила от ответа. И мы уже перестали терзать ее этим вопросом, полагая, что он или погиб, или оставил ее, а это в обоих случаях было для нее неприятно.

Политика была любимой ее темой. Я сразу же заметил, что она одинаково критиковала и белых и красных. Я высказал предположение Кате, что Евгения Сергеевна, наверное, эсерка или по крайней мере симпатизирует партии эсеров. И я не ошибся. Когда разговор зашел о покушении на Ленина и Катя открыто высказала свое мнение о тактике правых эсеров, Евгения Сергеевна тотчас же стала защищать их. Между женщинами возник оживленный спор, в ходе которого Евгения

Сергеевна призналась, что она член партии эсеров, по террор, как метод политической борьбы, все же отрицает.

Этот разговор заставил нас задуматься. Мы с Катей решили быть осторожными и не заводить таких споров.

Как-то вечером Евгения Сергеевна зашла к нам в особенно хорошем настроении. Несколько минут мы молча пили чай. В глазах Евгении Сергеевны прыгали веселые огоньки, чувствовалось, она хочет что-то сказать, но не знает, с чего начать.

— Хорошие новости, — наконец сказала она, улыбаясь. — В Омске красные. В Иркутске власть перешла в руки революционного комитета. Большевики и эсеры навели в городе порядок. Муж получил очень важное место и передает, что скоро придет за мной.

Мы с женой переглянулись, и Катя сказала, что мы очень рады последней новости.

— Благодарю, — с небольшой иронией поблагодарила соседка, — но дело в том, что я его ни на минуту и не теряла.

Мне хотелось поподробнее узнать о событиях в Иркутске, но я решил не торопиться. Вскоре Евгения Сергеевна быстро распрощалась и ушла к себе.

Совершенно неожиданно к нам приехал гость — Пал Дярмати из Иркутска, и не один, а с красивой брюнеткой.

Дярмати был кадровым офицером. Еще до войны он мечтал стать военным. Его заветным желанием было попасть учиться в военную академию и, окончив ее, оказаться на штабной работе. Но ему, по его же словам, сильно не повезло, потому что в августе четырнадцатого года он попал в плен. Товарищи по службе утешали его, говоря, что он здесь ни при чем, но еще в академии он усвоил, что плен — это позор, и потому теперь был убежден, что его военной карьере пришел конец.

— Для какого-нибудь запасника это, разумеется, не ахти как важно, — говорил он. — Но кадровому офицеру такого никогда не простят, никто не возьмет его в генштаб.

В начале пребывания в плену он впал в отчаяние, но постепенно успокоился, поняв, что все равно ничего не изменишь. После войны он решил демобилизоваться и, чтобы приобрести гражданскую специальность, энергично взялся за изучение иностранных языков. Когда летом пятнадцатого года я встретился с ним в Иркутске, он уже довольно хорошо говорил по-английски и по-немецки и начал изучать французский язык. Языки он изучал по системе Лангеншайдта, то есть каждым языком ежедневно занимался по три-четыре часа.

В течение двух лет он регулярно занимался языками. Я, конечно, предполагал, что он читает и книги, но какие именно, не интересовался. Каково же было мое удивление, когда весной семнадцатого года, после свершения Февральской

революции, он в числе первых в нашем лагере приколот себе на грудь красный бант в знак сочувствия революции. На следующий день старший по званию офицер в лагере, полковник, вызвал его к себе, а когда тот не явился, полковник написал донесение начальству, требуя привлечь Дярмати после войны к суду военного трибунала.

С того дня во всем лагере только и разговоров было, что о революционных настроениях Дярмати. Тогда-то я и познакомился с ним поближе. Оказалось, что, перечитав все марксистские книги, какие только были в лагере, он объявил себя социалистом, более того, марксистом. С тех пор каждому, кто заговаривал с ним, Дярмати с увлечением начинал рассказывать о марксизме, стараясь убедить своего собеседника в правильности революционных идей.

Когда меня отправили в Даурию, Дярмати остался в Иркутске. В конце восемнадцатого года в Березовке венгерские красноармейцы рассказали мне, что весной того же года Дярмати записался в Красную Армию и был довольно известен в Иркутске среди революционно настроенных венгров. Потом прошли слухи, что его казнили белые. Но на самом деле Дярмати несколько месяцев просидел у белых в тюрьме. Выйдя из тюрьмы, он женился на красивой и богатой еврейской девушке, которая любила его и буквально за деньги выкупила Дярмати из тюрьмы. Меня это несколько не удивило. Окажись я в его положении, женился бы не колеблясь. Теперь, явившись ко мне, он очень удивил меня, сказав, что вместе с женой намеревается уехать в Японию и поселиться там. В Удинске он задержался только на один день, поскольку, узнав, что я здесь, захотел посоветоваться со мной. Будь все это при белых, я понял бы его. Но теперь, когда Иркутск снова в руках красных, ему, революционеру, бежать в Японию? Это не укладывалось в голове, и я высказал ему свое мнение.

— Да, на первый взгляд это кажется странным. Но факт остается фактом. К сожалению, моя революционная убежденность оказалась недолговечной. Всего пережитого здесь мне достаточно на всю жизнь. Если я вернусь когда-нибудь домой, то там все нужно будет начинать сначала, так как рано или поздно и там произойдет революция, а в этом нет никакого сомнения.

Разумеется, он примет участие в революции, вот только вопрос, доживет ли он до ее конца. У него молодая красивая жена, есть деньги, на которые можно спокойно прожить несколько лет, а тем временем он найдет себе подходящую работу. В Японии они проживут до тех пор, пока в Европе не станет тихо. А там будет видно. Если в Японии им понравится, они останутся. Если нет — вернутся в Европу. Может, в Венгрию, а может, еще куда-нибудь: в Париж, в Швейцарию или даже в Америку.

Дярмати переночевали у нас, а утром поехали дальше.

На щекотливую тему мы с ним больше старались не говорить, вспомнили лагерную жизнь и, несмотря на странность его положения, приятно провели время за беседой. Обе женщины тоже нашли общий язык: говорили об Иркутске, где Катя когда-то жила, и о мужьях-венграх.

Дярмати поинтересовался моими планами на будущее. Спросил, уеду ли я с женой в Венгрию или навсегда поселюсь здесь.

— Разумеется, если будет можно, — отвечал я, — вернусь на родину. Я скажу, что, как и ты, внес свой вклад в дело революции, надеюсь, дома найдется работа и для меня. По-моему, как бы хорошо ты ни зарекомендовал себя в восемнадцатом году, тебе нельзя бежать за границу. Вернись на родину, чтобы принять участие в революционных событиях. Конечно, это твое дело.

— А твоя жена? — спросил Дярмати. — Разве ей не лучше остаться здесь, в России, пусть даже в Удинске?

— Моя жена хочет ехать туда, куда и я, — ответил я убежденно.

Дярмати задумался, а потом сказал:

— А не поехать ли вам с нами? Не пройдет и месяца, как здесь повторится то же самое, что и в Иркутске. Это будет не жизнь, а сплошное беспокойство. На родину мы вернемся только через несколько лет. Если хотите, мы вас охотно возьмем с собой. Деньги у нас есть — хватит на всех, отдашь, когда сможешь.

К этому предложению я отнесся спокойно.

— Послушай, — начал я, — останемся мы здесь или поедем в Венгрию — это еще вопрос. Наверняка один из нас будет тосковать по родине, ну а второй будет утешать первого. А в совершенно чужой обоим стране мы просто не выдержим.

На этом и закончился разговор.

Прощаясь, Дярмати пообещал написать нам об условиях тамошней жизни.

— Если вы все-таки надумаете уехать, то вам нужно будет только добраться до Харбина, а туда мы вышлем вам деньги.

— Напиши на всякий случай. Если письмо твое застанет меня здесь, я тебе напишу. Но уедем мы отсюда только на Запад, — ответил я ему.

Мятеж

Предсказание Дярмати сбылось даже раньше, чем он предполагал.

На второй день после отъезда наших неожиданных гостей, утром, я вышел из дому вместе с Евгенией Сергеевной. Обыч-

но она вставала поздно и до полудня не покидала свою комнату.

— У меня дела в городе, — объяснила она. — Если не возражаете, пойдемте вместе.

Мы вышли за ворота, и тут она сказала мне:

— Если вы симпатизируете революции не на словах, а на деле, то вот вам прекрасный случай доказать это. Революционные события гораздо ближе к Удинску, чем думают некоторые. Хотите принять в них участие? Сегодня в семь вечера я отведу вас в одно место. Жене своей скажите, что идете на педсовет.

Мы уже подошли к училищу. Евгения Сергеевна, не дожидаясь от меня ответа, пошла дальше.

Разговор этот взволновал меня, и я с трудом провел урок.

С кем посоветоваться? Пожалуй, только с Людвигом Казимировичем. На одной из перемен я спросил его, не думает ли он, что у нас в Удинске назревают события, подобные тем, что произошли в Иркутске.

— Это исключено, — уверенно ответил поляк. — Я не большевик, но хорошо знаю, что они на рискованные эксперименты не пойдут. Иркутск — совсем другой город. Там стояли в основном местные сибирские части, сформированные из крестьян, и большевикам не стоило особого труда перетащить их на свою сторону. У нас не за горами семеновцы, и, если бы большевикам удалось захватить власть в свои руки, на следующий день «дикая дивизия» семеновцев подавила бы восстание в крови. Да и какой смысл раньше времени поднимать восстание, если красные победоносно продвигаются вперед и через несколько недель будут здесь.

Слова Людвиг Казимировича заставили меня задуматься, но не убедили окончательно: «Может, пойти с Евгенией Сергеевной? Если я увижу, что восстание готовят большевики, я не колеблясь встану на их сторону. Но если это затея эсеров, стоит ли ввязываться в это дело».

Уходя из училища, я уже твердо решил, что вечером пойду на явку. А Кате скажу, что иду на педсовет.

После обеда нас навестил доктор Гемеш. Как обычно, когда у него было какое-нибудь дело в городе, он зашел к нам на чашку чая (к слову, для него у нас всегда была припасена бутылка водки). Я рассказал ему о предложении Евгении Сергеевны и попросил совета, идти ли мне на такую встречу.

Доктор, не перебивая, выслушал меня, а потом высказал свое мнение:

— Боже упаси! Или, как еще говорят: изыди, сатана! Ни о каком серьезном восстании здесь и речи быть не может. Если бы такое подготавливалось, я обязательно знал бы. Наверняка эсеры решили организовать тут какую-то глупость, и толку от этой затеи не будет. Мой тебе совет — держись от них подальше!

Мнения доктора было вполне достаточно для меня. В половине седьмого я вышел из дому. Вскоре меня догнала Евгения Сергеевна, и я тут же сказал ей, что, как военнопленный, не имею права вмешиваться в политику. Она недоуменно пожала плечами,

— Скажите уж честно, что просто испугались. Но если не хотите попасть в беду, советую послушаться меня. — Бросив на меня презрительный взгляд, она ушла.

Немного побродив по улице, я вернулся домой. Кате сказал, что педсовет не состоялся.

С этого дня Евгения Сергеевна приходила домой поздно, и я почти не видел ее.

Однажды мы были разбужены среди ночи стрельбой. Она не утихала и прекратилась только перед рассветом.

Рано утром Шандор успел побывать в городе, и от него мы узнали, что там произошло.

— Что-то непонятное творится, — покачал он головой. — Говорят, ночью в город ворвались красные, захватили власть, но никто не видел на улице ни одного красноармейца. Перед домом Батурина, где, говорят, заседает ревком, в карауле стоят казаки, которые на прошлой неделе охраняли городскую комендатуру.

Я сильно волновался, понимая, что все же что-то произошло. Но почему никто не видел красноармейцев? Не с неба же они свалились? Что касается казаков, то случаи перехода казаков на сторону красных были и раньше. Или все опасения доктора Гемеша были необоснованными?

В кухне я спросил у хозяйки, встала ли Евгения Сергеевна.

— Встала? — ехидно переспросила меня хозяйка. — Да она и не ложилась. Ее просто нет дома. Вчера как ушла, так с тех пор и не возвращалась. Вот уже недели две, как она приходит после полуночи или только под утро. Видать, загуляла баба.

В тот день первый урок у меня начинался в десять, но я пошел в училище пораньше, надеясь что-нибудь узнать о событиях в городе.

— Занятий сегодня все равно не будет, — заметила Катя. — После ночной стрельбы вряд ли родители отпустят своих детей в школу. Да и преподаватели, наверное, не все придут.

— Что уроков не будет — вполне возможно, — согласился я. — Возможно, что и преподаватели, которые живут далеко от училища, не придут на работу, но я-то живу совсем рядом...

Катя с трудом отпустила меня из дому.

Мои коллеги были сильно взволнованы. Занятий, конечно, никаких не было: никто из учащихся не пришел, и преподавателей было раз-два и обчелся.

Ко мне подошел Людвиг Казимирович.

— Обыватели очень боятся, — начал он, нахмутив брови, — что власть снова перейдет в руки большевиков. Признаюсь, они страшнее для меня, чем большевики. Если они придут, независимо от того, нравится это кому или нет, они хоть порядок в городе наведут. Но здесь что-то не то. Все говорят о ревкоме, а следов никаких. Я однажды видел большевистское восстание, но оно выглядело совсем по-другому. Был я невольным свидетелем и мятежа, который начинался точно так же, как этот. Сначала образовался какой-то ревком, а при нем руководители, каждый из которых ни рыба ни мясо. Эта власть просуществовала всего неделю, потом всех членов ревкома арестовали и расстреляли, а власть снова перешла в руки белых генералов. Боюсь, как бы и сейчас так же не получилось.

В этот момент в преподавательскую вошел учитель физики Воронин, держа в руках листовку.

— Да здравствует демократия! — воскликнул он, размахивая листовкой над головой.

Его окружили тесным кольцом и слушали, как он читал:

— «Жители Верхнеудинска! Граждане! Товарищи! Революция победила! Реакция свергнута, да здравствует революция!

Демократические партии образовали совместный революционный комитет.

Присоединяйтесь к какой-нибудь демократической партии и окажите поддержку революционному комитету!

Сегодня в 12 часов дня на центральной площади демократические партии проводят общий митинг.

Граждане! Товарищи! Все на митинг!

Партия социалистов-революционеров.

Российская социал-демократическая рабочая партия (меньшевиков).

Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков).

Конституционно-демократическая партия».

— Ничего не понимаю, — пожал плечами Людвиг Казимирович.

До митинга оставалось еще два часа, и я решил пока зайти домой, чтобы успокоить Катю.

Всего час назад улицы города были совершенно безлюдны, а теперь то там, то тут стояли небольшими группами люди и читали расклеенные на заборах плакаты. В них было написано то же, что и в листовке.

Катя не возражала против того, чтобы я пошел на митинг, но взяла с меня слово быть осторожным.

На центральной площади собралось человек пятьсот, в большинстве рабочие. В самом центре площади была сооружена трибуна из пустых ящиков, вокруг которой сновали устроители митинга. Вот на трибуне появился какой-то мужчина, который, поприветствовав собравшихся, объявил, что сейчас выступят представители различных партий.

Первым взял слово эсер, который сказал, что революция победила, режим белых в городе пал, а войска повсеместно перешли на сторону восставших.

За ним выступил меньшевик. Он обратился к рабочим с предложением остаться на своих рабочих местах и работать с удвоенной энергией на благо революции. В заключение он призвал всех вступить в ряды социал-демократической партии.

Третьим говорил представитель партии конституционных демократов, или, как их коротко называли, партии кадетов. Он долго и нудно объяснял, что в отличие от прежнего реакционного режима с сегодняшнего дня существует новый, демократический режим, который отражает в равной мере как царский режим, так и большевистскую диктатуру. Суть новой власти в том и заключается, что она опирается на блок всех демократических партий и их сотрудничество.

Кадет закончил выступление, и было объявлено, что сейчас будет говорить представитель коммунистической партии.

Любопытно, что он скажет собравшимся? После всего услышанного о большевиках я не мог себе представить, как они могут сотрудничать с меньшевиками, эсерами и кадетами.

Оратор, выдававший себя за коммуниста, говорил о том, что коммунисты не являются рабами догм. Развитие истории показывает, что революция может победить только тогда, когда все, кто желает ее победы, независимо от взглядов, которых они придерживаются, объединят свои усилия в борьбе против тирании и реакции. Именно поэтому, говорил далее оратор, коммунисты несколько изменили свою политику и теперь в союзе с остальными партиями хотят осуществить социалистическую программу.

«Вот оно что!» — подумал я про себя. Одно было непонятно, предатель этот человек, ренегат коммунистов или просто провокатор, которого противники большевиков специально выпустили на трибуну, чтобы ввести в заблуждение тех, кто ждал от большевиков освобождения.

Толпа почувствовала, что здесь что-то не то. Предыдущим ораторам, даже кадету, аплодировали. Когда же кончил говорить коммунист, воцарилась тишина. Но это продолжалось несколько секунд. Потом забушевала буря.

Подняв руку, громко попросил слова какой-то рабочий, пробиваясь к трибуне. Устроители митинга не хотели пускать его, но рабочий растолкал их;

— Рабочие! Товарищи! Не слушайте предателя!

После этих слов его хотели стащить с трибуны, но он, отбиваясь от нападавших на него людей, продолжал говорить.

— Что это за коммунист, который вступает в связь с врагами революции? Кадеты не скрывают, что хотят восстановить монархию. Каждый знает: меньшевики и эсеры продали революцию. И что это за революция, если на ее защиту встанут солдаты Колчака и Семенова? Рабочие! Если вы хотите защитить революцию, отберите оружие у солдат и вооружайтесь сами! Вы хорошо знаете, что «дикая дивизия» Семенова совсем близко. Кто будет защищать город, если она завтра нападёт на нас?

Больше рабочий ничего сказать не успел: его все-таки стащили с трибуны.

В толпе началась какая-то неразбериха. Часть присутствующих ругала рабочего, однако большинство были недовольны тем, что человеку не дали высказаться. Шум и гам несколько поутихли только после того, как на трибуне оказался новый оратор — эсер.

И тут кто-то потянул меня за рукав. Я оглянулся. Это был Шандор.

— Немедленно идите домой, — шепнул он мне на ухо. — Пришел доктор, срочно хочет о чем-то поговорить с вами.

— Спокойно, товарищи, спокойно, — начал успокаивать толпу эсер.

Но меня уже нисколько не интересовало, что он скажет. Я поспешил домой.

Доктор Гемеш ждал меня.

— Наконец-то! — обрадовался он. — Где ты был?

Очень коротко я рассказал обо всем, что увидел и услышал.

— Хорошо, — уже спокойнее произнес доктор. — А я боялся, что и тебя забрали. Все это просто подлая провокация. Таким способом они хотят выяснить, кто за красных, чтобы вовремя обезвредить их. Так они хотели накрыть всю партийную организацию большевиков, но просчитались. Партия из подполья не вышла. К ним пришли только липовые коммунисты да предатели. Весь этот цирк не продержится и нескольких дней. Я зашел, чтобы предостеречь тебя от какого-нибудь неосторожного шага. Самое умное сейчас — вообще не выходить из дому, пока я не зайду к тебе и не скажу.

— Ну, а ты-то? — спросил я Гемеша. — Тебе разве не опасно ездить по городу?

— Это совсем другое дело, Врач пользуется правом нейтралитета,

Ночь прошла спокойно. Никто нигде не стрелял. Когда я проснулся, Шандора дома не было. Оказывается, он, не послу-

шав предостережений доктора, вышел в город на «разведку». Домой он вернулся только к вечеру и рассказал, что по всему городу, в том числе и в воинских частях, организованы ревкомы из представителей четырех партий. Идет вербовка людей в партии. Каждый может вступить в ту партию, какая ему по душе. Шандор решил, что доктор видит все слишком в мрачном свете и, зайдя в одну организацию коммунистической партии, поинтересовался, принимают ли они в партию военнопленных. Вместо ответа его просто-напросто выставили из помещения.

— Доктор абсолютно прав, — убежденно закончил свой рассказ Шандор. — Не может быть настоящим коммунистом тот, кто не является интернационалистом.

Следующей ночью в городе снова стреляли. Что бы могла означать эта ночная пальба? Шандор молча стоял у стола, слушая наши с Катей рассуждения.

— Расстреливали, — сказал вдруг он.

— Почему ты так думаешь? — спросил я его.

— Можете мне поверить — это расстрелы. Я такую стрельбу не первый раз слышу.

День прошел спокойно, но я из дому не выходил. Ночью снова началась стрельба и продолжалась до утра.

Катя проплакала, уткнувшись в подушку, почти всю ночь.

Утром все стихло. Шандор рвался пойти в город посмотреть, что там творится, но мы его отговорили.

Около полудня Анна Ивановна вышла из дому. Через час, радостная и сияющая, она вернулась, держа в руках листовку.

— Вот, пожалуйста, почитайте! — протянула она мне листовку. — Беспорядкам, слава богу, пришел конец! С сегодняшнего дня можно спать спокойно.

Комендант города генерал Иванов извещал население о том, что мятеж, организованный безбожниками-большевиками, подавлен. Главные зачинщики мятежа арестованы и расстреляны. Жизнь граждан и их собственность снова находятся в безопасности. Виновники будут наказаны. Те, кто не принимал активного участия в мятеже, могут спокойно оставаться на своих местах и работать. Никто их не тронет.

К счастью, Анна Ивановна не стала ждать, пока я дочитаю листовку, и вышла, так что мне не было необходимости высказывать свое мнение по поводу происшедших событий. Я молчал, зато Катя и Шандор по-своему прореагировали на это.

Катя опять расплакалась, а Шандор сказал:

— Знаем мы эту песенку! — и вышел из комнаты.

Вернувшись часа через три, он рассказал, что в городе бесчинствуют солдаты из «дикой дивизии». Полицейские только помогают им. Всех, кто в эти дни вступил в какую-нибудь

из четырех партий, забирают и увозят. Куда-то отправили уже не одну сотню жителей. Большевиков, меньшевиков и эсеров расстреливают без разговоров. Кадетов тоже арестовывают, но отдают под суд, который приговаривает их к различным срокам заключения.

— Вот что они наделали, — продолжал свой рассказ Шандор, — но белых это все равно не спасет. Придет сюда Красная Армия и так их распотрошит, что только пух полетит!

Утром следующего дня к нам зашел доктор Гемеш.

— Другого и ждать было нечего, — сказал он. — С самого начала было видно, что вся эта история с восстанием ни больше ни меньше, как самая обычная провокация. Организована она была контрразведкой с целью выяснения недовольных существующим режимом. Одурачить удалось всех, кроме большевиков, которые разгадали эту игру и даже носа не показывали на улицах. Меньшевики, эсеры и кадеты сразу повыскакивали, а теперь всех их сотрут. Может, это и к лучшему. По крайней мере, когда сюда придут красные, некому будет мутить воду. Жаль только, что за ними пошли многие честные рабочие, которые теперь поплатились за эту ошибку своей жизнью или свободой.

Доктор посоветовал мне продолжать работать в училище, не высказывая по поводу событий никакого мнения, что бы об этом ни говорили остальные педагоги. Мне следует усвоить одно: я пленный, политикой не интересуюсь, и только.

Мы вышли из дому вместе, и доктор проводил меня до самого училища.

— Береги себя и держи язык за зубами, — предупредил он, крепко пожимая мне руку.

Училище возбужденно гудело. Педагоги, собравшись небольшими группами, оживленно обсуждали события дня. Чувствовалось, что исход этих событий пришелся им по вкусу. Только Людвиг Казимирович не разделял общего мнения и не ликовал.

— Что скажете об этом маскараде? — тихонько шепнул он мне. Я промолчал, а он добавил: — Они не учли только того, что за все это придется еще расплачиваться.

Судьба Яденьки

Как-то я зашел в аптеку, а когда стал платить в кассу, обомлел: за кассой сидела Яденька.

Эта встреча очень обрадовала нас, но в аптеке было много народу, и поговорить не удалось. Тогда она написала мне свой адрес и попросила зайти к ней в тот же день. Аптека закрывается в пять, так что около шести она уже будет дома.

Встреча эта всколыхнула в моей памяти прошлое. За прошедшие полтора года часто вспоминал я Яденьку и те события, которые вошли в мою жизнь вместе с ней.

И хотя я был полностью откровенен с женой, все же что-то удерживало меня от того, чтобы рассказать ей все, что связано для меня с именем Яденьки. Катя знала о существовании Яденьки, знала она, почему я перешел жить на квартиру пани Низалковской, но не предполагала, что наши отношения зашли слишком далеко. Я не раз убеждал ее, надеясь, что Яденька не встретится мне на пути, потому что не хотел причинять Кате лишнюю боль. Относительно исчезновения Яденьки Кате было известно только, что «жених» девушки женился на другой, а Яденька уехала к своим родственникам.

Катя сделала меня счастливым, но я не мог забыть страстных минут, подаренных мне Яденькой. Мне было жаль ее. Ведь это я отпустил ее, такую незащищенную, от себя почти на верную гибель. Совесть мучила меня. Не раз я спрашивал себя: где-то сейчас Яденька, что она делает?

Неожиданная встреча в аптеке снова всколыхнула старые воспоминания, напомнив о тех прекрасных часах, которые я провел с Яденькой, и снова какая-то неудержимая сила потянула меня к ней.

Кате я сказал, что неожиданно встретился с одним своим учеником из Хилока и вечером зайду к нему.

Я позвонил у двери дома, где жила Яденька. Дверь открыла старушка. Она указала мне на одну из двух дверей, которые вели из прихожей. В комнате Яденьки меня ждали два неприятных сюрприза.

Во-первых, Яденька не прыгнула мне на шею и не поцеловала меня, как бы мне хотелось. Она только мило улыбнулась и рукой показала мне на кресло, приглашая сесть. Я сел.

Во-вторых, я сразу понял, чем живет сейчас Яденька. Обстановка в комнате и даже сама атмосфера свидетельствовали о том, что из трех возможных путей, о которых мне некогда говорила Яденька, она выбрала третий.

Словно угадав мои мысли, Яденька сказала:

— Да, дорогой, вот такая я стала теперь. Нехорошая женщина. Аптека — это ширма и в то же время витрина. Там я знакомлюсь с мужчинами, большей частью офицерами, вечер или ночь они проводят здесь, в этой комнате. Один сообщает обо мне другому, тот заходит в аптеку, оглядывает меня и спрашивает, когда может зайти. Многие мои постоянные клиенты тоже заходят в аптеку, чтобы условиться о времени встречи. Ремесло некрасивое, но дает хороший доход. Я во что бы то ни стало вернусь в Варшаву, а для этого мне нужно много денег. Сейчас, правда, любые деньги очень ненадежны, по-

тому я превращаю их в драгоценности. Если мне повезет, открою в Варшаве какую-нибудь лавочку, моя старая мечта — цветочный магазин, может, выйду замуж. Правда, такие, как я, никогда не могут дать гарантию, что и там не начнут торговать любовью.

Она встала и достала бутылку:

— Выпьешь рюмку коньяку?

Наполнила рюмки, и мы чокнулись.

— За здоровье вашей семьи! — произнесла Яденька и выпила. Затем она снова села и продолжала: — Спасибо, что пришли ко мне. Но вам, как порядочному мужу, не следовало бы этого делать. Я слышала, что вы женились, и немного погрузила, узнав об этом. Но выбор ваш одобрила, потому что слышала много хорошего о вашей супруге. Встречаясь с кем-нибудь из хилокских, я всегда спрашивала о вас. О том же, что вы теперь здесь, в Удинске, и ждете рождения ребенка, я узнала только несколько дней назад.

Яденька встала и снова наполнила рюмки. Я тоже встал. Чокнувшись, мы выпили. Когда она повернулась ко мне спиной, чтобы поставить рюмки на стол, я обнял ее и поцеловал. Она прильнула ко мне, но потом вдруг подняла голову и отшатнулась к креслу.

— Ни за что на свете не лягу с тобой в постель, — тихо проговорила она. — И не пытайся меня уговаривать. Любить меня уже не за что, а за деньги я не отдамся тому, кого считаю своим лучшим другом. Ты очень хорошо сделал, что зашел ко мне. Я много думала о тебе, о том, что мы вместе пережили. Последнее утро в Хилоке и этот поцелуй, который ты подарил мне сейчас, после того, что узнал обо мне, я никогда не забуду. А теперь иди домой, обними свою жену и цени, очень цени ее чистоту. И если тебе когда-нибудь захочется изменить жене, вспомни о том, что было у нас с тобой. Поверь мне, не стоит обижать ее.

Достав сотенную бумажку, она протянула ее мне, сказав, что это за долг, который она брала у меня перед отъездом. Я запротестовал.

— Если вы не возьмете эти деньги, значит, вы тоже видите во мне уличную девку, за которую нужно платить.

Положив эти деньги на стол, я взял ее руку в свои и сказал:

— Дорогая, я не возьму этих денег. Друзья должны помогать друг другу. Не скрою, мне очень хочется остаться у тебя, и я отказываюсь от этого не из-за жены, а потому, что понимаю и ценю твои слова. И пусть у тебя не останется сомнений в том, что я считаю тебя своим другом. Пожалуйста, приходи к нам в воскресенье обедать.

Сказав это, я поцеловал ей руку. Яденька погладила меня по волосам, на глазах у нее выступили слезы. Она пообещала,

что придет к нам с условием, что моя жена ничего не узнает о ее профессии и о том, что было между нами в Хилоке.

Я обещал ей это.

Яденька не сдержала слова. Кате я рассказал все как было, потому что был уверен: она правильно поймет меня. Конечно, ей было больно и неприятно, но, зная меня и оценив все, она поняла, простила меня и согласилась, что я поступил совершенно правильно, пригласив к нам Яденьку.

Настало воскресенье. Обед был готов, а гостя все не шла.

Прошел час, другой, третий, а Яденьки не было. За стол мы сели без нее.

Я не был удивлен тем, что она не пришла. Но почему она не сообщила об этом письмом или запиской?

В понедельник Катя решила сама пойти к Яденьке и поговорить с ней и во вторник действительно пошла туда. Из слов Кати я понял, что в душе она надеялась увести Яденьку с того греховного пути, на который она вступила.

Было шесть часов вечера, а Катя все еще не возвращалась. Около семи я начал серьезно беспокоиться. В городе было полно солдат, большинство из «дикой дивизии» Семенова, которая славилась своими насилиями и грабежами. Я уже решил идти искать Катю, но в половине восьмого она пришла сама. В глазах ее застыло выражение ужаса. Я сразу же решил, что случилось что-то недоброе. Не сняв пальто, Катя села в кресло и разрыдалась. Через несколько минут, успокоившись, она рассказала мне все, что узнала.

Часов около четырех Катя зашла в аптеку, но Яденьки там не оказалось. Катя спросила о Яденьке у кассирши, и та испуганно поинтересовалась, зачем ей понадобилась Яденька. Катя ответила, что Яденька ее подруга, они давно не виделись. Кассирша с какой-то долей участия рассказала, что в ночь на воскресенье Яденьку убили и сейчас как раз хоронят. Говорила она без подробностей: в аптеке были люди, и кассирша была занята.

Прямо из аптеки Катя пошла к Яденьке на квартиру. Она подошла к дому в тот момент, когда гроб с телом убитой устанавливали на дрожках.

В последний путь Яденьку провожала одна-единственная старушка — квартирная хозяйка Яденьки. Катя пошла вместе с ней. На кладбище могильщики заколотили гроб безо всяких церемоний (молилась только старушка), опустили в могилу и закопали.

Катя вместе со старушкой вернулась в город. По дороге старушка рассказала, что Яденька была ей как родная дочь, она полюбила ее и боялась за нее. Старушка давно и не один

раз говорила Яденьке, чтобы она бросила эту легкую жизнь, которая к добру не приведет.

В субботу вечером у Яденьки были два офицера из «дикой дивизии». Офицеры много пили, кричали, пели. Около полуночи они потребовали у Яденьки деньги и драгоценности, но она отказалась. Офицеры пригрозили Яденьке, но она упорствовала и хотела выбежать из комнаты. Озверевшие бандиты набросились на Яденьку, стали рвать на ней одежду, бить и колотить ножами.

Истекающая кровью Яденька не выдержала и призналась, где держит драгоценности. В углу комнаты висела икона, а перед нею лампада, в которой несчастная и хранила свои сокровища.

Схватив драгоценности, насильники ударили несчастную тяжелым серебряным подносом по голове, и она с пробитой головой свалилась на пол.

Старуха все это время находилась в каморке по соседству. В испуге она забралась за шкаф, чтобы ее не заметили и не убили.

Выбраться из дому и позвать кого-нибудь на помощь старуха и не пыталась, потому что, к кому бы она ни постучалась, никто бы ночью ей двери не открыл. А обращаться ночью за помощью к солдатам было бесполезно.

Рассказывая эту печальную историю, старушка плакала и причитала, обвиняя себя в том, что не смогла наставить Яденьку на путь истинный или хотя бы спасти ее от смерти, позвав кого-нибудь на помощь.

Катя поинтересовалась, что же стало с убийцами, арестовали ли их.

— Ворон ворону глаза не выклюет, — горько усмехнулась старушка. — Эти убийцы сейчас здесь важные господа. Когда я рассказала об убийстве в полиции, меня выслушали, и все. Даже в протокол ничего не записали. Дали мне подписать одну бумагу, в которой под страхом смертной казни я обязалась ни одной живой душе ни слова не говорить о том, что случилось у меня в доме. — Она стала умолять Катю: — Милая барышня, вы уж не выдавайте, а то и меня бог покарает, и вас!

В конце своего печального рассказа добрая старушка сказала, что все расходы по похоронам она взяла на себя, так как от Яденьки не осталось и рубля. Она хотела похоронить убитую с отпеванием, но поп отказался, заявив, что не отпевает уличных девок.

— Но не в этом причина, — объяснила старушка. — Недавно, когда умерла знаменитая Соня Черная, которую в городе знали как самую отъявленную проститутку, этот же самый поп закатил ей такие похороны, словно она была настоятельницей монастыря. И неспроста, ведь к Соньке многие попы ходили развлекаться. Теперь же и попы боятся военных. Я хоть, окро-

мя вас, никому и не говорила об этом убийстве, но весь город и без того знает, что Яденьку ограбили и убили офицеры.

Катя, сославшись на то, что она старая подруга Яденьки, хотела возместить старушке ее расходы на похороны, но та и слышать об этом не захотела:

— Боже упаси, моя дорогая! Пусть хоть этим я немножко искуплю свою вину перед господом.

Много лет прошло с тех пор, как случилась эта печальная история. В Забайкалье родился новый, светлый мир. Яденька и все связанное с ней принадлежит теперь старому прошлому, как и те темные людишки, которые решили ее судьбу.

Х. ОСВОБОЖДЕНИЕ

Рождение сына

Мы ждали ребенка во второй половине февраля. Доктор Гемеш познакомил нас с одним русским военным ветеринаром, жена которого, акушерка, принимала роды на дому. Для этих целей у нее была специальная комната, она же сама кормила роженицу, так что условия по тем временам казались идеальными. Смущало нас только то, что за каждый день, проведенный в этом пансионе, нужно было платить сто рублей. Правда, с нас, поскольку мы были друзьями доктора Гемеша, согласились брать только по пятьдесят рублей в сутки.

Акушерка жила в Березовке, и 15 февраля, отпросившись на несколько дней, я повез Катю в Березовку. Там я остался жить у Бардоша. Обедал и ужинал в лазарете, а большую часть дня проводил возле Кати.

Ребенка пришлось ждать пять дней. Каждое утро к Кате заходил Гемеш, говоря, что наши дети полагаются только на нас. Акушерка, конечно, хорошо знает свое дело, но он обязательно должен присутствовать при родах. Утром 20 февраля он снова зашел к Кате, посмотрел ее и сказал, что завтра зайдет снова.

Однако около полудня у Кати начались схватки, и я помчался за доктором. Гемеша нигде не оказалось. Оставив ему записку, я побежал обратно к Кате.

Ребенку надоело дожидаться доктора, и он появился на свет без него.

Когда все было в порядке, я, бросив взгляд на новорожденного и поцеловав жену, снова пошел в лагерь, чтобы разыскать доктора.

По дороге мне встретились пленные, от них я узнал, что красные взяли Мисовую.

Гемеш пришел домой за несколько минут до меня.

— Ну, брат, еще несколько дней — и отпразднуем как следует приход красных.

Узнав, что у меня родился сын, он еще больше повеселел.

— Можете меня рассчитать, — проговорил он, покачав головой. — Но раз и без меня все обошлось хорошо, слава богу. По такому случаю и выпить не грех.

Он не отстал от меня до тех пор, пока мы не выпили за здоровье роженицы, младенца и счастливого отца. После мы пошли к Кате.

— Чтобы у матери было много молока, — строго сказал доктор, — ей нужно усиленное питание, а главное — как можно больше сливочного масла.

Масло тогда было большим дефицитом, но я решил утром же поехать в Удинск и за любую цену купить на рынке фунт сливочного масла.

В Удинске меня ждал неприятный сюрприз: с приближением красных колчаковские деньги упали на рынке почти до нуля. За один фунт масла, который недавно стоил шестьдесят рублей, я заплатил тысячу рублей!

В середине дня я зашел в монастырь, чтобы сообщить матушке Фотине о рождении ребенка. К моему огромному удивлению, там же была и Мария Павловна. Оказалось, что нашей телеграммы она не получила и приехала наугад, рассчитав, что уже настало время Кате родить.

Вместе с Марией Павловной мы пошли на станцию. Теща шла молча и разговорилась только тогда, когда мы вышли за город. Ни с того ни с сего она вдруг заявила, что совсем не так представляла себе рождение внука. Я не понял, что она хотела этим сказать, и спросил ее об этом.

Вместо ответа Мария Павловна разрыдалась. Поставив корзину на землю и взяв Марию Павловну за руку, спросил:

— Дорогая мамочка, ради бога, скажите, что случилось? Катя и малыш здоровы, прекрасно себя чувствуют, все идет превосходно.

Не переставая рыдать, она проговорила:

— Слишком много грехов совершила я в жизни, вот господь и карает меня за это.

Я стоял в недоумении, не зная, чем утешить ее.

— Как ты не понимаешь? — не унималась теща. — Вы же не венчаны. Ребенок родился незаконным. Какой стыд! И это у моей дочери! У моей королевы!

Вот теперь до меня дошел смысл ее слов. Я попытался доказать, что она ошибается. Мы с Катей состоим в гражданском браке. Я не раз говорил ей и раньше, что у нас в Венгрии только такой брак и признают законным.

Она немного успокоилась, и мы пошли дальше. Но то, что произошло потом, не поддается никакому описанию.

— Послушай, Андрей, — начала Мария Павловна уже совершенно спокойно. — Есть у меня одно предложение. Согласись, чтобы Катя вместе с ребенком уехала ко мне.

— Как так? — удивился я. — Чтобы они уехали в Хилок, а я остался в Удинске сейчас, когда со дня на день ожидаются большие перемены? А если что-нибудь случится, как мы снова съедемся?

— Не о том я, подожди. Поговорим откровенно. Тебе после трех лет плена нужна была женщина. Полтора года вы любили друг друга и были счастливы. Господь простит вам это. Сейчас самое время вам расстаться. — На миг она замолчала, словно колебалась, говорить дальше или нет. — Андрей, отдай мне мою дочь! Проси у меня что хочешь, но от Кати откажись! Есть у меня около ста тысяч рублей, все, все их отдам тебе. Ты будешь жить здесь, у тебя будут и женщины, и все, чего ты захочешь. Но рано или поздно ты все равно уедешь в Венгрию, а Катя — русская, для нее твоя родина — совершенно чужой мир. Дома ты женишься на венгерке, которая будет под стать тебе. Поверь мне, так и для тебя и для Кати будет лучше. Если выйдет замуж — хорошо, не выйдет — тоже не беда. У меня она спокойно проживет с ребенком до самой смерти.

— Послушайте, мама, — перебил я ее. — Если бы я хорошо не знал вас и не знал, что, какую бы глупость вы ни говорили, в душе вы хотите нам только хорошего, я бы сильно на вас рассердился. Сейчас я скажу вам только одно: оставьте эти глупости. Радуйтесь, что ваша дочь нашла себе такого мужчину, который ей подходит, и не старайтесь убедить меня в том, что Катя несчастна. Если вы мне не поклянетесь именем девы Марии или бог знает каким святым, что не выбросите свои глупости, я сделаю так, что вы даже не увидите моего сына. Что же касается ваших денег, вот вам хороший совет. Дома в Хилоке давным-давно пора сменить старые обои. Ваших ста тысяч может не хватить на оклейку всех трех комнат, но столовую свободно можно оклеить, потому что через неделю колчаковские деньги вообще потеряют всякую ценность. — И чтобы она меня правильно поняла, добавил: — Если бы вы предложили такую сумму в долларах, я бы их взял, но только потому, что у меня они были бы в более надежном месте, чем у вас. А затем, чтобы выполнить ваше условие, со спокойной душой отправил бы к вам Катю с сыном. Я-то хорошо знаю, что если бы Катя узнала о том, что вы хотите нас разлучить, она в тот же день ушла бы от вас и даже не оглянулась.

Вступление красных в Верхнеудинск

Прошла целая неделя после приезда тещи. Сын чувствовал себя хорошо, но Катя так ослабла, что доктор Гемеш не разрешил ей вставать.

Утром 28 февраля стали поговаривать, что красные подошли к Удинску и начали бои за город. Начались разговоры, что, мол, красные договорились с японцами о том, что японцы не будут принимать участия в боях, а красные, со своей стороны, после взятия Удинска позволят им организованно уйти из города. Японский гарнизон в Дивизионной с согласия красных останется, пока не закончится эвакуация всех японских войск из Удинска и окрестностей. Красные же обещали не брать Дивизионную, пока там находятся японские войска.

Меня эти известия очень волновали. Я был уверен, что красные за несколько дней возьмут Удинск, там сразу же установят Советскую власть, а мы будем сидеть в Березовке, отрезанные от города. Одна мысль о том, что здесь придется провести месяц, пока в городе не будет установлена нормальная жизнь, казалась мне невыносимой.

Я сказал доктору Гемешу, что хочу немедленно уехать в Удинск.

— Ты что, тронулся? — удивился доктор. — С новорожденным? С женой, которая не стоит на ногах? В городе, за который идут бои! Сиди спокойно на месте. Я сам тебе скажу, когда вам можно будет уехать.

В отвратительном настроении я пошел в барак. Катя тоже хотела как можно скорее вернуться в город.

— Я хоть и слаба, — говорила она, — но чувствую себя совсем хорошо.

Как ни странно, Мария Павловна тоже стояла за то, чтобы уехать в город.

На следующий день, 1 марта, мне сказали, что красные войска заняли город. У моста через Уду еще идут бои, но в самом Удинске уже находятся красные части. Белые бежали без оглядки.

Я не вытерпел и пошел к доктору в лазарет. Гемеша не оказалось на месте. Доци знал только то, что доктор домой вернется поздно вечером.

Я догадывался, куда именно он ушел. Партизаны, кормильцем которых он был долгое время, наверняка поддерживали связь с регулярными частями Красной Армии, и теперь они, по-видимому, тоже начали боевые действия.

— Послушай, Доци, друг мой, — начал я упрашивать доброго человека. — Мне срочно нужны сани, чтобы отвезти жену с ребенком и тещей в город. Достань, хоть из-под земли.

— Идите и собирайтесь. Через час сани будут ждать вас.

Доци сдержал свое слово. Одни сани пригнал он сам, а другие — его земляк в черном тулупе. В одни сани я поудобнее усадил Катю, в другие — Марию Павловну с ребенком, а сам сел к Кате. Первым поехал Доци в санях с тещей и сыном.

Светило яркое солнце, но сильно морозило.

Когда мы садились в сани, я предупредил Доци, чтобы он не слишком быстро гнал лошадей, в пути же я заметил, что мы за ними не поспеваем.

Ругая Доци на чем свет стоит, я приказал нашему возничему догнать первые сани. Довольно быстро мы их нагнали, и я уже хотел было крикнуть, чтобы Доци не летел как угорелый, но сани на повороте вдруг перевернулись, и Мария Павловна вместе с ребенком опрокинулась в глубокий снег. Кровь застыла у меня в жилах. Пока мы к ней подбежали, она с помощью Доци уже вылезла из сугроба. Даже падая, она не выпустила малыша из рук, а только крепче прижала его к себе. Слава богу, с ним ничего не случилось, Мария Павловна тоже была целехонька, только страху натерпелась.

Доци пришлось выслушать от меня довольно-таки неприятную потапию. Бедняга и сам себя ругал не меньше.

Сани поставили на полозья, тещу с ребенком усадили и накрыли одеялом.

— Не ругай ты, ради бога, этого славного парня. Он ни в чем не виноват. Это я, дура, сказала ему, чтобы он побыстрее ехал, а то у меня ноги озябли, — упавшим голосом сказала Мария Павловна.

Я успокоил тещу, а Доци велел съехать на обочину, чтобы пропустить нас вперед. Я вернулся к своим саням, где меня ждала перепуганная до смерти Катя.

Часам к трем дня мы подъехали к окраине города. Первое здание, которое попало нам на пути из Березовки, было тюрьмой. Здесь собралась толпа, все кричали, пели.

Когда мы проезжали мимо, ворота тюрьмы распахнулись и из них хлынул поток политических заключенных, сопровождаемых победными криками толпы.

В освобожденном городе

На центральной улице перед нами развернулось необычное зрелище. Вся улица была заполнена гуляющими людьми. Красноармейцы с красными звездами на буденовках и молодые гражданские парни шли в обнимку с девушками, японские солдаты о чем-то оживленно беседовали с русскими девушками (бог знает на каком языке!), японцы дружелюбно разговаривали с красноармейцами.

Устроив женщин с малышом в квартире, я поспешил на улицу.

— Пойду в город, посмотрю, что там творится, — сказал я. — Таковую картину можно видеть только раз в жизни.

— Хорошо, хорошо, — сказала Мария Павловна. — Только допоздна не задерживайся. Я что-нибудь приготовлю на ужин, а то ты сегодня по-человечески, можно сказать, и не ел во-

все. Было бы хорошо, если бы ты заглянул в монастырь. Представляю, как там волнуются бедняжки.

Желая выполнить эту просьбу тещи, а одновременно побывать у моста через реку Уду, где прошли жестокие бои, я направился прямо в монастырь.

Местность в том районе казалась вымершей. Трупы убитых уже убрали, а живые, видимо, пока предпочитали на улице не показываться.

Калитка монастыря была открыта. Проходя через монастырский двор, на террасе часовни я увидел окровавленные трупы двух белогвардейцев.

В здании монастыря не было ни души. Я постучал и, не дождавшись ответа, вошел в трапезную, где мы обычно обедали. Зрелище, которое предстало перед моими глазами, я никогда не забуду. Я застыл, словно парализованный.

В трапезной не было никакой мебели, только в два ряда выстроились скамеечки для молитвы, а перед ними посредине — скамеечка повыше и покрасивее; на ней на коленях стояла матушка Фотина. Монашки, стоя на коленях на своих скамеечках, громко молились. Матушка Фотина произносила вслух фразу молитвы, и все громко повторяли ее.

Я незаметно вышел и закрыл за собою дверь.

Несколько мгновений я стоял в раздумье. С матушкой Фотиной мне сейчас вряд ли удастся поговорить. Может, передать ей записку?

Но сделать этого я не успел — в этот момент дверь трапезной отворилась, и на пороге показалась сестра Ефросинья.

— Матушка Фотина не может выйти к вам, — еле слышно произнесла она. — Пожалуйста, скажите мне, что вы ей хотите передать.

Коротко я сказал, что мы живы-здоровы и находимся в городе, и тут же спросил, что это за трупы лежат у часовни.

— Господний храм осквернен. Двое военных хотели в нем спрятаться, но их заметили и убили там. Теперь же, пока трупы не уберут, а часовню не осветят, там молиться нельзя. А до тех пор никто из дочерей Христа не имеет права ни пить ни есть, можно только молиться за спасение души убиенных и убийц.

Простившись с сестрой Ефросиньей, я пошел обратно в город.

На центральной улице я неожиданно встретил Бардоша. Он подбежал ко мне, обнял и закричал:

— Наконец-то настал и наш день! Родился новый мир! Мир свободы! Мир социализма!

Я не верил своим ушам. От кого угодно, только не от Бардоша ожидал я эти слова. Кто бы мог подумать, что он тоже ждет прихода красных!

— Ай-ай, — проговорил я, — я и не думал, что ты тоже за социализм. А как же твои спекуляции?

— Ты же знаешь, что я в первую очередь желаю мира и возвращения на родину. И большевики хотят мира. Следовательно, я симпатизирую им. Что же касается социализма, я всегда желал людям справедливости и хорошей жизни. Я торговец и своими руками зарабатываю себе на хлеб. Это моя профессия. А что ты скажешь, когда, вернувшись домой — а теперь до этого уже недолго осталось, — я займусь торговлей по-крупному ради интересов нашего государства, мне не нужно будет заниматься какими-то манипуляциями с капустой. Так-то, браток! — И он похлопал меня по плечу. — Скоро поедем в Венгрию и там такой социализм построим, что всем завидно будет.

— Все это очень хорошо, — сказал я, почесывая затылок, — но сначала надо послать на покой Хорти.

— Этой банде, старина, пришел конец. Если большевики по всей России покончили с белыми и остались в живых, в чем сейчас уже не следует сомневаться, то нет такой силы, которая бы спасла наших витязей с журавлиными перьями.

Больше всего меня удивляла Мария Павловна. Правда, она старалась не говорить о политике, но я всегда был убежден, что в глубине души она желает восстановления старого режима ради возвращения царя, а не ради победы белых. Теперь же она с огромным воодушевлением говорила о Красной Армии.

После взятия Удинска красные устроили торжественные похороны красноармейцев, погибших при взятии города. Мария Павловна побывала везде, где только можно было что-то увидеть. Возвращаясь домой, она беспрестанно рассказывала о том, какая строгая дисциплина у красных, как хорошо и чисто одеты солдаты, как красиво они ходят в строю, как хорошо играет их военный оркестр.

— Не хватает только одного: если бы и это у них было, то я вообще ни в чем бы не упрекнула их.

— Чего же именно нет у них? — спросил я.

— Хоронят без священника бедняжек, словно зверюшек каких!

Политический отдел

Большевикам я сочувствовал с тех пор, как услышал, что они навсегда хотят покончить с войной. Когда я познакомился с основами марксизма, и в частности с теорией диктатуры пролетариата, мои симпатии переросли в убеждения. Этим и объясняется мое желание весной 1918 года, когда красные вошли

в Даурию, вступить в Красную Армию, но тогда мне это не удалось. Я попал в Хилок, в нормальные человеческие условия жизни после трехгодичного пребывания в лагере для военнопленных. И нет ничего удивительного в том, что после освобождения во мне очень сильно было желание любви, а все остальное отошло куда-то на задний план. Но вера моя в идеи революции и социализма ни на минуту не умирала, а симпатии мои к большевикам все росли. Не случайно из всех моих хилокских знакомых самая крепкая дружба связывала меня с Осипом Кузьмичем. Затем контрреволюция временно одержала верх, и начался белый террор. Полтора года, прожитые мной в Хилоке и Удинске при белых, и все, что я увидел и пережил, окончательно убедили меня в том, что мое место среди большевиков.

С приходом красных передо мной открылись перспективы новой боевой жизни. Я понял, что немедленно должен встать на этот путь.

Узнав, где находится партком большевиков, я пошел туда. Партком размещался в большой комнате, где стояли три простых дощатых стола. За каждым столом сидел один человек, около — небольшие группы людей. Я подошел к столу, где людей было поменьше, и стал ждать.

Дошла очередь до меня, и я объяснил сидящему за столом товарищу, зачем пришел. Внимательно выслушав, он задал несколько вопросов, а потом сказал:

— Дело это не такое простое, молодой человек. Большевистская партия — это вам не какое-нибудь спортивное общество, в которое может вступить каждый. Прежде чем принять человека в партию, мы должны сначала узнать его. Что он за человек, как живет, чем занимался до этого, где был в трудное время, когда шли бои. К тому же необходимо, чтобы за него поручились два члена старой нелегальной партии. Но даже и в том случае мы не сразу принимаем его в партию, а сначала зачисляем его в «сочувствующие». Только через год-два, когда товарищ зарекомендует себя, он может стать полноправным членом партии. С военнопленными — гражданами иностранных государств — положение еще сложнее. Если они хотят присоединиться к нам, мы охотно берем их в армию. В каждой воинской части Красной Армии есть свой политотдел, который и занимается делами военнопленных. Так что вам следует обратиться в такой политотдел.

Политотдел воинской части находился на центральной площади, в самом большом каменном здании. У ворот меня остановили два вооруженных часовых. Когда я сказал, что хотел бы поговорить с комиссаром, меня сначала обыскали, проверив, нет ли у меня оружия, а потом один из часовых провел меня по небольшому коридорчику. В конце коридора мой провожатый остановился перед дверью.

— Подождите, — сказал он и вошел в комнату. Через несколько минут меня пригласили войти.

Что это была за комната! Мне показалось, что я попал в какой-то храм. В одном углу комнаты стояло что-то, напоминающее трибуну, по стенам были развешаны красные флаги, а на них золотыми буквами написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует коммунизм!», «Мир хижинам, война дворцам!». Нет, это, пожалуй, больше походило на театр, только публики в нем не было.

В противоположном углу стояли письменный стол и единственный стул. А рядом — длинный стол с разложенными на нем газетами и разноцветными брошюрами. За письменным столом стоял мужчина в кожаной куртке и сосредоточенно разглядывал разложенную на столе карту. На голове у него была буденовка со звездой, а на поясе справа и слева висело по пистолету и несколько ручных гранат.

Смерив меня взглядом, он спросил, что мне надо.

Я сразу же рассказал, что я пленный, хочу вступить в партию, и сначала обратился в партком, но меня направили сюда.

Комиссар зашумел:

— Странные же вы люди! Разве есть такая армия, которая пополняет свои ряды кем попало с улицы? Военнопленных мы охотно принимаем в Красную Армию, но на этот счет существует строго определенный порядок: пленных собирают в лагерь, с ними проводят определенную работу, а потом решают, куда их направлять — то ли в специальную часть, то ли по подразделениям. Иногда всех их направляют в Иркутск, в штаб интернациональных частей. В Березовку, где сейчас еще находятся японцы, мы, согласно договоренности, пока не входим. Подождите, когда японцы уйдут оттуда, или же договоритесь в штабе, чтобы вам выделили какое-нибудь помещение в городе. Идите в лагерь и передайте это своим товарищам.

Тогда я объяснил, что живу в городе, у меня есть семья и я преподаю в училище. При этом добавил, что поддерживаю связь с товарищами из лагеря и потому передам им этот совет. По выражению лица комиссара я понял, что он не доверяет мне. Особенно не понравилось ему то, что я женат.

— Брак, дружок, не для нас, революционеров. Человек, у которого на шее жена и ребенок, не может всего себя отдать делу революции.

Слова эти неприятно поразили меня, к этому я не был подготовлен. «Кем бы ни был этот товарищ, — решил я, — а тут он не прав. Ни идеи коммунизма, ни партия не могут требовать от человека, чтобы он оставался холостяком».

Я уже хотел возразить комиссару, но тут в комнату вошел красноармеец и отозвал комиссара в сторонку. Остановившись в нескольких шагах от меня, они о чем-то оживленно спорили. Тем временем в комнату вошел еще один военный, в такой же,

как у комиссара, кожаной куртке и шлеме, тоже увешанный оружием. Но он произвел на меня совершенно иное впечатление.

Подойдя прямо ко мне и не говоря ни слова, он протянул мне руку, словно мы были давно знакомы.

И только тут я заметил, что это женщина.

— Товарищ из Удинска? — спросила она, предлагая мне закурить.

— Смотря как считать, — ответил я. — Живу сейчас здесь, а вообще-то я военнопленный.

— Вы были им, — поправила меня женщина. — Никаких пленных мы не знаем. Бывшие военнопленные из австро-венгерской армии, которые приходят к нам в армию, — такие же свободные люди, как и мы. Тех же, кто этого не делает, мы рассматриваем как иностранных граждан и по мере возможности направляем их домой. Товарищ, вы кто по национальности?

Узнав, что я венгр, женщина еще больше заинтересовалась мной. Она задавала мне вопрос за вопросом: когда я попал в плен, какой чин имел в австрийской армии, в каком лагере находился. О венграх она вообще говорила с уважением. Рассказала, что в восемнадцатом году она вместе с ними боролась в Забайкалье, а при белых со многими венграми познакомилась в тюрьме.

Она рассказала кое-что и о себе. Оказалось, что в партию большевиков она вступила во время революции 1905 года. В годы реакции не раз сидела в тюрьмах. Сейчас работает в политотделе агитатором и пропагандистом.

Узнав, что я здесь женился и уже имею ребенка, она вовсе не рассердилась, как комиссар, а даже одобрила этот шаг.

— Мы доведем революцию до победы и начнем строить социализм, а коммунизм будут строить наши дети и внуки.

Когда я сказал, что комиссар разговаривал со мной несколько иначе, она только махнула рукой:

— Молодежь часто впадает в крайности. Эта неопасная болезнь проходит со временем.

Прощаясь со мной, она сунула мне в руку целую пачку брошюр и сказала, чтобы я не беспокоился: очень скоро у военнопленных будет своя собственная организация, и тогда я вместе с ними смогу вступить в интернациональный отряд.

Венгерские большевики

Утро следующего дня началось с разговора с Шандором. Он сообщил, что скоро уйдет от нас.

Слова его несколько не удивили меня. Свободу Шандору и его товарищам дали красные; свободный человек, он не хотел быть у кого-то в услужении.

В дальнейшие планы Шандора входило снова стать солдатом. Бывшие обитатели «красного сада» собирали отряды, чтобы продолжить дело, начатое в восемнадцатом году.

— Как же так? — удивился я. — Разве ты не хочешь вернуться в Венгрию? Разве не об этом мы столько мечтали?

— Именно об этом. Домой мы вернемся с оружием в руках, но сначала нужно навести порядок здесь. Когда Советская власть окрепнет, это поможет и нам победить на родине. Если белые останутся тут, нам ничего не удастся сделать. — Немного помолчав, Шандор добавил: — Я знаю, что вы, товарищ, тоже с нами. — Он впервые назвал меня товарищем. — На вашем месте я не раздумывал бы долго: тому, кто стоит на стороне бедных и приветствует революцию, место рядом с нами.

— А как вы думаете, куда я должен деть семью?

— Семья не обуза, — заметил Шандор. — Русскую революцию совершили не одни холостяки. В восемнадцатом году многие из наших поженились.

— Но ведь они будут вынуждены оставить свои семьи, когда уйдут на фронт.

На это Шандор ответил:

— Я знаю только, что у многих из наших командиров есть жены, а у некоторых даже и дети. Что с ними будет, я не знаю, но ко мне заходят товарищи поумнее меня. Если хотите, я их спрошу об этом.

В тот же день к Шандору зашли двое пленных, которые служили с ним в Красной Армии. Одного звали Хельмеци, другого — Поя. На родине оба они были учителями в школе. Здесь работали в автопарке.

Я пригласил их зайти в комнату.

Хельмеци — полный, невысокий мужчина с черными волосами и маленькими глазками. По характеру он был горячим и очень много говорил. Поя — светловолосый, голубоглазый, очень застенчивый. Говорил он мало.

Хельмеци рассказал, что в Удинске и в Березовке организуются парторганизация венгерских коммунистов и интернациональные отряды, как и в восемнадцатом году. Позже они установят связь с венгерской секцией в Иркутске, где уже несколько недель существуют и действуют национальные органы большевистской партии венгерских, чешских, немецких и австрийских коммунистов. Точно такие же секции имеют китайские, корейские, эстонские, литовские и латышские коммунисты. Создан специальный полк, сформированный только из венгров. Когда отступающие части генерала Каппеля намеревались войти в Иркутск, говорят, что именно венгерский полк остановил их и отбросил от города.

Согревшись чаем, Хельмеци сказал, что зашел он, собственно говоря, за мной.

— Нам нужны грамотные люди, — заявил он. — Командиры и организаторы у нас есть, но вот людей грамотных, которые

умеют хорошо говорить и выступать с докладами, слишком мало. А мы хотели бы издавать даже собственную газету.

— Мое место среди вас, — согласился я, — потому что я давно хочу бороться за дело революции.

И я рассказал им, как ходил в партком иркутской парторганизации, в политотдел и как комиссар порекомендовал мне обратиться в иркутскую организацию интернационалистов. Конечно, меня интересовало, как они относятся к тем, у кого есть семья.

— Пока мы находимся здесь, — ответил Хельмеци, — каждый красноармеец сможет иногда ходить домой или даже жить дома. Когда мы попадем на фронт или в такое место, куда женщины не смогут поехать, о семьях бойцов позаботятся другие. Что касается связи с иркутскими интернационалистами, тут комиссар абсолютно прав. Мы ожидаем приезда нескольких венгерских товарищей из Иркутска. Они сформируют здесь несколько воинских частей и включают их в интернационалистскую организацию. Вот с ними вы и должны поговорить, товарищ.

Шандор поинтересовался у друзей, что я должен делать сейчас, до приезда этих товарищей. Хельмеци посоветовал мне набраться терпения и ждать. Товарищи из Иркутска скажут мне, что я должен делать.

Однажды Шандор привел к нам домой Пишту Лакитча, знакомого мне еще по Венгрии. Там он был рьяным католиком, а здесь стал красным. Пишта рассказал, что в восемнадцатом году он вступил в коммунистическую партию и стал бойцом интернационального отряда, воевал под Слюдянкой и Культуки. Под Тройцкосавском он попал в плен, а затем — в березовский лагерь. Лишь несколько недель назад его взяли на работу в автопарк.

Да, в жизни этого парня произошли очень важные изменения, и это обрадовало меня. Тысячи людей прозрели, нашли себя. Но каково же было мое удивление, когда оказалось, что Пишта и не собирается вступать ни в какую организацию.

— Как тебя понимать? — удивился я. — Ты же сказал, что стал коммунистом.

— Это так. Я коммунист и останусь коммунистом, но воевать мне надоело. Здесь, в городе, я познакомился с милой девушкой, и на днях будет наша свадьба. После всего, что я перенес, хочу спокойно жить, честно работать. Незаметно переживем это время и дождемся, когда можно будет вернуться в Венгрию.

Мы с Шандором ничего не ответили ему.

За чаем Пишта сообщил, что сразу же после свадьбы бросит автопарк и переберется жить в город. Отец невесты дает им одну комнату, а потом устроит его на работу в городе.

Заметив, что этот разговор никого не интересует, Пишта вспомнил наших старых знакомых. Он, видимо, думал, что воспоминания о добрых старых временах смягчат впечатление о предыдущем разговоре, но беседа наша не клеилась, и Пишта Лакитч, распроцавшись, ушел.

Шандор презрительно отозвался о Пиште:

— Паршивый человек. Слизняк какой-то! Зря я привел его сюда. Но он утверждал, что очень хорошо знал тебя еще до войны.

— Ничего, Шандор, — утешал я. — Люди бывают разные. Видно, революция, как и любовь, для одного человека может быть дороже жизни, а для другого — всего лишь мимолетным приключением.

•

Через несколько дней к нам зашел мой старый знакомый еще по даурскому лагерю — лейтенант Харкани. До армии он был инженером-машиностроителем и работал адъюнктом в будапештском техническом институте.

Мы познакомились в Даурии. Ему было тогда уже за сорок, но он дружил с нами, молодыми, помогал ставить пьесы, организовывать вечера и различные кружки. Он много знал и к тому же имел доброе сердце, вот за это его любили и уважали.

Когда даурский лагерь ликвидировали, он был направлен в лагерь под Ачинском, где и пробыл до лета девятнадцатого года. Белые, отступая, захватили его с собой в Удинск, и он работал там инженером в автопарке. После разгрома белых автопарк перешел в руки красных, и Харкани остался на должности инженера. О том, что я живу в Удинске, он узнал от Хельмеци.

Встреча обрадовала нас. Я познакомил его с женой и сразу же заметил, что они понравились друг другу.

На основании того, что Харкани и при красных остался на старой должности, я сделал вывод, что он симпатизирует красным. Но в разговоре выяснилось, что я был прав лишь частично. Харкани без обиняков высказал мне свое мнение о красных.

— Не скажу, что я полностью согласен с большевиками, — сказал он. — Я поддерживаю их, если буду уверен, что они стоят за создание, а не за разрушение, которое я вижу здесь, в России, своими глазами. Пока идут бои, трудно установить, что же это такое. Я социалист, но верю только в тот социализм, который создает, а не разрушает. Из центральных областей России сюда доходят противоречивые вести. Есть люди, которые с воодушевлением, взалхоб говорят об общественных реформах гигантского размаха, проводимых большевиками. Другие рассказывают страшные истории о голоде, красном терроре и тому подобных ужасах. Разобраться, кто прав, а кто нет, никто не может. Нужно дождаться, пока кончатся бои. Я окончательно

убежден в том, что большую, мировую политику нельзя решать силой оружия. Когда настанет мир, тогда и выяснится, кто такие эти большевики, чего они хотят и на что способны. Но тут есть еще и другая сторона дела. Мы живем в чужой стране. Пока мы здесь, мы работаем для того, чтобы выжить, и не наше дело вмешиваться в политику и наводить здесь порядки.

Узнав, что я решил вступить в партию и Красную Армию, Харкани только плечами пожал:

— Мы венгерские подданные и, по-моему, не имеем права поступать на военную службу в чужом государстве. С оружием в руках мы можем отстаивать интересы лишь законного венгерского правительства.

— Но для меня законным венгерским правительством является только советское правительство, возглавляемое Бела Куном, — начал я спорить. — Ни румынское наступление, ни контрреволюционный путч я не считаю законными. Именно поэтому я, венгерский подданный, считаю своей обязанностью с оружием в руках помогать Советскому правительству, которое в настоящее время является союзником венгерского советского правительства, находящегося в изгнании.

— Спорить по этому поводу нет никакого смысла, — заметил Харкани. — Поступай так, как велит тебе твои убеждения.

Я уже хотел перевести разговор, как вдруг Харкани спросил:

— Скажи, а нет ли у твоей жены сестры?

Не понимая, для чего ему это, я ответил, что сестры у Кати нет.

— А жаль, — совершенно серьезно проговорил Харкани и, улыбнувшись, добавил: — Если бы была, я тотчас сделал бы ей предложение.

Когда я перевел Кате это признание Харкани (мы с ним говорили по-венгерски), она повернулась к нему и, улыбнувшись, сказала:

— Действительно жаль, потому что если бы у меня была сестра, то она наверняка стала бы членом большевистской партии и перетянула бы вас к большевикам.

— Возможно, — согласился Харкани. — А теперь приходится самому искать правду.

Никифор Андрианович начинает новую жизнь

Как-то утром к нам зашел Никифор Андрианович. Оказывается, когда в Удинск пришли красные, он сразу же предложил им свои услуги. Его незамедлительно направили в Иркутск, где уже действовали органы новой власти. Там он получил ответственное задание — поехать на несколько месяцев в Забайкалье, где за годы войны лесное хозяйство пришло в упадок. В Забайкалье ему предстоит организовать службу лесничеств.

На следующей неделе он уже будет на новом месте, а до этого решил на несколько дней заглянуть в Хилок, чтобы наладить работу в своем лесничестве и заняться семейными делами. Марусю и Николая он устроил в Чите у хороших знакомых, они будут учиться дальше.

Никифор Андрианович ни слова не сказал об Александре Ефимовне. Мы с Катей хотели спросить его о ней, но побоялись, что вопрос этот будет для Никифора Андриановича неприятен, и промолчали. Когда мы втроем сели пить чай, он сам заговорил об этом:

— Теперь для нормальной жизни мне не хватает только хорошей, порядочной жены. Но надеюсь, что рано или поздно найду.

Катя все-таки не удержалась и спросила:

— А что же с Александрой Ефимовной?

— Жива-здорова. — Никифор Андрианович старался говорить спокойно, но мы чувствовали, что он сильно волнуется. — Она все это время очень хорошо себя держала, заботилась о детях. Говорят, даже отказала двум мужчинам, которые делали ей предложение, так как не хотела оставлять детей. Была у нее с кем-то интрижка, ну что ж, ее понять можно. Женщина она молодая, красивая, горячая, зачем ей ждать неизвестно чего. Да только тот мерзавец бросил ее. Она переехала в Читу. Я ее и сейчас охотно забрал бы с собой и женился на ней, но она прислала мне письмо, в котором просит не искать ее, потому что это причинит ей боль. Она никогда не сможет больше посмотреть мне в глаза.

Выпив рюмку водки, Никифор Андрианович продолжал:

— Разумеется, я все равно разыскал бы ее, но в конце письма она пишет, что недавно познакомилась с немецким пленным офицером и он в нее влюбился, даже хочет на ней жениться и увезти в Германию, где у него есть богатое имение. Я не стану препятствовать ей. Может, она будет счастлива.

Я снова наполнил рюмки, но Никифор Андрианович не стал пить. Я впервые увидел на его глазах слезы.

Иркутские венгры

Через две недели после освобождения Верхнеудинска красными войсками в город из Иркутска приехали первые венгерские коммунисты.

Эту весть принес мне Хельмеци. Он рассказал, что приехали четыре коммуниста на военном поезде, ведь в то время между Иркутском и Удинском пассажирские поезда еще не ходили. И в Удинске и в Березовке они организуют парторганизации Коммунистической партии Венгрии. Расположились они в здании Собранин. Старший из них знает меня и просил, чтобы я поскорее зашел к нему.

— А как его фамилия? — спросил я не без волнения.

— Банди Шоймош.

— Не может быть!

Черноволосого, смуглого Банди Шоймоша все в лагере звали Цыганом. Впервые я встретился с ним в лагере в Иркутске, куда его перевели из красноярского лагеря за то, что он, не имея на то никакого разрешения лагерных властей, выпускал рукописную лагерную газету. Лагерь под Иркутском считался лагерем для штрафников. Они находились на гауптвахте под особой охраной и даже к нам в лагерь могли прийти только в воскресенье в сопровождении охранников. После освобождения с гауптвахты Шоймоша поместили в так называемый лагерь военного городка. Летом семнадцатого года нас тоже перевели в этот лагерь, где было своеобразное кабаре, директором, главным режиссером и конферансье которого был не кто иной, как Банди Шоймош. Весь лагерь повторял его шутки и распевал сочиненные им куплеты. Это не имело ни малейшего отношения к революционным идеям, и потому понятно мое изумление: никогда в жизни я не думал, что он станет видным организатором-коммунистом.

Но по-настоящему удивился я, когда мы встретились. В этом серьезном красном командире, который схватил меня в свои объятия, вовсе не легко было узнать балагура-конферансье из кабаре для военнопленных.

— А ты ничуть не изменился за эти два-три года, пока мы не виделись, — сказал Шоймош.

— Да и ты тоже, — заметил я, — только вот специальность твоя с того времени стала другой. Мне не забыть твои остро- ты, когда ты был конферансье. А твои куплеты! Помнишь?! — И я начал напевать один из самых популярных куплетов.

Шоймош недовольно отмахнулся.

— Послушай, дружище, я тебя позвал сюда не для того, чтобы мы вместе вспоминали какие-то куплеты. При случае можно и вспомнить, но сначала поговорим о главном. Мы слышали, что ты живешь где-то здесь, в Удинске. Короче говоря, ты нам нужен в Иркутске. Мы выпускаем газету на венгерском языке, называется она «Форрадалом», то есть «Революция», а вот редактировать ее просто некому. У нас даже нет человека, который умел бы хорошо писать. Сейчас газету редактирует старый Петрич — можешь себе представить! Девяносто процен- тов всех статей и прочих материалов пишу я сам, но у меня ведь другие дела есть. А где найти хорошего писаку? Есть та- кие, но они не с нами. Из офицеров только старый Петрич примкнул к нам, да еще Ферри Хантай, но он занимается совсем другим. Старик, разумеется, очень старается, редактируя газету, но проку от него мало. Прежде чем уехать сюда, я должен был снабдить его материалом на две недели вперед. Словом, будешь у нас редактировать газету. Ну как? Согласен?

Согласен ли я? Согласен ли я редактировать газету? И не какую-нибудь, а революционную, коммунистическую! Мог ли я желать для себя лучшего?!

Мы тут же условились, что через неделю я с Шоймошем и его товарищами уеду в Иркутск. Катя с сыном пока останутся в Удинске, на попечении тещи и Шандора. А через несколько недель я приеду и заберу их.

Под впечатлением разговора с Шоймошем я невольно вспомнил картины старой лагерной жизни... Петрича... Хантоша.

Йожку Петрича я знал как милого, веселого человека с исключительно добрым сердцем. Ему уже тогда было далеко за сорок. В плен его взяли где-то под Перемышлем. В лагере для пленных его называли Мафусаилом. Когда-то в Будапештском университете так дразнили юристов, изучавших древнее право. Петрич имел диплом и до войны лет пятнадцать проработал помощником адвоката. В то время стать адвокатом было очень трудно. Даже человеку, который все свое время отдавал учебе, для подготовки к экзаменам нужно было по крайней мере полгода. А Петричу, который поклонялся не столько Фемиде, сколько Бахусу, было еще труднее сдать экзамены на адвоката, вот он и ходил в помощниках пятнадцать лет. В плену он очень страдал от отсутствия спиртных напитков, но в конце концов нашел способ помочь своему горю. В лагере был артиллерист лейтенант Мерени, инженер-химик до армии. Старый Петрич подружился с ним и уговорил его организовать своеобразное «акционерное общество по самогоноварению». Взнос для каждого члена «общества» — не менее пяти рублей. На часть собранных денег купили изюму, который свободно продавался в лагерной лавочке, на оставшиеся деньги — самое примитивное оборудование, смонтировав которое, Мерени начал гнать самогонку из изюма. Вся трудность заключалась в том, чтобы найти такое место для аппарата, где его не увидел бы кто-нибудь из лагерного начальства. Выход нашелся. В каждом бараке была английская уборная, двери которой по приказу лагерного начальства были заколочены, чтобы ею не пользовались. Члены «общества» открыли одну дверь и, поставив там аппарат, начали варить самогонку. У аппарата постоянно кто-нибудь дежурил, наблюдая за процессом. Из полученной самогонки Мерени готовил ром и ликеры. Спиртные напитки распределялись между членами «общества» в количествах, пропорционально внесенным взносам.

Петрич очень гордился тем, что идея образования такого «общества» принадлежит ему, и, само собой разумеется, он был основным пайщиком.

Старика в лагере все очень любили за исключительную доброту и готовность помочь каждому.

Старик был патриотом своей родины, а война и плен натолкнули его на новые мысли. В лагере он подружился с людьми,

которые называли себя социалистами, с интересом слушал их рассказы, но сам никогда не высказывал своего мнения.

После свершения Февральской революции он стал симпатизировать революции, но по-прежнему оставался пассивным.

Мой друг Фери Хантош принадлежал к числу людей, о которых говорят, что они не от мира сего. Он был кадровым офицером, но не это характеризовало его как человека. Еще в гимназии он пробовал писать стихи, неплохо рисовал и мечтал стать артистом, но отец заставил его пойти в офицерское училище. Школу кадетов Фери окончил перед самой войной и сразу же был направлен на фронт, а в конце 1914 года попал в плен. В плену он тоже писал стихи, рисовал, начал изучать иностранные языки, то есть готовился к послевоенной гражданской жизни. Что и говорить, профессия военного, которая не нравилась ему в мирное время, в годы войны настолько опротивела, что он намеревался бросить службу сразу же по возвращении на родину. После Февральской революции он стал симпатизировать большевикам, но серьезно политикой не интересовался. Самое ценное и интересное в жизни для него заключалось в литературе и искусстве. Летом семнадцатого года, когда я видел его последний раз, он сам перевел на венгерский язык французские песенки и распевал их в костюме Пьерро. В театре, организованном в иркутском лагере для пленных, эти песенки были самыми популярными.

Такими я запомнил этих людей. Теперь меня очень интересовало, как они попали к коммунистам, чем занимались все это время.

— Всех нас очень удивило, что Петрич и Хантош стали коммунистами, — ответил мне Шоймош. — В лагере было человек четыреста офицеров, но сразу же после свершения Октябрьской революции к большевикам присоединились только трое. Петрич и Хантош симпатизировали большевикам, но вовсе не думали о том, что примут участие в революционных событиях. После прихода к власти белых мы попали в тюрьму. Когда же осенью девятнадцатого года нас освободили из тюрьмы и снова поместили в лагерь, пленные офицеры бойкотировали нас. И только двое отнеслись к нам по-дружески — Петрич и Хантош. Остальные, и их сразу окрестили красными, стали бойкотировать. Спустя несколько недель в Иркутске образовался ревком, и снова началась борьба. Я и еще двое товарищей тотчас же решили покинуть лагерь, чтобы принять участие в формировании интернациональных частей. Когда мы прощались с Петричем и Хантошем, они заявили, что пойдут вместе с нами, так как поняли: их место на стороне трудового народа. Если мы их возьмем, добавили они скромно. Оба выразили желание с оружием в руках сражаться за дело революции. Хантошу, как кадровому офицеру, поручили формировать венгерский полк, командиром которого он позже и стал. Через несколько недель этот полк под

командованием Хантоша успешно отразил все атаки частей генерала Каппеля на Иркутск. Петрича, как человека пишущего, решили использовать на должности редактора только что родившейся венгерской коммунистической газеты. Он очень старательный, но редактирование плохо ему удается. Когда ты станешь редактором газеты, мы освободим старика от этой должности и назначим в интернациональный полк командиром роты.

— А что случилось с офицерами, которые остались в лагере? — спросил я.

— Все они мерзавцы. — Шоймош презрительно скривил рот. — Если мы попадем на родину и зажжем там огонь революции, самых диких придется ликвидировать, а остальные, убедившись в нашей силе, сами пойдут к нам на службу, как они до этого служили капиталистам.

Уравнение с двумя неизвестными

До моего отъезда в Иркутск осталась всего неделя. Банди Шоймош почти каждый день заходил к нам. Мы пили чай и беседовали. Больше говорил он, а мы с Катей слушали. Шоймош с воодушевлением рассказывал о том, как в Иркутске строится социализм.

Все, кто работают, получают специальные продовольственные карточки. По хлебным карточкам взрослому выдается три с половиной фунта хлеба, а детям — по полтора фунта. Помимо этого каждый получает талоны на обед, по которым можно пообедать в столовой. Остальные продукты, например сахар, муку, соль, каждый получает ежемесячно по специальным талонам в определенном количестве по твердым ценам. Маленькие дети и кормящие матери получают карточки на молоко. Одежду, обувь можно приобрести на талоны, которые рабочие по недорогой цене покупают через профсоюзы. Частных домовладельцев больше нет, все квартиры перешли в ведение квартирного комитета, который следит за тем, чтобы не превышалась норма жилой площади. Ученым, писателям, врачам полагается бóльшая площадь. Театры и кино находятся в руках государства, билеты в них также распределяются через профсоюзные организации. Словом, тот, кто работает, имеет все, кто не работает — ничего не получает. Если чего сейчас еще и не хватает, то эту нехватку чувствуют все, но такого уже нет, чтобы один человек мог скупать продукты питания вагонами и втридорога продавать их, а другие голодали бы, потому что у них нет денег.

Мы с Катей слушали эти рассказы словно замороженные. И я и Катя верили в то, что когда-то так будет, но что это произойдет так скоро, после каких-нибудь двух лет революции, не могли и предполагать.

Сомневалась только Мария Павловна.

— С тех пор как существует мир, всегда были богатые и

бедные, и так будет дальше, — говорила она. — Даже если всем будут выдавать поровну продукты, то и тогда один быстро все съест, а другой спрячет половину и снова скопит себе состояние.

— Вы так думаете? — спросил ее Банди Шоймош не без ехидства. — А позвольте узнать, что этот ваш человек будет делать со своим состоянием, когда все заводы, фабрики, предприятия и магазины будут находиться в руках государства?

Но Мария Павловна не сдавалась:

— Посмотрим! Пока речь идет о распределении того, что уже имеется. Тут еще можно играть в равноправие. А что будет потом? Какой дурак будет работать больше и лучше, если он знает, что получит ровно столько, сколько и тот, кто плохо работает. Человек уж так устроен, что прежде всего он, даже если это самый лучший человек, будет думать о собственной пользе. Такова природа человека, и изменить ее нельзя.

— Нет, можно! — запротестовал Шоймош. — Мы, коммунисты, изменим человека, больше того, частично мы уже изменили его. Пожалуйста, приезжайте к нам в Иркутск, и вы все сами увидите.

— Если мои дети будут там жить, я как-нибудь приеду, — сказала Мария Павловна. — И не поверю до тех пор, пока все своими глазами не увижу.

— Ну, мама, — улыбнулась Катя. — Осторожнее со словами! А как же тогда будет с богом и загробным миром?

— Это совсем другое, — серьезно ответила теща. — Во все, что провозглашено господом богом, нужно верить безо всякого сомнения. А вот то, что говорит человек, нужно еще доказать.

Приближался день моего отъезда в Иркутск. Я все больше волновался и расспрашивал Шоймоша обо всем.

— Наберись терпения! — успокаивал он меня. — Через несколько дней ты сам во всем убедишься. Можно ли решить уравнение с двумя неизвестными? При двух неизвестных должно быть два уравнения. Перед тобой два неизвестных: одно — это город, в котором ты прожил более двух лет, но так и не познакомился с ним, и второе неизвестное — общественный строй, о котором ты на протяжении нескольких лет читал, разговаривал, писал, но опять-таки не познакомился с ним по-настоящему. Сейчас ты находишься в счастливом положении: на днях поедешь в город и одним махом узнаешь оба неизвестных.

Спорный вопрос

Когда я прощался дома перед отъездом, теща спросила меня, собираюсь ли я крестить ребенка.

— Нет! — категорически ответила моя жена, которая и не собиралась шутить по этому поводу.

Ответ дочери буквально потряс Марию Павловну. Она немало переживала и сокрушалась оттого, что ее дочь не венчалась в церкви, а тут еще это!

— Видишь ли, доченька, — обратилась она к Катю, — давай поговорим по-умному. Мало того, что ты живешь с незаконным мужем, но почему же из-за твоей глупости должно страдать невинное дитя?

Катя не стала спорить с матерью, но, когда Мария Павловна зачем-то вышла из комнаты, сказала мне, чтобы я был совершенно спокоен на этот счет: крестить ребенка она и не собирается.

Митарства
ВЕНГЕРСКОГО БОЛЬШЕВИКА

Венгерские коммунисты

Наш поезд отошел рано утром. Ехали мы в отдельном вагоне, который был предоставлен в наше распоряжение. Несмотря на то что это был обычный вагон-«телятник», расположились мы в нем со всеми удобствами, так как было нас всего семь человек. Кроме Шоймоша и его двух товарищей, вместе с которыми он приехал из Иркутска, были двое из Удинска (я и Хельмеци) — и еще двое добровольцев, Кертес и Фери, которых Шоймош представил нам как своих родственников.

Я уже знал, что Шоймош в Иркутске женился. Теперь он рассказал, что в восемнадцатом году вместе с Кертесом и Фери вступил в Красную Армию, все трое они одновременно женились на трех сестрах. Когда в Иркутске к власти пришла контрреволюция, Шоймошу вместе с женой удалось благополучно уйти в подполье (правда, позже они провалились и попали в тюрьму, откуда освободились лишь в конце восемнадцатого года). Кертеса и Фери схватили белочехи и отдали под суд военного трибунала. Чешский военный прокурор вынес им обоим смертный приговор. Разумеется, их казнили бы, если бы в последний момент Кертесу не пришла в голову одна спасительная мысль. Председатель военного трибунала, судившего их, по виду был похож на еврея. Кертес и ухватился за эту соломинку. Когда председатель трибунала предоставил ему последнее слово, Кертес не стал просить помилования, а заявил, чтобы с ними обошлись, как с остальными пленными красноармейцами, которых не отдали под суд военного трибунала, а прямо направили в лагерь для военнопленных. А их двоих начинают судить, и только потому, что этого захотел еврей судья. Расчет Кертеса был верен, их обоих оправдали и направили в лагерь, где находились пленные красноармейцы. Позднее им удалось бежать из этого лагеря, и они скрывались в крохотном поселке, затеряншемся среди сопок.

Руководство венгерских коммунистов в Иркутске находилось в гостинице «Люкс» на улице, параллельной центральной

улице города. Там же располагалась и редакция еженедельной газеты венгерских коммунистов «Форрадалом». Председателем партийного комитета был пожилой товарищ по имени Эде Майер, по профессии портной. Он еще задолго до войны состоял в венгерской социал-демократической партии. Секретарем парткома был бывший металлист Эрнэ Киш. Вместе с ними работал хромой еврейский паренек, по фамилии Херцфельд, рабочий. В редакции газеты, которая находилась в непосредственном подчинении у партийного комитета, было два сотрудника: Шоймош, большую часть времени которого отнимала работа в русском горкоме партии, и старый Петрич. Было решено, что я возьму на себя их обязанности. Шоймоша сразу же освободят от редакторской работы, а Петрича тогда, когда моя семья переедет в Иркутск.

На вокзале с двумя повозками нас ждал Петрич. Он очень обрадовался моему приезду.

— Если бы ты знал, старина, как я рад, что мы будем работать вместе. Можно почувствовать себя в венгерской секции как дома.

Как только мы добрались до гостиницы, Шоймош познакомил меня с Майером и Кишем. Майер сразу же заговорил о том, какую пропагандистскую роль должна играть газета.

— В основном у тебя будет два важных задания. Первое — убедить как можно больше венгров в необходимости вступать в интернациональные отряды. Имеющийся венгерский полк в скором времени выступит на Восточный фронт, на борьбу с бандами Семенова. Мы планируем сформировать еще один полк в Иркутске, который, возможно, будет отправлен на запад, на борьбу против Деникина и Врангеля. И второе твое задание — агитировать венгерских пленных вступать в коммунистическую партию. Не все пленные пойдут в армию, но среди них есть много сознательных пролетариев и крестьян, некоторые из них еще в восемнадцатом году были красноармейцами и хорошо воевали, но устали от войны и теперь не хотят снова браться за оружие. Принудить их к этому никто не может, да и не следует этого делать. Наша задача заключается в том, чтобы собрать как можно больше добровольцев. Наиболее подходящих из них мы затем направим в формируемый венгерский полк. Мы должны стараться завоевать на сторону партии каждого рабочего и крестьянина с тем, чтобы, когда мы вернемся к себе на родину, у нас была широкая база для борьбы за власть.

Я спросил, соответствует ли это принципу большевистской партии, согласно которому партия является передовым отрядом рабочего класса, в котором объединены самые сознательные представители этого класса, а не весь класс.

— Разумеется, партия — это передовой отряд, — начал объяснять товарищ Майер. — В стопятидесятиmillionной России передовой отряд рабочего класса в два миллиона, а в Венгрии

с населением в десять миллионов человек необходимо иметь передовой отряд численностью хотя бы в десять тысяч человек. Именно здесь, в России, где есть для этого возможность, которой пока у нас на родине нет, необходимо сколотить передовой отряд сознательных коммунистов из венгерских рабочих и крестьян численностью в несколько тысяч, чтобы дома, на родине, можно было использовать его.

Майер сказал мне, что товарищ Киш, который до этого времени жил в одной комнате с Петричем, перейдет к нему, а я займу место Киша, тем более что газету редакторы делают в той же комнате, где живут.

С Петричем мы проговорили до полуночи.

— Видишь ли, — начал он, когда мы остались в комнате вдвоем, — я на старости лет наконец додумался, что правда не в боге и не в вине. До сих пор я чувствовал, что в этом мире все идет не так, как следует. Но я не знал, что же именно идет не так. Я даже своей профессии не смог отдаться всей душой. Не скажу, чтобы я чувствовал себя глупее других, просто я не видел смысла жизни. Поэтому я и пристрастился к вину. Оно помогает в таких случаях. И вот передо мной открылся совершенно новый мир. О старом я теперь вспоминаю так, как будто прочел о нем в книгах, а сейчас я прохожу начальные классы нового мира. Я думаю, что и ты и многие другие находятся точно в таком же положении.

— Для меня лично нового во всем этом мало, так как я еще до войны относил себя к социалистам и марксистам. Но я понял, что тогда я только считал себя марксистом в надежде на то, что в один прекрасный день придет социализм. Но я полагал, что будет это не раньше чем через одно-два столетия. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я его своими глазами увижу, я бы счел этого человека наивным мечтателем.

— Ну, ты слишком-то не радуйся, дорогой. Еще старик Маркс в свое время говорил, что от революции не пахнет розовым маслом. Происходящее вокруг нас здесь имеет к социализму довольно далекое отношение. Пока нам нужно сражаться и работать ради него. Но именно это и прекрасно, именно это и воодушевляет — сражаться и работать ради новой, лучшей жизни. Раньше я только тогда чувствовал себя счастливым, когда наедался до отвала, напивался и ложился под бок к женщине. Теперь я счастлив без вина. Еда меня не интересует, да и отсутствие женщины мало беспокоит. Я прекрасно себя чувствую. Мне бы не хотелось разочаровывать тебя... Я знаю, ты с большим желанием ехал сюда, и не хочу, чтобы при встрече с первыми же трудностями ты разочаровался в этой жизни.

Старый Петрич был, безусловно, прав. В первые же дни я попробовал той жизни, которую так красочно разрисовал мне в Удинске Шоймош и которую он даже называл коммунизмом. Мы, интернационалисты, относились к армии и потому получа-

ли армейское питание, а это означало три четверти фунта липкого черного хлеба в день (правда, без стояния в очереди) и обед в солдатской столовой. Обед же обычно состоял из жиденького капустного или крупяного супа и крошечного кусочка соленой рыбы. Завтрак и ужин, как таковые, не существовали, но каждый месяц мы получали фунт сахара и фунт масла. По сравнению с гражданскими мы жили шикарно, так как им за полфунта хлеба нужно было простаивать в очереди по нескольку часов, на обед они получали супец хуже нашего (опять-таки в очереди), а на продовольственные карточки еще меньше сахара и масла.

Все номера бывшей гостиницы были заняты интернационалистами, частично — под служебные помещения, частично — под квартиры. Старый хозяин гостиницы вместе со своей женой жил в этом же здании.

Разумеется, у него был и самовар и топлива вдоволь, а мы топили свою печку только через два дня на третий, да и то на нашей печке вскипятить воду было нельзя. Обращаться за кипятком к буржуйам нам было неудобно, и потому даже горячий чай для нас был проблемой. Был у нас общий примус, но керосин к нему доставать удавалось редко.

Короче говоря, следов коммунистического рая, о котором с таким воодушевлением рассказывал нам Шоймош, на самом деле не было и в помине.

В девичьем доме

Как-то вечером Шоймош пригласил меня зайти к нему, вернее, к его теще. Сам Шоймош и его жена Вита жили в комнате другой гостиницы. Кертес и Ева временно жили у старухи тещи, у которой кроме трех дочек, вышедших замуж за пленных, были еще две дочери.

Вот я и увидел их всех сразу. Они приняли меня радушно. Сразу же поставили самовар.

— Ну, что ты скажешь по поводу такой коллекции дам? — спросил меня Шоймош.

— Коллекция действительно великолепная, одна девушка красивее другой.

— Ты прав. Но мне кажется, моя жена вне конкурса. Лучше ее нет никого.

Более разных сестер, чем эти, я никогда не видел. Самая старшая, Ванда, белокурая блондинка, была серьезной и немногословной. Шоймош еще раньше сказал мне, что ее жених, которого она очень любила, погиб на фронте, и с тех пор она даже слышать не хотела о том, чтобы выйти замуж. За ней по возрасту шла жена Кертеса — Мура, полненькая, с большими глазами, черноволосая, умная, милая, заботливая. Далее следовала жена Шоймоша — Вита, с каштановыми волосами, тоненькая,

хрупкая и очень подвижная. Следующей была Эстер — жена Фери, маленькая и худенькая, как он сам, с соломенными волосами и голубыми мечтательными глазами, тихая и скромная. Ее голос был еле-еле слышен. И, наконец, Люба — рыжеволосая, с горящими глазами и крепкой, налитой грудью. Было ей лет шестнадцать. Она весь вечер веселила общество, без усталости болтала, рассказывала смешные истории о молодых ребятах и девочках, что-то напевала. Особенно часто она напевала песенку, в которой были слова:

...Будут общие жены
и все остальное...

И то и дело заливалась задорным хохотом.

Шоймош не выдержал:

— Люба, Люба, разве можно комсомолке распевать такие глупые песенки?

Люба от души хохотала.

— Сам ты глухой. Разве ты не понимаешь, в этой песенке высмеиваются те, кто это выдумал?

— Жаль, что ты уже женат, — сказал мне Шоймош так, чтобы его слова слышала и девушка. — Я думаю, Люба подошла бы тебе...

— Смотря для чего... — съязвила Люба.

Шоймош объясняется

За чаем шел веселый, непринужденный разговор. Больше всех говорили Шоймош и Люба.

— Ну, старина, как тебе у нас понравилось? — спросил меня Шоймош позднее.

— Ну, что я тебе скажу? Пришел я к вам потому, что дружу с тобой независимо от того, хорошо мне было или нет. Но если вспомнить, что ты мне напевал об условиях здешней жизни, то я здорово разочаровался.

— Не путай разные вещи. Я говорю о главном. О нашей системе, которая одна является правильной и справедливой. Это один-единственный путь для продвижения человечества к лучшему будущему. Никто не собирается отрицать, что на практике придется перенести немало трудностей и лишений. Да разве могло быть иначе после четырех лет мировой и двух лет гражданской войны?

— Меня не нужно убеждать ни в чем. Я готов переносить лишения, да и моя жена тоже. Одного я только не понимаю: зачем нужно было рисовать ложную картину здешней жизни, вместо того чтобы подготовить нас к тому, что нас здесь ждет?

— Неужели вы не поняли, что в Удинске я говорил, собственно, не для вас с женой, а для вашей мамы, которая ви-

дит в коммунизме пугало и пугает им дочь? Пусть уж лучше она поверит, что у нас тут сыр в масле катается. Скоро она вас все равно не увидит, а если лет через пять или десять приедет навестить вас в Венгрию, то тогда и там все будет так, как я нарисовал. Ты не согласен?

— А ты согласен, в случае если Мария Павловна навестит нас в Иркутске, подставить ей спину?

— Согласен, — засмеялся Шоймош.

Двое осторожных

В тот вечер я долго разговаривал с Кертесом. Поинтересовался, есть ли у них должность: и у него и у Майера. К своему огромному удивлению, я узнал, что они вовсе не намерены оставаться в Иркутске. Оказалось, что Советское правительство издало специальное постановление, согласно которому товарищи, защищавшие в восемнадцатом году революцию в Сибири с оружием в руках или же пострадавшие за нее при белом режиме, могут беспрепятственно переехать на постоянное жительство в европейскую часть России и даже в Москву. Оба они решили воспользоваться этой привилегией и поехать в Москву.

— А я-то думал, что вы ждете не дождетесь возможности начать здесь работать, — не удержался я.

На лице Кертеса собрались морщины.

— Один раз мы уже довели здесь дело до конца, в восемнадцатом году. Тогда многое было не так, как мы этого хотели. Мы подозреваем, что наши товарищи на родине, в Венгрии, наделали тоже много ошибок, и потому Венгерская советская республика пала. И если мы дома снова захотим начать, то нам следует считаться с тем, что путь, на который мы вступаем, может привести нас к виселице. А прежде чем сунуть голову в петлю, мы хотим знать, ради чего это делаем. Именно поэтому мы и поедem в Москву, где основательно осмотримся и в зависимости от того, что мы там увидим, решим, вступать нам снова в партию и в Красную Армию или же отойти в сторонку, честным трудом помогать общему делу, но держаться подальше от большой политики.

— А я героев восемнадцатого года представлял себе другим.

— Если бы ты постоял под виселицей, как это довелось мне, тогда бы ты по-другому рассуждал.

Каландаришвили

Однажды утром мы собрались в комнате Майера на совещание. Был на этом совещании и известный грузинский партизанский вожак Каландаришвили. Он зашел к нам, чтобы предложить свои услуги.

— Уважаемые братья, я знаю, что вы не стали бы напрасно вооружаться, — начал он свое выступление. — Очевидно, рано или поздно вы намерены прорваться через Карпаты и освободить свою родину. В России скоро установится порядок, и революционерам вашего склада здесь скоро нечего будет делать. Задачи, стоящие перед вами, по плечу только настоящим революционерам. Я пришел к вам, чтобы сказать: вы смело можете рассчитывать на меня и моих людей. Когда настанет время, вы только скажите нам, и мы сразу же присоединимся к вам.

Мы вполне серьезно выслушали речь бородатого грузина, а когда он замолчал, Майер тепло поблагодарил его, заверив, что в случае необходимости мы с благодарностью примем его помощь.

Когда же наш гость ушел, мы все разом рассмеялись.

— Ну и цирк! — бросил товарищ Майер. — А все же глупо, что мы над ним смеемся. Хоть у него и бредовые мысли, но человек он честный и самоотверженный, и уж если что сказал, то слова своего не нарушит.

Через год мне довелось встретиться с Каландаришвили в Омске, а еще год спустя я узнал, что он погиб в Якутии в бою с контрреволюционными бандами.

Выступление в казарме

Товарищ Петерди, работавший в венгерской секции агитатором, пригласил меня за реку Ангару в солдатскую казарму, в которой работало много венгерских коммунистов. Там проводился митинг.

Я с радостью согласился, потому что здесь мог познакомиться с простыми рабочими и крестьянами — венгерскими коммунистами.

По дороге Петерди рассказал мне, что на митинге он сделает доклад об организационных основах большевистской партии.

Я удивился:

— А не кажется ли вам, что для венгерских товарищей следовало бы выбрать другую тему? Например, о задачах интернационалистов или о положении на родине?

— Я тоже так думал, но тему собрания определяет отдел агитации и пропаганды русского парткома.

В госпитале товарищи буквально забросали нас вопросами:

— Что слышно из Венгрии?

— Не говорят ли что-нибудь о возвращении на родину?

— Правда ли, что интернационалистов посылают на Восточный фронт против банд Семенова?

Петерди отмахнулся от всех вопросов, сказав, что сначала он прочтет доклад об организационных принципах, а потом уж расскажет о других событиях.

Терпение слушателей удивило меня. Доклад был сухим и неинтересным.

Заканчивая свой доклад, Петерди попросил задавать вопросы по докладу, но никаких вопросов не было.

После него выступал я. Сначала кратко обрисовал тяжелое положение рабоче-крестьянского правительства России, на которую напали вооруженные силы сразу нескольких иностранных государств. Рассказал и о той опасной обстановке, что сложилась на Дальнем Востоке в результате действий банд Семенова. Потом перешел к рассказу о событиях в Венгрии и о хортистском режиме.

— Так каковы же наши с вами задачи, задачи венгерских коммунистов? — задал я последний вопрос своим слушателям. — А задачи у нас, товарищи, две. Мы — коммунисты, следовательно, — интернационалисты, и потому должны оказать помощь русским братьям, рабочим и крестьянам, в защите их революционных завоеваний, значит, нам нужно как можно в большем количестве вступать в Красную Армию, бороться с оружием в руках вместе с теми, кто проливал свою кровь не только за интересы своей родины, но и за дело всего международного пролетариата. Вторая наша задача такая: уже сейчас мы должны готовиться к тому, чтобы, вернувшись рано или поздно к себе на родину, в открытой борьбе или в ходе скрытой борьбы своей революционной работой свергнуть господство капиталистов и землевладельцев ради создания государства рабочих и крестьян. Именно поэтому каждому венгерскому коммунисту необходимо как можно лучше усвоить революционное учение марксизма, революционную диктатуру большевистской партии России.

Меня слушали очень внимательно, но, когда я закончил говорить, некоторое время было тихо. Потом встал какой-то пожилой человек и сказал:

— Мы, товарищи, все до одного здесь коммунисты. Если мы попадем на родину, то, товарищи, будьте спокойны, мы там устроим революцию. Но вы не требуйте, чтобы мы здесь снова брались за оружие. Пришло время возвращаться на родину. Отправка пленных домой началась. Большинство из нас в восемнадцатом году пролило здесь свою кровь за власть Советов. Когда мы вернемся на родину, то с оружием в руках выступим за идеи коммунизма. Кто же, как не мы, разожжет огонь революции? Русские товарищи теперь и без нас уладят свои дела. Так что вы уж передайте кому следует, чтобы нас поскорее отправили на родину. Мы обещаем, что и там будем хорошими коммунистами.

Слова пожилого человека собравшиеся встретили гулом одобрения.

Распрощавшись, мы отправились обратно в город.

— Из этих людей нелегко будет снова сформировать подразделение интернационалистов, — заметил я Петерди.

— Да, ты прав, — согласился он. — Они все еще чувствуют себя пленными, и поэтому у них нет других желаний, кроме одного: вернуться домой — к жене, к матери, к детям.

— А вы уверены, товарищ Петерди, что этим людям на митинге нужно говорить об организационных принципах партии?

— Пожалуй, нет. Но и вы ошибаетесь, если думаете, что их можно будет переубедить красивыми речами. Эти люди неизлечимо больны. Вы знаете, что случается с человеком, если у него появляется какая-нибудь опасная опухоль? Вылечить ее просто невозможно, ее можно только вырезать. Так вот, их тоска по родине пройдет только тогда, когда они попадут домой. Только там они поймут, в какой ад рвались. И это будет для них хорошим уроком, из которого они большему научатся, чем из всех наших докладов и выступлений.

Секция активизирует свою работу

Однажды товарищ Майер пригласил меня на заседание партийного комитета. Членами парткома кроме Майера, Эрнэ Киша и Шоймоша были еще два товарища, которых я не знал. Один из них занимал какой-то большой пост в ЧК, второй был комиссаром интернационального полка.

Прежде всего товарищ Майер сделал сообщение о том, что ветеран боев восемнадцатого года товарищ Киш просил откомандировать его в Москву. Просьба его удовлетворена. В связи с отъездом Киша Майер предложил освободить его от обязанностей члена парткома, а на его место временно кооптировать секретарем меня, пока не состоится партийное собрание, на котором будет избран новый член парткома. Товарищи согласились с таким предложением.

Попросив слова, я сказал, что не являюсь еще членом партии.

Выслушав меня, Шоймош улыбнулся и, достав из кармана партийный билет, протянул мне:

— Ошибаешься. С сегодняшнего дня ты член партии. Вот твой партийный билет.

Странно: ведь я никакого заявления о приеме в партию не писал. Кроме того, согласно уставу партии меня сначала должны были принять в число «сочувствующих», и только через год или в крайнем случае через полгода я мог стать полноправным членом партии. Когда я заикнулся об этом, Шоймош только махнул рукой:

— Сейчас, старина, идет война. Ты нам нужен, а мы можем использовать тебя на работе, только если ты будешь членом партии. Русский партком иркутской парторганизации, который утверждает наше решение о приеме в партию, высказал точно такое же мнение.

После этого партком перешел к обсуждению повестки дня, и я уже исполнял обязанности секретаря.

Основным вопросом нашего заседания была организация общего собрания венгерских коммунистов, находящихся в Иркутске, которое должно состояться через несколько дней.

Товарищ Майер сказал, что на борьбу с бандами атамана Семенова необходимо бросить верные части, и русское военное командование считает, что на Восточный фронт должен быть послан и Иркутский интернациональный полк. Есть предложение не ждать официальных распоряжений, а уже сейчас доложить командованию о готовности полка к отправке. Многие венгерские коммунисты, работающие в городе, заявили, что охотно заишутся в этот полк. Слухи о том, что пленных раньше отправят домой, притянули в Иркутск массу военнопленных, которые работали где-то в районах, но приехали в город с надеждой, что отсюда им скорее удастся попасть в эшелон, направляемый на родину.

— Все это я говорю к тому, — продолжал товарищ Майер, — что в настоящий момент необходимо начать новую кампанию по приему в партию. Одновременно с этим надо развернуть широкую агитационную работу среди венгерских коммунистов, призывая их вступать в интернациональный полк. И, наконец, венгерский интернациональный полк от лица всех венгерских коммунистов Иркутска должен подготовить заявление о мобилизации. Я предлагаю собрать общее собрание венгерских коммунистов Иркутска, на котором после небольшого доклада о политическом положении торжественно принять Заявление, состоящее из трех пунктов:

1. Призвать венгерских пленных вступать в коммунистическую партию.

2. Призвать венгерских коммунистов добровольно вступать в формируемый интернациональный полк.

3. От имени бойцов интернационального полка и венгерских коммунистов Иркутска торжественно заявить, что полк считает себя мобилизованным и в любой момент готов выступить на Восточный фронт.

Предлагаю поручить написать доклад и текст Заявления товарищу Эндре Шикю, он же и выступит с докладом на собрании.

После короткого обсуждения партком принял это предложение товарища Майера.

Собрание в Иркутске

Собрание проходило в здании иркутского драматического театра, зал которого был набит до отказа.

Мой доклад неоднократно прерывался бурными аплодисментами. Многие выступившие после доклада поддерживали проект резолюции.

Наконец дело дошло до голосования. Первые два пункта Заявления приняты единогласно. Когда же на голосование был поставлен третий пункт Заявления, против никто не голосовал, но двое воздержались, и среди них, к моему огромному удивлению, администратор нашей парторганизации — хромой Херцфельд.

Оглашение результатов голосования было встречено оглушительными аплодисментами. Потом слова попросил солдат-интернационалист с хмурым лицом. Интересно, что он скажет? Может, он хочет поприветствовать, одобрить принятие Заявления? Во всяком случае, слово ему было предоставлено. Он вышел на трибуну и громко сказал:

— Товарищи! Коммунисты! Я хочу вас спросить, будем ли мы терпеть в своих рядах таких типов, которые не проголосовали за мобилизацию интернационалистов? Товарищи, еще Шандор Петефи в свое время сказал:

Низок, мерзок и ничтожен
Тот, кому сейчас дорожке
Будет жизнь его дрянная,
Чем страна его родная!¹

Нашей родиной, товарищи, будет коммунизм. А честь коммунизма мы можем защитить только оружием. Поэтому я предлагаю этих двух мерзавцев, которые не подняли руки при голосовании, когда шла речь о защите идей коммунизма, здесь на месте исключить из партии.

Последние слова солдата потонули в буре аплодисментов. Зал одобрительно загудел.

Товарищ Майер нервно заерзал на стуле и поднял руку, чтоб дали слово ему. Он хотел успокоить собравшихся и объяснить им, что мобилизация будет проходить на основе принципа добровольности, никто никого принуждать не будет и поэтому нельзя человека исключать из партии только за то, что он не изъявил своего желания идти на фронт.

Но все усилия Майера были напрасными. Толпа, как один человек, кричала:

— Голосовать! Голосовать!

Товарищ Майер, председательствовавший на этом собрании, все же не хотел ставить этот вопрос на голосование, и тогда солдат, который все еще не сошел с трибуны, стараясь перекричать зал, спросил:

— Кто за исключение мерзавцев, поднимите руки!

Собрание единогласно проголосовало за исключение воздержавшихся.

¹ Шандор Петефи. Собрание сочинений. Национальная песня. Перевод Л. Мартинова. Будапешт. Корвина. Т. 2, стр. 36.

После этого товарищ Майер сообщил собравшимся об отъезде товарища Киша и предложил вместо него избрать одним из секретарей парторганизации меня.

Это предложение тоже было принято единогласно.

После окончания собрания Херцфельд подошел к столу президиума.

— Товарищи, вы же меня хорошо знаете! Знаете, что я жизни своей не пожалею, если нужно. Но как я, хромой, пойду на фронт? Даже если и хотел бы, меня не взяли бы. Я не поднимал руку, потому что считал, что ко мне лично этот пункт не относится.

— Идиот ты, — коротко бросил ему Майер. — На фронте ты мог работать в штабе полка или во фронтовой газете. Единогласное одобрение Заявления имеет большое политическое значение, а ты, как кур во щи, попал заодно с этим мерзавцем, которого мы и без того бы исключили из партии и из полка выбросили бы. (Позже я узнал, что в отношении второго воздержавшегося велось дисциплинарное расследование за пьянство.)

— Что же теперь со мной будет, товарищ Майер? Я не переживу, если меня выгонят из партии!

— И снова ты говоришь глупости. Ладно, иди, мы потом посмотрим, что делать с тобой. Жаль, что мне все это придется расхлебывать.

Этот инцидент разозлил товарища Майера, но все же он был очень доволен тем, как прошло собрание.

— Товарищ Майер, вы надеетесь, что добровольцев наберется достаточно? — спросил я его.

— Если судить по собранию, — ответил он, — их будет даже больше, чем нужно.

— А вот я не очень уверен в этом, — заметил я и рассказал ему случай, происшедший в госпитале.

— Да, одно дело говорить на собрании, и совсем другое — взять оружие в руки. Многие из тех, кто громче всех кричал на собрании, спрячутся в кусты, когда дойдет до дела. Но я уверен, что на собрании было много по-настоящему серьезных людей.

На третьей неделе моего пребывания в Иркутске товарищ Майер сказал, что мне придется съездить в Удинск.

— В любом случае нужно было бы кого-то направить в Удинск, чтобы передать удинским товарищам кое-какие материалы и посмотреть, как у них идут дела. Подготовь два следующих номера газеты и тогда спокойно можешь уехать дней на восемь — десять, но на обратном пути обязательно заезжай за семьей. Корректуру Петрич и без тебя прочтет.

Через неделю я выехал в Удинск.

Вина Марии Павловны

Сколько радости было дома, когда я неожиданно-негаданно приехал в Удинск! Катя и сын были здоровы, теща собиралась уезжать к себе домой. Когда Катя узнала, что через неделю я увезу ее и сына в Иркутск, радости ее не было конца. Но я сразу же заметил, что Мария Павловна ходит сама не своя, словно ей грозит большое несчастье. Я решил, что ее плохое настроение связано с нашим предстоящим отъездом из Удинска, но тут выяснилось, что причина совершенно другая.

— Послушай, сынок, — обратилась Мария Павловна ко мне, когда мы остались с ней одни. — У меня к тебе серьезный разговор. Знаю, что ты будешь на меня сердиться, но что сделано, то сделано.

Такое странное вступление напугало меня. Уж не случилось ли что-нибудь с ребенком? Когда же она рассказала суть дела, мне сразу же стало легче.

— Ты знаешь, как я люблю вас, — начала теща. — Даже жизни своей не пожалею ради вас. Но господа бога я люблю больше, и спокойствие души вашего ребенка для меня так же дорого, как и своей собственной. Однажды, когда Катя спала, я взяла ребенка и отнесла к Дмитрию Евстафьевичу, которого я попросила быть крестным отцом. Мы вместе с ним понесли ребенка крестить в церковь. И окрестили.

Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться.

— Ну и что? — спросил я, придав лицу строгое выражение. — Уж не простудили ли вы ребенка, когда совали его в холодную воду?

— Нет, что ты! — воскликнула Мария Павловна. — Все сделали как нельзя лучше. Теперь с ребенком ничего не случится. Ни на этом, ни на том свете, — добавила она с важным видом.

— Ну, тогда и не волнуйтесь, — успокоил я ее. — Но следующий раз купайте малыша в теплой воде.

Позже Катя рассказала, что она здорово отругала мать за это крещение, и с того дня теща жила в постоянном страхе, что, как только об этом станет известно мне, я запрещу ей бывать в нашем доме.

Убедившись в благополучном исходе, Мария Павловна успокоилась и во что бы то ни стало захотела, пока я здесь, пригласить к нам на ужин Дмитрия Евстафьевича. Как-никак он теперь крестный отец нашего сына. Я наотрез отказался от этой затеи.

— Видите ли, мама, — сказал я ей, — я готов забыть о вашем неосмотрительном поступке, но, будьте добры, и вы забудьте о нем и больше никогда не вспоминайте.

Встреча с крестным отцом моего сына так и не состоялась.

На следующий день после приезда я пошел в реальное училище, чтобы сообщить директору о том, что я хочу уволиться в связи с переездом в Иркутск.

В приемной директора училища мне встретился господин Бауман.

— А вы, коллега, зачем сюда пожаловали? — Я сказал это не без иронии, но Бауман и не почувствовал ее.

— А затем, коллега, чтобы попросить у директора справку о том, что я здесь работал преподавателем. Человек никогда не знает, когда и какая бумажка ему может понадобиться.

— Словом, вы собрались в Германию и думаете, что справка эта вам может пригодиться там? Я полагаю, вам целесообразнее попросить справку у американцев, что вы работали у них в Красном Кресте. Там, в Германии, она будет иметь больший вес.

— А мне не нужна справка от американцев, я уезжаю вместе с ними.

— Вот как? — удивился я. — Разве вы едете не домой?

— В настоящее время моя родина серьезно больна и находится в бедственном положении. Для ее выздоровления нужно основательное лечение и серьезная материальная помощь. А откуда она все это может получить? Только от Америки. И вот я хочу помочь своей родине встать на ноги. Поэтому мне необходимо уехать туда, где я смогу больше всего сделать ради ее интересов, то есть в Соединенные Штаты.

— Не совсем понимаю вас. Если бы вы сказали, что хотите поехать в родные места, чтобы возродить новую, демократическую Германию, — это понятно. Но какое отношение к Германии имеет Америка? Неужели вы думаете, что она заинтересована в расцвете Германии?

— Так оно и есть. Германия проиграла эту войну. Но проиграла потому, что выбрала плохих союзников и связала свою судьбу со странами, которые неспособны были идти с ней в ногу: с распадающейся на части австро-венгерской монархией и с лицемерной Италией. Другая, более важная причина заключается в том, что она не смогла договориться со страной, которая должна была бы стать ее союзницей, а именно — с Соединенными Штатами. Однако каким бы тяжелым ни было теперешнее положение Германии, еще не поздно исправить ошибку. В настоящее время Соединенные Штаты Америки — по-настоящему богатая и сильная держава. И той стране, которая хочет существовать в новой эре, необходимо установить по возможности самые крепкие связи с Соединенными Штатами. Именно поэтому каждый настоящий немец, если у него есть возможности, должен стараться войти в доверие к американцам.

— Вперед, господин Бауман, вперед! Езжайте и покоряйте Америку! Но тогда зачем вам справка о том, что вы здесь учительствовали?

— Человек никогда ничего не знает. В Америке сейчас в каждом, кто приезжает из России, видят большевика, так что совсем не лишне документально подтвердить, чем я здесь занимался.

В этот момент директор освободился, и я вошел к нему в кабинет, избавившись тем самым от назойливого Баумана.

План Людвиг Казимировича

Выйдя от директора, я разыскал Людвиг Казимировича, который, как всегда, очень обрадовался мне.

— Я слышал, дорогой коллега, что вы навсегда покидаете нас. И хорошо делаете. Вам, пока вы находитесь здесь, лучше всего быть среди своих соотечественников. Недалеко то время, когда все вы поедете по домам.

— Когда-нибудь так и случится, но сейчас говорить об этом рановато. Зато я слышал, что русские репатрируют поляков. Всех, кто хочет уехать в Польшу, отпускают туда. А у вас, Людвиг Казимирович, на этот счет какие планы?

— Я остаюсь здесь. Вы знаете, дорогой коллега, я ведь не революционер, но и не контрреволюционер, а самый обычный гражданин. Мой девиз: жить и другим жить давать. Мое единственное желание заключается в том, чтобы я мог по-человечески жить вместе со своей семьей. Там, где для этого есть возможности, я хорошо чувствую себя, независимо от того, какой строй дает мне эту возможность: капиталистический или социалистический. Если бы сейчас в Польше был социалистический строй, я без колебаний поехал бы туда, ведь человек лучше чувствует себя на родине. Если бы в Польше утвердился капитализм, я и тогда поехал бы туда, но ехать в неразбериху, которая там сейчас царит, не хочу. Спасибо, этого я и здесь насмотрелся и теперь хочу хоть немного пожить спокойно.

— Благодарю вас, Людвиг Казимирович, за вашу доброту ко мне, — сказал я старику на прощание. — Я всегда буду вспоминать вас добрым словом.

— Я тоже, Андрей Александрович. Мир так тесен, надеюсь, мы с вами еще встретимся!

Проклятье Татьяны Петровны

Больше ни с кем из преподавателей я прощаться не собирался, поскольку ни с кем из них не был дружен, и они вряд ли могли заметить мое отсутствие.

И тут я вспомнил о Татьяне Петровне. Уж с ней-то, пожалуй, надо было попрощаться. Но стоит ли? Она наверняка не об-

радуется переменам в моей жизни, напротив, узнав о том, что я перешел к большевикам, вообще не станет разговаривать со мной. Но мне хотелось узнать, как она поживает, и я спросил об этом Людвигу Казимировича.

Оказывается, совсем недавно Татьяна Петровна получила известие, что ее единственный сын, которого она так любила, погиб где-то на Урале. Это известие так подействовало на нее, что она несколько недель находилась в очень плохом состоянии. Когда она несколько оправилась, на нее обрушился новый удар: покончил с собой ее муж. Коллеги думали, что это окончательно доконает ее, но этого не произошло. Смерть мужа, которого она ненавидела, словно бы успокоила ее. Она даже появилась в училище и начала преподавать. На работе она абсолютно нормальный человек, но, как только с ней заговаривают о чем-нибудь, не имеющем отношения к занятиям, она сразу же меняется: лицо становится неприветливым и говорит она непонятные вещи. Врач училища считает, что это особое расстройство психики, которое в специальной литературе называется раздвоением личности.

После услышанного у меня окончательно пропало желание навестить Татьяну Петровну. Я уже направился к себе домой и тут совершенно неожиданно в воротах столкнулся с ней. Я намеревался поклониться ей и молча пройти, но она сама остановила меня.

— Андрей Александрович, вы ли это?— спросила она с горькой улыбкой на лице. — Я слышала, что вы стали большевиком. Теперь вы заодно с бандитами, которые убили моего сына.

— Прошу вас, не говорите так, Татьяна Петровна! Вашего сына убила война. Та самая война, которую начали отнюдь не большевики. Ведь они как раз и выступают за установление мира на земле. Вините в этом белых. Это они снова ввергли страну в огонь, в котором сгорел и ваш сын.

— Меня абсолютно не интересует, кто начал войну, — сказала Татьяна Петровна. — Тот, кто убил человека, убийца, и я его проклинаяю! Моего сына убили большевики, и я проклинаяю их всех! И вас в том числе. Глаза бы мои вас не видели! — И, повернувшись, она пошла прочь.

С болью в сердце смотрел я ей вслед, пока она не исчезла за воротами. Жаль было несчастную женщину, и в то же время меня терзала жгучая ненависть к тем, кто принес ей столько горя.

Завещание доктора Гемеша

Катя сообщила печальную весть — от тифа умер доктор Гемеш.

Пока я был в Иркутске, остатки разбитой армии колчаковского генерала Каппеля после неудачной попытки захватить Ир-

кутск обошли железнодорожную магистраль и двинулись к Забайкалью. Сунуться в Верхнеудинск они не рискнули, но, прежде чем отправиться дальше на восток, несколько дней провели недалеко от города, захватили Березовку, привезли туда много тифозных больных. Доктора Гемеша они заставили пойти с ними. Доктор лечил тяжелобольных и заразился тифом. Тогда он особенно много пил, организм его был ослаблен, и доктор умер. Марина Аркадьевна все еще живет в Березовке, в квартире доктора, и тягается с ревкомом по вопросу о наследстве. Власти описали мебель, книги и другое имущество доктора, ссылаясь на то, что у доктора нет родственников.

Мне было дано задание заехать в Березовку и поинтересоваться там делами партийной организации, и на следующее утро я выехал туда.

Сделав все необходимое, я зашел к Марине Аркадьевне, чтобы поговорить с ней о докторе. Увидев меня, женщина разрыдалась, а потом, немного успокоившись, с любовью говорила о докторе, который был очень добр к ней и к другим.

— Бедняга никогда никому не сделал зла, только этим проклятым алкоголем погубил себя. А ведь сколько раз я его уговаривала, чтобы он бросил пить, но он так меня и не послушал.

Поскольку Марина Аркадьевна ни словом не обмолвилась о наследстве, я сам спросил ее об этом:

— Скажите, пожалуйста, Марина Аркадьевна, а что стало с вещами доктора? Я слышал, что их хотят у вас отобрать?

— Только хотели. Какой-то завистник заявил куда надо, что я жила с доктором только для того, чтобы завладеть его имуществом. Но, видит бог, это неправда. Я даже и не подошла к нему, если бы он был мне не мил. Я всегда заботилась о нем, и он был благодарен мне за это и хорошо ко мне относился. А денег для меня он никогда не жалел. У меня есть кое-какие сбережения, и, если бы мне после него ничего не осталось, я и тогда бы не жаловалась на свою судьбу. Но когда власти разобрались, что я была его женой, все его вещи они оставили мне, забрали только одни книги да доллары. А доктора я никогда не забуду.

Особое мнение Яноша Доци

В бараке доктора я встретил верного санитаря доктора — Яноша Доци. Он подошел ко мне и сказал, что надо поговорить. Пора было идти на станцию, и я попросил его проводить меня. По дороге и поговорим.

С возмущением Янош спросил, знаю ли я, что все имущество доктора присудили его жене.

— Видит бог, господин кадет, — добавил он, — даже если бы мне на тарелочке поднесли хоть что-нибудь из денег доктора, я и тогда бы не взял ни рубля. Но я не могу спокойно видеть,

что все его состояние осталось этой бабе, которая только и делала, что отравляла ему жизнь. Это ведь из-за нее он начал пить!

— Ах, Доци, Доци! — с упреком проговорил я. — Думаешь ли ты, прежде чем говоришь? Уж кому-кому, а тебе лучше других должно быть известно, что Марина Аркадьевна не жалела себя для доктора. Брак их не был оформлен, но она была для доктора настоящей женой, и, конечно, все, что осталось после него, должно достаться ей. Что же касается пьянства, так ты опять-таки лучше других знаешь, что Марины Аркадьевны еще и на горизонте не было, а доктор уже подружился с водкой.

Но переубедить Доци мне не удалось.

— Что бы вы тут ни говорили, господин кадет, но в моих глазах женщина, которая ложится с мужчиной в постель, не являясь его законной женой, всего лишь распутная баба. Правда, такие тоже должны быть, иначе что делать холостому мужчине без них? Но суть дела от этого не изменится.

Мои попытки переубедить его не увенчались успехом.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что особое мнение у Доци имеется не только по вопросу наследства доктора.

Я спросил его, не собирается ли он, как трудящийся крестьянский парень, вступить в партию или, по крайней мере, в интернациональную часть.

— Боже сохрани! — почти испуганно произнес он. — Порядочный человек не пойдет с теми, кто собирается отнять у людей их собственность. Я вот только одного не пойму, как господин кадет, человек благородный, интеллигентный, может водиться с такими мерзавцами, вместо того чтобы стараться поскорее попасть к себе на родину?

«Вот оно что, — подумал я про себя. — Сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит. Не повлияла на него ни война, ни плен».

— Скажи, дружок, по-твоему, не нужно было сбрасывать сидящих на шее у народа землевладельцев, баронов и графов и раздавать землю крестьянам, то есть тем, кто ее обрабатывает? А у нас в Венгрии тоже не следует этого делать?

— Землевладельцев мне не жаль, — ответил Доци. — Но большевики сбрасывают не только землевладельцев и не только богачей, они и у маленьких людей отбирают то, что у них есть. Большевики хотят, чтобы у всех все было общее. А мне такого не нужно. Я хочу работать, но то, что я заработал, я не стану делить ни с кем. Такие штучки можно проделывать только со здешним народом. Не зря у нас дома ничего не получилось из таких попыток. Венгры, которые здесь рвутся воевать, пропадут, и только. Даже если кто из них и вернется домой, из него там быстро пыль выбьют, и не в петлю, так за решетку наверняка попадет. Господину кадету тоже лучше бы заниматься своей женой да ребенком и не вмешиваться в политику.

Между тем мы пришли на станцию.

— Послушай меня, друг, — обратился я к Доци. — За мою семью не беспокойся. Один из нас не прав. А вот кто, покажет время.

Слезы лейтенанта Бардоша

На улице я как-то встретился с лейтенантом Бардошем.

— Друг, дорогой, как я рад, что снова вижу тебя! — бросился он ко мне. — Я не раз заходил к вам, но жена говорила, что ты уехал в Иркутск. Ну, рассказывай, что там нового? А чего мы здесь, собственно, стоим? Я ведь стал владельцем кофейной, что на главной улице! Купил ее, и все. Зайдем, посидим и спокойно поговорим... Разумеется, ты мой гость, — сказал Бардош, когда мы вошли в кофейную и уселись за один из столиков. — Сейчас тебе подадут такой кофе и ром, что ты пальчики оближешь.

За кофе я рассказал лейтенанту об иркутских новостях, о формировании интернационального полка и о скорой отправке пленных на родину.

— Словом, ты пока на родину не собираешься? — спросил он, когда я замолчал. — А разве у нас дома не нужно разжечь огонь революции?

— Нужно, — ответил я. — Придет и для этого время. Но судьба социалистической революции в настоящее время решается здесь. И мы, интернационалисты, здесь сейчас нужнее. Правда, есть среди пленных и такие, кто стоит за социализм и симпатизирует советскому государству, но бороться с оружием в руках они не хотят. Их к этому принуждать никто не собирается и удерживать от возвращения на родину тоже не станут. Пусть едут по домам и там сеют зерна революционных идей. Одна из задач здешних организаций и заключается в том, чтобы объяснить пленным, что революция будет рассчитывать на них дома.

— Понимаю, понимаю, — с кислой миной на лице проговорил лейтенант. — Дело это нелегкое и не такое уж веселое.

— Ну, а какие планы у тебя? Помнишь, мы разговаривали с тобой последний раз, и ты говорил, что ждешь не дожدهшься того дня, когда можно будет уехать на родину. А сам купил здесь кофейную. Разве ты не хочешь вернуться в Венгрию?

— Как бы не так! То, что я купил эту кофейную, вовсе не значит, что я навсегда останусь ее владельцем. Рано или поздно и я домой поеду. Человек по-настоящему может чувствовать себя счастливым только в своем доме. Если бы ты знал, друг, как я соскучился по дому! Часто мне снится, что я в Пеште, проснусь потом и несколько дней подряд хожу как больной, так болит сердце. — По лицу Бардоша потекли слезы. Он помолчал, вытер слезы и продолжал: — Но пока об этом не может быть и речи. Ты же знаешь, в Венгрии сейчас идут погромы. Так что

мне, социалисту да еще еврейю, ехать туда сейчас просто нельзя. Вы все время говорили: «С оружием в руках мы вернемся на родину и наведем там порядок». Я всегда поддерживал такое заявление. Но пойми, друг, я простой торговец. Мне не подходит держать в руках оружие.

— Значит, ты остаешься здесь?

— Нет. Сейчас, когда мы уже не пленные, для меня здесь открываются большие возможности. Что же касается политики, то я сторонник нового режима. А вообще же мне, торговцу, лучше жить в той стране, где нет препятствий для торговли. Мое призвание — это торговля, и торговля крупная, с размахом. А на нее частник не очень-то может рассчитывать.

— Куда же ты хочешь податься?

— Пока в Харбин. Сейчас это самый оживленный торговый пункт на Дальнем Востоке. Оттуда можно поддерживать торговые связи с Китаем, Японией и даже с Россией — через Читу и Удинск. За несколько месяцев я с помощью этой кофейной устрою свое состояние. Разумеется, это не ахти какие деньги, поскольку рубль в Харбине ценится не очень высоко, там в цене доллары, но это можно будет уладить. Есть у меня одна хорошая знакомая, дочь богатого еврея. Отец ее был большим купцом и при белых копил не рубли, а доллары. Все свое состояние он перевел в Харбин, собираясь переселиться туда, если ему станет туго. Но вскоре после освобождения города красными старик умер. Дочь его хочет уехать за границу, но не знает, как это сделать. Я решил жениться на ней и пообещал, что после свадьбы мы уедем в Харбин. На днях мы справим свадьбу, а летом, надеюсь, выберемся в Харбин. А вот и моя невеста. Разреши, я тебя с ней познакомлю.

Женщина подошла прямо к нашему столику. Я, конечно, и до этого догадывался, что невеста Бардоша не так уж очаровательна, но никак не предполагал, что она может быть такой некрасивой. У нее были рыжие волосы, лицо в веснушках и в довершение всего выступающие вперед зубы, которые безобразили ее и без того некрасивое лицо. К тому же она еще и сутулилась.

«Ну, — подумал я про себя, — мне не нужно и всего золотого запаса Соединенных Штатов Америки за такую женщину». Но, как говорят, о вкусах не спорят. Бардоша она стоит.

Женщина села за наш столик. Обменявшись с ней несколькими ничего не значащими словами, я попрощался.

— Всего хорошего тебе, старина, — сказал мне Бардош. — И пожалуйста, не думай, что я не с вами.

Колебания Харкани

Однажды после обеда в субботу я поехал в автопарк на собрание работающих там венгров. Перед началом собрания ко мне подошел Харкани.

— Я слышал, что ты собираешься навсегда уехать из города. Мне надо поговорить с тобой. Если не возражаешь, завтра утром я зайду...

— Ну, дружище, что у тебя нового? — спросил я на следующий день, когда Харкани пришел ко мне. — Во время последнего нашего разговора ты говорил, что и сам еще толком не знаешь, чего хочешь. Сначала, говорил ты тогда, нужно установить, умеют ли большевики строить или они только разрушают. С тех пор прошло месяца два, не меньше. Как ты теперь думаешь?

— Два месяца — не такой уж большой срок, — ответил Харкани. — Но за это время большевики и здесь успели сделать кое-что хорошее, а кое-что только начали. В Центральной России, где гражданская война в основном уже закончилась, работа идет вовсю. Не думай, дорогой, что я слеп и ничего не замечаю. Россия сильно разорена войной, но я думаю, что, как только новый режим достаточно окрепнет, здесь начнется такое широкое строительство, такое быстрое развитие промышленности, какого еще не видывал мир. Совсем недавно я разговаривал с нынешним начальником автопарка, красным подполковником, который до армии работал инженером. Когда он узнал, что в Венгрии я занимался сельскохозяйственными машинами, он сделал мне довольно-таки соблазнительное предложение. Скоро он уедет на Урал, в Нижний Тагил, на завод сельскохозяйственных машин. За годы гражданской войны завод пришел в упадок. Красные планируют не только полностью восстановить, но и расширить завод. Подполковник демобилизуется и будет назначен на этот завод главным инженером. Вот он мне и предложил поехать вместе с ним на должность его заместителя. Со мной заключат договор, положат довольно высокий оклад. Я много думал над этим предложением: работа, видимо, интересная, да и материально выгодна. И все же я решил, что она не для меня. Лучше уж я дождусь отправки на родину и там снова начну работать.

— А ты знаешь, что сейчас творится в Венгрии? — спросил я.

— Что бы там ни творилось, там мой дом. Я, старина, хочу вернуться домой и там работать.

— Даже в том случае, если там господствуют контрреволюционные силы?

— Революция, контрреволюция — это категории политические. А я тебе уже как-то говорил, что я не политик. Машина и при революции и при контрреволюции остается машиной, а инженер — инженером. Главное — честно выполнять свои обязанности, а политику оставим для политиков.

На этом наш разговор и закончился.

Свои командировочные дела я закончил. Мы лихорадочно готовились к переезду. Поезда в то время ходили нерегулярно, и когда мы приехали на вокзал, то узнали, что поезд, которым собирались ехать, отправится только на рассвете. А пока нам предложили провести ночь на вокзале в зале ожидания.

Целую ночь в холодном, прокуренном зале! Мне было жаль жену и ребенка.

— А может, нам переночевать у Дмитрия Евстафьевича? Ведь он живет рядом с вокзалом и будет очень рад нам, — предложила теща.

Я не возражал. Жене с ребенком там действительно будет лучше.

Дмитрий Евстафьевич встретил нас как нельзя лучше. На столе появилось много вкусного. После ужина жена унесла сына укладывать, а мы со стариком остались поговорить в столовой.

Разговор скоро перешел на торговые дела Дмитрия Евстафьевича. Старик рассказал, что с приходом красных торговля значительно оживилась. Главный арендатор сбежал с белыми. Дмитрий Евстафьевич по-прежнему арендует две торговые точки, налог платит исправно, причем налог теперь значительно меньше, чем раньше.

— Словом, все в порядке? — спросил я.

— Ну, не совсем так... — возразил старик.

— Почему? — удивленно спросил я. — Опять виноваты власти?

— На наши местные власти жаловаться грех, — ответил он. — Теперь не нужно каждый день трястись от страха. Деньги у нас твердые, торговля свободная. Пока все в порядке. А что потом? Вот это меня беспокоит. Налоги меня не пугают. А вот известия, которые приходят из Центральной России, очень беспокоят. Ходят слухи, что там уже второй год запрещена частная торговля. Нет продуктов питания, нет товаров. Не это ли ждет и нас?

Я начал объяснять старику, что после окончания гражданской войны все постепенно станет на свои места. Будут и продукты, и товары, какпе душе угодно.

Старик слушал меня с большим вниманием, а когда я кончил, проговорил:

— Дай бог, чтобы все так и было, и как можно скорее!

III. СНОВА В ИРКУТСКЕ

Домашние заботы

В Иркутске нас ждали тяжелые дни, но Катя мужественно вынесла все лишения, и я не слышал из ее уст ни одной жалобы. Бедняжка больше всего переживала из-за сына, которого не могла кормить должным образом.

В Иркутске на вокзале товарищи ждали нас с машиной. Довезли до гостиницы «Люкс». Старый Петрич встретил нас как своих и сразу же повел в свою комнату.

— Располагайтесь поудобнее, — сказал он. — Вещи ваши скоро принесут. Сейчас будет горячий чай. Жаль, что могу угостить вас только чаем, — начал оправдываться он.

— Не беспокойтесь, у нас все есть, — сказала Катя, доставая из корзины белый хлеб, масло, сахар, и пригласила Петрича закусить вместе с нами.

— Разве что самую малость, за компанию, — проговорил Петрич, стараясь сделать так, чтобы мы не заметили, как он обрадовался белому хлебу. Но глаза выдавали его.

За чаем Петрич рассказал, что Киш уже уехал и он переехал на его место в комнату к товарищу Майеру.

— Значит, эта комната находится в вашем полном распоряжении. Правда, для троих это не богато, но ничего другого пока нет. С обедами дело удалось уладить: моя жена будет получать обед на дом.

После ужина Катя прилегла отдохнуть и сразу же задремала.

— При жене я не хотел тебе говорить, — начал Петрич, — чтобы вы поэкономнее расходовали хлеб и масло. Паек, который мы получаем как интернационалисты, не выдается членам семьи. На жену и ребенка ты получишь продуктовые карточки, но за хлебом, к сожалению, придется стоять в очереди. Так же обстоят дела и с молоком. Сливочное масло они здесь будут видеть очень редко, и в микроскопическом количестве. Еще хуже с горячей водой, а она нужна для купания ребенка. Ну, да как-нибудь уладим и это.

На следующий день я рано утром пошел в очередь за карточками. Домой вернулся только вечером.

— Я не знала что и думать, — проговорила Катя. — Ты целый день ничего не ел. Товарищ Петрич принес нам обед. Суп, правда, давно остыл, а вот рыбы ты можешь поесть. Сейчас я тебе намажу маслом кусок хлеба. Ну как, получил карточки?

— Получить-то получил, но самое трудное впереди. За хлебом нужно чуть свет становиться в очередь, а другую продовольственную карточку, по которой выдают остальные продукты, на этот месяц уже ничего нельзя получить. Ну, как-нибудь проживем.

Наша жизнь складывалась тяжело. За неделю мы съели весь хлеб и масло, которые привезли с собой, и жили только на моем пайке. По Катиной карточке получить хлеб не удалось. Как-то рано утром я пошел за хлебом, но, когда подошла моя очередь, хлеб кончился. На следующее утро в очередь пошел Петрич, и тоже безрезультатно, потому что многие жители занимали оче-

редь за хлебом с вечера. За молоком мы даже не пытались встать в очередь: за литром молока нужно было простоять не один день. У Кати пропало молоко. Из-за этого она нервничала и часто плакала.

Однажды утром Катя пошла на рынок, чтобы купить там хлеба и молока. Вернулась с пустыми руками и разрыдалась.

Ни молока, ни хлеба на рынке не было. У одной торговки Катя увидела черные ботинки. Та просила за них триста рублей. Катя начала торговаться, давала ей двести рублей, но в это время к ним подошла другая женщина. Она вырвала ботинки у Кати из рук и отдала торговке триста рублей.

Петрич (в этот момент он был у нас в комнате), увидев, в каком состоянии находится Катя, незаметно выскользнул в коридор.

Я пытался успокоить жену, но мне долго это не удавалось. Она все еще всхлипывала, когда Петрич снова появился в комнате. В руках у него была буханка солдатского хлеба, которую обычно давали на двоих, и бутылка молока.

— Где ты это раздобыл? — удивился я.

— Украл, — с улыбкой проговорил Петрич.

Катя заулыбалась. Она обрадовалась не столько хлебу и молоку, сколько заботливости этого пожилого человека. Катя подошла к нему и поцеловала в щеку.

— Ого! — Петрич покачал головой. — Если бы я знал об этом раньше, давным-давно носил бы вам продукты.

Гостиничная жизнь

Понятно, что работа моя в таких условиях шла не гладко. Почти всю газету мне приходилось заполнять собственными материалами, и в результате я целые дни просиживал за пишущей машинкой. Сынишка из-за этой машинки не мог спать и беспрерывно ревел. А слезы Кати действовали на меня так, что я с большим трудом сосредоточивался на работе. Катя видела мои мучения, и это еще больше расстраивало ее.

Некоторое время спустя товарищи поняли, что работать в таких условиях невозможно, и после долгих мытарств удалось выхлопотать для нас комнату в гостинице «Олимпия», которая находилась в конце этой же улицы.

Комната была широкая, светлая. В ней стоял письменный стол, удобные кресла и диван, а это было самым главным. На каждом этаже была своя горничная, которая, правда, комнат не убирала, но зато с раннего утра до позднего вечера ее можно было попросить поставить самовар. Это разрешало самую насущную для малыша проблему горячей воды.

Как только мы переселились в гостиницу, Катя позвонила горничной и попросила поставить самовар.

— Сейчас поставлю, — ответила девушка. — Только дайте мне лучины.

— Как так? — с удивлением спросила Катя. — Насколько мне известно, это входит в обслуживание.

— Точно, входит. Но угля сейчас во всем Иркутске не найдешь, вот мы и топим его щепой или лучиной, которые каждый достает как может.

Для нас это означало, что временно мы должны были обходиться без теплой воды.

Когда вечером мы пили чай у Шоймоша и я рассказал об этом, все рассмеялись.

— Я забыл тебе сказать, чтобы вы не очень-то рассчитывали на этих горничных. Большой помощи вы от них не ждите. На завтрашний день я достану вам щепы для самовара, а потом привезем вам несколько здоровых чурбаков, которые ты сам будешь щепать. И еще одно: будьте поосторожнее с этими горничными: все они ненадежные. Это, как правило, дочери офицеров или высокопоставленных бывших чиновников. На работу в учреждения их не принимают, а на тяжелую физическую работу они сами не идут. Ну, а поскольку жить как-то нужно, они и идут горничными. Работы у них немного, а карточки они получают наравне с остальными.

На следующий день мы остались и без горячей воды, и без чая. Шоймош пропал. Катя вернулась с рынка с пустой сумкой, но зато принесла газету.

— Ты знаешь, кого я встретила! Лидию Семеновну, дочь хилокского попа. Она вместе с мужем, Zubовым, живет в Иркутске. Утром обещала зайти.

Не скажу, чтобы это сообщение обрадовало меня. Последняя и не особенно приятная встреча со старшим лейтенантом Zubовым врезалась в мою память.

Утром Лидия Семеновна действительно зашла к нам. Перебросившись с ней несколькими словами, я попросил извинения и засел за работу. Они же с Катей уселись в противоположном углу и шепотом стали разговаривать. Неожиданно Катя обратилась ко мне:

— Я рассказала Лидии Семеновне о наших трудностях с самоваром, и она предложила нам дров.

Мы обрадовались. Проводив Лидию Семеновну до дому, я принес от нее целую охапку щепы, которой нам должно было хватить по крайней мере недели на две.

Однако вскоре выяснилось, что щедрость Лидии Семеновны была отнюдь не бескорыстной. Дня через два она снова зашла к нам. Меня дома не было. Плача, она рассказала Кате историю о своем муже. Оказалось, Zubов после прихода в город красных где-то скрывался. Потом вместе с двумя царскими офицерами пытался бежать в Маньчжурию, но был пойман на гра-

нице. Теперь сидит в иркутской тюрьме, и ЧК расследует его дело.

— Разумеется, она затем и приходила, чтобы попросить нас помочь ее мужу, — закончила свой рассказ Катя. — Я сразу же сказала ей, что это исключено, но она очень просила меня рассказать обо всем этом тебе и чтобы я сама попросила тебя помочь им. Просить тебя я ни о чем не буду, а вот рассказать рассказала.

— Не сомневаюсь, что господин Зубов получит по заслугам. Расстреляют его или засадят в тюрьму лет на десять — не знаю. Я бы его расстрелял. И не за то, что он хотел бежать, а за то, что он творил при атамане Семенове. И если Лидия Семеновна надеется купить меня за охапку щепы, то она глубоко ошибается. Я не такой человек.

Наша жизнь в «Олимпии», можно сказать, шла нормально. Я целыми днями сидел за письменным столом и писал статьи для газеты или же правил корректуру. Выходил по утрам из дому, чтобы обсудить кое-какие вопросы в «Люксе». Вечерами же изредка шел на очередное собрание. Катя ухаживала за сыном. Иногда она ходила на рынок и на барахлишко выменивала там кусок масла или бутылку молока.

По вечерам к нам обычно заходил кто-нибудь из товарищей, живущих в «Люксе». Они приносили с собой краюху черного хлеба, мы ставили самовар и пили чай.

С продуктами тогда было очень трудно, но воодушевления у нас было хоть отбавляй. Рядом с любимой женой и сыном я был счастлив и не мечтал о другой жизни. Меня окружали товарищи. Я был целиком поглощен работой.

Мария Павловна в Иркутске

Мы не прожили в Иркутске и месяца, как однажды безо всякого предупреждения к нам заявила Мария Павловна.

— Не пугайтесь, — сказала она, прежде чем поздороваться. — Я приехала на пару дней. Очень хотелось посмотреть на вас.

С собой она привезла два мешка черных сухарей, килограмм сала, килограмм сливочного масла и длинный батон охотничьей колбасы. А в заключение объявила нам, что вышла замуж.

Она рассказала, что, вернувшись в Хилок, почувствовала себя очень одинокой. Ей нужен был человек, который постоянно находился бы около нее. С давних пор ее «атаковывал» один китаец, торговец, немного старше ее, который занимался делами китайских лавочников, расселившихся вдоль Забайкальской железной дороги, и был чуть ли не консулом. Раньше Мария Павловна и слышать о нем не хотела, а сейчас взяла да и вышла за него.

— Николай очень порядочный человек, — объяснила она. — Он хотя и настоящий китаец, но с детских лет живет в России и даже принял православную веру. Первая жена у него была тоже русская, но она умерла. Ко мне он относится очень хорошо. Буквально носит на руках.

Услышав, что сначала мы жили в гостинице «Люкс», Мария Павловна так и засветилась от радости.

— В гостинице «Люкс», это что на другом конце Графокутансовской? Хозяйна этой гостиницы я хорошо знала. Грохольский его фамилия. Сам он поляк, а жена у него украинка. Во время войны в гостинице помещали выздоравливающих раненых. Я тогда работала старшей сестрой. С Грохольским была в большой дружбе. Если он еще там, наверняка поможет вам.

Само собой разумеется, в тот же день Мария Павловна пошла в «Люкс». Домой вернулась с полным бидоном молока и буханкой белого хлеба.

— Я не ошиблась: бывшие хозяева гостиницы действительно мои хорошие знакомые, — с гордостью заявила теща. — Они страшно обрадовались мне. Одна женщина регулярно носит им молоко. Масла и яиц у них вдоволь. Каждый день они будут давать вам по бутылке молока, достанут масла и яиц. Только нужно будет сходить к ним и познакомиться.

Катя сначала наотрез отказалась от такого знакомства.

— Когда мы жили в той гостинице, я как-то раз попросила их вскипятить молоко, они согласились, но посмотрели на меня такими глазами, что больше уже я не осмеливалась зайти к ним.

— Но пойми же ты, они не знали, что ты дочь их хорошей знакомой.

— Мама, поверь: они ненавидят нас за то, что мы относимся к категории людей, которые отняли у них гостиницу.

Увидев, что дочери ей не убедить, Мария Павловна принялась агитировать меня.

— Андрей, будь хоть ты умнее! Объясни ей, что в данном случае от этого будет зависеть здоровье вашего сына. Сходите к ним разок. Ну один-единственный раз.

Разумеется, я не мог согласиться пойти в «Люкс» в гости к бывшим владельцам гостиницы. И в то же время было очень соблазнительно воспользоваться случаем, чтобы хоть как-то решить вопрос питания Кати и ребенка.

— Видишь ли, дорогая, — сказал я жене, — я прекрасно понимаю причину твоего возмущения и согласен с тобой. Я со своей стороны могу пойти в «Люкс» только по служебным делам. Но в данном случае речь идет не о том, чтобы принимать от кого-то подачки. За молоко и прочие продукты, которые нам удастся получить через них, мы будем расплачиваться по рыночной цене. Знаю, тебе будет неприятно ходить к ним за продуктами, но ради нашего малыша разве не сделаешь этого?

Катя задумалась. Злые огоньки в ее глазах постепенно погасли.

Потом, ни говоря ни слова, она наклонилась над кроватью малыша и поцеловала его в лобик.

Вызов в Москву

Мы не прожили в Иркутске и трех месяцев: неожиданно нас вызвали в Москву.

В город тем временем вошли части 5-й армии, которая до этого была расквартирована в Красноярске. Это событие с точки зрения укрепления позиций Советской власти в городе имело чрезвычайно большое значение. Оно же повлияло и на мою дальнейшую судьбу. В 5-й армии имелся большой пропагандистский аппарат. Выпускалась даже еженедельная газета на венгерском языке. Редколлегия фронтовой газеты состояла из трех талантливых венгерских интернационалистов, которые вместе со своей газетой переехали тоже в Иркутск. В результате издание нашей газеты становилось ненужным. Руководители нашей организации уже решали, какую работу поручить мне после того, как я освобожусь от обязанностей редактора.

До этого я как-то опубликовал в газете свою статью о реформе семейного права. Тема эта интересовала меня еще тогда, когда я учился на юридическом факультете Будапештского университета. Родился я не в рабочей семье, однако частично под влиянием книг Маркса, Энгельса, Бебеля, Эрвина Сабо и Жигмонда Кунфи, частично под влиянием ненависти к буржуазному обществу пришел к марксизму. Всю фальшь буржуазного общества, которая так поразила меня, я в первую очередь увидел на примерах развала семьи (на примерах положения женщины в семье, рождения так называемых незаконных детей и их печальной судьбы). Все это произвело на меня настолько сильное впечатление, что еще в университете, будучи студентом-юристом, я заинтересовался вопросами семейного права. Еще до первой мировой войны я причислял себя к марксистам, сблизился с членами социал-демократической партии, принимал участие в забастовках, писал статьи в газету социал-демократов «Непсаву» и в журнал «Социализмуш». Позже я написал статью, в которой с марксистских позиций критиковал положения о семейном праве, изложенные в Гражданском кодексе. Будучи в плену, я продолжал заниматься вопросами гражданского права и разработал некоторые принципы реформы социалистического семейного права.

Став редактором газеты, я время от времени помещал свои материалы на эту тему. После появления моей первой статьи о семейной реформе товарищ Шоймош посоветовал мне перевести эту статью на русский язык и послать в местную русскую га-

зету, поскольку иркутская партийная организация с трудом налаживает агитационную и пропагандистскую работу среди женщин, а статья на такую тему, опубликованная в партийном органе, была бы для них большим подспорьем.

Я последовал совету Шоймоша и послал статью в русскую газету. Несколько дней спустя меня вызвал к себе секретарь иркутской парторганизации товарищ Жданов. Он сказал, что с большим интересом прочел мою статью, которая затрагивает очень важную и деликатную часть партийной работы. Жданов попросил меня подготовить тезисы по этому вопросу и потом снова зайти к нему. Я, разумеется, с радостью согласился. Через несколько дней принес свои тезисы товарищу Жданову.

Несколько дней спустя Жданов снова вызвал меня к себе. Сначала поговорил со мной о тезисах, которые нашел очень интересными.

— Но тут есть одна заковырка, — сказал Жданов. — У нас, как партийного органа, нет права реализовать ваши предложения без одобрения из центра. Поэтому было бы очень хорошо, если бы вы поехали в Москву и там лично изложили свои мысли руководящим партийным работникам. А сейчас для этого есть возможность. С ликвидацией вашей газеты вы как бы остаетесь без работы. Наш партком принял решение направить в Москву архив шведского консульства, который мы конфисковали и опечатали по причине ликвидации последнего. Это примерно два вагона разных бумаг. Разбираться в этом архиве у нас нет возможности, да и не наше это дело. Мы решили направить архив в Москву, где лучше нас знают, что с ним делать. Упаковка архива и его транспортировка поручена губернской эвакуационной комиссии. Поскольку архив этот секретный, помимо сотрудников губернской комиссии, которые отвечают за техническую сторону дела, для сопровождения его необходим коммунист, которому бы мы доверяли и который отвечал бы за политическую сторону дела. Для охраны груза мы дадим начальнику эшелона вооруженного красноармейца. Если вы не будете возражать, мы назначим вас начальником эшелона.

Я с большой радостью принял это предложение. Товарищ Жданов пожелал мне успеха в выполнении задания и хорошего пути до самой Москвы.

Счастливым, я поспешил домой, чтобы сообщить Кате эту новость.

Эвакуационная комиссия поручила упаковку архива и его доставку на станцию двум товарищам, один из которых был венгр, другой — австриец. Венгром оказался мой друг Фери Хантош, бывший командир интернационального полка, который после расквартирования 5-й армии демобилизовался и стал работать при Губернской эвакуационной комиссии.

Когда я разыскал этих товарищей, работа по упаковке архива уже близилась к концу. Ферри Хантош очень обрадовался, узнав, что я еду вместе с ними.

— Если все будет хорошо, — говорил он, сияя от радости, — мы и из Москвы вместе поедem до самого Будапешта.

— Как раз в этом я не уверен, — ответил я. — Неужели ты не понимаешь, что пока наше место здесь? Я вообще удивлен, что ты демобилизовался.

— А тебе следовало бы понять меня. Я не случайно не вступил в партию. Что касается идей, то я полностью на вашей стороне. Ты ведь знаешь, что я с оружием в руках защищал революцию, более того, не раз смотрел смерти в глаза. Но жить хочу в Венгрии. Я об этом говорил и тогда, когда присоединился к интернационалистам, не скрывал, что, как только представится возможность, уеду к себе на родину. Ведь если бы я вступил в партию, она бы полностью распоряжалась мною. Сейчас идет обмен пленными. Я согласился на эту поездку потому, что надеюсь там, в Москве, быстрее попасть в число пленных, подлежащих обмену. А ты разве не хочешь вернуться домой?

— Как не хочу — хочу. Но если партии нужно, чтобы я пока оставался здесь, я останусь. Настоящий коммунист не должен мыслить иначе.

— А ты уверен в этом?

Он вышел и вернулся в сопровождении молодого красноармейца.

— Это товарищ Барат. Он должен охранять сопровождаемый нами груз. Парень из крестьянской семьи жил в деревне недалеко от Сегеда. Уже в восемнадцатом году вступил в Красную Армию, при белых сидел в тюрьме, потом снова воевал. Недавно оправился от ранения, которое получил в бою за Иркутск. Знаешь, как он мечтает попасть на родину?

— А что тут раздумывать? — удивился Барат. — Кто не хочет вернуться домой? Я жду не дождусь того момента, когда увижу родную Тису.

— Вот видишь, — заметил Хантош, обращаясь ко мне. — А ведь он тоже коммунист, и из породы воинственных.

— Разумеется, он хочет вернуться домой, — согласился я. — Каждый венгерский коммунист мечтает об этом. А скажите мне, товарищ Барат, вот вы сейчас вместе с нами приедете в Москву, а там партия скажет вам, что ехать на родину пока еще не настало время, нужно ехать на юг, бить Деникина или Врангеля, что вы на это ответите?

— Что отвечу? Приказ есть приказ. Слова императора Йошки Ференца были приказом, и его нужно было выполнять, а ведь тогда нас, бедняков, посылали на смерть ради интересов богатых. Так как же я могу теперь не выполнить приказ партии, которая служит интересам бедноты?

— Ну, вот, — махнул рукой Фери, — говорил же, что я не вашего поля ягода.

Через двое суток мы были полностью готовы к поездке, но прошла целая неделя, прежде чем мы получили вагоны и смогли выехать. Архивные материалы занимали полтора вагона, в свободной от бумаг половине вагона разместились мы сами. На верхних нарах расположились я с женой и ребенком, а Фери Хантош, товарищ Барат и австриец — на нижних.

— Навправление на Венгрию! — воскликнул Хантош, когда поезд отошел от иркутского вокзала.

— Не торопись, дружище, — остановил я его. — Пока направление на Москву!

Фери Хантош бросил на меня недовольный взгляд. Если бы он знал, что и Москва-то для нас пока была тоже утопией!

Дальнейшая судьба Фери Хантоша была невеселой. В Омске он работал в библиотеке имени Пушкина. Там женился. Год спустя, когда начался обмен венгерских пленных офицеров на коммунистов, томящихся в тюрьмах в Венгрии, Фери, у которого дома были родственники с большими связями, согласился, несмотря на свое революционное прошлое, чтобы и его занесли в список лиц, подлежащих обмену. В 1924 году он вернулся в Венгрию, был обвинен в большевизме и несколько лет жил под жандармским надзором. Пытался вернуться в Советский Союз, но бесполезно. В годы второй мировой войны его, как офицера запаса, мобилизовали в армию, признав годным для несения гарнизонной службы. Когда в 1944 году его хотели эвакуировать в Германию, он бежал и скрывался в Задунайском крае. С приходом Красной Армии его, как хортистского офицера, арестовали и выслали в Сибирь, в лагерь для военнопленных. Второй плен длился три года. В сорок восьмом году, уже пожилой человек, с сильной душевной травмой, он вернулся на родину. Но скоро эти раны зажили. Он жив и по сей день и стал убежденным коммунистом.

IV. ОМСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Командировка срывается

Через трое суток мы на рассвете прибыли в Омск. На станции нам сказали, что простоем с час.

Я принес кипятку, позавтракали. Стали ждать отправления.

Через какое-то время мы было тронулись, но вскоре выяснилось, что это только маневры, потому что наш состав дальше не идет и наши вагоны должны прицепить к поезду, который пойдет в Москву.

Прошел час, другой, а мы все не трогались с места.

Поздно вечером к нам пришел чекист с двумя вооруженными солдатами. Чекист заявил, что вагоны наши задерживаются, попросил, чтобы никто из них, кроме меня, не выходил. Меня же он попросил зайти на станцию и позвонить оттуда товарищу Каблукову в областной комитет партии.

Я позвонил Каблукову и начал объяснять ему, что выполняю приказ губернского комитета партии и решительно протестую против задержки вагонов с важным грузом.

Больше мне ничего не удалось сказать: Каблуков перебил меня:

— Товарищ, все это мы знаем. Волноваться нет причин. Дело это не такое, чтобы говорить о нем по телефону. Приходите завтра в десять утра ко мне, и я вас проинформирую.

Когда я вернулся к вагонам, чекиста там уже не было, а два часовых стояли на посту.

На следующее утро я в назначенное время явился к товарищу Каблукову.

Он объяснил мне, что вышестоящей инстанцией для Иркутского губернского комитета является Центральный комитет Сибирской области, а для Иркутского исполкома — Сибирский революционный комитет. Так что товарищи из Иркутска не имели права направлять архив шведского консульства и меня тоже непосредственно в Москву. Завтра ко мне придут уполномоченные ЦК, примут у меня оба вагона, беспартийного австрийца направят в местный лагерь, а нас, трех венгерских коммунистов, — в распоряжение Сибирского областного комитета.

— Что же касается ваших записок, товарищ, — продолжал Каблуков, — то вам прежде всего нужно представить их в Сибирский комитет, а там уже решат, что с ними делать: то ли обсудят на месте, то ли направят дальше, в ЦК партии. По этому вопросу вам надлежит обратиться к товарищу Горбачевой.

К Горбачевой я попал довольно быстро. Рассказал, в чем дело, и передал ей мои тезисы. Она быстро просмотрела их и вернула мне.

— Этих тезисов недостаточно для того, чтобы направить вас в Москву. Вы должны основательно поработать над ними, подробнее изложить свою точку зрения, и все это представить нам. Только после этого мы изучим вопрос.

Вернувшись на станцию, я не без труда разыскал наши вагоны: их уже загнали на другой путь, в нескольких сотнях метров от станции. Перед вагонами стояли два вооруженных часовых.

Катя сильно волновалась. Ушел я утром, пешком проделал немалый путь, а вернулся, когда уже стемнело. Австрийца нашего уже увели. Я успокоил Катю и двух моих соотечественников, сказав, что все в порядке и что завтра за нами придут товарищи.

На следующий день, часов в двенадцать, пришли представители ЧК и с ними венгерский товарищ, по фамилии Керекеш, которого за нами послали из областного комитета. Нагрузившись вещами, мы двинулись в город.

Сибирский областной комитет венгерских коммунистов

Товарищ Керекеш работал в областном комитете административным секретарем. От него я узнал, что областной комитет располагается в здании венгерской партийной школы, в которой бывшие венгерские пленные, рабочие и крестьяне получают политическое образование. Слушатели живут при школе. Председателем областного комитета был товарищ Бёллер, исполнявший одновременно обязанности директора школы. У него русская жена и маленький ребенок. Живут они тоже в здании школы. Остальные четыре члена областного комитета поселились неподалеку на частных квартирах. Преподаватели школы и ее сотрудники живут вместе со слушателями.

— Как вы думаете, товарищ, нас где разместят? — поинтересовался я.

— Двух ваших товарищей наверняка поместят к слушателям, а вот где поселят вас с женой и ребенком — не знаю. Небольших комнат в здании всего две: в одной из них живет товарищ Бёллер с семьей, а в другой размещается канцелярия областного комитета.

Потом товарищ Керекеш рассказал мне, что в Венгрии Бёллер был маляром, по убеждению анархистом, но в восемнадцатом году в Сибири вступил в Коммунистическую партию и в ряды Красной Армии, принимал участие в боях, при Колчаке сидел в тюрьме.

Заметив, что сказанное им удивило меня, добавил:

— То, что он в свое время был анархистом, имеет и свою положительную сторону. И вот почему. Мы никак не могли подобрать себе здание под школу. Несколько месяцев подряд нам только обещали. В марте, узнав, что это здание освободилось, мы попросили передать его нам, но жилищное управление отказало нам в просьбе. Тогда товарищ Бёллер со взводом интернационалистов просто-напросто занял здание. Жилищное управление потребовало, чтобы мы немедленно освободили его, на что Бёллер ответил, что нас можно принудить уйти из него только силой оружия. Жилищное управление, разумеется, тотчас же обратилось на нас с жалобой в партийные органы, но безрезультатно. За самоуправство товарищ Бёллер получил строгий выговор, но здание все-таки осталось за нами.

Товарищ Бёллер встретил нас исключительно радушно, внимательно выслушал и успокоил меня, сказав, чтобы я работал над своими записками. Он выделит мне для этой цели письменный стол в канцелярии и даст пишущую машинку до тех пор,

пока нас не направят дальше или не дадут здесь какую-нибудь работу. Пока же я могу помогать слушателям школы, а жена моя может преподавать русский язык. Питание мы будем получать в школе. Трудности будут только с нашим размещением, поскольку дать нам отдельную комнату пока нет возможности. До тех пор пока что-нибудь не придумаем, моя жена с ребенком днем будет находиться в его комнате, а ночью мы можем спать в канцелярии. Соломенные матрацы и одеяла нам дадут.

Я поблагодарил Бёллера. Жена Бёллера и Катя хорошо понимали друг друга и очень быстро подружились. Я же принялся за работу.

Я понимал, что такое решение проблемы с жильем временное и нам нужно искать возможность устроиться как-то иначе. И скоро такая возможность была найдена. В двухэтажном деревянном здании было два входа. Дверь с улицы была закрыта, и все ходили через двор. Раньше небольшую и узкую парадную прихожую использовали как кладовую. Теперь же мы открыли парадное, все вещи перенесли в сарай, а прихожую оборудовали под жилую комнату. В ней как раз устались две железные кровати и два стула, на один из которых мы ставили плетеную корзину, служившую нашему малышу люлькой.

Так было можно жить.

Дни летели в напряженной работе. Я трудился над своими записками для Сибирского обкома, а часа два-три в день диктовал Кате, которая помимо забот о ребенке преподавала в школе русский язык. К занятиям, разумеется, приходилось готовиться.

Так прошло дней десять.

Когда я сказал товарищу Бёллеру, что закончил свою работу и передал ее в Сибирский обком, он спросил меня:

— Ну, а чем вы думаете заниматься дальше?

— Думаю, что было бы целесообразно, если бы я работал в газете, пока не придет ответ из обкома.

— Вы, товарищ, заблуждаетесь, если думаете, что ответ придет быстро. Возможно, что вообще никакого ответа не будет, а если и будет, то не раньше чем через один-два месяца. А до того времени вам нужно найти серьезную работу. Я поговорю о вас с товарищами. Если русские товарищи решат, что вам нужно ехать в Москву, мы вас безо всякого отпустим.

Я хотел было возразить Бёллеру, объяснить ему, что газете нужен редактор, сослаться на то, что в Иркутске я уже редактировал газету, и, по мнению многих товарищей, редактировал неплохо. Но потом передумал и возражать не стал, решив, что если ко мне здесь нет должного доверия, то упорствовать не следует.

Вечером поделился своими мыслями с товарищем Керекешем. Он хитро улыбнулся и сказал:

— Старая песня. Большинство членов областного комитета — интеллигенты. Именно поэтому они неохотно идут на то, чтобы расширять свой состав новыми грамотными людьми. Нужно подождать и посмотреть, какую они подберут вам работу.

Долго ждать не пришлось. Уже на следующий день товарищ Бёллер сообщил мне, что через неделю на пароходе по Иртышу до Барнаула отправится экспедиция, состоящая наполовину из военных, наполовину из гражданских лиц. Русские товарищи просили включить в состав этой экспедиции одного венгерского коммуниста, который сделал бы сообщение о венграх, проживающих в тех краях. Областной комитет остановился на моей кандидатуре. Обратная экспедиция вернется через месяц. Если я хочу, то могу взять с собой жену.

Я не знал, что делать: злиться или радоваться. Видимо, Керекеш был прав: товарищи не хотели поручать мне серьезной работы.

«Возможно, это и к лучшему, — утешал я себя. — Экспедиция — дело интересное, а к тому времени, когда вернусь, возможно, уже будет решение по моим запискам и меня командировуют в Москву».

Вместе с Катей мы стали готовиться в путь.

Болезнь Кати

Но мы никуда не поехали. До отправления парохода оставалось трое суток, когда вдруг серьезно заболела Катя. У нее была высокая температура, и она жаловалась на сильные головные боли. Я узнал, что недалеко от партшколы живет врач, к которому товарищи уже не раз обращались в экстренных случаях. Доктор работал в нескольких больницах и домой приходил только поздно вечером. Денег доктор не брал, и именно поэтому беспокоили его только в крайних случаях. Вечером я пошел за доктором.

Осмотрев Катю, доктор пригласил в комнату меня. На его лице я не прочел ничего утешительного.

— Точно я вам не скажу, но вполне возможно, что у больной тиф, в легкой форме. Мы, русские, называем его «неопределенным тифом». Супругу вашу надо обязательно поместить в больницу.

Я высказал свои опасения за судьбу ребенка.

— Ребенка, разумеется, нужно поместить вместе с матерью. Кормящую мать в больницу кладут вместе с малышом, а о нем там позаботятся.

Доктор тут же написал направление в больницу и обещал достать машину.

На следующий день за Катей приехала машина скорой помощи. Я поехал провожать ее,

В больнице Катю и малыша сразу же отвели в приемное отделение.

Через несколько минут Катя вышла ко мне в сопровождении сестры, которая попросила меня пройти в палату и забрать вещи больной. Мы поднялись на второй этаж и вошли в палату, где сестра показала Кате кровать и удалилась, сказав, что сейчас принесет больничное белье и заберет ребенка в детское отделение.

Палата была огромная, коек на двадцать. Сильно пахло лекарством, а чистота была не на высоте.

Катя с беспокойством смотрела вокруг.

— Я очень беспокоюсь за ребенка, — сказала Катя. В глазах ее я увидел ужас. — Не хочу, чтобы его у меня забирали.

Я сам сильно волновался. Подошел к соседней кровати и бросил взгляд на висящий на спинке температурный лист: у больной был сыпной тиф. Посмотрел на спинку другой кровати: у больной был брюшной тиф. Возмущенный, я обратился к вошедшей в палату сестре:

— Произошло недоразумение. Врач не нашел у моей жены ни сыпного тифа, ни брюшного, разве что «неопределенный тиф», да и то это еще не точно. В этой же палате у вас лежат больные с тяжелой формой тифа. Если мою жену поместят в эту палату, она наверняка заразится тифом. Прошу вас, скажите врачу, чтобы ее перевели в другую палату.

Сестра молча вышла из палаты и через несколько минут привела врача.

— Что такое? — холодно спросил врач.

— А то, что мою супругу, у которой нет ни сыпного, ни брюшного тифа, хотят поместить в палату, где лежат больные с тяжелыми формами тифа. Это может сказаться на ее здоровье и на здоровье малыша. Прошу вас, переведите мою жену в другую палату.

— Об этом не может быть и речи, — решительно заявил врач. — Это мое дело, куда какого больного положить. Больных тифом мы не имеем права класть в палату, где лежат незаразные больные.

— В таком случае я не оставляю здесь мою жену. Пойдем, дорогая! — сказал я Кате.

— Больная останется здесь, — приказным тоном проговорил врач. — А вы немедленно покинете больницу, или я прикажу вывести вас силой!

Какое-то мгновение я колебался, потом схватился за кобурку и, выхватив револьвер, направил его в грудь врачу:

— Руки вверх! — закричал я. — Пойдемте со мной.

И доктор, и сестра подняли руки. Мы беспрепятственно вышли на улицу.

Перед больницей я остановил подводу и за фунт хлеба и пачку махорки уговорил возчика довезти жену с ребенком до дому.

Сообщил в областной комитет о болезни жены. Поездку мою на пароходе отменили.

В тот же вечер вызвал врача. Когда я рассказал ему о случившемся в больнице, он покачал головой и молча осмотрел Катю.

— Больной нужен полный покой, — проговорил доктор, закончив осмотр. — Ребенка кормить грудью, разумеется, нельзя. Молоко давайте ему из бутылочки, два раза в день тепленькую манную кашу или что-нибудь подобное. Больной пока давайте только жидкость: молоко, чай, лимонад. Я выпишу ей жаропонижающее, а завтра вечером снова зайду.

Для меня настали тяжелые дни. Каждое утро я шел на рынок за молоком, которое, к счастью, здесь можно было купить. Сахара и манки на рынке не было, но это мне удавалось достать на кухне. Днем я кипятил молоко, варил кашу, кормил и поил ребенка, выносил его на свежий воздух, ухаживал за больной, стирал пеленки.

Катя ни на что не жаловалась. Волновалась только за малыша и жалела меня. Я успокаивал ее как мог.

Каждый вечер приходил доктор. Он выписывал Кате все новые и новые лекарства, а когда температуру удалось сбить, разрешил ей есть.

Через две недели Катя стала поправляться.

Меня назначают милиционером

Когда здоровье Кати улучшилось, я пошел в обком партии к Горбачевой узнать, как обстоят дела с моими записками. Случилось непредвиденное: Горбачеву перевели на работу в Москву. О судьбе моей рукописи никто ничего не знал.

— Возможно, товарищ Горбачева забрала ваши предложения с собой и результат сообщит вам из Москвы, — сказала мне приемница Горбачевой.

Вернувшись в партшколу, я зашел к секретарю областного комитета. Товарищ Бёллер был в отъезде, и мне предстояло разговаривать с товарищем Пензешем. Я попросил его дать мне какую-нибудь работу.

— Правильно. Через несколько дней вы получите работу, — ответил секретарь.

Новой должности мне пришлось ждать недолго. На третий день, утром, ко мне зашел сотрудник областного комитета и передал, чтобы я по указанию секретаря поговорил с начальником железнодорожной милиции станции Называевская товарищем Бочко, который по служебным делам приехал на несколько дней в город. После обеда мне удалось поговорить с Бочко. В австро-венгерской армии он имел чин фельдфебеля. В пятнадцатом году попал в плен, в восемнадцатом году встал на сторону интернационалистов, командовал взводом, принимал

участие в боях за Советскую власть. При Колчаке целый год сидел в тюрьме. Несколько месяцев назад закончил омскую партшколу и был назначен начальником железнодорожной милиции на станцию Называевская, в ста двадцати километрах от Омска.

По штату в железнодорожной милиции должно было быть восемь человек, не считая начальника. Одно место было вакантным. Двое из семи были венграми-красноармейцами. В Омск товарищ Бочко приехал просить еще одного работника. В областном комитете порекомендовали взять меня.

— Мне сказали, что ваша жена только что перенесла тиф, еще не совсем окрепла. Вам лучше работать в деревне. Там свежий воздух да и с питанием полегче, чем в городе. Выздоровливающей женщине, которая еще кормит грудью ребенка, лучшего места не найдешь.

Вначале я в душе возмущился, зная, что во всем Омске среди венгров нет ни одного человека, кто мог бы писать, а меня во что бы то ни стало хотят вытолкнуть в деревню милиционером. Товарищ Керекеш был прав: интеллигенты, заседавшие в областном комитете, хотели поскорее отделаться от меня.

Товарищу Бочко я сказал, что подумаю над его предложением и поговорю в областном комитете.

— Пожалуйста, — ответил он мне, — но я вам советую не отказываться от этой должности, товарищ. Поверьте, работа у вас будет интересная, а для вашей супруги лучшего и не придумаешь. Прошу вас об одном, решайте поскорее, так как долго здесь задерживаться я не могу.

Я шел к товарищу Бёллеру, который только что вернулся из командировки, с твердым намерением откровенно высказать ему свое мнение.

Но он был не один. Кроме секретаря Пензеша у него сидели два венгерских товарища, которые приехали из Москвы, из центрального комитета венгров, для проверки Сибирской партийной организации венгров. Одного из них звали Аркошем, другого — Фехером.

— А вот и товарищ Шик, о котором я вам вчера говорил, — представил меня секретарь.

— А-а, это тот самый товарищ, который обязательно хочет редактировать газету? — произнес товарищ Аркош. — Так дело не пойдет. Тот, кто хочет стать революционером, не должен брезговать никакой работой. Мы слышали, что вас, товарищ, направляют на работу в провинцию, в милицию. Очень хорошее назначение. Там у вас будет возможность доказать на деле, что вы истинный революционер.

Наглый тон говорящего возмущил меня, но я все же сдержался. Спокойно, словно речь шла не обо мне, я объяснил, почему я считал, что меня целесообразнее использовать на работе в газете.

— Я не брезгую никакой работой, но интересы дела требуют, чтобы человек по возможности работал там, где он может принести больше пользы.

— Чего требуют интересы революционного движения, вы, товарищ, не знаете и в этом можете смело положиться на тех товарищей, которые руководят этим движением.

Товарищ Бёллер, которому не понравился топ, каким говорил со мной Аркош, попытался исправить положение:

— Принимая решение о назначении товарища Шика, мы учли и то обстоятельство, что жена его только что перенесла тяжелое заболевание и что для нее будет лучше пожить в деревне. Должен сказать, что болезнь эта спасла жизнь им троиц, так как пароход, на котором они должны были ехать, подвергся нападению бандитов. Все пассажиры до последнего человека расстреляны.

Меня охватило такое чувство, будто на плечи мне свалилась огромная тяжесть, но я каким-то чудом устоял.

— Благодарю вас, товарищи, за внимание ко мне. Предложение ваше я, разумеется, принимаю и постараюсь честно выполнять свои обязанности. Для моей жены и сына пожить в деревне будет полезно. Но только я прошу вас не думать, что в деревню я еду только ради жены и ребенка.

Я разыскал товарища Бочко и сказал, что принимаю его предложение.

Когда я рассказал обо всем Кате, бедняжка расплакалась и долго молча жала мне руку.

У. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МИЛИЦИЯ

Знакомство с работой

Жена у товарища Бочко была светловолосая, скромная и тихая женщина, вряд ли старше двадцати пяти лет. Когда мы приехали и Бочко сказал, что несколько дней мы будем жить у них, она, как мне показалось, обрадовалась этому.

— Прошу вас, товарищи, будьте как дома, — сказал Бочко. — Аннушка сейчас соберет нам пообедать. Продуктов у нас хватает. В селе я присмотрел для вас неплохую комнату, через несколько дней вы туда переберетесь, а пока поживете у нас. Жена ваша будет спать на моей постели, а мы с вами постелим себе на полу.

После обеда мы с Бочко пошли пройтись по деревне.

Дорогой он рассказал мне, в чем будет состоять моя работа.

— У нас теперь всего восемь человек, службу несут парами. Дежурная пара дежурит сутки с восьми утра до восьми следующего утра, потом они целый день свободны. На третий день с двух часов дня до восьми вечера, а на четвертые

сутки — с восьми утра до двух часов дня. Таким образом, каждый день на дежурстве находится четверка, а ночью двое.

Завтра вы отдыхайте, а послезавтра заступите на дежурство после обеда. Послезавтра на смену выйдем несколько раньше обычного, чтобы застать на станции предыдущую пару и познакомиться вас с ними. Из двух наших венгров один будет дежурить как раз послезавтра. Рассказывать о товарищах не буду, сами увидите, что они за люди. Русские товарищи — добрые крестьянские парни, все члены партии, иначе они не попали бы в милицию, но в идеях коммунизма мало что понимают. По субботам после обеда я провожу с ними занятия, на которых учу азбуке коммунизма. Думаю, что теперь этим займетесь вы.

На третий день я вышел на дежурство и за два дня пере-знакомился со всеми своими коллегами. Разумеется, в первую очередь меня интересовали венгры. Янош Пинтер и Гергей Борош у себя на родине оба были сапожниками, да и здесь они тоже сапожничали. Оба были женаты на русских, или, говоря точнее, каждый из них жил с русской женщиной. У товарища Пинтера в Венгрии остались жена и двое ребятишек. Правда, он этого не скрывал от женщины, и она знала, что после войны Пинтер уедет домой. Муж у этой женщины погиб на фронте. Жили они очень хорошо, дружно. В ином положении находился Борош. Он был холостяком и мог бы законно жениться, но даже и не помышлял об этом. По словам Пинтера, в Называевской у Бороша было немало приключений. «Жена» платила ему тем же, так что им нельзя было укорять друг друга.

Моральные принципы товарища Бочко

У Бочко мы ночевали три ночи. На третий день, когда я пришел с дежурства, Катя встретила меня с опухшим от слез лицом. Я испугался.

— Что с тобой, дорогая, уж не случилось ли чего с малышом?

— Нет, ничего. Меня расстроило совсем другое. Мы сегодня все утро проговорили с Аннушкой; бедная женщина залила мне свою душу. Этот твой подхалим Бочко самый настоящий зверь.

— Как так? Уж не бьет ли он жену?

— Хуже. Он замучил ее ревностью. Формально не женаты, и Аннушка уверена, что настоящего брака из этого не получится. Познакомились они в Омске, когда Бочко учился в партшколе. Аннушка полюбила Бочко. В Омске он ухаживал за ней, а зубы показал только тогда, когда привез ее сюда. Живут они здесь три месяца, и все это время бедная женщина живет как рабыня. Без мужа носа не может высунуть из

дому. Просила его, чтобы он разрешил ей работать (в Омске она работала в больнице). Здесь ее берут в местный совет, но муж и слышать об этом не хочет; как же: на работе жена будет разговаривать с посторонними мужчинами. Пока муж был в Омске, она нарушила запрет и как-то одна сходилa на рынок. Бочко, узнав об этом, пригрозил: если она еще раз позволит себе такое, он из нее урода сделает. Бедняжка так убита горем, что готова бежать отсюда, но боится. Все это она мне рассказывала со слезами и просила посоветовать, что ей делать. Умоляла ни в коем случае не говорить об этом мужу, да и тебе тоже. Поскольку с Бочко тебе говорить на эту тему неудобно, я даже не знаю, чем тут можно помочь.

— Еще как поговорю с ним! Только того и не хватало, чтобы коммунист так обращался со своей женой. Не нужно только говорить, что все это рассказала Аннушка. Будь спокойна, я найду способ поговорить с ним по душам и не выдать бедняжку.

Вечером перед переселением на свою квартиру я отозвал Бочко в сторону:

— Не сердитесь на меня, товарищ Бочко, за то, что я вам скажу. Сначала хочу спросить вас кое о чем как коммунист коммуниста, забыв на минутку, что вы мой начальник, а я ваш подчиненный.

— Ну что вы, товарищ, мы же не на службе.

— Тогда скажите, товарищ Бочко, почему вы издеваетесь над бедной женщиной?

— Я издеваюсь? Я лелею ее, как родное дитя, и берегу как зеницу ока.

— Именно об этом я и говорю. Если бы вы ее били, ей, возможно, не было бы так больно, как теперь, когда вы обращаетесь с ней как с рабыней, не разрешая даже из дому выходить.

— Я знаю, товарищ, что делаю. Мне не впервые приходится иметь дело с женщиной. Я придерживаюсь такого мнения: если женщина живет со мной, пусть на других мужчин не смотрит.

— А как вы такое поведение увязываете с принципами коммунистической морали?

— С моей коммунистической моралью все в порядке. Если нужно будет, я за Аннушку в бой пойду. Я ради нее работаю, но хочу, чтобы моя жена принадлежала только мне.

— Одним словом, вы коммунист, а равноправия женщины не признаете?

— Как же, признаю: у женщин такие же права, как и у мужчин. Они могут работать, учиться, перед ними все пути открыты, но уж если женщина вступила в брак, то тогда ее призыванье — быть хорошей женой.

— Ай, товарищ Бочко, а вы плохо усвоили азбуку коммунизма.

— Я ее знаю назубок, но там об этом ничего не говорится.

Помощь Василия Сергеевича

Комната наша в самом деле была неплохой. Просторная, светлая и, что самое главное, сухая. Единственный ее недостаток заключался в том, что вся наша мебель состояла из небольшого кухонного столика и двух табуреток.

— Я говорил с хозяевами, — объяснил мне Бочко, — они обещали дать два соломенных матраца. Ваш коллега Сидоров, старик Василий, обещал сделать для вас две деревянные кровати и стол побольше, но все это будет готово только завтра. А сегодня придется спать на полу. Если хотите, переночуйте у нас.

Мы решили остаться в своей комнате. Поставили плетеную корзину, в которой спал малыш, на табуретки, а сами легли на голом полу. Просто не верилось, что наконец-то мы были в своей комнате.

Назавтра я дежурил, так что весь день и следующую ночь Катя была одна.

Когда утром я пришел с дежурства, в комнате уже стояли две деревянные кровати и большой обеденный стол. Катя радостно сообщила мне, что старик Василий не мог спать до тех пор, пока не сколотил нам эти вещи. Вечером он сам на подводе привез кровати и стол. Катя спросила его, сколько мы ему должны. Старик ответил, что рассчитаемся потом.

Я решил разыскать добряка.

Два раза я дежурил с Василием и нашел его очень симпатичным.

Старик обрадовался мне, проводил в свой домишко и познакомил с женой. Это была пожилая, сгорбленная годами седоволосая женщина.

— Большое вам спасибо, Василий Сергеевич, — поблагодарил я старика. — Я, право, не знаю, как вас отблагодарить. Такое деньгами не оплатишь, но все же скажите, сколько я вам должен.

Старик улыбнулся:

— А разве вы только что не сказали, что такое деньгами не оплатишь? Доски мне дал товарищ Бочко, а работа моя и доброго слова не стоит. Мы ведь товарищи, не так ли? Давайте выпьем по стопке водки за здоровье вашей супруги и сыночка и будем считать это дело улаженным.

В ответ я расцеловал старика в заросшие щетиной щеки.

Смущенный, он молча пошел в угол и принес из шкафа бутылку с водкой.

Постигнуть искусство железнодорожного милиционера было нетрудно. Наша задача заключалась в поддержании порядка на станции и около нее, особенно во время прибытия и убытия поездов. Но поскольку в деревне не было своей милиции, то, разумеется, она тоже находилась в нашем ведении. Время от времени мы проверяли ларьки, торгующие на станции разной снедью, и ходили на рынок, где проверяли, у всех ли есть разрешение на торговлю. Воришек и торговков, у которых не было специального разрешения, мы задерживали.

Дежурить с русскими милиционерами было хорошо, но все же с ними мне было как-то не по себе. В субботу все они приходили вовремя на политзанятия, казалось, даже интересовались тем, что я им рассказывал, но сами почти никогда не выступали. Зато на дежурстве были бойкими. Кроме старика Василия все они любили поболтать, даже матюгались, без конца рассказывали неприличные анекдоты и громко смеялись. Я пробовал как-то влиять на них, но безуспешно.

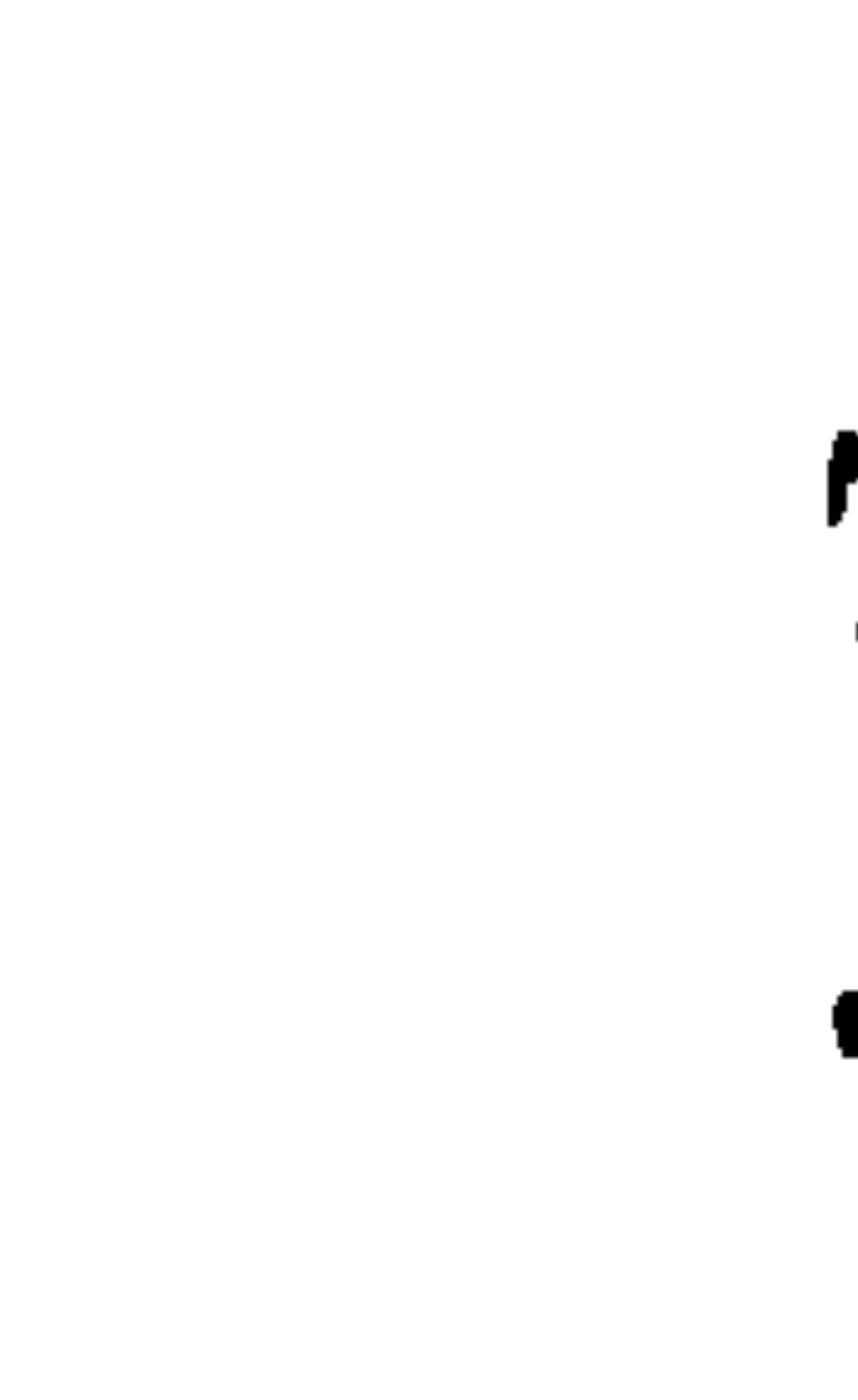
Собственно говоря, работы у нас фактически не было. Сидели в дежурке или расхаживали по перрону и вокруг станционного здания. Я даже не знаю, что бы мы делали, если бы случилось что-нибудь серьезное. Оружия у нас не было: имелся револьвер у начальника да старая винтовка у дежурного. И только. Практически оно нам было не нужно.

Не силой, а умением

За три месяца произошел один-единственный случай, когда мы пожалели, что у нас нет оружия. И случай этот чуть было не привел к серьезным последствиям.

Однажды из московского состава на станции отцепили один вагон, в котором ехало шестеро вооруженных до зубов матросов. От начальника станции мы узнали, что матросы самовольно отцепили вагон во время стоянки поезда. Затем двое из них явились к начальнику станции и потребовали, чтобы он загнал их вагон на запасной путь, а на другой или третий день прицепил бы этот вагон к составу, который идет на Москву. Начальник станции отказался сделать это. Когда же матросы стали угрожать ему оружием, согласился.

Мы не знали, что и делать. По приказу Бочко я пошел к матросам на переговоры. Они рассказали, что приехали из Петрограда запастись в этих местах мукой, крупой, маслом, салом и мясом. Поскольку в то время на деньги трудно было купить что-нибудь из продуктов, они предусмотрительно везли с собой для обмена на продукты спички, соль, керосин, ситец и прочее. Само собой разумеется, все это они раздобыли нечестным путем, да и вообще вся их «операция» носила сугубо частный харак-



Я ничего не понимал. Почему Бочко жалел этих преступников?

— Бедняги, — продолжал Бочко, — хорошо же они будут выглядеть, когда в Тюмени их встретят с пулеметами.

— С пулеметами? — удивился я.

— Да. Военный комендант Тюмени вышлет на станцию пулеметный взвод. Мы предупредили его. Если матросики не сдадутся по первому слову, всех их там и положат.

Только теперь я понял, что скрывалось за внешним безразличием Бочко.

Я пишу статьи

Постепенно я привык к милицейской жизни, хотя на первых порах мне было нелегко заниматься такой работой. Единственное, к чему я никак не мог привыкнуть, — это к ничегонеделанью. Сама служба, собственно, мало чем отличалась от ничегонеделанья, а наличие массы свободного времени прямо-таки угнетало меня. Не скрою, было приятно находиться возле жены, любоваться сынишкой, однако после кипучей иркутской жизни мне причиняла боль уже одна только мысль о том, что, в то время как мои товарищи сражаются с оружием в руках за идеи революции или же самоотверженно трудятся, я сижу около юбки жены и по существу ничего не делаю.

— Бездействие убьет меня, — жаловался я Кате. — Если бы ты знала, как я завидую нашим двум сапожникам и как жалею, что не знаю ремесла, занимаясь которым, мог бы приносить пользу себе и другим.

Неожиданно на помощь мне пришла Катя. Однажды вечером она спросила меня:

— А что, если тебе попробовать писать статьи на русском языке? Свои заметки ты смог написать по-русски, значит, сможешь писать и статьи. Я их немного подправлю, и ты отошлешь их в газету «Советская Сибирь».

Идея жены мне понравилась, и я принялся за работу. Написал две статьи: одну — о белом терроре в Венгрии, другую — о коммунистической морали. Катя внимательно просмотрела обе статьи. Грамматических ошибок в них было не так много, но вот над построением предложений ей пришлось поработать. Почтой я послал обе статьи в редакцию газеты «Советская Сибирь» на имя редактора товарища Ярославского¹. О себе в письме написал, что окончил на родине юридический факультет еще до войны, недавно редактировал в Иркутске венгерскую газету, а в настоящее время служу в Называевской железнодорожной

¹ Ярославский Емельян Михайлович (1878—1943) — один из старейших активных участников революционного движения в России, видный деятель Коммунистической партии Советского Союза, историк и публицист. — *Прим. ред.*

милиционером. В конце приписал, что, если статьи подойдут для опубликования в газете, буду регулярно присылать в редакцию свои материалы.

С того дня я с волнением ждал свежего номера газеты, которую мы в ту пору получали с запозданием и нерегулярно. Табак был тогда большой редкостью, и курили в основном махорку, сворачивая козью ножку из газетной бумаги. А поскольку и газетной бумаги не было (за несколько старых газет у крестьянина на рынке можно было выменять фунт сливочного масла или сала), не удивительно, что присылаемые нам номера газеты нередко «пропадали в пути». Короче говоря, их просто-напросто раскуривали почтальоны или железнодорожники. К моему огромному сожалению, я даже не мог узнать, напечатали мои статьи или нет. В тех нескольких номерах, которые дошли до нас, моих статей не было. Втайне я надеялся, что товарищ Ярославский лично ответит мне на письмо. А если этого не случится, значит, я не заинтересовал его своей писаниной. Но как узнать, опубликовали мои статьи или нет? Я, конечно, мог бы спросить об этом венгерских товарищей из областного комитета, но после происшедшего там разговора мне не хотелось обращаться к ним. Я решил ждать, авось меня как-нибудь пошлют в Омск в командировку, о чем как-то упоминал товарищ Бочко, а там мне будет нетрудно навести соответствующие справки.

Моя новая должность

Спустя месяца два после того, как я поселился в Называевской, товарищ Бочко впервые поручил мне сопровождать в Омск одного пойманного нами вора. «Ну, вот он случай, который поможет мне побывать у товарища Ярославского», — подумал я.

Сдав арестованного, я пошел в редакцию «Советской Сибири», но там меня ждало разочарование: товарищ Ярославский уехал в Москву и вернется только через неделю.

Огорченный, я пошел в партшколу. Первый человек, с которым я там встретился, был товарищ Керекеш, который сразу же огорошил меня новостью:

— Ну, дружище, от всей души поздравляю тебя с твоей статьей!

— Какой такой статьей?

— Ну с той, что ты написал для «Советской Сибири», статья о белом терроре в Венгрии. Она очень понравилась товарищу Ярославскому. Он даже позвонил нам по телефону. Спрашивал, почему такого «писучего» человека упрятали в деревню вместо того, чтобы устроить работать в газету. Наши товарищи были в большом смущении и с ходу сказали, что ты уже не в Называевской, а выполняешь какое-то важное политическое

задание. Такой ответ его удовлетворил, и он больше о тебе не спрашивал.

Разыскав номер газеты, в котором была опубликована моя статья, товарищ Керекеш дал его мне.

— А о другой моей статье ты ничего не слышал? — спросил я. — Называется она «О коммунистической морали».

— Такой статьи я не видел, хотя газету читаю регулярно.

Тот факт, что одна моя статья все же была помещена в газете и почти без изменений, и то, что товарищ Ярославский интересовался мной, окрылили меня.

Я зашел к товарищу Бёллеру.

— Хорошо сделал, что зашел ко мне. Я как раз хотел писать товарищам о тебе. Дело в том, что ты нужен для проведения одной важной политической работы. В двадцати километрах от Омска, на южной ветке, есть село Лузино. Там находится большой совхоз. В нем работает семьсот рабочих, большинство из них крестьяне-бедняки, и сорок венгерских коммунистов, которые были направлены туда после окончания в Омске партийной школы, чтобы помочь поставить хозяйство на ноги и проводить среди рабочих политическую работу. Товарищи не раз обращались к нам с просьбой, чтобы мы прислали к ним человека, который возглавил бы их парторганизацию, помог создать профсоюз, читал бы им лекции и тому подобное. Поезжай туда и поговори там с их руководителем товарищем Харанги. В милиции ты все равно долго не пробыл бы, так как есть указание всех милиционеров-венгров заменить русскими. Товарища Бочко мы откомандируем на фронт, на борьбу против Врангеля, а на его место пошлем нового начальника милиции — русского. Двух венгров, которые там находятся, мы тоже скоро мобилизуем в армию.

Поездка в Лузино

В Сибирь из Москвы ведут две железнодорожные магистрали: северная через Екатеринбург (Свердловск) и южная — через Челябинск. Обе ветки встречаются в Омске. Называемая находится на северной магистрали, в ста двадцати километрах от Омска, Лузино — на южной, в двадцати километрах от города. Поскольку в тот день поезда по южной ветке не было, я пошел пешком вдоль железнодорожного полотна. Пройдя с километр, сел на телегу, которая ехала в Лузино. Через несколько километров заметил товарный состав, который шел в сторону Лузино. Соскочив с телеги, побежал к полотну. Состав шел довольно быстро, и забраться в вагон оказалось не таким легким делом. На открытой платформе, груженной углем, сидело несколько человек. Когда платформа поравнялась со мной, кто-то протянул мне руку, и я взобрался на нее.

Не прошло и получаса, как мы были уже в Лузино, но состав шел на такой скорости, что прыгать на ходу было бы безумием. На первой остановке после Лузино, а случилось это через полчаса, я сошел. Ехать обратно в Лузино можно было только таким же образом.

Я забрался в третий крытый вагон и решил на любой скорости спрыгнуть в Лузино. К счастью, проезжая станцию, поезд замедлил ход, и я удачно «приземлился».

Было уже совсем темно. На станции мне показали дорогу, и минут через двадцать я был уже на месте.

Товарищ Харанги очень обрадовался мне. Познакомил меня со своей женой (ее звали Настасьей). Это была скромная маленькая женщина. Она руководила недавно организованным детским садом.

Меня сразу же ввели в курс дела. В совхозе работы было хоть отбавляй. Когда венгры приехали в хозяйство, там имелось немало необмолоченного хлеба прошлогоднего урожая, убранного еще при Колчаке. Сейчас же шел обмолот зерна. На обмолоте работали по шестнадцать часов в сутки, часто даже в воскресенье, причем работа в выходной рассматривалась как субботник и не оплачивалась. Питание было приличное. Помимо продуктов, выдаваемых по карточкам, на каждого члена семьи давали по фунту масла, по килограмму сала и килограмму мяса на месяц. Ребенку, кроме того, полагалось на день пол-литра молока и пятьдесят граммов сахара. Венгерские товарищи работали хорошо, с воодушевлением. Они понимали, как нужна эта работа: ведь все они окончили партшколу. Однако имелось два неблагоприятных обстоятельства. Во-первых, все работавшие в хозяйстве русские рабочие были из местных крестьян, которые мыслили по-старому; в политическом отношении они были лояльны, однако идеи до них не доходили. Они никак не могли привыкнуть к общественному ведению хозяйства, о чем красноречиво свидетельствует хотя бы тот факт, что, несмотря на хорошее питание и уход, в детский сад отдали только двадцать четыре ребенка, в то время как в совхозе их более сотни. Во-вторых, желание работать как следует пропадает еще и потому, что всем хозяйством, которое раньше принадлежало одному немецкому барону, руководил бывший управляющий имением. Управляющий получал высокий оклад и много продуктов, но хозяйство вел плохо. Венгры не раз заявляли об этом в различные инстанции, но безрезультатно.

Затем товарищ Харанги стал рассказывать, в чем будет заключаться моя работа.

— Чем вам следует заниматься по партийной и профсоюзной линии — это вы сами лучше меня знаете. Только для этого мы бы и помощи не просили. Главная цель — под каким-нибудь предлогом посадить в контору своего человека, который мог бы видеть, что там делается: правильно ли начисляется зарплата,

правильно ли выдаются продукты питания и тому подобное. Поскольку вы человек семейный, жить будете не в общежитии, а в отдельной комнате. Вам будет выплачиваться зарплата, как и всем остальным рабочим.

Потом он объяснил мне, что когда дело дойдет до переселения, то до Омска лучше добираться по северной ветке, до которой от Лузино всего семь километров. Правда, пассажирские поезда там не останавливаются, но товарные всегда снижают ход.

— Так что в Омске вы смело можете садиться на товарняк, а если товарищ Бочко попросит начальника станции, тот наверняка разрешит машинисту сделать минутную остановку в Лузино. Вы дадите нам телеграмму, и я с повозкой приеду за вами на станцию.

Было как раз воскресенье, и товарищ Харанги взял меня с собой на субботник, где я и познакомился с венграми. До обеда работал вместе с ними. Вместе и пообедали. Потом пошел на станцию и на товарняке добрался до Омска, а оттуда вечерним поездом выехал в Называевскую.

Прощание с Называевской

Катя, разумеется, обрадовалась тому, что мою статью напечатали в газете, но она не одобрила мою готовность поехать на работу в Лузино.

— Ты прекрасно знаешь, что я поеду с тобой куда угодно, лишь бы тебе было хорошо, но, по-моему, эта работа не для тебя... На твоём месте я бы написала Ярославскому письмо.

— Возможно, ты права, — сказал я. — С нашей точки зрения, так было бы лучше всего. Но если я напишу ему все как есть без утайки, то этим скомпрометирую только венгерскую парторганизацию. Не стоит ради собственного блага идти на это.

Товарищи по работе были опечалены моим отъездом.

В мое отсутствие товарищ Бочко уже получил распоряжение сдать дела.

— Ну, товарищ, настало время, — весело сказал он, — и мне проститься с милицией. Я еду на фронт, буду бороться против Врангеля.

Узнав, что меня направляют на работу в совхоз, он покачал головой:

— Неумное это дело. Лучше бы послали тебя на фронт политкомиссаром. От этого польза была бы. Вот только жена у тебя да ребенок.

— Ну, а вы как?

— Я уеду, а жена останется. Мы так договорились. Здесь останется или вернется в Омск, как ей будет лучше. Захочет — снова выйдет замуж.

— И вы так легко об этом говорите?

— Любовь — вещь хорошая, но революция для меня самое главное. Я понимаю, что у вас на этот счет свое особое мнение, а у меня — свое.

— А как же Аннушка?

— Поплакала немного, потом успокоилась. Сейчас сушит мне сухари на дорогу. В Совете ей уже сказали, что, если она хочет, может приходиться на работу.

По случаю моего отъезда товарищ Пинтер устроил прощальный ужин. Накануне он был на охоте и подстрелил трех зайцев. Хозяйка сделала замечательное жаркое, а сам Пинтер приготовил превосходную капусту.

Борош пришел на ужин с женой.

За ужином Пинтер рассказал, что он получил письмо от друга из Омска, который пишет, что началась отправка военнопленных на родину. Скоро всех пленных, которые хотят вернуться домой, соберут в одном месте и распределят по эшелонам.

— А вы что собираетесь делать?

— И мы с радостью домой поедем.

— Что касается меня, — сказал Пинтер, — то моя жена знала: рано или поздно конец будет именно таким. На меня она не жалуется: корову, двух свиней я оставляю ей и денег немного, а мужика себе она, если захочет, найдет.

— Ну, а ваша жена? — обратился я к Борошу.

— Я тоже оставляю ей кое-что.

— А как быть с вашими туфлями? — спросил меня Пинтер. — На днях я получу хорошую кожу и сошью вам две пары туфель, но как я передам их вам?

Пинтер давно обещал сшить мне и Кате туфли, но я думал, что он совсем забыл об этом.

— Если сошьете, письмецо мне пришлите, и я как-нибудь заеду за ними.

— На почту сейчас полагаться не приходится, — заметил Пинтер. — Если приедете недели через две, то наверняка все будет готово.

На том мы и порешили.

Простился я и с русскими коллегами. Все сожалели, что я уезжаю.

— Уезжаете, значит, от нас, — заметил один из них. — А жаль. Мы так сдружились, не правда ли? Ну да, конечно, там у вас работа будет получше, чем здесь.

— Почему вы так думаете?

— Потому что народная мудрость гласит: хорошо, где нас нет.

— А вы не думаете, что гораздо лучше работать там, где можешь принести больше пользы?

Старик Сидоров пришел ко мне домой попрощаться.

— Оно, конечно, лучше вам отсюда уехать, не для вас эта

работа, — заметил он, — по и не в совхозе ваше место. Что вы там будете делать? Крестьянских дел вы не знаете.

Я объяснил, что меня посылают для организации партийной и профсоюзной работы, но старику и это не понравилось.

— Это, точно, хорошо, но все равно не ваше это призвание. Крестьянам не слова, а машины нужны, учить их надо, как по-умному вести хозяйство.

— Все будет, дядя Василий. Этим занимаются те, кто учился этому: инженеры, агрономы, техники. А я займусь тем, в чем разбираюсь.

— Ну и бог с вами, желаю доброго здоровья и вашей жене с сынишкой.

VI. В СОВХОЗЕ

Переезд в Лузино

Переезд был связан с целым рядом трудностей. Товарищ Бочко упросил начальника станции, чтобы он дал указание машинисту остановиться на разъезде двадцатого километра. Я же сообщил Харанги о дне нашего приезда. И все же я волновался: у нас было много вещей. Даже в самом лучшем случае нелегко за минуту сойти с женой и ребенком, а тут еще вещи.

На деле же случилось худшее: поезд не остановился, а только замедлил ход. Вещи мы сбросили на ходу, потом спрыгнул я, а за мной Катя с ребенком на руках. Потом пришлось ходить вдоль насыпи и собирать вещи.

Харанги, который уже ждал нас, помог собрать вещи и уложить их на подводу.

Товарищи встретили нас хорошо, подыскивали теплую комнату. Домик был деревянный, как и все здания в поселке. В совхозе имелось кирпичное здание. В нем размещались контора и складские помещения. Снаружи дом от самой земли до окон был обмазан коровьим навозом, чтобы лучше сохранялось тепло. Изнутри его разделяли фанерные перегородки на три части. Вся обстановка нашей комнаты состояла из двух кроватей, крохотного столика и двух стульев. На одной кровати спал я с женой, на другой товарищ Брандль с женой. За фанерной перегородкой жил бухгалтер колхоза с женой и дочкой. Кухня, разумеется, была общей. Там стояла большая русская печь. В ней готовили. Одновременно она отапливала весь дом.

Корзину, в которой спал наш сын, днем мы ставили на кровать, а ночью на два сдвинутых стула. Товарищ Харанги обещал достать деревянную кровать.

Утром я принялся за работу. В течение всего дня рабочие были заняты своим делом, поэтому партийную работу мне приходилось проводить по вечерам. Каждую неделю я проводил собрание и политическое занятие. Днем же, сидя в крошечной

комнатке, которую мне отвели в кирпичном здании, занимался профсоюзными делами. В комнатке умещался только письменный стол да два стула. Я собирал взносы, выдавал профбилеты и различные справки, а полужагально осуществлял контроль, следя за правильностью вычетов из зарплаты и распределением продуктов.

Большая часть моего рабочего времени уходила на разбирательство всевозможных жалоб. Чаще всего жаловались женщины: одну обделили при раздаче продовольствия, другой вовремя не выдали пособие для рожениц или паек для ребенка. Я разбирался во всех этих делах и, если устанавливал, что в том или ином случае допущено злоупотребление, связывался с бухгалтером или с кем было нужно и просил исправить ошибку.

Помимо всего прочего я занимался распределением промышленных товаров, которые направляли рабочим из центра профсоюзов. Из всех моих обязанностей эта была самая главная. Распределить несколько катушек ниток, несколько десятков кусков мыла, десять — двадцать расчесок и прочие мелочи, между семьями рабочими — дело нелегкое. До сих пор удивляюсь, как мне удалось выйти живым из тех жарких боев, которые вели между собой желающие получить что-нибудь из промтоваров.

По поведению венгерских товарищей чувствовалось, что они учились в партшколе. Все они добросовестно работали, выступали на собраниях. Во время дискуссий мне даже приходилось останавливать их, так как они могли спорить вечно.

Одно щекотливое дело

Спокойную жизнь нашего коллектива нарушил один случай. Среди сорока коммунистов нашелся один, сознание которого оказалось не на высоте. Ошибку он допустил не в работе, не в политике, а в поведении в быту.

Венгерские товарищи, за исключением двоих, работали в совхозе. Сапожник Геренчер и портной Хаусер всю неделю работали в мастерских, а в совхозе появлялись только на субботниках. Кроме Харанги женат был только Геренчер. Его жена, светловолосая женщина, швея по профессии, русская. Супруги Геренчер весь день работали в мастерской вместе с Хаусером. Жили они в этой же самой мастерской.

Геренчеру перевалило уже за сорок, а его жене, которую звали Марусей, было лет двадцать восемь. Лицо ее нельзя было назвать красивым, но фигура могла навести на шаловливые мысли. Я не удивился, когда Харанги сказал, что в мастерской не все ладно. Геренчер еще раньше жаловался мне на Хаусера, который начал ухаживать за его женой, и не без успеха. Харанги пытался как-то успокоить Геренчера, ссылаясь на то, что

днем они всегда втроем, а на ночь Хаусер уходит в общежитие. Геренчер было успокоился, но однажды, вернувшись из конторы, застал жену целующейся с портным. Хаусер сразу же вышел из мастерской, чтобы, как он потом объяснил, «не превратить сапожника в инвалида». Хаусер действительно выглядел атлетом по сравнению со сгорбленным Геренчером. Тогда-то сапожник и избил свою жену. Харанги пытался поговорить с Геренчером, но бесполезно.

Я пошел в мастерскую. Жена Геренчера лежала на кровати и плакала. Муж крикнул, чтобы она вышла из комнаты. Она молча повиновалась.

— Что с вами, товарищ Геренчер, — начал я, — вы, видимо, забыли, что вы коммунист?

— Нет, товарищ, не забыл. Не забыл и того, что эта женщина моя жена.

— Ну и что? Уж не значит ли это, что вы можете бить жену, как собачонку?

— Нет, только как жену, которая путается с другим мужиком.

— Вы же знаете, что это неправда. В крайнем случае разведитесь, но избивать женщину нельзя, тем более коммунисту. Коммунист обязан показывать пример не только в бою и на работе, но и в личной жизни.

— Обязанности коммуниста мне известны. Когда нужно было сражаться, я сражался. И в работе не последний. А как мне обращаться с женой — это уже мое личное дело.

— А партия думает иначе. И если вы не измените своего мнения, то вам придется распрощаться с ней. Подумайте хорошенько. На днях у нас будет партийное собрание.

— Об одном прошу вас — уберите этого мерзавца из мастерской!

— Это мы решим. Но еще раз повторяю: подумайте хорошенько о том, что вы делаете.

Выйдя из мастерской, я столкнулся с женой сапожника.

— Скажите, пожалуйста, товарищ, что мне делать с этим страшным человеком? Год с ним живу, и жизнь не жизнь, а ад какой-то. Он еще в городе ревновал меня к каждому мужику, а теперь вот из-за Лайоша скандалит, бьет чуть ли не каждый день. Можете мне поверить, ничего у меня с Лайошем не было: поцеловал он меня раз, и все. Не скрою, Лайош нравится мне. Парень он красивый, степенный, веселый, вежливый.

— Ну, если дело обстоит так, тогда почему бы вам не сказать откровенно мужу, что вам нравится Хаусер и что вы не хотите больше жить с ним?

— Да с этим зверем разве можно говорить по-человечески? Он до смерти прибьет меня.

— Успокойтесь. Мужу вашему я уже сказал, чтобы он вел себя прилично. На днях мы поговорим с ним об этом на партсобрании,

Из мастерской я пошел в общежитие, чтобы разыскать там Хаусера. Тот сам выложил мне все.

— Мы с Марусей любим друг друга. Целоваться мы с ней целовались, а больше ничего у нас не было. Маруся — порядочная женщина. Мужа она не любит, да и как можно любить такого грубияна. Если бы она могла, развелась бы с ним и пришла ко мне. Рано или поздно так и будет. Здесь мы не хотим идти на скандал, но, как только выберемся отсюда, обязательно поженимся...

— Это уже ваше дело, — перебил я его, — но пока обещайте вести себя прилично.

— Я вам обещаю, но только помогите мне уйти из той мастерской, так как работать вместе с этим зверем я не могу.

На следующий день мы на парткоме обсудили этот случай и приняли решение:

1. Запретить товарищу Хаусеру работать в мастерской.

2. Товарищу Геренчеру объявить строгий выговор за некоммунистическое отношение к жене, а в случае повторения подобного поставить вопрос о его исключении из партии.

3. Обратить внимание товарища Хаусера и Геренчеровой на необходимость соблюдения правил коммунистической морали.

Через несколько дней партийное собрание единогласно приняло это решение.

Пока я находился в Лузино, мне больше не было необходимости возвращаться к этому делу. Геренчер из рамок не выходил, а Маруся и Хаусер не нарушали данного мне слова.

Много позже, когда я жил уже в Москве, я провожал один эшелон пленных венгров, отправляющийся на родину. Каково же было мое удивление, когда я увидел Хаусера с Марусей. Оказалось, что она развелась с мужем и теперьехала в Венгрию вместе с Хаусером.

Метель

Прошло несколько недель. Как-то я выбрался на два дня в Называевскую, чтобы взять там обувь.

Приехал я туда в полдень. Пинтер и его жена обрадовались мне. Обе пары были уже готовы. Пинтер ни за что на свете не соглашался взять с меня деньги.

— Как вы могли подумать об этом! — удивился он.

Потом он рассказал мне, что Бочко уже уехал, а в квартире его живет новый начальник милиции, русский командир. Анне он предложил остаться и жить тут же. Теперь она работала в Совете.

Вечером зашел Борош. Мы вместе поужинали.

— Ну, а где твоя жена? — спросил я.

— Была, да сплыла. Услышав, что я собираюсь домой, спуталась с железнодорожником-проводником, с которым до этого

занялась какими-то спекуляциями. Ну да все равно, недолго нам осталось здесь жить, проживу как-нибудь и без нее.

Утром Пинтер утащил меня с собой на охоту. Мы убили шесть зайцев. Двух из них он отдал мне.

Чтобы не ночевать в Омске на станции, я решил вскочить на проходящий товарняк, доехать до двадцатого километра, а там на ходу прыгнуть и пешком пройти семь километров до Лузино.

Около трех часов дня я был у сторожки двадцатого километра. Весело зашагал вдоль телеграфных столбов, думая о встрече с женой и сыном. Однако очень быстро стало темнеть, и я с трудом различал столбы. Потом поднялся сильный ветер, и начался снежный буран. Я начал дрожать от холода. Все, что я нес — обувь, зайцев, папку, — вихрь вырвал у меня и разбросал по снегу. Я собрал все силы, чтобы не упасть в сугроб и не замерзнуть в нем.

Я с большим трудом отрывал ноги от земли и шел, понимая, что остановка для меня равносильна смерти. Невольно вспомнились рассказы Харанги о том, что в окрестности водятся волки.

Мне стало страшно. Не знаю, сколько прошло времени, но мною овладела мысль, что я погибну и мои близкие больше не увидят меня. Силы оставляли меня, но я крепился.

Постепенно буран стал утихать, но ветер не прекращался, и было совсем темно. Я понял, что не погибну, но в какую сторону идти — не знал. Я несколько раз менял направление и шел, пока не увидел вдали мерцание крохотного огонька. Я пошел на этот огонек и примерно через час ходьбы вышел прямо на станцию Лузино. От нее недалеко было и до дома. Сознание того, что со мной ничего не случилось и что через несколько минут я буду дома, придало мне новые силы.

Увидев меня, Катя перепугалась. По одному моему виду она сразу все поняла. Уложив меня в кровать, влила мне в рот полстакана водки. Потом стала растирать меня снегом. За все это время она не произнесла ни единого слова. И только, когда я пришел в себя, она обняла меня. Слезы градом потекли у нее из глаз.

Я пишу пьесу

Помимо дел в конторе я решил вести воспитательную работу среди крестьян, которые оставались единоличниками.

Когда я заходил в какой-нибудь дом, меня принимали, иногда даже угощали самогонкой и с интересом слушали мои рассказы о коммунизме, о Советской власти, о союзе рабочих и крестьян. Временами кивали головой, но ничего не говорили. Заставить их заговорить я был не в силах.

Я подумал, что неплохо было бы пригласить единоличников на какое-нибудь собрание, и сказал об этом товарищу Харанги. И тут же предложил сделать доклад об аграрной политике Со-

ветского правительства и о союзе рабочих и крестьян и попробовать расшевелить крестьян, чтобы они разговорились и заспорили.

Харанги только рукой махнул.

— Напрасный труд. Я уж не раз пытался. Придет всего несколько человек, да и те будут молчать как рыбы. А если кто и заговорит, так только о том, что крестьянин не может нигде купить ни спичек, ни керосина, а по какому-нибудь пустячному делу нужно обойти десятки мест, но толку все равно не добьешься. Наше дело — наладить работу в совхозе, а если при этом мы сможем провести пропагандистскую работу среди работников совхоза, то это уже будет большим достижением. Нечего тешить себя иллюзиями.

Слова Харанги не успокоили меня. Я понимал, что крестьян интересовали не вопросы большой политики, а недостатки повседневной жизни: нехватка товаров, продовольствия, бюрократическая неразбериха. Вот о чем нужно было говорить с крестьянами. Им надо было объяснить, почему эти недостатки имеются и как от них избавиться. Разумеется, для такого разговора нужно найти подходящую форму, чтобы не отпугнуть крестьян.

Приближалось 7 ноября, третья годовщина Октябрьской революции. И вдруг в голову мне пришла мысль: а что, если все, что я хочу сказать крестьянам, облачить в форму пьесы и поставить ее 7 ноября после небольшого доклада. Уж на спектакль-то наверняка придет больше народу.

За несколько ночей я написал пьесу. В ней рассказывалось об одном крестьянине, который работал в совхозе. Однажды он узнал, что согласно постановлению его жене (она ждала ребенка) положено пособие и дополнительный паек, которых она не получала. Он пошел в район. Там его посылали из одного места в другое, но нигде крестьянин так ничего и не добился и ни с чем вернулся домой. По совету знакомого рабочего-коммуниста крестьянин подал в суд. Сидя в суде и дожидаясь своей очереди, крестьянин невольно присутствует при разбирательстве нескольких дел (о злоупотреблениях одного служащего, о спекуляции, о краже, которую совершил рабочий, чтобы накормить своего ребенка). В ходе этих разбирательств крестьянин начинает понимать, что во всех злоупотреблениях виноваты не органы Советской власти, а нечестные люди, причем многие недостатки молодому Советскому государству достались в наследство от старого буржуазного строя.

Суть всей пьесы сводилась к тому, что сегодня еще имеются трудности, но, если каждый будет честно работать и терпеливо переносить эти трудности, скоро настанет время, когда все уладится. Пьесу свою я назвал «Все мое время». Были в ней три женские роли, которые должны были играть Катя, жена Харанги и жена Геренчера. Мужские роли играли венгры.

На праздник пришло так много народу, что огромное здание зернохранилища (там мы ставили спектакль) было набито до отказа. Пьеса имела большой успех. Крестьяне от души посмеялись над произношением венгров, но сами сцены, особенно сцену в суде, восприняли серьезно. Мой расчет оказался правильным, и, хотя, видимо, мне не удалось переубедить крестьян, я заставил их по крайней мере задуматься.

Через несколько дней Харанги сказал мне, что пьеса моя понравилась не только работникам совхоза, но и многим жителям села, о ней много было разговоров, и вообще неплохо было бы поставить спектакль еще раз.

Обрадовавшись, я решил отослать пьесу в Омск, в издательство. Если пьесу напечатают, ее можно будет поставить и в других местах.

Знакомство с шурином

О Катином брате я знал только, что он попал в плен к немцам, дважды пытался бежать, но его поймали и посадили в Кюстрине в лагерь для штрафников.

В 1919 году, когда при белых мы жили вместе с Марией Павловной, теща и жена часто вспоминали о Шуре. Мария Павловна, которая была фанатично верующей женщиной, в то время в довершение всего была отравлена духом великодержавного национализма, не раз говорила, что ее Шура, возможно, давно уже вернулся в Россию и сейчас сражается в армии какого-нибудь монархистского генерала за родину и царя-батюшку. Такие рассуждения матери всегда выводили Катю из себя.

— Ах, оставьте, мама! — обычно говорила она. — И как только вам не стыдно! Такое говорите о Шуре! Я тоже верю, что он вернется живой и невредимый, а сейчас он, по всей вероятности, служит в Красной Армии.

Однако вплоть до осени двадцатого года мы ничего не знали о судьбе Шуры. В конце октября получили письмо от тещи. Она писала, что Шура нашелся.

«Ты была права, доченька, Шура действительно служит у красных и в настоящее время находится в Таганроге. Он начальник тамошнего гарнизона. В Россию он вернулся еще в семнадцатом году. На Украине вступил в Красную Армию, командовал полком в армии Буденного. Пишет, что здоров и в ближайшем будущем собирается навестить нас».

Мы с Катей несказанно обрадовались этой новости.

А в ноябре Шура заявился к нам. Я как раз был на собрании. Катя, захывшись, вбежала в зернохранилище и шепнула мне:

— Скорее приходи домой! Шура приехал!

Мой шурин оказался на редкость красивым молодым человеком. Ему очень шла казацкая шинель и буденовка со звез-

дой. С Катей (она была всего на два года моложе его) он обращался, как с маленькой.

Из письма Марии Павловны он узнал наш адрес и по пути домой решил заглянуть к нам, посмотреть, как поживает сестренка, и познакомиться со мной.

Шура прожил у нас трое суток. За это время привел в порядок нашу хижину, перечинил все худые кастрюли и часами играл с нашим сынишкой. Весь день рассказывал истории, одна интереснее другой: о том, как он жил в немецком плену, как сражался в Красной Армии против белогвардейцев.

Он хотел поскорее демобилизоваться и вернуться к мирной жизни. Чем он будет заниматься, этого он и сам не знал. Он с удовольствием пошел бы мыть золото или охотиться на пушного зверя где-нибудь в Якутии.

Уезжая, он обещал не пропадать и писать нам.

История одного пожара

Однажды вечером все переполошились: загорелась контора. Во время пожара я оказался в здании один: сидел и работал в своей каморке. Почувствовав запах дыма, открыл форточку и только тогда услышал крики с улицы. В коридоре было полно дыма. Выскочив во двор, я так и остолбенел — все здание было в огне. До сих пор не могу понять, каким чудом мне удалось тогда выйти живым из огня. Но брюки и полы пальто у меня все же обгорели. Сбросив пальто, я повалился на снег и сбил пламя.

Поднявшись, я увидел Катю. Ее удерживали двое мужчин. Увидев меня, мужчины отпустили ее, и Катя бросилась ко мне.

Как выяснилось, пожар заметили только тогда, когда все здание уже было в огне. Войти ко мне в комнату никто не рискнул.

Я успокоил жену и пошел помогать тушить пожар.

Колодец, из которого воду носили ведрами, находился в нескольких сотнях шагов от горящего здания. Потом кому-то в голову пришла мысль возить воду на быках. Но огонь не ждал, и потушить его было уже невозможно.

Деревянные хранилища сгорели дотла, а от основного здания остались только стены.

Утопия

На следующий день к нам заявила комиссия, в которую вошли и представители ЧК. Комиссия установила, что пожар явился следствием вредительства. По-видимому, на складе была большая недостача, и виновные в расхищении государственного добра решили подобным способом уйти от ответственности.

Подозрение пало на управляющего и еще на трех человек, которые сразу же были арестованы. Руководство совхозом временно возложили на главного бухгалтера и на одного чекиста, который выполнял обязанности контролера.

Крестьяне переполошились. Молодежь на чем свет ругала преступников и требовала строго наказать их. Старики же видели власти.

— Где нет настоящего хозяина, — говорили они, — никогда не будет порядка.

Венгерские товарищи были возмущены случившимся. Еще до пожара они не раз говорили о том, что дела в совхозе идут не так, как следует. После пожара венгры собрались на собрание, на котором товарищ Харанги выступил с неожиданным предложением.

— А что, товарищи, если попросить русских, чтобы они выделили нам часть совхоза, в которой мы образуем свою мультикоммуну. Нас здесь сорок человек, а если кто из русских захочет к нам присоединиться, — пожалуйста. И мы покажем неверующим крестьянам, что можно сделать общими усилиями. В коммуне все будет общее. Все вопросы, касающиеся руководства хозяйством и распределения продуктов, будем решать на общем собрании. Платных чиновников нам не нужно. Выберем правление из пяти человек, которые будут заниматься административными вопросами после рабочего дня, в порядке партийного поручения. Предложение Харанги товарищи одобрили. Только двое выступили против: Брандль и Геренчер.

— Я, товарищи, против такого предложения, — заявил Брандль. — По-моему, коммунистические принципы должны распространяться на организацию народного хозяйства и общественную жизнь, но не на личную жизнь. Люди все равны, но они не одинаковы и никогда не станут одинаковыми, да это и хорошо. Один человек меньше ест, другой больше. Один человек думает о завтрашнем дне, а другой живет только сегодняшним днем, и ему ни до чего нет дела. Мы не должны стараться быть умнее русских товарищей. Если они не считают нужным создавать коммуны, тогда зачем нам это делать? Товарищ Ленин тоже никогда не говорил, что людей нужно загонять в коммуны. Если же вы все-таки решите образовать коммуну, на меня не рассчитывайте.

Собравшиеся молча выслушали Брандля. Когда он кончил говорить, все зашумели.

— Кулачков-мещан нам не нужно!

— Скатертью тебе дорога!

О Бранdle и его жене ходила молва, что они скупы и откладывают деньги на черный день.

— Спокойно, товарищи, спокойно! — старался перекрычать всех Харанги.

Следующим выступал товарищ Геренчер,

— В принципе, товарищи, я за коммуны, но вот только не пойму никак, как можно построить коммуны, когда у другого ее нет? Это, товарищи, к добру не приведет. Я так считаю: раз мы хотим вступить в коммуны, пусть сначала все заведет себе жен, а то если на сорок мужчин будет всего три женщины, из этого получится бог знает что.

Поднялся невероятный гвалт. Все кричали, человек десять тянули руки вверх, желая выступить, но товарищ Харанги решил говорить сам.

— Не волнуйтесь, товарищи, спокойно! Спорить сейчас нет смысла. Жениться или нет — личное дело каждого. А пока на этом мы прения прекращаем. Я полагаю, что мы не будем выносить никакого решения. Это дело нужно как следует обмозговать. Через некоторое время мы снова соберемся и тогда все обсудим.

Все согласились с этим предложением.

Несколько дней венгры только и говорили что о коммуне. И хотя решение о создании коммуны не было принято, чувствовалось общее воодушевление.

В номере «Советской Сибири» от 7 декабря было опубликовано официальное сообщение о том, что с нового года все государственные предприятия и организации переходят с денежной оплаты на безналичный расчет через банк.

Это сенсационное известие мы обсудили на внеочередном собрании. Все единогласно сошлись на том, что факт этот имеет историческое значение, так как частичная замена денежных отношений есть не что иное, как первый шаг на пути перехода к коммунистическому обществу, в котором деньги вообще будут не нужны, поскольку за свою работу каждый будет получать все, что ему необходимо. На ближайшее воскресенье мы назначили общее собрание.

На собрание пришло довольно много рабочих совхоза, которые с нескрываемым интересом слушали доклад, но выступить никто желания не изъявил. Наконец слово попросил один старик крестьянин.

— Что сейчас деньги отменяют — мы не против. Их у нас уже давненько нет, так что мы немного потеряем. Я только одного не вразумлю. Вот тут товарищ говорил, что дело это обдумали товарищи наверху. До сего дня они жаловались, что крестьянин, который единоличник, значит, не хочет сдавать хлеб и скот ни за какие деньги. Так как же он теперь все это будет сдавать государству, если ему и денег-то никто не заплатит?

Слова старика потонули в общем шуме. Мне пришлось объяснить, что сейчас не идет речь об отмене денег вообще, что пока только государственные организации в расчетах между собой не будут платить наличными деньгами. Однако мое объяснение успеха не имело. И если венгры из совхоза приветствовали это мероприятие, видя в нем первый шаг на пути к комму-

лизму, то крестьяне, которые тоже рассматривали его как приближение к коммунизму, были этим обеспокоены.

На следующий день по желанию венгров мы снова собрались, чтобы обсудить вопрос о создании коммуны. В ходе споров выяснилось, что все, кроме Брандля и Геренчера, за коммуну.

Собрание поручило мне составить соответствующий документ, в котором и должен был изложить товарищу Тимофееву — заведующему сельскохозяйственным отделом — напи мои соображения относительно создания коммуны и попросить его поддержать наше начинание.

VII. ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Провал нашего плана

Садясь в поезд, я тешил себя надеждами. Сначала, само собой разумеется, заехал в партшколу. Руководители районного комитета, выслушав меня, только покачали головой.

— Это не наше дело. Коммунизм здесь будут строить русские. Венграм же скоро нужно будет собираться в дорогу, в Венгрию, вместе со всеми пленными. Наша задача — строить новую жизнь у себя на родине.

Мысль о создании коммуны так захватила меня, что я и не думал о возвращении в Венгрию, считая это делом будущего. Я полагал, что, создав коммуну и проработав в ней полгода или год, мы спокойно можем уехать домой с сознанием того, что здесь, в России, сделали что-то для строительства социализма.

Затем я позвонил в редакцию «Советской Сибири». Секретарша сказала мне, что товарища Ярославского нет в Омске, но сегодня он должен приехать. Я попросил ее напомнить Ярославскому обо мне.

В сельскохозяйственном отделе мне повезло. Когда я сказал секретарше товарища Тимофеева, что приехал из провинции, она сразу же доложила обо мне и сказала, что меня примут.

Я поспешил в Дом Советов. В приемной уже собралось человек десять. Часа через три очередь дошла до меня.

Рассказав о цели своего приезда, я положил на стол товарищу Тимофееву бумагу, в которой мы просили помочь нам техникой в создании коммуны.

Товарищ Тимофеев внимательно выслушал меня, затем прочел бумагу. Помолчав немного, он ответил:

— Дорогой вы мой товарищ, то, что вы придумали, делает вам честь. Вы истинные сторонники коммунизма. Ваши намерения, что и говорить, очень хороши, но в вашем плане есть одна ошибка: он нереален. Говоря о создании коммуны, вы забыли о трех вещах.

Во-первых, о том, что и в сельском хозяйстве мы хотим построить социализм, а это возможно только путем создания крупных хозяйств. Если бы мы могли, то сразу же по всей стране перевели бы сельскохозяйственное производство на рельсы крупных хозяйств, но сейчас мы не можем сделать это, так как для ведения крупного хозяйства нужны сельскохозяйственные машины, и в очень большом количестве. А до тех пор, пока мы будем давать сельскому хозяйству машины в небольшом количестве, нам придется поддерживать единоличное хозяйство и одновременно делать первые шаги, которые со временем приведут к крупному хозяйству. Там же, где от бывших землевладельцев нам достались крупные хозяйства, мы создадим большие совхозы. Число их будет расти, а когда мы займем достаточное количество сельскохозяйственных машин, крестьяне сами будут заинтересованы идти в крупные хозяйства, но это дело будущего. Всему, как говорится, свое время! Пока же крестьянина нужно убедить в том, чтобы он давал государству как можно больше хороших продуктов. То же, чего хотите вы — оторвать кусок земли от совхоза, — на деле означает не что иное, как шаг назад.

Во-вторых, вы забыли, что пока еще мы бедны. Вот вы просите у нас сельскохозяйственные машины, а ведь разве вам неизвестно, как мало у нас машин в хозяйстве, насчитывающем семьсот человек. И все же вы хотите, чтобы вам дали машины для хозяйства, в котором будут работать сорок — пятьдесят человек. Если бы у нас было столько сельскохозяйственных машин, что мы могли бы давать их коллективу в шестьдесят человек, тогда бы мы сразу же перевели наше сельское хозяйство на рельсы крупных хозяйств.

И еще одно. Вы венгры, бывшие военнопленные. А вы не думали о том, что ваша задача состоит отнюдь не в том, чтобы здесь, в России, организовывать коммуны. Вам нужно вернуться к себе на родину и там раздуть пламя революции, установить власть рабочих и крестьян.

Если же вы захотите навсегда остаться здесь, мы не возражаем, но тогда помогайте нам идти вперед, а не тяните нас назад. Работайте честно, как и прежде, или же организуйте свою коммуну, но только не в ущерб социалистическому хозяйству. Если вы решите поселиться здесь и заняться земледелием, мы дадим вам землю. Но только не совхозную, а свободную, целинную. Поднимайте целину и хозяйствуйте на ней. Кое-что мы вам, конечно, дадим взаимнообразно или же в аренду. На первое время, возможно, выдадим даже продовольственные карточки, но не больше. Если вы хотите создавать коммуну на таких условиях, пожалуйста, создавайте, но тогда вам придется отказаться от возвращения в Венгрию. А то может получиться так: вы с воодушевлением возьметесь за дело, а потом в один прекрасный день вам придет в голову, что поехать на родину

все же лучше, и тогда прощай коммуна, пусть ее строят русские.

Вот как обстоят дела. А теперь возвращайтесь к своим товарищам и передайте им мои слова: всему свое время! Сначала нужно создать социалистическую промышленность, а уже на ее основе поднимать и сельское хозяйство. Только после этого можно будет приступить к строительству коммунизма по всей стране. С горсткой людей, без соответствующей базы никакого коммунизма не построишь.

Встреча с товарищем Ярославским

После объяснений товарища Тимофеева я понял, какими наивными были наши планы. Мне было искренне жаль лужинских товарищей, которых революционный пыл привел к такой утопии. Мне было неудобно, что и сам я заразился их мечтаниями, вместо того чтобы вразумить их.

С невеселыми мыслями вернулся я в партшколу. Мне, разумеется, надлежало доложить в областном комитете о результатах моего разговора в отделе сельского хозяйства.

— Ну теперь вы хоть убедились в том, что мы были правы, — сказал мне товарищ Бёллер. — Поезжайте в Лузино и продолжайте работать. Долго вы теперь там не пробудете: скоро всех нас отправят в Венгрию. Об этом можете сказать нашим товарищам.

В областном комитете я промолчал о том, что намерен встретиться с товарищем Ярославским. Вечером мне позвонили и сказали, что утром в девять Ярославский ждет меня у себя на квартире.

С большим волнением я нажал кнопку звонка у квартиры Ярославского.

К моему удивлению, товарища Ярославского дома не оказалось. Дверь мне открыла его жена, товарищ Кирсанова — директор центральной Сибирской партийной школы. Она сказала, что мужа неожиданно вызвали на совещание, но он просил меня подождать.

— Выпейте со мною чаю, — предложила Кирсанова и пригласила меня к столу, на котором уже пыхтел самовар. — Мне на работу к десяти, но муж к этому времени наверняка вернется.

Только мы сели за стол, как пришел товарищ Ярославский.

За чаем он подробно расспросил меня о жизни. Когда я рассказал о моей милицеевской службе, Ярославский неодобрительно покачал головой. Узнав, чем я занимаюсь сейчас в Лузино, Ярославский с возмущением спросил:

— Как же так?! Мне ваши венгерские товарищи сказали, что в железнодорожную милицию вы попали по недоразумению и что они сделали все, чтобы вы получили соответствующее ва-

шим способностям назначение. Выходит, они ввели меня в заблуждение. Статья, которую вы мне прислали, свидетельствует о том, что вы, вопреки языковым трудностям, научились неплохо писать и по-русски. Я сказал об этом вашим товарищам и был убежден, что они перевели вас на работу в венгерскую газету или на другую подобную работу. Если бы я знал, что вы все еще сидите в деревне, давно забрал бы вас к себе. Ну что было, то прошло. Я сделаю так, чтобы вы работали у меня в редакции «Советской Сибири». Я давно ищу человека, на которого можно возложить обязанность заведующего иностранным отделом.

Возможно ли? Я снова стану журналистом, да еще в русской газете! О таком я даже во сне не мечтал.

Слова товарища Ярославского вернули меня из мира мечтаний к действительности.

— Что же касается вашей статьи о коммунистической морали, то она тоже хорошо написана, но только эта тема в настоящий момент не столь актуальна для нас. Сейчас мы обязаны заниматься самыми что ни на есть актуальными вопросами: нам необходимо отстоять Советскую власть от всех нападков внешней и внутренней контрреволюции, завоевать на свою сторону широкие круги крестьянства, восстановить разрушенное хозяйство страны. Все силы нужно использовать для пропаганды этих целей. Вы видите это, — Ярославский показал на стоящую в углу деревянную полку. — Вот сколько рукописей. Целые книги готовы для сдачи в типографию. Например, вот здесь лежит «Библия для неверующих» в нескольких томах и другие рукописи. Очень полезные и нужные работы, но сегодня они не самые актуальные. Придет время — и мы напечатаем их, а пока нужно писать не о морали и религии, а о союзе рабочего класса с крестьянством, вести борьбу против спекуляции и бюрократии, писать о задачах, стоящих перед народным хозяйством, о борьбе с империализмом и внутренней реакцией. Все остальное потом. Всему свое время!

Когда я сказал, что написал одну пропагандистскую пьесу как раз на эту тему, товарищ Ярославский заинтересовался ею и попросил оставить рукопись. Если он найдет ее подходящей, передаст в издательство. Я с удовольствием передал ему рукопись.

После этого товарищ Ярославский повел меня в редакцию. Она размещалась в бывшей гостинице. Почти все сотрудники редакции жили в этом же здании.

Усадив меня в своем кабинете, товарищ Ярославский попросил, чтобы к нему зашел товарищ Сидоров, сотрудник редакции, занимавшийся хозяйственными делами. Когда тот пришел, представил меня ему.

— Товарища Шика мы должны отозвать в Омск, он будет работать у нас в редакции заведующим иностранным отделом.

У товарища есть жена и маленький ребенок. Недели через две нужно будет подыскать для них жилье.

— Сделаем, товарищ Ярославский, все сделаем, — ответил Сидоров. — На днях из угловой комнаты уезжает в Москву товарищ Кузнецов, вот товарищ и займет его комнату.

Комнату мне показали. Она была просторная, светлая, с двумя окнами и удобной мебелью. О такой я и не мечтал.

Заполнив анкету, которую мне дал товарищ Сидоров, я вернулся к Ярославскому, чтобы поблагодарить его за все.

Переезд в Омск

Разумеется, Катя первой узнала от меня радостную весть. От радости бросилась мне на шею.

— Поверь, мне лучше там, где лучше тебе. Правда, малышу нашему здесь, пожалуй, лучше, чем в городе. Здесь такой хороший воздух, но тебе нужна другая атмосфера. Там у тебя будет работа, которой ты будешь доволен, а это самое главное.

Крушение плана о создании коммуны огорчило наших товарищей, зато все они были очень обрадованы известием о скором возвращении домой.

Ко мне подошел товарищ Брандль.

— Ну вот видите, товарищ, я был прав.

Наш жилец Прокопов, временно исполнявший обязанности совхозного бухгалтера, скорчил кислую гримасу, услышав, что я скоро покидаю их, да и все венгры тоже скоро уедут.

— Если венгерские товарищи уедут, не знаю, что будет с совхозом. Наши люди не очень-то сознательны. Венгры как-то воодушевляли их.

— Это не опасно, — успокоил я Прокопова, — если наши уедут, на их место из города пришлют хороших рабочих.

— Об этом я уже слышал. Не сомневаюсь, что в центре хотят все сделать хорошо, но вот только получится ли?

На рассвете мы выехали на санях. Стоял сорокаградусный мороз. В Омск приехали заколеченные. В городе нас ждало разочарование: комната, которую нам выделил товарищ Ярославский, была уже занята. В редакцию из Москвы приехал новый ответственный секретарь газеты с женой. Я хотел поговорить с товарищем Ярославским, но мне сказали, что он на каком-то совещании и сегодня в редакции его не будет.

В гостинице был большой зал, в котором размещалось отделение РОСТА (телеграфное агентство). В зале стоял громадный стол, на котором рисовали плакаты. Все наши вещи внесли в этот зал. В крайнем случае переспать можно было на столе. На день Катю и мальчика забрала к себе в комнату жена нового ответственного секретаря.

На следующее утро я рассказал товарищу Ярославскому, что мне негде жить. Он тотчас же вызвал к себе завхоза. Тот объяснил, что секретарь приехал неожиданно и его нужно было куда-то поместить, а другой свободной комнаты не оказалось.

Товарищ Ярославский стал просить завхоза устроить нас где-нибудь временно, пока не найдется подходящая комната.

— Вот видите, товарищ, как у нас бывает. Человек отдает распоряжение, а тут появляются непредвиденные обстоятельства. Завхоз по-своему прав: на нет и суда нет. Правда, для вас это не утешение. Но скажите, что я могу сделать? Садитесь на мое место и распоряжайтесь. Что бы вы сделали на моем месте?

Я был поражен добротой этого человека. Ничего сказать ему я, разумеется, не мог. В этот момент в кабинет снова зашел завхоз. Он сказал, что на первом этаже должна освободиться крошечная комнатка. Она, конечно, нам не подходит, так как нас трое. К тому же еще комната темная и сырая, но пожить в ней какое-то время можно.

Товарищ Ярославский с облегчением вздохнул.

— Я очень сожалею, что все так нескладно получилось. Передайте вашей супруге, пусть она наберется терпения на несколько дней, а там все уладим. Что же касается лично вас, то, пока мы не подыщем вам комнату под кабинет, поставим в моем кабинете еще один письменный стол, и вы начнете работать. Как видите, и здесь проявляет себя принцип: всему свое время.

Вместе с Ярославским

Три ночи мы спали на огромном плакатном столе, пока не освободилась комнатка на первом этаже. Видимо, это была кладовая, темная, с мокрыми стенами и такая крошечная, что, кроме кровати, в нее ничего нельзя было поставить. Катя с сынишкой спала на кровати, а я каким-то чудом умудрялся устроиться на полу.

Через две недели нам дали небольшую, но сухую и светлую комнату на втором этаже. В ней кроме кровати уместился письменный стол и два стула. Малыш наш все еще спал в корзине, которая днем стояла на кровати, а ночью мы ее ставили на два сдвинутых стула.

Несколько недель я работал в кабинете товарища Ярославского. Никогда не забуду этого замечательного человека.

Емельян Ярославский был человеком большой культуры, остроумным, добрым и отзывчивым. И всегда веселым. Бывало не раз, занимаясь чем-нибудь очень серьезным, он вдруг клал ручку на стол и запевал что-нибудь веселое.

Ко мне он относился прямо-таки по-отечески. Постепенно посвятил меня во все тайны коммунистической печати. Подробно объяснил мне задачи каждого отдела газеты, рассказал о наших технических возможностях, познакомил с запросами сибир-

ских читателей и тому подобным. Разумеется, больше всего он рассказывал мне о моих обязанностях, знакомил с внешнеполитическими событиями, учил, как их следует комментировать.

Каждый день я, как заведующий иностранным отделом, получал материалы РОСТА, содержащие последние новости, и свежие московские газеты (трех-, четырехдневной давности). Пользуясь этими двумя источниками, я должен был составлять известия из-за рубежа для нашей газеты. Помимо этой работы (в ней главную роль играли ножницы) я каждый день должен был писать один-два комментария на актуальную тему.

Эта работа мне особенно нравилась. Но тут меня кое-что сдерживало. Я, усвоивший основные принципы венгерской журналистики, всячески старался, чтобы мои комментарии были как можно интереснее и содержали не только пропагандистский материал. Я прибегал и к юмору, и к злой насмешке. Именно в этом я наталкивался на решительное сопротивление товарища Ярославского. Он безжалостно вычеркивал все предложения, в которых сквозила насмешка или юмор. Для Ярославского журналистика была делом серьезным. Газета, которую редактировал Ярославский, была полем битвы умов и идей.

Сердце у меня обливалось кровью, когда очередной комментарий, казавшийся мне особенно удачным, летел в корзину для бумаг.

Проработав несколько дней на новом месте, я пошел в областной комитет. Побаивался, что там на меня обидятся за то, что я, минуя их, устроился на новое место. Однако опасения мои оказались напрасными. Напротив, узнав, что я работаю у Ярославского, руководители комитета стали вести себя так, будто перемещение это произошло по их идее.

— Мы надеемся, что вы не забудете и о работе среди венгров, — сказал мне председатель комитета. — Новый редактор «Вёрёш уйшаг» товарищ Дорнбуш на днях жаловался, что ему в газету присылают очень мало статей. Поговорите с ним, какую помощь вы ему можете оказать.

Товарищ Дорнбуш, в отличие от старых интеллигентов, засевавших в областном комитете (они поспешили закрыть мне путь в редакцию «Вёрёш уйшаг»), сразу же попросил у меня помощи. И я регулярно начал писать статьи на политические темы, комментарии на зарубежные события, пропагандистские статьи и тому подобное для «Вёрёш уйшаг».

Товарищ Рихард Дорнбуш был истинным революционером, самоотверженным коммунистом, образованным марксистом и великолепным журналистом. Скоро мы стали не только коллегами, но и хорошими друзьями. Позже, в 1921 году, Дорнбуш переехал в Москву, затем был секретарем Бела Куна на Урале, позже опять находился в Москве на партийной работе.

В апреле 1921 года произошли большие события. На X съезде РКП(б) была провозглашена новая экономическая политика. Продразверстку заменили продовольственным налогом. На повестку дня был поставлен лозунг: «Коммунисты должны научиться торговать».

Очень многое из того, что раньше казалось непонятным, стало ясным. Мы поняли, что к коммунизму ведет не прямая ровная дорога, а трудный и тернистый путь. Чтобы каждый получил все необходимое, нужно создать изобилие. Новый мир придется строить с людьми, которые являются выходцами из старого мира. Потому их постепенно, шаг за шагом, нужно вводить в новую жизнь. Одним словом, всему свое время!

После съезда партии товарищ Ярославский в Омск не вернулся: его избрали секретарем Центрального Комитета партии.

В это время в газетах был опубликован Декрет Совнаркома РСФСР, подписанный товарищем Лениным, в котором сообщалось о создании Института красной профессуры. В этом учебном заведении члены партии, имеющие высшее образование и показавшие склонность к научной работе, повышали свои теоретические знания. Такой институт был создан по предложению Ленина. В него принимались коммунисты с высшим образованием, имеющие по крайней мере пятилетний стаж партийной работы. Принятые в институт в течение трех лет занимались научной работой.

У меня не было пятилетнего стажа партийной работы, но я подумал, что, возможно, приемная комиссия не будет столь строго подходить к коммунистам-иностранцам, поскольку партия заинтересована в подготовке ученых-марксистов и для других стран. Я написал товарищу Ярославскому письмо, в котором поинтересовался его мнением относительно моего поступления в Институт красной профессуры.

Через две недели я получил от Ярославского письмо. Вот что он мне писал:

«Дорогой товарищ! Письмо Ваше я получил. Ваше желание поступить в Институт красной профессуры мне понятно. Нам очень нужны ученые, а в будущем нужда в них станет еще больше. Однако в настоящее время перед нами стоит столько серьезных практических задач, что нам необходимо сосредоточить все свои силы на их решении. Я убежден в том, что Вы, как настоящий коммунист, отдадите все свои силы и знания практической работе и, набравшись терпения, переждете несколько лет, когда настанет время посвятить себя научной работе. Желаю Вам больших успехов в работе и доброго здоровья.

С товарищеским приветом. Емельян Ярославский».

Я все понял. Для меня еще не настало время учиться. Еще не кончились годы испытаний. Всему свое время!

VIII. КОМАНДИРОВКА

Направление в Петропавловск

Однажды утром меня вызвали в областной комитет и сказали, что со мной хочет побеседовать секретарь губернской парт-организации. Меня это удивило: русские вышестоящие партийные организации все вопросы к нам разрешали через венгерскую парторганизацию.

Мое удивление возросло, когда губернский секретарь встретил меня следующими словами:

— Я слышал, ваша жена давно не видела свою мать и хотела бы ее навестить.

Все это было настолько странным и неожиданным, что я даже не смог ничего ответить. А секретарь продолжал:

— Думаю, на днях мы смогли бы забронировать для вашей жены и ребенка два места в купе дальневосточного экспресса. Через три дня она будет у матери и два летних месяца пробудет там. А мы на это время вас, дорогой товарищ, мобилизуем. На вас возлагается очень ответственное задание. Вам сегодня же вечерним поездом следует выехать в Петропавловск. Как вам известно, мы направляем туда военнопленных, подлежащих отправке на родину. В пересыльном лагере несколько тысяч венгров ждут отправки на родину. В большинстве их привезли из областей, где они находились на сельскохозяйственных работах. Они не знают о положении в мире. О том, что произошло в Венгрии за последние два года, они или не имеют ни малейшего представления, или полностью дезинформированы. Перед дальней дорогой их необходимо просветить. Нужно будет провести с ними собрания, прочесть несколько лекций, то есть подготовить их к тому, что их ждет в Венгрии. По рекомендации венгерских товарищей эту работу мы поручаем вам. Даем вам на это две-три недели. Затем вы вернетесь в Омск и по нашему заданию объездите все города, находящиеся между Омском и Читой, где очень много венгерских пленных, которые до сих пор служат в частях Красной Армии или в ЧК. Несколько недель назад мы получили из Москвы распоряжение всех их демобилизовать и направить на родину. Распоряжение это мы направили местным органам власти, но они и в ус не дуют или же заявляют, что пока не могут выполнить его, так как венгров нечем заменить. Ваша задача и будет заключаться в том, чтобы распоряжение это было выполнено. На обратном пути вы заберете с собой семью. Ну, что вы на это скажете?

Что я мог сказать? Более интересного задания я и не представлял. Правда, мне было жаль, что я долгое время не увижу

жену и сына, однако сознание того, что они все лето проведут у Марии Павловны, под ее крылышком, успокаивало меня.

Поблагодарив секретаря за доверие, я заявил, что готов отправиться в путь.

Через час с мандатом Сибирского областного бюро и бумагами для Петропавловского районного комитета партии, а также специальным пропуском, дающим мне право выехать из Омска, я шагал домой.

Поезд отправлялся в четыре часа. Катя при расставании всплакнула, но потом взяла себя в руки. Мы наскоро пообедали, я взял с собой самое необходимое, простился с женой, поцеловал сынишку. В два часа за мной приехала подвода, и я поехал.

Дорожные осложнения

Когда мы приехали на вокзал, до отправления поезда оставалось двадцать минут. И только тут я вспомнил, что у меня нет билета. Если бы я показал свои бумаги, то, разумеется, беспрепятственно получил бы билет, но вся беда заключалась в том, что пробиться к кассе было просто невозможно.

Я вышел на перрон с мыслью сесть в поезд без билета. Однако все вагоны, за исключением штабного, были битком набиты людьми. В парткоме мне наверняка дали бы удостоверение, по которому меня безо всякого пустили бы в штабной вагон.

Я вошел в штабной вагон поговорить с его начальником. Показал свои бумаги и попросил разрешения доехать до Петропавловска.

— Пожалуйста, — ответил мне начальник, — тем более что вагон почти пустой. Едет всего человек шесть. Занимайте хоть целое купе, только имейте в виду, что мое разрешение еще не все, вы должны побеспокоиться о билете, если не хотите, чтобы вас ссадили с поезда как «зайца».

Поблагодарив начальника за доброту, я положил вещи в свободное купе, а сам вышел на перрон, чтобы оставшиеся десять минут немного прогуляться. В вагон сел только после второго звонка.

В купе я был один и никуда из него не выходил.

Вскоре началась проверка билетов. Этим занимались двое — проводник вагона и чекист. Проводник брал у пассажиров билеты и документы. Билет он пробивал компостером, а документы передавал чекисту. Когда дошла очередь до меня, я протянул свои документы проводнику.

— Пожалуйста. Вот мое удостоверение личности, вот пропуск на выезд из города, вот мандат Сибирского бюро и документы на поездку в Петропавловск, а вот билета у меня нет. Делайте со мной, что хотите.

Проводник молча передал мои документы чекисту и пошел дальше. Чекист же, даже не посмотрев на документы, сунул их себе в карман и сказал:

— Через два часа мы будем в Исиль-Куле. Там вы пойдете к уполномоченному ЧК.

Когда мы прибыли в Исиль-Куль, я бросился к уполномоченному. Окошечко его комнаты было закрыто. Перед ним стояло человек пять-шесть. Тут же были два вооруженных часовых.

Окошечко не открывалось, и поэтому кто-то из очереди постучал в него. Окошечко открылось. Сидевший за ним чекист сердито спросил, что нужно.

— Мы с поезда, нас направили сюда, — сказал стоявший в очереди первым.

— Значит, зайцы? — с издевкой спросил чекист. — Знаем мы таких. Вот поезд уйдет, я с вами поговорю. Всех вас отправим обратно в Омск, а там ЧК все уладит.

Стоявшие в очереди забеспокоились, начали объяснять, что они на это не рассчитывали и даже оставили вещи в вагоне, а поезд через несколько минут уйдет. Просили разрешения вернуться в вагон за вещами.

— Об этом не может быть и речи. Раз вы без билетов сели в поезд, расплачивайтесь за это. Пусть ваши вещи едут дальше. Вы же поедете обратно в Омск, — пробурчал чекист и закрыл окошечко.

Я понял, что чекист не шутит, и снова постучался в окошко. Чекист открыл его.

— Я уже, кажется, сказал, что, пока поезд не уйдет, разговаривать с вами не буду. Что вам нужно?

— Вы посмотрели мои документы?

— Не смотрел и не буду, пока не уйдет поезд.

— Как хотите, товарищ, дело ваше. Я только хочу обратить ваше внимание на то, что, если этим поездом я не уеду в Петропавловск, будут серьезные неприятности, отвечать за которые будете вы.

— Какие еще неприятности? Здесь ни для кого исключений не делается, — закричал чекист, но потом все же спросил: — Ваша фамилия?

Я назвал фамилию, и чекист разыскал мои документы. Печать Сибирского бюро и мой мандат, видимо, произвели на него впечатление, но он все-таки не хотел сдаваться:

— Если у вас такие документы, тогда почему вы не купили билет?

— Потому что я физически не смог этого сделать. Но дело не в этом. Если за проезд без билета полагается штраф, я уплачу. Сибирское бюро приказало мне завтра утром явиться в Петропавловский райком партии. Если я не выполню этого приказа, попаду под трибунал, причем вместе с вами, поскольку вы воспрепятствовали выполнению этого приказа. Поэтому про-

шу вас не отсылать меня обратно в Омск, а под охраной направить в Петропавловск и там сдать в ЧК.

— Хорошо! — Чекист подозвал одного из часовых и сказал ему: — Этого товарища посадите в вагон, доставьте в Петропавловск и там на станции сдадите дежурному вместе с документами.

Чекист отдал часовому мои документы, и мы пошли к поезду.

Дойдя до штабного вагона, часовой остановился (вагон для чекистов был в хвосте состава) и сказал:

— Идите в свой вагон, ваши документы останутся у меня. В Петропавловске явитесь к уполномоченному ЧК.

Поезд вскоре тронулся. Достав свою провизию, я начал закусьивать.

Мои попутчики — молодые красные командиры, двое из них с женами, — оказались неплохой компанией. На столе появилась еда и даже водка. Я стал рассказывать, какая со мной приключилась история.

— Все хорошо, что хорошо кончается! — подбодрил меня начальник вагона, с которым я разговаривал в Омске. — В Петропавловске вместе зайдем к уполномоченному и все ему объясним. А пока давайте выпьем за здоровье наших храбрых чекистов!

Спать мы легли только после полуночи.

В Петропавловске

Когда утром я проснулся, поезд был уже недалеко от Петропавловска. Я быстро собрался. Попутчики мои еще спали.

Как только поезд остановился, я взял свои вещички и пошел разыскивать уполномоченного ЧК.

Как и на станции Исиль-Куль, уполномоченный сидел в комнате с окошечком, словно билетный кассир. Окошечко было закрыто, но, к моему счастью, очереди не оказалось. Я был первым. Стучать не стал, полагая, что сопровождавший меня солдат еще не сдал мои документы дежурному.

Через какое-то время за мной выстроилась очередь.

Когда окошечко открылось, я увидел в нем чекиста со строгим лицом. Он сразу же спросил, что мне нужно. Я ответил, что приехал с сопровождающим, который должен был передать мои документы дежурному. Чекист с раздражением ответил, что никаких документов ему никто не передавал и что мне следует подождать.

Я вернулся на перрон и разыскал вагон, предназначенный для чекистов. Вошел в него, чтобы разыскать своего сопровождающего.

Нашел я его скоро, в первом же купе. К моему удивлению, он сидел на лавке и собирался пить чай. Я спросил его, где мои документы.

— Черт бы вас забрал, не дадут человеку даже чаю попить спокойно! — выругался парежь. — Вот ваши документы, забейте их и оставьте меня в покое.

Я выскочил из вагона и бросился к зданию вокзала. Неожиданно в голову мне пришла мысль, что петропавловский чекист у меня даже фамилии не спросил, а документы у меня на руках, так что незачем и идти к нему.

С чемоданчиком в руках я вышел на предвокзальную площадь. Несколько извозчиков дожидались пассажиров. Я сел в пролетку и сказал:

— В райком партии!

Извозчик, старик с большой бородой, хлестнул вожжами по лошадам, и мы поехали в город.

— Сколько я вам должен? — спросил я извозчика, когда мы остановились перед зданием райкома.

— Сорок миллионов.

У меня всего было пятнадцать миллионов. Эти деньги мне дали в Сибирском бюро на дорогу. Свои же деньги я оставил Кате.

— Подождите немного, — сказал я извозчику, — у меня такой суммы нет, но я сейчас достану.

Старик что-то пробурчал, но с козел не слез.

Войдя в здание райкома, я сказал, что приехал из Омска по заданию Сибирского комитета, и меня тотчас же провели к секретарю райкома.

— Прибыл к вам со специальным заданием Сибирского бюро, — доложил я и протянул свой мандат. — Но, товарищи, прежде чем мы начнем говорить, прошу вас, заплатите извозчику, который привез меня со станции. А то у меня не оказалось столько денег.

— А сколько он запросил?

— Сорок миллионов.

— Негодяй, — возмутился секретарь. — По постановлению самая дорогая плата — два миллиона. Приведите этого человека ко мне.

Старик сначала мялся, бормотал что-то, потом начал жаловаться на дороговизну сена. Когда же я сказал, что все его жалобы напрасны, так как денег у меня нет, пошел за мной.

— Сколько вы с него потребовали? — спросил секретарь старика.

В ответ старик снова заговорил о том, как дороги теперь овес и сено.

— Вы не крутите. Скажите, сколько он вам должен, и вам заплатят.

— Сорок миллионов.

— Хорошо, — сказал секретарь. — Садитесь вон за тот стол и пишите расписку, что вы получили сорок миллионов за доставку пассажира со станции до здания райкома.

Старик начал плакаться, что и писать-то не умеет, что ему уже давно за шестьдесят и что, хоть он и работает от зари до зари, не может даже как следует кормить лошадь. Сказал, что ему не пужно никаких денег, только отпустили бы его с миром.

Секретарь тихо, чтобы не слышал извозчик, спросил меня:

— Сколько у вас денег?

— Пятнадцать миллионов.

— Давайте их сюда.

Взяв у меня деньги, секретарь обратился к старику:

— Вот вам пятнадцать миллионов и уходите подобру-поздорову. А на будущее запомните, что закон есть закон. Если вас еще раз поймают, дело кончится плохо.

— Сохрани вас бог, — пробормотал старик и пошел к выходу.

Мне объяснили, в какой комнате найти секретаря венгерской секции товарища Асталоса, который подробно проинформирует меня о работе. Секретарь позвал секретаршу и распорядился, чтобы мне дали хлебные карточки и талоны на обед, а также бумагу в отдел, где мне немедленно предоставят комнату.

Я очень удивился тому, что в таком маленьком провинциальном городке можно было без лишних бюрократических манипуляций сразу решить столько вопросов.

Я набираюсь опыта

Товарища Асталоса я на месте не нашел. Мне сказали, что он вместе с остальными работниками венгерской секции проводит в лагере для военнопленных какое-то собрание и будет только к обеду. Оставалось более двух часов, и я решил сходить в жилищный отдел и заодно по дороге получить хлеб.

В жилотделе очереди не было. За окошечком сидела криливо одетая молодая женщина.

— Добрый день. У меня ордер на комнату, — сказал я и положил перед женщиной бумагу.

Женщина даже не посмотрела на записку.

— В настоящее время свободных комнат нет. Зайдите неделики через две.

Я начал объяснять, что приехал сюда в командировку всего на две-три недели, но это не произвело на женщину никакого впечатления.

— Я же вам по-русски говорю: комнат сейчас нет. А на вашу бумажку вы получите ответ в течение двух недель, считая с сегодняшнего дня. Ничего другого я вам сказать не могу.

Я заявил, что меня ее ответ не удовлетворяет и что я хочу поговорить с заведующим жилотделом. На это женщина ответила, что заведующий на совещании и сегодня его вообще не будет. Я спросил, можно ли видеть заместителя. Оказалось, что

женщина эта и является заместителем заведующего жилотделом.

Я молчал.

— Если хотите жаловаться, обратитесь в комитет рабоче-крестьянского контроля. Улица Карла Маркса, дом шестнадцать.

Я вернулся в райком. По дороге зашел в булочную.

В булочной народу не было. За прилавком стояли три продавщицы. Когда я сказал им, что хотел бы купить хлеба, они ответили, что хлеб кончился еще час назад. Его начинают продавать с шести утра.

— Во сколько нужно занимать очередь? — поинтересовался я.

— Кто встает в два часа ночи, кто в три. Некоторые занимают с вечера.

Я вернулся в райком и дождался товарища Асталоша.

Рассказал ему о своих хождениях. Он сначала посмеялся, а потом стал утешать меня.

— Жаль, что вы сначала не поговорили со мной. Положение у нас сейчас не из легких. Но мы делаем все, что в наших силах. Что касается жилья, то поселитесь у нас. Я с женой и еще один немецкий товарищ живем в одной комнате. Хозяйева у нас хорошие. Думаю, удастся уговорить их временно поставить еще одну кровать. Вопрос с питанием тоже решим. Как раз сейчас пойдем обедать. Правда, обед не бог знает какой, но все же обед. А вечером перекусите что-нибудь у нас. Завтра же утром сходите с моей женой на рынок. Если у вас есть что-нибудь из одежды — променяете на еду. Если нет, найдем какую-нибудь рубашку или брюки и выменяем на них что-нибудь. За брюки получите столько хлеба, масла, сала и яиц, что по-господски на целую неделю хватит. А потом видно будет.

Ресторан находился в четверти часа ходьбы от райкома. Когда мы подошли ближе к ресторану, в нос мне ударил какой-то неприятный запах. Я спросил Асталоша, что это такое. Асталош несколько смутился и рассказал, что несколько дней назад петропавловский продотдел получил много мяса, а поскольку холодильников нет, оно стало немного пахнуть. Но врачи говорят, что его спокойно можно употреблять в пищу. Вот в ресторане его и дают каждый день.

Когда же мы вошли в ресторан, запах был настолько нестерпимым, что мне стало нехорошо. Когда же передо мной поставили тарелку супа, в котором плавал огромный кусок мяса, я не смог даже попробовать этот суп. К супу дали по тоненькому кусочку плохо пропеченного черного хлеба. Его я съел. Зато товарищ Асталош, к моему огромному удивлению, хлебал свой суп, а потом съел более половины мяса.

Потом нам подали по чашечке черного кофе. По словам Асталоша, его делали из сушеной моркови. Кофе, разумеется, был без сахара. Его я выпил.

— Вот видите, — начал Асталош, когда мы вышли из ресторана, — Карл Маркс был абсолютно прав, когда говорил, что революция отнюдь не пахнет розами.

Первые впечатления от Петропавловска сильно испортили мне настроение, но вечером, сидя у Асталоша, я немного пришел в себя. Сам Асталош, его жена — худая и бледная, но всегда веселая русская женщина — и немецкий товарищ приняли меня как своего, разделив со мной по-братски свои скромные запасы провизии (черные сухари, масло и сало). Рассказывая о своей жизни в Петропавловске, они шутили, пытались поднять у меня настроение. И только за чаем, который затянулся допоздна, рассказали мне о кулацком мятеже. Его подавили совсем недавно.

Утром я пошел на рынок вместе с женой Асталоша. По ее совету я решил обменять на продукты свой старенький свитер (благо было уже тепло) и рубашку (всего их у меня было три). На эти вещи должен был выменять провизии на целую неделю. Я, правда, сомневался, но жена Асталоша оказалась права. Один крестьянин дал мне за эти две вещи килограмм сала с походом, фунт масла и восемь штук яиц.

Решив вопрос с жильем и питанием, я мог приступать к выполнению порученного мне задания.

Прощание с пленными

Я обходил все новые и новые лагеря. На широких просторах Западной Сибири в только что созданных совхозах работало много венгерских пленных. Всех временно собрали в находившиеся в Петропавловске лагеря, откуда один за другим отправлялись в Венгрию эшелоны с пленными. Их-то мне и предстояло просветить. Я рассказывал пленным о событиях, происшедших в России и Венгрии. Многие из них имели очень смутное представление о революции в России и тем более о событиях в Венгрии, о венгерской революции, о Венгерской советской республике, о белом терроре. Были такие, которые не верили ни одному моему слову. Я показывал пленным венгерские газеты, которые попадали к нам из Москвы. Большинство пленных с интересом, но не без страха читали эти газеты. Однако находились такие, что верили и печатному слову.

— Эти газеты наверняка печатали в Москве, чтобы сагитировать нас, — говорили некоторые.

— Но, товарищи, поймите же вы наконец, — объяснял я им, — мы вас не собираемся ни агитировать, ни отговаривать от поездки на родину. Мы хотим только, чтобы вы знали, куда вы едете. Чтобы для вас не было неожиданностью то, что вы увидите.

Я приходил на станцию и говорил венграм прощальные речи перед их посадкой в вагоны. Перед отправкой одного такого эшелона после моей речи слово попросил один товарищ, на которого подействовало мое выступление.

— Товарищ, передайте нашим русским братьям, что у них мы научились делать революцию и, вернувшись на родину, покажем господам где раки зимуют.

Такая реакция на мое выступление отнюдь не обрадовала меня. Среди огромного количества пленных, возможно, мог найтись негодяй, который по приезде в Венгрию мог шепнуть на ушко лакеям Хорти о «красном» венгре. Узнав фамилию выступавшего, я в тот же день позвонил товарищам в Омск и попросил их немедленно сообщить в Москву, где шло окончательное формирование отправляющихся в Венгрию эшелонов, чтобы этого товарища сняли с этого эшелона и отправили с другим. Перед отправкой следующих эшелонов я делал так, чтобы после моего выступления никто никаких речей не произносил.

Важное задание

Когда после трехнедельного пребывания в Петропавловске я вернулся в Омск, меня ждала неожиданность: я не нашел венгерского областного комитета. Оказалось, что, пока я был в командировке, центральные сибирские партийные и государственные организации перевели в город Новониколаевск, который стал теперь центром Сибири. Вместе с русским Сибирским бюро переехал в Новониколаевск и венгерский областной комитет. Мне было оставлено распоряжение немедленно выехать туда же для получения дальнейших указаний.

По приезде в Новониколаевск я получил копию приказа Наркома обороны и распоряжение председателя ЧК, согласно которому нужно было немедленно демобилизовать венгров, находящихся на службе в Красной Армии или в военных частях ЧК, и направить их в эвакуационный комитет. Я должен был побывать в Красноярске, Иркутске, Верхнеудинске и Чите, связаться с секретарями губернских партийных комитетов, а также с военными начальниками и ЧК с целью поторопить их выполнить приказ, который они уже получили официальным путем. Поскольку некоторые начальники и парткомы по тем или иным причинам могли тормозить выполнение этого приказа, я должен был потребовать, чтобы они дали письменное объяснение вышестоящим властям. В Сибирском бюро мне выдали соответствующий мандат. Выехать я должен был ближайшим скорым поездом.

В венгерском областном комитете мне дали письма к венгерским парткомам в Красноярске, Иркутске и Верхнеудинске, в которых им предлагалось обеспечить меня жильем. Новониколаевские товарищи на словах сказали мне, чтобы по приезде в Иркутск я шел прямо в партшколу, где меня сразу же устроят

с жильем, в Чите же, где нет венгерской парторганизации, мне с моим мандатом пужно явиться в Дальневосточное бюро, где обо мне позаботятся русские товарищи.

Я получил разрешение по дороге туда на два дня заехать в Хилок, а на обратном пути забрать Катю с сыном в Ново-николаевск.

Женщина с трудной судьбой

В Красноярске я раньше никогда не был. Дел тут у меня было немного. Венгерских военных я в городе не нашел, так как венгерские интернационалисты еще год назад вместе с 5-й армией ушли в Иркутск, а процесс демобилизации венгров-чекистов уже шел вовсю. На следующий день поехал дальше.

На красноярском вокзале прибытия скорого поезда на Иркутск ждало всего-навсего двое: я и женщина лет тридцати — сорока. Когда объявили о прибытии поезда, женщина подошла ко мне и попросила помочь ей сесть в вагон. Носильщиков в те времена на сибирских вокзалах не водилось, и я помог женщине. Мы попали с ней в одно купе. Разговорились.

Звали женщину Маргаритой Карловной. Она вдова, по профессии преподавательница музыки (по классу фортепьяно). У нее заграничный паспорт. Едет она во Владивосток, а оттуда в Европу, в Швейцарию. Отец ее был богатым купцом в Красноярске. Незадолго до войны умер, мать скончалась еще раньше. Перед самой войной Маргарита Карловна вышла замуж за инженера. Мужа призвали в армию. Служил он в артиллерии. Погиб на фронте в пятнадцатом году. У Маргариты Карловны было два брата. Один из них еще студентом был замешан в подпольном движении и провалился. В восемнадцатом году белые казнили его как большевика. Другой был офицером царской армии. В гражданскую войну всевал на стороне белых, стал начальником отдела контрразведки. В двадцатом году его поймали большевики и расстреляли.

— Представляете себе, в каком я положении. Когда-то я училась живописи и музыке. Политика никогда не интересовала меня, да я в ней ничего и не понимала. Красные кажутся мне такими же чужими и непонятными, как и белые. В Красноярске я давала уроки музыки и жила сносно. Но я не могу жить в стране, где я потеряла всех своих родных. Мать моя родом из Швейцарии, кое-кто из родственников и сейчас живет в Цюрихе. Пригласили меня переехать жить к ним. Быть может, там мне удастся начать новую жизнь.

Четверо суток в Иркутске

Поскольку денег на извозчика у меня не было, по приезде в Иркутск я сдал свой чемодан в камеру хранения и пешком пошел в город.

Остановился в здании партийной школы. Училось в ней более сотни венгров, все бывшие красноармейцы. Они были внесены в список лиц, подлежащих отправке в Венгрию.

— Здесь, как и в Красноярске, я не задержусь, — сказал я начальнику школы. — Начинаю думать, что командировка моя была ненужной.

— Делать такие заключения еще рано, — ответил мне Габор Фаркаш — начальник школы. — С красноармейцами, не спору, никаких затруднений не будет, демобилизация их уже началась, а вот вооруженные отряды чекистов в основном состоят из венгров. Местные же товарищи и не собираются демобилизовывать их.

Я хотел поговорить с первым секретарем Иркутского губернского комитета партии товарищем Шумацким, но мне сказали, что он два дня назад уехал в Новониколаевск и вернется не раньше чем через неделю. Товарищи посоветовали мне поговорить с председателем губернского исполкома, который к тому же был членом губернского парткома. Пообещали дать товарища, который утром проводит меня в консульский отдел и поможет без очереди сдать документы на получение виз, а уже потом проводит к председателю исполкома.

— Раньше говорили, что богатому все двери открыты, — с улыбкой проговорил товарищ Фаркаш. — Теперь же получается так, что перед другом венгерского красноармейца открыты все двери.

На следующий день я убедился в правильности этих слов. В отделе, где выдавали визы, стояла огромная очередь. Порядок поддерживали два венгра-красноармейца. Мой сопровождающий отозвал в сторону одного из красноармейцев и что-то шепнул ему. Венгр молча взял мои бумаги и вышел через боковую дверь. Через несколько минут он вернулся обратно.

— Сегодня у нас вторник, — сказал он. — Если вы зайдете сюда в это же время в пятницу, то найдете меня здесь. Я вынесу вам ваш паспорт.

— Скажите, товарищ, а пораньше этого сделать нельзя? — отважился спросить я.

— Что нет, то нет. — Красноармеец улыбнулся. — Дело в том, что документы ваши должны побывать не в одном месте, пока снова вернутся сюда.

Из отдела виз я пошел в совет. В приемной председателя исполкома была уйма народу. Но сопровождающий меня товарищ знал, как пройти и сюда. Он повел меня через черный ход. Там разыскал венгра, стоявшего на посту, и через несколько минут мы уже были в кабинете у председателя.

Когда я рассказал ему о цели моего прихода, он почесал затылок и сказал:

— Я уже не раз слышал о распоряжении. Товарищ Шумацкий и этот вопрос хотел решить в Новониколаевске. Я просил

его сказать там товарищам, что если у нас заберут венгров, что служат в ЧК, то ни я, ни уполномоченный ЧК в Иркутске не сможем ручаться за полный порядок. Мы понимаем, что рано или поздно венгров от нас заберут, но сделать это можно только тогда, когда на их место пришлют подходящих людей. Ничего другого я сказать не могу. Нужно подождать возвращения товарища Шумацкого из Новониколаевска. На обратном пути вы все равно Иркутска не минуете. Вот и зайдете ко мне, а секретарь наш к тому времени вернется.

Вечером того же дня я взял машину партшколы и поехал на вокзал за чемоданом. Там решил разыскать Маргариту Карловну. Дело это оказалось непростым, так как зал ожидания был набит битком.

Но я все же нашел ее. Она сидела на скамейке. Когда я сказал ей, что мне удалось устроиться в городе, она горько улыбнулась и проговорила:

— Ничего удивительного тут нет: кто господин, тот и распорядитель. А мне три ночи придется просидеть вот так сиднем. Если, конечно, за это время не получу визы. Но я по натуре не завистлива: рада, что хоть вам удалось устроиться. Собственно говоря, глядя на этих несчастных, — она показала на сидевших на полу людей, — и жаловаться не приходится. Эти несчастные здесь уже по две недели, да и надежд никаких нет.

На мой вопрос, что это за люди, она рассказала следующее. Сорок крестьянских семей переселяются с юга России в Иркутскую губернию. Там, где они жили до этого, образована автономная республика, и все земли, которые царское правительство отобрало у местных жителей, были переданы русским крестьянам-ремесленникам, которых переселили еще при царе. Теперь же этих самых крестьян переселяют в далекие края, где им тоже дают землю.

Вся беда состоит в том, что путь их лежит через Дальневосточную республику. Въездные визы они получили еще в Москве, а вот выездные визы из России дают только в Иркутске, и то лишь с письменного разрешения органов внутренних дел, управление которых находится в Новониколаевске. А у этих несчастных выездных виз нет. Умные люди, организующие это переселение, видимо, забыли об этом. Переселенцы уже послали телеграмму куда надо, но ответа не получили. Они уже хотели послать двух человек в Новониколаевск за этими разрешениями, но местные органы и на это разрешения не дают. Не можете ли вы как-нибудь помочь им?

Маргарита Карловна познакомила меня со старшим одной из групп переселенцев.

— Послушайте, у меня есть одна идея, — обрадовался я. — Здесь я познакомился с председателем губернского исполкома товарищем Судаковым. Замечательный, умный человек. Я напишу ему письмо и попрошу помочь этим людям уехать отсюда.

Письмо это я передам вам, а вы с кем-нибудь из крестьян пойдете к председателю и передадите ему это письмо. Убежден, что он им поможет.

Затем я объяснил, как легче попасть к председателю исполкома: нужно войти во двор и на черной лестнице найти венгра-красноармейца. Нужно передать ему письмо и сказать, что оно от меня для вручения товарищу Судакову.

Крестьянин начал благодарить меня, и мне с трудом удалось уговорить его не целовать мне руки.

Визу для дальнейшей поездки я получил, как мне и обещали, на четвертый день. Поезд отправлялся в полдень, так что мне нужно было спешить на вокзал.

В зале ожидания была все такая же неразбериха.

Увидев меня, Маргарита Карловна пошла мне навстречу.

— Как дела у переселенцев? — спросил я.

— Сейчас позову кого-нибудь из них, — с улыбкой проговорила она.

Подошедший переселенец сказал, что им удалось повидать председателя исполкома. Он очень внимательно выслушал их и обещал помочь. На следующий день на вокзал пришла комиссия из трех человек. Обещали все сделать, только нужно набраться терпения и еще немного подождать.

— Надеюсь, теперь долго ждать не придется, — заметил я.

И хотя лично я не был виноват в злключениях этих людей, мне все же было как-то неудобно перед Маргаритой Карловной. Если этот классический пример бюрократии возмутил до глубины души меня, коммуниста, то можно было представить, какое впечатление произвел он на нее, человека, который и без того все, связанное с Советской властью, видел с теневой стороны. Мне хотелось что-то сказать этой женщине, чтобы хоть в какой-то степени улучшить ее настроение.

Но Маргарита Карловна сама неожиданно освободила меня от этой трудной задачи.

— Нелегкое это дело — командовать людьми, — сказала она. — Беда случается оттого, что стоящие у власти не видят или не хотят видеть нужд маленьких людей.

Я с удивлением смотрел на эту женщину и думал, что из нее мог бы выйти настоящий человек.

Когда уехали переселенцы — не знаю. Две недели спустя я снова попал в Иркутск. Зал ожидания был уже пуст.

Когда поезд подошел к Верхнеудинску, Маргарита Карловна сказала мне на прощание:

— Очень рада, что встретила с вами. С этой страной у меня связано столько тяжелых воспоминаний. И тем приятнее вспоминать о встрече с вами.

IX. БУФЕРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Новая встреча со старым другом

В Удинск я приехал ночью и решил так поздно в город не идти. Зашел в ресторан второго класса, чтобы переждать там до утра. И тут вспомнил о Дмитрие Евстафьевиче.

В ресторане третьего класса народу было очень много. Я с трудом протиснулся к стойке. На мой вопрос, где я могу увидеть хозяина, мне ответили, что хозяина теперь здесь никакого нет, а есть директор ресторана. По ночам его здесь не бывает.

Тогда, подойди к одному из официантов, я поинтересовался, не знает ли он, что случилось с прежним хозяином ресторана, Дмитрием Евстафьевичем.

— Как же, как же, знаю. У него теперь продуктовый ларек на перроне. Правда, сейчас он закрыт, но ночью будет поезд, так что старик наверняка не ушел домой и спит в ларьке.

Я вышел на перрон и разыскал ларек. Света в окошке не было. Я тихонько постучал.

Через несколько секунд в ларьке зажегся свет. Еще через секунду распахнулось окошко и раздался недовольный голос:

— Что угодно?

Я медлил с ответом. Дмитрий Евстафьевич выглянул наружу и смерил меня взглядом. В темноте не узнал.

— Это я, Дмитрий Евстафьевич. Прошу прощения за беспокойство.

Старик еще больше высунулся из окна.

— Андрей Александрович? Вот приятная неожиданность!— обрадовался он. — Заходите, пожалуйста, дверь справа.

К ларьку примыкала кладовая, в которой были двухэтажные полати. На нижних полатях расположились мы с Дмитрием Евстафьевичем, а на верхних спал его сын.

— В тесноте, да не в обиде, — сказал старик, освобождая мне место на нарах. — Сейчас приготовлю чай.

В ларьке было очень тесно. Кроме полок имелась небольшая печка-«буржуйка». Летом она заменяла стол. На печке стоял примус. Старик разжег его и поставил чайник.

— А пока чай закипит, можно, я думаю, пропустить по стопочке... Какими судьбами занесло вас в наши края? — спросил меня старик.

Я рассказал. Потом разговор перешел на тему, которая всегда интересовала нас обоих.

— Очень рад, что вы оказались правы, а мои прогнозы не оправдались. Здесь у нас дела идут превосходно, а если верить слухам, то и в Центральной России дела пошли на лад. Говорят, торговля снова оживилась, а частникам предоставили право работать. Если так пойдет и дальше, то Советская власть здорово укрепитя: ведь она удовлетворяет нужды маленьких людей и не дает развернуться богачам.

Больше всего старик интересовался тем, как идут дела в Москве. Я едва успевал отвечать на его вопросы.

— А не хотели бы вы переехать в Москву? — в шутку спросил я.

Старик ответил на этот вопрос вполне серьезно:

— Пожалуй, нет. Я и так верю, что жизнь там хороша, а со временем будет еще лучше. Я хоть и не разбираюсь в политике, но знаю, что сегодня политика такая, а завтра будет совсем другая. В Европе другое дело. Определить, когда снова вспыхнет война и сразу все изменится, невозможно. Здесь у нас гораздо спокойнее. Японцы от нас далеко, да они и не рискнут сунуться к нам. «Буферное» государство — это самое лучшее, что было придумано за последнее время. Здесь у нас полная демократия: большевики, меньшевики, все довольны, и ни у кого никаких возражений нет. А что у нас самое умное — так это наша денежная система. Если человек сэкономит какие-то рубли, он может быть уверен, что с ними ничего не случится, потому что с золотым рублем ничего случиться не может. Там у вас тысячи превращаются в сотни тысяч, а сотни тысяч превращаются в миллионы, а потом рано или поздно наступит девальвация. А для нас, торговцев, такое хуже смерти.

Я пытался объяснить ему, что инфляция досталась нам от войны и что недалеко время, когда Советская Россия укрепит свою валюту. Однако переубедить старика мне так и не удалось: он остался при своем мнении.

— Тем лучше, — сказал он. — Я от души желаю большевикам, чтобы это им поскорее удалось. Но мы останемся все же на Дальнем Востоке. Здесь мы нашли вторую родину. — Он еще раз наполнил стопки и торжественно произнес:

— Поднимем же бокалы за дальнейшее процветание Дальневосточной республики!

Снаружи кто-то прокричал, что поезд вышел с соседней станции. Дмитрий Евстафьевич стал будить сына. Мне он предложил соснуть. Я с радостью согласился.

Когда проснулся, было светло и тихо. Поезд, видимо, давным-давно ушел. Гриша, громко храпя, спал на верхних нарах. Дмитрий Евстафьевич сидел на краешке нар и пил чай.

Предложил мне позавтракать с ним. Я попытался отказаться, сославшись на то, что у меня очень много дел, но старик категорически заявил, что никуда меня не отпустит, пока я не выпью чаю. К тому же в такую рань машины в город не ходят.

— Жаль, что ты не поговорил с Гришей, — сказал мне за завтраком Дмитрий Евстафьевич. — Я ведь знаю, что тебя больше всего интересует то, о чем со мной особенно не поговоришь, — политика! Григорий работает у меня в ларьке и еще успевает заниматься политикой. Молодые теперь интересуются

совсем не тем, чем мы, пожилые. Я, правда, не возражаю. Если он хорошо работает, пусть после работы занимается своей политикой. Его дело, чем он занимается в свободное время. А если он вечером не приходит, когда не бывает поезда, я не спрашиваю, где он был: с девушками гулял или, быть может, сидел на каком-нибудь собрании...

— А что, Гриша просто интересуется политикой или он член партии? — поинтересовался я.

— Да, он в партии, — не без гордости ответил мне Дмитрий Евстафьевич. — Только не в большевистской, а в меньшевистской. Я знаю, что вы заядлый большевик, а нам, торговцам, больше подходит меньшевистская партия. Большевики более терпимы к нам, обещают нам больше свобод в торговле. Я знаю что у вас в России большевики и меньшевики не уживаются вместе. У нас же здесь совсем другое положение. Здесь, если хотите знать, большевики терпят не только меньшевиков, но даже кадетов. Мне же, что скрывать, это нравится. Пусть каждый вступает в ту партию, которая ему больше по душе, или вообще ни в какую партию не вступает, как, например, я. Вот взять хотя бы моего старшего сына, Костю. Вы ведь его тоже знаете. В восемнадцатом году, при Семенове, когда мы приехали в Удинск, ему удалось попасть в Харбин. Увез он с собой кое-какие товары, рассчитывая там выгодно продать их, а оттуда в Удинск привезти кое-что. С этими делами он справился, и неплохо. А когда настала пора возвращаться домой, красные к тому времени разбили войска Семенова, и Костя, которому все документы выдали семеновцы, не смог вернуться из Харбина. Сейчас, когда положение изменилось, он снова собирается домой. Мне удалось получить от местных властей разрешение на приезд сына, и он уже всерьез собирается. Если бы здесь у нас не было такой свободы, то вряд ли большевики разрешили бы ему вернуться на родину. Ведь как на нас смотрят: спекулянт, мол, уехал с белыми. А на самом деле — хотите верьте, хотите нет — бедняга еще больше, чем я, не любит политику. Жить он хочет — вот что!

Мне хотелось объяснить старику, что существующие здесь сейчас порядки не вечны, просуществуют они недолго, но раздумал: стоит ли отнимать у старика веру в свой идеал? Ведь переубедить его все равно не удастся.

Два дня в Хилоке

Вечером я неожиданно приехал в Хилок. Обрадовались мне страшно.

Два года я не был в Хилоке. За это время произошло много изменений. Дядя Федя перешел работать на железную дорогу, где занимал должность заместителя начальника станции. Железнодорожный ресторанчик теперь арендовала Мария Пав-

ловна. Ей разрешили это как вдове железнодорожника. Вместе с мужем она работала в этом ресторане.

Мужа Марии Павловны все звали Николаем. Это был здоровенный мужчина, довольно симпатичный. По происхождению он был китаец, но его можно было принять скорее за кавказца. За Марией Павловной он ухаживал как за малым ребенком.

Два счастливых дня я провел с Катей и сынишкой. На третий день должен был ехать дальше, в Читу. У Николая тоже оказалось какое-то дело в Чите, и мы поехали вместе. От Кати я узнал, что ее брат Шура все еще не демобилизовался и служит в Чите. У него в городе чудесная солнечная комната, так что я смело могу остановиться у него.

Читинские переговоры

Во вторник утром мы прибыли в Читу. С Николаем я расстался на вокзале. Договорились так: если все будет в порядке, в пятницу утром встречаемся у билетной кассы. Поскольку в городе не было отдельной венгерской организации, я хотел идти прямо в Дальневосточное бюро, но Шура посоветовал мне не делать этого.

— Насколько мне известно, венгры здесь работают только в контрразведке. Начальник у них венгр, по фамилии Тимеско. Я думаю, тебе лучше сразу к нему обратиться.

Утром следующего дня я разыскал Тимеско, который поначалу принял меня исключительно холодно. Но я на него не обиделся: знал, что профессия обязывает его быть осторожным. Но очень скоро лед недоверия был растоплен.

— Что касается демобилизации венгерских чекистов, — сказал он мне, — то пока это дело безнадежное. В армии, как мне известно, здесь, на Дальнем Востоке, венгров уже нет, а у меня, например, работают почти исключительно одни венгры. Если их у меня заберут, то мне не останется ничего другого, как закрыть свое «хозяйство». Лучше всего будет, если мы с тобой сейчас зайдем к товарищу Корчагину. Он у нас здесь начальник, и ему лучше, чем мне, известно общее положение.

Товарищ Корчагин сразу же принял нас. Мне он почти слово в слово сказал то же самое, что и председатель Иркутского исполкома и секретарь партийной организации Верхнеудинска. В целом они были согласны с решением. Однако отпустить венгерских чекистов без соответствующей замены не могли.

— Товарищи, сидящие в Москве и Новониколаевске, видят только принципы, а нам, работающим здесь, на периферии, говорит другая жизнь. Мы делали и будем делать все, чтобы венгерские товарищи могли демобилизоваться как можно быстрее, но на большой риск мы не пойдем. Я по своей линии уже докладывал об этом в Москву. Подождем, что они нам от-

ветят. Вам бы лучше обратиться в Дальневосточное бюро и поговорить с его секретарем.

Тимеско пригласил меня зайти к нему домой вечером следующего дня. Я пообещал зайти.

К секретарю Дальневосточного бюро мне удалось попасть только на следующий день. Он уже знал от товарища Корчагина, зачем я к нему пришел. Здесь мне сказали то же самое: к демобилизации венгров нужно подготовиться. Затем секретарь сказал, что по этому поводу он готовит письмо в Москву. Копию этого письма я получу завтра в секретариате у товарища Иванова вместе с другими необходимыми для поездки документами.

Венгерский чекист

Вечером я зашел к Тимеско. Его я не узнал: от его холодного тона, каким он разговаривал со мной первый раз, не осталось и следа. Сначала он угостил меня водкой и холодным мясом, а когда мы стали пить чай, рассказал кое-что о себе. До войны он учительствовал в начальной школе в Трансильвании. Настоящая его фамилия Варга. Под фамилией Тимеско он работал в ЧК. В восемнадцатом году сражался против белых. Когда же к власти пришла контрреволюция, ушел в подполье. Одно время находился на нелегальной работе в Харбине, где выдавал себя за белого офицера. Ему удалось проникнуть в непосредственное окружение к атаману Семенову. Более того, был даже адъютантом атамана. В течение нескольких месяцев он был одним из главных разведчиков революционного движения на Дальнем Востоке. Когда же работать там стало небезопасно, исчез оттуда. Причем очень искусно: семеновцы решили, что он попал в плен к красным и погиб.

Потом он рассказал мне, как ему удалось разоблачить один контрреволюционный мятеж в Чите.

Сигналы о том, что такой мятеж подготавливается, поступали, но никак не удавалось установить его центр и выявить организаторов. Тимеско подозревал, что главную роль в подготовке мятежа играет бывший богатый купец Курбатов, но конкретных данных не было. Однажды с московского экспресса сняли двух подозрительных лиц. После проверки выяснилось, что оба они белые офицеры. Прислали их из Центральной России для организации на Дальнем Востоке контрреволюционного мятежа. Оба выдавали себя за торговцев. При обыске у них было обнаружено рекомендательное письмо к Курбатову, в котором они представлялись хорошими друзьями отправителя. Ехали они в Читу на длительное время якобы для установления торговых связей. Отправитель письма просил Курбатова оказывать этим людям всяческое содействие. «Торговцев» стали обыскивать. У одного из них под подкладкой оказался кусок

шелковой ленты, на которой симпатическими чернилами был написан секретный текст. Расшифровать этот текст оказалось нелегким делом. В письме излагались указания бывшего царского генерала, который был известен органам ЧК как один из главных секретных организаторов контрреволюционных мятежей. В письме генерал характеризовал обоих офицеров как «двух храбрых и самоотверженных борцов за дело освобождения России от большевиков» и уверял адресата, что на этих проверенных в боях людей можно «возложить любое самое ответственное и трудное задание».

Шпионов этих, разумеется, пустили в расход, а их поддельные документы с успехом использовали наши. Наклеили на паспорта другие фотокарточки, а шелковую ленту с письмом генерала снова зашили под подкладку одного из двух чекистов, которых Тимеско хорошо знал. Их отправили в Иркутск. Оттуда они на московском экспрессе доехали до места назначения.

Курбатов, ничего не подозревая, принял обоих мужчин, устроил их жить у себя и постепенно посвятил во все тонкости заговора.

Когда они вошли к нему в доверие, Курбатов стал рассказывать об органах ЧК в Чите, давать характеристики его начальникам. Тимеско охарактеризовал как самого опасного и хитрого противника. Выслушав все это, оба «офицера» сделали удивленные лица. Шепнули Курбатову, что основная цель их визита заключается в том, чтобы информировать «братьев из Читы» о тайне, которую нельзя доверить даже бумаге и средствам тайнописи: этот самый опасный чекист Тимеско не кто иной, как агент белых. Он специально изображает из себя жестокого чекиста, чтобы обеспечить мятежу успех. Курбатов сначала этому не поверил. Но его уверили, что скоро он сам в этом убедится. Далее один из «офицеров» рассказал, что на пятую ночь после их приезда в два часа ночи они должны прийти на Сенную площадь и постучаться в дом некоего Токамакова. С собой они должны взять его, Курбатова, или же человека, которого он сам назначит. Пароль: «Лес горит!» Там их будет ждать Тимеско, с которым они и обговорят все детали мятежа.

Курбатов какое-то время колебался, но потом решил пойти на эту встречу сам.

Дальше все шло как по маслу. Через Курбатова Тимеско вошел в самый центр подготавливаемого заговора и сам начал действовать. За час до назначенного часа были арестованы все руководители мятежа. Удалось захватить их склады с оружием.

— Как в хорошем детективном романе, не правда ли? — закончил свой рассказ Тимеско. — Я тебе таких историй десятков могу рассказать.

Потом он долго говорил о венграх-чекистах, которые работали под его руководством.

— Я их очень уважаю: простые рабочие парни, вернее, крестьянские. Таких больше. В душе все они рвутся на родину, к мирной жизни, но как сознательные коммунисты понимают, что время еще не пришло. За Советскую власть готовы жизнь отдать. Что будет со мной — вопрос особый. Боюсь, что меня русские товарищи не скоро отпустят. Но когда-нибудь и до меня очередь дойдет.

Прощаясь, мы обнялись.

— Удачной вам работы, — пожелал я Тимеско. — Живы будем, обязательно встретимся где-нибудь в Москве или в Будапеште. А может, в какой-нибудь Германской или Французской советской республике.

Последний день в Чите

Утром я зашел в Дальневосточное бюро за документами. К ним было приложено письмо в Сибирское бюро.

— Получите в кассе суточные, — сказал мне товарищ Иванов. — Но прежде зайдите к секретарю, он хочет с вами поговорить.

И он провел меня к секретарю.

— Вы ведь будете ехать через Иркутск, не так ли? Поезд, насколько мне известно, приходит в город утром, а уходит после обеда. Товарищи в Иркутске испытывают большой недостаток в бумаге, и товарищ Шумацкий, пользуясь случаем, просил нас прислать ему хоть сколько-нибудь. Нам иногда удается получить кое-что из Маньчжурии. Много мы послать не можем, но кипы четыре дадим. Будьте добры, товарищ, зайдите к нам и заберите эту бумагу для Шумацкого. Привезем ее прямо на вокзал.

Не скажу, чтобы это поручение обрадовало меня. На обратном пути я должен был на двое суток заехать в Хилок, чтобы забрать жену и сына. А тут еще это поручение. В Мисовой же нужно было делать пересадку, но отказаться взять эту бумагу я не мог.

Секретарь пожелал мне доброго пути, и я пошел в кассу за деньгами. Думал, что получу суточные в валюте¹. Но, к моему разочарованию, кассир выдал мне сорок миллионов рублей советских денег.

¹ В Дальневосточной республике в ходу были золотые и серебряные деньги. В боях против банд атамана Семенова красные части захватили поезд, которым контрреволюционеры пытались вывезти из Сибири в Маньчжурию запасы золотых и серебряных денег. С того времени в Дальневосточной республике в обращении были исключительно деньги царской чеканки: золотые десятки и пятерки, серебряные рублевки и мелочь. Бумажных денег тогда в ДВР не было. — *Прим. венг. изд.*

— Дорогой товарищ, как это понимать? — спросил я кассира. — Этих денег мне не хватит даже, чтобы заплатить извозчику.

— Очень сожалею, — ответил кассир, — но ничем помочь не могу. Наши люди, когда они едут в Россию, разумеется, получают суточные в валюте, но когда они возвращаются, в Москве или Новониколаевске получают только советские деньги. Вот на днях из Новониколаевска вернулся один наш товарищ, и ему выдали ровно столько же, сколько и вам.

Ну что ж, на нет и суда нет, как говорят русские. Хорошо еще, что мне не пришлось покупать билет (за него надо было бы платить золотом). У меня был бесплатный проезд.

После обеда я зашел в венгерский отряд ЧК.

Товарищи обрадовались мне.

— Было бы неплохо уехать отсюда, — сказал мне в разговоре один товарищ со шрамом во всю щеку. — В свое время на Карпатском фронте я провел два года, восемнадцатый год воевал, при Колчаке целый год в тюрьме просидел, но все это ничто по сравнению с восемью месяцами работы в отряде чрезвычайной комиссии.

— А я-то думал, что вам нравится ваша работа и вы гордитесь тем, что выполняете ответственные задания. Ведь вас здесь любят и никак не хотят отпускать.

— Некоторые любят, — вмешался в наш разговор другой товарищ, — но большинство готово задушить нас. Как раз позавчера в наше здание в третий раз бросили бомбу. Хорошо еще никто не пострадал. А перед этим дело кончилось паршиво. С тех пор как мы здесь, уже семерых похоронили.

— Вы, конечно, правы, товарищ, — заговорил третий венгр. — Мы гордимся своей работой, потому что знаем, во имя чего служим. И уехать отсюда мы хотим вовсе не потому, что работа у нас опасная. Мы ведь хорошо знаем, что таких, как мы, дома не будут встречать девушки с цветами. Но все же там наша родина, родной дом.

Я беседовал с товарищами несколько часов подряд. Все они интересовались положением в Венгрии. Я рассказал им, что знал.

— До встречи в Венгрии! — сказали они мне на прощание.

С Шурой я встречался только по вечерам, так как целыми днями был занят, да и он днем работал. Зато вечером мы вместе с хозяевами, у которых жил Шура, пили чай. У хозяев были две красивые дочки, за которыми Шура настойчиво ухаживал.

Когда я в последний вечер был у него, спросил за чаем:

— Скажи, дружище, на какой из девушек ты собираешься жениться?

— А ты плохой разведчик, браток, — улыбаясь, ответил Шура. — Мужчина не дурачится с девушкой, которую намерен взять в жены. Если мне удастся демобилизоваться, а Оле не надоеет ждать меня, я сразу женюсь на ней.

Катя не раз рассказывала мне, что Шура и Оля, с которой я как-то познакомился в Хилоке, любят друг друга с самого детства. Оля девушка красивая и умная. Когда я познакомился с ней, было ей лет восемнадцать. Когда Шура гостил у нас в Лузино и рассказывал о своих похождениях, Катя поняла, что пока он не собирается жениться, и потому не спрашивала об Оле. Потом как-то Катя сказала мне, что Оля по-прежнему живет в Хилоке, работает в железнодорожном отделе и ждет Шуру.

— Это хорошо, парень, — проговорил я и пожал Шуре руку. — Твоя мать будет очень рада. Давай демобилизуйся поскорее.

Небольшое недоразумение

Когда я протянул свои документы кассирше в железнодорожной кассе, она, не глядя на них, спросила:

— Куда? — и машинальным движением пальцев вытащила билет из нужного отделения и назвала сумму.

Я попросил ее посмотреть на мой литер. Кассирша пробормотала что-то и, пробив билет компостером, протянула его мне вместе с документами.

С Николаем мы встретились, как и договорились, у кассы. С ним был какой-то китаец, по виду рабочий. Николай на моих глазах купил два билета до Хилоки, заплатив за каждый по десять рублей. Позже я узнал, что китаец ехал работать поваром в железнодорожный ресторан.

В вагоне было много свободных мест. В нашем купе, кроме нас троих, никого не было. За несколько минут до отправления в вагон вошел проводник и начал проверять билеты.

Через полчаса после того, как поезд тронулся, проводник снова вернулся к нам с чекистом и двумя солдатами.

— Прошу предъявить документы! — попросил чекист.

Первым показал свои документы Николай. В них говорилось, что он является официальным китайским представителем по торговле в Забайкалье. Чекист мельком взглянул на эти документы и, отдав их Николаю, обратился ко второму китайцу. Тот достал железнодорожный билет и протянул его офицеру.

— Ваш билет меня не интересует, я спрашиваю у вас документы, — грубо оттолкнув руку китайца, сказал чекист.

Бедняга, ни слова не понимавший по-русски, умоляющими глазами уставился на Николая.

Николай начал объяснять, что китаец этот едет вместе с

ним, что билет он ему купил, а в кассе никаких документов не спрашивали.

— Что вы мне тут разглагольствуете! Я не вас спрашиваю! — грубо оборвал Николая чекист и снова обратился ко второму китайцу: — Вы арестованы.

Только теперь я заметил, что чекист был нетрезв.

Я попробовал как-то успокоить его и сказал:

— Он говорит, что при покупке билета не требуют никаких документов, только деньги, что вы сами хорошо знаете.

Теперь чекист набросился на меня:

— Заткнитесь! Не вмешивайтесь не в свое дело!

— Как это не в свое дело! Я коммунист и не позволю вам творить беззаконие!

— Что такое?! Посмотрите только на него! Он еще осмеливается раскрывать свой рот! Что ты за птица! Предъяви документы!

— Кто я такой, это в данном случае к делу не относится, — ответил я, протягивая документы. — А этого человека оставьте в покое. Вы лучше пойдите проспитесь.

Уполномоченный рассмеялся.

— Ха-ха-ха! Мы еще поговорим с тобой! Забрать обоих! — приказал он солдатам, ткнув пальцем на меня и на китайца. Документы мои он, не глядя, сунул себе в карман.

— Пошли, пошли! Быстрее!

Солдаты уже вели нас через вагоны в специальный вагон, предназначенный для уполномоченного ЧК. Там меня завели в пустое купе, отделив от китайца.

Я ждал, что уполномоченный вызовет меня к себе или сам зайдет ко мне, но меня никуда не вызывали.

Может, он послушался моего совета и в самом деле лег спать?

Этот случай возмутил меня и в то же время позабавил. Я понимал, что, проспавшись и посмотрев на мои документы, уполномоченный опомнится и вызовет меня к себе.

Через полтора часа ко мне вошел часовой и сказал, что ему приказано провести меня в купе начальника.

— Садитесь, — сказал уполномоченный, когда я вошел к нему, и протянул мне руку.

«Ну, — подумал я. — Все в порядке».

— Вы, товарищ, венгр? — спросил он, показывая на мой мандат. (В те времена по всей Сибири и Дальнему Востоку к венграм относились с уважением.)

— Да, венгр.

— В Читту приезжали по заданию Сибирского бюро?

— Да.

— Прошу простить за недоразумение, товарищ. Вот, пожалуйста, ваши документы. Но и вы тоже виноваты. Таким людям, как вы, не следует вмешиваться в чепуховые истории.

— Я, товарищ, не считаю чепуховым делом арест рабочего человека без всякого на то основания. Точно так же не считаю пустяком и то, что уполномоченный ЧК при исполнении служебных обязанностей заглядывает в бутылку с водкой.

— Что касается бутылки, то тут я молчу. Вы абсолютно правы. Что же касается того китайца, то должен вам сказать, что, согласно имеющемуся у нас постановлению министерства внутренних дел, для проезда по железной дороге необходимо иметь специальное разрешение органов государственной безопасности.

— Да вы, товарищ, и сами хорошо знаете, — начал я, — что железнодорожный кассир действовал согласно указанию своих вышестоящих органов, а именно министерства путей сообщения, которое подобного распоряжения не отдавало¹.

— Разумеется, — сердито проговорил уполномоченный. — И все это потому, что министр путей сообщения заядлый меньшевик, который не считается с постановлениями министра внутренних дел — большевика. Это вам классовая борьба, а не чистка кукурузных початков.

— Но я думаю, в классовой борьбе нужно добиваться победы не за счет ни в чем не повинных рабочих.

Уполномоченный пробормотал еще что-то. Потом приказал солдату проводить меня и китайца в наш вагон.

Х. КОНЕЦ КОМАНДИРОВКИ

Поездка с препятствиями

Наконец мы приехали в Хилок. Впереди были два радостных дня. Но Катя вся ушла в заботы по упаковке вещей, а Мария Павловна в предчувствии скорой разлуки с дочерью была явно не в настроении.

На третий день утром мы тронулись в путь. С билетом и документами осложнений не было. Зато поезд был настолько переполнен, что я даже не представлял, как с множеством вещей да еще с четырьмя кипами бумаги мы сядем в вагон. Но случилось чудо: за несколько минут до отхода поезда на перроне я увидел Шуру. Быстрыми шагами он подошел к нам и поцеловал Катю.

— Как ты сюда попал?

— По делам еду в Удинск, у меня два вагона. Только что разговаривал с мамой. Она рассказала мне, в каком затрудни-

¹ Правительство Дальневосточной республики было коалиционным с преобладанием коммунистов, но кроме них в нем были и меньшевики, и эсеры, и даже кадеты. Министерство внутренних дел находилось в руках большевиков, а министерство путей сообщения — в руках меньшевиков. — *Прим. венг. изд.*

тельном положении вы паходитеь. Ты с Катей и ребенком садись в вагон, а ваши вещи я возьму на себя. В Удинске найдем вам место и перенесем вещи. Это все ваше? — спросил он, показывая на наши кули и чемоданы.

— Да.

— Берите, товарищи, вещи и несите, — сказал Шура двум красноармейцам, стоявшим в сторонке. Красноармейцы взвалили на плечи тяжелые узлы и пошли к своему вагону.

Простившись в последний момент с Катинной мамой, мы сели.

По приезде в Удинск Шура разыскал начальника станции, своего хорошего знакомого. Через несколько минут в соседнем вагоне для нас освободили половину купе. Мы перешли туда.

— Этот поезд идет только до Мисовой. Там вам придется сделать пересадку, но вы не отчаивайтесь, потому что этим же поездом в Новониколаевск едет много венгров-интернационалистов: они вам с удовольствием помогут, ты только пойд и поговори с ними, — сказал мне Шура.

Разыскать венгров было нетрудно. Ехало их двенадцать человек. Это были демобилизованные чекисты. Договориться с ними не представляло особого труда.

Снова в Иркутске

В Иркутск мы приехали рано утром. Дальше поезд отправлялся только вечером. Катя с сынишкой остались в вагоне, а я побежал к товарищу Шумацкому, который сразу же принял меня. Прежде всего поинтересовался, привез ли я бумагу. Я успокоил его, сказав, что бумага со мной и что за ней нужно приехать на станцию. Шумацкий сразу же распорядился подать извозчика.

Только после этого он заговорил о цели моей командировки:

— На днях я вернулся из Новониколаевска. Вопрос относительно демобилизации венгерских товарищей, как и ряд других вопросов, удалось решить не без компромиссов. Мы договорились, что в течение этого года будем демобилизовывать их не сразу, а частями. Дальневосточное бюро ЦК РКП(б), насколько мне известно, внесло такое предложение в центр. Так что вопрос этот решен, и вы с чистой совестью можете вернуться к своей прежней работе.

Совесть моя была чиста, но я не понимал, зачем нужно было посылать меня в эту командировку, если я ничем не мог помочь. Я потом много думал об этом и пришел к выводу, что поездка не была безрезультатной: я вез с собой жену и ребенка, за что и благодарил судьбу.

Новая перспектива

Утром третьего дня мы подъезжали к Новониколаевску. На станции мне посчастливилось поймать извозчика и даже полностью расплатиться с ним: он словно чувствовал, что в кармане у меня сорок миллионов, и запросил ровно такую сумму.

На следующий день я доложил о результатах своей поездки в обкоме. Товарищи сказали мне, что меня вместе с семьей посылают в Москву. Поеду я вместе с теми венграми, которые ехали из Верхнеудинска.

— Пошлют ли вас в Венгрию или оставят в Москве — это товарищи решат там. Возможно, вы будете нужны в Москве: ведь вы говорите на нескольких языках. Оттуда запрашивали, есть ли у нас такие, вот мы и назвали вас.

Катю с ребенком забрала к себе жена секретаря обкома. Меня же пригласили в общежитие два холостяка.

На следующий день утром я получил необходимые документы, а после обеда — паек на четверо суток на двух человек.

В те годы Новониколаевск был маленьким городишком. Единственная красивая улица в городе — Центральная — была обсажена деревьями. Вечером мы с Катей пошли погулять.

— Завтра поедем в Европу, — сказал я ей. — Дожили и до этого дня. Жить будем или в Москве, или в Будапеште. Но где бы мы ни жили, забайкальских лесов мы никогда не забудем, правда?

— Да, дорогой, не забудем. Не забудем ни хорошего, ни плохого. И я верю, что, где бы мы ни жили — в Москве или в Будапеште, — вместе будем счастливы, как были счастливы до этого.

— Так и будет! — согласился я и поцеловал ее в лоб.

Тогда я и не подозревал, что, побывав в Москве, снова вернусь в Забайкалье.

Дальневосточная
КОМАНДИРОВКА

Первые дни в красной Москве

Садясь в Новониколаевске на поезд, я надеялся, что через Москву попаду в Венгрию. Эта надежда наполняла меня радостью, но в то же время было жаль, что я никогда больше не увижу замечательные забайкальские места, которые стали для меня дорогими.

Из Новониколаевска я ехал в Москву с мыслью вернуться, если можно будет, в Венгрию. Жена была полностью согласна со мной. Однако другие товарищи считали, что мне лучше пока остаться в России. Они приводили факты, с которыми я не мог не согласиться.

Беседовал со мной один товарищ из заграничного бюро Коммунистической партии Венгрии.

— Видите ли, — сказал он, — использовать вас в Венгрии мы не можем. Вы знакомы с рабочим движением на родине только по книгам да газетам. Шесть лет вы не были в Венгрии, и вас нельзя использовать на нелегальной работе, которой мы там руководим. Если вас сейчас послать на партийную работу в Венгрию, вы очень быстро провалитесь. Если вы все же будете настаивать на отправке домой, мы вас не задержим, отправим как простого военнопленного. А это будет равносильно тому, что вы откажетесь от революционной работы и вернетесь к обычной гражданской жизни. Если вы этого хотите, дело ваше. Но если вы настоящий коммунист и ставите интересы нашего движения выше, чем свои собственные, тогда вы останетесь в Советском Союзе, где можете принести много пользы.

Жаловаться было не на что: мне поручили серьезную ответственную работу, которая к тому же весьма заинтересовала меня, — привести в порядок заброшенный архив одной международной организации и заведовать этим архивом.

И хотя новая экономическая политика уже начала давать свои результаты, жизнь тогда в Москве была еще нелегкой. На рынке можно было все купить, были бы деньги. Однако инфляция приняла такие размеры, что человек, живущий на

одну зарплату, не очень-то мог покупать что-либо на базаре. Все работающие получали продовольственные карточки, по которым в государственных магазинах можно было довольно дешево купить кое-что из продуктов: хлеб, масло, сахар, сушеную рыбу, — но всего очень понемногу. Рабочие, работающие непосредственно на производстве, получали больше продуктов, чем служащие, а неработающие члены семьи — женщины — получали совсем мало.

Когда мы приехали в Москву, нас сначала поместили в общежитие для военнопленных, но, когда я начал работать в учреждении, мне дали удобную комнату с альковом в бывшей гостинице «Маленький Париж». По сравнению с теми условиями, в которых я жил раньше, это был настоящий рай.

Когда стало окончательно ясно, что мы останемся в Москве, Катя решительно заявила, что она тоже будет работать. Я согласился с ней, и мы начали ломать голову над тем, куда бы устроить нашего малыша.

Долгое время ничего не могли придумать. О домашней работнице в те времена и мечтать было нечего. После революции на такую работу никто не хотел идти. Яслей тогда было очень мало, кормили в них неважно, да и гигиена была далеко не на высоком уровне.

Совершенно случайно я как-то узнал, что в Москве есть так называемые ясли-лаборатория. Берут туда маленьких детей, которые находятся под наблюдением детских врачей — психиатров, а ухаживают за детьми там сестры, получившие специальное образование. Заведение это основано для научных целей, детей там превосходно кормят и прекрасно за ними ухаживают.

Мы с Катей сходили в этот детский сад и собственными глазами убедились в том, что все так и есть. Всего в саду было шестнадцать детей в возрасте от одного года до трех лет, а обслуживающий персонал состоял из сорока двух человек: частично из врачей, частично из сестер. Располагались эти ясли в шикарном особняке, который раньше принадлежал богатому московскому кушцу. В доме были большие светлые комнаты. Через стеклянную дверь мы видели великолепный зеленый сад, в котором детишки играли под наблюдением двух врачей и нескольких сестер.

Одно нам только не нравилось: детей сюда отдавали как в пансионат. Первое посещение ребенка разрешалось только через две недели.

С тяжелым сердцем мы отдали сынишку в садик и сразу же начали считать дни. Когда наконец настало второе воскресенье, мы с нетерпением поехали в садик. Нас ждало нечто ужасное: ребенок не узнал нас. Когда Катя взяла его на руки, он расплакался, стал капризничать, бил своими маленькими кулачками ее по лицу и во что бы то ни стало хотел освободиться от

ее объятий. Катя заплакала, стала утешать малыша, но безрезультатно. Успокоился он только тогда, когда няня забрала его и унесла к остальным детям.

Катю этот случай потряс. Она заявила, что мы немедленно заберем ребенка из этих яслей. Врачи начали нас успокаивать, что подобные случаи часто бывают вначале — дети быстро привыкают к новой обстановке, отвыкают от родителей, но потом это проходит. Нам посоветовали не брать ребенка домой и временно отказаться от встреч с ним. Когда можно будет, нас пригласят.

Врачам удалось успокоить Катю, так как они разрешили ей приходить в обед через день и в окошечко понаблюдать за малышом, чтобы лично убедиться, что он себя здесь превосходно чувствует.

После этого Катя действительно через день ходила в садик и убедилась в том, что малыш спокоен и весел. Она уже начала подыскивать себе работу, как случилось несчастье.

Смерть сына

Однажды утром нам позвонили из яслей и попросили немедленно приехать. Дежурный врач — женщина сказала, что сынишка наш простудился, у него воспаление легких, и он находится в очень тяжелом состоянии. Лежит он в отдельной комнате, и мы можем навестить его.

Когда мы пришли в садик, у ребенка была высокая температура, дышал он тяжело.

Катя, убитая видом сына, спросила врача, как могло случиться, что в таком месте, где столько врачей, сестер и нянек, не смогли уберечь ребенка. Врач начала объяснять, что дети ни на минуту не бывают без присмотра, так что ни о каком упущении со стороны персонала здесь не может быть и речи.

— Ребенок всегда может заболеть, — закончила свое объяснение врач. — Так что тут никакой гарантии быть не может.

Моя жена заявила, что хочет забрать ребенка домой. Врач пыталась отговорить ее, но Катя на этот раз осталась непреклонной.

— Не обижайтесь, но после такого случая я не могу доверять вашим няням.

Взяв такси, мы увезли ребенка домой.

Роза Игнатьевна, одна из ясельных врачей, в тот же вечер приехала к нам домой. Она предложила нам свои услуги, сказала, что будет каждый день приходить к нам днем. Она даже обещала привести с собой лучшего детского врача Москвы, профессора Смирнова, чтобы он осмотрел ребенка и поставил ди-

агноз. Мы согласились. Из всех врачей мы больше всего доверили Розе Игнатьевне. Это была высокая, очень красивая женщина, по характеру чрезвычайно серьезная и решительная.

На следующее утро Роза Игнатьевна действительно привезла с собой профессора, который подтвердил, что у малыша воспаление легких, и в очень тяжелой форме. Он выписал лекарства и дал Розе Игнатьевне подробные указания относительно дальнейшего ухода за ребенком. Прощаясь, профессор пообещал на другой день заехать к нам еще раз.

На следующий день профессор снова появился у нас вместе с Розой Игнатьевной. Состояние здоровья ребенка было по-прежнему тяжелым, но, по словам профессора, через один-два дня должен был миновать кризис. Закончив осмотр ребенка, доктор огляделся и спросил Катю:

— Скажите, дорогая, это не сырая комната?

Катя была вынуждена признаться, что профессор не ошибся. Прожив несколько дней в комнате, мы убедились, что комната наша сырая и может очень вредно отразиться на здоровье малыша. Я тотчас же решил заявить об этом завхозу, попросив его предоставить нам новую комнату.

— Ребенку нельзя здесь оставаться, — заявил профессор, — вам немедленно нужно переехать в сухое помещение.

Когда врач уехал, Катя посоветовала поговорить об этом с Федоренко.

Завхоз Федоренко жил вместе с женой на нашем же этаже в большой удобной комнате, роскошно обставленной. Это был всеми уважаемый человек, лет сорока пяти, старый член партии. В годы эмиграции он одно время жил в Париже; как высококвалифицированный рабочий, он довольно много зарабатывал и, говорили, не раз оказывал материальную помощь Ленину. Жена Федоренко, солидная женщина средних лет, в первые дни часто заходила к нам. Видимо, ей нравилась Катя, а кроме того, она была в восторге от нашего малыша. Я подумал, что будет лучше, если Катя сама поговорит с женой Федоренко и попросит ее, чтобы ее муж дал нам другую комнату.

Ответ Кати меня удивил.

— Не могу этого сделать, я не разговариваю с ней.

На мой недоуменный вопрос «почему?» Катя ответила, что все женщины не раз жаловались ей на грубое поведение жены Федоренко, которая, появляясь на общей кухне, сразу сдвигала чужие кастрюли в сторону и занимала все конфорки. С соседками она разговаривает заносчиво, словно со служанками. Катя рассказала, что родилась эта женщина в семье капиталиста, первый муж ее был кушом и даже сейчас она помогает крупным спекулянтам. Все это очень не нравилось Кате, и она решила порвать с Федоренко всякие отношения. А когда остальные женщины предложили Кате подписать заявление, в котором подробно перечислялись все проступки жены Федоренко,

Натя не задумываясь подписала. С тех пор их дружба прекратилась, и они даже не разговаривают друг с другом.

Тогда я сам пошел к Федоренко. Он пообещал через несколько дней перевести нас в другую комнату. Но обещания своего так и не выполнил.

Благодаря неустанным заботам профессора и Розы Игнатьевны наш малыш пережил кризис, и здоровье его с каждым днем становилось лучше.

Через несколько дней профессор снова заговорил с нами о смене комнаты.

— Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что сырая комната может очень скверно отразиться на здоровье ребенка. После воспаления легких за ним нужно будет особенно внимательно следить. Сделайте все, чтобы перебраться с малышом в сухую комнату.

Я еще раз переговорил с Федоренко. С серьезным видом он сказал, что занимается решением этого вопроса и что, как только освободится какая-нибудь комната, он немедленно передаст ее мне.

Когда мы уже считали, что наш ребенок выздоровел, он снова заболел. У малыша снова подскочила температура, а дыхание опять стало тяжелым.

Роза Игнатьевна еще раз вызвала профессора, который установил у малыша воспаление среднего уха.

— Я же вам говорил, что после перенесенного воспаления легких оставаться малышу в этой сырой комнате нельзя. Немедленно переберитесь в другое место. Если сухой комнаты не найдется, положите ребенка в больницу, пока еще не поздно. А сейчас нужно срочно вызвать врача-специалиста...

Роза Игнатьевна ушла вместе с профессором, а через полчаса вернулась с новым врачом. Ребенку сделали прокол в ухе.

После прокола малышу вроде бы стало лучше, дышал он теперь не так тяжело.

Я еще раз зашел к Федоренко и потребовал, чтобы он немедленно перевел нас в сухую комнату, хотя бы временно. Сказал я это таким тоном, что он не мог мне отказать. И здесь оказалось, что в этом же здании, на втором этаже, имеется хорошая сухая комната, которую готовили для какого-то товарища, приезжающего из заграничной командировки. Значит, все эти дни Федоренко обманывал меня.

На следующий день мы перебрались в новую комнату, но было уже поздно.

Через неделю сын скончался от воспаления мозговой оболочки.

Я не в силах описать все, что мы пережили, когда это несчастье обрушилось на нас.

Вскоре после похорон сына выяснилось, что Катя опять в положении. Меня волновало, как она перенесет беременность после такой душевной травмы. Сама она тоже сильно беспокоилась. Сначала она решила, что после потери первого ребенка не захочет иметь другого. Но очень скоро мы поняли, что рождение нового ребенка и будет тем самым стимулом, который вернет ей любовь к жизни, а забота о новом ребенке восстановит ее душевное равновесие. Новая комната и прибавка к зарплате, которую мне обещали, давали нам надежду на то, что новый ребенок родится в лучших условиях.

Наш оптимизм оказался преждевременным.

Однажды мне сказали, что начальство нашего учреждения считает необходимым, чтобы я жил в том же здании, где находятся архивные материалы. Это требование вызывалось тем, чтобы я в любой момент, хоть ночью, находился возле места работы.

Я не имел ничего против этого, но стоило нам увидеть свою будущую квартиру — и мы так и охнули. Комната пахотдилась на первом этаже, в крыле здания, выходящем во двор. Единственное окошко выглядывало во двор, в котором стояли бесконечные поленицы дров, они же до половины закрывали окошко нашей комнаты. Вся мебель состояла из узкой железной кровати, грубого, сколоченного из досок стола и двух стульев.

И тут до меня дошло, что мое переселение исходило отнюдь не от дирекции, просто Федоренко решил мне отомстить подобным образом.

Я был возмущен до предела. Рассказал о своем подозрении Кате, но она спокойно ответила:

— Не расстраивайся. Все равно, где жить...

— В эту комнату я не поеду до тех пор, пока там не поставят приличную мебель, — решительно заявил я.

— Уж не хочешь ли ты снова обращаться к Федоренко и что-то еще просить у него?

— Ничего просить я не собираюсь ни у него, ни у кого другого, но пока комнату не обставят по-человечески, я из гостиницы никуда не поеду. Пусть выселяют с милицией, если хотят скандала.

На следующий день я написал письмо Федоренко.

«Предложенную мне комнату в служебном здании я осмотрел, однако, к сожалению, переселиться в нее не могу. Вы, видимо, предполагали, что мы заберем с собой мебель, которой обставлена комната, в которой мы сейчас живем. Поскольку же мы, по понятным причинам, не хотим забирать эту мебель с собой, просим вас обставить комнату самой необходимой мебелью, после чего может идти речь о ее заселении».

Через неделю в комнату поставили еще одну железную кровать, старинный платяной шкаф и древний комод.

Наконец-то мне, как ответственному работнику, увеличивали зарплату. Зарплата исчислялась в золотых рублях, но в день полочки, согласно существующему курсу, выдавалась в бумажных деньгах. Мы должны были видеть разницу за прошедшие четыре месяца. Я очень обрадовался прибавке — ведь это означало, что мы одним махом освободились от всех трудностей с продуктами питания и можно создать все условия для того, чтобы наш второй ребенок рос крепким и здоровым.

Однако от моего воодушевления не осталось и следа, когда в конторе мне сказали, что на меня лично повышение зарплаты не распространяется, так как я не являюсь ни начальником отдела, ни секретарем, а по штату проведен как заместитель начальника отдела.

Я не поверил своим ушам. Когда меня назначали в архив, я числился начальником отдела. Я сам не раз предлагал назначить на эту должность более авторитетного товарища, так как в архиве хранились очень важные международные документы, в том числе и секретные. Начальство в принципе соглашалось со мной, но после одной проверки, которую я с честью выдержал, было решено, что пока я останусь заведующим архивом. Когда же весь архив был приведен в порядок, заведующим архивом назначили старого большевика, по фамилии Шмидт, который недавно вернулся в Советский Союз из эмиграции. Это был очень милый, добродушный старичок, но иностранные языки он знал плохо. Правда, это было уже не так важно. После приведения архива в порядок поддерживать его не составляло труда, тем более что в отделе было несколько толковых сотрудников, которые хорошо знали иностранные языки. Меня обрадовало назначение Шмидта, так как после приведения архива в порядок я считал, что делать мне здесь больше нечего. Мне хотелось перейти на какую-нибудь более интересную работу. Когда же я попросил перевести меня на другую работу, директор учреждения решительно объявил, что об этом не может быть и речи, так как я, как и прежде, хотя и числюсь заместителем начальника архива, несу за него всю ответственность.

Тогда я пошел к секретарю учреждения — им был один иностранец — и объяснил ему свою просьбу.

— Очень сожалею, товарищ, — сказал он, — но помочь вам ничем не могу. И хотя, по сути дела, ваша работа носит международный характер, мы являемся сотрудниками советского государственного учреждения и потому обязаны выполнять все имеющиеся распоряжения. Если вы считаете, что ущемлены ваши права, вам следует обратиться в административный отдел, а если и там не помогут, тогда вы вправе просить помощи у проф-

союзной организации. В действия русских товарищей мы не имеем права вмешиваться.

Я понял, что разговаривать о заработной плате бесполезно, и потому попросил секретаря еще раз поставить перед начальством вопрос о переводе меня на другую работу.

— Не стоит об этом говорить, — сказал мне секретарь тоном, не терпящим никаких возражений. — Вас на эту работу прислала партия, и только по ее решению вас могут перевести на другую работу.

Я получаю новую работу

Настроение у меня было неважное, и не столько из-за материальных затруднений, сколько из-за бюрократического подхода к моей просьбе.

Я во что бы то ни стало решил сменить место работы. В то время в Кремле при Верховном Совете работал Всероссийский комитет по оказанию помощи голодающим. Секретарем «Отдела по связям с зарубежными странами» был товарищ Н. (один из бывших наркомов Баварской советской республики), с которым я был дружен. Однажды этот товарищ зашел ко мне и сказал, что его переводят на другую работу, а на его место подыскивается человек, знающий западные языки. Он попросил меня, чтобы я согласился занять его место, так как на новую работу его не отпустят до тех пор, пока он не подыщет себе достойного заместителя. Все остальное он берет на себя.

Я с радостью согласился, и через несколько дней он передал мне, что руководитель Отдела, Софья Львовна, согласна взять меня на его место и даже переговорила по этому вопросу с товарищами из Венгерской секции РКП(б). Прежде чем ставить вопрос о переводе меня с прежней работы, она хотела лично побеседовать со мной.

Софья Львовна, красивая умная женщина средних лет, была видным большевиком и высокообразованным человеком, превосходно разбиралась в политике. В течение нескольких лет она жила в эмиграции во Франции и прекрасно говорила на немецком и французском языках. Муж Софьи Львовны товарищ Коваленко и ее брат товарищ Дроздов работали в одном из партийных органов, но все знали, что между ними и Софьей Львовной имелись разногласия по некоторым политическим вопросам. Я спрашивал у многих товарищей, какого они мнения о Софье Львовне. И все в один голос говорили, что это очень умная, образованная женщина, милая и добрая, но очень нервная, так что сработаться с ней будет нелегко. По крайней мере, до сих пор никому не удавалось проработать с ней долго.

Я не без робости пошел к ней на беседу.

Приняла она меня очень сердечно. Расспросила о том, где и кем я работал до этого, какая у меня семья. Потом коротко

рассказала, в чем будет заключаться моя работа и чем вообще занимается комитет.

Ушел я от нее с чувством, что если мне удастся перейти на новую работу, то я об этом не пожалею.

Через два дня меня вызвал к себе директор нашего учреждения товарищ Аронов.

— Что это такое?! — сказал он возбужденно, вертя в руках письмо о переводе меня на новую работу. Вы без нашего ведома и согласия, как-то в обход, устраиваетесь на другую работу? Это не партийный подход к делу.

— Товарищ директор, мне предложили такую работу, которая подходит мне и для которой, как я понял, весьма подхожу и я. Поскольку я уже выполнил поставленную передо мной раньше задачу — привел в полный порядок архив, у меня не было никаких причин отказываться от нового предложения.

— Все это не так просто. Мы не можем отпустить вас — вы нужны здесь. Я доложу об этом товарищу Маркову.

На следующий день я зашел к Софье Львовне, чтобы поставить ее в известность о своем разговоре с Ароновым.

— Я об этом знаю, — сказала она. — Товарищ Аронов звонил мне. Я сказала ему, что все утрясено с кем нужно, но он не успокоился. Он обратился к товарищу Маркову, но у меня тоже есть связи наверху. Я рассказала об этом случае товарищу Коваленко, он пообещал поговорить с товарищем Марковым. Можете быть спокойны, все будет в порядке, наберитесь только терпения. Я вам сама сообщу об окончательном решении.

Я успокоился.

«Уж если в это дело вмешается Коваленко, — думал я, — Марков наверняка не будет настаивать на том, чтобы я остался на старом месте». Я стал ждать звонка от Софьи Львовны.

Через три дня она действительно позвонила и попросила меня зайти к ней.

— Ваш перевод не так прост, как я думала. Коваленко разговаривал с Марковым, но тот, по-видимому поговорив с директором вашего учреждения, хочет, чтобы вы остались работать на старом месте. В конце концов мы решили, что вы будете работать и тут и там, полдня в одном месте и полдня в другом.

Такое решение вопроса не устраивало меня, но я сказал:

— Хорошо, Софья Львовна. Мне, разумеется, будет нелегко, но дело не в этом. Как это отразится на самой работе? Боюсь, что не смогу добросовестно выполнять свои обязанности в двух местах сразу.

— Ничего страшного, — успокоила меня Софья Львовна. — Так будет недолго, потом все утрясется. Я приложу все усилия, чтобы вы окончательно перешли на работу к нам, а пока вот что посоветую вам: постарайтесь выполнять нашу работу с одиннадцати до трех. Утром пораньше будете являться в свое

учреждение и заниматься там своими делами до одиннадцати, а потом после трех проведете там еще часа два. Я убеждена в том, что вы прекрасно сможете справиться там со своими обязанностями. А главное — так будет недолго. Может, несколько дней, а самое большее — две-три недели. Я думаю, в интересах дела можно пойти на это.

На этот раз Софья Львовна не убедила меня, но говорила она все это таким тоном, что я не мог возразить, иначе получилось бы, будто я не доверяю ее словам.

— Попробую, — согласился я, пообещав с завтрашнего же дня приступить к работе сразу в двух местах.

— Не нужно было тебе на это соглашаться, — забранилась дома Катя. — Только изведешь себя. Зачем еще новую обузу взваливать на свои плечи? Разве что денег будешь больше получать, но ведь это не главное. Нам с тобой не так уже много нужно.

В душе я соглашался с женой, но ничего изменить уже был не в силах.

Произошло то, что предсказывала Катя. В своем учреждении я работал до этого с десяти до четырех. Теперь я приходил туда на два часа раньше, ровно в восемь, и работал до десяти. После этого шел в Кремль. После трех снова возвращался к себе на работу и работал там до семи часов вечера. Рабочий день по одиннадцати часов в сутки и бесконечные переходы из одного места в другое — все это так измотало меня уже в первую неделю, что я начал сомневаться в том, смогу ли я так дальше работать. Однако я надеялся, что Софья Львовна сдержит свое слово и добьется моего окончательного перевода к себе.

На военных сборах

Однажды утром меня вызвали в партком и сказали, что меня, как коммуниста, мобилизуют на месячные военные сборы, которые организованы на Ходынском поле. Мне нужно было немедленно явиться в райком.

Странно, думал я, две недели назад товарищ Аронов говорил, что я очень нужен ему, а теперь меня забирают на целый месяц. Я сказал об этом в райкоме, но секретарь только рукой махнул:

— Что делает товарищ Аронов, это его дело. Партком мобилизует товарищей для прохождения курсов военной подготовки. Так нужно.

У меня и мысли такой не было, чтобы не подчиниться решению парткома. Но что скажет на это Софья Львовна?

Этот разговор происходил утром рано, а Софья Львовна приходила на работу только к десяти. Я решил позвонить ей по телефону из райкома, когда буду знать детально, что это за сборы.

В райкоме между тем собралось много народу. Нам сказали, что нужно еще подождать, пока подойдут остальные.

В десять нас все еще не вызывали, и я позвонил Софье Львовне. Секретарша сказала, что Софьи Львовны сегодня на работе не будет весь день, она уехала в район. Меня попросили позвонить завтра.

Около полудня зачитали списки зачисленных на курсы, после чего распустили нас по домам, сказав, чтобы утром в девять мы были здесь с вещичками, которые необходимо взять с собой в лагерь.

Мне ничего не оставалось, как написать Софье Львовне письмо, в котором подробно рассказал о случившемся. Письмо это я оставил на работе.

Катю мои новости отнюдь не обрадовали.

— Не понимаю, почему они тебя перебрасывают с места на место, как футбольный мяч: то ты незаменим и нужен им, то тебя мобилизуют на какие-то курсы. Хотя это совсем неплохо для тебя — пробыть месяц на свежем воздухе, да и подвигаться немножко — это лучше, чем сидеть в канцелярии.

Утром, когда мы пришли в райком, нам сообщили, что из лагеря за нами вот-вот должны прийти грузовики. Ровно в десять мне удалось поговорить с Софьей Львовной по телефону. Она возмущалась, советовала мне отказаться от поездки в лагерь, пообещала добиться для меня освобождения. Когда же я сказал ей, что не могу не выполнить приказ парткома, она заявила, что не позднее завтрашнего дня уладит вопрос с лагерем.

По прибытии в лагерь нам раздали винтовки, необходимое снаряжение и, разбив на взводы, расселили по палаткам. Объявили, что занятия у нас будут каждый день с шести утра до четырех часов дня с часовым перерывом на обед. После четырех мы были свободны и даже могли поехать в город, но с обязательным условием в шесть утра стоять в строю. В субботу нас отпускали в два часа дня до понедельника.

В первый день занятий я так устал, что о поездке домой не мог даже и думать. На следующий день сразу же после окончания занятий я поехал в Кремль. Мне повезло, я застал Софью Львовну на работе. Она сказала, что бумага с просьбой о моем освобождении от сборов уже послана и этот вопрос должен решиться со дня на день.

— Для меня очень важно, чтобы вас освободили от сборов, так как у нас сейчас очень много работы. Вот и сегодня уже пять часов, а я все еще сижу и вряд ли раньше восьми освобожусь. Очень хорошо, что вы зашли. Здесь куча писем из АРА¹

¹ «АРА» («Американская администрация помощи») — организация, созданная после первой мировой войны якобы для оказания помощи европейским странам, на самом же деле с помощью «АРА» в эти страны засылались шпионы и диверсанты. Помощь, как таковая, в первую очередь оказывалась странам с реакционными режимами (Хорти, Пил-

и еще откуда-то, на которые необходимо срочно ответить на английском языке. Будьте добры, подготовьте на них ответы.

Когда я написал письма, шел уже восьмой час.

— Я вам уже говорила, что пройдет дня два, и вас освободят от сборов, — сказала на прощание Софья Львовна, — а пока очень вас прошу, заглядывайте сюда после занятий часика на два, как сегодня, и подготовьте ответы хотя бы на самые важные письма. Так будет не дольше двух дней. А теперь спокойной ночи!

Я вовсе не собирался каждый день ездить из лагеря домой. Конечно, я волновался, что Катя целыми днями будет одна-одинешенька, но за день я сильно уставал, а приезжать вечером домой означало, что утром мне, чтобы не опоздать на занятия, нужно было вставать в четыре часа. А поскольку трамваи в такое время еще не ходили, то нужно было полтора часа идти пешком.

Возразить что-нибудь Софье Львовне я не мог, потому что, сказав мне все, что хотела, она уже исчезла из комнаты.

Уставший, я пошел к Кате. Она очень обрадовалась мне, так как не думала, что так быстро увидит меня. Узнав о просьбе Софьи Львовны ежедневно после занятий приходить на службу, Катя ужаснулась, что мне утром придется вставать в четыре часа, но в то же время она не могла скрыть радости, что тогда мы будем каждый вечер вместе. Именно поэтому я решил выполнить просьбу Софьи Львовны, хотя в душе и протестовал.

Катин отдых

Для меня наступили тяжелые дни. После утренней ходьбы — тяжелые физические занятия под жарким солнцем, а потом вечерняя работа. Из обещания Софьи Львовны ничего не получилось, хотя она по-прежнему уверяла меня, что дело «не сегодня-завтра решится». Эти ее обещания раздражали, но еще больше мучила мысль о том, что Катя с утра до позднего вечера одна сидит в комнате, куда и солнце-то не заглядывает. Я убеждал ее, что ей нужно выходить на воздух, но одна она никуда не хотела идти — разве только выходила на часик погулять в Александровский сад.

Одиночество Кати стало беспокоить меня еще больше, когда однажды вечером она рассказала мне о том, что получила письмо от матери из Верхнеудинска, куда они с отчимом переехали из Хилока. Мария Павловна писала, что Николай по торговым делам уехал в Китай, и там его убили. Кто убил и почему, об

судскому) и русским белоэмигрантам. В Советском Союзе «АРА» имела своих представителей согласно договоренности с Советским правительством с августа 1921 года, когда ряд районов России был охвачен голодом. После разоблачения шпионской деятельности в июле 1923 года «АРА» прекратила свое существование. — *Прим. венг. изд.*

этом она не писала. Далее следовали жалобы на целую страницу: она сетовала на то, что все ее оставили и она живет одна-одинешенька.

Это письмо настолько вывело Катю из равновесия, что оставлять ее одну на целые дни мне казалось опасным.

Я узнал, что наше учреждение имело в Подмосковье дом отдыха в Косино, всего в получасе езды от Москвы. Я обратился к секретарю профкома и попросил его дать моей жене путевку на четыре недели. Он обещал уладить это дело в дирекции.

Кате об этом я сказал только тогда, когда путевка была уже у меня в руках. Сначала она никак не соглашалась ехать, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить ее в том, что она должна это сделать ради нашего ребенка.

— И не только ради ребенка, а и ради меня. Если ты поедешь в дом отдыха, я буду за тебя спокоен.

Мне удалось уговорить ее. Путевку я получил в пятницу, а в субботу пораньше приехал домой, чтобы проводить Катю в Косино и самому побыть с ней там все воскресенье.

Снова огорчения

В конце следующей недели, когда я приехал домой, к своему ужасу, увидел, что дверь нашей комнаты взломана, а из комнаты исчезли все более или менее ценные вещи, в том числе несколько килограммов муки и соли, которые были у нас в запасе.

Можно было догадаться, чьих рук это дело. В соседней с нами комнате уже не первую неделю шел ремонт. Еще когда Катя была дома, она познакомилась с рабочими-ремонтниками, угощала их чаем, кормила супом. А закончив работу, они взломали дверь в нашу комнату и унесли все, что можно.

И как им удалось все это вынести, когда в воротах днем и ночью стоял часовой и проверял у всех пропуска и вещи? Мне самому не раз приходилось показывать часовому, что я несу в чемоданчике.

Я пошел разыскивать начальника караула, но его нигде не было. Часовой, стоявший у ворот, сказал, что начальник бесследно исчез еще два дня назад.

Узнал я и то, что рабочие, ремонтировавшие помещение, были из той же деревни, что и начальник охраны. Мне стало ясно, что эта кража произошла не без согласия начальника охраны.

О случившемся я, разумеется, сообщил в милицию, где мне пообещали разобраться. Расследование, о результатах которого мне стало известно через несколько недель, ничего не дало.

В Косино я приехал поздно вечером. Катя уже третий раз выходила меня встречать на станцию и очень волновалась.

— Чего ты беспокоишься, дорогая? — сказал я Кате. — Я был занят и не мог приехать раньше.

— А у меня неприятность, — сказала она в каком-то смущении.

Настала моя очередь беспокоиться.

— Ради бога, скажи, что случилось.

— Ничего особенного... Так только перепугалась немного. Утром мы пошли с одной женщиной в лес погулять. Насобирали грибов и не заметили, как потеряли друг друга из виду. Я только тогда заметила, что я одна, когда передо мной, словно из-под земли, появился какой-то молодой парень. Подойдя ко мне, он вынул из кармана пистолет и крикнул: «Снимай часы!» Я успела разглядеть, что в руках у него не настоящий пистолет, а всего-навсего детский игрушечный револьвер. Я боялась не за жизнь, а подумала, что он, чего доброго, еще избьет меня... Поэтому я, не говоря ни слова, сняла с руки часы и протянула ему. На, мол, бери! Он подошел ко мне, не спуская с меня дула своего пистолета и, вырвав у меня из рук часы, начал пятиться назад. Лицо у него при этом было такое испуганное, что мне стало жаль его. Тут я сняла с головы платок и протянула ему: «Может, тебе и платок нужен, на, бери!» Но он тут же убежал. Я начала громко звать свою подругу, и через несколько минут мы с ней встретились. Когда я рассказала ей о том, что произошло, она перепугалась больше меня. Вечером мы уже смеялись над этим случаем, но, подумав, я решила, что все могло кончиться гораздо хуже.

Я с облегчением вздохнул. Хорошо еще, что Катя не жалела о часах. И тут я решил рассказать о том, что нас обворовали.

Катя спокойно выслушала меня.

— Обчистили, значит. Ну, ничего, не умрем же мы от этого. Жаль только, что это сделали люди, которых я знаю, которых от души угощала. Хотя и они-то мало виноваты, виноват старый мир, в котором они выросли. В нашем новом мире таких людей уже не будет.

Катин отдых подходил к концу. Поскольку пребывание в деревне пошло ей на пользу, мы сняли в селе небольшую комнатушку, чтобы она еще несколько недель могла пожить там. Катя согласилась с условием, что после сборов я возьму двухнедельный отпуск и приеду к ней.

Когда сборы кончились, я продолжал работать на двух работах, а на воскресенье приезжал к Кате в деревню. Вряд ли я вынес бы такую нагрузку, если бы не эти поездки к Кате. Ее любовь и нежность, ее понимание заставляли меня забывать обо всем на свете. Трудно было уезжать от нее.

Меня хотят послать на Украину

Спустя неделю после окончания сборов мне пришлось проглотить еще одну горькую пилюлю. Меня вызвали в партком и

сказали, что по приказу сверху наш партком должен выделить четырех человек для ведения агитационной работы в селах Украины. Мне дали два дня на сборы.

«С ума они, что ли, походили?» — подумал я и пошел к секретарю парткома.

— Я думаю, товарищ, — начал я, — ваши работники не отдают себе отчета в том, что делают. Если бы меня посылали на постоянную работу в деревню, я с радостью согласился бы. Но представьте себе, что я, совсем не зная ни деревни, ни украинского языка, приеду туда и буду агитировать крестьян за коммунизм. Через два дня все село только и будет говорить о том, что большевики продали страну иностранцам.

Однако убедить секретаря парткома мне не удалось.

— Не стоит горячиться, товарищ. Украинские крестьяне очень хорошо понимают русский, а вы вполне сносно разговариваете по-русски. Да и произношение у вас не хуже, чем у какого-нибудь кавказца. А что вы не знаете деревни — так это совсем неважно, так как агитатору, направленному для работы в село, нужно говорить не о деревне, а о социализме и коммунизме. И кроме всего, партийное решение — это партийное решение, и тут вам никакая апелляция не поможет.

Я не стал спорить с секретарем, видя, что дело это безнадежное. Решил сходить к секретарю ЦК. После нескольких часов ожидания мне удалось попасть к товарищу Кнорину. Выслушав меня, он покачал головой и сказал:

— Возвращайтесь к себе на работу и скажите своему секретарю, что он поступил неправильно. Скажите, что это я так сказал. Если же он не поверит, то я ему об этом письменно напишу.

До писанины дело не дошло, секретарь удовлетворился устным заявлением и с недовольным видом сказал мне, что я могу идти.

Отпуск

За последние месяцы мне пришлось пережить столько неприятностей, что достаточно было одной капли, чтобы переполнить чашу моего терпения. Такой каплей и явилось желание секретаря послать меня на Украину. Болезнь и смерть сына, неудача с повышением зарплаты, двуликость директора нашего учреждения, моя беготня с одного рабочего места на другое, пустые обещания Софьи Львовны, кража и, наконец, командировка на Украину — все это вымотало меня. Я чувствовал: силы мои на исходе. Решил уволиться с обоих мест и найти себе работу поспокойнее.

Пришлось еще раз обратиться к товарищу Аронову, но он заявил:

— Об увольнении и не мечтайте. А вот что вы устали, это

я и сам вижу. Предоставляю вам двухнедельный отпуск. По-езжайте к жене в Косино и отдохните немного.

После этого я поговорил с Софьей Львовной, она отговорила меня от увольнения, но не возражала против моего отпуска.

Новая перспектива

Садясь в поезд, я все еще думал, что после отпуска во что бы то ни стало уволюсь с обоих мест. Где и кем буду работать, я, конечно, не знал. А когда выходил из вагона в Косино, уже знал, что буду делать.

В жизни человека бывают случайности, которые буквально решают его судьбу. В поезде я встретился с одним своим знакомым из Верхнеудинска. Он рассказал мне, что учителем в этом городе, а на летние каникулы приехал в Москву к родственникам. По его мнению, в Дальневосточной республике люди сейчас живут гораздо лучше, чем в России.

— Представьте себе, — продолжал он, — у нас полная демократия: правительство коалиционное, из представителей четырех партий, имеется свободная торговля, в обращении находятся золотые и серебряные деньги. Руководство, разумеется, осуществляют коммунисты, руководят они с умом. А вот специалистов у нас маловато. Вас с вашим университетским дипломом да еще знанием английского языка просто на руках будут носить. Я бы на вашем месте, не задумываясь, перевелся на работу в Читу. Там вы без труда найдете себе работу по душе и будете жить без забот.

Когда же я сказал, что знаю не только английский язык, но даже немного научился говорить по-японски, мой знакомый пришел в восторг.

— Нет никакого смысла вам и дальше мучиться в Москве, когда вы у нас нарасхват будете.

Я невольно задумался.

— И вы полагаете, что мне нетрудно будет перевестись к вам? Насколько я знаю, перевод — дело не такое уж простое. Потом, как же мне связаться с кем-нибудь из Дальневосточной республики?

— Нет ничего проще. Дальневосточная республика является самостоятельным государством и поэтому имеет свое представительство в Москве. Стоит вам только поговорить с послом ДВР и сказать, что вы хотите работать в Чите, как он вас встретит с распростертыми объятиями. А уж дальше он сам все уладит.

Ничего другого для себя я и не желал. Хотелось уехать как можно дальше из Москвы, чтобы забыть все, что я здесь пережил. Да и Катя будет рада жить поближе к матери, которая всегда сможет приехать к нам из Удинска.

Приехав в Косино, я решил, если Катя не будет возражать, сразу же после отпуска разыскать посла ДВР и поговорить с ним о моем переводе,

Две счастливые недели

В Косино мы с Катей великолепно провели две недели. За четыре года нашей совместной жизни мы впервые были по-настоящему вместе. Днем мы бродили по лесу, собирали грибы и ягоды, загорали, купались в озере, валялись на траве, болтали обо всем на свете и были на редкость счастливы.

Мне не терпелось поделиться с Катей своими планами на будущее, но в то же время не хотелось ввергать ее в мир забот.

Лишь в конце первой недели я сказал Кате о своем намерении уехать на Дальний Восток. Я и до этого не сомневался, что она одобрит мое предложение, однако для меня было полной неожиданностью то, как остро она реагировала на мои слова. С широко раскрытыми глазами, в которых стояли слезы, она прильнула ко мне и горячо зашептала:

— Если бы ты знал, как я рада! Все это время я только и делаю, что хочу поскорее забыть смерть нашего малыша.

Дипломатические переговоры

Вскоре я зашел в посольство Дальневосточной республики, чтобы поговорить с послом. Меня принял его секретарь товарищ Богомолов.

Он внимательно выслушал меня и посоветовал зайти на следующий день между одиннадцатью и двенадцатью часами, когда будет принимать посол Тимошенко.

Это был веселый седовласый мужчина. Когда я рассказал ему о своем желании поехать работать в ДВР, он поинтересовался моим прошлым: где я учился, где работал и тому подобное. Потом попросил меня написать заявление и изложить в нем, что я хочу поехать в Дальневосточную республику и готов немедленно выехать в Читу. Прощаясь со мной, он попросил меня зайти к нему через неделю.

Неделя ожидания тянулась очень медленно. Когда через неделю я снова пришел к послу, он улыбнулся и дружески пожал мне руку.

— Ответ на вашу просьбу пришел, — сказал он, — и, как я ожидал, положительный. Министерство иностранных дел Дальневосточной республики намерено использовать вас в качестве референта по японским делам, и министр просил, чтобы вы как можно скорее приступили к выполнению своих обязанностей. Вы получили бумагу об увольнении вас с работы?

— Пока еще нет, — ответил я. — Но я достану ее.

— Постарайтесь достать, так как без нее мы не сможем оформить вас.

Я, разумеется, не рассчитывал на то, что меня по-хорошему отпустят с работы. Я попросил у посла, чтобы он дал мне бу-

магу с просьбой перевести меня на работу в ДВР, и получил ее через несколько минут. Она действительно пригодилась, так как на работе и в парткоме к моей просьбе о переводе отнеслись отрицательно.

— Неужели вы думаете, что по этой бумажке мы отдадим вас? — спросил меня заместитель директора.

— Вас сюда на работу направил Центральный Комитет партии, и, следовательно, только по его распоряжению вы можете уволиться отсюда, — заявил секретарь партбюро.

Утром я еще раз зашел к послу и попросил, чтобы он написал относительно меня письмо в ЦК.

В ЦК партии меня послали в административный отдел к товарищу Кнорину. Прочитав письмо посла, он задал мне несколько вопросов. Узнав, что я уже жил в Чите, говорю бегло по-английски и немного по-японски, он сразу же отдал распоряжение, чтобы мне на работу немедленно было отправлено письмо с указанием откомандировать меня в распоряжение правительства Дальневосточной республики. Письмо это мне дали на руки.

Однако кое-кто у меня на работе продолжал стоять на своем.

— Наше учреждение не имеет абсолютно никакого отношения к Дальневосточной республике, — заявил директор, узнав, в чем дело.

Я попытался было убедить его, но безрезультатно.

— Товарищ Аронов, вам не кажется, что в ЦК лучше знают, что делать? Посмотрите, письмо подписано самим товарищем Кнориным.

— Это не имеет никакого значения. Кто бы ваше письмо ни подписал, мы с дипломатическими представителями в переписку не вступаем.

В конце концов мы все же договорились, что, поскольку просьба исходит из ЦК, меня откомандировывают в его распоряжение.

На следующий день с письмом в кармане я снова зашел к товарищу Кнорину, который дал мне направление, согласно которому я поступал в распоряжение правительства Дальневосточной республики.

С этим направлением я и явился к послу ДВР, потратив на хождения в различные инстанции ровно четверо суток.

— Главное сделано, — сказал мне посол. — Теперь с этой бумагой вам придется еще раз сходить в ЦК и получить там официальный документ о вашем откомандировании, командировочные деньги и проездные документы. Через несколько дней будет готов ваш паспорт. Детали вы обговорите с товарищем Богомоловым, у него же получите анкеты, которые вам необходимо будет заполнить.

На следующий день я уже в третий раз пришел к Кнорину. Узнав, в чем дело, он только всплеснул руками:

— И чего только не выдумает этот Тимошенко! Скажите ему.

от моего имени, что мы передали вас в распоряжение правительства Дальневосточной республики и она вправе посылать вас, куда захочет.

И снова я пошел в посольство.

Увидев меня, Тимошенко закачал головой.

— Поймите, дорогой, в чем тут дело. В ваших интересах, чтобы в Читу вас послал ЦК партии, так как в этом случае он обязан выплатить вам деньги на дорогу и снабдить бесплатным билетом. Мы же этого дать вам не имеем возможности. Идите, дорогой, еще раз к этому Кнорину. Я дам вам на руки телеграмму министра иностранных дел республики товарища Янсона с просьбой о вашем откомандировании. Покажите Кнорину эту телеграмму. Кроме этого, я сам напишу ему письмо, чтобы он не отсылал вас ко мне, а выдал бы вам положенные документы да выплатил деньги на дорогу. Он знает, что советских денег у нас так мало, что еле-еле хватает на нужды посольства.

Я был удивлен такой затейкой, но что оставалось делать? С письмом посла и телеграммой министра я в четвертый раз пошел к Кнорину. Письмо вывело его из себя.

— Не понимаю я этого Тимошенко! Чего он вас гоняет взад-вперед! Вы нужны правительству Дальневосточной республики, министр иностранных дел ДВР шлет в Москву телеграмму, чтобы вас срочно направили в Читу. Ну так пусть и отправляют. А при чем тут ЦК партии? Все это должна сделать Дальневосточная республика. Для этого у них здесь и посольство, чтобы заниматься подобными делами. Они хотят, чтобы мы оплатили вам эту поездку, когда самикупаются в золоте! Я сейчас напишу пару слов этому Тимошенко. А вас заранее предупреждаю: ко мне больше не ходите, все равно без толку.

И пошел я обратно к Тимошенко. Прочитав письмо Кнорина, он рассмеялся:

— Я всегда знал, что партийцев не переубедишь, ну да ничего. Дадим товарищу Янсону телеграмму в Читу, чтобы он разрешил нам оплатить все ваши дорожные расходы. А вы пока собирайтесь. Как придет ответ — сразу и поедете.

Двести рублей золотом

Я тоже послал телеграмму в Дальневосточную республику, в Верхнеудинск, теще, в которой сообщил, что скоро мы к ней приедем. Через три дня я получил ответ на свою телеграмму, зато ответ на телеграмму посла пришел только через две недели. В телеграмме говорилось, что разрешается выдать мне на дорогу двести золотых рублей.

Товарищ Тимошенко вызвал меня к себе и вручил мне двести рублей золотом.

— Думаю, что этих денег вам хватит для оплаты визы, покупки билетов и еще кое-что останется на дорогу. Суточные мы

вам пока заплатить не сможем. По приезде в Читту вам сделают перерасчет, и все, что полагается, вы получите там.

Товарищ Тимошенко, видимо, увидел на моем лице выражение недоумения и стал мне объяснять следующее:

— Мы распоряжаемся только своей валютой, советских денег у нас нет. С этим вот чеком вы пойдете в Государственный банк на Неглинной улице и получите там двести рублей. Затем пойдете с этими деньгами на Сухаревский рынок и там обменяете их на советские деньги. Потом — в министерство иностранных дел и заплатите за визу. На городской станции купите железнодорожные билеты. Только поторопитесь, пожалуйста, так как городская касса в три часа уже закрывается, а если вы не уедете сегодня вечерним поездом, то следующий поезд будет только через две недели.

Я делал все так, как мне посоветовал посол. Но только он не учел, что на все это нужно время. Чек я получил около полудня, в четверть первого уже был в банке, где на всю процедуру получения денег ушло около часа. На Сухаревку я попал только в два часа.

Продать там деньги оказалось делом не таким уж простым. Правда, недостатка в спекулянтах валютой на рынке не было. Они слонялись между палатками и ларьками, имея в карманах самые различные деньги, но не стоило с ними связываться. К тому же мне не хотелось, чтобы меня сцапал милиционер, когда я буду продавать деньги. Но тут ко мне подошел какой-то торгош и спросил, что я хочу. «Продать двадцать золотых червонцев, — ответил я. Оказалось, что сейчас у него нет с собой денег, но через полчаса они будут, и он заплатит мне за каждый червонец по тридцать миллионов. Мне это показалось чересчур дешево. Спекулянт ничего не ответил мне — боялся шнырявших вокруг конкурентов. Он предложил мне пройти в один переулок и там спокойно поговорить. Я заколебался. А вдруг он заведет меня куда-нибудь и отнимет деньги? Догадавшись, в чем дело, спекулянт улыбнулся и сказал:

— Я вижу, вы мне не доверяете. Напрасно. Или вы думаете, что если человек покупает или продает золото, то он обязательно грабитель и убийца? Давайте будем прогуливаться между лавочками и на ходу поговорим.

За двести золотых рублей он предложил мне сто пятьдесят миллионов. Возмущенный, я отказался, понимая, что он слишком много хотел на мне заработать. После долгих споров мы договорились на двухстах миллионах.

Когда бумажные деньги оказались у меня в кармане, я помчался в министерство иностранных дел. А до закрытия железнодорожной кассы оставался всего какой-то час. Теперь все зависело от того, как быстро я получу визу. И хотя в отделе виз стояла очередь человек в тридцать, мне удалось получить визу без очереди. В половине третьего у меня на руках были пас-

порт и виза, а мне еще нужно было зайти в посольство за въездной визой. Я бежал по улице как угорелый, а сам смотрел, не попадет ли мне какой-нибудь извозчик. Минут через пять мне удалось поймать извозчика. Без четверти три я был уже в посольстве, где мне быстро поставили в два паспорта въездную визу. Когда я подъехал к железнодорожной кассе, часы показывали две минуты четвертого. Касса была уже закрыта.

Я стоял, не зная, что теперь делать. Поезд уходил в семь вечера. Касса на вокзале открывается в пять часов, но большая часть билетов распродается в городской кассе предварительной продажи, и в вокзальную кассу билетов дают мало, а хвост там обычно стоит большой. Ехать сразу на вокзал я не могу, ведь нужно еще собрать и упаковать вещи. Тут мне пришло в голову, что в кассе, по-видимому, бывает бронь. Имея на руках записку посла, может быть, я смогу получить два билета? Я поехал обратно в посольство, но и оно работало только до трех, а домашнего адреса посла мне не дали. У меня оставался один-единственный выход: ехать домой и быстро упаковываться, потом ехать на вокзал в надежде на какое-нибудь чудо.

А тут, как назло, пошел проливной дождь, и я, пока добрался до дому, промок до нитки.

Катя, которая была уже на восьмом месяце беременности, чувствовала себя плохо. Еще утром она жаловалась на слабость, а тут еще эта предотъездная суета. Когда я сказал ей, в каком положении мы оказались, бедняжка совсем упала духом.

Дождь все еще лил как из ведра, нечего было и думать о том, чтобы с вещами добираться как-то до вокзала. Оставалось смириться с мыслью, что мы поедем через две недели.

— Ничего, поедем позже. По крайней мере, в дорогу соберемся как следует, — успокаивал я Катю.

— Так-то оно так, — согласилась она. — А как же быть с деньгами? Билеты надо покупать дня за два, за три до отъезда, платить за них рублями, а ты сам знаешь, как ненадежны сейчас бумажные деньги: сегодня за один билет нужно платить шестьдесят миллионов, а через десять дней, может быть, в два раза больше.

— Завтра утром я схожу в посольство, и, возможно, товарищ Тимошенко поможет нам приобрести билеты заранее.

Узнав, что я не уехал, товарищ Тимошенко рассердился не на шутку. Оказалось, что накануне диккурьер привез ему письмо с выговором за то, что он не отправил меня раньше.

Когда же я рассказал ему о проблеме с деньгами, гнев посла достиг своей высшей точки. Позабыв о своем дипломатическом ранге, Тимошенко выругал меня на русский манер.

— Билеты на проезд вы сможете купить только за три дня до отъезда. Раньше вам их никто не продаст, у нас уже был такой случай, и ничего не вышло. Немедленно идите на Сухаревку и покупайте золотые червонцы, которые вы через десять

дней опять продадите за советские деньги. Разумеется, несколько рублей вы потеряете, но уж тут ничего не поделаешь.

Я помчался на Сухаревку. Пробродил там с добрых полчаса, но ни одного спекулянта валютой так и не нашел. Возможно, в то утро милиция делала облаву и всех спекулянтов арестовала, а может, они сами что-то пронюхали и благоразумно скрылись.

Я был вынужден попытаться счастья на другом черном рынке — у Ильинских ворот. Там я нашел, что искал. Но боже мой! Оказывается, со вчерашнего дня цена на золотые рубли подскочила на двадцать пять процентов. Значит, за сто шестьдесят миллионов, которые у меня остались после того, как я уплатил за визу, и за которые вчера я получил бы сто двадцать рублей золотом, сегодня спекулянты давали только сотню. Целый час ходил я по рынку, пробуя договориться то с одним, то с другим (перебрал человек шесть), но они все словно сговорились против меня: больше сотни никто не давал.

Что было делать? Не желая через несколько дней попасть в худшее положение, я согласился на сотню.

А это означало, что на покупку билетов у меня не хватало миллионов двадцать — тридцать. А что будет через десять дней? Сколько денег мне тогда придется просить взаймы, я не знал.

За оставшиеся две недели мы не спеша подготовились к дороге. У меня была одна забота — где достать недостающие на билеты деньги. С трудом, но я их нашел. За два дня до отъезда я снова продал золотые червонцы и получил бумажные рубли, а недостающую сумму занял на неопределенный срок у Ласло Рудаши и Аноша Хевеши. Я купил билеты, и холодным октябрьским вечером мы с Катей выехали в Читу дальневосточным экспрессом.

Два дня в Верхнеудинске

В солнечное морозное зимнее утро мы приехали в Верхнеудинск. Мария Павловна на радости устроила нам в ресторане, который после смерти мужа перешел в ее руки, княжеский завтрак.

За завтраком она рассказала нам подробности гибели мужа.

Марии Павловне с мужьями явно не везло. Первого мужа она потеряла после первого года замужества, второго — сгубили водка и женщины, а третьего — Николая — убили соотечественники. Произошло это еще весной. В письме она не писала подробности его смерти, теперь же детально рассказала все, как было. До женитьбы на Марии Павловне и до покупки ресторана Николай торговал тканями и кедровыми орехами. Орехи он скупал у китайцев, которые жили в горах вдоль маньчжурской границы, привозя им из Харбина различные ткани. Женившись, он бросил это занятие. В горах у него был один коллега по торговым делам, который еще давно задолжал ему несколько тысяч

рублей. Во время последней их встречи купец обещал расплатиться с Николаем ровно через год, сказав, что он сам привезет долг в Удинск, но слова своего не сдержал. Николай подождал еще несколько месяцев, а потом взял напрокат сани и поехал в горы к куцу. Прошло несколько недель, а Николай все не возвращался. Тогда Мария Павловна заявила в милицию. Начался розыск, и причем нелегкий, так как нужно было связаться с китайской полицией. В конце концов удалось установить, что Николай доехал до своего должника. Купец устроил в честь кредитора богатый ужин. Ужинали всю ночь напролет, все гости перепились. Когда же утром гости проснулись, то увидели, что хозяин и еще двое купцов исчезли. Николая нашли во дворе с разбитой головой и веревкой на шее, которой его задушили. Все бросились искать убийц, но их и след простыл.

— И осталась я, родные мои деточки, одна, — закончила свой невеселый рассказ Мария Павловна, и слезы градом потекли по ее щекам. — Добрый человек был Николай, но и с ним мне было нелегко. Чудные эти мужчины, трудно их понять. Теперь только вы одни у меня остались, дорогие, но и вы от меня отбились. Правда, есть еще Шура, но и от него что-то вот уж несколько месяцев нет никаких известий. Кто знает, жив ли он сейчас?

С Шурой я встречался в двадцать первом году в Чите. После этого мы узнали, что его перевели служить в пограничную часть и живет он в маленькой деревушке на маньчжурской границе. Никакого несчастья для Шуры мы в этом не видели.

Я обещал теще, что, как только буду в Чите, сразу же наведу справки о Шуре в пограничном управлении, но Мария Павловна, вместо того чтобы успокоиться, разрыдалась.

— Мария Павловна, дорогая, не плачьте, — утешал я ее. — Видите, мы приехали к вам, теперь будем жить рядом.

— Не называй меня Марией Павловной, — не переставая плакать, сказала теща, — когда ты меня так называешь, мне кажется, что ты считаешь меня чужой. Когда-то и я так на тебя смотрела, но это было давно. Когда я не верила, что ты по-настоящему любишь Катю. Я думала сначала, что она тебе нужна только как женщина, с которой можно переспать. Знаешь, большинство пленных так смотрели на наших женщин. Если ты ее любишь, думала тогда я, то пойдешь с ней в церковь венчаться. Я и сейчас жалею, что ты не сделал этого, но теперь я знаю, что ты ее любишь.

— Хорошо, я вас теперь буду называть мамой.

— Нет, так пусть меня Катя называет. Вы ведь меня уже сделали бабушкой. Скоро у вас появится второй малыш. Так что ты уж так и называй меня бабушкой, ждать этого недолго.

— Хорошо, бабушка, только успокойтесь, пожалуйста.

После завтрака Мария Павловна проводила нас к себе на квартиру. Жила она в одной комнате, но большой и удобной.

— Сначала вам нужно помыться с дороги, — заявила теща. — Здесь по соседству есть хорошая баня, я уже договори-лась с хозяином, чтобы они ее для вас истопили. Вас там уже ждут.

Баня соседей действительно оказалась превосходной. В ней было все, что должно быть в настоящей сибирской бане: добрый десяток шаяк, березовые веники, парная.

Я помылся быстро. Даже за долгие годы жизни в Сибири я так и не привык подолгу сидеть в парной: сколько ни пытался, больше двух-трех минут не выдерживал. Я оделся и вышел во двор. Но на дворе было холодно: стоял мороз градусов в тридцать, и я зашел в дом к хозяевам бани, где на столе уже стоял вскипевший самовар.

Я уже сидел за столом и пил чай с черносмородиновым вареньем, как вдруг мне показалось, что во дворе кто-то громко всхлипнул. Я выбежал во двор, следом за мной — хозяйка. У меня волосы дыбом встали от той картины, которую я увидел. Посредине двора в снегу стояла совершенно голая Катя, с распущенными по плечам волосами, с поднятыми к небу руками. Лицо ее и все тело были красные как огонь. Я подбежал к ней, но не успел подхватить — она так и повалилась в снег. Схватив ее на руки, бегом внес в дом. Хозяйка сообразила, что Катя угорела от дыма. Она уложила ее в кровать и стала растирать ее снегом, потом накрыла чистой простыней, одеялом и насильно заставила ее выпить сначала немного водки, потом напоила горячим чаем.

К счастью, все обошлось благополучно. К вечеру у Кати чуть-чуть болела голова, но потом все прошло, и она уснула.

Неожиданно домой вернулась Мария Павловна и, увидев спящую дочь, сказала:

— Послушай меня, сынок. Я вижу, Катя сильно ослабла, нельзя увозить ее в таком состоянии в совершенно незнакомое место. Да у вас пока в Чите и квартиры-то никакой нет. Ей и после родов нужен будет покой. Ты езжай в Читу, а ее оставь у меня. Пусть она родит здесь и пробудет у меня до рождества. Можешь не беспокоиться за нее: я за ней буду смотреть в оба. Приставлю к ней какую-нибудь женщину, которая будет все ей делать, ведь я-то весь день на станции пропадаю.

Я понимал, что так оно и будет. Мы договорились, что я посоветуюсь с Катей и, если она согласится, через два дня один уеду в Читу. Катя же останется в Удинске до тех пор, пока не родит и полностью не оправится после родов. Катя согласилась остаться у матери с условием, что, как только родится ребенок, я приеду навестить их. Разумеется, я обещал ей это.

На второй день своего пребывания в Удинске я пошел пройтись по городу. На центральной улице ко мне вдруг подошел

какой-то мужчина и обнял меня. Лицо его так и сияло от радости.

Это был Карой Хишма, пленный, вместе с которым я в девятнадцатом году лежал в больнице у пана Зимерского.

— Как я рад, что мы встретились! Я о тебе все знаю, а ты, видно, и представления не имеешь, кто я такой. Помнишь, мы познакомились в больнице? Подозревали друг друга бог знает в чем, приглядывались, осторожничали. Если ты свободен, пойдем посидим, поговорим. Тут недалеко есть одна чайная.

Хишма рассказал мне историю, как он весной девятнадцатого года попал в больницу к пану Зимерскому. В восемнадцатом году был комиссаром в интернациональном полку Красной Армии. Во время контрреволюции ушел в подполье, но пробыл там всего несколько месяцев, так как группа, в которую он входил, провалилась. Ему удалось избежать ареста. Один русский коммунист, старый знакомый Хишмы, помог ему устроиться обходчиком на железную дорогу. Его оформили по старым документам, по которым числился в лагере. Когда же к нему и там стали присматриваться, скрылся. Вернуться в лагерь он не решился, так как боялся, что его там найдут. Вот тогда-то ему и пришла в голову мысль лечь в больницу, где его никто не будет искать.

— И доктор Зимерский взял тебя к себе, не догадываясь о том, кто ты такой?

— Как же, он знал.

— И не боялся, что может попасть в беду из-за тебя?

— Нет. Зимерский никогда не был ни коммунистом, ни даже социалистом, просто он гуманный человек. А помнишь его жену? Красивая женщина с лицом мадонны. Ее брат, студент, был тоже коммунистом. Работал он на железной дороге и тоже с фальшивыми документами. Когда обстановка стала опасной, он-то и уговорил доктора положить нас с ним в больницу. Вот мы и лежали в одной больнице, но делали вид, что даже не знакомы друг с другом. Потом мы вместе ушли в тайгу к партизанам. Это и был тот лагерь, в который я намеревался уйти.

Затем он рассказал мне о том, что после разгрома белых работал в милиции Дальневосточной республики, а сейчас является начальником верхнеудинской милиции.

Мне много о себе рассказывать не пришлось, так как он почти все знал обо мне со слов Марии Павловны.

Мы расстались, договорившись обязательно встретиться еще раз.

Утром следующего дня я выехал в Читу.

В Чите

В Чите я сразу же отправился в министерство иностранных дел ДВР и записался на прием к министру.

Разговаривал со мной молодой секретарь, который сказал, что министра сейчас нет в Чите и вернется он через неделю.

— Но это не столь важно, — добавил секретарь, — мы знали, что вы приезжаете, государственный секретарь Яковенко — Хоткевич уже ждет вас.

Государственный секретарь поздоровался со мной за руку.

— Вам повезло, товарищ, — сказал он мне, когда мы остались вдвоем. — Я здесь не только госсекретарь министерства иностранных дел, но одновременно являюсь и министром внутренних дел, а это значит, что в моем распоряжении находятся квартиры, которые освобождаются по той или иной причине. На днях мы направили в Китай одного товарища дискурьером. У него здесь очень хорошая двухкомнатная квартира. Она будет пустовать несколько месяцев. Через два-три дня вы можете ее занять. Живите, пока товарищ находится за границей, а за это время мы вам подыщем что-нибудь постоянное.

Такого внимания к себе я, право, не ожидал. Я даже не знал, как мне и отблагодарить товарища за заботу обо мне, и вместо этого пробормотал что-то маловразумительное.

— Пожалуйста, не благодарите, — сказал государственный секретарь. — Как же нам не заботиться о своих людях?

После этого я поинтересовался, в чем будет заключаться моя работа.

— Вы, товарищ Шик, сперва устраивайтесь как следует. Походите по городу, осмотритесь здесь, в министерстве, а на будущей неделе мы с вами и поговорим о деле, — уклончиво заявил государственный секретарь.

Мне захотелось узнать, где я буду жить эти несколько дней, пока освободится квартира дискурьера, и я спросил об этом.

— Это не проблема. Я вам дам записочку к секретарю губернского парткома, чтобы он разместил вас на несколько дней в гостинице для партработников.

Госсекретарь тепло распрощался со мной, напомнив, что мы встретимся на следующей неделе.

Секретарь губернского парткома, прочитав записку Яковенко, развел руками.

— Свихнулся, что ли, этот Яковенко! Откуда он взял, что у нас имеется гостиница для партработников?

Так или иначе, а я остался без крова и не знал, куда идти.

Было уже часа три, когда я вышел из губкома. Поскольку я с самого утра ничего не ел, то первым делом зашел в какую-то столовую и хорошо пообедал. Я старался не думать о том, что же мне делать потом.

Часа в четыре я вышел из столовой и решил пройтись по городу.

Взятие Владивостока

С тех пор как я видел Читу последний раз, город почти не изменился. Разве что стало больше ресторанчиков, закусовых, зато китайские лавочки и кофейные почти совсем исчезли. Я зашел в две гостиницы, но ни одного свободного номера в них не оказалось.

Я прошелся по улице раз пять. Постепенно начало смеркаться. Я уже решил переночевать на вокзале в зале ожидания, как вдруг услышал, что кто-то зовет меня:

— Мистер Шик! Мистер Шик!

Я обернулся.

За мной бежал парень лет шестнадцати. Подбежав ко мне, он схватил меня за руку и стал ее трясти:

— Вы себе представить не можете, как я обрадовался, увидев вас!

Я не узнал этого человека. Он назвал свое имя. Оказалось, это мой ученик из верхнеудинского реального училища, по фамилии Соловейчик. Я вспомнил, что он был одним из самых шаловливых учеников, но понятливый и умный. Когда я рассказал ему, в каком положении нахожусь, он сразу же предложил мне пойти с ним в школу комсомольцев и там переночевать. Правда, свободной койки у них нет, но матрац и одеяло они найдут. Постелят мне в каком-нибудь классе, и я так выплещу, что лучше и быть не может.

Я с радостью согласился.

Комсомольцы приняли меня хорошо. Разделили со мной свой ужин. За чаем мы разговорились. Узнав, что я недавно приехал из Москвы, они буквально забросали меня вопросами. Я отвечал, как мог. Заметив мою усталость, они сами предложили мне отдохнуть. Стоило мне только лечь, как я сразу же заснул мертвым сном.

Примерно в полночь я проснулся от какого-то шума. Сначала я никак не мог сообразить, где нахожусь. Из коридора доносились крики и топот множества ног. Потом вдруг распахнулась дверь класса, где я спал, и ко мне влетело человек тридцать ликующих юношей и девушек.

— Наши освободили Владивосток! Долой буферное государство! Да здравствует Советская республика!

Такие крики неслись со всех сторон.

Немного успокоившись, ребята рассказали, что из вполне надежных источников им стало известно о том, что красные освободили Владивосток, остатки японских частей в страхе садятся на суда и бегут. К завтрашнему дню на советской земле не останется ни одного японского интервента.

Комсомольцы пригласили меня на свой митинг, который должен был состояться в соседней большой аудитории, и угово-

рили меня выступить на нем, так как я, по их представлениям, являюсь представителем Москвы.

Я попробовал отказаться, говорил, что никакой я не представитель и никто меня не уполномочивал на такое выступление, но это не помогло.

Не слушая моих отговорок, комсомольцы потащили меня с собой и взгромодили на стол. Мне ничего не оставалось, как сказать им несколько слов.

Прежде всего я поздравил их с изгнанием интервентов с советской земли, сказав, что отныне красная звезда будет ярко гореть над Дальним Востоком. Что я говорил дальше, не помню. Я много выступал перед людьми до этого случая и после, но такого ораторского успеха, как в ту ночь, у меня никогда не было. Как только я кончил говорить, молодежь на руках понесла меня на улицу. Моментально наделав самодельных факелов, комсомольцы с революционными песнями прошли по центральной улице города, направляясь к зданию правительства Дальневосточной республики.

Министерство иностранных дел упаковывается

На следующий день я пришел в министерство иностранных дел прямо к Яковенко с твердым намерением выпросить у него место для ночлега и работу.

Однако разговор у нас пошел совсем не так, как я себе представлял.

— Хорошо сделали, молодой человек, что зашли ко мне. Теперь нам дорог каждый человек. Дальневосточная республика, как таковая, ликвидируется. В течение нескольких дней мы должны присоединиться к советским республикам. Теперь уже никому не нужно наше буферное государство. Оставшиеся на нашей земле японские части будут бесконечно рады, если им живыми удастся убраться в Японию. Наше министерство свою роль выполнило. Все документы и архив мы направляем в Москву. По этим документам в будущем будут учиться наши дипломаты, не говоря уже об историках, для которых наш архив будет представлять особую ценность. Мы немедленно приступаем к приведению в порядок всех документов и их упаковке. Через месяц все это должны сдать. Организует всю эту работу старый партизан товарищ Бич. Свяжитесь с ним, и он скажет вам, что вы будете делать.

Сказав это, Яковенко пожал мне руку и отпустил.

Лишь оказавшись в коридоре, я вспомнил, что мне нужно было договориться о жилье и о командировочных.

«Ничего, — решил я, — сначала примусь за работу, а уж потом займусь устройством своих личных дел».

Я нашел товарища Бича — он сразу же заговорил со мной на «ты».

— Ты вовремя пришел, — сказал он. — А то я собираю ребят ровно в десять на небольшое совещание. Упаковывать бумаги мы уже начали.

Товарищ Бич, толстый, краснолицый мужчина, был больше похож на бывшего купца или на раскулаченного, чем на партизана.

Между тем сотрудники стали собираться на совещание.

На самом деле упаковка министерских бумаг оказалась делом не таким сложным, как это представлял себе товарищ Яковенко. Товарищ Бич не зря три года партизанил, и, возможно, поэтому у него не было бюрократического подхода к порученному ему делу.

— Ребята, вы не больно ломайте себе голову, что куда упаковывать, — дал он нам короткий, но ясный приказ. — Вот ящики, а вот бумаги. Берите эти бумаги и укладываете в ящики. В Москве товарищи поумнее нас, они все разложат так, как им нужно.

Когда же я спросил его, чем заниматься мне, товарищ Бич ответил:

— Тебе заниматься упаковкой незачем. Человек ты новый, все равно не знаешь, где что у нас лежит. Тебе я поручу другую, особую работу.

Когда все разошлись, он усадил меня на стул и угостил папиросой.

Он долго и с жаром говорил о себе, о партизанах, но больше всего о легендарном партизанском командире Андрее Тряпицыне, под командованием которого он одно время находился.

Затем он положил передо мной большую кипу каких-то бумаг со словами:

— Вот посмотри их, и ты сразу поймешь, в чем тут дело.

Оказалось, что это были воспоминания товарища Бича о партизанском движении в Приамурье.

Я начал было листать бумаги, но он отобрал их у меня.

— Сейчас не читай. У тебя для этого будет много времени. Я хочу, чтобы ты внимательно просмотрел мою писанину и сделал свои замечания. В институтах я не учился, и писание не моя стихия. Отец мой был простым крестьянином и с большим трудом определил меня в педучилище, но и там я проучился всего два года: меня арестовали за распространение революционных листовок и сослали в Сибирь. А о Тряпицыне и наших партизанах должен узнать весь мир. Лучше меня никто не знает, что делалось в этих краях. Вот прочтешь и сам убедишься в этом. Только прошу тебя, будь строг, и, если я где глупости пишу или где ошибки есть, ты не стесняйся и скажи об этом мне. Я человек по характеру гордый, но горжусь не этой писаниной, а тем, что я сделал. Ну как, сделаешь? А бумаги и без тебя упаковуют.

Я охотно согласился. Это было намного интереснее, чем укладывать в ящики папки с делами. Мы условились, что в рабочие часы я буду приходить в министерство и читать рукопись.

Прежде чем приступить к работе, я рассказал Бичу, как ходил к Яковенко. Он расхохотался.

— Старик все спутал, своя гостиница имеется не у губкома партии, а у Дальневосточного бюро. Но и в губкоме могли бы тебе все это объяснить и устроить. Теперь же я сам все улажу. И безо всяких бумаг. Заведующий гостиницей товарищ Тарасов — старый партизан и мой хороший друг, я ему сейчас же позвоню по телефону.

Через несколько минут вопрос с жильем был улажен. Я буду жить в гостинице до тех пор, пока мне не дадут квартиру.

— Что же касается командировочных, то мы и это уладим, но не так быстро, так как тут без некоторой бюрократии не обойдешься. А пока я тебе авансом выплачу твою месячную зарплату.

Товарищ Бич тут же написал мне бумажку, по которой я получил в кассе деньги. Теперь я мог спокойно заниматься рукописью о борьбе амурских партизан.

«Венская кофейная»

После нескольких дней пребывания в Чите я пошел в управление пограничной службы, чтобы узнать, что случилось с Шурой. Наведя соответствующие справки, мне ответили, что Шура был убит бандитами-контрабандистами на границе четыре месяца назад, когда он пытался задержать их при переходе границы. Это известие очень опечалило меня. Кате я решил пока не сообщать об этом.

В один из первых дней я, как-то гуляя по улице, вдруг увидел заманчивую вывеску: «Венская кофейная». Я подумал, что такое заведение мог основать только какой-нибудь пленный, и вошел в кофейную.

Посетителей хорошо обслуживали три официантки, за кассой сидела превосходно одетая русская дама, наверняка хозяйка этого заведения.

Проходившая мимо меня официантка несла на подносе что-то похожее на взбитые сливки. Это послужило еще одним доказательством того, что на кухне кофейной хозяйничает пленный, венгр или австриец, который старается придать заведению венский характер.

Сев за столик, я заказал себе кофе и пирожное.

Мне принесли великолепный кофе со сливками и предложили на выбор такое множество всевозможных пирожных, которые были превосходны и сделали бы честь любому кафе Будапешта или Вены.

Пока я пил свой кофе, в дверях кухни показался элегантно одетый мужчина, невысокого роста, с коротенькими усиками и напомаженным пробором на голове. Остановившись в дверях, он взором главнокомандующего обвел все помещение, потом медленно, но степенно обошел все столики, отвечивая каждому посетителю исполненный достоинства поклон.

Подойдя поближе к столику, за которым сидел я, он сначала с ног до головы смерил меня изучающим взглядом и, не отвесив поклона, подошел еще ближе, потом, вытянувшись по стойке «смирно» и щелкнув по-военному каблуками, по-русски представился:

— Калди, бывший гусарский лейтенант запаса австро-венгерской армии. Рад с вами познакомиться.

Удивившись столь странной манере знакомиться, я встал и назвал себя, но только по-венгерски, а потом добавил:

— Что касается австро-венгерской армии, то, как я полагаю, ей скоро не потребуется никакой запас.

— Кто знает, — с улыбкой ответил мой новый знакомый и добавил: — В этом никто не может быть уверен. Особенно в наше время. Разрешите?

И, не дожидаясь моего ответа, он подсел к моему столику.

С первого же момента нашего знакомства оба мы поняли, что относимся к противоположным лагерям.

— Я думаю, вы согласитесь со мной, — начал мой новый знакомый, — что нам лучше не говорить о политике. У вас, как у приверженца здешнего нынешнего режима, свои взгляды, у меня — свои. На это я имею полное право. Во-первых, у нас здесь еще пока не установлена пролетарская диктатура, здесь пока царствует демократия. Тот факт, что коммунисты имеют здесь большинство в правительстве, не меняет сути дела. Во-вторых, я и здешней демократии клятву верности не давал. Я не являюсь подданным Дальневосточной республики. Я бывший военнопленный, который согласно признанным здесь международным соглашениям имеет право жить на свободе до того времени, когда можно будет уехать домой. Не желаете ли закурить маньчжурского «Дуката»? — И он протянул мне портсигар.

Мы закурили.

Калди глубоко вздохнул.

— Какое счастье попасть на родину! Без Венгрии для меня жизни нет. А если и есть, то не такая...

Я не выдержал и перебил его:

— Хорошо, почему же вы не едете на родину?

— Куда ехать? — вызывающе спросил он. — Ехать в ту самую Венгрию, правительство которой из пушек стреляло по законному королю, в верности которому оно само же присягало? Никогда!

— Выходит, вы не только противник здешнего режима, а просто заядлый монархист?

— Я сторонник существующего строя. Здесь, в этой стране, у власти стоят революционеры. Русский народ решил сбросить царя и утвердить большевизм. У русских есть на это право. Я вообще не симпатизирую большевикам, но если народ поставил их у руля правления, пусть они и решают, какой порядок должен быть у них в стране. Те, кто живет в этой стране, должны уважать этот порядок. В Венгрии же короля сбросил не народ. Отстранение Габсбургов от трона произошло не по желанию народа, а по приказу Антанты. А что произошло потом? Правительство Каройи, установление диктатуры советов, белый террор — и за все это никого нельзя привлечь к ответственности. Все, что происходило и происходит в Венгрии начиная с осени восемнадцатого года, все незаконно. Законной властью в Венгрии и сегодня является королевская власть. И до тех пор пока в Венгрии не будет установлена власть короля или его законного преемника, не может быть законного порядка. Если завтра в Венгрию допустят законного монарха, объявят Трианонский договор недействительным и обеспечат венгерскому народу свободное волеизъявление, тогда, если послезавтра венгерский народ решит заменить королевский режим республиканским, я стану республиканцем. Если венгерский народ выскажется за Советы, я буду тоже за Советы. Но до того времени — нет! Благодарю!

Вслед за этим он рассказал мне о том, что в плен попал еще в пятнадцатом году. До армии работал инженером-строителем. Осенью восемнадцатого года, когда он находился в красноярском лагере, белочехи приговорили его, как венгерского офицера, к расстрелу, но ему удалось бежать. В Чите он женился на бездетной вдове одного русского полковника. У вдовы были кое-какие сбережения, на которые он и купил эту кофейную.

— Словом, дела у вас идут хорошо, — заметил я. — Преспокойно сможете пересидеть здесь лет двадцать — тридцать, пока маленький Отто из дома Габсбургов подрастет и объявит поход против своих врагов.

Калди заговорил обиженным тоном:

— Разве можно глумиться над убеждениями другого человека? Вот вы видите, что я по своим убеждениям противник большевизма, но мне никогда и в голову не приходило высмеивать кого-нибудь только за то, что он большевик. Если в Венгрии когда-нибудь будет гражданская война и мы встретимся как противники, то мы будем стрелять друг в друга. Но по-моему, это отнюдь не повод для того, чтобы здесь, в Чите, не уважать взгляды и убеждения другого.

В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что кроме ко-

фейной у бывшего лейтенанта есть еще побочное занятие — он занимался крупными спекуляциями контрабандными товарами, привозимыми из Маньчжурии.

Вечером, вернувшись из кофейной к себе в гостиницу, я начал раздумывать о том, что же делать с этим человеком.

«Ведь он наверняка опасный контрреволюционер. Отъявленный монархист, спекулянт. Что-то нужно предпринять и разоблачить этого типа».

Однако поскольку я был здесь совершенно новым человеком, то решил сначала с кем-нибудь посоветоваться.

За несколько дней до этого я познакомился в гостинице с одним товарищем, который работал в органах государственной безопасности. Он показался мне наиболее подходящим для разговора на эту тему.

Когда я рассказал ему о своем знакомстве с Калди, он громко рассмеялся.

— А, вы тоже попались на эту удочку. Успокойтесь: не та собака кусает, которая громко лает. Калди мы хорошо знаем. Он лучше, чем вы о нем думаете. Правда, этот мошенник любит выдавать себя за аристократа и гусара. Никакой он не гусарский лейтенант, а только капрал. В гражданке же он был не инженером, а всего лишь техником. Отец его еврей и имел где-то в Задунайском крае небольшую корчму. С помощью разных выдумок, между прочим, ему и удалось завоевать сердце своей нынешней супруги. Но ему важнее всего было не сердце ее, а сбережения. Его разговоры о том, что он является приверженцем монархии и врагом революции — всего-навсего поза. А насчет его спекуляции контрабандными товарами я вам могу сказать по секрету, что это и есть то, ради чего мы прощаем ему все остальное. Промышленность и земледелие в нашей республике только-только еще начинают развиваться. Большую часть товаров первой необходимости мы достаем через китайских контрабандистов. Наши торговые и кооперативные органы нуждаются в опытных и хитрых посредниках, которые знают душу темных элементов, с которыми они имеют дело. Одним из таких посредников и является Калди. Через него мы осуществляем крупные и важные для нас торговые операции. Разумеется, при этом и он неплохо зарабатывает — от этого уж никуда не денешься. Можете спокойно выслушивать его болтовню. Он у нас на виду.

Этот разговор успокоил меня, и я после этого частенько заходил в «Венскую кофейную».

Две неожиданные встречи

Однажды вечером я совершенно случайно встретился на улице с доктором Зимерским, главным врачом железнодорожной больницы в Хилоке. Доктор приехал в Читу, чтобы узнать

о возможности вернуться в Польшу. Мы очень обрадовались друг другу и пошли поговорить в «Венскую кофейную».

Он попросил меня рассказать о том, что со мной произошло за четыре года, пока мы не виделись. События сменялись событиями, люди ложились в больницу, а он лечил их и жил своей тихой жизнью.

Я ждал, когда он заговорит о том, как решил вернуться в Польшу, но он молчал, и мне пришлось спросить его об этом.

— И вы оставите нас здесь?

Доктор ответил не сразу, некоторое время он молча пил кофе. Потом достал сигарету и закурил.

— Я знаю, что уеду из страны, в которой жизнь идет и развивается по восходящей линии, а приеду в страну, в которой все идет по нисходящей. Если бы я был один, то никуда бы отсюда не поехал, но у меня семья, благополучие которой для меня важнее всего. Но я все же решил поехать, чтобы пожить вдаль от политики, работать и что-нибудь откладывать на старость.

Больше мы с ним на эту тему не говорили. Я проводил доктора на вокзал и вместе с ним вошел в вагон.

В купе кроме доктора был всего один пассажир, да и тот дремал. В вагоне был полумрак. Мы так громко разговаривали с доктором, что пассажир проснулся и заворочался.

Прошел момент, и он подскочил ко мне.

— Зять! Как ты сюда попал? Вот это встреча!

Этим пассажиром оказался Шура.

— Ты лучше скажи, как ты сюда попал? — спросил я. — Разве тебя не убили контрабандисты? Я ходил в ваше управление, и мне там официально сказали, что ты убит.

— Значит, жить буду долго! — торжественно заявил Шура. — Нет, брат, меня не убили, только хотели. Меня убить не так просто. Доктора мне пока не нужны, — добавил он, обнимая доктора.

Из рассказанного мне в управлении правдой оказалось только то, что его действительно ранили. Но он выжил, недели две пролежал на крестьянском хуторе, пока не поправился, и вернулся к своим, которые считали его уже погибшим.

Шура сказал, что едет в командировку в Верхнеудинск для получения продовольствия и снаряжения. Ему разрешили на несколько дней задержаться в Удинске, и он думает жениться на Оле, а на обратном пути забрать ее с собой.

Когда через неделю Шура с молодой женой проезжал через Читу, я пришел к поезду, чтобы поздравить их.

— Ну, брат, — сказал мне Шура, — теперь со мной до самой смерти ничего не случится. Мама успокоилась. Они там с Катей ждут малыша и известия от тебя, чтобы ты забрал Катю к себе.

Когда весь архив министерства был упакован, прошел как раз месяц со дня моего приезда в Читу. Товарищ Бич вручил мне две бумаги. Одна предназначалась для губкома партии. В ней говорилось о том, что в связи с ликвидацией министерства меня направляют в распоряжение губкома партии. В конце была приписка, что зарплатой по сегодняшний день я удовлетворен. По второй бумажке я, по словам товарища Бича, должен получить в кассе причитающиеся мне командировочные деньги.

— Разумеется, за вычетом полученного аванса, — добавил Бич.

Учитывая тот факт, что аванс этот был равен моей месячной зарплате, выходило, что я и министерство квиты. Таким образом, я остался без копейки денег, и получать их я мог только на новом месте работы, которой пока у меня еще не было. Все это заставило меня напомнить товарищу Бичу о том, что месяц назад он обещал уладить мои дела с получением командировочных.

— К сожалению, сейчас этого не сделаешь, так как министерство уже закончило все расчеты и в кассе остались деньги только на оплату расходов, связанных с ликвидацией министерства и на выдачу последней зарплаты сотрудникам.

Попрощавшись с товарищем Бичем, я пошел в губком партии.

В приемной секретаря губкома было много народу, так что мне пришлось ждать почти два часа. Меня принял молодой человек, который два часа назад забрал у меня документы. Он сказал мне, что к секретарю губкома идти незачем: меня решено направить агитатором для работы на село.

Я не удержался и рассмеялся, вспомнив, как в Москве меня хотели послать работать на Украину.

— Что это значит? — возмущенно спросил молодой человек. — Я не вижу ничего смешного.

— А можно мне поговорить с товарищем секретарем? — спросил я.

— Зачем? — удивился молодой человек.

— Хочу напомнить ему слова Ленина о том, что когда партийный руководитель начинает командовать, глядя только на бумаги, из этого, как правило, ничего хорошего не получается.

На несколько секунд молодой человек даже потерял дар речи, а потом его словно прорвало:

— Товарищ, вы забываетесь, где находитесь! Что вы такое говорите!

Я хотел было ответить возмущившемуся молодому человеку, но в этот момент дверь кабинета секретаря открылась, и на пороге появился мужчина в летах, приятный на вид.

— Что здесь происходит? Товарищ Мирошин, почему вы так кричите?

Мирошин смутился и начал оправдываться:

— Я передал товарищу ваше решение, а он говорит, что хотел бы поговорить с вами лично. Да еще сделал колкое замечание при этом.

— Какое же замечание сделал товарищ? — любопытно спросил секретарь губкома.

Товарищ Мирошин был вынужден повторить только что сказанное мной.

— Владимир Ильич безусловно прав, — согласился секретарь. — И если этот товарищ не согласен с моим решением и хочет лично поговорить со мной, у него на это есть полное право. Прошу вас, пожалуйста, входите.

Секретарь губкома товарищ Столяров оказался человеком понимающим. Когда я объяснил ему, что от посылки меня на село агитатором контрреволюционные элементы смогут извлечь для себя кое-какую пользу и неверно истолковать этот факт, секретарь сразу же согласился со мной и сказал:

— Хорошо. На работу в деревню мы вас не пошлем. Но что же нам тогда с вами делать?

— Я согласен на любую работу, которая будет мне по плечу, но если здесь, на Дальнем Востоке, товарищи не знают, что со мной делать и как использовать, откомандируйте меня обратно в Москву. Меня сюда прислали из центра, чтобы использовать в Дальневосточной республике при переговорах с Японией. Сейчас этого не требуется. Если для меня здесь не найдется никакой подходящей работы, по логике вещей меня нужно отослать обратно туда, откуда я прибыл.

— Нет, молодой человек, — решительным тоном заявил Столяров, — люди нам теперь, как никогда, нужны. Что вы можете делать? Есть у вас какая-нибудь специальность?

— Специальности, как таковой, у меня нет, но я кое-что умею. — Я уже собрался перечислить секретарю все, что я делал за свою жизнь, но в этот момент зазвонил телефон.

— Я сейчас срочно должен уехать, — обратился ко мне секретарь, положив трубку, — а вы сядьте в канцелярии и напишите коротко о том, что вы можете делать и где работали до этого. А после мы с вами еще раз поговорим.

Такую бумагу я написал, изложив в ней, что до войны окончил в Венгрии юридический факультет университета и был помощником адвоката; помимо этого работал в газете, писал в газеты и журналы; знаю несколько иностранных языков; находясь в плену, учительствовал. А за три последних года, как стал членом партии, был журналистом, редактором, милиционером, секретарем партийной и профсоюзной организаций, пропагандистом и архивархивом.

Секретарь губкома вызвал меня к себе через два дня,

— Я прочитал вашу бумагу, — сказал мне Столяров. — Почему вы мне сразу не сказали, что вы юрист? Мы уже давно днем с огнем ищем коммуниста с юридическим образованием и никак не можем найти. Сейчас я вам напишу записочку, с которой вы немедленно пойдете к товарищу Шираеву. Он у нас в Чите является председателем ревкома. Ревтрибуналу срочно нужен юрист-коммунист. Там, разумеется, есть и хорошие коммунисты и хорошие юристы, только коммунисты ничего не понимают в юриспруденции, а юристы в коммунистических идеях. Я думаю, что вы и есть тот человек, который им так нужен. Желаю вам успехов в работе!

Товарищ Шираев, председатель Читинского ревкома, встретил меня с распростертыми объятиями.

— Наконец-то у нас будет свой юрист! У нас и во время буферного государства все суды были в руках коммунистов, но до сих пор много в этом деле партизанщины. Никак они не могут понять, что методы, которые были оправданы в годы гражданской войны, в настоящее время изжили себя и могут принести вред. Сейчас, когда у нас установлена Советская власть, мы не можем быть толковыми коммунистами, если не наведем настоящего порядка во всем. Успеха вам, товарищ! Зайдите ко мне завтра утром за назначением и письмом для товарища Терентьева, председателя ревтрибунала.

III. РЕВТРИБУНАЛ

Знакомство с революционной юстицией

Председатель ревтрибунала товарищ Терентьев встретил меня словами:

— Наконец-то у нас будет юрист-коммунист! Революционная совесть — дело, конечно, хорошее, и она у всех нас троих есть, и у меня, и у товарищей Бычатины и Демидова, но, для того чтобы судить других, и судить по-революционному, все же нужны кое-какие познания в так называемой юриспруденции. Я до революции был слесарем по металлу в Петрограде на Путиловском заводе, начиная с восемнадцатого года партизанил на Дальнем Востоке. Товарищ Демидов по профессии сапожник. Единственным специалистом среди нас является товарищ Бычатин, который уже десять лет работает в суде: при царе он здесь же в читинском суде работал курьером. При Колчаке он стал писарем, а потом мы три года вместе партизанили.

Я заметил, что хотя я по образованию и юрист, но не знаю, насколько я смогу применить здесь полученные мной на родине знания, ведь я изучал венгерское право, и оно отражало интересы крупных землевладельцев и капиталистов.

— Ничего, — успокаивал меня Терентьев. — Важно, что вы знаете судопроизводство. Мы же в нем ничего не понимаем. Юристы, которые нам достались от старого режима, если и не активные контрреволюционеры, то в политическом отношении полностью безграмотны и в душе желают восстановления старого строя. А вы коммунист.

— Но я не знаком с новыми революционными законами.

— Это не проблема, — заявил товарищ Терентьев. — Вы познакомьтесь с ними.

Проговорив это, он достал из стола две книжицы в красных переплетах.

— Вам повезло, — продолжал он, подавая мне книжицы. — На днях мы получили из Москвы новый советский уголовный и процессуальный кодексы, которые послезавтра, то есть с первого декабря, вступают в силу и у нас. Советское уголовное законодательство в корне отличается от буржуазного законодательства. Буржуазным судьям для защиты интересов эксплуататорской буржуазии и приданию видимости объективности суда нужны были толстые тома законов. У советской юстиции, отстаивающей интересы и права революционного пролетариата, задача более простая и легкая. Вот посмотрите уголовный кодекс и увидите, что он весь состоит из двухсот двадцати семи параграфов и умещается всего на двадцати восьми страницах. Общая часть кодекса состоит из пятидесяти шести параграфов, а специальная часть из ста семидесяти одного. Для нас, собственно, важны два параграфа: шестой, в котором определяется, что следует считать уголовным преступлением, и десятый, в котором идет речь об аналогиях. Если согласно параграфу шестому мы признаем какой-то проступок уголовным преступлением, тогда не столь важно, чтобы это преступление определялось специальной статьей; если такой статьи и нет, оно наказуется по статье, которая подходит для него. Вот эти два раздела для нас очень важны. Но вы, товарищ, внимательно познакомьтесь с обоими кодексами. Для этого вполне достаточно одного вечера, а завтра утром вы приступите к работе как квалифицированный советский юрист.

Прочитав вечером обе книжицы, я решил, что товарищ Терентьев, пожалуй, прав.

Параграф шестой Кодекса уголовных преступлений гласил:

«Уголовным преступлением считается всякое действие или упущение, опасное для общества, для советского строя в целом или для его основ в частности, совершенное в переходный период существования рабоче-крестьянского государства, идущего по пути к созданию коммунистического общества».

Параграф десятый был изложен так: «В том случае, если Кодексом не предусмотрено наказание за совершение того или иного преступления, его квалифицируют, учитывая степень опасности и вид по статье, предусматривающей наказа-

ние за сходные преступления, принимая во внимание общую часть настоящего Кодекса».

Во второй, специальной части Кодекса были перечислены сто пятьдесят случаев уголовных преступлений. Это было и в самом деле немного, но вполне достаточно для того, чтобы квалифицировать то или иное преступление по аналогии с той или иной статьей.

Во всяком случае, я решил, что утром спокойно могу идти на работу в трибунал, вооружившись знанием этих двух параграфов.

Амнистия

Свою работу в ревтрибунале я начал не с судебного заседания, а с так называемого «предварительного» заседания. В ревтрибунале сложилась такая практика, что каждое поступающее в трибунал дело сначала внимательно изучалось кем-нибудь из работников, который после этого докладывал суть дела остальным членам трибунала, предлагая передать дело для рассмотрения в судебном заседании или же прекратить его, или провести дополнительное расследование по делу. Заседания ревтрибунала проводились через день. Первый день моей работы на новом месте был днем «предварительного» заседания, на котором судьи сообщили о делах, которые находятся у них в производстве, и высказали свои предложения, которые тут же были обсуждены.

На том заседании, в котором впервые участвовал я, обсуждался вопрос о проведении амнистии. Принимая во внимание, что Дальневосточная республика ликвидирована и вся ее территория вошла в состав Советского государства, Советское правительство приняло решение провести амнистию. Из центра было получено указание пересмотреть все дела, по которым виновные в совершенных за время существования Дальневосточной республики преступлениях были наказаны лишением свободы, пересмотреть эти дела с точки зрения возможности амнистирования осужденных.

Мое участие в этом заседании, разумеется, было пассивным, так как я не знал этих дел, да и практики у меня не было. Я слушал, как судьи докладывали дела. Вопросов я задавал мало, больше слушал, что говорили другие.

С особенным вниманием я выслушал одно дело.

— Дело по обвинению в шпионаже старшего лесника Никифора Андриановича Кичакова. Приговорен к пяти годам тюремного заключения и амнистии не подлежит, — доложил нам судья. — Сами документы дела в настоящее время находятся не у нас, так как они были запрошены бывшим министерством юстиции. Дело обратно пока еще не поступило, но товарищи, видимо, хорошо помнят это дело, так как слушалось оно у нас недели две назад.

На этом исход дела Кичакова был решен, а фамилия Кичакова вычеркнута из списка лиц, подлежащих амнистии. Члены трибунала хотели переходить к рассмотрению следующего дела. Мне показался странным такой оборот дела, тем более что я знал этого Кичакова.

— Извините, товарищи, — вмешался я. — Мне хотелось бы познакомиться с этим делом, так как я хорошо знал осужденного. При семеновцах он оказывал большую помощь нашим людям, и мне трудно поверить, что этот человек занимался шпионажем.

— Сам осужденный шпионажем не занимался, — объяснил мне судья, который излагал это дело, — но он оказывал активную помощь шпионам атамана Семенова и на судебном заседании сам признал свою вину. Тот факт. что он помогал красным, сути дела не меняет. Возможно, что таким путем он хотел войти в доверие к нам. Так что ни о какой амнистии не может быть и речи.

Двое коллег согласились с докладчиком.

В такой ситуации, когда три члена трибунала, которые знали детали этого дела и недавно рассматривали его в судебном заседании, высказывались за исключение его из списков дел, подлежащих пересмотру, я не стал настаивать на своем, но решил, что, как только дело вернется в трибунал, внимательно изучу его, и если окажется, что по отношению к Кичакову была допущена несправедливость, то приложу все силы, чтобы исправить ее.

Однако я с первых же дней так погрузился в работу, что просто забыл об этом деле.

Где она, правда?

Достаточно мне было проработать в ревтрибунале с месяц, и я убедился, что творить революционное правосудие — не такое уж простое занятие, как его себе представлял товарищ Терентьев. Не буду отрицать, что наличие тех двух параграфов облегчало нашу работу. Что касалось юридических формулировок, то тут ошибок не было, труднее приходилось с фактами.

Приведу один пример. Мы усиленно готовились к одному большому процессу. Это было единственное в своем роде дело, связанное с контрреволюционными выступлениями, казнями и тому подобным. По делу привлекались к ответственности двадцать шесть обвиняемых, все — богатые крестьяне из одной деревни. В обвинении говорилось о том, что все они при семеновском режиме перешли на сторону контрреволюции и выдали белым несколько сот коммунистов, честных рабочих и крестьян, больше того, сами участвовали в проведении попыток и в убийствах. По данному делу было около трех десятков свидетелей, которые в ходе следствия единодушно показывали

против обвиняемых. Обвиняемые не отрицали своей вины, но, со своей стороны, обвинили свидетелей в совершении тех же самых преступлений. Пришлось устраивать очные ставки и перекрестные допросы обвиняемых и свидетелей, однако это не только не прояснило сути дела, а еще больше запутало его. Нам с большим трудом удалось разобраться во всем и выяснить, что обвиняемые и свидетели — жители двух враждующих соседних деревень. Жители одной деревни — православные, а другой — члены одной религиозной секты. На протяжении нескольких десятков лет жители этих двух деревень «воевали» друг с другом. Когда власть переходила от красных к белым, жители одной деревни заявляли, что их соседи из другой деревни помогают партизанам. Когда же партизаны занимали этот район, то одна деревня обвиняла другую в том, что ее жители помогали белым. В действительности же, как выяснилось, ни та, ни другая деревня, по сути дела, не симпатизировала ни красным, ни белым.

На основании многочисленных заявлений и при красных и при белых несколько человек были посажены в тюрьму, что же касалось убийств и бесчеловечных мучений, то все это было чистой выдумкой. Чтобы положить конец бесконечным клеветническим заявлениям, мы решили сделать так, чтобы на скамье подсудимых оказались и «обвиняемые» и «свидетели». И тех и других мы признали виновными в «способствовании совершению контрреволюционных преступлений», и каждого из них приговорили к одному году тюремного заключения условно.

Был у нас и еще один курьезный случай. Одного пожилого крестьянина, по фамилии Журавлев, обвиняли в том, что он принимал участие в террористических актах белых: убивал людей, занимался грабежами. Обвинялся всего-навсего один человек, а свидетелей по этому делу набралось человек десять. При расследовании дела мы обратили внимание на то, что все свидетели были не из той деревни, в которой проживал обвиняемый. В ходе следствия не был допрошен ни один человек из деревни обвиняемого. Я потребовал вызова новых свидетелей.

Журавлев полностью отрицал предъявленные ему обвинения. На вопрос, почему против него выдвигаются такие серьезные обвинения, старик крестьянин ответил, что это известно самим свидетелям, и если они берут на свою совесть грех, лживо обвиняя его, то виноваты в этом они, и господь бог призывает их за это к ответу.

Начался допрос свидетелей обвинения. Среди свидетелей был молодой парень, по фамилии Кондратьев, который давал подробные показания. Мы допросили его первым. Свидетель утверждал, что он якобы собственными глазами видел, как обвиняемый водил из дома в дом белых, показывая им, чей

сын, дочь или муж ушли в партизаны. А когда белые кого-нибудь забирали с собой, обвиняемый лично принимал участие в пытках арестованных. Мы задали вопрос свидетелю, когда это было и каким образом он сам попал в другую деревню. Свидетель назвал примерную дату (весну девятнадцатого года), заявив, что он тогда сам скрывался в соседнем селе, так как белые якобы искали его как большевика.

Внимательно изучая документы дела, удалось установить, что он в то время служил в банде атамана Семенова в Чите рядовым и только в начале двадцатого года, когда красные взяли город, вступил в Красную Армию, откуда осенью того же года вернулся в родное село. Было ясно, что свидетель дает ложные показания.

Остальные свидетели чуть ли не слово в слово говорили то же самое, что и Кондратьев, с той лишь разницей, что ни один из них не утверждал, что видел все собственными глазами. Когда же их спрашивали, откуда они знают то, о чем говорят, ответ был один и тот же:

— Сам я там не был, но слышал.

— От кого?

— От Кондратьева.

Теперь нам стало ясно, что все обвинение против старика сфабриковано Кондратьевым, хотя было непонятно, почему он это сделал.

Когда же мы допросили несколько человек из деревни, в которой жил обвиняемый, выяснилось и это. Правда, сначала односельчане не хотели давать никаких показаний. Они все в один голос говорили, что в то время были в тайге, где прятались от белых. На вопрос, знали ли они после возвращения из тайги, что старик Журавлев выдавал белым своих односельчан, они отвечали, что ни о чем таком и слыхом не слышали.

Мы снова стали допрашивать Кондратьева. Спросили, каким образом он мог видеть то, о чем говорит, когда в девятнадцатом году служил в солдатах и находился в Чите. Тот начал изворачиваться, сказал, что весной девятнадцатого года приехал в село в отпуск.

— Выходит, вам не нужно было скрываться от белых? Тогда как же вы попали в соседнее село?

Свидетель пытался выгородить себя, заявив, что кто-то распустил на селе слух про него, что он большевик, и ему пришлось скрываться.

— Если в деревне вам грозил арест, тогда почему вы не вернулись в Читу в свою часть? — спросил я его.

— Я боялся, что и там станет известно, в чем меня обвиняют, и тогда меня отдадут под суд военного трибунала.

— Словом, после весны девятнадцатого года вы больше уже не служили в войсках Семенова?

Поняв, что он проговорился, свидетель попытался вышутаться, заявив:

— Служил, позднее.

Мы хорошо знали, что в семеновских бандах у рядовых солдат никаких отпусков не было.

Суд удалился на совещание.

В решении суда говорилось о том, что свидетель Кондратьев давал суду ложные показания и за это он привлекается к уголовной ответственности. Решено было назначить расследование, а чтобы Кондратьев не сбежал, постановили взять его под стражу.

Как только свидетели из деревни обвиняемого услышали о том, что Кондратьев взят под стражу, их словно подменили, и они все наперебой заговорили. Оказалось, что все они знали Кондратьева как бандита, который ради мести готов на все, и боялись, что если они выступят против него, то он подожжет их дома, чем он до этого не раз стращал их.

Тут-то они рассказали все подробно. У Журавлева была крестная дочь на выданье. Еще до прихода белых в село Кондратьев долго ухаживал за ней, но Журавлев не собирался выдавать за него дочь и запретил ей встречаться с Кондратьевым. Однако парню удалось вскружить девице голову и обмануть ее, вскоре она забеременела. Кондратьев охотно женился бы на ней, так как старик Журавлев был самым богатым мужиком в селе, но тот об этом браке и слышать не хотел. Узнав о беременности дочери, старик так сильно ее избил, что она решила наложить на себя руки. Ее вынули из петли еще живую и отправили в читинскую больницу. Кондратьев из села исчез. Дочь же старика больше в отчий дом не вернулась: в больнице она отравилась каким-то ядом. Когда о смерти дочери узнала ее мать, старуху хватил сердечный удар, и она скончалась.

Старик Журавлев под тяжестью нахлынувших на него бед впал в болезненную меланхолию, и по несколько недель от него нельзя было вытянуть ни слова.

В конце двадцатого года Кондратьев вернулся в деревню, дезертировав из Красной Армии. О дезертире знали все, но никто не решился заявить об этом властям, так как Кондратьев грозился убить доносчика.

Журавлев узнал о возвращении Кондратьева, но теперь это его нисколько не волновало. Кондратьев же решил погубить старика или засадить его в тюрьму. Вот тогда-то он и стал распространять среди односельчан клевету. Многие поверили ему.

Теперь же, когда Кондратьев очутился за решеткой, даже его односельчане подтвердили показания жителей соседней деревни.

Только после всего этого нам стало понятно поведение старика, которого уже не интересовала собственная жизнь, он хотел хоть как-нибудь защитить от поругания честь своей дочери.

Я уже сказал, что нелады у нас были не с правом, а с фактами. Но случались небольшие неполадки и с правом.

Так, однажды мы слушали дело одного кулака, обвиняемого в том, что он помогал офицерам-семеновцам, которые грабили и убивали крестьян. Кулак предоставлял офицерам свою повозку, давал им лошадей и даже сам возил их на этой повозке. Правда, он утверждал, что делал это по принуждению, хотя вся деревня говорила, что это ложь. Остальные односельчане, у которых тоже были свои лошади, при приближении белых скрывались в тайге, он же остался в селе и добровольно стал помогать белым. Трибунал признал обвиняемого виновным в совершении террористических актов и содействии грабительству, приговорив его к пяти годам лишения свободы.

Во время разбирательства этого дела в судебном заседании председательствовал я. После оглашения приговора ко мне подошел председатель ревтрибунала.

— Откуда вы взяли эти пять лет? — возмущенно спросил он. — За соучастие в террористическом акте минимальное наказание — пять лет тюрьмы, за участие в убийстве — тоже по крайней мере пять лет и за грабеж три года. А у вас за все вместе получилось только пять лет!

Я стал ему объяснять, как следует понимать закон:

— Если какое-нибудь лицо совершит два различных преступления, например, ограбит дом, а потом подожжет его, в юриспруденции это называется совокупностью преступления. В этом случае подсудимый должен понести наказание за совершение своих преступлений. Ну, скажем, за грабеж — столько-то лет, а за поджог — столько-то. Если же подсудимый совершит преступление, которое предусматривается двумя статьями уголовного кодекса, такое преступление рассматривается как одно, а не как два. Такое преступление квалифицируется как формальная совокупность преступлений, за которое предусматривается лишь одно наказание, более строгое.

— Пусть так рассуждают крючкотворы, — заявил мне Терентьев, — а здравый смысл и революционная совесть подсказывают мне, что если кто-нибудь совершил три преступления, так пусть он понесет за это и тройную вину. Ваш приговор я сегодня же обжалую в Верховном суде!

Верховный суд оставил в силе прежний приговор, но разногласия подобного рода у меня с Терентьевым случались не раз и после этого случая.

Как-то, когда я вернулся домой, мне сказали, что меня уже давно дожидается Маруся Кичакова.

У Кичакова было пятеро детей. Маруся была среди них младшей. Впервые я увидел ее в девятнадцатом году, ей было тогда лет четырнадцать — пятнадцать. Теперь передо мной стояла красивая восемнадцатилетняя девушка.

Сначала она попросила прощения за то, что, пользуясь старым знакомством, осмелилась разыскать меня, потом заговорила об отце. Она рассказала, что, когда отца арестовали, всем казалось, что произошло какое-то досадное недоразумение, потому что люди знали, что он никогда не занимался политической. Узнав, что отец обвиняется в шпионаже, дети не стали нанимать защитника, так как были уверены в его невиновности и полагали, что в суде все это и выяснится. Приговор был для них полной неожиданностью. Буквально на следующий же день Маруся записалась на прием к председателю Дальневосточной республики, который в тот же день принял ее, выслушал и пообещал дать указание министру юстиции пересмотреть дело ее отца. Через неделю Марусе сообщили, что министр юстиции установил, что приговор был действительно вынесен по недоразумению, и предложил правительству воспользоваться правом помилования и немедленно освободить Кичакова. Глава Дальневосточной республики заверил Марусю в том, что в самое скорое время так оно и будет. Поблагодарив его и успокоившись, Маруся вернулась домой. Через день пришло известие об освобождении Владивостока частями Красной Армии, а несколькими днями позже Дальневосточная республика, как таковая, прекратила свое существование, и бывший глава республики и министр юстиции уехали из Читы. Маруся одно время ходила по новым учреждениям, но там даже не могли узнать, куда делось дело по обвинению ее отца. Узнав, что я работаю в ревтрибунале, она попросила меня возбудить дело о помиловании ее отца.

Я заверил девушку в том, что сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться пересмотра дела. О том, что вопрос об амнистии ее отца уже рассматривался нами и был отклонен, я промолчал. На следующий день я основательно занялся делом Кичакова.

Через неделю дело это лежало у меня на столе.

Я без труда установил, что все было именно так, как мне рассказывала Маруся. Среди бумаг оказалось и письмо министра юстиции к главе Дальневосточной республики, в котором он предлагал амнистировать осужденного Кичакова; на письме была резолюция об одобрении этого предложения. Помечены эти документы были датой за неделю до советизации республики.

Я немедленно доложил об этом председателю ревтрибунала, который, порывшись в деле, сказал:

— Все это не так просто. Ни у нас, ни у Верховного суда Дальнего Востока нет права помилования. Если мы хотим настаивать на помиловании, дело следует направить в Москву, на все это уйдет не меньше года. По-моему, в этом нет никакой необходимости. Кичаков осужден на пять лет. Считая и предварительное заключение, он уже отсидел два года и восемь месяцев. Если за это время он не совершил какого-нибудь преступления в тюрьме, мы имеем право освободить его от отбывания дальнейшего срока наказания. Дела о досрочном освобождении мы разбираем в специально назначенные для этого дни. Вот и давайте разберем дело Кичакова на ближайшем таком заседании.

За неделю до рассмотрения дел о досрочном освобождении мы ставили об этом в известность адвокатов заинтересованных сторон. Меня разыскал адвокат Кичакова и сообщил, что посетил своего подзащитного в тюрьме и известил его о рассмотрении его дела, но Кичаков, к его огромному удивлению, не только не обрадовался этому известию, а прямо заявил, что он не собирается освобождаться досрочно, так как это может означать, что он признал свою вину, а он не считает себя виновным.

— А на помилование он согласен? — спросил я.

— На помилование он согласен, — ответил адвокат. — Он полагает, что помилование дается ему потому, что судебные власти убедились в своей ошибке и хотят ее исправить. Идея же досрочного освобождения преступника заключается в том, что осужденный за время нахождения под стражей доказал, что он исправляется и потому ему предоставляется возможность начать на свободе новую честную жизнь.

Было ни к чему объяснять адвокату ошибочность такой точки зрения, поскольку он и сам пытался убедить Кичакова в этом, но безуспешно.

— Знаете, дорогой коллега, — обратился я к адвокату, — передайте Никифору Андриановичу мой совет: пусть он не ведет себя как наивный ребенок. Ведь дочь ему рассказала, что дело о его помиловании было почти решено, но из-за некоторых обстоятельств застопорилось. Если сейчас снова разбирать дело о его помиловании, то на это уйдет не менее года. А так он через неделю будет свободным человеком. Если это его не устраивает, пусть подумает о своей дочери.

На следующий день адвокат передал мне, что после моего совета Кичаков уже не возражал против своего досрочного освобождения.

Рассмотрение дела прошло гладко, и трибунал освободил Кичакова.

Нелегкое дело — ликвидировать остатки уже разбитых сил контрреволюции. Одним из главных очагов дальневосточной контрреволюции был Владивосток, где под защитой империалистов на протяжении долгих лет одно контрреволюционное правительство сменялось другим таким же правительством. Когда же Владивосток был освобожден частями Красной Армии и японские интервенты были вынуждены убраться восвояси, вместе с ними решили бежать и контрреволюционные главари. Бежала и большая часть контрреволюционно настроенных офицеров, в первую очередь те, кто были замешаны в массовых убийствах, шпионы, разведчики и руководители карательных отрядов и групп. Когда красные вошли в город, они успели выловить только «рыбок» помельче, из руководителей контрреволюции попало всего несколько человек. Согласно указанию Дальневосточного Верховного суда арестованных следовало направлять в Читу. Делалось это на всякий случай. Короче говоря, все контрреволюционные дела попали в читинский ревтрибунал, и не кому-нибудь, а нам пришлось разбираться в делах по организации многочисленных контрреволюционных путчей.

За годы плена и за годы жизни на свободе я сталкивался с большим числом русских офицеров. Я видел их в тот период, когда власть была у них в руках, видел и тогда, когда они были разбиты, некоторых из них я видел и в том и в другом состоянии. Попадались среди этих офицеров и отъявленные садисты и обыкновенные, ничем не примечательные военные чиновники, были даже такие, которые, несмотря на свою принадлежность к корпусу белого офицерства, симпатизировали красным. Работая в ревтрибунале, я увидел их в новом свете, когда они находились на скамье подсудимых.

Как правило, они вели себя трусливо. В этом не было ничего удивительного. Но были среди них и исключения. Помню двух офицеров, поведение которых отличалось от поведения других.

Один из них, назовем его Х., представлял собой редкий тип контрреволюционно настроенных офицеров. Он готов был на любую жертву ради достижения своих контрреволюционных идей.

На вопрос о том, признает ли он себя виновным в совершении преступления, капитан решительно ответил «нет». Далее он заявил, что все, что он сделал, совершалось сознательно и по убеждению и что, если бы ему предоставилась возможность начать все сначала, он поступил бы точно так же.

— В своих поступках, — закончил он свое выступление, — я могу отчитываться только перед военным трибуналом законных властей, а не перед вашим судом, который я считаю незаконным органом незаконного правительства.

Видя, что мы имеем дело с убежденным контрреволюционером и здесь не может быть и речи ни о каких смягчающих обстоятельствах, мы вынесли по делу капитана самый строгий приговор.

В ходе судебного разбирательства мы, к своему удивлению, установили, что поступки этого офицера на самом деле не совмещались с его громкими разглагольствованиями. Служил он действительно по убеждению, но вся его деятельность заключалась исключительно в послушном выполнении приказов своих непосредственных начальников; какими бы эти приказы ни были, он слепо выполнял их. Без приказа он сам ничего не делал и участия в каких-либо бесчеловечных действиях не принимал. Когда об этом зашла речь, он заявил, что не считает это смягчающим обстоятельством, поскольку всегда был согласен с полученными приказами.

Не обратив внимания на его заявление, я спросил:

— Следовательно, вы только выполняли приказы вышестоящих начальников?

Я понимал, что ему трудно будет ответить на этот вопрос утвердительно — это ударит по его самолюбию, но он был вынужден сделать это.

Я только этого и ждал. Услышав его ответ, я достал приказ № 1 адмирала Колчака, написанный им под давлением своих западных союзников. В этом приказе говорилось о том, что офицерам и солдатам по отношению к пленным солдатам противника и местному населению необходимо действовать со всей строгостью законов военного времени, но в то же время справедливо, не допуская ненужного пролития крови и жестокостей. Дав обвиняемому в руки текст этого приказа, я спросил его:

— Знаком вам этот приказ?

Поскольку в конце приказа было написано о том, что настоящий приказ должен быть доведен до солдат и офицеров всех частей и подразделений, обвиняемому ничего не оставалось, как ответить утвердительно.

— Почему же вы отдавали предпочтение приказам непосредственных начальников и пренебрегали приказом своего верховного главнокомандующего?

— За совершенное мной нарушение я готов отвечать перед военным судом после установления законной власти в стране.

Преступление, совершенное капитаном, предусматривалось статьей шестьдесят четвертой уголовного кодекса, согласно которой его, как одного из организаторов террористических актов, нужно было приговорить к расстрелу, однако, учитывая тот факт, что все содеянное им предпринималось не по собственной инициативе и лично он не принимал участия в бесчеловечных действиях, расстрел заменялся десятью годами тюремного заключения.

Поведение другого обвиняемого, старшего лейтенанта, было иным. Уже в самом начале судебного разбирательства он заявил, что признает себя виновным и согласен на любое наказание, какое ему вынесет трибунал. Ничего удивительного в таком поведении подсудимого не было, поскольку в ходе следствия было установлено, что старший лейтенант не только не принимал никакого участия в убийствах, но во многих случаях помогал партизанам или гражданским лицам, подозреваемым в принадлежности к большевистской партии и попавшим в лапы контрразведки, избежать верной смерти. Об этом в трибунале свидетельствовали многие из спасшихся с его помощью людей.

Мы были убеждены в том, что подсудимый и его адвокат, известный меньшевик, будут строить свои выступления таким образом, чтобы на основании этих фактов добиться полного оправдания подсудимого или же очень мягкого приговора, который, учитывая положение об амнистии, позволит им просить заменить меру наказания условной мерой. Адвокат действительно настаивал на допросе свидетелей защиты и в ходе разбирательства пытался убедить членов трибунала в том, что обвиняемый, хотя и служил в контрразведке, вел себя вполне гуманно, впоследствии порвал со своим прошлым, осудил свои поступки и добросовестно перешел на сторону революции. Однако сам подсудимый, вместо того чтобы постараться обелить себя, совершенно непонятно почему начал давать показания себе во вред. Он заявил, что вполне сознательно совершал преступления и заслуживает строгого наказания. В то же время он ни словом не обмолвился о том, что переменял свои взгляды и лояльно относится к существующему строю. Когда же после опроса свидетелей защиты его спросили об этом, он ответил односложным «да», но тут же добавил, что это ни в какой мере не может служить для него смягчающим обстоятельством.

Я никак не мог понять поведения этого подсудимого, решив, что мы имеем дело с каким-нибудь одержимым фанатиком, который вбил себе в голову, что он должен сполна расплатиться за свои преступления.

Оставалось заслушать еще двух свидетелей защиты. Оба они выступили в интересах подсудимого, обрисовав его таким образом, что трибунал, учитывая их заявления, должен был вынести офицеру-контрразведчику смертельный приговор, но с учетом смягчающих обстоятельств виновного следовало подвести под амнистию и освободить. Мне в этом деле что-то не нравилось. Беспokoило меня то, что я не понял поведения подсудимого.

Один из свидетелей рассказал, что ему удалось бежать из застенков белой контрразведки только благодаря помощи подсудимого. Трибунал задал свидетелю вопрос, чем он может

объяснить, что подсудимый проявил по отношению к нему такую милость.

— Признаюсь, я этого не понял тогда, да и теперь не понимаю, — ответил свидетель. — Однако факт остается фактом, он спас мне жизнь.

— А известно ли свидетелю о том, что подсудимый подобным образом оказывал помощь другим пленным? — задал я вопрос свидетелю.

— О нескольких подобных случаях я слышал, а было таких случаев больше двух десятков, однако никому из тех людей, кроме меня, спастись так и не удалось. Всех их казнили.

Здесь вопрос свидетелю задал прокурор:

— Свидетель, скажите нам, пожалуйста, чем вы занимались в первые месяцы после революции, вплоть до прихода белых в Приморье, и кем работаете сейчас?

— До мятежа белых я был секретарем владивостокской партийной организации, сейчас — секретарь партийной организации города Нерчинска.

Загадка начала проясняться.

Со следующим, последним по счету свидетелем защиты было нечто подобное. Он тоже оказался единственным человеком, которому с помощью подсудимого удалось бежать из застенков белой контрразведки. До мятежа белых он работал во Владивостоке, а в настоящее время в Чите на ответственной профсоюзной работе.

Картина стала еще яснее.

Когда подсудимому был задан вопрос, из каких побуждений он помогал бежать некоторым пленным, тот, запинаясь, объяснил, что он при этом якобы руководствовался чисто гуманными побуждениями, так как знал, что у пленных были семьи, детишки.

В своей обвинительной речи прокурор сначала говорил об ужасах, творимых карательными отрядами белых, а затем потребовал расстрела подсудимого. Адвокат же подсудимого, ссылаясь на смягчающие обстоятельства, просил освободить офицера или же вынести ему самое мягкое наказание.

Трибунал удалился на заседание.

Под влиянием показаний двух последних свидетелей я еще раз посмотрел показания ранее допрошенных свидетелей и установил, что все эти случаи имели место в последние месяцы существования белого режима, когда белым стало совершенно ясно, что скоро их власти настанет конец и в Приморье снова придут красные. Я установил, что все без исключения лица, которым обвиняемый помогал бежать из тюрьмы, занимали у красных руководящие посты и в случае перехода власти в руки красных снова могли попасть на высокие должности и тем самым оказаться полезными для офицера.

Поведение этого офицера на суде полностью подтвердило мое предположение. Выходило, что побег нескольких революционеров обвиняемый организовал, руководствуясь отнюдь не гуманными побуждениями, а голым расчетом, что в случае смены режима, когда он будет привлечен к ответственности за совершенные им преступления, эти факты будут рассмотрены как смягчающие обстоятельства, на которые он сможет сослаться в суде. Офицер был хитер и знал, что ему следует быть весьма осторожным и постараться вести себя так, чтобы трибунал не задал ему вопроса, почему он, сочувствующий большевикам, помогал им только в отдельных случаях, почему не организовал побег какой-нибудь целой группы и не бежал вместе с ней. Вот почему он и старался создать перед членами трибунала видимость, что сначала был убежденным контрреволюционером, но и тогда у него сохранялись хорошие человеческие чувства, а потом понял, что шел по неверному пути, порвал со своим преступным прошлым и откровенно сожалеет о своих поступках.

Поскольку подсудимый не обвинялся в жестокости, положение об амнистии распространялось и на него. И хотя формально любого белого контрразведчика можно было приговорить к расстрелу, заменив расстрел десятью годами тюрьмы, мы приговорили этого подсудимого к пяти годам тюремного заключения.

Зная практику вышестоящей судебной инстанции, мы предвидели, что приговор не будет оставлен в силе, вышестоящий суд может настаивать на досрочном освобождении осужденного, и все же решили проучить этого хитрого типа.

Читинские венгры

В одном из писем Катя попросила меня связаться с ее читинскими знакомыми, которые могли мне помочь получить квартиру. Одна им даже писала об этом. Я позвонил им, со мной разговаривала женщина, она пригласила меня к себе на ужин.

У нее я познакомился с некоей Самойловой, у которой оказался собственный дом на Сретенской улице. В нем, сказала она, уже более года живет один бывший пленный венгр с русской женой и тещей. Фамилия его Хофбауэр, а работает он в шведском консульстве. Она пообещала познакомить меня с ними.

Через несколько дней она позвонила мне по телефону и пригласила к себе домой.

Хофбауэр с первого же взгляда произвел на меня приятное впечатление. Это был здоровенный, улыбчивый, светловолосый человек, старше меня лет на пять. Принял он меня так сердечно, будто мы с ним были старыми знакомыми, и сразу

же стал называть меня на «ты». Он представил мне свою жену, красивую брюнетку, которую звали Антониной Ивановной. А потом познакомил и с тещей, она занималась у них ведением домашнего хозяйства, так как жена Хофбауэра работала на почте телеграфисткой.

Скоро женщины оставили нас одних.

Хофбауэр угостил меня водкой и после третьей стопки так разошелся, что начал изливать мне душу.

— Я тебе, дружище, прямо скажу: я не коммунист и никогда им не буду. После того что я пережил на фронте и в плену, я понял, что все, что здесь произошло, должно было произойти. Такое же случится и у нас. Однако я, старина, представитель старого мира и другим быть не хочу, да и не могу. Я хочу хорошо жить, а после меня хоть потоп. Вы можете делать, что вам нравится, я со своей стороны желаю вам успехов, но только оставьте меня в покое. С меня хватит.

Я перевел разговор на другую тему. Мне хотелось узнать, что он за человек и что ему здесь нужно. Хофбауэр сразу догадался, что меня интересует.

— Я прекрасно понимаю, о чем ты думаешь. Ты, как и русские, думаешь, что швед, у которого я работаю, наверняка шпион. Но вы ошибаетесь. С этим господином случилось то же самое, что и со мной. При царе у датчан и шведов здесь в Сибири были большие интересы. Они вагонами вывозили из Западной Сибири сливочное масло. Вот при царе я сюда и приехал, перед самой войной женился в Омске на дочери купца. В войну экспорт масла за границу прекратился, но иностранные фирмы работали на русскую армию. Потом началась революция. Наш швед мог бы уехать в Швецию, но он решил остаться здесь. В годы войны он работал на Красный Крест, да и сразу после революции тоже. Когда же шведская миссия была ликвидирована, он стал торговцем. У него с давних времен были связи с Маньчжурией, с Китаем и Японией. Политика его никогда не интересовала. При атамане Семенове он привозил товары семеновцам, во время Дальневосточной республики — красным, а теперь достает оптовые товары для Советов. Он попросил советское гражданство, и наверняка ему не откажут. Здешние власти его хорошо знают, так что ты можешь быть спокоен и не бойся, что я у него работаю.

— Ну, а ты не думал вернуться в Венгрию?

— Конечно, я тоскую по родине, но человек должен смотреть на вещи реально. Здесь я хорошо живу, мне нечего бояться завтрашнего дня. У этой страны все трудное позади. Если какие изменения здесь еще и произойдут, то меня, как иностранца, который стоит далеко от политики, они не коснутся. Если даже этот швед уедет отсюда, я себе всегда найду работу — хоть в кооперативе, хоть в государственном учреждении. На родине же у нас сейчас положение примерно такое, какое

здесь было при Семенове. Что несет с собой белый режим не только большевикам, но и всем честным людям, которые хотят жить в мире и работать, мы хорошо видели здесь. Кроме того, тех, кто возвращается в Венгрию из России, встречают неласково. Всякого, кто вернулся из революционной России, рассматривают как большевистского шпиона и сажают в тюрьму или в лучшем случае устанавливают за ним полицейский надзор. А у меня здесь есть жена, она любит меня, и я ее люблю. Но в Венгрию она со мной не поехала бы. Так неужели же я брошу здесь жену, спокойную жизнь и снова вернусь в нашу сумасшедшую страну? Спасибо, мне этого не нужно.

В ходе дальнейшего разговора я узнал, что в этом доме живет еще один венгр, Андрош Ковач, тоже пленный, моложе Хофбауэра лет на десять. В восемнадцатом году он служил в Красной Армии, в период захвата власти контрреволюционными силами некоторое время сидел в Удинске в тюрьме, но в начале двадцатого года освободился и поселился здесь. В партию, правда, он не вступил, работает в настоящее время коммивояжером.

Только Хофбауэр рассказал мне это, как, словно по уговору, в комнату вошел Ковач. Узнав, кто я такой, он обрадовался.

— Наконец-то я вижу живого венгерского коммуниста! — сказал он, крепко пожимая мне руку. — Я ведь тоже коммунист, хотя и не являюсь членом партии. Но ведь дело совсем не в бумажке.

Ковач рассказал, что до войны работал официантом в Сегеде, в шестнадцатом году попал в плен. В восемнадцатом добровольно вступил в интернациональный отряд и принимал участие не в одном бою. После прихода белых несколько месяцев сидел за решеткой. Сейчас работает агентом по снабжению в Управлении дальневосточной кооперации. По долгу службы часто ездит в Харбин за получением товаров.

— Ну, раз вы считаете себя коммунистом, тогда что же вас удерживает от вступления в партию? — поинтересовался я.

— Сейчас объясню. И по идеологическим, и по политическим вопросам я полностью с вами согласен, но дело в том, что я свое уже отстрадал и теперь хочу спокойно пожить. Если нужно будет снова браться за оружие, не беспокойтесь, я снова пойду в армию и буду сражаться, но, вступив в партию, я должен буду ходить на бесконечные семинары, собрания и заседания, это значит ни минуты свободного времени. Мне это не нравится. Я работаю на Советы, на коммунистов, и вы в любой момент можете на меня рассчитывать, однако я люблю спокойную жизнь.

В этот момент Антонина Ивановна сказала, что чай готов, и пригласила нас к столу. Ковач отказался, сославшись на то, что у него есть работа.

— Неплохой человек, — сказал Хофбауэр, когда Ковач ушел, — только немного взбалмошный. В восемнадцатом году он здорово измотался, потом занялся торговлей. Ему понравилась эта работа. Ничего плохого в том нет, что человек работает и на общество, и на себя.

— Интересно, — заметил я, — кроме тебя и Ковача я в Чите встретился еще с одним бывшим пленным — владельцем кофейной Калди, и, как это ни странно, все трое занимаются торговлей. Неужели все венгры на свете заделались торговцами?!

— Ну конечно не все, — ответил Хофбауэр. — Живет здесь один венгр, который занимает очень ответственный пост: заведующий отделом областного управления госбезопасности. Не слышал?

Я ответил, что не знаю о таком. Хофбауэр очень удивился, что я, работая в ревтрибунале, не слышал о своем земляке. Я спросил фамилию этого товарища.

— Янош Гейне. А настоящая его фамилия Токач. Попал в свое время в плен, в восемнадцатом году воевал за дело революции в Восточной Сибири, принимал участие в гражданской войне. Осенью восемнадцатого года, когда власть в Сибири захватили белые, попал в тюрьму, просидел полтора года в тюрьме в Верхнеудинске. Освободили его красные, когда 1 марта двадцатого года взяли город. В тюрьме книгу было достать трудно, но Янош совершенно случайно как-то достал сборник стихов Генриха Гейне. За неимением других книг он все время читал этот томик и часто рассказывал своим товарищам по камере о жизни Гейне. Так его в шутку и прозвали Гейне. После освобождения он попал на работу в органы госбезопасности, и когда зашла речь о подставной фамилии, он решил стать Гейне. Теперь я хочу заметить, что в двадцатом — двадцать втором годах, имея дело по делам службы с контрреволюционерами, спекулянтами и контрабандистами, я не раз слышал от них фамилии трех чекистов: Гейне, Сократа и Эдисона, которые наводили на них панический ужас.

Чай пили вместе с женщинами. Через час я встал из-за стола с твердым убеждением, что Антонина Ивановна — самая подходящая спутница жизни для Хофбауэра: милая, очаровательная и мешанка до мозга костей.

После рассказа Хофбауэра о венгерском чекисте по фамилии Гейне я решил разыскать этого товарища и встретиться с ним. Сначала мы с ним переговорили по телефону, потом я зашел к нему на работу.

Принял он меня с профессиональной осторожностью. Светловолосый, с острым внимательным взглядом, высокий худощавый мужчина моего возраста. Встреча наша была корот-

кой. Мы очень темно рассказали о себе, поговорили о положении в Венгрии и о делах в ревтрибунале, и только. О своей работе Гейне ничего не сказал, а я не стал спрашивать. За все время нашего разговора он ни разу не улыбнулся, но, несмотря на это, у меня сложилось о нем приятное впечатление. Его серьезность я отнес за счет характера его работы. Когда мы расставались, Гейне не предложил встретиться еще раз.

Позже мы несколько раз виделись на партийных конференциях или на каких-нибудь торжественных вечерах, пожимали друг другу руки и обменивались лишь несколькими словами.

С Хофбауэром мы не раз заглядывали в «Венскую кофейную», а однажды договорились, что в следующую субботу я приду к ним домой.

Когда я пришел к ним, Хофбауэра дома не оказалось.

— Проходите, проходите, — такими словами встретила меня Антонина Ивановна, — муж просил извинить, его срочно вызвали на работу. Он обещал вернуться к семи, но если задержится, то уж не сердитесь. Надеюсь, что он скоро подойдет, а пока побудьте в моем обществе.

Вдвоем с Антониной Ивановной мы посидели полчаса, пока ее мать на кухне готовила ужин. Сначала любезная хозяйка рассказывала о своем муже, который был для нее олицетворением всех земных добродетелей, потом о себе и своей работе. Затем она поинтересовалась моей семьей, спросила, где я познакомился с Катей, как мы жили в Хилоке, в Сибири, в Москве. И наконец перешла к теме, которая, как мне показалось, интересовала ее больше всего.

— Прошлый раз вы говорили о том, что, как только представится возможность, вместе с женой поедете в Венгрию. Неужели вы и вправду думаете, что вашей жене там будет хорошо? Думаете, ей будет легко оставить родину и родных? А вы, оказавшись в родных краях, не пожалеете о том, что связали свою жизнь с ней?

Я как мог стал объяснять ей, что ни у меня, ни у моей жены таких мыслей не возникало и нас это не пугает. Мы очень хорошо понимаем друг друга, и я уверен в ней так же, как и она во мне. Что касается чужой обстановки, то я надеюсь, что жена и в Венгрии будет себя хорошо чувствовать.

— Скажите, а вам не хочется поехать в Венгрию? — спросил я ее.

— Если откровенно, то мне хотелось бы, чтобы муж взял меня с собой. С детских лет во мне живет желание посмотреть свет. По рассказам мужа я знаю, как люди живут у вас. И все же я раздумала ехать, и вот почему: ведь браки с военнопленными — довольно непрочные браки. Многие пленные спокойно бросают здесь своих русских жен, но это еще далеко не худший случай. Вы, наверное, слышали, что есть и такие, которые забрали жен с собой на родину, а там бросили их.

Правда, есть и серьезные браки с пленными, вот как ваш или наш. Мой муж любит меня, и я нисколько в этом не сомневаюсь, здесь он не оставит меня и не увлечется какой-нибудь другой женщиной. Но я не уверена, что так будет, если мы уедем в Венгрию. Я представляю, как он закрутится там, среди своих, и может потерять голову. А что будет со мной, если он оставит меня в чужой стране, где у меня нет никого на свете? Вот я и думаю, что лучше мне с огнем не играть.

Как только пришел Хофбауэр, мы сели ужинать. После ужина, оставшись вдвоем, мы разговорились с Хофбауэром, и я сказал ему об опасениях его жены.

— Я тебе уже говорил, что она в Венгрию ехать не хочет. Она и мне это так же объяснила, как и тебе. Я, правда, с ней спорил. Мы с Антониной Ивановной живем уже третий год, и у меня в голове и мысли такой нет, чтобы оставить ее или же волочиться за другими женщинами. Но, если такое и случится, чем черт не шутит, мы разведемся. Ей, конечно, будет обидно и больно, но здесь она еще может устроить свою жизнь. Если же мы будем жить в Венгрии, то я ни за что на свете не позволю себе бросить ее там, потому что прекрасно понимаю: там у нее никого, кроме меня, нет.

В связи с этим разговором он рассказал мне случай, происшедший с одной русской женщиной, которая вышла замуж за немца и уехала с ним в Берлин. Она и сейчас живет там, но сильно тоскует по родине. С Александрой Ефимовной Борисовой, так зовут эту женщину, Хофбауэр в свое время довольно часто виделся, так как был с ее мужем в одном лагере. Оказалось, что и по сей день он переписывается с этой семьей.

Я попросил Хофбауэра, если он будет писать письмо своему другу, пусть напомнит Александре Ефимовне о том, что мы с женой снова живем в Забайкалье.

Я жду приезда семьи

Стояла середина декабря. С беспокойством мы ожидали рождения ребенка. После долгих поисков удалось найти подходящее жилье: большую и светлую комнату с окнами, выходящими на улицу, и отдельным входом. Всего в доме торговца Иванова было пять комнат. Три из них занимал сам владелец дома с женой и двумя сыновьями. Одну комнату с отдельным входом снимал судья Казимирский, который в царское время был председателем читинского губернского суда, а во времена Дальневосточной республики — одним из народных судей, на этой должности он и остался. Это был добрый, образованный старичок, юрист. Любое жизненное явление и любой человеческий поступок он рассматривал исключительно с точки зрения права и законов, нисколько не интересуясь тем, кто написал эти законы и кому они служат. В период действия царских за-

конов он был их ревностным защитником, при Семенове служил атаману, а позднее честно отстаивал права демократии Дальневосточной республики. Теперь, когда власть целиком перешла в руки большевиков, не было в суде человека, который бы так ревностно следил за исполнением советских законов.

Супруга Казимирского, Софья Карловна, произвела на меня большее впечатление, чем ее муж. Это была высокообразованная женщина лет пятидесяти с небольшим. В молодости она окончила университет, много читала и прекрасно знала немецкий и французский. Она любила книги и работала библиотекарем в городской библиотеке ежедневно по полдню, не получая за это никакого вознаграждения.

Супруги Казимирские относились ко мне очень тепло, и, хотя наши домохозяйства были нам чужие, я до приезда Кати не чувствовал себя одиноким.

В последнем письме жена писала мне, что со дня на день ждет рождения ребенка. Прошло больше недели после получения этого письма, а я никакого известия не получал. Однажды, не вытерпев, я послал Кате телеграмму, попросив немедленно ответить. Через день пришла телеграмма: «Катя и дочка здоровы. Подробности письмом».

У меня родилась дочь! Значит, телеграмма, посланная Марией Павловной сразу же после рождения ребенка, затерялась. Но это неважно. Я был счастлив: родилась девочка, и малышка и Катя здоровы, все остальное не страшно. Я с нетерпением ждал обещанного письма, но оно не приходило. Видимо, задержалось где-то в пути.

Дело Грен-Зентало

За несколько дней до приезда Кати в трибунале слушалось одно чрезвычайно запутанное дело, по которому к уголовной ответственности привлекалось три человека. Главным обвиняемым был начальник отдела читинского управления госбезопасности¹ Грен-Зентало, бывший австрийский подданный, по происхождению итальянец. Как он попал в Россию — то ли как военнопленный, то ли был заслан как шпион, — как пробрался в органы безопасности, никто не знал, сам он об этом не говорил, и в деле по этому поводу ничего не было.

Кроме него на скамье подсудимых оказались еще двое: молодой еврей лет двадцати, по фамилии Сегал, работавший у

¹ В Дальневосточной республике, в отличие от Советской России, уголовные дела чекистов разбирались в обычных гражданских судах. Это положение сохранялось в силе и в первое время после присоединения республики к Советской России, и лишь только позже дела о преступлениях своих сотрудников разбирались в специальных судах, находящихся в ведении ЧК. — *Прим. венг. изд.*

Грен-Зентало, и некто Гуревич. Сегал, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно арестовывал самых состоятельных читинских торговцев, а затем вымогал деньги у родственников арестованных. Получив в качестве взятки большие суммы денег, он освобождал арестованных, которых рано или поздно все равно бы освободили за отсутствием состава преступления.

И хотя у нас было подозрение, что подсудимые длительное время занимались вымогательством подобного рода, в деле говорилось лишь об одном конкретном случае вымогательства, который и послужил причиной возбуждения уголовного дела. Остальные жертвы, видимо, были очень довольны, что их выпустили на свободу, и предпочитали помалкивать. В ходе судебного разбирательства было установлено следующее.

Однажды был арестован купец Иванов, которого обвиняли в том, что он покупал и поставлял оружие для банды Семенова. Спустя несколько дней после ареста Иванова к жене арестованного пришел Гуревич, которого Ивановы хорошо знали, и сказал, что у него есть хорошие связи с органами госбезопасности, и, если Иванова не пожалеет денег, можно сделать так, что ее муж снова окажется на свободе. Иванова согласилась, и Гуревич свел ее с Сегалом, предварительно предупредив, чтобы она ни о каких деньгах и не заикалась, а только просила бы, чтобы ее принял Грен-Зентало, по приказу которого арестовали ее мужа и от которого, собственно, зависит его дальнейшая судьба. Все так и было. Через несколько дней Сегал сообщил Ивановой, когда начальник ее примет. Гуревич рассказал женщине, как она должна себя вести и что говорить. О деньгах и там нельзя было упоминать. Нужно было говорить о невинности мужа, рекомендовалось немного всплакнуть и просить пересмотреть дело ее мужа, в полной невинности которого она убеждена. Начальник пообещает ей разобраться. В момент, когда начальник отвернется, Иванова должна положить ему на стол конверт с бумагой, в которой она, в случае освобождения ее мужа в течение месяца из-под стражи, обязуется выплатить Гуревичу пять тысяч золотых рублей.

Все так и случилось. Иванова освободили из тюрьмы, а Гуревич получил пять тысяч рублей.

Теперь трое подсудимых отрицали предъявленные им обвинения и то, что между ними существовал преступный сговор. Грен-Зентало подтвердил, что жена Иванова была у него на приеме, но он не помнит, просил ли его Сегал принять эту женщину, и наотрез отрицал, что он давал Сегалу какие-либо поручения, не связанные со служебными обязанностями. Отрицал он и то, что Иванова передала ему деньги. Он только помнит, что она очень просила пересмотреть дело ее мужа, что он и сделал. При пересмотре дела выяснилось, что обвинение

Иванову было предъявлено явно необоснованно, его сразу же выпустили на свободу.

Сегал со своей стороны утверждал, что ему ничего не было известно о преступных действиях Грен-Зентало и Гуревича. Признал он только то, что действительно как-то попросил своего старого знакомого Гуревича помочь Ивановой попасть на прием к Грен-Зентало, но в этом он ничего плохого не видит.

Гуревич же утверждал, что никаких связей с Грен-Зентало у него не было, он слышал его фамилию, и только. С Ивановыми же у него были давнишние деловые связи, вот он на правах друга и посоветовал Ивановой переговорить с Грен-Зентало. Он действительно предложил Ивановой свести ее с Сегалом и сделал это, но ни о каком злоупотреблении он и знать не знает.

В ходе дела полностью выяснилась вина Грен-Зентало. Не удалось установить только, был ли между этими тремя людьми преступный сговор или не было. После допроса Ивановой, еще нескольких свидетелей и самих обвиняемых мне лично стало ясно, что такой сговор был. Один из моих коллег считал, что сговор был между Грен-Зентало и Гуревичем, но причастность к этому преступному сговору Сегала не доказана, и потому его нужно освободить. Третий член трибунала не сомневался ни в виновности Грен-Зентало, ни в виновности Сегала, он был уверен, что Гуревич свел Иванову с Сегалом и посоветовал женщине дать Грен-Зентало деньги, но считал недоказанным факт преступного сговора Гуревича с Грен-Зентало, и потому, по его мнению, Гуревича в худшем случае можно привлечь к уголовной ответственности только за подстрекательство.

В комнату для вынесения приговора мы вошли часов в восемь вечера. Выяснилось, что все три члена трибунала имеют свое, отличное от других, мнение. Я считал, что Грен-Зентало и Гуревича следовало бы приговорить к расстрелу, а Сегала по меньшей мере к пяти годам тюремного заключения. По мнению другого коллеги, Грен-Зентало и Гуревича следовало приговорить к расстрелу, а Сегала — освободить, третий предлагал Грен-Зентало приговорить к расстрелу, Сегала — к пяти годам тюремного заключения, а Гуревича — на год, на два.

Прошел час, другой, а никто из нас никак не мог убедить других в правильности своей точки зрения. Смертельно уставшие, голодные, мы проспорили всю ночь. Никто из нас не мог выйти из комнаты для заседания до вынесения приговора, так как согласно инструкции, если один из членов суда покидал комнату для совещания до вынесения приговора, то судебное заседание нужно было проводить уже в новом составе.

Начало светать, а мы все еще не пришли к единому мнению. В конце концов вынуждены были пойти на компромисс. Грен-Зентало мы признали виновным в злоупотреблении сво-

им служебным положением, вымогательстве и взяточничестве, за что по совокупности ему грозил расстрел. Что касается двух других подсудимых, тут мои коллеги утверждали, что между тремя обвиняемыми налицо преступный сговор, я же настаивал Гуревича приговорить не к расстрелу, а лишь к пяти годам тюремного заключения, Сегала — только к трем.

Было семь часов утра, когда мы зачитали приговор. Поезд, с которым приезжали жена с дочкой, прибывал на вокзал в семь двадцать. У меня даже не было времени умыться. Я попросил своего помощника достать где-нибудь извозчика, пока я приведу в порядок бумаги.

Прокурор Терентьев, которого так заинтересовало это дело, что он всю ночь просидел в зале, чтобы услышать приговор, не удержался и после оглашения приговора подошел ко мне и с нотками осуждения в голосе сказал:

— И как только вам не стыдно! Этого мерзавца Гуревича расстрелять следовало бы! Я опротестую ваш приговор!

Я ничего не ответил. Извозчик уже ждал меня, и я торопился, но в душе был согласен с Терентьевым.

Позже, вспоминая это дело, я всякий раз чувствовал угрызения совести за то, что согласился пойти на этот компромисс, но эти угрызения мучили меня до тех пор, пока из Москвы, из ЦИК, не пришло решение заменить Грен-Зентало расстрел десятью годами лишения свободы.

IV. НАША ЖИЗНЬ В ЧИТЕ

Приезд Кати

Позванивая колокольцами, по скрипучему снегу сани не ехали, а летели с вокзала домой. Стоял холодный, но солнечный день. После трехмесячной разлуки я снова был с Катей, на руках я держал дочку. Из-под одеяла виднелись только глаза да часть личика девочки. Но какие великолепные были у нее глаза! Какое это было счастливое утро! Только ради его одного стоило жить на свете!

Привезя Катю домой, я познакомил ее с Ивановыми. Хозяйка была очень вежлива и пригласила нас отобедать у них, и потому Катя спокойно занялась распаковкой вещей. Мне нужно было бежать на работу, но и полюбоваться дочкой очень хотелось.

Зато вечером мы с Катей остались одни. Пока Катя кипятила чай и приготовила ужин, я любовался спящей дочуркой. За чаем мы завели бесконечный разговор, ведь не виделись целых три месяца! Сначала я рассказал о себе и о своей жизни в Чите, потом Катя рассказала мне о жизни в Удинске.

Из ее писем я знал, что эта разлука была для нее нелег-

кой. После четырех лет совместной жизни нам было трудно друг без друга.

— Ты ведь знаешь, — сказала Катя, — как я люблю маму, но только теперь, пожив вместе с ней, поняла, как далеки мы друг от друга. Она живет в совершенно другом мире. И у нас, кроме родственной любви, нет ничего общего. До сих пор я считала, что у меня есть два близких человека: ты и мама. Теперь я твердо знаю, что у меня только один-единственный близкий человек — это ты. Вторым таким человеком будет для меня наша дочка. Маму и брата я всегда буду любить, но они для меня не такие близкие.

Немного помолчав, Катя продолжала:

— Не знаю, как ты посмотришь на это, но я решила твердо: работать не буду. Чувствую, будет лучше, если я останусь дома и все свое время отдам тебе и дочурке. Я никогда не прощу себе смерти сына, ведь он умер из-за того, что я отдала его в чужие руки. Не хочу, чтобы такое повторилось.

Решение жены болью отозвалось в моем сердце. Я понимал Катю. Потеря сына была для нас самым тяжелым ударом, и, если жена решила посвятить свою жизнь семье, я должен только благодарить ее за это. Но мне было больно оттого, что она приносит себя в жертву.

Решение Кати было непоколебимо. Мы очень любили друг друга, у нас было много радостей, мы были счастливы, но наши отношения могли быть еще лучше. Катя была счастлива от сознания того, что приносила счастье мне и ребенку. Я был счастлив, наслаждаясь ее любовью, принимая ее дружбу и заботы, но между нами не было той духовной близости, которая была бы, если бы она не ушла целиком в заботы о семье и в воспитание ребенка. Ведь для иного у нее почти не оставалось времени. Я постоянно чувствовал это, и мне больше всего было сознавать, что она, взвалив на себя нелегкие домашние обязанности, отказывала себе во многом и так сжилась с этой жизнью, что даже сама перестала чувствовать укор собственной совести. Я никогда не прощу себе того, что тогда в Чите не воспротивился ее решению, не убедил ее, что нельзя отказываться от жизни среди людей.

Житейские неприятности

В одно из воскресений, как и обещали, мы с Катей пошли к Хофбауэрам. Вечер прошел чудесно. Мы о многом переговорили с Хофбауэром, а Катя — с двумя женщинами.

По дороге домой я спросил Катю, понравились ли ей эти люди.

— Они симпатичные, — ответила она. — Муж и жена, видно, очень любят друг друга, а старушка радуется счастьем дочери. Но вот что я заметила: их положение похоже на наше —

жена русская, муж венгр, военнопленный, а все же что-то у них не так, как у нас.

— Разумеется, не так, — согласился я. — А в чем же, по-твоему, различие?

— Что касается мужа, тут все ясно: ты — коммунист, он — простой мещанин. Между мной и женой Хофбауэра не столь большое различие, но оно есть, и притом существенное. Мы, жены и матери, почти все одинаковы. Она тоже любит своего мужа, хочет жить только ради него, но не имеет ни малейшего представления, чем он занимается, о чем думает, какие планы строит, больше того, ее это даже не интересует. Ей важно только, чтобы муж был жив и здоров, зарабатывал и не бросал их. Она мне сказала, что охотно поехала бы в Венгрию погостить, на недельку-другую, но жить в чужой стране она не сможет, потому что никогда не бросит здесь свою мать. А мать ее ни за что на свете не поедет из России. «Без мужа я могу представить свою жизнь, — сказала она мне, — а вот без матери — никогда. Мужа можно найти и другого, а мать одна». У меня совсем иной характер. Я люблю маму, но могу спокойно жить вдали от нее, а вот без тебя не проживу. И еще... Я тоже русская и останусь ею, но и венгры для меня не чужие. Ты помог мне узнать их и полюбить, и, если мне когда-нибудь придется попасть в Венгрию, я уверена, что буду чувствовать там себя как дома.

Как-то, вернувшись вечером с работы, я застал Катю в слезах. Рядом стояла Софья Карловна, утешая Катю. Мне довольно быстро удалось успокоить жену.

Когда мы остались вдвоем, Катя рассказала, что наша домохозяйка, которая раньше была очень вежлива с Катей, оскорбила ее. В общей кухне у них и до этого были кое-какие мелкие размолвки. Катя старалась избежать скандалов, но когда хозяйка отодвинула на плите ее кастрюльку, в которой Катя хотела что-то приготовить для ребенка, она не сдержалась. Но такие раздоры были минутными, и на следующий день все было спокойно. Но сегодня в полдень, когда они обе стояли у печки и разговаривали, речь зашла о политике. Иванова так разошлась, что даже стала высказывать свои реакционные взгляды. Катя, конечно, отвечала ей на это. Кончилось тем, что Иванова грубо оскорбила Катю.

— Не принимай все так близко к сердцу, дорогая, — утешал я Катю. — Ты же знаешь, хоть мы и строим новый мир, окружение пока что остается старым. Такие ивановы — представители старого мира с самой худшей его стороны. Казимировы тоже представители старого мира, но они впитали в себя все его положительное. И хотя в политике они мало понимают, все же это культурные, образованные люди, а главное —

они добрые и честные. Если тебе скучно, поговори с Софьей Карловной, а с Ивановой постарайся общаться как можно меньше.

— Хорошо, постараюсь. — И Катя тяжело вздохнула.

Приезд тещи

Ранней весной, даже не сообщив, приехала Мария Павловна. Катя не без гордости рассказывала матери о нашей девочке, и бабушка просто сияла от счастья, когда брала на руки единственную внучку.

Только и разговоров было что о ребенке.

Однажды я заметил, как Мария Павловна утирает слезы.

— Что случилось, мама? — удивился я. — Ведь у нас все в порядке.

— Разумеется, — всхлипывая, ответила она. — Я плачу от счастья. Если господь бог позовет меня к себе, я спокойно могу умереть, потому что знаю: мне не нужно беспокоиться за свою дочь, она счастлива, у нее хороший муж, красивая дочка, все здоровы и обеспечены всем необходимым. А это для меня самое главное.

Теща так расчувствовалась, что слезы снова побежали по ее щекам. Она долго не могла успокоиться.

После откровенного Катиного признания о ее отношении к матери я несколько настороженно встретил этот приезд тещи, но уже в первые дни ее пребывания у нас убедился, что нет оснований волноваться. Добрая Мария Павловна старалась хоть как-нибудь облегчить жизнь дочери. Она готовила обед, стирала белье, убирала комнату, она хотела, чтобы Катя больше отдыхала, хорошо питалась, тогда девочке достанется больше молока. Катя не хотела только отдыхать, но спорить с Марией Павловной было бесполезно. Разумеется, они сердились друг на друга из-за этого. Другой причиной для небольших размолвок было постоянное желание тещи как-то по-новому переставлять в квартире мебель: она не могла долго жить без таких перестановок. Катя же, напротив, не хотела нарушать однажды установленного порядка.

Разумеется, визит тещи ничуть не омрачался такими мелкими размолвками: слишком много хорошего она делала для нас. Самое главное, пожалуй, заключалось в том, что, освободив Катю от большинства домашних забот, Мария Павловна еще помогла разрядить напряженность, которая возникла между нами и домохозяйевами.

Появившись на кухне, Мария Павловна быстро подружилась с Ивановой, хотя они были совершенно разными людьми. Мария Павловна выросла в семье крестьянина, первый ее муж

был паровозным машинистом. Людмила Антоновна и ее муж — выходцы из кунеческого сословия. И все же всех троих родило то, что они выросли в том мире, уход которого теперь оплакивали, хотя и по различным причинам. Поэтому и общий язык они нашли скоро. Через несколько дней Людмила Антоновна и ее муж были так же добры к нам, как и в первое время. Марии Павловне мы обязаны тем, что за те несколько месяцев, что мы прожили на этой квартире, между женщинами уже не возникало серьезных ссор.

В один из вечеров я повел Марию Павловну в «Венскую кофейную» и представил ее Калди, который в свою очередь познакомил мою тещу со своей женой.

Мария Павловна была в восторге от этого кафе и заявила, что такое не стыдно иметь и в столице. Этим она сразу же расположила к себе Калди. Она поинтересовалась, нет ли у него знакомого пленного, который хорошо знал бы кондитерское дело и согласился бы с ней вместе открыть такое же кафе на центральной улице Удинска.

С того вечера Мария Павловна стала частой гостьей в кафе; иногда одна, иногда со мной она через день заходила туда, чтобы выпить чашечку кофе.

Однажды, когда мы с тещей пришли в кафе, за соседним столиком уселся высокий бородатый мужчина средних лет. Увидев Марию Павловну, он тотчас же подошел к нашему столику.

— Мария Павловна! Вы ли это? Какой сюрприз! — улыбаясь, проговорил он.

Они дружески поздоровались, и Мария Павловна, представив нас друг другу, пригласила гостя сесть.

— Это Василий Петрович Цибулькин, который у нас в Удинске охраняет закон, он наш юрист. А это мой зять, Андрей Александрович Шик, судья читинского ревтрибунала. Словом, вы коллеги.

— Рад с вами познакомиться, — проговорил юрист. — Мария Павловна не раз говорила мне о вас.

Мария Павловна забросала Василия Петровича вопросами о том, что делается в Удинске, пока она гостит здесь.

Василий Петрович вдруг хлопнул себя по лбу:

— Черт возьми, только теперь вспомнил! — И он полез в карман. Вынув бумажник, достал из него письмо. — Прошу меня извинить, когда я в прошлый раз был в Чите, так замотался, что совсем позабыл разыскать вашего зятя. А потом и о письме совсем забыл.

И он протянул мне письмо, которое я когда-то так ждал. В том письме Катя и теща сообщали мне о рождении дочери.

Вернувшись домой в один из вечеров, я застал Марию Павловну в плохом настроении. Дочурка уже спала, и бабушка, погруженная в свои мысли, сидела у ее кровати. Катя, по-видимому, хозяйничала на кухне. Теща как-то безразлично ответила на мое приветствие. Я вышел на кухню к Кате.

— Что случилось с матерью? — спросил я.

— Ничего особенного. Просто ей скучно. Она уже почти целый месяц гостит у нас, а ты ведь знаешь, что она не может долго жить на одном месте.

— Тогда почему же она не ходит в кафе?

— Я ей тоже предлагала, но она сказала, что ноги ее там больше не будет, а почему, не ответила. Быть может, тебе скажет.

Вернувшись в комнату, я спросил тещу:

— Мама, дорогая, не хотите ли пойти в кафе?

Мария Павловна покачала головой:

— Больше, сынок, ноги моей там не будет.

— Но почему? Ведь вам всегда там нравилось.

— Так оно и было, — ответила она. — Место очень хорошее, и я охотно туда ходила, пока не поняла, что там за люди. Твой венский знакомый — беспардонный мерзавец. Женится он исключительно из-за денег на женщине, которая намного старше его. Он изменяет ей на каждом шагу со всеми своими официантками. Жена, зная это, все терпит. Она сама рассказывала мне, что он чуть ли не на ее глазах назначает свидания, но и с ней и с девушками он так груб, будто это его прислуга. А как может его жена молча терпеть такое? И это вместо того, чтобы показать мерзавцу его место. Она не заслуживает того, чтобы с ней так разговаривали! Об официантках я уже и не говорю. Я слышала, все они из хороших семей, но ради денег идут с этим мерзавцем, да и с любым из посетителей куда угодно. Это просто публичный дом, и туда, сынок, я больше не пойду, да и тебе не советую из-за чашечки кофе со взбитыми сливками посещать этот вертеп. А на будущее дам тебе один совет: никогда не изменяй жене. Но если все же это случится, сделай так, чтобы она никогда об этом не узнала. И запомни навсегда: не человек тот мужчина, если он груб с женщиной, которая отдает ему всю себя, независимо от того, жена это или любовница.

Володя снова появляется

На следующий день, придя с небольшим опозданием на обед, я увидел, что за столом вместе с женой и тещей сидит молодой мужчина, которого я не знал.

— Представь себе, какая неожиданность, — сказала Катя. — Мама утром была в городе и совершенно случайно на

улице встретила Володю. Он всего несколько дней назад приехал в Читу.

Как повести себя? После всего услышанного о Володе я вовсе не хотел видеть его у себя гостем, и потому тот восторг, с каким жена сообщила мне эту новость, просто возмутил меня.

Катя, видимо, поняла мои мысли и поспешно добавила:

— Не бойся, можешь смело подать ему руку. Ты, конечно, хорошо помнишь Володину телеграмму, в которой он сообщал, что был офицером связи у белых. А на самом деле он был партизаном!

Не без колебаний я протянул Володе руку, но в ходе разговора очень скоро убедился в том, что мое о Володе мнение, сложившееся несколько лет назад, было неверным. Оказалось, что он еще на фронте стал членом одной нелегальной организации, а в восемнадцатом году по заданию партии вступил в белую армию. Офицером связи на Дальний Восток он поехал с разведывательной целью, а позже принимал активное участие в революционном преобразовании Приморья.

У Володи оказалось много документов и всевозможных справок, подтверждающих все то, что он рассказал нам. Мои сомнения окончательно рассеялись.

Приемный брат моей жены оказался замечательным парнем. К тому же был он умен, образован и политически грамотен. Володя рассказал, что, когда Советская власть укрепила свои позиции на Дальнем Востоке, он вернулся к отцу в деревню и все это время работал там, но не смог найти со стариком общего языка.

— Отец мой — тот самый середняк, про которого говорят, что он наполовину рабочий, наполовину спекулянт. Его сейчас интересует только одно: как бы из своего хозяйства побольше выгоды получить. Посылая меня в детстве в школу, он только и мечтал о том, как бы сделать из меня господина. Теперь он жалеет, что я так много учился, и хочет только одного — чтобы я остался дома и работал. Меня же интересует учеба. На этой почве мы с ним поругались, я забрал свои вещички и приехал сюда. Сначала поработаю в Чите, а потом уеду в Москву или Петроград. Хочу стать летчиком.

Теща спросила Володю, не думает ли он жениться. Он ответил, что, собственно, уже женат; в гражданскую войну, партизаны на Украине, он познакомился с польской девушкой-сиротой и женился на ней. Прожили они с ней больше года, и, когда его послали на Дальний Восток, он не смог взять с собой жену. Так они и оторвались друг от друга. Когда же на Дальнем Востоке буря утихла, он вернулся к родителям. Анна Казимировна тоже приехала туда.

— Вот тут и начались все беды, — продолжал Володя. — Жена моя сама из крестьянской семьи и сразу же поняла старика. Она начала уговаривать меня навсегда остаться в дерев-

не, но я решил уехать в город. Старикки, однако, уговорили жену не ездить со мной. Думали, что этим они и меня заманят к себе, но я решил: если я дорог ей, она поедет за мной, а если не поедет, значит, так и нужно...

— Помнишь, как плохо ты отзывался о Володе? — спросила Катя, когда мы остались одни.

Надо было помочь Володе устроиться на работу. Я вспомнил, что отдел строительства горсовета ищет себе чертежника, поговорил с начальником отдела и порекомендовал взять Володю. Тот пообещал взять Володю, если он подойдет ему. На другой день Володя пошел на работу, а через неделю мне позвонил начальник строительного отдела и поблагодарил за то, что я порекомендовал ему Володю.

Володя часто заходил к нам. Работой своей он был доволен, но стоило кому-нибудь только заикнуться об авиации, как он уже не мог успокоиться.

Но отношению к Кате Володя был вежлив и предупредителен. Он держал свое слово, которое дал ей еще в Иркутске, и теперь они были как брат с сестрой. У меня не было причин сомневаться в его искренности, тем более что скоро он стал и моим другом.

Прекратив посещать кафе, Мария Павловна все чаще стала поговаривать о том, что ей уже давно пора ехать домой.

Мы не удерживали ее.

— Как хочешь, мама, — сказала ей Катя. — Мы тебе очень рады, но, если тебе нужно, ты можешь спокойно ехать.

Вскоре Мария Павловна, разумеется не без слез, простилась с нами. Жаль было расставаться с ней, но и задерживать ее не было смысла.

Переписка с Александрой Ефимовой

Однажды утром Хофбауэр пришел ко мне в ревтрибунал и сказал, что получил письмо от Александры Ефимовны, в которое вложен конвертик и для меня.

Я как раз шел на заседание и не мог сразу прочитать письмо, хотя меня разбирало любопытство. Интересно, мне она написала или Кате? А если мне, то что? Ведь с того момента, как она сказала тогда в парке, что между нами все кончено, я ничего не знал о ней.

Судебное заседание закончилось, и, оставшись в одиночестве, я не без волнения вскрыл письмо:

«Дорогие Екатерина Васильевна и Андрей Александрович! Вы себе представить не можете, как я обрадовалась, когда

Хофбауэр в своем письме сообщил мне, что вы живете в Чите, здоровы и у вас очаровательная дочка. Скоро уже три года, как я в Берлине. У моего зятя здесь своя гостиница и ресторан, пайщиком которого является и мой муж. Мы богаты, я не работаю (муж мне даже не разрешает заходить в ресторан, так как здесь это считается неприличным). Живу я прекрасно, муж любит меня, носит на руках. Словом, ни в чем себе не отказываю, но я очень несчастна. Самое страшное, что я сама в этом виновата. Я всегда думала, что богатство — это главное на свете. Теперь я поняла, что это далеко не так, но уже поздно. Боже мой! Как я хочу в Хилок! Не проходит и дня, чтобы я не вспоминала его! Помню наш маленький бревенчатый домик на набережной, Чертову канаву, лесную сторожку! Вспоминаю вас и милого Никифора Андриановича!.. Я слышала, у него были большие неприятности. Не сердитесь на меня, что я так откровенна с вами, но мне очень дороги люди, которые когда-то были добры ко мне, милы моему сердцу. Их я буду с любовью вспоминать всю жизнь.

Андрей Александрович, уважайте свою жену! Она самый честный человек на свете. Она знала, что я была любовницей Никифора Андриановича и что пыталась соблазнить вас, и все же разговаривала со мной по-хорошему.

И вот еще что: послушайте меня и не уезжайте из России. Я знаю, что это такое, когда человек, оторвавшись от родной земли, оказывается среди чужих. Судите об этом не по себе, ведь вы, Андрей Александрович, нашли у нас свою вторую родину. Такая жена, как ваша, может заменить вам родину. Но для Екатерины Васильевны, можете мне поверить, оказаться в чужой стране — равносильно аду.

Иногда вспоминайте и меня, если можете, напишите мне несколько строчек, я буду рада им.

Как я несчастна! Доктора говорят, что у меня никогда не будет детей.

Дорогая Екатерина Васильевна, целую вас и вашу доченьку много-много раз и один-единственный раз, если вы позволите, вашего мужа. Любите друг друга. Желаю вам счастья, которого у меня уже быть не может!

Обнимаю всех. Любящая вас Александра Ефимовна».

Письмо Александры Ефимовны растрогало меня. Катя, когда прочитала, расплакалась, а на следующий день написала теплый ответ. Я приписал несколько строчек.

Письмо Александры Ефимовны тронуло меня так сильно еще и потому, что я чувствовал себя в какой-то степени виновным в том, что ее судьба сложилась именно так. И я очень хорошо понимал ее. Я, как и Александра Ефимовна, обзавелся семьей в чужой для меня стране, и, как бы тесно я ни был

связан с Катей и как бы ни считал Советскую Россию своей родиной, передко меня охватывала тоска по родине, и мне так же хотелось увидеть будапештские улицы, как Александре Ефимовне хилокскую набережную.

Читинская венгерка

Однажды зимним вечером, войдя в «Венскую кофейную», я обратил внимание на симпатичную молодую женщину. Она сидела за столиком одна и пила кофе. Я сел так, чтобы видеть ее. Что-то в ней привлекло мое внимание. Присмотревшись к женщине, я заметил, что лицо ее не было красивым, однако в ее облике было что-то интригующее, а чрезвычайно простой и скромный наряд приятно удивлял.

«Кто она? — подумал я. — Судя по всему, не русская».

Через несколько минут появился Калди. Оглядев хозяйским взглядом кофейную, он сразу же подошел к столику, за которым сидела незнакомка, и к, моему удивлению, вместо традиционного поклона поцеловал ей руку.

В то время на Дальнем Востоке не было обычая целовать женщинам руку. Я понял, что не ошибся, приняв незнакомку за иностранку.

Калди подсел к ней, и начался оживленный разговор.

«Уж не венгерка ли она? — подумал я. — Но как она сюда попала?»

Любопытство мое возросло, когда я понял, что разговор идет обо мне. Незнакомка так пристально рассматривала меня, что мне под ее взглядом стало как-то неудобно. Скоро Калди подошел ко мне:

— Привет, Цезарь! — с обычной улыбкой поздоровался он и, наклонившись ко мне, прошептал: — Не хотите ли, сэр, познакомиться с единственной женщиной в нашей республике, комплименты которой вы можете говорить на венгерском языке?

Я с радостью согласился.

Незнакомка предложила мне сесть.

— Я очень рада, что могу наконец поговорить с венгерским мужчиной, в обязанности которого не входит ухаживать за женщиной, — проговорила незнакомка, кивнув в сторону Калди. — Благодарю вас за любезность, господин хозяин. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти.

Калди сделал вид, что не расслышал ее слов.

— Воспользуюсь вашим любезным приглашением, — сказал он, присаживаясь к столику. — Во-первых, я хозяин этого заведения, а во-вторых, и мне не грех выпить чашечку кофе. Этого мне никто запретить не может. — И он приказал официантке принести кофе.

Незнакомка, казалось, больше не замечала Калди. Мы с ней разговаривали только вдвоем. Калди сидел за нашим столиком и молча слушал нас.

Сначала говорила она. Звали ее Роза Фердинандовна Рыбникова. Муж ее — еврей-торговец, уже несколько лет она живет в Чите.

Неудобно было спрашивать ее о семейных делах, а она, видимо, считала неуместным рассказывать об этом. Она забросала меня вопросами: кто я, откуда, когда попал сюда из Венгрии, как очутился в Чите, женат ли, есть ли у меня дети...

Вопросам ее не было конца, но задавала она их с такой детской наивностью и так мило, что ее любопытство нисколько не оскорбляло меня. К тому же мне было чрезвычайно приятно сидеть рядом с очаровательной женщиной и говорить на родном языке.

Вскоре Калди оставил нас, и тут же веселому щебетанию Розы Фердинандовны пришел конец.

— Не люблю я этого человека, — серьезно сказала она, — и не хотела при нем говорить о делах. Кичится тем, что он венгр, а сам продался за тарелку чечевицы русской бабе, которую не любит, и занимается тем, что подыскивает себе любовниц среди дочерей бывших богачей. И в политике он какой-то двуликий. На словах — контрреволюционер, а всем хорошо известно, что он в хороших отношениях с местными властями. Не будем о нем больше говорить... Если бы вы знали, как мне одиноко в этом городе... — Она вздохнула.

Но тут снова появился Калди. Увидев его, Роза Фердинандовна переменяла тему разговора.

— Надеюсь, вы зайдете к нам, — обратилась она ко мне, — и там обо всем спокойно поговорим. Давайте я напишу вам свой адрес. — Она подала мне адрес. — К сожалению, нужно идти. Муж уезжает вечерним поездом в Иркутск, а вещи еще не упакованы. Будьте добры, получите с меня. — Пока Калди подсчитывал, она снова обратилась ко мне: — Знаете что? Послезавтра воскресенье. Приходите вечером на чашку чая. Я буду одна, муж вернется только в середине будущей недели. Старики нам не помешают. Обещайте мне, что придете.

Я с удовольствием принял это приглашение.

Когда Роза Фердинандовна ушла, Калди подсел ко мне. Он рассказал, что Роза Фердинандовна, или, как зовут в Венгрии, Рожика, родилась в семье богатого венгерского еврея. До войны ее родители имели свою гостиницу, ресторан и кафе, в котором играл оркестр. Жили они тогда в Мишкольце. Детей в семье было много, но Рожика была единственной девочкой и, естественно, общей любимицей. Воспитывалась она в частном пепитском пансионе, там научилась играть на фортепьяно

и рисовать. По окончании пансиона поступила в университет и жила в Будапеште. Училась она превосходно. Много читала, часто ходила по театрам, на концерты, на художественные выставки. Она была влюблена в искусство. На второй год после начала войны, когда она приехала к родителям, они не отпустили ее в Будапешт.

— Кто знает, что принесет эта война, доченька, — сказал ей отец. — Оставайся-ка лучше дома.

В шестнадцатом году она познакомилась с одним русским пленным, который свободно жил в городе и лишь время от времени являлся к властям для регистрации. Звали его Абрам Львович Рыбников. Еще в восьмидесятых годах прошлого столетия его отец принимал участие в революционном движении и был сослан в Сибирь. Там он порвал с революционным движением, занялся торговлей мехами и скоро разбогател. Абрам Львович в студенческие годы примыкал к большевикам. Вначале он был активным членом большевистской партии и принимал участие в революции 1905 года, а после поражения революции некоторое время сидел в тюрьме. Потом его выпустили, но он все равно находился под надзором полицейских властей в Петербурге. Из партии он вышел, но поддерживал связь со старыми друзьями и кое-что делал для них. Против него снова было возбуждено уголовное дело, и он, чтобы избежать ареста, решил уехать за границу. До войны он жил то в Берлине, то в Вене, работая там в качестве торгового агента своего отца. Когда началась война, он, имея хорошие связи, получил разрешение от властей поселиться, как политический эмигрант, в небольшом венгерском городке. Так он попал в Мишкольц, где у него были знакомые по работе. Повенгерски он не говорил, зато немецким языком владел безупречно.

Первое время Рыбников жил в гостинице, принадлежащей родителям Рожики, и чуть ли не ежедневно бывал у них в гостях. Через несколько месяцев, влюбившись в Рожикю, он сделал ей предложение.

Рожика не была влюблена в Рыбникова, но под влиянием романтического ореола политического эмигранта и его передовых взглядов, которых не было и в помине у местных молодых людей, она согласилась.

Осенью 1915 года они поженились и жили в мире и согласии.

В девятнадцатом году, когда в Венгрии была провозглашена Советская республика, оживили старые революционные идеи Рыбникова. Он предложил свои услуги Советской власти и стал одним из самых активных организаторов революционного движения среди русских военнопленных в Венгрии. Падение республики разочаровало его, и он замкнулся в семейной жизни. При диктатуре Хорти оставаться в Венгрии он, разумеет-

ся, не мог, но, к счастью, у него сохранились его старые документы. Как политическому беженцу, ему удалось через нейтральную миссию получить разрешение на выезд из страны вместе с женой. В Вене у него были большие деньги, а достать необходимые документы для выезда в Америку оказалось нетрудно. Из Америки он морем попал в Японию, а оттуда во Владивосток, затем в Читу, бывшую в то время столицей Дальневосточной республики.

— Вот уже два года они живут здесь, — закончил свой рассказ Калди. — Теперь Рыбников с отцом торгует мехами. Роза Фердинандовна занимается домашним хозяйством, скучает и мечтает вернуться в Венгрию.

Тоска по родине

С нетерпением ждал я воскресенья. Интересно, как живет здесь Роза Фердинандовна, оторванная от родной земли?

Она сама открыла мне дверь и любезно пригласила в дом. По лицу ее было видно, что она рада мне.

— Как хорошо, что вы пришли! Я так боялась, что вас что-нибудь задержит. Знаю я вас, мужчин. Всегда у вас тысячи всевозможных дел, всегда вы куда-то торопитесь, только вот жить все не успеваете. Но все хорошо, вы здесь. Прощаю вам все прошлые и будущие ваши грехи.

Она провела меня в богато обставленную комнату, усадила в удобное мягкое кресло у маленького столика на колесиках, а сама села напротив и предложила мне сигарету.

Мы были одни. Оказалось, что старики куда-то приглашены и ушли, а вернуться только поздно вечером.

— И нам никто не помешает разговаривать по-венгерски... Вы когда-нибудь бывали в Мишкольце?

Я ответил, что, к сожалению, в Мишкольце был всего один раз, да и то лишь проездом.

Розу Фердинандовну мой ответ несколько разочаровал.

— Жаль, — сказала она и на миг задумалась.

Через минуту она снова беззаботно щебетала, забрасывая меня вопросами до тех пор, пока не убедилась, что я уехал из Венгрии раньше ее и потому не могу рассказать ничего нового. Поняв это, она сама стала рассказывать.

Она говорила о Мишкольце, Будапеште, Балатоне, горах Матра. Я только слушал и, когда она умолкла, спросил, как ей живется здесь.

— Все хорошо у нас, — задумавшись, произнесла Роза Фердинандовна. — С мужем мы живем дружно, пожаловаться я не могу, у меня есть все, чего может пожелать женщина: любимый муж, беззаботная жизнь. Все есть... — И неожиданно она замолчала. Несколько минут в комнате стояла полная тишина. Вдохнув, Роза Фердинандовна нарушила ее:

— Все у меня есть, кроме одного — воздуха. Дорогого воздуха родины. Его мне очень не хватает. А без него, поверьте, дышится нелегко. Жить человек может везде, даже может быть счастливым, но эта жизнь все равно не та, что на родине.

Это было сказано так выразительно и печально, что я сразу не смог ей ответить, но Роза Фердинандовна, казалось, все и не ждала моего ответа. Она снова глубоко вздохнула, встала и молча подошла к роялю.

Защемило сердце от грустных венгерских песен: «Шляпа с лентами...», «Только одна девушка есть на свете...», «Обошел я все кладбище...»

Играла Роза Фердинандовна хорошо, с душой, и потихоньку подпевала.

Печальные песни сменились веселыми...

Я не узнавал Розу Фердинандовну. Она ли это? Передо мной была задорная венгерская девушка, любящая петь и танцевать. Наверное, такой и была Роза Фердинандовна на самом деле.

Неожиданно она перестала играть, опустила руки на колени. Лицо ее, только что такое молодое, сразу вдруг сделалось усталым и безразличным.

Я видел, что Роза Фердинандовна страдает. Да, далеко от родной земли занесло ее...

Через минуту передо мной была прежняя Роза Фердинандовна. От печали ее не осталось и следа. Улыбаясь, она пела один за другим легкие веселые куплеты, которые были в моде перед самой войной. Только пела она сначала веселые, а потом снова грустные песни. Тут был и «Старый цыган», и «Опавшие листья», и «Пишу письмо я».

Последнюю песню Роза Фердинандовна спела с особым чувством:

Чего еще писать тебе?
Я твоя рабыня, твоя раба,
Если ты не придешь,
Я умру в тоске.

Она вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась.

Мои попытки успокоить ее только растревожили старую рану.

Волна сочувствия и откровенной глубокой симпатии к этой рыдающей женщине захлестнула меня. Как успокоить ее? Я погладил ее по волосам, и она, словно ища у меня спасения, прильнула к моей груди. Но вдруг вырвалась и выбежала из комнаты. Через несколько минут Роза Фердинандовна вернулась, снова села за рояль.

Темнело, но огня не зажигали.

Вскоре пришли старики, простые милые люди. Чувствовалось, что они очень любят Розу Фердинандовну. Ко мне они отнеслись по-дружески.

Узнав, что Роза Фердинандовна еще не напоила меня чаем, старушка тотчас же распорядилась поставить самовар. Старик угостил меня коньяком и ликером. Мне ничего не оставалось, как сесть с ними за стол, есть, пить и вежливо поддерживать разговор. Старик говорил, что жизнь в Западной Европе лучше, чем здесь, люди там намного культурнее. Он знал по собственному опыту, потому что до войны побывал за границей. Правда, сейчас, по его мнению, гораздо безопаснее жить здесь, в Чите, где все есть и никто его не обижает, как в Европе, где люди никак не успокоятся после войны и не приведут в порядок свое хозяйство. Правда, большевики в Советской России быстрыми темпами и радикально хотят перестроить мир. Он их хорошо знает, потому что в молодости был на их стороне.

Роза Фердинандовна и я молча слушали рассказы старика, кивая время от времени ему, чтобы подтвердить, что он абсолютно прав.

Встречаясь несколько раз со взглядом Розы Фердинандовны, я читал в нем: «Вот видите, разве я была не права, что на родине...»

Когда я прощался, старик Рыбников взял с меня слово, что я зайду к ним еще раз, когда его сын будет дома. Старушка тоже просила меня заходить почаще, чтобы Розочке было с кем поболтать. Бедняжка все равно чувствует здесь себя не очень хорошо.

Роза Фердинандовна проводила меня до ворот, шепнув по-венгерски:

— Вечер был прекрасный, но, умоляю вас, больше никогда к нам не приходите.

Я поцеловал ей руку на прощание и заглянул в глаза.

На улицу я вышел с невеселыми мыслями. Домой не тянуло, хотелось побыть одному.

Идя по пустынным улицам города, невольно думал о судьбе Розы Фердинандовны и своей собственной. Потом я вспомнил, как говорили венгры-красноармейцы: «Домой поедем и наведем там порядок!» Да, надо ехать на родину, чтобы хоть что-нибудь сделать для нее.

Домой я вернулся около полуночи. Жена улыбалась во сне. Я осторожно поцеловал ее в лоб, потом наклонился над кроватью полугодовой дочурки. Она безмятежно спала, шевеля время от времени пухлыми губками. Я не стал ее целовать.

чтобы не потревожить сна. Потихоньку раздевшись, осторожно по лег, чтобы не разбудить жену.

С Розой Фердинандовной я больше не виделся.

Два счастливых человека.

Однажды Хофбауэры пригласили нас с Катей к себе на ужин. Кроме нас была еще одна супружеская пара: Алексей Осипович Верхотуров, старик лет восьмидесяти, и его жена — Надежда Серафимовна, молодая женщина лет не более двадцати трех.

На вид старику было не больше шестидесяти: на лице — ни морщинки. Веселый и свежий, он отличался большим аппетитом, пил вино и был душой всей компании, рассказывал одну историю за другой, шутил с молодыми женщинами, говорил им комплименты.

Мы с Хофбауэром сидели на другом конце стола, и он рассказал мне историю жизни этого человека.

Верхотуров был очень богатым человеком, не из той, однако, категории людей, для которых деньги являются источником благосостояния и лени. В молодости он, закончив институт, получил диплом горного инженера. На основании научных предположений Верхотуров-сын пришел к выводу, что в Восточной Сибири должны быть богатые залежи золота. Охваченный идеей найти месторождения золота, он на свои средства проводил геологические поиски. Его усилия не были напрасны: в нескольких сотнях километров к северу от Читы были найдены богатые россыпи золота. Все свое время и энергию он вложил в это предприятие и через несколько лет стал хозяином золотых приисков.

Жена его, имевшая большое состояние, жила с двумя детьми в Петрограде. Поняв, что ее муж одержим идеей найти золото, она возбудила дело о разводе и, выиграв его, уехала с детьми за границу. Верхотуров окончательно переселился в Читу, посвятив себя своему делу.

После свершения Октябрьской революции с Верхотуровым ничего не произошло, так как рабочие, жившие в Чите и ее окрестностях, хорошо знали его и, несмотря на буржуазное прошлое, уважали. Но прииски у него, разумеется, отобрали. Машины, разобранные на части, несколько лет валялись в Иркутске на складе.

Верхотуров в то время безвыездно жил в Чите, но никто о нем ничего не слышал ни при большевиках, ни при семеновцах, ни в первые месяцы существования Дальневосточной республики.

Весной 1921 года, когда большевистское большинство в правительстве Дальневосточной республики достаточно окреп-

ло, Верхотуров явился в здание, где работало правительство и попросил главу правительства принять его.

— Я пришел, — сказал старик, — чтобы сделать вам одно рациональное предложение. Вы наверняка знаете, кто я такой, тем более кем был до революции. Мои золотые прииски, стоящие несколько миллионов, полетели на воздух, машины разобрали и увезли. Мне скоро стукнет восемьдесят. Недалек тот день, когда я отправлюсь в путь, куда с собой не берут ни золота, ни денег. На оставшиеся годы у меня есть все, что нужно. Но сердце мое обливается кровью, когда я думаю о том, что дело, которому я посвятил всю свою жизнь, никому не даст пользы и попусту гибнут огромные богатства, в которых так нуждается страна. Если вам удастся разыскать увезенное оборудование и привезти его на прииски, я за самое скромное вознаграждение или даже бесплатно пушу прииски в работу. Подумайте хорошенько над моим предложением.

Премьер пожал Верхотурову руку и обещал подумать над его предложением.

Не прошло и года, как прииски Верхотурова снова заработали.

Старик так оживился, что вскоре после пуска приисков женился на молоденькой девушке, которая и сидит теперь рядом с ним.

— И можете мне поверить, — продолжал Хофбауэр, — живут они, как голубки. И девушка вышла за него не из-за денег, как думают некоторые. Она смотрит на своего мужа, как на бога, и только слепой может не заметить, что они счастливы. Хотел бы я, чтобы меня, когда мне будет столько же лет, как Верхотурову, так же любила моя жена.

Я взглянул на Верхотуровых. Он что-то рассказывал, и Надежда Серафимовна ловила каждое слово своего мужа.

Людвиг Казимирович строит дом

В воскресенье к нам неожиданно пожаловал Людвиг Казимирович. После роспуска удинского реального училища он остался без работы и, не найдя в городе ничего для себя подходящего, переехал в Читу, считая, что здесь ему будет легче устроиться. Он попросил меня помочь ему в этом деле.

Нашему трибуналу как раз требовался грамотный делопроизводитель. На следующий день я поговорил с председателем суда. Ему Людвиг Казимирович понравился, его сразу взяли на работу.

За несколько недель все сотрудники ревтрибунала полюбили Людвиг Казимировича. Он прекрасно справлялся со своей работой. Как-то я зашел в канцелярию и разговорился с ним. Он рассказал, что живет с женой и ребенком в железнодорожном поселке на станции Чита-I, где ему дали небольшой

участок и он построил домик. Сначала он снимал компатушку у одного машиниста по соседству, а теперь вот принялся за строительство.

— И у вас есть деньги на покупку строительных материалов и на оплату рабочих? — удивился я.

— Дом я строю из недорогого материала, а рабочий работает в долг.

— Где же вы нашли такого рабочего?

— А мне и не пришлось его искать, он сам нашелся. Это я сам. Плату за свой труд я получу тогда, когда переселюсь с женой и ребенком в новый дом. Конечно, все это звучит несколько странно. Но приходите к нам в воскресенье, Андрей Александрович, и вы сами увидите, как можно из ничего построить дом.

В ближайшее воскресенье я поехал на станцию Чита-I. Было около десяти утра, а Людвиг Казимирович уже работал вовсю.

— Здравствуйте, Андрей Александрович! Идите, идите сюда, я покажу вам свой дворец.

— Очень любопытно. Жаль только, что оторву вас от работы, — отвечал я.

— Ничего. Вы же знаете русскую поговорку: работа не волк, в лес не убежит. Я и так уже четыре часа работаю, не грех и передохнуть немножко. Работать еще много надо, до вечера.

Строительная техника Людвиг Казимировича заинтересовала меня. Несколько бревен образовали фундамент будущего дома и его каркас, сам дом был обшит листами фанеры с двух сторон, промежутки между которыми засыпали песком и бумагой. Образовалось помещение четырехугольной формы размером шесть метров на шесть с высотой стен четыре метра. Три стены из четырех были уже готовы, не было только оконных рам и потолка.

— Ну как, нравится?

— Гениально, — проговорил я. — Неужели эти стены не будут пропускать холод?

— Я даже уверен в этом. В таком домике будет теплее, чем в кирпичном или бревенчатом. Посреди комнаты, разумеется, будет большая русская печь. Ну, я думаю, пора зайти к нам, там потеплее.

Жена Людвиг Казимировича, Дора Генриховна, красивая светловолосая полька (ее я видел в первый раз), показала мне четырехлетнего сынишку и пригласила к столу. Людвиг Казимирович принес бутылку водки и наполнил стопки. Чокнувшись, он сказал:

— Высьем за то, чтобы у каждой семьи как можно быстрее был свой теплый и просторный домик.

Дора Генриховна принесла горячие щи и присоединилась к нам.

Разговор за обедом, разумеется, шел о доме, который строил хозяин.

Я поинтересовался, когда Людвиг Казимирович думает закончить строительство своего нового жилища.

— Ежедневно я работаю здесь четыре часа. Два часа утром, прежде чем идти в канцелярию, и два вечером, после службы. Не считая, разумеется, выходных дней и праздников. Это прекрасная физическая нагрузка, должен вам сказать. Поработаешь вот так, а потом с таким аппетитом ешь, что просто чудо. Это лучшее средство от язвы желудка. Работа, правда, идет не очень споро. Вот уже два месяца работаю, а до конца еще далеко. Но к пасхе все же думаю закончить, и тогда переберемся в него. Внутренняя отделка еще не будет готова, но самое главное, что над головой будет своя крыша.

За вторым разговор зашел о средствах, необходимых для строительства.

— Я понимаю, Людвиг Казимирович, что строительство дома своими средствами обходится значительно дешевле, но все же ни фанеру, ни бревна никто вам даром не даст, черт возьми, не говоря уже о кирпиче для печи, об оконных рамах и стекле. Откуда у вас такие деньги?

— Уверяю вас, Андрей Александрович, ничего в этом нет. Деньги на строительство я получил вовсе не от черта, а от ангела. Вы, конечно, не верите, что на земле существуют ангелы, но вы ошибаетесь. Этот ангел сидит рядом со мной, и зовут его Дорой Генриховной. Короче говоря, все строительство финансирует она. Откуда у нее деньги? Она их зарабатывает, и должен сказать вам, работает не меньше меня. Она у меня хорошая портниха, и у нее много заказов. Предлагаю тост за здоровье моего денежного ангела!

Дора Генриховна покраснела, а потом обратилась ко мне:

— Правда, какой взбалмошный человек мой муж? Но сердце у него доброе, и он всегда весел. Вот за это я его и люблю.

После обеда я стал прощаться. Людвиг Казимирович, несмотря на мои протесты, проводил меня до станции. По дороге он сказал:

— На свете, Андрей Александрович, бывают самые различные люди. Одни из них поклоняются деньгам; другие — власти и славе; третьи стараются покорить как можно больше женских сердец. У меня же таких желаний нет. Жена у меня хорошая, прекрасный ребенок, скоро будет еще один. Зарабатываем мы с женой столько, сколько нам нужно. Сейчас вот построим дом. А что еще человеку нужно? Только одно: мир! А я верю в то, что он будет. В России, говорят, дела пошли на лад. Пусть люди живут и другим дают жить, по-моему, это

самая мудрая философия. И я могу только приветствовать большевиков за то, что они постигли эту истину.

Когда мы пришли на станцию, поезд уже стоял на перроне. Это было очень кстати: мне не очень хотелось читать Людвигу Казимировичу лекцию о смысле жизни.

«Странный человек этот Людвиг Казимирович, — думал я по дороге домой. — Откровенный, умный, честный человек и в то же время в какой-то степени не лишен мещанских взглядов на жизнь. Ничего не видит дальше своего носа».

Придя домой, я рассказал Кате о нашем разговоре с Людвигом Казимировичем.

— Думаю, что его со временем постигнет разочарование. Он понимает, что является инородным телом в этом новом мире, но все же строит себе карточный домик и думает, что со временем мир приспособится к нему и не сметет его. Но когда он поймет, что здесь идет строительство социализма, который со временем вытеснит из себя все инородное, это будет для него настоящей трагедией. И тогда наш друг или ополчится против чужого ему мира, или покорится и всю жизнь будет чувствовать себя несчастным.

Катя покачала головой:

— Я думаю, в отношении будущего ошибается не он один, по ты тоже. Людвиг Казимирович не станет бунтовать, несчастным он тоже не будет. Он проживет здесь, пока сможет, а когда поймет, что ему здесь не место, он вернется в Польшу.

Жена оказалась права: через несколько лет, когда мы уже жили в Москве, Людвиг Казимирович действительно уехал на родину.

По дороге в Польшу репатриированные на несколько дней задержались в Москве. Людвиг Казимирович разыскал нас там.

— Наконец вы решились вернуться на родину? — спросил я старика за чаем.

Людвиг Казимирович запротестовал:

— Насколько я помню, дорогой, я вам никогда не говорил, что не вернусь на родину. Я всегда говорил, что это будет зависеть от обстоятельств. Не подумайте, что я уезжаю отсюда по политическим соображениям. Я никогда не был противником Советской власти, но я живу, тут господствовать будет дух коллективизма и потому таким индивидуалистам, как мне, здесь нет места.

Людвиг Казимирович ошибался, и эта ошибка дорого стоила ему. После стольких лет, прожитых в Советской России, атмосфера режима Пилсудского оказалась для него полностью неприемлемой. Он, который всю свою жизнь старался спрятаться от действительной жизни за ширму беспартийности и

аполитичности, в преклонном возрасте заинтересовался все же политикой. Я узнал потом от его земляка, что активным революционером он не стал, но довольно громко высказывал свое недовольство и возмущение, и в тридцать втором году его арестовали и приговорили к пяти годам тюремного заключения. Как он вынес этот приговор и что стало с его семьей, я так никогда и не узнал.

V. СОВЕТСКИЙ СУД

Перестройка ревтрибунала

Читинский ревтрибунал просуществовал недолго. Не прошло и трех месяцев со дня самороспуска Дальневосточной республики и создания революционных трибуналов по образцу Советского Союза, который образовался в декабре 1922 года путем объединения четырех огромных республик. Одновременно была проведена и судебная реформа. Революционные трибуналы были упразднены и восстановлены губернские суды.

Революционный трибунал был политическим карающим судебным органом, который не занимался разбирательством гражданских дел: губернские же суды делились на суды по уголовным и гражданским делам.

Революционные трибуналы были исключительными уголовными судами первой инстанции, в которых рассматривались дела большой политической важности. Губернские суды были судами первой инстанции большой важности как по уголовным, так и по гражданским делам, а также одновременно являлись кассационными судами по уголовным и гражданским делам, мелкие дела рассматривались в народных судах.

Революционный трибунал состоял из трех человек, которые были по профессии судьями, члены ревтрибунала были постоянными; губернский суд в составе трех своих членов рассматривал исключительно кассационные дела. Когда же он выступал в роли суда первой инстанции, тогда профессиональным судьей был только председатель суда, а два других члена суда выбирались из населения и назывались заседателями.

Революционные трибуналы разбирали только политические дела. Убийства рассматривались в ревтрибуналах лишь в том случае, если это были политические убийства, а также дела о вооруженном бандитизме, что в то время в Дальневосточной республике было делом не таким уж редким и потому для общества не менее опасным, чем политические преступления.

Обычные убийства — с целью ограбления, из мести, ревности и тому подобное — рассматривались в народных судах, состоящих из трех человек, один из которых был профессиональным юристом и два других — народные заседатели. По-

новому положению дело о любом убийстве, как наиболее тяжелом уголовном преступлении, было подсудно губернскому суду, народные суды рассматривали незначительные дела. Это означало, что совет народных судей поступающие в производство дела по мелким преступлениям передавал в народный суд, а все дела об убийствах — в губернский суд. Поскольку на территории губернии действовало несколько таких советов народных судей, мы заранее рассчитывали, что у нас будет очень много дел об убийствах. И когда товарищ Терентьев, председатель уголовной части, на одном из организационных заседаний сообщил нам, что передача дел советам народных судей об убийствах по не политическим мотивам закончилась, а число их достигло шестисот сорока двух, у нас мороз пошел по коже. Поскольку у нас было три суда первой инстанции (председателем одного был я, другого — Бычати и третьего — Демидов), все дела об убийствах были поделены на три равные части, и каждому из нас досталось по двести четырнадцать дел.

— Я не устанавливаю вам сроков для рассмотрения этих дел, — сказал Терентьев. — Каждый из вас до следующего организационного совещания рассмотрит столько дел, сколько сможет, и на следующем совещании доложит.

Наступили тяжелые недели. Мы не могли не разбирать дел, слушание которых было назначено заранее, и потому знакомились со вновь полученными к производству делами в свободное время, а его почти не было. Три недели подряд мы спали мало, но материал был интересный, и мы почти не отрывались от чтения дел.

Изучение полученных мною дел и прослушивание докладов по другим делам свидетельствовало о таком прискорбном факте, что за четыре года мировой войны и последующие годы гражданской войны жизнь человеческая стала дешевле, чем это было на Дальнем Востоке. До этого я думал, что убийства совершаются только под воздействием сильных страстей. В то время причиной большинства убийств была не месть, не ревность и даже не желание обогатиться за счет убитого. Чаще всего побудительными мотивами для убийства служили мелкие дразги и споры.

Вот несколько примеров.

Два наборщика из Читы на пасху, будучи в нетрезвом состоянии, поссорились. Сначала заспорили, кто из них лучший наборщик. Слово за слово, оба разгорячились, а потом один выхватил из кармана перочинный нож и пырнул им другого.

Два демобилизованных солдата, из одного села, несколько дней бродили в городе в поисках работы. Были они плохо одеты, но один из них имел новые сапоги. Чтобы завладеть сапогами, один солдат зарезал другого.

У одного паровозного машиниста от тифа умерла жена, оставив четырехлетнюю дочку. Не зная, куда девать девочку на

время трехдневного дежурства, отец однажды взял ее с собой на паровоз, и, пока он бросал в топку дрова, девочка играла рядом. Когда паровоз тронулся, девочка упала на рельсы и попала под колеса.

Подобных случаев было очень много.

Вставал вопрос, правомерно ли при судебном разбирательстве подобных дел выносить обвиняемому смертный приговор¹. Я считал, что этот вопрос еще не решен. Ведь это факт, что большинство убийств совершалось не профессиональными преступниками, а обыкновенными людьми, под воздействием жизненных затруднений, вызванных мировой и гражданской войнами. Совершались они по мелким причинам, и потому вынесение смертного приговора по этим делам было необоснованным. Совершившие такого рода убийства люди не были полностью потеряны для общества. В будущем они не представляли опасности ни для государства, ни для общества, и не было сомнений в том, что несколько лет лишения свободы с использованием на полезных работах могло превратить этих людей (за очень небольшим исключением) в граждан, полезных для пролетарского государства. А вынесение по отношению к ним смертных приговоров только увеличивало и без того значительную потерю в людях.

Изучение материалов дела, протоколов допроса показало, что необходимо укрепить кадры следственных работников. Большинство протоколов допросов было написано карандашом и часто небрежно. Использовались для этого не чистая бумага, а зачастую исписанные ранее листы. И пока такая бумага доходила к нам, прочесть ее было просто невозможно.

В большинстве случаев все «следствие» заключалось в том, что следственные работники устанавливали факт убийства, производили осмотр трупа и возбуждали уголовное дело против «неизвестного преступника». А через некоторое время докладывали, что следствие было безрезультатным.

Что же касалось работы следственных органов, когда был известен преступник или преступники, или было лицо, на которое падало «основательное подозрение», то и там их работа была очень слабой. Полностью раскрытых дел было немного. Большинство дел, после безрезультатных розысков и следствия, которые иногда велись по нескольку месяцев, а то и лет, не обнаружив преступника, приходилось прекращать.

Были и такие дела, по которым следствие велось без нарушения установленных правил и безрезультатно, но они требовали дорасследования. Из шестисот сорока двух дел об убийстве всего лишь сто дел находилось в таком состоянии, что их

¹ Согласно советскому уголовному кодексу вынесение смертного приговора предусматривалось только за совершение политических преступлений. По другим делам самой строгой мерой наказания было десять лет тюремного заключения. — *Прим. венг. изд.*

можно было разобрать в судебном заседании. Эти дела поделили между нами (сам Терентьев тоже председательствовал в суде), на каждого пришлось дел по двадцать пять — тридцать, и их за два-три месяца нужно было разобрать, имея огромное количество других дел.

В суде второй инстанции

Однажды меня вызвал к себе товарищ Терентьев и сообщил, что при губернском суде организуется кассационный совет по уголовным делам, состоящий из трех человек. Председателем совета назначен Казимирский, а членами — Петров, которого только что назначили к нам судьей, и я.

Казимирский отнесся к выполнению своих новых обязанностей с максимумом лояльности.

Товарищ Петров, третий член суда, до этого был рабочим в читинских железнодорожных мастерских. В суд его направила партия, с тем чтобы в составе кассационного суда был рабочий. Когда Петров спросил у секретаря губкома, что он должен делать на новом месте, секретарь дал ему такой совет:

— На заседании смотри в оба и как следует слушай, а когда товарищ Шик поднимет руку, то тоже поднимай.

Товарищ Петров безукоризненно следовал этому совету, и все шло как нужно. Партийные и советские органы могли быть спокойны: кассационный совет читинского суда строго стоял на страже интересов революции.

Однако не обходилось и без курьезных случаев. Некоторые из них я помню до сих пор.

Вагон-ресторан экспресса Москва — Чита арендовал один нэпман. По-видимому, доход нэпмана от этого вагона был не ахти каким, потому что нэпманы платили налоги за аренду. Тогда он решил подработать на контрабандном провозе золота и серебра. В Чите в период существования Дальневосточной республики и после в официальном обращении были золотые и серебряные деньги. Все старались как можно больше скопить для себя таких денег. В Советской России в обращении были только бумажные деньги. Закон запрещал здесь хранить у себя золотые и серебряные деньги; которые давно должны быть сданы в государственный банк. Однако, несмотря на это, существовала черная валютная биржа, где продавались царские серебряные и золотые деньги по самому различному курсу, не совпадающему с официальным. В Чите за царский серебряный рубль платили девятью пять (золотых) копеек. В Москве же серебряные деньги ценились дешевле, за них давали примерно в два раза меньше. А это значило, что в Москве за тысячу золотых рублей можно было получить две тысячи серебряных, а за них в Чите давали одну тысячу девятьсот золотых рублей. Вложив свои деньги в столь выгодное предприятие, арендатор ва-

гоп-ресторана Москва — Чита за одну поездку в два конца чуть ли не удваивал свое состояние.

Не знаю, сколько ему удалось, несмотря на строжайший контроль, сделать таких доходных поездок, но он все-таки попался. Провалился один его соучастник и, трясаясь за свою шкуру, выдал коллегу. Нэпман в это время как раз пахотился на пути в Читу. В Чите его арестовали и, найдя при нем целый мешок серебряных рублей, тут же их конфисковали. Суд первой инстанции приговорил спекулянта валютой к штрафу в пять тысяч золотых рублей.

На заседании кассационного суда представитель защиты, ссылаясь на то, что на территории Дальневосточной республики закон не воспрещает собирать золотые и серебряные деньги, просил оправдать подзащитного и возвратить ему конфискованные деньги.

Когда мы шли на совещание для вынесения приговора по этому делу, я заметил, что лицо у Казимирского нервно дергается.

— В тяжелое положение мы попали с этим делом, — сказал он. — Государство не может оставлять безнаказанными такие крупные спекуляции. Спекулянта нужно бы запрятать в тюрьму, а деньги конфисковать на общественное благо, но если придерживаться буквы закона, то адвокат абсолютно прав. Что же нам теперь делать?

Старик так разволновался, что то и дело вытирал пот с лица платком.

Мне стало жаль доброго Казимирского.

— Решить это дело, по-моему, можно просто, — сказал я. — Думаю, решение суда первой инстанции будет обязательно неправильным.

Старик с удивлением посмотрел на меня и даже открыл рот от удивления: как это я, коммунист, не одобряю осуждения спекулянта.

— Приговор несправедлив хотя бы уже потому, что суд был не полномочен.

— Как так? — удивился старик.

— А очень просто. Согласно процессуальному кодексу любое уголовное дело должно разбираться местным судом, на территории которого совершено преступление. По данному делу обвиняемый совершал преступление вдоль железнодорожной магистрали Москва — Чита. На этой магистрали более девяти десятых территории принадлежит Советскому государству, где действуют свои законы, а не законы Дальневосточной республики. На основании этого дело это подсудно тамошнему суду. Нам ничего не остается, как отменить приговор суда первой инстанции и все дело по причине некомпетенции суда через Верховный суд Дальнего Востока передать в Москву, в Верховный Суд, а уж там решат, какой суд займется этим.

И другой случай. Однажды пограничники задержали недалеко от государственной границы матерего контрабандиста, который пытался перевезти в Монголию два мешка золотых и серебряных вещей. Все это было конфисковано в пользу государства, контрабандиста арестовали и передали прокурору. Суд первой инстанции, опираясь на требование прокурора, приговорил обвиняемого, который оказался богатым купцом, к одному году тюремного заключения и денежному штрафу в размере десяти тысяч золотых рублей.

Адвокатом по этому делу выступал известный меньшевик Шапиро, который, отступив от сути дела, сначала долго говорил о несправедливости законов царского режима, потом пропел дифирамб революции, которая смела царизм вместе с его законами, утвердив на их месте свободу и справедливость. И уже только после этого он перешел к сути дела. Он сказал, что царский закон впервые ввел запрет на вывоз золота и серебра за границу. Так может ли суд в стране свободы и революции судить человека по проклятым законам царизма и лишать его собственности.

Закончив свою речь и скрестив руки на груди, адвокат стоял перед нами с видом Наполеона, только что выигравшего сражение. Он был уверен в успехе.

И так думал не один он. Старик Казимирский готов был согласиться с ним.

— Этот процесс еще труднее предыдущего, — заметил он. — Здесь не может быть и речи о некомпетентности суда. Правда, в Дальневосточной республике нет такого положения, по которому все царские законы признавались бы недействительными, но, принимая во внимание новое революционное законодательство, мы обязаны доказать их недействительность.

— Насколько мне известно, после провозглашения Дальневосточной республики ее правительство первым делом торжественно заявило о недействительности всех старых, и не только царских законов, распоряжений и правил, которые наносят ущерб или угрожают революционному правопорядку, или противоречат ему. Запрет вывоза золота и серебра не наносит никакого ущерба революционному правопорядку. Напротив, отмена этого закона вредна. Он не противоречит законам Дальневосточной республики, так как закона, который разрешал бы вывозить ценности за границу, здесь издано не было. Отсюда следует, что решение суда первой инстанции, несмотря на красивую, но пустую речь адвоката, нужно оставить в силе.

Казимирский снова полез в карман за носовым платком.

— Понимаю, — проговорил он, вытирая вспотевший лоб. — Но адвокат Шапиро вряд ли согласится с такой мотивировкой.

— Это уж его дело, — заметил я. — Особенно если учесть, что в случае оправдания обвиняемого он получит повышенный гонорар.

Казимирский ничего не сказал и подписал приговор.

Расскажу еще об одном кассационном деле, которое можно было бы назвать «Историей одной пощечины».

Товарищ Рухимович, старый член партии, работал зубным врачом. Он принимал участие в революционных событиях 1905 года. В период между двумя революциями он неоднократно сидел в тюрьме. В семнадцатом и восемнадцатом годах снова с оружием в руках отстаивал дело революции. При Семенове он сменил фамилию и ушел в подполье, но его схватили и, хотя не смогли установить личности, приговорили к расстрелу. Но тут ему просто повезло: семеновскому режиму пришел конец, и притом так неожиданно, что белые даже не успели привести приговор в исполнение. Рухимович остался в живых, вышел на свободу и под своей настоящей фамилией стал лечить пациентов.

Однажды с ним произошел необычный случай. В одном из своих пациентов он узнал бывшего семеновского офицера, который в свое время допрашивал его.

Рухимович уже знал, что бывший офицер спокойно ходит на свободе, и побывал у прокурора, в органах госбезопасности, в парткоме, просил, чтобы с этим офицером как следует разобрались, но ему всегда отвечали, что дело бывшего офицера уже разбиралось в суде, он был осужден, но потом освобожден по амнистии. И Рухимович ничего не добился.

И вот теперь настал долгожданный час расплаты. Пациент, сидя в кресле, даже не подозревал, что перед ним один из его бывших узников — большевиков, и спокойно ждал, когда врач начнет лечить ему зуб, но тот вместо лечения отвесил пациенту две звонкие оплеухи. Потом, словно ничего не случилось, подошел к двери и, распахнув ее, вежливо произнес:

— До свидания, господин старший лейтенант!

Бывший офицер подал на Рухимовича в суд за оскорбление и нанесение мелких телесных повреждений. Совет народных судов (дело разбиралось в период существования Дальневосточной республики) на основании действующих законов приговорил зубного врача к двум месяцам тюремного заключения и пятистам рублям штрафа, обязав выплатить пострадавшему на «лечение» триста рублей.

Кассационное заявление Рухимовича, поскольку в это время произошла судебная реформа, попало на рассмотрение к нам.

Подсудимый просил помиловать его, ссылаясь при этом на параграф шестой уголовного кодекса. Он считал, что не только не совершил уголовного преступления и не нарушил революционного правопорядка, а, напротив, выступил в защиту его чести. В своем заявлении доктор подробно описал всю вину своего пациента.

Дела подобного рода мы разбирали при открытых дверях.

Разумеется, Казимирский считал приговор суда первой инстанции вполне законным.

— Я считаю, что здесь идет речь не столько об оскорблении отдельной личности, сколько о чести и авторитете суда, — заявил он. — Если преступник, совершивший уголовное преступление, подпадает под статью о помиловании, то, независимо от того, правится это кому-то или не правится, никто не имеет права заниматься самосудом. Полагаю, что решение суда надо оставить в силе.

Я несколько смутился. Как объяснить этому «законнику», что закон законом, а революционная юстиция не может посадить за решетку и присудить к крупному денежному штрафу Рухимовича, который, рискуя своей жизнью, боролся и страдал за дело революции, и присудить только за то, что он, поддавшись чувству законного возмущения, отвесил две оплеухи мерзавцу-контрреволюционеру, который, будучи белым офицером, издевался над многими нашими товарищами, попавшими к нему в лапы.

Тут во мне нарушилось равновесие между коммунистическим сознанием и законом в пользу первого.

— Послушайте меня, Ян Станиславович, — обратился я к старику. — Вас сажали в тюрьму за революционные идеи?

— Но прошу вас... — попытался ответить старик.

— Вас приговаривали когда-нибудь к расстрелу контрреволюционеры? — не успокаивался я.

Старик только таращил на меня глаза.

— Вы уже встречались с глазу на глаз с человеком, который мучил вас, издевался над вами и которого, несмотря на это, преспокойно выпустили на свободу?

— Я... я... — запинаясь старик, перепугавшись.

— Нет, значит, — продолжал я, понизив голос. — Тогда, товарищ Петров, будь добр, пиши решение, — обратился я к своему коллеге, который, как я видел по его глазам, с удовольствием слушал меня. — Губернский суд города Читы, как кассационный суд, рассмотрев на своем заседании приговор суда первой инстанции по настоящему делу, отменяет его, как не соответствующий духу революционного правопорядка. Учитывая тот факт, что подсудимый совершил преступление в состоянии понятного возмущения, суд постановляет от наказания его освободить... — Прошу вас, подпишите, — сказал я, подавая Казимирскому решение.

Старик без слова подписал его.

Меж двух огней

Работая в читинском губернском суде, я находился меж двух огней, испытывая давление товарища Терентьева с одной стороны и старика Казимирского — с другой.

Терентьев, как истинный партизан, и в решении судебных вопросов оставался партизаном. Не было в нашей практике такого приговора, который показался бы ему чересчур строгим. Председатель уголовного отдела по закону имел право опротестовать любой приговор в Верховном суде, если находил, что приговор был вынесен с нарушением закона. Товарищ Терентьев из каждых десяти вынесенных нами приговоров опротестовывал, по крайней мере, четыре или пять.

Особые трудности в работе после проведения судебной реформы были вызваны положением об амнистии. Гражданская война окончилась. По всей Советской России восстанавливали хозяйство. Органы советской юстиции в своей работе руководствовались отнюдь не чувством мести, а гуманными принципами: изолировали от нового общества опасные для него элементы, уничтожили закоренелых преступников, на исправление которых не было никакой надежды. Руководствуясь принципом гуманизма, Верховный Совет республики издал указ об амнистии. Согласно этому указу бывшие белые офицеры, принимавшие участие в контрреволюционных действиях и организациях, которые в соответствии со статьями уголовного кодекса должны быть расстреляны, теперь подпадали под амнистию, приговаривались к расстрелу условно и освобождались из-под стражи, если они лично не принимали активного участия в убийствах, пытках и других террористических действиях. Если же бывший офицер, выпущенный согласно указу об амнистии на свободу, вновь совершал какое-нибудь преступление, наносящее вред обществу, его условный приговор о расстреле вступал в силу и приводился в исполнение.

Руководствуясь этим указом при разборе дел бывших офицеров из банды Семенова, мы часто выносили подсудимому смертный приговор условно, а затем сразу же выпускали его на свободу.

Товарищ Терентьев никак не мог примириться с таким положением.

— Дурак ты! — заявил он мне после вынесения такого приговора. — У тебя была возможность по всем правилам рыцарства отправить белых офицеров самым коротким путем в иной мир, а ты не воспользовался этим.

Довольно часто он опротестовывал вынесенные нами приговоры, но, разумеется, безрезультатно.

Это было давление с одной стороны, а с другой стороны я испытывал огонь старика Казимирского. И если Терентьев хотел действовать партизанскими методами, то Казимирский, несмотря на все свои старания оставаться лояльным по отношению к новому строю, никак не мог сбросить с себя старые одежды. Поэтому не удивительно, что спорам нашим не было ни конца ни края.

Существование таких споров лучше всего проиллюстрировать на

примере разбирательства дела одного нерчинского конокрада. Еще в годы существования Дальневосточной республики нерчинский народный суд приговорил этого крестьянского парня к десяти годам тюремного заключения. Преступление его заключалось в том, что летом девятнадцатого года, ночью, он угнал из загона одного казацкого отряда, входившего в банду атамана Семенова, около пятидесяти лошадей. Сторожа то ли заснули, то ли были пьяны, но факт остается фактом: обвиняемый спокойно угнал лошадей. Куда он дел лошадей, в деле ничего не говорилось. Обвиняемый утверждал, что он их продал, но материалы следствия этого не подтверждали. Адвокат подсудимого просил освободить своего подзащитного, который почти два года, сидя в читинской тюрьме, ел хлеб республики, а дело его только сейчас попало к нам на кассацию. Или, вернее говоря, попало бы к нам, если бы я еще до заседания не предложил это дело прекратить за отсутствием состава преступления.

— Как так прекратить? — удивился Ян Станиславович. — Я только бегло просмотрел дело, но заметил, что факт воровства установлен по всем правилам.

— Факт-то факт, — стоял я на своем, — парень действительно украл. Но у кого? У контрреволюционеров?

— Это так, — согласился со мной старик. — Но в данном случае это обстоятельство, по-моему, не меняет сути дела. Если бы преступник совершал это преступление с целью оказания помощи революции, тогда не могло быть и речи о том, чтобы революционный правопорядок наказал его за это. Но это не тот случай. Преступление было совершено из корыстных побуждений. Следовательно, налицо состав преступления, независимо от личности пострадавшего.

— Но, Ян Станиславович, ведь тогда шла война! Парень угнал у противника пятьдесят лошадей. Кого могут интересовать причины, побудившие его к краже, когда этим самым он ослабил противника и помог нашему общему делу? И вы хотите, чтобы мы его за это засудили? Его нужно не в тюрьму сажать, а поблагодарить. Очень печально, что он уже отсидел почти два года. Словом, я это дело прекращаю.

Ян Станиславович пожал плечами и перешел к рассмотрению следующего дела.

Бандиты

Сколько бы ни совершалось в то время преступлений на Дальнем Востоке, люди там были нисколько не хуже, чем где-нибудь в другом месте, все дело в том, что долгие годы войны оказали влияние на людей.

Наряду с массой, так сказать, случайных преступников и не такого уже малого числа политических преступников встречались в те времена и отъявленные негодяи, для которых гра-

беж и убийство стали профессией. Одним из наиболее опасных таких преступников был предводитель бандитской шайки Лефкович.

По профессии он был портным. Три года провел на фронте, где, видимо, и пришел к мысли, что насилие и грабеж более доходное занятие, чем шитье. После демобилизации в восемнадцатом году он не вернулся к старой профессии. Насколько нам удалось установить, при белых он занимался спекуляцией. Это, собственно, было в его биографии «честным» занятием. Мы подозревали, что и тогда он уже совершил не одно уголовное преступление. Вскоре после образования Дальневосточной республики Лефкович организовал банду вооруженных убийц, которая долгое время наводила ужас на жителей Читы и прилегающих к городу районов. Все свои преступления бандиты совершали по заранее разработанному плану. Не считая главаря, в банде насчитывалось десять человек. Каждый имел свое задание. Четверо бандитов занимались так называемым «мокрым» делом — убивали людей, которые попадались им на глаза на месте преступления. Главный принцип банды сформулировал сам Лефкович. Звучал он так: «Свидетели нам не нужны». Там, где появлялась эта банда, не оставалось живых. Четверо других бандитов собирали «добычу» и увозили. Для этого у них были две пароконные повозки, зимой — сани. Наконец, двое бандитов выполняли обязанности возчиков, они тоже были вооружены и стояли «на стреме», когда остальные члены банды «работали». Сам Лефкович организовывал все налеты и проверял их проведение.

В суде разбирались четыре или пять грабежей, во время которых бандитами было убито человек двадцать. В достоверности этих случаев сомневаться не приходилось. Сначала обвиняемые пытались все отрицать, но, убедившись в том, что это их не спасет, цинично признались в совершении преступлений.

Суд приговорил всех членов банды к расстрелу.

Привести смертный приговор в исполнение было нетрудно, но вот путь от вынесения этого приговора судом до момента приведения его в исполнение был долгим. Любой смертный приговор нужно было переслать в Верховный суд республики, который мог заменить расстрел десятью годами тюремного заключения. Если же Верховный суд республики оставлял приговор в силе, то все дело нужно было отослать в Москву, в Верховный Суд СССР, который, со своей стороны, мог оставить приговор в силе или смягчить его. Если Верховный Суд одобрял смертный приговор, дело приговоренного поступало в Президиум ВЦИК, который имел право помилования. Не удивительно, что при такой системе долгий и тернистый путь выдерживали далеко не все дела. Если ни один из Верховных судов не смягчал приговора, Председатель ВЦИК товарищ Калинин во многих случаях пользовался данным ему правом помилования.

Так, за год моей работы в суде, насколько я помню, в исполнение были приведены только два или три смертных приговора.

Дело о преступлении банды Лефковича было ясным, и мы нисколько не сомневались в том, что приговор бандитам пройдет все инстанции от Читы до Москвы без изменения, но порядок есть порядок. Закон нужно соблюдать и тогда, когда судят даже самого опасного убийцу. Дело Лефковича и его подручных также должно было пройти вышеописанный путь, а на практике это означало, что банды, приговоренные к смерти, получили отсрочку на несколько месяцев, которую, как выяснилось, они использовали.

Спустя два или три месяца после вынесения приговора по делу банды Лефковича я, разбирая только что полученные к производству дела, к огромному своему удивлению, вдруг обнаружил у себя на столе «Уголовное дело по обвинению Лефковича и его соучастников в совершении большого числа вооруженных грабежей и убийств».

Сначала я подумал, что произошло какое-то недоразумение, возможно, в канцелярии ошиблись и положили уже давно разобранный документ в число тех, которые только подлежали рассмотрению.

«Ну и бюрократия же у нас», — подумал я. Но, взяв дело в руки и полистав его, я убедился в том, что никакой ошибки тут нет. Речь шла о новом деле.

Так ко мне попало почти фантастическое уголовное дело из всех, которыми мне когда-либо приходилось заниматься: дело о тюремных бандитах, или «тюремных иванах». Так в ту пору называли подследственных арестованных или осужденных, которые сидели в сибирских тюрьмах, где они совершали новые уголовные преступления, часто несколько сразу.

Как можно совершить в тюрьме уголовное преступление, если за осужденным установлен строгий надзор, осуществляющийся вооруженными часовыми?

Все камеры в читинской тюрьме в то время были переполнены. В одной камере вместе сидели воры-карманники, растратчики, контрабандисты, спекулянты, убийцы, политические. Посадили, скажем, в такую камеру крупного служащего, растратившего большую сумму денег, или торговца, который занимался крупными контрабандными операциями. В камеру новеньких обычно сажали утром. Днем новенький, вероятно, даже удивляется, что преступники ведут себя прилично: по-дружески разговаривают друг с другом, знакомятся, интересуются, кто за что сидит, кем был на гражданке. Потом наступает вечер. Все ложатся на нары, новенький тоже. Свет в камере гаснет. И тут новенький замечает, как в темноте кто-то подкрадывается к нему.

— Быстро снимай сапоги! — шепчет ему на ухо кто-то.

Новенький садится на нарах, думая, что ему это присни-

лось во сне, но через мгновение он видит перед собой пару налитых кровью глаз и блестящее лезвие ножа, приставленное к груди.

— Снимай сапоги, или сейчас отправлю на тот свет!

Несчастный снимает сапоги и отдает их неизвестному.

Подобным же образом у него отнимают одежду, сорочку, обыскивают, не удалось ли ему пронести в камеру деньги или какие-нибудь драгоценности. Если же тот начнет сопротивляться, его будут колоть ножом, бить, топтать до тех пор, пока он не сдастся или не отдаст богу душу.

В тюрьме Лефкович и его подручные в течение нескольких месяцев «забавлялись» подобным образом.

Часовые не видели и не слышали, что происходит в камерах по ночам. На следующий день, сменившись с дежурства, они сами тащили на толкучку вещи, которые бандиты отобрали ночью у новичка. Вырученные от продажи деньги они делили с бандитами. У тюремного начальства тоже были всюду свои люди.

В ходе расследования по этому делу было установлено, что часто пострадавший попадал в тюремную больницу, но, вместо того чтобы разоблачить бандитов, боясь мести с их стороны, когда он снова попадет в камеру, заявлял, что никто его не бил, он сам пытался покончить жизнь самоубийством или просто подрался с кем-то.

Поэтому-то и получалось, что тюремные бандиты безнаказанно творили свое черное дело.

При разбирательстве этого дела председательствовал я. Допрос обвиняемых, как обычно, начинался с установления личности допрашиваемых.

Когда я, согласно установившемуся правилу, спросил Лефковича, имел ли он судимость, тот без колебания ответил «нет».

— Я вас спрашиваю, имели ли вы ранее судимость? — повторил я вопрос.

— Нет, — упрямо ответил бандит.

— вспомните, — проговорил я уже со злостью. — Разве по другому делу вы не привлекались к уголовной ответственности?

— Нет, — стоял на своем Лефкович.

— Лефкович, три месяца назад я вам в этом же зале зачитал смертный приговор!

Лефкович левой рукой схватился за голову.

— И правда! А я совсем забыл об этом!

Дело мы разобрали и вторично присудили всех членов банды к расстрелу.

Дружба с Яношем Гейне

Однажды, когда я был в суде, меня позвали к телефону. Звонил венгр, начальник отдела госбезопасности, с которым я познакомился еще в первые дни своего нахождения в Чите. Он

попросил меня зайти к нему на квартиру, потому что хотел поговорить со мной. Мы условились, что я зайду утром следующего дня.

Неожиданное приглашение встревожило меня. Знакомство наше было поверхностным, и я решил, что он приглашает меня к себе по какому-нибудь служебному делу. Но почему на квартиру?

По поручению председателя суда я в то время занимался одним щекотливым делом. В небольшом городишке, что находился неподалеку от маньчжурской границы, было совершено политическое убийство, которое оказалось связанным с крупными контрабандными операциями. Жертвой стал начальник местной милиции. В совершении этого убийства подозревали одного чекиста, а нити самого преступления вели в Читу. Приглашение Гейне почему-то показалось мне подозрительным. Может, и он замешан в этом деле?

Мне стало не по себе. Фантазия так разыгралась, что я подумал: может, меня хотят незаметно убрать?

На всякий случай ради безопасности я сунул в карман заряженный револьвер.

Гейне познакомил меня со своей женой, очень милой женщиной. Она была в положении и занималась шитьем детского приданого. И после этого сразу же объяснил, зачем пригласил меня. Поскольку я недавно вернулся из Москвы, мне наверняка известны условия приема в высшую школу. Его, правда, сейчас интересует не столько Москва, сколько Петроград, так как он хотел бы поступить учиться в технический институт, но положение в обеих столицах, видимо, в этом отношении одинаково.

Я с готовностью рассказал ему все, что знал.

Потом мы перешли к разговору на другую тему, пока его жена не пригласила нас к столу.

За чаем мы познакомились поближе. Янош и его жена оказались непосредственными, очаровательными людьми, каждое слово их, каждый взгляд говорили, что они любят друг друга и счастливы.

Я несколько раз дотрагивался до кармана, где лежал заряженный револьвер, и мне становилось стыдно.

Когда же жена Гейне вышла зачем-то из комнаты, я признался, с какими мыслями шел к нему. Гейне долго смеялся, а потом сказал, что это дело не имеет к его отделу никакого отношения. Они борются со спекуляциями. Делами же по борьбе с контрабандой занимается другой отдел.

— У них иногда случаются страшные вещи, — заметил он, — но нам строго-настрого запрещено вмешиваться в чужие дела.

В конце нашей беседы он дал мне такой совет: поскольку в этом деле замешан кто-то из органов госбезопасности, я по-

ступлю умнее, если буду проводить расследование самостоятельно и обращусь к ним за помощью только тогда, когда это будет крайне необходимо.

Расстались мы с Яношем, как хорошие друзья.

Я последовал совету Яноша. После долгого расследования мне удалось выяснить, что в деле этом был замешан один довольно крупный работник органов госбезопасности, которого сняли с должности.

VI. Я СОБИРАЮСЬ В МОСКВУ

Конкурс в красную профессиуру

В середине апреля я натолкнулся в газете на объявление о приеме в Институт красной профессуры. Вспомнил, как два года назад хотел поступить туда, а товарищ Ярославский написал мне: «Пройдет несколько лет, и настанет время, когда у нас будет возможность заниматься теорией, наукой...»

Сейчас я подумал, что время это уже настало. Я снова решил попытать свое счастье.

В объявлении подробно излагались условия приема в институт. Нужно было сдать четыре устных экзамена по следующим предметам: общая история, русская история, политическая экономия и философия. Чтобы поступающий в институт был допущен к экзаменам, он должен был прислать письменную диссертацию на избранную тему. К заявлению о приеме нужно было приложить план диссертации и рекомендацию губернского комитета партии. В случае утверждения темы диссертации в определенные сроки нужно было выслать в институт диссертацию. Затем поступающего вызывали в Москву на устные экзамены. Вызов института служил основанием для того, чтобы поступающего отпустили с работы.

Я решил подать заявление о приеме. Выбор темы для работы и конспективное изложение ее не представляли для меня трудности. Хуже обстояли дела с рекомендацией. Секретарь губернского комитета партии прямо заявил мне, что ни на какую учебу меня не отпустят, так как заменить меня некем. Когда же я обратился в губком партии с письменной просьбой, мне ответили отказом. Эту бумажку я приложил к своему заявлению о приеме в институт, решив, что она-то и будет для меня самой лучшей рекомендацией.

Вскоре я получил из Москвы телеграмму, в которой говорилось, что тема и план моей диссертации одобрены; указывался срок представления работы.

Мне было очень трудно писать диссертацию и готовиться к приемным экзаменам. С раннего утра до позднего вечера я пропадавал в суде. Лишь изредка днем выбирался часа на два в

библиотеку, но в основном готовиться к экзаменам приходилось по ночам. К тому же у нас была одна комната, что создавало целый ряд трудностей. Я не мог работать и не курить, а курить было нельзя, так как в этой же комнате спала дочка. Спала она беспокойно и почти каждую ночь подолгу плакала.

Видя все это, Катя решила уехать на несколько месяцев к матери в Удинск. Я согласился.

Ко мне переселяется Володя

За несколько дней до отъезда Кати к нам зашел Володя. Пожаловался, что ему негде жить. Рассказал, что вот уже несколько дней ищет комнату, но нигде ничего нет. Приходится спать в канцелярии на диване.

Катя предложила Володе переселиться к нам, пока он не найдет что-нибудь подходящее, конечно, при условии, что он не будет мне мешать. Володя был согласен на все. Я же успокаивал себя тем, что это ненадолго.

Пожив вместе с Володей, я лучше узнал его и еще больше полюбил.

Мы часто и подолгу разговаривали с ним перед сном. Однажды я рассказал ему, как ошибся в нем в свое время, решив, что он парень, который во что бы то ни стало хочет сделать себе карьеру.

— В основном я, наверно, порядочный человек, — серьезным тоном сказал Володя. — Но карьеру я действительно хотел сделать. Есть у меня одно страстное желание: стать летчиком. Видимо, это мое призвание. Мне кажется, что, став летчиком, я буду в десять раз полезнее родине, чем на любой другой работе. Авиационная техника развивается день ото дня. Три-четыре года назад я мог бы считать себя неплохим специалистом. Теперь же сильно отстал. Мне обязательно пужно поехать в Москву или Петроград и добиться, чтобы меня приняли в летную академию.

— Вот если осенью я попаду в Москву, обязательно помогу тебе, — ответил я.

Очистка тюрем

Работая днями и ночами, я написал диссертацию и в срок отослал ее в Москву. До экзаменов оставалось три месяца. Я рассчитывал выкроить себе в эти месяцы побольше свободного времени для учебы. Но человек планирует, а председатель суда распоряжается.

Товарищ Терентьев, узнав, что я отослал в Москву диссертацию и готовлюсь к вступительным экзаменам, заявил, что он покажет мне, книжной моли, где раки зимуют. Буквально на следующий день после этого он подписал распоряжение, со-

гласно которому я назначался председателем «комиссии по очистке тюрем». На практике это означало, что помимо выполнения служебных обязанностей мне, как председателю комиссии, вместе с двумя другими членами через день нужно было ходить в тюрьму и после обеда и до глубокой ночи знакомиться с делами ее обитателей.

Я хотел было поначалу протестовать, но как коммунист и солдат не мог позволить себе этого. К тому же новая работа была очень интересной.

Старик Сорочинский, который в первые два года существования Дальневосточной республики исполнял обязанности председателя читинского совета народных судов, не придерживался буквы закона. Законы и распоряжения, казалось, не существовали для него. Царских законов он не знал, а новые революционные законы, изданные в Москве, еще не успели дойти до Читы. Да советские законы и не распространялись тогда на наше буферное государство. Сорочинский в своей работе руководствовался не писаными законами, а своей революционной совестью, как он сам говорил. Все приговоры, которые он выносил, обычно начинались словами:

«Руководствуясь революционной совестью...»

Но поскольку революционная совесть не регламентируется никакими параграфами и статьями, руководствуясь которыми можно было бы определить наказание за то или иное преступление, Сорочинский не жалел годов тюремного заключения; менее пяти — десяти лет он вообще никому не давал. Он обычно приговаривал обвиняемого к десяти — двадцати годам тюремного заключения, а в «более серьезных» случаях даже к пятидесяти годам тюрьмы. Такими «серьезными случаями» были обычные уголовные преступления, совершенные гражданскими лицами. Основной принцип наказания Сорочинского заключался в том, что он был противником приговаривать к расстрелу гражданских лиц, даже если они были бандитами или убийцами. Смертный приговор, по его мнению, следовало выносить только контрреволюционерам. После же самороспуска Дальневосточной республики, когда и здесь стали руководствоваться гуманным советским уголовным кодексом, согласно которому самым строгим наказанием было лишение свободы сроком на десять лет, нам то и дело приходилось пересматривать дела осужденных на двадцать — тридцать, а то и на пятьдесят лет тюремного заключения и предлагать снизить преступнику срок наказания до десяти лет. Мы не имели права заменить тюремное заключение сроком на пятьдесят лет смертным приговором, потому что это считалось более строгой карой. Наша комиссия имела право либо утвердить ранее вынесенный приговор, либо предложить смягчить его.

Часто мы сталкивались с приговорами, от которых по телу бегали мурашки: выносились они по делам, которые не были

подсудными. Выносились они, правда, не Сорочинским, который занимался только крупными делами, а провинциальными народными судами.

Так, например, одного крестьянина-бурята приговорили к пяти годам тюремного заключения только за то, что «он хотел украсть лошадь». И случай этот произошел в местности, где конокрадство было обычным явлением. При разборе дела выяснилось, что бурят находился на лугу недалеко от пасущихся лошадей. Там его и задержали. Когда на допросе обвиняемого спросили, не намеревался ли он украсть лошадь, бурят пробурчал что-то. Мы взяли переводчика и стали разговаривать с бурятом. Оказалось, что несчастный в первый раз слышит, в чем его обвиняют.

Не раз нам приходилось беседовать с арестованными, которые просидели в тюрьме по два-три года, а то и больше (некоторых из них посадили за решетку еще при атамане Семенове) и содержались там как подследственные или обвиняемые, но до суда их дела так и не дошли. В таких случаях никаких дел на них не было, как правило, ни в суде, ни в прокуратуре.

Самым фантастическим было дело по обвинению одного венгра из крестьянской семьи. Оно попало нам в руки в числе первых. За несколько дней до нашего первого визита в тюрьму к нам пришел начальник тюрьмы и передал клочок бумаги, на котором карандашом по-венгерски, со множеством ошибок, венгр писал, что он служил в восемнадцатом году в Красной Армии, потом боролся против белых в партизанском отряде, а после того, как белых прогнали, был милиционером в одном селе, находящемся далеко от Читы. По сей день он не знает, за что его посадили в тюрьму, где он сидит уже больше года. Я стал искать дело этого венгра, но его нигде не было. Тогда я попросил начальника тюрьмы доложить мне, на каком основании они держат в заключении Яноша Ковача. Начальник тюрьмы прислал мне решение прокурора. В нем говорилось, что Янош Ковач подозревается в убийстве и на время расследования подвергается предварительному заключению. Номера дела санкции прокурора не упоминалось. Сам же прокурор, подписавший санкцию более года назад, уволился с работы и уехал в европейскую часть России.

Я сразу же начал расследование по делу Яноша Ковача. Ковач рассказал мне, что весной двадцатого года он демобилизовался из армии и был направлен на работу в милицию, где проработал полтора года. Осенью двадцать первого года в деревню, где он работал, приехала какая-то комиссия, занимавшаяся расследованием дела об убийстве одного греческого купца. Купец якобы два года назад поехал по торговым делам в эту деревню и с тех пор исчез. Как было установлено, из Читы купца повез на телеге крестьянин — житель этой деревни, который через два дня вернулся в город, но купца с ним уже

не было. У купца осталась жена и трое детей. Один из членов комиссии разговорился с милиционером, который стоял на посту. Услышав, о чем идет речь, Ковач махнул рукой и сказал: — Наверняка его убили на сто двадцатом километре.

Сто двадцатый километр находился на участке, окруженном густым лесом, про него ходила недобрая слава, потому что именно там не раз совершались убийства и ограбления. Комиссия поехала на сто двадцатый километр и, осмотрев местность, нашла труп греческого купца.

Комиссия арестовала Ковача и увезла в Читу. Там его посадили в тюрьму. С того времени он сидит в тюрьме и ждет разбора дела.

На следующий день мне удалось отыскать в архиве прокуратуры дело Ковача. Там все было записано так, как говорил Ковач. Следователь решил, что, раз милиционер указал место убийства купца, значит, он соучастник убийцы. Прокурор выдал ордер на арест Ковача и возбудил против него уголовное дело. Мы это дело прекратили и выпустили Ковача на свободу.

Таких или подобных дел было много. Комиссия по очистке тюрем за несколько недель своей деятельности освободила много арестованных, которых давным-давно нужно было выпустить на свободу. Назначив меня председателем этой комиссии, Терентьев достиг и своей второй тайной цели — сильно осложнил мне подготовку к экзаменам для поступления в Институт красной профессуры.

Володя собирается жениться

Как-то разговаривая с начальником Володи, я случайно узнал, что парень задумал жениться.

— Невеста тоже у нас работает. Очень хорошая девушка, к тому же и красивая. Так что Володю можно поздравить.

Я сразу догадался, о какой девушке идет речь, потому что не раз видел их вместе.

Ничего странного в том, что Володя решил жениться, не было. Но меня ужаснула мысль: Володя уже женат, и жена его живет в селе у его родителей.

«Как же он может жениться, когда у него уже есть жена?» — подумал я.

— Странную вещь я слышал о тебе, — сказал я Володе в тот же вечер. — Говорят, ты хочешь жениться. Это правда?

— Правда, — несколько не смутившись, ответил Володя. — Ты знаком с Наташкой? Мы вместе работаем, любим друг друга.

— А твоя жена?

— С тех пор как мы говорили о ней, положение изменилось, — ответил Володя. — Узнав, что я никогда не соглашусь жить в деревне, она решила развестись со мной. Сама она об

этом мне не писала. Попросила стариков. И вот как-то я получил от отца письмо, в котором он писал, что, начиная с сегодняшнего дня, у них нет больше сына, а Анну Казимировну они считают своей дочерью, которая и знать меня не желает.

— Ну, а ты как среагировал на это?

— Написал отцу, что он старый осел, но я все же и впредь буду считать его своим отцом. Анне же Казимировне передал, что если она не дорожит мной, то и я ею несколько не интересуюсь. Матери написал отдельное письмо, очень теплое, в котором всячески старался успокоить ее: вся эта история больше всего огорчений принесла ей. После всего этого я считаю себя свободным человеком.

— Все это правильно, — заметил я. — Но прежде чем жениться, ты должен развестись. Что ты сделал в этом направлении?

Володя улыбнулся.

— Дело в том, что наш брак не был официально оформлен. Тогда о таких вещах не думали. Позже, когда мы уже жили дома, старики пытались заставить нас обвенчаться в церкви, но я не захотел. Мы решили зарегистрироваться в загсе, но против этого запротестовал отец. «Уж лучше тогда вообще никак не регистрироваться, — сказал он. — Пусть лучше люди думают, что вы давно обвенчаны».

На том и порешили.

Бегство в Дарасун

Работа по очистке тюрем отняла у меня много времени и энергии, но я не отказался от мысли поехать учиться. Я верил в то, что диссертация моя будет одобрена и меня допустят к приемным экзаменам. Поэтому начал серьезно готовиться к экзаменам, используя каждую свободную минуту.

Товарищ Терентьев не раз заставлял меня за чтением произведений Маркса, Ленина, Плеханова и не упускал случая съязвить в мой адрес. Я отвечал ему тем же, па что он обычно говорил пословицу: смеется тот, кто смеется последним. Я даже начал подозревать, что он опять что-то придумывает, чтобы не отпустить меня в Москву.

Опасения мои скоро оправдались. Я в то время как раз готовил к судебному разбирательству одно важное политическое дело по обвинению начальника отдела владивостокской контрразведки штабс-капитана П. За два дня до суда Терентьев передал мне письмо, в котором говорилось, что Верховный Суд СССР и ВЦИК отклонили прошение о помиловании Лефковича и его подручных и что смертный приговор, вынесенный всем одиннадцати участникам банды, должен быть приведен в исполнение. Произойдет это завтра в час ночи. По положению при процедуре приведения приговора в исполнение должен при-

сутствовать один из членов суда, который вынес этот приговор. Он должен прибыть на место, зачитать осужденным приговор, сообщив, что их просьба о помиловании отклонена. После этого он должен отдать начальнику спецотряда приказ привести приговор в исполнение. Терентьев поручил это задание мне. Ровно в полночь за мной приехала машина.

Я никогда не был сердобольным, тем более в те годы. Осуждение бандитов считал совершенно правильным. В обычных условиях я без звука взялся бы за выполнение такого поручения. Теперь же речь шла не только о том, чтобы присутствовать при расстреле одиннадцати человек. На следующий день должно было слушаться дело штабс-капитана П. А это означало, что с самого утра и до позднего вечера, если не до глубокой ночи, меня ждала напряженная работа. Ночь до важного процесса я должен был провести без отдыха, переживая виденное. Я понимал, что после такой ночи приниматься за разбирательство дела важного политического преступника было бы безответственным.

Я решил переговорить с Терентьевым и объяснить ему, что никуда я не поеду. Всему есть свои границы. Или я буду присутствовать при приведении смертного приговора в исполнение, но тогда дело П. пусть передадут кому-нибудь другому, или же я буду председательствовать при разборе дела П., но не поеду на казнь.

В тот день переговорить с Терентьевым мне не удалось: он до вечера был на заседании. Когда же освободился я, Терентьева уже не было. На следующий день я пришел на работу раньше обычного, чтобы не пропустить Терентьева. Когда сказал ему все, что хотел, лицо его стало серьезным.

— Что значит, вы не будете делать этого? У нас такого быть не может, — с возмущением проговорил он. — Приказ есть приказ, мой друг. Кстати, сегодня председательствует Бычанин, и кто знает, закончат ли они до полуночи. У Демидова, как и у тебя, завтра заседание. К тому же он еще молод и неопытен. На такое задание можно послать только уравновешенного человека, такого, как ты, — заметил он с издевкой. — Успокойся и не нервничай.

Я ушел с твердым намерением поговорить с председателем суда Яковлевым, но перепалка с Терентьевым так расстроила меня, что сначала я зашел к себе в кабинет, чтобы немного успокоиться.

Несколько минут нервно ходил по комнате. Немного успокоившись, пошел к Яковлеву.

Яковлев не дал мне и слова сказать, заявив, что он уже все знает и считает, что меня действительно не следует посылать представителем на приведение в исполнение смертного приговора. И не только потому, что у меня завтра процесс.

Видимо, из-за перенапряжения на работе я нахожусь в таком состоянии, что просто не подхожу для выполнения такого задания. Он уже дал Терентьеву указание никуда не посылать меня, заменив Демидовым.

Я поблагодарил Яковлева.

— Так будет лучше. Вы же примите что-нибудь успокоительное и постарайтесь так распределить свою работу, чтобы излишне не переутомлять себя.

Утром я слушал дело П. Заседание кончилось ночью, так что Демидова я не видел и даже не знал, вернулся ли он вообще в суд.

На следующий день у нас было подготовительное совещание, на котором мы и встретились. Я с трудом узнал его: лицо такое осунувшееся, бледное, что я даже испугался. Демидов сказал, что вот уже две ночи не может спать.

Несколько дней спустя он рассказал мне, как все это происходило. Приговоренным дали хороший ужин с водкой. Когда за ними пришли, все они были пьяны. Некоторые из них упирались и не хотели идти. Другие рыдали и умоляли не расстреливать их. Исключением был Лефкович. Он смотрел на всех, словно полководец, одержавший победу. Увидев, что остальные пытаются сопротивляться, он стукнул кулаком по столу и закричал: «Хватит ребята! Мы в свое время кое-кого пустили в расход, теперь подошла наша очередь. Быстро стротиться!»

И десять пьяных бандитов без единого слова последовали за своим предводителем.

Товарищ Яковлев был абсолютно прав: нервы у меня сдали.

В разговоре с одним своим коллегой я пожаловался на переутомление.

— Этому нетрудно помочь, — ответил он мне. — Недавно мы получили распоряжение относительно строгого контроля за здоровьем трудящихся и организации их отдыха. Повсюду на предприятиях сейчас действуют врачебные комиссии, которые тщательно обследуют тех, у кого есть какие-нибудь жалобы на здоровье. У нас такое обследование началось на прошлой неделе.

Я пошел на комиссию, которая признала у меня нервное истощение и предоставила путевку в дом отдыха (в Дарасун) на четыре недели.

Узнав об этом, товарищ Терентьев возмутился, но ничего поделать не мог.

— Поймал ты меня, — сказал он мне уже без злобы. — Но ничего не поделаешь. Закон есть закон. Езжай с богом!

Упаковав книги, я уехал в дом отдыха.

Из разговоров я знал, что представляет собой Дарасун. В Чите местные жители говорили об этом месте как об одной из достопримечательностей Забайкалья. Живописные горы и радиоактивные минеральные источники делали эти места неповторимыми.

Для меня все это было не столь важно. Дорогой я думал, как после перерыва в несколько лет использую эти четыре недели для того, чтобы пополнить свои знания по истории, философии, политической экономии.

В Дарасун я приехал поздно вечером. Это была деревушка с одной-единственной улицей, на которой стояли небольшие чистенькие домики. Проехав деревушку, мы направились к территории дома отдыха. Большое центральное здание было окружено множеством небольших особнячков. Все дома были рубленые. В центральном здании располагались кабинеты врачей, процедурные, столовая, комната для игр. Отдыхающие жили в особнячках. Дом отдыха, собственно говоря, находился в лесу.

Меня провели в один из особнячков, показали небольшую комнату, куда сразу же принесли ужин. Объяснили, что утром после завтрака я должен явиться к врачу.

Утром, еще до завтрака, в комнату ко мне зашел врач.

— А это что еще такое?! — удивился он, показывая на стопку книг, которые лежали у меня на столе.

Я объяснил ему.

— Что вы говорите? Приемные экзамены?! — В голосе врача послышались нотки возмущения. — Об этом вы, мой друг, пока забудьте. К нам присылают людей, чтобы мы вылечили их. Все эти книги мы немедленно уберем отсюда. За день до отъезда вы получите их в целости и сохранности. Ходите в лес, наслаждайтесь красотами природы, если хотите, ухаживайте за хорошенькими женщинами, но никаких книг!

Я пытался объяснить доктору, что, собственно говоря, затем и приехал сюда: другой возможности подготовиться к экзаменам у меня нет.

— Тогда я откажусь от отдыха и уеду, — сказал я в заключение.

— Об этом не может быть и речи, — заявил врач. — Вы очень правильно сделали, что приехали сюда. Вам нужна полная разрядка. Уверяю вас, если вы проведете у нас месяц и не заглянете ни в одну книгу, потом с бóльшим успехом сможете работать.

И он попрощался со мной, сказав, что в десять часов ждет меня.

Доктор оказался человеком, который не любит бросать слов на ветер: через десять минут он прислал человека за моими книгами. Я не знал, что мне делать: смеяться или сердиться, но не оставалось ничего другого, как подчиниться.

Первые дни были для меня нелегкими: все время думал о предстоящих экзаменах. Получалось, вместо того чтобы серьезно готовиться к ним, я попусту тратил драгоценное время. Однако красота леса и чудодейственная дарасунская вода сделали свое дело. На второй неделе я уже прекрасно чувствовал себя. Много спал, гулял, принимал ванны.

Прошло ровно три недели моего пребывания в Дарасуне, когда я получил телеграмму из Москвы. В ней сообщалось, что диссертация моя принята, и не позднее 15 сентября я должен приехать в Москву для сдачи устных экзаменов. Поскольку у меня было много дел в Чите да еще я хотел на несколько дней заехать в Удинск повидаться с Катей, я немедленно прервал свой отдых в Дарасуне и поехал в Читу.

VII. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ЧИТЕ

Анна Казимировна

Дома меня ждала молодая симпатичная блондинка.

В первый момент я ничего не понял.

— Прошу прощения, — по-дружески обратился я к женщине, — с кем имею честь говорить и чем обязан вашему визиту?

— Не сердитесь на меня, — испуганно проговорила женщина. — Я жена Володи. Я приехала к нему потому, что никак не могла успокоиться, что мы так разошлись. Я здесь всего неделю, но у нас все уже наладилось. Вот только комнаты никак не найдем. Начальник Володи обещал помочь нам. Думаю, через неделю мы уже переедем. Прошу вас извинить нас и потерпеть еще одну недельку. Обещаю вам, что мы не будем мешать вам. Если вы разрешите, я с удовольствием буду готовить для вас и убирать.

Своей красотой эта женщина просто-таки разоружила меня. К тому же все это было настолько неожиданным, что какое-то время я даже не мог говорить. Мое молчание женщина, видимо, приняла за согласие. Волнуясь еще больше, она продолжала:

— Володя сам расскажет вам, как все это произошло. Как только можно будет, мы сразу же переедем.

Я вынужден был признаться самому себе, что не только не сержусь, но даже рад, что эта очаровательная женщина здесь.

— Ничего страшного нет, — сказал я с улыбкой и протянул ей руку. — Очень рад, что могу познакомиться с женой Володи, и еще больше рад тому, что косвенно помог вам примириться.

Женщина так и просияла от счастья и сразу же предложила вскипятить чай. От чая я отказался: в городе у меня были неотложные дела.

Когда вечером я вернулся домой, Володя был уже там. Анна Казимировна, сославшись на то, что ей нужно приготовить

ужин, вышла из комнаты. Володя сразу же перешел к делу.

— Я, конечно, злоупотребил вашей добротой. Приехал сюда на несколько дней и вместо того, чтобы самому уехать, еще привез жену. Правда, я и сам ничего не знал о приезде Анны Казимировны. Она не сообщила мне, что собирается приехать. К тому же я считал, что между нами все кончено. А она приехала, и все. Выходит, мой старик обманул нас обоих. Ни на какой развод Анна Казимировна не соглашалась. Это отец выдумал. Он пытался убедить ее, что я и знать ее не хочу и потому уехал из дому, чтобы окончательно порвать с ней. Старик, видимо, хотел отомстить мне за то, что я уехал из дому. Но он забыл о маме, которая из моего письма узнала правду и рассказала все Анне Казимировне. Мама-то и посоветовала жене поехать ко мне. Когда Анна пришла ко мне, я поначалу не хотел даже разговаривать с нею. Но она стала умолять меня не покидать ее, вспомнила все то хорошее, что у нас с ней было, я не устоял. Потом я рассказал ей, что ухаживал здесь за одной девушкой. Она расплакалась, но потом успокоилась. Признаюсь, о трудностях с квартирой я тогда даже не подумал. Несколькими днями позже Анна Казимировна послала меня искать квартиру, и я искал, но безрезультатно. Теперь все зависит от тебя.

Я успокоил Володю, сказав, что никуда выгонять их не собираюсь. Между прочим, заметил, что хотя бы в нескольких словах он мог написать мне обо все этом.

Володя заулыбался:

— По правилам вежливости, конечно, следовало написать. Но, положив руку на сердце, скажи, разве ты воспринял бы так хладнокровно известие о нахождении в твоей комнате Анны Казимировны, если бы я написал тебе об этом?

Я не знал, что ему ответить.

Я собираюсь в дорогу

Когда я сказал товарищу Терентьеву, что получил телеграмму, в которой сообщается, что диссертация моя принята и меня приглашают приехать на экзамены, он ответил, что никуда не отпустит меня, пока не получит на этот счет указания от своего начальника из Верховного суда.

— Тогда я обращаюсь в губком партии!

— Можете обращаться, у вас на это есть право, — наигранно вежливым тоном ответил он.

Тон этот мне не понравился.

Я сразу же пошел в Дальневосточное бюро и добился приема у секретаря. Терентьев, видимо, уже успел переговорить с секретарем по телефону, потому что он стоял не на моей стороне. Выразив сожаление, секретарь сказал, что не может настаивать.

вать на моем увольнении до тех пор, пока не будет найдена замена.

Но я не успокоился. В тот же день послал в Москву две телеграммы: одну — в Институт красной профессуры, на имя директора, другую — товарищу Ярославскому. В нескольких словах обрисовал положение, в котором оказался, и просил Ярославского помочь мне по партийной линии, а директора института — по государственной.

Я считал, что в Центре мне обязательно помогут.

Через несколько дней я получил письмо от Кати. Она писала, что у ее матери истек срок аренды ресторана. Арендовать ресторан на следующий год она не решилась; одной ей управляться с ним трудно. Кроме всего прочего, она чувствует себя в Удинске настолько одинокой, что решила переехать в Хилок к дяде Феде. Будет помогать ему, как и прежде.

«Когда ты получишь это письмо, мы уже будем в Хилоке, — писала Катя. — Если ты поедешь в Москву, заезжай за нами не в Удинск, а в Хилок. Если же твоя поездка в Москву не состоится, напиши мне, и я приеду к тебе в Читу».

Испытание верности

Отъезд мой задерживался. Как-то вечером я вернулся домой поздно, часов в одиннадцать. Володи дома не было. Анна Казимировна уже лежала в постели.

— Ужин на столе, — сказала она обычным заботливым тоном. — Чай еще не остыл.

— Спасибо, я уже поужинал в городе, — ответил я. — А что с Володей?

— Днем заходил домой и сказал, что всю ночь будет работать. Домой вернется утром. Какая-то срочная работа.

— Бывает и такое, — сказал я, чтобы успокоить Анну Казимировну.

В душе я был убежден, что Володя сейчас где-нибудь вместе с Наташей. Потушив свет, начал раздеваться.

Пока раздевался, в голову мне пришла мысль: вот я сейчас нахожусь наедине с молодой красивой женщиной, муж которой изменяет ей. Жена знает об измене своего мужа и тяжело переживает это. А что, если...

Я быстро подошел к Анне Казимировне и погладил ее по голове.

Она резко села.

Я обнял ее и притянул к себе.

— Не будем ни о чем думать, — шепнул я ей. — Будем любить друг друга.

Анна Казимировна тяжело вздохнула. Потом тихим голосом произнесла:

— Я в вашей власти. Ни за что на свете я не подниму скандал. Но подумайте о своей жене, да и меня пожалейте. Это исковеркает мне всю жизнь. Я знаю, что Володя меня больше не любит. И если мне удастся привязать его к себе, то только тем, что я буду верна ему.

Не говоря ни слова, я выпустил ее из объятий. Мне было ужасно стыдно. Хотелось провалиться сквозь землю.

— Анна Казимировна! Сможете ли вы простить мне это? Сможете ли забыть?..

Анна Казимировна молча притянула меня к себе и поцеловала в губы.

— Будем братом и сестрой, хорошо?

Вместо ответа я поцеловал ей руку.

Я боялся, что после этого случая мне будет тяжело жить рядом с Володей и его женой, но я ошибся. Анна Казимировна стала даже еще непосредственнее и добрее. Когда мы были дома все трое, она так и крутилась вокруг нас с Володей. Если же Володи дома не было, она была ко мне несколько нежнее. Когда я работал или занимался, она всегда находила себе какую-нибудь работу на кухне, чтобы не мешать мне.

Так мы жили недели две.

Остатки венгров

Вернувшись из Дарасуна, я не раз заходил в «Венскую кофейную» выпить чашечку кофе. Калди на минутку подсаживался ко мне поболтать.

Когда я сказал ему, что собираюсь ехать в Москву, он тяжело вздохнул:

— Хорошо вам. Уедете из этого забытого богом угла в большой город. Если бы я мог оставить эту азиатскую мышеловку!

— Как так?! — удивился я. — А я думал, вам здесь нравится!

— Оставим этот разговор. Пойдемте лучше как-нибудь погуляем. Я пообещал.

На следующий день в полдень я снова заглянул в кафе.

Калди тотчас же подсел ко мне. Мы пошли на окраину города. Дорогой Калди рассказал мне, что дела у него пошли хуже.

Выйдя на опушку леса, легли на траве. Калди начал разговор.

— Хочу поговорить с вами о серьезных вещах. Вы уезжаете в Москву. Там у вас наверняка есть связи. Не могли бы вы помочь мне перебраться туда?

— Насовсем?

— Разумеется.

— А ваша жена? Она поедет с вами?

— Боже упаси. От нее-то я и хочу освободиться.

— Что вы говорите! А я-то думал, вы живете душа в душу.

— Что вы! Уж не думаете ли вы, что я живу с этой старухой из-за любви? Просто в свое время мне были очень нужны деньги: я хотел открыть дело. Я не собираюсь облапошивать ее. Предложу ей так: пусть кафе останется у нее, а денежки у меня. Или же продадим кафе и деньги поделим. Думаю, более честного предложения и быть не может.

— В Москву, купив билет, ты можешь уехать в любое время. Но что ты будешь там делать?

— Я знаю, вы убежденный коммунист, но ведь вы же еще человек, с женой и ребенком. Сейчас нэп, но я знаю, в Москве на одну зарплату не проживешь. Дополнительный заработок никогда не помешает. Я пока останусь в Чите. Между Читой и Москвой при наличии надежных людей можно проводить великолепные торговые операции. Если вы согласитесь сотрудничать со мной, сможете неплохо заработать.

Я расхохотался.

— Лучшей шутки никогда не слышал, — сказал я, вскакивая на ноги. — Благодарю за шутку и за то кофе, которое я выпил у вас в кафе. На прощание же скажу только, что нам не по пути, а ты плохо кончишь.

Предсказание мое сбылось. Калди умер на Соловках, где в то время держали особо опасных спекулянтов.

Незадолго до моего отъезда Хофбауэр пригласил меня на прощальный вечер. Настроение у него было неважное.

— Вот и ты покидаешь нас, — проговорил он после первой стопки водки. — Чего таить, я тебе завидую. Нам будет очень не хватать тебя.

— Переезжайте и вы в Москву. Устроиться вы там устройтесь, в этом я уверен. Жизнь в большом городе другая. Театры, концерты, спортивные соревнования...

— Нет, старина, это не для нас. Вам, людям нового времени, это подходит, а нам, старым филистерам, лучше жить где-нибудь в медвежьем углу, под юбкой у жены. Здесь я могу спокойно жить своей жизнью, никто от меня не ждет, что я вдруг займусь политикой. Там же меня охватит азарт, и я начну совать нос в дела, которые не по мне.

— Ну, а как же с возвращением на родину? Совсем отказался от этой мысли?

— Совсем. На днях получил письмо от Фери Геренчера. Мы с ним еще на родине были друзьями, потом здесь встретились. Он еще в двадцатом уехал в Венгрию. Был лейтенантом запаса. До армии работал чиновником в банке, никогда в жизни политикой не занимался. Здесь, в плену, интересовался только тем, когда будет заключен мир и когда можно будет поехать домой. Приехал он домой, а в багаже у него нашли

какие-то письма на русском языке. В восемнадцатом году, когда мы с ним жили на свободе, он познакомился в Чите с одной русской девушкой. Ухаживал за ней. После они расстались, но девушка все время писала ему письма, которые он хранил. Хортстам и жандармам эти письма показались подозрительными. Фери упрятали в концлагерь, где били и истязали. Потом выпустили, взяли подписку о невыезде и обязали каждую неделю являться в полицию для регистрации. Фери в первую же неделю сбежал в Австрию, потом перебрался в Америку, где у него жили родственники. Теперь он живет в Нью-Йорке, откуда и прислал письмо. Работает официантом в венгерском ресторанчике. Если бы я был холостяком, быть может, поехал бы в Америку, но человек должен ценить то, что имеет. Никуда и никогда я отсюда не двинусь. Я уже подал заявление на принятие русского гражданства.

Потом я заинтересовался, что стало с Ковачем.

— Его уже целую неделю нет дома. Снова уехал по делам в Харбин. Стал настоящим купцом, но хочет остаться коммунистом, ведь он для них главным образом и работает, а потом уже немного для себя. Я его уговариваю жениться, но он и думать об этом не хочет. Уж больно нравится ему цыганская жизнь. К слову сказать, он, кажется, тоже собирается в Москву. Будет работать в управлении кооперации.

Когда я прощался, Антонина Ивановна попросила меня передать привет Кате.

Прощание с Володей

Если мне не удастся поступить в Институт красной профессуры, решил я, все равно останусь работать в Москве.

Перед отъездом я сказал Володе, что, поскольку возвращаться в Читу я не собираюсь, комнату и мебель оставляю ему.

— Это очень мило с твоей стороны, — сказал Володя. — Мы очень благодарны тебе за это. У меня к тебе есть большая просьба. Ты знаешь, я хочу поступить в летную академию. Есть у меня в Москве друг. Он обещал узнать об условиях приема туда. Разреши написать тебе письмо, вдруг ты сможешь помочь мне.

Я обещал сделать все зависящее от меня.

Через год, находясь в Москве, я получил от Володи письмо, в котором он просил меня помочь ему. Сколько я ни старался, мне ничего не удалось сделать: бывших царских офицеров в академию не принимали. Через десять лет Володя приехал к нам в Москву. Рассказал, что теперь живет в Новониколаевске, два года работал техником-механиком на аэродроме, потом его сделали бортмехаником. Одно время он летал по маршруту Новониколаевск — Республика «Х», а когда республика заинтере-

ла свой воздушный флот, стал в столице этой республики начальником отряда, а позже заместителем начальника управления воздушного флота. Но и тогда он не переставал мечтать снова стать военным летчиком. Мечта его осуществилась в годы Великой Отечественной войны. Он стал летчиком-истребителем и за год сбил не один десяток гитлеровских самолетов. Осенью сорок второго года, когда войска фашистских захватчиков приближались к городу Н., Володя за три дня уничтожил большое количество самолетов противника. В декабре Володя выполнял очередное боевое задание. На него напали четыре самолета противника. Начался воздушный бой, в ходе которого Володя сбил три вражеских самолета. Однако мотор его самолета был поврежден, а сам он получил тяжелое ранение. Володя понимал, что через несколько минут машина его врежется в землю. Он мог выпрыгнуть с самолета, но не сделал этого. Собрав последние силы, направил свою машину на самолет врага. Все это я узнал от Анны Казимировны, которая летом сорок пятого года приезжала в Москву получить награду мужа. Советское правительство посмертно присвоило Володе звание Героя Советского Союза.

Отъезд из Читы

Примерно через неделю после отправки двух телеграмм я получил две ответные телеграммы. Директор Института красной профессуры прислал мне копию телеграммы, посланной в Читу председателю читинского губернского суда. В телеграмме сообщалось, что на основании распоряжения Верховного Совета поступающим в Институт красной профессуры после одобрения диссертации предоставляется оплачиваемый отпуск сроком на два месяца для подготовки к экзаменам, а также оплачивается проезд в Москву и выплачиваются командировочные. Далее, ссылаясь на это распоряжение, директор Института просил немедленно откомандировать меня в Москву. Вторая телеграмма была от товарища Ярославского. Вот ее содержание: «ЦК дал указания Дальневосточному бюро не задерживать ваш отъезд в Москву».

Когда я показал телеграммы Терентьеву, он сказал:

— Твоя взяла!

Больше мне никто никаких препятствий уже не чинил.

Накануне отъезда я встал рано. Сборы в дорогу были закончены, и последний день я решил погулять по городу. Мне хотелось, чтобы этот город навсегда остался в моей памяти.

Вспомнил о Яноше Гейне, которого не видел уже несколько месяцев. Решил зайти к нему попрощаться.

Мне были рады. Узнав, что я еду в Москву, да еще в Институт красной профессуры, Гейне и его жена поздравили меня и пожелали всего хорошего.

— Поздравляю и завидую, — сказал Янош. — Но и мне жаловаться не на что. Меня приняли в Петроградский институт. В начале октября еду в Петроград.

Я пожелал Яношу вслещеского благополучия, и мы расстались.

Утром Янош пришел проводить меня на вокзал. Его приход оказался очень кстати. Я даже не представляю, как бы я сел в вагон со своим багажом. Носильщика не было видно, а желающие уехать буквально атаковали поезд. И хотя у меня был билет, пробиться к вагону оказалось невозможным. Янош с чемоданом в руке лез напролом. Когда мы уже были в купе, я заметил, что одно ухо у Яноша в крови. Я даже не знал, как отблагодарить его.

— Благодарить не за что, — ответил Янош. — Хорошо еще, что не оторвали все ухо.

Поезд уже тронулся с места, а осада состава пассажирами все еще продолжалась. Бедному Яношу пришлось принять еще один «бой», чтобы соскочить на платформу. Подойдя к окну, он крикнул:

— Оба уха целы. До встречи в Москве!

VIII. ВТОРИЧНО В МОСКВЕ

Слезы Марии Павловны

С Катей мы договорились, что в Хилоке я останавливаться не буду. Она с ребенком будет ждать меня на перроне. Я помогу им сесть, и мы поедем. Место для Кати я забронировал.

Когда поезд остановился у хилокского вокзала, Катя с дочкой и Марией Павловной уже стояли на платформе. Я внес в купе вещи, потом взял у Кати дочку, чтобы дать ей проститься с матерью.

Катя как могла успокаивала мать. Гладила ее по голове, целовала. Но Мария Павловна не переставала плакать.

— Не плачьте, мама, — сказал я теще. — Не на век ведь расстаемся. Через год-два мы приедем сюда или вы приедете к нам в Москву.

Но Мария Павловна была безутешна.

— Я чувствую, что расстаемся навсегда. И Шура теперь уже не мой.

Раздался второй звонок.

— Ну, с богом, дорогие детки!

Первой вошла в вагон Катя. Я дал ей дочку и сам вошел в вагон.

Мария Павловна застыла на перроне.

Раздался третий звонок.

Застывшая как монумент Мария Павловна вздрогнула и замахала платком. Слезы градом текли по ее щекам.

Поезд медленно тронулся.

Сердце у нас с Катей сжалось. Нам было жаль старушку, но мы хорошо знали, что через минуту Мария Павловна уже будет улыбаться и рассказывать знакомым, что дети ее уехали в Москву.

Мнение Дмитрия Евстафьевича о нэпе

В Удинск поезд пришел поздно вечером. Катя и дочка уже спали.

Я вспомнил о нашем старом друге Дмитрии Евстафьевиче. После самоупражнения Дальневосточной республики я не раз вспоминал Дмитрия Евстафьевича, думал, как живет он в новой обстановке.

За прилавком стояла незнакомая жепщина. На стеклах ларька крупными буквами было написано: «Ларек № 23 Верхнеудинского потребительского кооператива».

«История не стоит на месте», — подумал я.

Я встал в очередь и, когда она дошла до меня, попросил пачку папирос. Как бы между прочим я спросил продавщицу, не знает ли она, что стало со стариком греком, который торговал в этом ларьке два года назад.

— Это вы о Дмитрии Евстафьевиче спрашиваете? Теперь он работает в ресторане третьего класса.

Народу в ресторане было полно. Посетителей обслуживали три официанта, которыми из-за прилавка руководил Дмитрий Евстафьевич. Он был похож на капитана, стоящего на мостике корабля во время бури. Но он не только давал указания подчиненным, но и сам работал: стоял за буфетной стойкой и обслуживал посетителей. Увидев меня, просиял:

— Добро пожаловать, дорогой, — проговорил он и крепко пожал мне руку. — Надеюсь, вы едете не с этим поездом?

— Я здесь проездом.

— Очень жаль, — разочарованно произнес старик. — А как было бы хорошо поговорить! И ведь есть о чем!.. — добавил он многозначительно. — Не хотите ли тарелочку горячего борща, холодной телятинки или ветчинки с яичницей?

Я поблагодарил старика, сказав, что уже позавтракал.

— Тогда выпьем по стопочке за встречу, — не успокаиваясь он, наливая водку в стопки. — За новую экономическую политику! — торжественно произнес Дмитрий Евстафьевич, поднимая свою стопку.

Я не поверил своим ушам.

— Рад слышать это от вас, Дмитрий Евстафьевич. — Старик налил еще по стопке. — А я, признаюсь, думал, что наш «буфер» несколько придавил вас вместе с вашими золотыми деньгами.

— Да нет, что вы! — запротестовал старик. — Уж не думаете ли вы, что мы дальше своего носа не видим? Золотые деньги — это, конечно, хорошо. Но это не самое главное. Главное, чтобы у человека под ногами была твердая почва, чтобы в государстве были порядок и тишина. Хватит, пожилы мы между двух огней. Я уважаю государство, подчиняюсь законам и исправно плачу налоги. А как там правительство управляет страной — меня это не интересует. Для меня важно, чтобы можно было спокойно жить, чтобы можно было честно работать и обеспечить себя и семью всем необходимым. Моя работа — торговля. Если можно торговать, значит, у меня все в порядке. В первые годы, когда Советы косо смотрели на частную торговлю и на подобных мне людей, пытаюсь вытеснить нас из торговли, я не очень-то симпатизировал вам. Потом правительство заявило, что считает торговлю очень важным и нужным делом. Это уже совсем другое. Тысячу лет новой экономической политике!

К буфету подошли пассажиры, и старик засуетился за стойкой. Он был очень проворен, и никто не подумал бы, что ему скоро стукнет шестьдесят. Когда он освободился, я заинтересовался, что стало с его сыном.

— О, Гриша давно уже не работает в лавке. Он теперь в потребительском кооперативе. У него приличная зарплата, работу свою он любит. К новому году даже получил премию. С осени прошлого года стал членом большевистской партии.

Последнее сообщение старика буквально ошеломило меня.

— Как так? Если не ошибаюсь, он не так давно был членом меньшевистской партии?

— О, это было в буферном государстве, — ответил Дмитрий Евстафьевич. — Тогда мы боялись большевиков. Но как только большевики стали проводить новую экономическую политику, все поняли, что меньшевики нам ни к чему. Они исчезли из города, хотя никто не выгонял их. Не было ни судебных процессов, ни арестов: они просто-напросто исчезли. Некоторые позднее вступили в Коммунистическую партию, как мой Гриша, но большинство оставило политику.

Тогда я спросил Дмитрия Евстафьевича о втором его сыне, которого во время моей последней встречи со стариком как раз ждали домой из Харбина. Оказалось, что вернуться ему и на этот раз не удалось. Когда он уладил свои торговые дела, Дальневосточная республика самоупразднилась, а разрешения на приезд от советских властей у него не было.

— Ну это еще ничего не значит, приедет позже, — заметил

Дмитрий Евстафьевич. — Я верю в пэп. Завтра будет лучше, чем сегодня, а послезавтра лучше, чем завтра. Пройдет немного времени, и Костя вернется домой. Так что выпьем еще раз за пэп! Прозит!

Мы чокнулись, и в этот момент объявили посадку на поезд.

— Счастливого пути, дорогой, и хорошего здоровья! — напутствовал меня Дмитрий Евстафьевич.

«Счастливы те, кто верит, — подумал я, направляясь к вагону. — Счастливы, потому что видят все только с хорошей стороны. Но что останется от их оптимизма, когда придется туго?»

Прощание с Байкалом

Наш поезд мчался по берегу Байкала. Колеса печально выстукивали: «Славное море, священный Байкал, я прощаюсь с тобой!»

Байкал! Вот уже шестой раз я проезжаю мимо тебя, но ни разу мне так и не удалось отдохнуть на твоём берегу или хотя бы умыться твоей освежающей водой. Я всегда любовался тобой только из окна мчащегося поезда. Как-то давно-давно, будучи пленным, я стоял на крыше деревянного сарая в Мисовой и жадно всматривался в даль, чтобы хоть на миг увидеть тебя.

Но я чувствую, что еще вернусь к тебе, Байкал, еще искупаюсь в твоих волнах и буду слушать твое гордое дыхание.

Уезжая от тебя, я увожу с собой чистое дыхание твоих пенных вод, твой очаровательный аромат, музыку окружающих тебя гор.

Прощай, Байкал! До свидания!

В дороге

Километрах в ста от Омска, на какой-то небольшой станции, где меняли паровоз, я схватил чайник и побежал за кипятком. Рядом со станционным зданием, как уже принято в Сибири, стоял большой крытый деревянный навес, где местные крестьяне продавали молоко, масло, холодное мясо, помидоры и прочую снедь. Набрал кипятку, я с чайником в руках подошел к базарчику что-нибудь купить. У одной торговки были великолепные помидоры, и покупатели окружили ее. Я тоже подошел к ней. Поставил чайник на прилавок и полез в карман за бумажником.

— Деньги украли! — вдруг закричал я.

— А вон он вор! — крикнул кто-то из толпы.

Я увидел бегущего человека и, ни минуты не раздумывая, бросился догонять его. Исчезновение бумажника ставило меня в критическое положение. Кроме мелочи в нем было двести рублей бумажных денег. В Чите мне выдали золотыми рублями

ми не только зарплату, но и командировочные. Советских денег у меня было мало, и потому я обменял часть золотых на бумажные, чтобы доехать до Москвы. Остальные решил обменять уже в столице. Двухсот рублей, как я полагал, до Москвы нам вполне хватило бы. Второго звонка еще не было. Значит, до отправления поезда оставалось не меньше трех минут.

Вдоль станционного здания тянулся деревянный заборчик. Вор побежал вдоль забора. Я за ним. Метров через сто забор повернул вправо. Я был уже метрах в десяти от воришки, когда он вдруг исчез за поворотом. Я тоже свернул, но вдоль забора медленно шел какой-то парень. Больше — ни души. Я догнал парня и остановил.

— Немедленно отдай бумажник, а то я сведу тебя в милицию!

Парень с удивлением посмотрел на меня.

— Какой еще бумажник?

— Который ты вытащил у меня из кармана, — со злостью проговорил я. — Ошибаешься, если думаешь, что тебе удастся обдурить меня.

— Ничего я не думаю, — равнодушно проговорил парень. — Никакого бумажника я и в глаза не видел.

— Покажи карманы! — приказал я.

— Пожалуйста.

И парень вывернул свои карманы. В них был носовой платок, махорка, газета, кусок хлеба, семечки.

Я уже и сам начал сомневаться, но в этот момент к нам подошел пассажир, который видел, как парень лез ко мне в карман.

— Вон он, ваш бумажник, смотрите! — сказал он и показал в сторону.

Метрах в трехстах впереди по дороге скакал всадник.

Я остановил жулика, не зная, что делать. Вор стоял передо мной, а его сообщник с моим бумажником был уже в безопасности.

В этот момент на станции дали второй звонок.

— Пошли со мной! — крикнул я парню. — На станции поговорим!

— Пошел к черту! — со злостью выпалил парень. — Никуда я не пойду!

И, повернувшись ко мне спиной, пошел своей дорогой.

— Надо сказать начальнику станции, чтобы он задержал поезд и заявил в милицию, — посоветовал мне пассажир. — Пойдемте!

Начальник станции стоял на перроне. Я в нескольких словах рассказал ему о случившемся и попросил задержать поезд.

— Это невозможно. Экспресс я имею право задержать только в случае аварии. Сейчас будет третий звонок. Можете

отстать от поезда и поехать на следующем. Это мы вам устроим. Но будет умнее, если вы поедете в своем вагоне, а в Омске передадите милиции письменное заявление. Там вы будете через два часа.

Оставить в дороге жену с ребенком да еще без денег? В лучшем случае, я приеду в Москву позднее их на день. А что я сам буду делать без копейки?

Раздался третий звонок.

Оставалось одно — последовать совету начальника станции.

В Омске мы стояли полчаса. В железнодорожной милиции составили протокол и обещали сообщить мне в Москву о результатах расследования. Среди пассажиров нашлись знакомые из Читы, которые дали мне денег взаймы, чтобы я мог доехать до Москвы.

— Ничего, — утешала меня жена. — «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» — говорит русская поговорка.

Приезд в Москву

Надежды на милицию оказались напрасными, но в друзьях я не обманулся.

Еще находясь в Чите, я дал телеграмму другу художнику Виктору Тоту о своем приезде. И хотя не просил его встречать меня, в душе надеялся, что увижу его на вокзале.

Вместо него на вокзале я увидел нашего общего знакомого Эрё Цобеля, который сказал мне, что Виктор с женой уехал отдыхать на Черное море. Перед отъездом Виктор попросил его встретить нас на станции и передать мне десять червонцев со следующими словами: «Насколько я знаю нашего друга, ему по приезде, видимо, понадобятся деньги. Ты дай их ему и скажи, что это я даю в долг с нескорой отдачей. Если же они не будут нужны — тем лучше».

Нечего и говорить, как пригодились мне эти деньги.

С вокзала мы поехали прямо на квартиру к Цобелю и там переночевали.

— Как-нибудь разместимся, — сказал Цобель. — Дочка наша, Аннушка, ходит в садик от Института красной профессуры. Завтра утром она доведет тебя до Института. Пока не решишь квартирные дела, можешь спокойно жить у нас.

Было прекрасное осеннее утро. Золоченые купола собора сверкали на солнце.

Держа за руку четырехлетнюю Аннушку, я шел по площади.

— Вон та улица, видишь, слева — это Остоженка, ее до конца пройти, и там мой садик. Ты тоже будешь ходить в садик? — пролепетала Аннушка.

Как говорится, устами младенца глаголет истина. Аннушка сказала то, о чем я думал. «Да, дорогая девочка, все будет так, как ты сказала. Все, что было у меня в жизни до этого, только начало. Я, как и ты, ходил воспитываться, только не в садик, а в ясли большевизма. Теперь идет следующая ступень — учебное заведение, где меня подготовят для настоящей жизни, для больших курсов, которые будут продолжаться до конца дней моих».

— Да, дорогая Аннушка, — ответил я девочке. — Рядом с вашим детским садиком, в том же доме, есть садик для больших дядей и тетей. Туда я и буду ходить.

В самом конце Остоженки, у ворот, которые вели в парк, Аннушка остановилась.

— Мне сюда, — проговорила она. — Но мама сказала мне, чтобы я довела тебя до главного входа. Он за углом.

Я пытался отговорить Аннушку, убеждал ее, что и сам найду главный вход, но Аннушка не сдавалась:

— Мама сказала, чтобы я шла с тобой и показала, куда тебе идти.

Институт красной профессуры находился на Крымской площади, в массивном четырехэтажном здании напротив провиантских магазинов.

У входа я на минутку остановился и посмотрел на фасад здания.

«Так вот он какой, известный московский лицей, в котором в свое время набирались знаний многие будущие знаменитости! Теперь это Институт красной профессуры!»

Аннушка вошла со мной в подъезд и довела меня до лестницы. Швейцар показал мне, как пройти в канцелярию.

— Спасибо, Аннушка, — сказал я девочке и поцеловал ее. — Теперь иди в садик.

— До свидания, — ответила девочка и, помахав ручкой, затопала к воротам.

Я стал подниматься по лестнице.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Часть первая. СИБИРСКАЯ СВАДЬБА	5
I. Второе освобождение Даурни	7
II. Я поселяюсь в Хилоке	26
III. Начало новой жизни	57
IV. Я одеваюсь по-русски	71
V. Неожиданные повороты	87
VI. Новые знакомства	97
VII. Рождественское хождение по мукам	125
VIII. Новые испытания	143
IX. Сибирская свадьба	150
Часть вторая. В ПЛЕНУ У ОБСТОЯТЕЛЬСТВ	169
I. На полулегальном положении	171
II. Неудачная поездка	185
III. Я снова становлюсь пленным	208
IV. Два чужих мира	232
V. Мое знакомство с японцами	246
VI. Мое «сотрудничество» с японцами	259
VII. Дуэль по-украински	272
VIII. Ожидание прихода красных	284
IX. Удские впечатления	307
X. Освобождение	364
Часть третья. МЫТАРСТВА ВЕНГЕРСКОГО БОЛЬШЕВИКА	385
I. Иркутская действительность	387
II. Прощание с Верхнеудинском	399
III. Снова в Иркутске	408
IV. Омские шлагбаумы	417
V. Железнодорожная милиция	425
VI. В совхозе	437
VII. Все мое время	447
VIII. Командировка	455
IX. Буферная демократия	468
X. Конец командировки	478
Часть четвертая. ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМАНДИРОВКА	481
I. На пороге нового мира	483
II. Воссоединение ДВР с Советской Россией	509
III. Ревтрибунал	519
IV. Наша жизнь в Чите	542
V. Советский суд	562
VI. Я собираюсь в Москву	576
VII. Последние дни в Чите	585
VIII. Вторично в Москве	592
	599

Эндре Шик
ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Перевод с венгерского

Редактор *Афанасьев Г. Г.*
Литературный редактор *Сакович Г. В.*
Художник *Шканов Л. Ф.*
Технический редактор *Макирова Н. Я.*
Корректор *Миронова Л. П.*

Сдано в набор 19.5.69.
Подписано в печать 3.7.69.
Формат 60×90^{1/16}
Печ. л. 37^{1/2}. Мсл. печ. л. 37,5
Уч.-изд. л. 37,762
Бумага № 2. Тираж 65.000 экз.
Изд. № 10/1437. Цена 1 р. 63 коп. Зак. 2886.

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, К-160
Набрано в 1-й тип. Воениздата
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3
Отпечатано во 2-й тип. Воениздата
г. Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., д. 10